

АЛЕКСАНДР  
ЧЕРКАСОВ

---

*Из записок  
сибирского  
охотника*

*С*

Александр Александрович Черкасов

## Из записок сибирского охотника

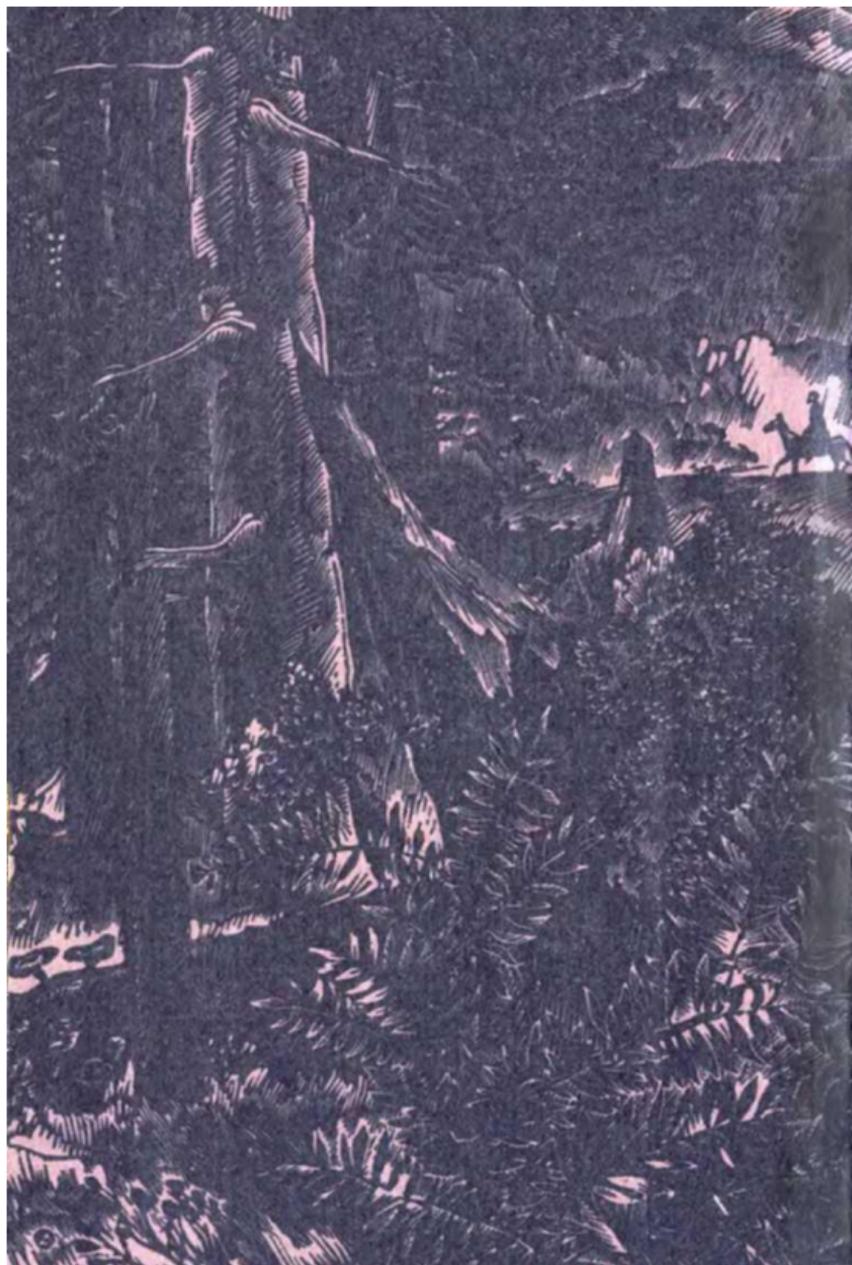
А. А. Черкасов известен как автор «Записок охотника Восточной Сибири». Их неоднократно переиздавали, перевели на французский и немецкий языки. Не менее замечательны и его очерки, но они рассеяны по старым журналам.

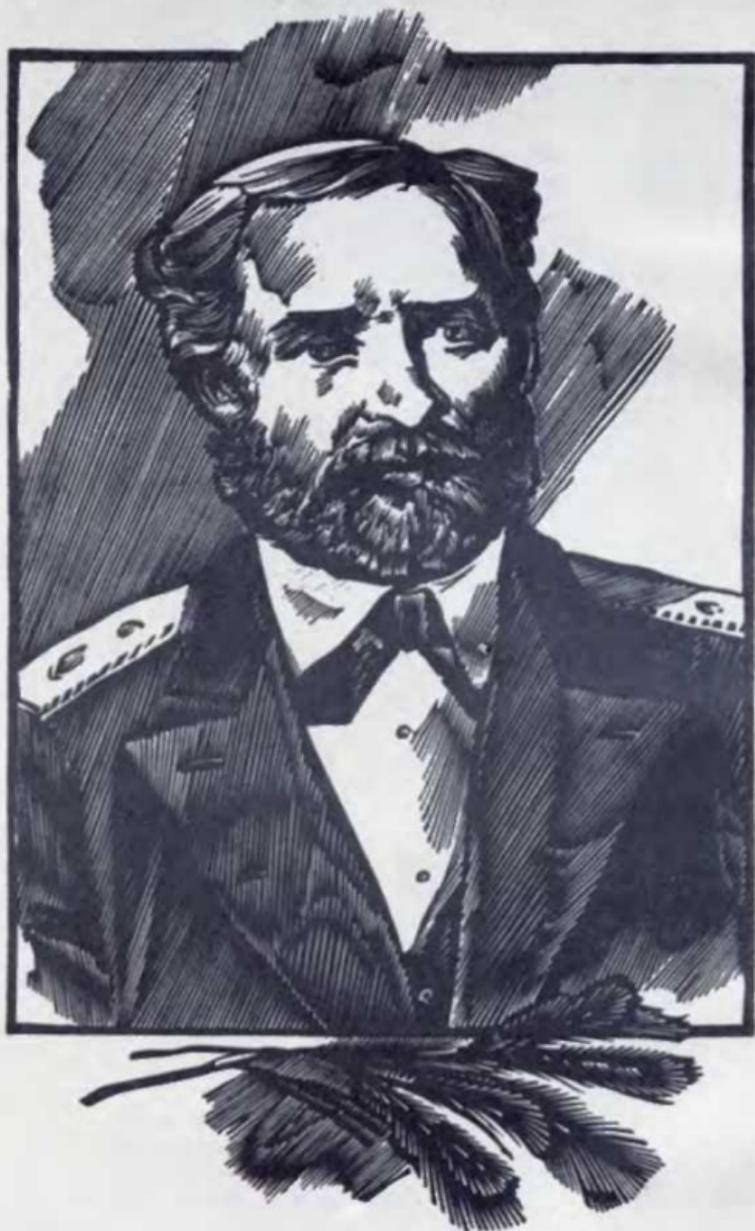
В этой книге впервые полностью собрана забайкальская часть литературного наследия писателя.

# Содержание

Александр Черкасов Из записок сибирского охотника . . . . .	0004
#2 . . . . .	0007
Сломанная сошка . . . . .	0008
Култума . . . . .	0055
Урюм . . . . .	0131
Бальджа . . . . .	0292
В Кадаче . . . . .	0509
Разбойник . . . . .	0547
Зерентуй . . . . .	0604
Шахтама . . . . .	0727
Кара . . . . .	0837
Е. А. Петряев «Жизнь среди природы...» . . . .	1171
Примечания . . . . .	1192

**Александр Черкасов  
Из записок сибирского  
охотника**





**АЛЕКСАНДР  
ЧЕРКАСОВ**

---

*Из записок  
сибирского  
охотника*



Посвящается А. М. Галину

# Сломанная сошка

Давно собирался я рассказать о том, что пришлось мне испытать в тайге, но все как-то не мог исполнить своего желания — то служба мешала, то просто руки не доходили. Желание же познакомить читателя с тем, что иногда приходится переносить золотоискателям в Сибири, все-таки взяло верх над всеми препятствиями недосуга, и вот я наконец уселся побеседовать, хотя на душе, что называется, кошки скребут, не потому, что приключилась беда, — нет, беду не воротишь и не исправишь, а скребут потому, что скитания по тайге иногда мало ценятся и еще менее оплачиваются, а нередко эти скитания по сибирским дебрям во всю жизнь впоследствии отзываются каким-нибудь недугом или делают человека уродом, часто в годах цветущей молодости. Многим, конечно, и в голову не придет, что золото, этот всемогущий двигатель и ярко горящий металл, в затейливых брошках и браслетах наших красавиц или причудливых застежках и запонках фатов и шалопаев так тяжело достается и еще тяже-

лее добывается. Вероятно, многие даже и не знают, что такое тайга, угрюмая сибирская тайга, со всеми онерами отдаленных тущоб необъятной Сибири. Ну и господь с ними! Пусть эти счастливые люди и не знают об этом, а я им тихонько скажу, на ушко, что в Сибири есть такая пословица: «Кто в тайге не бывал, тот богу не маливался».

В 1862 году, в октябре, я был назначен партионным офицером в Амурскую золотоискательную партию, а в 1860 году я только что женился и жил в Алгачииском руднике, в Нерчинском горном округе. Как ни тяжело было расставаться с тихой рудничной жизнью, а делать нечего, надо было частью распродаться и переселиться на Карийские золотые промысла, которые в то время были самым ближайшим пунктом к тому району, где мне приходилось скитаться.

Перебравшись на эти промысла, я оставил семью в очень маленьком домике и, приняв партию, отправился в тайгу на розыски золота, в вершины реки Урюма, выпадающего из отрогов гор, отделяющих систему вод Олекмы, впадающей в Лену, и верховьев Амазара,

составляющего приток Амура.

Время я распределил так, что каждый месяц, лишь только появлялась новая лупа, я отправлялся в тайгу и, проехдив дней 15–20, возвращался домой. Таким образом я работал до самого последнего зимнего пути и ездил в партию в небольших пошевенках, потому что путь позволял избегать тяжелой, верховой, зимней езды. Последний раз я выехал из тайги уж в начале апреля, так что едва-едва пробрался по горным речкам, покрывшимся полыньями и готовившимися сбросить свое зимнее покрывало, — мою проторенную дорожку, и бурно, бурно покатить свои волны.

Переждав дома весеннюю ростепель, мне пришлось подыскивать вожака, то есть такого человека, который бы знал летний, верховый путь в ту часть тайги, где находилась партия. Дело это оказалось крайне трудным, потому что на Карийских промыслах и в окрестных селениях такого ментора не оказалось, а обещавшиеся орочоны (туземцы тайги) или надули, или не могли выйти за весенним разгальем. Приходилось задуматься не на шутку, потому что мой зимний спутник и

сотоварищ скитания по тайге Алексей Костин (ссылнокасторжный) не знал летнего пути и к тому же, как нарочно, захворал.

Я уже начинал отчаиваться и ругал себя, что согласился быть партионным офицером, в чем была единственной виновницей ничем непоборимая страсть к охоте; как вдруг совершенно неожиданно приехал ко мне мой старый ментор по охоте и закадычный приятель — Дмитрий Кудрявцев, старик лет 60, отставной горный мастеровой и известный по всему округу зверопромышленник.

Увидав его в окне, я выскочил на двор, почти сдернул его с коня, облобызал как родного отца и радостно сказал: «Дмитрий, здравствуй! Куда бог понес? Зачем приехал? Уж не ко мне ли?»

— К тебе, к тебе, барин! Здравствуй, как живешь? — радостно говорил старик.

Напившись вместе чаю, выпив водочки и порядочно закусив, я узнал в беседе, что добрый старик, услышав, что я ищу вожака, приехал ко мне предложить свои услуги, говоря, что урюмскую тайгу он знает как свои пять пальцев, но не бывал только на вершинах

Урюма и Амазара; но это ничего — опытность и бывалость доведет хоть и дальше. Переговорив все что нужно, мы порешили на том, что старик Кудрявцев будет моим ментором и в начале мая приедет ко мне, но пока отправится домой, в выселок около деревни Бори, верст сорок за Карой (Карийские промысла), поправится домашностью и приготовится к походу.

Устроив одно, меня грызла другая забота — необходимо было подыскать хорошего нарядчика, который бы знал дело и был надежный человек. И тут судьба помогла мне нанять за хорошую плату унтер-штейгера Федора Маслова, бывшего моего сослуживца по Верхнекарийскому промыслу. Лучшего желать было нельзя, потому что Маслов был человек вполне знающий свое дело и, кроме того, человек грамотный, умный, честный и совершенно трезвый, что большая редкость в промысловом люде. Одна беда заключалась в том, что Маслов никогда не бывал в тайге, не ходил в партиях и, следовательно, был по этой части неопытен и к тому же ужаснейший трус, даже олганьша, как называют в Нерчинском

крае. Там это словцо означает такую личность, которая боится всякой и пустяшной внезапности; например, стоит только подоткнуть хоть пальцем сзади и крикнуть, то олганьша уже вне себя от испуга и в такой момент бросает даже все, что держит в руках; так что подверженные этому женщины нередко роняют на пол своих ребят, почему с такими личностями неуместные шутки кончаются иногда весьма плачевно.[1]

Кроме того, каждая олганьша, особенно женщины, в момент испуга выкрикивают по несколько раз какое-либо излюбленное слово, например, «вот-те, вот-те грех», «что ты, что ты, бес» и прочее, а чаще слова эти непечатны. У Маслова была поговорка на этот раз: «фу ты, фу ты, сыч! сыч!» По этому случаю самого Маслова многие школяры звали «сычом», на которого он, бедняга, в этот момент действительно и походил; ибо, испугавшись, как-то особенно вытаращивал глаза и напоминал сыча. Хотя вообще боязливость Маслова и считалась помехой для таежного человека, но делать было нечего, с этим приходилось мириться, да и думалось, что время все

перемелет, а обстановка тайги сделает из Маслова храброго человека, но — увьи! — вышло не так.

Но вот наступил и май, пришлось и самому приготавливаться к таежному путешествию, а у молодой моей жены часто стали появляться «глазы на слезах», как говаривал наш промысловый лекарь Крыживицкий, большой мой приятель и веселый собеседник. День за день проходил, скоро приготовления кончились — все было начеку, как говорится; платье починено, пули налиты, винтовка пристреляна, «харчи» подготовлены, кони выдержаны, — словом, все готово; а вот вечерком, кажется 7 мая, приехал на своем вечном каурке старик Кудрявцев, а за ним и Маслов. Я тогда «жил домом», или, лучше сказать, моя семья, на Нижнекарийском золотом промысле. Весь домик состоял из трех крошечных комнаток и небольшой кухни на дворе. Долго, за полночь просидел я со своими дорогими гостями, перетолковал, кажется, все и порешил так, что через день, совсем управившись, как можно раньше утром выехать в тайгу.

Хотя в начале мая полая вода и высоко еще

бушевала в горных речках, но мы эту опасность как бы забывали, — нас тянула в тайгу весенняя охота, ибо в это время еще яро токовали косачи и глухари, свистели рябчики, пролетной дичи было много, а изюбры и козы только что разохотились выходить на увалы и мочажины поестъ свежей майской зелени, которая и для лошадей начинала уже служить подножным кормом. Словом, все скорее, скорее манило в тайгу страстного охотника, а короткие ночи, со свистом и гамом пролетной дичи, не давали покоя его душе, наблевшей от зимнего затишья. Одно журчание горных речек уже заставляло забыть душныя комнаты и лететь на простор подышать свежим, майским воздухом. Нетерпение наше было так велико, что старик Кудрявцев «истосковался» в тот день, который он без дела должен был провести у меня. «Ну, барин, я думал, что и конца дню-то не будет, а ночь мне уж не уснуть, — точно мурашки по-за коже бродят; так бы скорей и ехал, так бы и летел летом. Вишь, дни-то какие! Солнышко-то словно шубой — так и накрывает; а траву-то, так только не видишь, как она лезет», — гово-

рил старик, собираясь ужинать.

С восходом солнца 9 мая «в вешнюю Николу», как говорят здесь простолюдины, мы втроем, верхом, ехали уже за промыслом и вступали в пределы тайги. Старик Кудрявцев, с винтовкой за плечами, ехал впереди и был вожаком. Слева, к торокам седла, у него был привязан на цепочке знаменитый его Серко, пес сибирской породы, очень сильная, рослая и свирепая собака. Вторым ехал я, тоже с винтовкой сибирского изделия, но замечательно резкого и далекого боя. Как у меня, так и у старика к винтовкам были привернуты сошки, с которых гораздо вернее стреляется пулей, хотя эти сошки составляют немалое бремя при верховой езде и порядочно увеличивают тяжесть оружия, так что моя зверовая винтовка весила с ними почти 17 фунтов. Последним, сзади, ехал Маслов, но и на нем болтался мой дробовик Ричардсона — на случай и для стрельяния уток, рябчиков и других мелких жильцов нашей тайги.

Майское утро дышало особенной прелестью. Свежий, смолистый запах только что распустившейся лиственницы наполнял воз-

дух. Побуревшие в зиму сосны отходили и уже зеленели по-летнему, тоже распуская свое характерное благоухание. Бормотание косачей слышалось со всех сторон и тревожило охотничью душу. Где-то щелкали глухари, но мы к току не заехали, потому что торопились застать вечернюю охоту на увалах, куда в это время, по словам старика, выходило много коз и изюбров, — а это и было идеалом, всем помыслом нашей поездки. Утреннее майское солнце как-то особенно приветливо выходило из-за гор и уже грело по-летнему; правда, оно не освещало причудливых замков, роскошных павильонов, старинных развалин — нет, ничего этого в Сибири не существует; но оно, точно в панораме, освещало превосходные дикие пейзажи, отроги гор с их очаровательными видами и переливами теней. Особенно хорошо выходили скалистые уступы, отдельные сопки (горы) с их причудливо-разбросанной зеленью и тихо стоящие озера, которые, как зеркала, то блестели своей гладкой поверхностью, то еще причудливее и живее отражали отдельные группы гор, зелени, утесов. Ах как хорошо было это май-

ское утро! Как свободно и радостно дышалось ароматным, свежим воздухом; и кто из нас мог не только знать, но и подумать, что такой приятный весенний вечер даст нам другие ощущения, тревожные мысли и тяжелые заботы.

Кудрявцев вел нас без дороги, прямо тайгой, по долинам речек и хребтам, ибо превосходно знал окружающую местность. Нередко мы пробирались такой чащей, что едва пролезали, или забирались на такие хребты гор, что вся окрестность открывалась перед глазами и превосходные картины дали были так хороши, что я, в поэтическом настроении души, набросал на одном перевале, в своей записной книжке, следующие вирши:

*Пред нами даль тайги далекой  
Из глаз терялась далеко:  
В ней нет красавиц с поволокой.  
Иной тут расы молоко.*

*Тут орочон в коптелой юрте  
Ведет скитальческий приют!  
Тут иногда изюбры в гурте  
Иную песнь любви поют.*

Как ни аляповаты эти строчки, однако ж они доказывают читателю то чарующее настроение, в котором я тогда находился, и не могу не поделиться своим произведением с моими товарищами. «Слушай-ка, Дмитрий, — сказал я Кудрявцеву, — это место, брат, так хорошо, что я сейчас вот сложил песенку», — и тут же прочитал свое стихотворение старику.

— Ладно, — сказал Кудрявцев, — все это верно ты спел, только вот я не возьму в толк, какие такие красавицы — как ты бишь ловко назвал, с наволокой, что ли? А что изюбры вот с Семенова дня действительно поют, в гоньбу, — и так, брат, поют, что инда мороз по коже, словно волоса-то поднимаются, таково лестно для нашего брата, промышленника.

Насилу я растолковал Кудрявцеву, что такое красавица с поволокой, и, надо полагать, так удачно растолковал, что старика передернуло, он даже сплюнул и, улыбаясь, как кот, тихо проговорил:

— Фу ты, язви их! Вишь, какие крали бывают.

Я невольно расхохотался, но так замаски-

ровал свой взрыв, что старик не обиделся и не подумал, что я хохотал над ним. Спасибо и Маслову, тот тоже поддержал меня и сказал, что он где-то читал о таких «прелести подобных» созданиях.

Вообще же мы ехали тихо, разговаривая почти шепотом, чтоб не испугать где-либо зверя, что и помогло нам утром же убить жирующую в увале козулю. Но изюбра видели только издали и испугали.

В полдень мы остановились у речки, сварили чаю, закусили, немножко отдохнули и поехали дальше тем же порядком, прямо тайгой и, не предвидя никакой беды, не делали на пути заметок, чтоб в случае надобности можно было выехать обратно той же тропой. Мы надеялись на старика, и нам не приходило в голову засекаать, хоть изредка, деревья и примечать местность.

Часов в 5 вечером мы благополучно добрались до излюбленного места Кудрявцева, где он зверовал не один уже раз на своем веку и убивал тут множество козуль и немало изюбров, — это в вершинах речки *Тонаки*, верстах в 50 от Карийских золотых промыслов. Но, от-

правившись с Нижнекарийского промысла, мы сделали больше и проехали в этот день, по крайней мере, верст 60. Действительно, место, облюбленное стариком, было замечательно как по красоте пейзажа, так по удобству стоянки и зверовой охоты.

Мы остановились на «измыске», который был покрыт лесом, выходил к долине речки Топаки и прилегал к лесистому отрогу целой группы гор. За долиной речки красовались два огромных увала, то есть солнопечных покатостей гор, частью чистых, частью с редколесьем, но сплошь покрытых превосходною майской зеленью, так что издали они показались изумрудными; точно бархатные зеленые ковры, заманчиво покрывали эти чудные покатости гор, на верхних окраинах которых виднелась сплошная масса леса. Вот на эти-то увалы, а равно и в долину речки, на свежую зелень, выходили по утрам и вечерам козы и изюбры. Это-то место и было талисманом нашей дневной поездки.

Подъезжая к измыску, Кудрявцев остановился и сказал: «Вот, барин, тут и остановимся, тут отаборимся и заночуем. Вишь, како ме-

сто! Таких местов, брат, мало по всей здешней тайге. Хоть и рано еще, но первый уповод (денной проезд) делать большой не надо, коням легче будет, да и самим вольготнее ночевать в таком месте; словно душа-то радуется, инда дух захватывает».

— Ладно, — сказал я, — здесь так здесь. Действительно, место замечательное.

Пока я отвечал, старик уже слез с коня и привязывал его к дереву. Это же хотел сделать и я, но, соскакивая со своего Савраски, несколько наподгорь, я пошатнулся назад и ударился висевшей за спиной винтовкой о близ стоящее дерево так сильно, что изломал одну ножку у сошек винтовки и железный наконечник упал на землю. Я, конечно, пожалел в душе о такой пустяшной поломке и только хотел излить свою досаду, как Кудрявцев, заметив изломанную на винтовке сошку, побледнел и как-то таинственно сказал:

— Ну, барин, худая эта примета у нас, промышленников; шибко худая! Не к добру она, вот помяни мое слово — не к добру!

Эта же примета существует и у промышленников Западной Сибири, почему они так

и берегут сошки у своих винтовок.

— Полно, ты, дедушка, пророчить! Ну, что за беда, что сошка изломалась. На все у вас приметы какие-то глупые. Вот погоди маленько, всю беду поправлю: возьму нож, обрежу наравне другой конец, и вся недолга, вот и вся штука, только и будет, что сошки станут пониже, — сказал я.

— Ну нет, барин; там хошь верь, хошь не верь мне, старику, а только это примета худая, — настаивал старик и, видимо, запечалился.

Чтоб покончить этот разговор, я нарочно начал что-то спрашивать Маслова и помогал ему отабориваться, потому что он был в этом неопытен.

Так как солнышко было еще высоко, то мы все трое принялись таскать сушняк на дрова и нарочно не тюкали топором, чтоб не производить стука и не «опугать» места, так как время все-таки подходило уже к вечеру и имелась в виду охота на противулежащих увалах. Огонь мы развели тихонько, небольшой и скрыли его за группой больших деревьев. Поправившись табором, я уселся обре-

зать другую сошку, чтобы выровнять и заострить концы. Кудрявцева, видимо, брало нетерпение, он вскинул на плечо винтовку, подоткнул полы армяка и сказал: «Я пойду на увал, а ты поправляйся скорей да и приходи вон к той лесине, что на отдале-то стоит, внизу, под увалом. Там и сойдемся, покараулим и посмотрим, что делать, коли зверь выйдет; а теперь, брат, весна, он иногда рано выходит на солнце; вот и надо торопиться, чтоб пораньше уйти да не опугать».

— Хорошо, дедушка! Иди с богом, а я вот сейчас поправлюсь и приду, — отвечал я, обрезывая и подгоняя сошку, чтоб вернее надеть железные наконечники.

Кудрявцев ушел и живо скрылся из глаз. Маслов возился около таежных сум, резал мясо в котелок, прилаживал таган, но все это у него как-то не клеилось, выходило неумело, непрактично, почему он затруднялся в самых пустых приемах и со всякой малостью обращался ко мне с вопросами, что отвлекало меня от работы, и я замешкался. Покончив с сошками и приладив их к винтовке, я заметил, что опоздал, потому что солнце уже сяди-

лось и освещало последними лучами только одни верхушки гор. Делать было нечего: чтоб не испортить охоты, я решился остаться у табора и помогать Маслову.

Котелок с мясом убитой козули давно уже кипел и возбуждал аппетит. Мы лежали у огонька, тихонько разговаривали и прислушивались — не «стрелит» ли дедушка. Но выстрела не было, и мертвая тишина точно давила окрестность; только в огне потрескивали дрова и шипели сучки, отделяя продолговатые язычки пламени и синеватый дымок. Покуривая трубочку и все еще прислушиваясь ко всякому шороху, я заметил, что лошади, привязанные у деревьев, стали прядать ушами и поглядывать в ту сторону, куда ушел старик; а Серко, тоже привязанный к дереву, поднял голову и тихо замахал хвостом. Время еще было не позднее, заря не догорела, с охоты возвращаться рано, и потому меня удивила чуткость лошадей и скрытая радость собаки. Но оказалось, что животные не ошиблись — маленько погодя Маслов заметил, что по долине плетется Кудрявцев, который то останавливался, нагибался, то снова медлен-

но и неровно шагал, точно его побрасывало во все стороны.

Заметья это, меня бросило в жар и какое-то предчувствие точно подсказывало на ухо — не быть добру! Как ни старался я отделаться от этой мысли, но она не выходила из головы, а сердце как-то щемило, и оно усиленно токало.

Но вот подошел и старик. Тихо поставил он винтовку к дереву и тихо, шатаясь, доплелся до огня и, придерживаясь за мое плечо, сел на разостланный подседельник. Лицо его было и бледно и темно, губы посохли и потрескались, но глаза как-то сухо горели.

— Худо мне, барин; шибко худо! Сам — то горю, то знобит, а сердце — как льдина; да и бьется как голубь, точно выпрыгнуть норовит из-за пазухи. Нет ли горяченького чайку, дай, пожалуйста.

Медный чайник давно уже кипел, я живо заварил чай, налил в деревянную походную чашку и подал старику, но он был уже так слаб, что лег на потник и его начало трясти. Маслов подложил ему под голову мою подушку, накрыл старой шубенкой, а я старался на-

поить его чаем. Но старика стошнило; он несколько успокоился и немного уснул, но сон был тревожный и с бредом.

Со мной была небольшая аптечка, но я растерялся и не мог сообразить болезни, а потому и не знал, что дать больному.

Разбираясь в аптечке, я нашел хину, слабительное, рвотное — как вдруг старик что-то забормотал, бойко вскочил на ноги и грубо закричал: «Давай спирту!»

Как ни старался я уговорить Кудрявцева, но он не понимал моих слов и требовал спирта. Что было делать с таким пациентом, — я положительно недоумевал. Спирт хоть и был в большой дорожной лаговке, но я боялся дать старику такого снадобья и едва уговорил его лечь. Тогда он пришел в себя и стал объясняться толково. Он жаловался, кроме того, на то, что у него сильно болит голова и что его крепит. Я тотчас дал ему английской соли, а к голове привязал компресс. Надо заметить, что в то время, когда мы возились со стариком, его сердитый Серко бросался на цепочке, грыз ее, лаял и готов был нас растерзать, так что поневоле приходилось оглядываться, но

прикрепить его не было возможности, и мы боялись, чтоб он не оторвался. Старик уснул и пропотел. Я уже радовался такому исходу и принялся хозяйничать с помощью Маслова, я отвязал лошадей, спутал и отпустил на траву. Видя, что старик уснул, мы принялись ужинать и, чтоб задобрить сердитого пса, бросили ему косточки, но он не съел ни одной и злобно зарычал.

Не успели мы закусить, как проснулся старик, снова вскочил на ноги и снова стал грозно требовать спирту.

Так как никакие увещевания не помогали, то пришлось воевать, и мы силой положили старика и хотели связать, но он опять пришел в себя и попросил напиться. Затем лег поближе к огню и стал говорить, сначала путаясь и извиняясь в своих поступках, что он узнал из наших слов, а потом начал просить меня о том, чтоб я немедленно ехал на Карийский промысел и послал оттуда лекаря или фельдшера, так как он чувствует, что ему во всяком случае нашим не быть, а обратно не выехать.

Дело принимало критический характер, и Маслов был бледен как полотно.

Кудрявцев, придя в совершенное сознание, настаивал на своей просьбе.

Было уже за полночь, и тихая, свежая погода предвещала хорошее утро. Мы успокоились и толковали со стариком — что делать?

— Слушай-ка, барин, — упрашивал Кудрявцев, — поезжай, пожалуйста, на Кару, я тебе расскажу, как отсюда выехать, ты поймешь и доедешь, а Маслов заблудится. Он в тайге небывалый, да и разум не тот, пожалуй, не поймет дорогу и, храни бог, сам погинет (погибнет). Он останется со мной, а ты как приедешь, посылай скорее фершала; тебя знают и послушают, а я вот расскажу тебе, как доехать до места.

И старик так отчетливо принялся рассказывать новую дорогу, чтоб ближе выехать прямо на Верхнекарыйский промысел, что невольно каждое его слово врезывалось в память. Я успокоил его тем, что, как только начнет светать, я оседлаю коня и отправлюсь, а что ночью по неизвестному пути, пожалуй, собьюсь и заблужусь сам. Это успокоило старика, и он опять уснул, хотя и тяжелым, нервным сном.

Во все время этого рассказа Маслов сидел как приговоренный к смерти и трясся как осиновый лист.

Но заметя, что старик уснул, он нервно заплакал и стал меня упрашивать, чтоб я не ездил один, а взял его с собой и что он один со стариком ни за что не останется.

Сколько мне стоило труда убедить Маслова, что этого сделать невозможно и ехать за помощью необходимо. Оставить же Кудрявцева одного, больного и с такими припадками — немыслимо и грешно. Он может убежать в лес, затянуться в чащу, упасть в огнище, застрелиться, наконец утонуть в речке и прочее, словом, собрал все, что приходило в голову и что может случиться с несчастным больным. Но Маслов не хотел слушать и твердо заявил, что он не останется. Тогда я предложил ехать на Кару ему, так как он слышал, как отсюда выехать, а что я останусь здесь. Но не помогало и это, — Маслов был непоколебим в своем решении. Я уже стал стращать его тем, что если мы уедем оба, а со стариком случится какая-либо беда, то все равно нас не оправдает за это закон, а совесть будет му-

чить до гроба. Тут Маслов начал убеждаться, но говорил, что он лучше бы поехал, но ему не выехать по рассказу, что он заблудится и погибнет в тайге, не принеся никакой пользы и нам.

Лучше всего подействовало на Маслова то обстоятельство, что больной долго спал без особых проявлений болезни, а я стал убеждать его тем, что бы он сказал и подумал о товарищах, если б такой недуг приключился с ним самим? Что бы было тогда с ним, если б я с Кудрявцевым оставили его одного, больного, среди тайги без всякой помощи? Видя податливость Маслова, я, наконец, решительно сказал ему так: «Слушай-ка, Маслов, ты сам теперь видишь, что кому-нибудь из нас ехать необходимо, а потому положимся на волю божию и нашу судьбу; давай бросим жребий. Кому выпадет, тому и ехать. Согласен?»

— Нет, нет! Ваше благородие, — почти закричал Маслов. — Уж, если так угодно господу, то поезжайте вы, а я останусь; да и теперь, как видно, дедушке получше, а мне не выехать.

Судьба ли, воля ли господа решила этот

приговор, только дело было покончено, и — увы! — это решение было преддверием несчастья Маслова, а быть может, и старика.

Коротки майские ночи, так что не успели мы соснуть, хоть на один глаз, как черкнула утренняя заря, а с нею защебетали кой-где по лесной чаще и мелкие птички. Проснулся и старик; но пробуждение его было болезненно, тяжело. Он едва мог проговорить: «Дайте испить; во рту все посохло, губы сгорели».

Мы дали напиток, и я спросил: «Ну что, дедушка, как ты себя чувствуешь?»

— Плохо, барин, шибко плохо, — отвечал Кудрявцев, и с этим ответом он почувствовал действие английской соли. Мы помогли старику, и я душевно порадовался. Ему действительно сделалось получше, и он просил меня пустить ему кровь, зная, что у меня есть с собой ланцет.

Долго не думая, я тотчас достал инструмент и посадил старика на потник, спиною к дереву. Маслов придержал больного, помог обнажить левую руку и что-то набожно шептал. Я снял с себя простой крестьянский чулок, растер руку больного, перевязал пояс-

ным ремешком выше локтя и принялся за операцию. Но — увы! — как я ни бился, а крови пустить не мог. Из ранки ланцета показывалась не кровь, а какая-то черная как деготь жидкость; тотчас сгущалась, засыхала и не бежала, как это бывает при кровопускании. То же повторилось и с правой рукой. Словом, как мы ни бились, уже вместе с Масловым, но ничего у нас не вышло, — то ли от нашей неопытности в фельдшерском искусстве, то ли болезнь слишком усилилась, и мы опоздали. Судить об этом не могу и предоставляю на суд читателей, быть может, и доктора. Я утешаю себя тем, что я по своему разуму сделал все, что мог, и совесть моя спокойна.

Больной вообще ужасно ослабел, соболезновал, что мы не могли вскрыть крови и, в свою очередь, утешал нас тем, что «это ничего; это (то есть болезнь) со мной случалось уже не один раз, но бог проносил. Однажды этак-то меня взяло, на промыслу же (на охоте), одного, как есть одного, а к тому же непогодь была, — да я наболтал соли с водой, выпил, вот и полегче стало, а то тоже думал, что у смерти близко, ей оборки топчу», — говорил

старик, и — диво! — узнаю тебя, русский серый мужичок! — еще ты пошутил с нами последним словом!..

Вот стало светать. Мы вскипятили чайник, выпили по чашке, но старик отказался и снова просил меня, чтоб немедленно ехал на Кару и послал оттуда фельдшера.

Я успокоил Кудрявцева, что сейчас поймаю коня и поеду, но просил его рассказать еще раз, как выехать из тайги, желая этим проверить и старика, и себя. Кудрявцев сел и снова повторил свой рассказ с такою точностью и наглядностью, что я удивился и вместе с тем убедился в том, что он рассказывает в полной памяти в здравом уме; это обрадовало и успокоило нас, почему Маслов стал повеселее, ибо он видел, что старик вторично передал путь выезда почти слово в слово.

Долго не думая, я тотчас поймал коня, оседлал, взял винтовку, помолился богу и сказал Кудрявцеву: «Ну, дедушка, оставайся с богом; будь здоров, а теперь пока простимся, да благословляй меня в путь, чтоб скорее выехать».

Мы поцеловались. У нас обоих наверну-

лись слезы. Старик крепко, сколько мог, обнял меня за шею, еще раз поцеловал и, благословляя, сказал: «Бог тебя благословит, барин, — путь тебе дорогой. Коль помру, то не поминай лихом да помолись по душе...» Дальше я уже не слышал, что бормотал Кудрявцев, потому что, поцеловавшись с Масловым, я живо сел на коня, перекрестился и поехал. Слезы меня душили, сердце словно замерло, и я худо видел, куда ехать.

Таежный мой конь, Савраско, обладал замечательно поспешной и покойной иноходной поступью, так что, отъехав версты три, — я несколько пришел в себя от грустных впечатлений прощания и тогда только заметил, что весеннее солнце осветило уже верхушки гор и точно брызнуло золотистыми лучами по росистой зелени, которая каймила верхние окраины, тогда как ниже этой линии кусты и деревья казались темными и точно недовольными тем, что они растут ниже своих собратьев. В тайге было так тихо, что я только слышал торопливый «потоп»; коня и журчание близ текущей речки Топаки.

Надо удивляться той способности старика,

с какой он передал мне весь новый для меня путь по тайге на расстоянии почти 50 верст. Заметьте путь без дороги, — их в тайге не существует, а есть более или менее тропы, которые пересекают долины и горы во всевозможных направлениях, взбираются на крутые хребты, теряются на каменистых россыпях, сползают под крутые утесы, лепятся по карнизам и точно перепрыгивают чрез речки...

Помня рассказ Кудрявцева, я редко задумывался, потому что мне попадался на глаза непременно тот предмет, на который указывал старик, — либо выдавшийся утес, либо с корнем вывороченное дерево, либо громом разбитая лесина, либо озерко, или локоть выдавшегося кривляка речки, — словом, я знал, где мне повернуть направо или налево, где переехать брод и так далее.

Так я ехал уже несколько часов, ни разу не останавливался, курил на езде, а об закуске и не думал. Душевная истома отняла весь аппетит и даже жажду, несмотря на то, что у меня сохло во рту и все тело горело. В одном месте я соблазнился, увидав бегающих на току косачей. Я слез с коня, выстрелил из винтовки, но

промахнулся, и этот промах точно подсказал мне, что теперь не до охоты, и я, заскочив на Савраска, бойко похлынял далее. Проехав уже более половины, я вдруг в кустах услышал шелест и треск. Меня передернуло, и я думал, что не медведь ли тут разгуливает; но оказалось, что шли тропинкой двое беглых, которые, заметив меня, быстро своротили в чащу, а когда я поравнялся с ними, то один из них вышел на дорожку и, сняв шапку, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие!»

Меня ужасно поразило то, как этот человек мог узнать меня, так как я был одет уж все не по-благородному. На мне были плисовые шаровары, черная крестьянская шинель (армяк), на ногах простые кунгурские сапоги, а на голове козья охотничья шапочка (орогда, как здесь называют). За плечами же висела сибирская с сошками винтовка. Видимо, что эти люди бежали с Карийских золотых промыслов, на которых я уже не служил около четырех лет.

— Здравствуй, брат, — отвечал я. — Как ты меня знаешь?

— Гм... — сказал бродяга, — знаю; да и кто

вас здесь не знает?

— Куда же пошел? Где же твой товарищ?

— Пошел я, ваше благородие, погулять: в деревню Бори пробираюсь, а товарищ, вишь, испугался и утянулся в чащу, — сказал беглый.

— Так в Бори, брат, не здесь ходят, — возразил я.

— Сам знаю, что не здесь, — говорил он, — но там на тракту имают, вот и пошли обходом.

Мы попрощались, и я поехал вперед, а здоровенный Путник вскинул на плечо увесистую дубину, свистнул товарища и, что-то размахивая рукой, потянулся тропинкой.

Проводив глазами путника, я невольно подумал: «Ну, этот видал виды — и должно быть из военных».

Часу в четвертом пополудни я благополучно доехал до Верхнекарийского золотого промысла, на котором был управителем, в то время, мой сотоварищ г. Тир, а поэтому я уже рысью забежал прямо к нему. Немедленно объяснил, в чем дело, и просил его помочь моему горю. Спасибо Эрасту Осиповичу, он тот-

час послал за фельдшером, велел приготовить лошадей и позвать вагранщика (плавильщики ваграночной печи) Выходцева, который был охотник и знал ту местность, где остались Кудрявцев и Маслов. Пока собирались люди, я успел закусить и коротенько рассказал Тиру все свое приключение.

Не прошло и 2-х часов, как добрые люди, выслушав, в чем дело, согласились ехать и, попрощавшись по-походному, явились за приказанием. Хотели им дать еще человека, конюха, бывавшего в вершинах речки Топакки, но Выходцев уговорил нас, что это лишнее и что он сам отлично знает местность.

Снарядив фельдшера (забыл его фамилию) всем необходимым, а Выходцева достаточной провизией на несколько дней, мы просили их ехать немедленно и поскорее, ночевать только в крайности, а достигнув цели, принять все меры возможной помощи и стараться вывезти Кудрявцева в качалке, для чего и дан был запасный конь. Качалка делается так: заседываются лошади, ставятся одна за другой на расстоянии 2-х или 3-х аршин; к их седлам прикрепляются с боков две жерди, а на них,

посредине, между лошадьми, устраивается переплет сиденьем или лежанкой, куда и помещается больной. На переднего коня садится человек, подбирает повод заднего коня — и таким образом можно привезти кого угодно по самой отчаянной тайге. Конечно, везде требуется навык, сноровка и главное — желание. В хорошо приспособленных качалках, даже с болком или верхом от дождя и солнца, многие дамы, шутя, ездят сотни верст по тайге и находят такой способ передвижения довольно сносным и даже удобным. Тут главная суть смирные и сноровистые лошади.

Часу в 7-м по вечеру наша экспедиция благополучно отправилась в путь, а я потихоньку, разбитый душой и телом, потянулся верхом на Нижнекарийский золотой промысел, домой.

Надо было видеть и радость и испуг жены, которая встретила меня на дворе и не знала, к чему отнести мое скорое возвращение из тайги.

Почти всю ночь я не мог уснуть от наплыва тревожных мыслей и едва прокоротал следующую день, 11 мая, собираясь ехать к вече-

ру на Верхний промысел, куда могла возвратиться наша экспедиция. Как вдруг, уже после обеда, разнесся слух, а вслед за этим и «прибежал нарочный» от г. Тира, что Маслов «выбежал» из тайги без ума и потому г. Тир просит поскорее приехать доктора, который жил на Нижнем промысле, отстоящем от Верхнего в 9 верстах. Записка была написана второпях, коротенько, и я не понимал сути дела.

Живо оседлали мне коня, и я полетел на Верхний промысел.

Оказалось, что наша экспедиция, состоящая из Выходцева и фельдшера, ночью сбилась с пути, заблудилась, не доехала до места несчастья и на измученных лошадях 11 числа возвратилась на Верхнюю Кару, а несчастный Маслов, живший на этом же промысле, действительно «выбежал» домой, в полном смысле этого слова, и потеряв всякое сознание.

Когда я зашел в избенку к Маслову, то этот несчастный человек лежал на полу, на потнике (войлок) с окровавленными ногами, не узнавал нас и только бессознательно мычал и метался, так что его держали.

Медицинская помощь была необходима, и, слава богу, скоро приехал доктор и принял все меры, чтоб привести в чувство бедного страдальца. Но это последовало не вдруг, и я, прождав до позднего вечера, не мог узнать всей сути второго несчастья. Все мы только догадывались, в чем дело, потому что Серко Кудрявцева прибежал с Масловым и был у него на дворе. Словом, 11 числа я не узнал, что было нужно, и уже поздно вечером, с еще более разбитой душой воротился домой.

Только 12 числа, утром, Маслов несколько пришел в себя и мог кое-как рассказать, что старик Кудрявцев ужасно скончался ночью на 11 число. Но рассказ Маслова был так бес-связен, непоследователен, что трудно было понять, что передал несчастный. Так как Маслов, повещая об этом, бледнел, трясся, пугливо оглядывался и прочее, то доктор запретил спрашивать больного и продолжал лечение, которое не могло возратить здоровья уже слишком надорванного организма, и Маслов слег нервной горячкой.

Мая 12-го была отправлена новая экспедиция с должной обстановкой, чтоб поднять те-

ло Кудрявцева и забрать все брошенное в тайге. Мир праху твоему и вечный покой, несчастный страдалец! Но как твою услугу мне, так и твою смерть я не забуду до конца своей жизни, а имя твое, Дмитрий, не сойдет с моего языка на молитве, пока он лепечет...

Уже впоследствии, когда поправился Маслов от тяжелой болезни, я слышал от него все, что происходило с ним и со стариком в тайге после моего отъезда. Доподлинно его рассказ я записать не мог, но вот суть того, что пришлось мне слышать.

Вскоре после того, как я уехал, старику стало полегче, и он начал просить Маслова снова попытаться пустить кровь, так как ланцет мой оставался с ними. Маслов, по желанию больного, действовал энергичнее, кровь пошла, но немного, потому что была очень густа и черна, почему она скоро засыхала и переставала бежать. Кроме того, Кудрявцев выпил еще соли с водой. Так как особых припадков днем не проявлялось, то оба они были более или менее спокойны и с нетерпением ожидали вечера, рассчитывая, что я давно уже доехал до промысла и принял все меры к

отправке фельдшера, который и может приехать хоть к ночи. Конечно, это было только самоутешением и расчет был неверный, так как не было почти никакой возможности проехать тайгой в один день взад и вперед более ста верст, не говоря уже о времени сборов па промысле.

Но этот-то несчастный вечер и разбил все иллюзии и надежды Маслова, потому что к закату солнца Кудрявцеву сделалось хуже, и он отчаянно боролся со смертью, которая была уже близко и точно пыталась свою жертву за ее долгое пребывание на земле и бойкое, самоуверенное скитание по диким трупобам. К Маслову же она была как бы снисходительнее и, то скрываясь, то показываясь при освещении костра из-за кулис ночной тайги, точно давала знать о своем существовании и пробовала его силы. Так бы и спустил тут толстую, тяжелую занавесь, чтоб читатель не мог увидеть той лесной драмы, которая совершалась в действительности в этом мрачном уголке тайги, окруженном исполинскими деревьями, темными кустами и при открытом небе; драме, которую освещал не искусствен-

ный полусвет скрытой рампы, а настоящий костер валежника! Да, но, впрочем, к чему же спускать занавесь, когда в натуре не было зрителей, часто плачущих над вымыслом и аплодирующих потрясающим сценам истины. Да, эту драму видел только бог, и он помог по-христиански умереть Кудрявцеву, а Маслову дал силы перенести ее ужасный сюжет.

Когда уже совсем стемнело, несчастному страдальцу сделалось вдруг гораздо хуже. Кудрявцев сначала стонал, метался, потом неожиданно вскакивал на ноги, хватался за топор или за нож и бросался на Маслова, который находил настолько мужества, что избирал какой-нибудь ловкий маневр, как-то: прятался за деревья, за кусты, а улучив удобный момент, подставлял беснующемуся старику ногу или подбрасывал сук; тот падал в изнеможении, а Маслов наваливался на него и связывал кушаком. Через несколько минут больной приходил в себя, узнавал, в чем дело, творил молитву, просил прощения и снисхождения, чтоб развязали руки.

Радуюсь улучшению состояния, Маслов

развязывал несчастного, отводил на потник, клал на место и подавал пить.

Но не проходило и получаса, как повторялась та же история и растрепанный старик со всклокоченной бородой, дико вытаращенными глазами снова внезапно соскакивал на ноги и так же бросался на своего покровителя, который, заметив периодические припадки болезни, стал припрятывать оружие; но это мало помогало, потому что Кудрявцев хватал толстые сучья, винтовку или старался убежать в чащу леса.

Надо заметить, что в это же время неистовал и свирепый пес, готовый растерзать Маслова и отстоять своего хозяина. По счастью, этот последний скоро терял силу припадка, а Маслов всегда находилась урезонить старика и снова связать.

Такая борьба со смертью у старика и у несчастного Маслова со стариком продолжалась почти до полночи. Наконец Кудрявцеву сделалось будто гораздо лучше; он вспотел, пришел в себя и совершенно разумно начал говорить с Масловым, прося его прежде всего развязать ему руки, — что и было исполнено.

Тогда старик, немного отдохнув, стал молиться, закрыв глаза. Заметив это, Маслов удалился за дерево, сам упал на колени и со слезами молился, но, услышав призыв больного, тотчас подошел к нему.

— Слушай, — твердо сказал Кудрявцев, — ты мне теперь и мать, и брат, и духовный отец; я слышу, что смерть моя близка, перекрестись и твори молитвы.

Маслов встал на колени, обратился к востоку и начал читать «Верую, Отче, Богородицу» и, как умел, отходную. Старик слушал, стонал и, прервав его, слабо сказал:

— Постой, худо! исповедуй меня скорее!.. — и тихо прошептал: — «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Сначала Маслов не согласился на это предложение, но когда старик грозно сказал: «Я тебе говорю — исповедуй!»

Тогда Маслов помолился, нагнулся к старику, накрылся вместе с ним шинелью и исповедовал умирающего.

После этого старик немного полежал спокойно, как вдруг почувствовал новый приступ припадка, что заметил и Маслов, но

больной предупредил и сам почти закричал:  
«Вяжи меня, скорее!»

Маслов поспешно связал еще лежащего Кудрявцева, но он немного побился, захрипел, потянулся — и замолк.

Серко в это время притих и только сердито царапал землю и лапой выгреб порядочную яму. Когда Маслов, невольно заметив это и окружающую тишину, потрогал старика и хотел что-то спросить, то увидал, что Кудрявцева уже не было на сем свете — он скончался.

— Верите ли, — говорил Маслов, — что в эту минуту мне стало гораздо тяжелее, чем во время припадков старика, и сделалось так жутко, что я «завыл», как ребенок; отскочил от покойника, отыскал потник, накрыл им труп, почти машинально и, не глядя, бросился за дерево и упал на колени.

Помолившись, я бессознательно подошел к Серку и, заметив это, испугался, но не смог сойти с места; как вдруг слышу, что этот свирепый кобель визжит и лижет мне руки.

Я снова испугался и этого; но смотрю и не верю, — ибо вижу, Серко глядит на меня ласково и помахивает хвостом; а нет-нет да лиз-

нет мне опять руку.

Я ободрился, взял отвязал его от дерева и отпустил его на волю. Что ж бы вы думали, ваше благородие, — лишь только я его отвязал, как он бросился к покойнику, спихнул с него потник, лизнул в усы, понюхал, сел на ж... (сибиряки когда что-нибудь рассказывают, то непременно поясняют, на что именно «сял», а если встал, то непременно прибавят на что, то есть «встал на ноги») да как завыл, так по тайге лишь гул пошел. Мне сделалось так тяжело и боязно, что у меня из глаз полились слезы, а за спиной точно ободрало морозом, словно волоса-то поднимаются.

Не помню, право, как я и перетерпел это; только, смотрю, Серко, опустивши хвост, подошел ко мне, повизжал немного и лег около моих ног. Я едва насмелился подойти к покойному, чтоб накрыть его опять потником, но сердце мое так стучало, что я боялся, как бы худо не сделалось. Чтоб развлечься от горя и почти не евши два дня, меня позвало на еду, но я поглодал немного сухаря и больше не мог, горло точно сдавило. Я бросил сухарь и Серку, но он только понюхал, а есть не стал.

Лег я на шинелишку, но так, чтоб не видеть покойника; думал уснуть, но где, какой тут сон? Лишь только зажмурю глаза, мне и представляется все как было, аж морозом охватит. А как открою их да стану смотреть, мне и кажется, что за деревьями точно кто ходит, а ветки будто кланяются. Вот я начну творить молитву да подо двинусь поближе к Серку, — вот будто и станет полегче.

Ну не знаю, что бы со мной было, если б в эту ночь убежал от меня Серко; я бы, однако, погинул.

Как провел я эти часы, хорошенько не помню. Только смотрю — стало светать, и Серко встал с места, полизал мне руку и пошел туда, куда вы поехали; потом остановился, повизжал хвостом и оглянулся. Я испугался, думаю, вот убежит, что тогда со мной будет? Но он воротился, подошел ко мне, опять повизжал и опять лизнул; а потом снова направился на ваш «путик», словно зовет, — дескать, пойдем. Я и догадался, схватил бессознательно винтовку старика, вскинул за плечи, да как был, ничего не надел, ничего с собой не взял, а только для храбрости налил чашку спирту,

хватил ее разом и пошел за собакой, которая тотчас же тихонько побежала. Вот я за ней, вот я за ней, а она бежит, бежит да оглянется — тут ли я?

А больше я ничего не помню...

Но вот слышу, — продолжал Маслов, — что мне стало холодно. Я оглянулся. Смотрю, что же? Лежу я между кочками, у озерка, и половина головы моей была в воде. Меня так и ободрало морозом. Вот и стал оглядываться, гляжу, а надо мной сидит Серко, повизгивает и как увидал, что я очнулся, давай меня лизать, давай лизать. Я соскочил да и понять не могу, где я нахожусь? Вот огляделся и вижу, что не более как с полверсты ходят спутанные кони, каурый и сивой, а поправей их, в измыске — дымок идет.

Ну, думаю, слава тебе, господи! Верно, тут кто-то отаборился, — да как посмотрел хорошенько и узнал, что кони-то наши; вон это стариков каурко, а это мой сивко! Повел глазами-то и усмотрел, что и огонь-то мой, а подле, вон и старик упокоившийся лежит, царство ему небесное!

Вот я стал одумываться, перекрестился. Хо-

тел идти поймать коня, оседлать и ехать, но как вспомнил про все, что было, — так, поверите ли, меня просто затрясло, да и собака, смотрю, норовит бежать, как бы одному не остаться, — беда!

Вот я, долго не думая, чмокнул Серка, он побежал на ваш путик, а я за ним. Долго я шел в сапогах, но когда стер ноги до пузырей, то сбросил сапоги и дул уже за собакой босиком.

А далее — не помню; хоть убей, не помню! Как я домой попал, как лечили, как чего было по начальству (то есть как схоронили старика), — верьте, ничего не помню, — заключил Маслов.

И действительно, можно поверить, прибавлю я со своей стороны!..

Как очутился Маслов около озера — это очень понятно: хватив чашку спирта, не пив совсем вина, да еще на голодный желудок, он, конечно, скоро охмелел и с последним сознанием, завидев озерко, вероятно, отправился к нему, чтоб напиться; но хмель взял свое, и он упал на берег. Что же касается того, что, узнав место и своих лошадей, как у него не хватило

мужества воротиться к табору и ехать, — то, господа! Не всякий бы и из нас воротился туда, где виднелась смерть, такая ужасная смерть и при такой нетеатральной обстановке, да еще боясь потерять последнюю надежду спасения — чужую собаку, которая была его вожаком.

Как ни грустно вымолвить, но я должен сказать, что несчастный Маслов, трус по природе, испытав такую ужасную эпопею в своей жизни, сильно расстроил свое здоровье и, прожив еще года полтора, умер на Верхней Каре. Мир праху твоему, Федор!

\* \* \*

Нередко размышляя об этом, давно уже прошедшем случае, мне невольно приходят в голову такие мысли: не было ли бы лучше, если б я дал Кудрявцеву спирта, которого он так настоятельно требовал, хотя, положим, требовал и в припадке своей болезни? Или — не лучше ли бы было, если б я не послушал старика и не поехал бы из тайги за помощью?

Вот вопросы, которые тревожат меня и доныне. Последнее, конечно, имело бы благотворный исход для Маслова. Но, если во всем

этом была воля господня или ваша судьба, — то я останавливаюсь на этом и предоставляю судить читателю, лично оставаясь при том убеждении, что на все воля господня.

# Култума

Давно уж это было, — «когда еще я был молод и красив собой», — управлял я Култуминской горной дистанцией в Нерчинском крае. Фу, как далеко это место от дурившей и волнующейся Европы, а между тем в нем, этом удаленном уголке «Челдонии»[2], спокойно жили люди, и жили, надо сказать, очень недурно, конечно, относительно и с своеобразной точки зрения. Култуминская дистанция в то время была каким-то отдельным мирком среди общей каторги, если можно так выразиться, потому что в ней не было тюрем, а следовательно, и ссыльнокаторжного элемента. В описываемое мною время был еще обязательный труд и давно приписанные крестьяне к Нерчинскому горному округу числились обязательными горнорабочими людьми, когда-то назывались «бергаерами» [3] и составляли особый мир как по образу жизни, труда, так и по управлению.

В ведение Култуминской дистанции входили собственно Култуминский рудник, несколько горных приисков, расположенных

по окрестности, и Култуминский золотой промысел. Серебряный рудник находился на правом, нагорном берегу речки Култумушки, впадающей в реку Газимур, а золотой промысел был расположен по самой речке. В описываемый мною период рудник не работал, был совершенно заброшен, равно как и все окрестные прииски, а в действии находился только один золотой промысел, хотя и незначительный по своей добыче золота, но удовлетворяющий той золотой горячке, которая охватила тогда почти весь Нерчинский край.

Довольно большое селение, где жили горнорабочие, носило название Култуминского рудника, или просто Култумы, и было живописно расположено амфитеатром на возвышенном, левом берегу речки Газимура. Култума достойно и праведно считалась одною из самых красивых мест Нерчинского горного округа, а по мирному и достаточному житью рабочих могла назваться Аркадией этого края, сравнительно с другими местностями заклеянной Челдонии. В окрестностях Култумы весь левый берег Газимура был нагорный и почти сплошь покрыт смешанным ле-

сом, а правый — луговой, на несколько сот сажен в поперечнике; а затем — те же горы и хребты, хребты и горы всевозможных очертаний и направлений, покрытых такою же сплошною массою леса. Из хребтов текут ручьи, небольшие реки, впадают в Газимур и, вырываясь из объятий грозных ущелий, как бы разрезают кряжи гор, образуют долины, группируют возвышенности, рощи и култуки разнообразного леса, а в общей картине местности представляют превосходные дикие пейзажи. Кроме того, на луговой стороне разбросано множество всевозможной формы озер, которые, виднеясь то тут, то там, довершают красоту общего ландшафта. Не знаю, как кому, но мне нравится такая дикая, необделанная природа. В этом смысле тут только недостает швейцарских глетчеров, потому что здешние горы не так высоки и не достигают линии вечных льдов, что, пожалуй, и лучше, так как сибирский климат и без них довольно суров. Что же касается простоты обихода местности, то, право, я не променяю ее на напыщенную чистоту и рукодельную культуру швейцарских оазисов, где, прости

господи, и плюнуть неловко.

Култуминское селение, разбитое довольно правильными улицами и переулками, как находящееся на возвышенной покатости берега, видно отовсюду, все как на ладони и, подходя главной береговой улицей почти к самому нагорному обрыву, точно висит над рекой, что придает картине какой-то особый колорит смелости и заставляет невольно обратить внимание на расположение построек, незатейливого быта живущих и своеобразность сибирской архитектуры. Многие дворы, огороды и надворные постройки местами точно сползают по крутому яру к самой воде и нередко висят, в полном значении этого слова, над волнами Газимура, который в полноводье изображает собой порядочную реку и частенько бушует не на шутку. Понятно, что все лучшие постройки расположены на набережной, а следовательно, и дом «пристава» находился тут же, в котором жил и я, ежедневно любуясь превосходным ландшафтом противоположного берега с его несколько удаленными горами.

При утреннем восходе, а особенно при ве-

чернем закате солнца култуминский пейзаж превосходен и в своем роде неподражаем. Одна уже Курлычинская сопка, как бы отдельно поместившаяся за лугами правого берега Газимура, замечательна по своей красоте и вместе с тем дикости природы. Только вьющаяся около нее трактовая дорога напоминала о существовании особой культуры в этом уголке Сибири.

Култумане жили хорошо, привольно, отличались простотой жизни и замечательной патриархальностью. Никаких затворов и замков они не знали, что доказывало честность, а отчасти и беззаботность обитателей этой Аркадии; недоставало только молочной реки и кисельных берегов, но в сущности было и это, потому что Газимур изобиловал рыбой, сенокосных и хлебопахотных мест было достаточно, а окружающие хребты и горы, сплошь покрытые лесом, были наполнены богатой фауной. Весной и осенью пролетной дичи было множество всевозможных пород и видов, особенно водяной птицы, которая частью оставалась тут «летовать» и выводила молодое поколение. В горах же водилось про-

пасть рябчиков и немало глухарей; тут же жили козы, изюбры, сохатые, медведи, рыси, росомахи, волки и множество хищников мелких пород. Зайцев и лисиц была пропасть. Словом, Култума для страстного охотника была раем и, пожалуй, прибавлю — Магомета, потому что и гурий было немало.

Култумяне, живя в довольстве, отличались представительной наружностью и замечательным здоровьем, а в отдельных субъектах то и другое выражалось геркулесовскими размерами и чудовищной силой. Много семей отличались таким здоровьем, какое ныне трудно встретить, особенно в массе населения. В числе этих счастливцев природы была семья Шестопаловых. Их было, кажется, три брата; все они хорошо жили отдельными хозяйствами и по своему здоровью вошли даже в поговорку у своих же односельчан, которые говорили, что все Шестопаловы родят тридцатифунтовых ребят. Все эти три брата были хорошие охотники и замечательные промышленники. Когда я поступил приставом (управляющим) в Култуминский рудник, или лучше сказать золотой промысел, то, понятное дело,

скоро познакомился с Шестопаловыми и сдружился с этими хорошими людьми. Так как в то время был еще обязательный труд и нам, горным офицерам, полагались денщики натурой, то я, пользуясь этим правом, и взял к себе в денщики одного из братьев, а именно Егора Степановича Шестопалова, хотя, — «грех украсть, стыд утаить», — у меня и был уже денщик, тоже страстный охотник, Михайло Дмитриевич Кузнецов, горнорабочий из Зерентуйского рудника. Поэтому Шестопалова я присчитывал к конюшенному цеху, как коновала, чем он и занимался, в сущности же он был моим сотоварищем по охоте, а в свободное время его обязанность состояла в том, что он зверовал или охотничал за мелкою дичью и добытое доставлял мне, но я пользовался только отчасти съедобной дичью, а все меха и шкурки отдавал ему. Тогда я был еще холост, требовалось немного, а потому немалую часть дичи я отдавал и отправлял своим знакомым. Словом, в Култуме мне, как охотнику, жилось хорошо, и я с особым удовольствием вспоминаю доньше то счастливое и, пожалуй, беззаботное для меня вре-

мя. Вот почему я и посвящаю свои досуги в настоящие тяжелые дни тем воспоминаниям, которые так дороги для меня; они напоминают мне мою молодость, счастливые минуты беззаботной жизни, разнообразную охоту и общую любовь моих подчиненных, а этого достаточно, чтоб радостно потрепетало уже постаревшее сердце и сладостно побаюкало наболевшую в жизни душу. Да, господа! Тогда, часто с одним грошом в кармане, я бывал счастливее самого Креза. <...>

Мой нареченный денщик, Егор Степаныч Шестопалов, был в то время лет сорока с небольшим, среднего роста, плечистый, полный мужчина. Умная и добрая его физиономия так и располагала к нему сразу, а бойкая, веселая речь показывала в нем человека, видавшего на своем веку разные виды, и, пересыпанная неподдельным остроумным юмором, невольно заставляла задумываться и нередко хохотать до слез. Таких я люблю и, пожалуй, завидую их способности быть почти всегда веселыми, хотя частенько на душе скребли кошки. Что же касается до остроумного юмора, то удивляешься, право, каким об-

разом неграмотный русский мужичок в кругу своего небольшого мирозерцания может остроумно и бесконечно разнообразно смешить, часто серьезного и образованного человека! Бывало, только появится Шестопалов в дверях и едва покажет свою физиономию, как уже невольная радость является сама собой и губы самопроизвольно смеются, а смотря на его выразительные глаза, замечаешь, что он уже видит тебя насквозь. Егор Степаныч носил только небольшие русые баки, а подбородок и усы брил, что еще более позволяло ему выражать и дополнять мимикой недосказанный или затаенный за пазухой юмор. Он был хороший стрелок, опытный рыбак, смелый конюх и ходок без устали. Словом, приятный сотоварищ и по своему обиходу человек всезнающий, опытный, и никакое дело у него из рук не вываливалось.

Старший его братец, Николай Степаныч, был несколько в другом роде, хотя наружностью и походил на брата, но в размерах превосходил его едва ли только не в полтора раза, хотя роста был такого же. Зато как богатырские плечи, так вся спина и зад, были од-

ного масштаба — все ровно; а что руки, что ноги — тоже не отличишь: как сутунки! Шея была наравне с большой лысой головой, а грудь точно выкована из какой-то корабельной брони. Словом, человек этот был, «хоть неладно скроен, так крепко сшит». Часто, подтрунивая над ним, Егор Степаныч говаривал: «Ты, брат Микулай, словно со дна набит, как свинешный! Идешь — не трянешься, поешь — не помнешься, как статуй мунгальский».

Николай Степаныч точно так же был очень веселого нрава, но гораздо серьезнее Егорушки и не обладал такой выразительной физиономией и даром слова, как его счастливый братец. Силищи он был непомерной — что увидал, то и поднял, только бы руками забрать. Сам он говаривал: «Чего разве не вижу, ну — того не осилю!» Он был хороший зверовщик и кузнец по профессии. Его своделка, винтовка, весила до тридцати фунтов, четвертей семи длиною и чуть не в руку толщиною: била она замечательно и несла в цель на 120 сажень (не шагов)!

Одна повинка была за этим богатырем —

он любил иногда выпить; но когда подружился со мной, то пить зачастую бросил и стал накладывать на себя эпитимию, или «зарок», как они говорят, то есть: или не пить совсем, или на известное время. Его «зарок» был годовой, с покрова до покрова; но уж зато лишь только наступало 1-е октября, как Николай Степанович разрешал вовсю и пил не только рюмками, но стаканами и ковшами. Такое безобразие продолжалось обыкновенно несколько дней, и когда уже благоразумие брало верх над страстью, то Николай Степанович брал последний полуштоф, выливал его в чашку, крошил в вино хлеб и, прикусывая луком, выхлебывал такую похлебку ложкой. Затем, выспавшись, отправлялся в баню, парился до чертиков, выходил на речку, обливался холодной покровской водой — и попойке конец, опять до следующего покрова, что он и соблюдал свято.

Бывало, придет Николай Степанович после такой встречи, станет во всю дверь и молчит, только выпучит глаза и вздыхает, как хороший кузнечный мех.

— Ну, что, Николай Степанович? — скажешь

ему. — Сдернул охотку?

— Сдернул, ваше благородие! Тряхнул, и порядочно тряхнул; потешил беса, ну и будет; теперь довольно! Перед образом зарок дал не пить на целый год! И укреплюсь, вот посмотри сам, что укреплюсь.

— Ну, а как прорвет?

— Нет, не прорвет; уверься, что не прорвет. Закреплю, как есть закреплю! — И в это время Николай Степаныч так хватит себя в грудь пудовым кулачищем, что смотреть страшно, только гудит!

В это же время в Култуме жил отставной горный обер-штейгер Павел Елизарович Черемных. Личность знаменательная во многих отношениях. Человек он был очень умный, начитанный и жил хорошо. Пользуясь мизерной пенсией, он вел небольшую торговлю и тем поддерживал свое существование. За ним была своего рода слабость, которая немало его разоряла, — это страсть к разведкам золота. Его мечтой было непреодолимое желание отыскать Калифорнию и там принести еще пользу отечеству и поправить свои обстоятельства, надеясь получить за открытие. Но,

увы! Судьба точно смеялась над этим тружеником: золото не попадалось, а силы уходили, и карман пустел с каждой новой экскурсией в тайгу. Павел Елизарович был уже пожилых лет, но видный и еще крепкий мужчина, довольно высокого роста и могучего, выносливого склада. Он был брюнет, с очень умными, выразительными карими глазами. Несколько кудреватые волосы придавали его физиономии представительность и как бы напоминали, что «не под шапку горе голове с кудрями». И действительно, человек этот мало над чем задумывался, был смел и отважен в своих похождениях, а в беседе весел, остер и большой охотник завернуть такое словцо, что насмеешься досыта. Носил он только одни баки, а бороду и усы брил, как старый служака того времени, и был настоящим типом своего звания, вполне понимал свое достоинство и уважал субординацию. «Она необходима, — говорил он, — без нее и государство не в государство, а человек — тряпка да, пожалуй, еще зазнается и бога забудет».

Павел Елизарыч был семейный человек, но в то время при нем находились только

один сын и две дочери, остальные были пристроены и шли своей дорогой. Жена его, уже пожилая женщина, была нрава крутого, но это нисколько не мешало ей жить с мужем дружно, вести хорошо хозяйство и детей в страхе родительском, что несколько влияло на воспитание и отражалось на поступках приглядевшихся к страху ребят. Находившаяся при родителях дочь Наташа была очень красивая девушка. Брюнетка с карими, выразительными глазами, большими вьющимися волосами, она напоминала хорошенькую цыганочку и по своему пылкому нраву вполне соответствовала этой расе. Довольно высокого роста, стройная, грациозная, без кокетства, бойкая на слово и живая в движениях, Наташа была магнитом для многих юношей и справедливо слыла чародейкой по всему околотку. Не одно горячее сердце зазнобила Наташа, что, конечно, видел старик отец и держал ухо востро, да и нельзя было иначе — девушка бедовая, того и гляди, улетит как птичка... «а девушке в 17 лет — какая шапка не пристала»; но я это говорю в ином смысле, потому что сибиряки мастера на «беглые сва-

дьбы» и, действительно, наденут такую шапку, что доченька и мимо проедет, так не узнаешь.

Павел Елизарыч был страстный охотник в душе и на деле. Он был настоящий зверовщик и не трусил в одиночку ходить на медведя. Перебил он их немало и спать не мог, если слышит, что где-нибудь в окрестности пахнет медведем. Но главный его идеал охоты — это изюбр. Все помыслы старика вертелись на этом звере, и вот почему весной, когда поспевали панты (дорогие рога изюбра), или осенью, когда начиналась изюбриная течка (гоньба) и зверь шел «на трубу», — Павла Елизаровича никогда уже не было дома. Тут он забывал и свою торговлю, и хозяйство, и бедовую Наташу. «Мне душно здесь, я в лес хочу», — говаривал он шутя, и, действительно, отправляясь в тайгу, нередко один-одинехонек, он скрывался там по целым неделям. У него было много искусственных «солянок», на которых он караулил козуль, изюбров и убивал даже сохатых. Подманивать осенью на трубу изюбров он был великий мастерище, а потому частенько убивал их на близком рас-

стоянии.

Конечно, читатель уже догадался, что я, поселившись в Култуме, скоро сошелся с Павлом Елизаровичем, но этого мало: я подружился с ним так, как не был, кажется, еще дружен более ни с кем до настоящего дня. Мы жили, как братья, как истинные друзья. Не было дня, чтоб мы не повидались; исключения были только тогда, как старик уезжал в тайгу один, а мне нельзя было ему сопутствовать. Как скучно проходили такие дни, точно что-то отрывалось от сердца, и я не знал, куда деваться от скуки. Разве Егор Степаныч приходил побеседовать и разгонял мою тоску своими повествованиями и неподдельным юмором. Зато с каким нетерпением я поджидал тот час, когда возвращался мой «дедушко» и я мог дружески протянуть ему руку! Только, бывало, и посматриваешь в окно — не едет ли Павел Елизарович с промысла; не везет ли в тороках свежинки? Да, трудно забыть ту дружбу, которая так искренне, без всяких ширм связывает людей. Можете судить, с каким разбитым сердцем прощался я с этим человеком, когда меня по службе перевели в

другое место и я должен был оставить престелную Култуму. Да, так я прощался с родным отцом только, когда уезжал из России в Восточную Сибирь, по выпуске из корпуса. Но оставим это тяжелое воспоминание и лучше поговорим о том, как мы поживали со стариком в Култуме и как с ним охотничали. Нечего и говорить, что охотничьих случаев была пропасть, так как ездил я с дедушкой очень часто и скоротал не одну ночь с этим замечательным немвродом, под открытым небом.

Действительно, эпизодов так много, что, право, не знаешь, за какой приняться, чтоб поделиться воспоминаниями с читателем.

Но, позвольте, дайте несколько минут, чтоб сообразить, о чем поговорить, что рассказать; а пока потолкуем еще о дедушке, чтоб хорошенько познакомить вас с этой личностью, в тех фазах охотничьей души, которая всюду не оставляет своего призвания и служит своему алтарю во всякую пору, даже и не обыденной жизни.

Рассказывал мне сам дедушко такой случай. Когда еще он был на службе и занимал почетную должность обер-штейгера, то одна-

жды совершенно неожиданно пришел циркуляр, что главный горный начальник едет в объезд по обширному Нерчинскому округу и будет у него такого-то числа, о чем ясно гласило расписание маршрута. Получив такую бумагу, конечно, мой дедушко, тогда еще в настоящем прыску своего бытия, как хороший служака, подготовился во всех отношениях по своему управлению, привел все в порядок и с нетерпением ждал того дня, когда должен прибыть владыко края, — чтоб не ударить лицом в грязь и показать себя. Но вот наступил желанный день; Павел Елизарыч с утра надел форму, застегнулся на все пуговицы, повесил на шею достойно и праведно заслуженную им большую медаль и выехал на грань своего участка, чтоб встретить начальника и отпортовать по заведенному тогда порядку. Дело это хотя было и не его, а пристава, но тот был то ли в отлучке или хворал, хорошенько не помню, а потому это обязательство и пало на долю Елизарыча, как старшего после пристава. Значит, тем более обязанность была серьезная и требовала внимания. Прождав почти целый день на грани в назначенное чис-

ло приезда, мой дедушко утомился и уже вечером воротился домой, чтоб отдохнуть и распорядиться по службе, а начальника нет как нет. Настает другой день тревоги — но, увы! Начальника нет. Что за притча, думает Елизарыч; верно, захворал, но отмены Нет, следовательно, надо ждать и завтра. Но и завтра та же история; а между тем Елизарыч все караулил на грани. Изморился он порядочно, и чтоб не было скучно ждать, он брал с собой книги, которые и читал, сидя в устроенном шалаше около дороги, Но на третий день ожидания он взял с собой и винтовку, — так, на случай, потому что был уже куктен (козья течка) и ошалелые козули бегали всюду от назойливого преследования своих кавалеров.

Надо заметить, что встречать начальника на грани своего района управления не было обязательным, особенно когда маршрут просрочен; но это было принято всеми подчиненными, считалось особой вежливостью, а потому и исполнялось служащими.

Проходил уже и третий день томительного ожидания, и Елизарыч думал уже так, что если и сегодня не приедет, то, значит, что-ни-

будь случилось, и потому завтра он уже не выедет на грань, а только, на всякий случай, вышлет туда «махального», который и даст знать в случае показавшегося поезда. Только что он освоился с этой мыслью, попивая в шалаше чаек из медного котелочка, как чутким ухом охотника услышал хрипение гурана (дикого козла), а вслед за этим и зов конюха:

— Павел Елизарыч! Ваше почтение! Хватай скорей винтовку да беги сюда; гляди, какой большущий гуранище бежит прямо на нас; верно, потерял подружку, что хлопчет как полоумный.

Призыва этого было достаточно для страстного охотника, и Елизарыч мгновенно выскочил из шалаша, схватил винтовку и бросился напересек к гурану; но второпях выцелил худо и потому не убил, а изломал козлу, в вертлюге, заднюю ногу. От этого несчастное животное потащило зад и кой-как поковыляло в кусты, а ярый охотник за ним, в полной форме и даже с медалью на шее! Долго он бегал за подстреленным гураном, удалился от шалаша и нагнал свою жертву у какого-то озера, в азарте залетел в небольшую трясиину и

вымарался в болотной шмаре.

Как нарочно, на беду или притчу, послышались по дороге колокольчики и показался поезд начальства. Напрасно суетился конюх у шалаша Елизарыча, напрасно кричал его во все горло и, совершенно растерявшись, завидя экипаж начальника, вышел на дорогу, махал руками и дико кричал: «Стой, стой, стой!» Понятное дело, что начальник приказал остановиться и, думая, что что-нибудь случилось, вылез из тарантаса и спросил: «Что ты кричишь, что тебе надо?»

— Да вот Елизарыч... Ели-за-рыч, господин полковник! — оторопев, бормотал конюх.

— Какой такой Елизарыч? Что такое случилось? — кричал начальник и передразнивал конюха: «Елизарыч, Елизарыч». Но, догадавшись, в чем дело, и иначе поняв отсутствие Елизарыча и зная свою просрочку, он засмеялся и, подходя к тарантасу, сказал: «Ладно, ладно! скажи ему — пусть явится там, на месте; не ждать же мне твоего Елизарыча, пока он...»

Но в это самое время, обливаясь потом, кряхтя и пыхтя, показался из кустов мой де-

душко, вымаранный в болотной шмаре и с диким козлом на плече! Увидав начальника, он совершенно растерялся, бросил гурана на землю, вытянулся и, запыхавшись, едва проговорил: «Господин полковник! Господин полковник! Господин...»

Начальник, как ни крепился, но не мог вынести этой сцены, а потому расхохотался и, зная лично Павла Елизаровича, как хорошего служаку и человека, потрепал его по плечу, посадил с собой в тарантас и приказал ехать, едва сдерживаясь от душившего его смеха.

— Вот он, с...н сын, этот Евлашка (конюх), что он со мной сделал, — заключил Елизарыч. — Охота же ему была кричать, что увидел гурана, — экая невидаль! И па какого черта он, подлец, остановил начальника, когда видит, что я убежал за зверем. Ну и дурак же, ну и дурак же, этот Евлашка! Ну, коли видит, что меня нет, так и молчал бы, окаянный! Начальник бы не заметил его, и только, а то кричит во все горло: «Стой, стой!» Болван! Да и я-то дурак. Как поймал гурана, я слышал колокольчики-то, но думал, что так, кто-нибудь из проезжих, а не дослышал того, что они на

месте потенькивают; тогда бы я, пожалуй, догадался и не пошел к шалашику. А каково же мне было явиться к начальнику в таком виде, ну посудите сами! Хорош же я был, надо полагать, когда полковник — дай бог ему царство небесное! — уж на что был серьезный человек, но и тот, видя меня, расхохотался чуть не до истерики и, растерявшись сам, пригласил меня ехать с собой. А потом, когда уже мы прибыли на место, он проехал прямо на работы и я, в таком-то виде, должен был ему докладывать и объяснять на глазах рабочих, моих подчиненных!

— Это он нарочно сделал, — возражал я.

— Какое нарочно! Потом ведь все объяснилось, когда он проголодался и заехал ко мне покушать. Тут он извинился, что так поступил и говорил, что я тогда уже попросох, а лишняя-то шмара пообтерлась да полетела с меня. К тому же он торопился, сделав просрочку. Нет, не нарочно, — утешал себя дедушко.

Расскажу уж и другой случай, который был в мое пребывание в Култуме.

Собрался Елизарыч со своей старухой в го-

сти к сыну, который был давно уже женат и служил на хорошем месте в Сретенске, что на реке Шилке. Дорога из Култумы шла через тайгу, хребтами. Елизарыч с женой поехали верхом, так как этим способом было удобнее переехать тайгу, а сибирские женщины ездят верхом не хуже мужчин. Отъехав от Култумы верст 15, в долине речки Еромая, на ягоднике, дедушко увидел медведя. Зверовая винтовка была с ним, за плечами, а потому он, долго не думая, слез с коня, велел поддержать жене, а сам отправился скрадывать медведя, сказав, что он пойдет за козулей. Знаменитая его собака Карамка была привязана на поводке у седла; но старик, заторопившись, забыл сказать жене, чтоб она отпустила собаку, лишь только услышит выстрел. Елизарыч скоро скрылся, прячась за кустики, почти на чистой долине, а старуха, сидя на коне, осталась ждать. Но вот проходит добрых полчаса, а выстрела нет, и Елизарыча не видно. Наконец старуха услышала выстрел и по пороховому дыму увидела своего мужа, который вместо козули воевал с медведем. Заметя это, она растерялась, вертелась с конем по дороге и

сначала не догадалась отпустить со смычка Карамку, который визжал и рвался на помощь к своему хозяину. Наконец она услышала крик Елизарыча: «Собаку, собаку отпусти скорее!» Тогда она едва слезла с лошади и отпустила Карамку, который стрелой бросился к медведю и посадил его на зад. Тут раздался другой выстрел, и старуха видела, как сунулся в ягодник медведь и только чернел своей шкурой, почти что у ног ее мужа. Она молилась и плакала от испуга и радости, но с ней сделалось сильнейшее расстройство, так что потом она с трудом добралась до места.

Дело было так: скрав зверя, Елизарыч выстрелил в него довольно удачно, но раненый мишка тотчас бросился на дедушку, который успел отвернуться, и медведь, не поймав его, задел за сошки винтовки и отломил одну ножку совсем, напрочь. После этого зверь пошел наутек, но скоро остановился и как бы соображал, что делать. В это время налетел Карамка и скоро посадил освирепевшего мишку. Тогда Елизарыч подскочил с другим зарядом и выстрелил в бок, но зверь рыча и с кровью в пасти еще раз бросился на охотника

и упал почти у самых ног Елизарыча.

Надо заметить, что у дедушки была великолепная винтовка, — била далеко и очень резко. Она была хотя и одноствольная, но заряжалась двумя зарядами, — заряд на заряд. Курка два, как у двустволки. Из левого было сообщение с нижним зарядом, а правый бил в брандтрубку, которая сообщалась с верхним зарядом по особому каналу, проведенному в напайке, по правому боку казны. Между зарядами Елизарыч клал всегда небольшой восковой, с сахарной бумагой пыж. Сообщение между зарядами происходило весьма редко, и тогда вылетали оба заряда, получалась по сильнее отдача — и только. Но зато, на случай, это вещь хорошая; если выстрелишь верхний заряд, то второй наготове. Впоследствии, служа уже на Карийских золотых промыслах, мне соорудил точно такую же винтовку мастер Ключевской; била она превосходно и была очень порбнна. Имея хороший штуцер, я ходил на охоту преимущественно с ней, особенно туда, где могла встретиться серьезная опасность. Никогда не прощу себе, что я не сохранил эту винтовку как антик и

что, уезжая из Восточной Сибири, продал ее за 45 руб., а много она перебила всякой всячины.

Замечательно то, что когда Елизарыч привез домой, воротившись с дороги, свежую медвежью шкуру, то, не слезая с коня, подзвал к себе еще молодого пса, ороchonской породы, на которого он питал большие надежды. Тот подбежал на зов хозяина, но, услышав свежий запах зверя, оцетинился и завыл с визгом, а когда Елизарыч сбросил с коня шкуру к ногам Ороchonки (так звал он собаку), то она бросилась, как сумасшедшая, из двора в огород и с ней сделалось хуже, чем с бабушкой, женой Елизарыча, так что Ороchonка едва не околела от кровавого поноса.

Однажды, в первой половине июня, пришел ко мне Павел Елизарыч и стал звать ехать с ним на охоту, позверовать, как он говорил. Он обещал взять с собой и Николая Степаныча, как опытного и надежного зверовщика. Место охоты предполагалось верст за 25, в тайге, вверх по долине речки Бурокаючи. Там водилась всякая всячина, потому что ездили туда редко, место было не опугано

и отличалось суровой, внушающей тайгой. Тут-то, в этой труппе сибирских дебрей, и были знаменитые зверовые «солянки» (искусственные солончаки) Елизарыча, на которых он убивал много козуль и изюбров. Понятно, что такое лестное для меня предложение задело за сердце и я, конечно, изъявил свое полнейшее согласие, от души поблагодарив дедушку. Одно только мешало мне вполне насладиться удовольствием — это служба. Я мог уехать лишь на одну ночь, ибо отправиться надо было в пятницу с раннего утра, а в субботу к вечеру я уже должен был воротиться домой, так как в этот день отходила почта — раз в неделю, а Елизарыч предполагал пробыть несколько дней. Не успели мы перетолковать, как заявился в нашу беседу и Николай Степаныч. Тем лучше, потому что он был третий охотник, и мы снова обсудили всякую штуку и, натолковавшись досыта, порешили на том, чтобы завтра утром, чуть свет, быть готовыми, собраться у Елизарыча и оттуда отправиться. Кому что брать с собой, было, конечно, на первом плане. Подошел и Егор Степаныч, но у него болела нога, и он ехать не мог,

а потому жестоко соболезнавал и чуть не плакал от досады, ругая и придуривая над своей ногой.

Подали нам щи, пельмени, поросенка — и мы так закусили в веселой компании, что и теперь завидно, вспомнивши былое; да, невозвратное былое!.. Гости мои разошлись приготовляться, что сделал и я, отправившись на двор мыть свой штуцерок и подладить промыслового коня. Поправившись по службе и приготовив к охоте все, что требовалось, я уже вечерком отправился к Елизарычу напиться чаю, посидеть и побеседовать. Но дедушко только что пришел из бани, был в дезабилье, и входная в сенцы дверь была приперта. Я постучал. Бойкая Наташа — тут как тут, как на камешке родилась, крикнула «сейчас» и отперла щеколду. Я, конечно, обрадовался веселой встрече и тут же, в сенцах, поймал Наташу и сладко расцеловал, но она вырвалась, как птичка, и упорхнула в комнату, где сидел красный как рак Елизарыч и гребнем чесал свою голову.

— Снова здорово, Павел Елизарович! — сказал я, входя.

— Здорово-то здорово, — сказал дедушко, — а уж ты, дружище, успел — подколупнул да лизнул Наташку, — шутил Елизарыч.

— Нет, дедушко! Не подколупывал, а только за спасибо поцеловал ее в щеку, — отвечал я. А какая тут щечка, конечно, в самые губки!..

— То-то в щечку, полно ли так? — говорил чесавшийся дедушко.

Наташа вспыхнула и убежала из комнаты. Фу, да какая же она хорошенькая была в эту минуту!..

Как ни коротка июньская ночь, но я чуть свет напился чаю, накинул на себя штуцер и поехал к дедушке, который жил недалеко от меня, на крутом берегу Газимура. Въехав во двор, я увидел, что конь Николая Степаныча был уже тут, а Елизарыча гнедко стоял совсем готовый и ждал своего хозяина, который «шарашился» в сенцах и укладывал свои пожитки в таежные сумы. В комнате сидел Николай Степаныч и пил чай. Большой самовар пыхтел как паровоз и манил к себе.

— Здравствуйте, господа! — прокричал я обоим, ибо дверь из комнаты была отперта и

точно говорила за хозяйку, — мол, «пожалуйста сюда чайку откушать».

— Здравствуйте, здравствуйте! — отвечал дедушко. — Каково ночевали? Проходите, пожалуйста, в горницу, а я вот сейчас поправлюсь и приду чаевать.

Напившись еще раз чаю с горячими ватрушками вместе с дедушкой и Шестопаловым, я заметил, что в горнице не было старушки.

— А где же хозяйюшка? — спросил я.

— Бабье ли тут дело, коли собираемся на промысел; вот уедем, благословясь, то и пусть хозяйничает, а то не люблю! — заключил старик.

Солнышко еще не всходило, как мы все трое, верхом, выезжали уже за околицу Култумы и любовались начинающимся утром. Сизый туман лежал по долине Газимура и давал себя знать по сырости воздуха. Только мы спустились под горку, к газимурскому броду, как нам попался навстречу какой-то старик, который вез целый воз хлеба. Поздоровавшись с ним, Елизарыч сказал:

— Ну, слава богу! добрая встреча; да и ста-

рик этот, Дербин, славный человек. Вот сколько я замечал, уж пустой домой не приедешь. Зато вот, если встретишь старуху Шайдуриху, — то уж лучше воротись назад, толку, брат, не будет...

— Верно ты сказываешь, — перебил Николай Степаныч, — я, брат, тоже это смечал не один раз на своем веку. Ну и старуха, чтоб ее трафило в широко-то место! Уродится же этакая ведьма. На нее, братец, и глядеть-то страшно, так тебя глазами и вывернет, а сама еще губами-то пошамкает чего-то да заприщепетывает, как сорока. Пфу!..

Разговоров на эту тему было много. Но вот мы переехали Газимур, своротили налево, выбрались на тропинку и поехали друг за другом, в затылок. Впереди ехал Елизарыч, за ним я, а за мной геркулес Николай Степаныч, на котором, как добрый бастрыг, висел за плечами громадный дробовик и, видимо, давил своего хозяина, но он по привычке и своей могути не обращал на это никакого внимания и забавно рассказывал разные случаи, жестикулируя пудовыми кулачищами и помахивая верховой плеткой.

Ездят по таким тропинкам обыкновенно шагом, поэтому разговаривать было удобно, а неблизкий путь позволил нам перебрать всякую всячину и посмеяться вдоволь. Но надо заметить, что разговоры при таких поездках производятся обыкновенно тихо, смех сдерживается, экстазы дополняются больше жестами, а потому беседы эти имеют свою прелесть, особую соль и как-то пластичнее ложатся в душу и сердце. Бывало, слушаешь, боясь проронить хоть одно слово, или смеешься до того, что слезы бегут градом, а сам не фыркнешь. Несмотря на это, привычный глаз и чуткое ухо промышленника тут же все видит и слышит, так что ничто не провернется от затаенного внимания охотника. Так бы и повторил я эти поездки с близкими сердцу людьми! Но, увы! верно, не бывать соловушке в далекой сторонушке!..

Проехав таким образом довольно долго и не встретив на пути ничего такого, что бы заслуживало внимания, мы в ранний завтрак добрались до одной падушки (ложок, по которому текла речушка), выходящей из хребта, крайне грязной и топкой, остановились,

осмотрели путь и, помогая друг другу, едва перебрались на другую сторону.

— Ну и местечко проклятое, — проговорил Николай Степаныч, — сколько тут коней притопили промышленники! Здесь, брат, один не напирай, как раз затрескаешься так, что и не вылезешь. Недаром это место и зовут «чертова няша». Вот бы запихал сюда бабушку Шайдуриху, пусть бы губами-то шлепала; намочила бы их порядочно, вовек бы не просохнули! — продолжал шутить Николай Степаныч.

Отсюда нам уже недалеко оставалось до первого места охоты, где была ближняя козья солянка Елизарыча, а потому, отъехав еще версты полторы, мы выбрали удобное стойбище, разложили дымокур и расположились табором. Так как время было еще рано, то Николай Степаныч остался хозяйничать, варить похлебку, а мы с Елизарычем отправились промышлять на пик козуль, которые в это время года хорошо шли на «пикульку», то есть подманку под пик молодых козлят. Места мы выходили много, но козуль попадало мало, так как был самый полдень, жара давила невыносимо, и животные попрятались, за-

тянувшись в прохладные тайники лесной чащи. Только одна козлушка подскочила к Елизарычу, и он убил ее в нескольких шагах, а по другой промахнулся на ходу и посадил пулю в березу. Порядочно поуставши и обливаясь потом, мы с трудом дотащили козлуху до табора, розняли на части, упали на подседельники, чтоб отдохнуть, а Николай Степаныч принялся жарить печенку. Не помню, право, как моментально я уснул; очнулся уже тогда, когда солнышко пошло на другую половину, а Похлебка почти вся выкипела, потому что моему примеру последовал дедушко и даже наш кухмистер, богатырь Шестопалов. Соскочив с потника, я увидел почти потухший огонь и выпарившийся котелок. Проснулись и товарищи, но, узнав, в чем дело, пошутили обоюдно над поваром и принялись снова варить свежинку, уже из козьего мяса. Есть хотелось порядочно, и мы, все трое, с нетерпением ожидали, когда упрет новая похлебка.

Но вот и время седлаться, чтоб успеть доехать до зверовых солянок. Так как Николай Степаныч предполагал караулить на первой, ближайшей, то он остался пока на таборе, а

мы с Павлом Елизарычем поехали вперед. Отъехав версты две, он остановился, повернул коня поперек и, указывая рукою вперед, сказал:

— Вот видишь эту падушку (ложок), вон там, у кустиков, моя любимая солянка — корчага, как я ее называю. Звери на нее шибко выходят. Поезжай вот этой тропинкой, переберись через речку и оставь коня, вон у той большой лесины, чтоб не опугать место, а сам тихонько уйди к тем кустикам, как я тебе говорил; там, в западинке, увидишь сидьбу (караулку) — это и есть корчага. Тут и садись, благословясь; а я поеду поскорее дальше, в вершину; там у меня другая зверовая солянка, на нее и сяду. Ну, ступай же с богом, а то запоздаю.

Мы потрясли руки и распрощались. Я тихоньку поехал к корчаге, а Елизарыч торопливо потянулся дальше.

Едва я пробрался верхом по кочкам и кой-как переехал речушку. Доехав до большой лесины, я остановился, тихонько расседлал коня, стреножил и отпустил на траву, а сам, взяв с собой подседельник и все охотничьи

принадлежности, побрел к кустикам, где таилась дедушкина корчага. Прошел я с полверсты, порядочно согрелся и за кустиками увидел заветную сидьбу, которая была опытно скрыта и состояла из вбитых с трех сторон кольшков, в пояс вышиной, и горизонтально переплетенных между собою лозовыми прутками. Вся вместимость сидьбы была не более квадратной сажени, что вполне достаточно для того, чтоб постлать подседельник и удобно расположиться в ночной засаде. Корчага, действительно, недаром носила свое название, потому что находилась в такой западнике, что все окружающее было выше ее, отчего самая сидьба и солянка лежали как в горсточке. С правой стороны сидьбы рос большой куст черемухи, который прикрывал также и вход, а слева журчала между кочками какая-то речушка с мелкой береговой кустарной порослью, но тут же стояла и громадная лиственница. Поправее черемухового куста был возвышенный залавочек, на котором растянулся довольно обширный калтус (мочажина, наливная болотина). Перед сидьбой на довольно большое расстояние место было

ровное; на нем-то и помещалась солянка, на которую ходили звери. Как видно, дедушко не жалел соли, потому что по всей солянке выступала солонцеватость серо-белесоватыми пятнами, а вся земля была поедена зверями и местами виднелись ямы, выше колена глубиною, что говорило о том, что корчага существует давно, а звери посещают ее часто. Все это взятое вместе радовало мою душу и давало надежду на хорошую охоту.

Приглядевшись к местности и совсем устроившись в сидьбе, я заметил, что солнце уже низко. Тишина царила полнейшая; только кучами сновали комары и пугали своим присутствием, но я закурил трубку (гнилушку), струившийся дымок которой и отгонял длинноносых вампиров. Где-то филин затянул свою песню и его пронзительное «у-уу, у-уу» неприятно и как-то тревожно разносилось по тайге.

Кругом, по всей окрестности корчаги, рос страшный лес, который покрывал почти всю долину, за этой местностью взбирался на все покатости гор, уходил далее на хребты и терялся из глаз, как мохнатая шапка над всем

видимым горизонтом. Особенно темная синь леса стояла впереди солянки и как-то таинственно и мрачно виднелась перед самыми глазами сидящего в засаде охотника.

Поправившись совсем, я удобно примостился в уголке сидьбы, поближе к черемуховому кусту, и погрузился в желанные думы. Глаза мои устремились на видимую окрестность, а слух был так напряжен, что я отчетливо слышал жужжание комаров и тихое журчание речушки, которая точно ворковала около меня и напоминала о жизни; только проклятый филин надувал свою песню, то останавливаясь, то с большим ожесточением принимаясь за свое «у-уу»! Но наконец, слава богу, он перестал, и полнейшая тишина снова охватила всю окрестность. Но вот ко мне, на черемуховый куст, прилетела какая-то маленькая пичужка и, должно быть, собралась на нем ночевать. Заметив меня, это маленькое создание начало прыгать и поскакивать по веточкам и как-то тревожно зачиликало. Думая, что она помешает, я ее прогнал. Но она скоро явилась снова и так же суетилась на ветках. Я, нарочно, притих и наблюдал. Пи-

чужка освоилась со мной, стала доверчивее, и ее, видимо, взяло любопытство, потому что она как-то особенно мягко защебетала, прискакала на самые крайние веточки и принялась меня разглядывать. Совсем нагнувшись ко мне, она повертывала с боку на бок голову и пристально всматривалась. Я сидел неподвижно и наблюдал сам, выглядывая вполглаза. Не видя ничего дурного в моей особе, она успокоилась и стала чистить свой носик, — но я снова прогнал ее. Несколько минут спустя, она явилась опять, зачиликала уже тревожнее и за то еще раз была прогнана. Ясно, что этот куст был ее излюбленным местом и насиженным ночлегом. Более она не возвращалась, все затихло, невольная мечтательность овладела всем моим существом, и думы, одна за одной, как грезы, мимолетно проходили в моей голове. Поддаваясь этому настроению, я, как бы нехотя, закрывал глаза, — и меня стало приманивать на сон. Как вдруг, впереди солянки, где таинственно тянулся сплошной массой темный лес, где-то далеко в хребте, послышался треск. Я мгновенно очнулся и стал усиленно прислуши-

ваться. Немного погодя, треск повторился, но как-то глухо, таинственно. Я, что называется, превратился весь в слух и зорко оглядывал опушку леса; но это было пока излишней предосторожностью, потому что снова повторившееся «тррре-сск, тррре-сск» ясно говорило уху, что это еще далеко, где-то в хребте, однако ж слушалось отчетливее и, видимо, приближалось. Я разгадал эту таинственность и понял, из-под чьих ботинок выходит этот треск. Мороз пробежал по моей спине, а легкая козья шапочка (орогда) сама собой стала подниматься на волосах. Сердце мое так затокло, что я его слушал; зато комары и журчание речушки исчезли из моего слуха. Осмотревшись кругом и освоившись со своим одиночеством, среди глухой тайги, я старался быть хладнокровнее и стал принимать меры предосторожности. Топор положил около себя, перенадел новый пистон на штуцере, который был очень невелик как по размеру, так и по калибру, к тому же был одноствольный. Револьвер я оставил дома и потому проклинал себя, что не взял его с собой. Сообразив всю свою обстановку по вооружению, прихо-

дилось мириться с той мыслью, что я владею только одним зарядом!.. Ну, а как, храни бог, — осечка! что тогда делать? Эта тяжелая дума заставила меня положить в рот прокатную пулю, приготовить заряд пороха в скороспелом патрончике и вытащить из ножен охотничий нож. Надеясь на свою удалость и верткость, я думал, что в случае нужды ускочу за громадную лесину, которая была тут же с левой стороны сидьбы. Ну! и тогда что будет; творись, воля господня!.. Стану воевать, а уж ретироваться не буду.

В эту самую минуту тяжелого размышления я услышал сзади себя легкий сеист человека. Я мгновенно оглянулся и увидел, что саженьях в пятидесяти, не доезжая до моей засады, сидя на коне, стоит Елизарыч и манит меня к себе рукой.

Внутренняя радость моя была так велика, что я и описывать не стану, но я ее скрыл, подавил в себе и, подумав, что Елизарыч, вероятно, увидел где-нибудь козулю и желает доставить мне удовольствие, чтоб я выстрелил, схватил штуцер и тихонько побежал к нему.

— Ты как попал сюда, дедушко? — спросил

я.

— Да чего, батюшка, на моей-то солянке побывали медведи, будь они прокляты, черные немочи! Все изворочали, извертели и сидьбу всю уронили. Такая досада, право; думал-думал, что делать. И придумал, что лучше, мол, ворочусь и поеду на корчагу, к тебе в гости, пока не ушло время, — а я тебе не помещаю и вдвоем сидеть можно, — говорил мой дедушко.

— Вот и отлично! — радостно сказал я. В одну минуту мы расседлали коня, стреножили и отпустили на траву, тут же, где ходил и мой Серко.

Солнышко было уже низко и последними, замирающими, красноватыми лучами освещало только верхушки гор и готовилось сказать нам: «Доброй ночи, господа охотники! Смотрите не спите и будьте настороже».

Помогая Елизарычу собраться, чтоб идти вместе на сидьбу, я машинально взглянул на противулежащий громадный солнопек (увал), откуда приехал дедушко, и увидел на нем двух большущих медведей, которые медленно ходили по увалу и как бы что-то обню-

хивали.

Я тихонько подтолкнул Елизарыча, показал пальцем на солнопек и сказал:

— Ну-ка, дедушко, погляди хорошенько, не твои ли это гости разгуливают?

— Должно быть, они и есть, язви их, проклятых! Вишь куда забрались амурничать, теперь ведь гоньба, вот и шарятся парочками, — тихо проговорил старик.

— Что же? Разве пойдём скрадывать? — спросил я.

— Что ты это выдумал; как можно теперь скрадывать! Видишь, солнце уже садится, а ведь заходить надо с виверу (северная покатошь горы, покрытая лесом), пока туда залезем, так уж темно станет, а они тут, на чисте, долго не нагуляют, уйдут, — возразил Елизарыч.

Воспользовавшись удалением от солянки, мы немного покурили, посидели и понаблюдали над медведями, которые действительно скоро ушли за кусты и скрылись.

— Довольно сидеть, вставай да пойдём скорее, а то упадет роса и след не обмоет, — подымаясь, сказал Елизарыч.

Захватив с собою подседельник и топор, мы поспешно пошли к сидьбе, в которую разостлали еще дедушкин потник, и уселись в засаде так, что Елизарыч поместился на правой стороне, около черемухового куста, а я с левого бока, к лесине.

Я рассказал Елизарычу, что слышал треск, и указал примерно то место, откуда он раздавался.

— Это зверь (то есть изюбр) ходит, — заметил он.

— Хорош, должно быть, зверь, — возразил я, — которого называют Михал Иванычем.

— Нет, зверь; большие изюбры также ходят, трещат, — отстаивал старик, думая меня надуть, чтоб я не боялся.

— Полно тебе, Павел Елизарыч, уверять меня в том, что это зверь, а не медведь; неужели ты думаешь, что я не понимаю, кто это там гуляет, — сказал я и тихонько передал ему все, что я делал и что почувствовал.

Не успел я и окончить рассказа, как впереди солянки и совсем уже близко, в густом лесу, так сильно затрещало, что Елизарыч схватился за свою винтовку, положил дуло на

прутки сидьбы, а сам встал на коленки и зорко поглядывал вперед. Но треск прекратился, и только изредка похрустывали сухие ветки, которые, вероятно, попадали под широкие ступни дедушкиного изюбра.

Солнце давно уже село, и вечерний сумрак начал окутывать всю окрестность, так что контуры гор потеряли свои очертания, а и без того темный лес казался спустившейся черной завесой. Роса уже пала и матово серебрилась на растительности, давая себя знать на всякой вещи, которую приходилось брать в руки; даже на усах была холодная испоть.

— Студеная ночь будет, — прошептал дедушко, не сводя глаз с ближайшей окрестности.

— Ничего, ладно, — ответил я тоже шепотом.

— А ты ложись спать да держи штуцер в руке, — не глядя на меня, едва слышно проговорил Елизарыч, тихо показывая рукой, чтоб я лег.

Я, как тать, спустился вниз и прилег в самый уголок незатейливой сидьбы, но, конечно, о сне и не думал, а чутко прислушивался

ко всякому шороху, и когда слышался уже мягкий, легкий хруст, то тихонько поталкивал или только нажимал пальцем дедушкину ногу, давая знать, что я не сплю и все слышу.

Елизарыч отвечал на это только едва заметным кивком головы или движением руки, а то просто ту же ногу прижимал к моему пальцу.

Прошло около получаса, как не было слышно ни треста, ни хруста, но зато, поправее черемухового куста, в мочажине, которая находилась на возвышенном залавке, почуялось шлепанье и бульканье воды. Звуки эти то удалялись, то приближались к самому кусту, и тогда до нас доносилось пыхтенье и фуканье ноздрей. Несколько раз резко было слышно ширканье чирушки, которая, вероятно, отманивала от своего гнезда косолапого охотника. Один раз она низко пролетела над нами и в ту же минуту шлепнулась на воду. Такая потеха продолжалась не менее полутора часов, — слышалось то же пыхтенье, фуканье, чавканье, пичканье тяжелых лап по мягкой, водянистой почве, тяжелые скачки по воде и редко совершенное затишье, что и бы-

ло для нас настоящей пыткой, ибо не знали, к чему отнести эти перерывы охоты зверя — то ли он ушел, то ли прислушивается или скрадывает нас, почуяв наше присутствие.

Я все время лежал на левом боку и не сводил глаз в окраины залавка и насторожившегося Елизарыча, который в продолжение всего этого периода не проронил ни одного слова и, кажется, не пошевелил ни одним мускулом. Он весь превратился в зрение и слух и точно замер в одном положении. Но тут-то, в этом манекене, и кипела жизнь, могучая воля и та страсть, которую поймут только истые охотники, а для других она будет безрассудной глупостью или холодным самосохранением. Исполать этим людям!

Лежа под крестьянской шинелью — зипуном, я зорко поглядывал на Елизарыча. Никогда не забуду этой ночи, этой картины, которую изображал собой дедушко; особенно когда с полуночи выкатилась из-за лесу луна и матово осветила его фигуру. Право, сил моих не хватает, чтоб передать читателю то ощущение, которое я переносил в эту ночь! Стоя на коленях и как бы присев на пятки, полусо-

гнувшись и прилепившись к своей длинной винтовке, лежащей на прутках сидьбы, дедушко был неподражаем! И если б я не видал его блестящих при луне глаз, которые двигались и смело поглядывали в сторону, где хлопотал медведь, то я бы подумал, что это великолепное изваяние или замечательно хорошо сделанный манекен.

Во все это время, уже при луне, медведь только один раз вышел из-за черемухового куста, на окраину залавка, и как бы опнулся (остановился) на месте. Спина его точно серебрилась от росы, а ноги казались очень тонкими, вероятно, оттого, что шерсть на них смокла и прильнула к ногам. Только тут дедушка едва поворотил направо голову, подался ко мне спиной и едва заметно повернул дуло винтовки на правую же сторону.

Сердце во мне точно замерло, и я ждал, что вот-вот медведь выйдет на солонец и раздастся громовой выстрел. Но мишка, вероятно, не подозревая засады, скоро зашагал по окраине и скрылся из глаз.

Я подтолкнул Елизарыча и тихо прошептал:

— Что не стрелял, разве тебе не видно?

— Неловко, ждал, что выйдет поближе, — так же тихо отвечал дедушко.

Но вот стало отзаривать на востоке, и по-иски медведя затихли. Он ушел. Настала мертвая тишина. Там и сям вблизи начали покрикивать гураны (козлы), но ни один из них не вышел на солянку, а каждый с тревожным ревом убегал в чащу уже показавшегося леса. Проклятый медведь опугал всю местность и испортил охоту.

Наконец сильно заалел восток, и солнце готовилось выкатиться из-за позолоченных уже верхушек нагорного леса, как вдруг раздался громовой выстрел Николая Степаныча и протяжно, как-то глухо покатился по всей окрестности и эхом переходил с горы на гору, звуча все тише и дальше и наконец замер где-то далеко, в хребте проснувшейся тайги.

— Вот так лязнул наш Николай Степаныч! — уже громко проговорил Елизарыч. — Кого это он, сердечный, так ляпнул?

— Кого же, как не козулю. Поди-ка, переломил надвое! — заметил я.

В это время Елизарыч поднялся с насижен-

ного места, долго потягивался, зевал и разминал свои кости, махая руками. Я закурил папироску и подал другую дедушке.

— Пойдем, — сказал он, закуривая. — Теперь ждать больше нечего, а я что-то замерз, вишь, какая ночь-то студеная была. Ну кабы не медведь, уж кто-нибудь пришел бы к нам. Слышал, как козы-то ревели?

Мы собрали свои пожитки, порядочно обовьючились всякой всячиной и пошли к лесине, где паслись лошади. Заслыша нас, они заболтались на треногах, захрапели и зафыркали, что ясно говорило о том, что они слышали близкое присутствие зверя.

— Стой, — сказал Елизарыч, — надо отпруковать, а то напугаются; вишь, как мы обовьючились подседельниками, — и дедушко стал почмокивать на коней и посвистывать.

Солнышко уже вошло, когда мы бережно поймали лошадей, заседлали и поехали потихоньку к старому табору. На дороге нас встретил Николай Степаныч, поздоровался и на вопрос, кого он стрелял, стал рассказывать про свою охоту.

— Ночью я никого не видал, — говорил

он, — только вокруг козули шибко гремели. А уж перед утром ко мне заявился медведь, да такой мокрый, ухлюпанный, будь он проклят! Зашел, знаешь, снизу, с подветра, да и устави́лся за кустом, вот где валежина-то лежит, ты ведь помнишь, Павел Елизарыч! Увидав его близко, я сначала-то оробел да и пожалел, что с собой не винтовка. Ну, да, мол, ничего, проберет и этот (он ткнул пальцем в дробовик), и долго не думал — как хлопнул его, братец ты мой, прямо в морду, сквозь куст. Как он брызнет, да опрокинется назад, а сам зафырсал, заплевал. Я испужался: вот, мол, беда! съест! Давай-ка скорей заряжать жеребьями и столько их напихал, что теперь и стрелять боюсь. Взглянул на куст-то, а его уже нет, — как растаял. Ну и зверь матерый! страсть! Долго я его поджидал, нету; вот я прутьев поломал, поди-ка, полкуста высадил, так дыру и сделал! А ему, проклятому, верно, худо попало, ушел, и крови что-то не видно. Куда он девался — черт его знает! Поди-ка, жаловаться убежал к хозяйке; бабушке Шайдурихе челобитну понес, — заключил Николай Степаныч и завернул за губу добрую по-

нюшку табаку.

Мы рассказали ему про свое сиденье и по общим нашим доводам решили, что к Николаю Степанычу приходил медведь от нас.

— Что же Михал Иванычу надо было в калтусе? Что он там делал? — спросил я.

— А черт его знает, кого он там искал. То ли лягуш, то ли утят промышлял; ведь ты, поди, слышал, как он плюхал да выфукивал носом, — серьезно заметил Елизарыч.

— Он, брат, на это мастерище! Видал не раз я его проказы; откуль чего и берется, словно левизор ехидный — все вышарит, — вставил Николай Степаныч.

Разговаривая таким образом, мы скоро доехали до табора и сварили чай. Так как мне необходимо было ехать домой, чтоб успеть отправить почту, то я просил товарищей помочь мне перебраться чрез топкую падушку, «чертову няшу», по выражению Шестопалова, что они охотно исполнили и переправили меня чрез это худое место. Тут мы попрощались. Они поехали назад, чтоб попромышлять, исправить солянки, где накутили медведи, и посидеть, покараулить на них еще ночи две-

три, а я отправился уже один домой, в Култу-му.

Не успел я отъехать от них и ста сажень, как увидал между кустами речушки кого-тодвигающегося. Я подумал, что это непременно ходит козуля, а потому тотчас соскочил с коня и, не желая отвязывать из тороков треногу, спутал его охотничьей плеткой, у которой и рукоятка была плетеная, мягкая. Захватив за одну ногу плеткой и продев ее в рукоятку, концом обвязал другую ногу, забросил повод на луку седла, снял с себя штуцер и побежал скрадывать мнимую козулю, для чего снял сапоги и отправился в одних теплых чулках.

Подойдя к речушке, долго я выглядывал и высматривал дичину, как вдруг мой Серко, оставшись один и чуя сзади лошадей, сильно заржал. В это время впереди меня, саженьях в 70-ти, что-то мелькнуло, выскочило на берег и остановилось. Я притаился за кустиком. Смотрю — и не верю глазам! Вместо ожидаемой козули, на берегу реки, за кустом, поставив передние ноги на валежину, стоит матерый медведь и, видимо, приглядывается, при-

слушивается. Я, как еврей, чуть-чуть не закричал «ай-вай-вай!» и машинально присел за кустиком. Но медведь скоро окончил свои наблюдения и ускачил опять в кочковатый берег речки. Я, несолоно хлебавши, потихоньку да помаленьку, подобрав полы шинели, отправился назад, конечно, не спуская глаз с того места, где виделся медведь. Но его уже не было.

Добравшись до коня, я едва-едва его поймал, потому что он суетился, фыркал и не давал распутать ноги. Видимо, что он почуял зверя, боялся и рвался домой. Когда же наконец я освободил ему передние ноги, то он вставал на дыбы, бил задом и не давал сесть. Едва-едва укротив своего Серка, я заскочил на него и поехал, но он подхватил и потащил по дорожке к дому. Более полуверсты летел я вмах и невольно забыл про медведя.

Солнышко было уже довольно высоко, когда я, отъехав более половины пути, вздумал слезть с коня и прогуляться. Превосходное утро дышало своей свежестью и манило в горы, почему я опять сел верхом и поехал по кустам, попкивая в пикульку, как вдруг из ча-

щи выскочила козлуха и запрыгала на месте, — то ли от тревожного мнимого писка анжигана (козленка). Недолго думая, я сдернул с себя штуцер и убил матку, выстрелив с коня. Радость моя вознаградила меня за все неудачи и постыдное (а быть может, и благоразумное?) ретирование от медведя. Сняв шкурку и розняв козулю, я привязал убоину в торока, выпил рюмку водки, закусил сухарем, закурил папиросу и уже весело похлынял домой.

Когда я завидел долину Газимура, мне пришла на ум Наташа. Я слез опять с коня, пошел пешком и нарвал два букета превосходных даурских цветов, желая один из них подарить Наташе, а другой поставить в воду, в своем кабинете. Как бережно вез я эти букеты, наслаждаясь их запахом.

Но бот и Газимур. Переезжая нижний брод, я заметил, что далеко впереди, по берегу мелькают чьи-то юбочки. «Не она ли?» — мелькнуло в моей голове. Дорога шла левым берегом Газимура и окаймлялась почти сплошь большими кустами. Тихо подъезжая к верхнему броду, я разглядел, что на том берегу была действительно она — Наташа с

меньшой своей сестрой. Заметив, что девушки разувались, подтыкали свои юбочки и готовились вброд переходить речку, чтоб не испугать их и захватить в живописной позе, я тихонько поворотил назад, отъехал несколько сажень, и, когда увидал, что они, оглядевшись, спустились в речку, я поехал опять вперед и подкатил к броду в то самое время, когда милые путницы, не подозревая ничьего присутствия, неся на головах корзиночки с земляникой, смотрели только на воду, чтоб не замочить юбочки. Наташа подобралась не совсем скромно и бойко шла впереди.

— Здравствуйте, Наташа! — громко сказал я.

Послышалось серебристое «а-ах!», и Наташа, испугавшись, как была, присела в воду.

Я засмеялся, бросил в нее одним букетом и, дав коню шпоры, быстро покатил домой. Сердце у меня так и стучало, но я уж не оглядывался, тут она была лучше, чем в сенцах!..

Через два дня приехали Елизарыч и Николай Степаныч и привезли с собой великолепнейшие панты. Это весенние рога изюбра, которые ценятся здесь очень дорого и сбывают-



«Култума»

ся китайцам. На вторую ночь, после меня, Елизарыч сидел на своей знаменитой зверовой солянке и ночью скараулил этого зверя. Пришел он на солонец уже перед утром, и дедушко убил его наповал.

Понятное дело, что с дедушкой я увидался в тот же день приезда. Только что он сходил в баню, после такой удачной охоты, как я был уже у него, пил чай, поужинал, просидел целый вечер и проговорил до полночи. В нашу беседу заявилились оба брата Шестопаловы, мой денщик Михайло Дмитрич — ярый охотник, и разговорам не было конца. Я, конечно, передал все свое путешествие, кроме приятной встречи с девушками, подлинно оповестил свое бегство от медведя и как убил козлуху. В свою очередь, дедушко рассказал, со всеми подробностями, свою охоту и похвалил меня за ту осторожность, что я не полез на медведя с одним зарядом и привел в поучение несколько несчастных случаев от подобных встреч. Николай Степаныч, кажется, на десятый раз сказывал о том, как он «пужнул» мишку сквозь куст и т. д. Только мой Михайло слушал с замиранием сердца и ничего не

передавал; зато Егор Степаныч посмешил нас вдоволь, придуривая то над случаем, то над братцем, как тот сделал медведя уродом.

— Хорошо тебе зубы-то скалить, — огрызнулся Николай Степаныч. — Нет, брат, с таким зверем шутка плоха; это теперь-то мы с тобой похохатываем, а там, на солянке, не то было. Как пришел да выставился на валежину, а я как увидал, кто ко мне пожаловал, так нет, братец, Егор Степаныч, мне уж не до смеху было, а начал я творить молитву да призывать ангела-хранителя на помощь. После этого уж, значит, я брызнул его в широку-то морду, — заключил Шестопалов и стал собираться домой, а за ним и мы потянулись, как гуси, от Елизарыча, который начинал уж позевывать.

Во весь этот вечер Наташи я не видал — в горницу она не приходила, должно быть, стыдилась после нашей встречи на броду; только букет мой, стоя в банке от варенья на небольшом комодике, красовался своими полевыми лилиями и напоминал мне серебристое «ах!» и сидячую ванну сконфузившейся девушки...

Нисколько не думая о том, как назовет ме-

ня читатель, я сообщу следующие факты.

Уже осенью, в начале сентября, после обеда, сидел я от скуки на высоком берегу Газимура, читал какую-то книжицу и любовался природой. Ко мне подошел мой денщик Михайло и, постояв немного около меня, сказал:

— Чего тут сидеть, барин! Пойдем лучше с ружьями да поищем кого-нибудь.

— Айв самом деле, пойдем. Что-то скучно стало. Иди скорее да приготовь мне охотничьи сапоги, — сказал я.

Не прошло и четверти часа, как мы с Михайлой шли уже по дороге, за околицей Култумы. Не доходя до Наташина брода, — как я стал называть верхний газимурский брод, — нам попался навстречу маленький, согнувшийся старичок, который нес на спине большой пук ивовых прутьев, вероятно для плетения морды (ловушка для рыбы).

— Степан Иваныч! здравствуйте, как поживаете? — сказал Михайло и низко поклонился.

Я сделал то же.

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь, господа честные! Куда господь понес? Путь вам доро-

гой и благословение божье! — сказал старичок, тоже низко кланяясь.

Мы прошли.

— Кто такой этот Степан Иванович? — спросил я Михайлу.

— Ну, барин, разве не знаешь? Это старичок Дерябин. Вот испытаем; говорят, он шибко «фортунистый»! — сказал Фома неверный, мой Михайло, который где-то чего-то начитался и ничему не верил: у него не было ни бога, ни черта, ничего решительно, кроме видимого и ощущаемого.

Мы пошли вниз по Газимуру. Подходя к поскотине, я увидел между мелкими кустиками бегущий табунчик каменных рябчиков (серые куропатки). Каменные рябчики здесь живут во множестве, а осенью и зимой попадают в больших табунах. Однажды, уже по снежкам, мне случилось заметить их в большом табуне, который расположился у приготовленных для городьбы жердей. Я ударил вдоль, и мы с Михайлой собрали, с ранеными, девять штук. Побежав за ними, я долго не мог взять на прицел, потому что они бойко удирали и только мелькали между кочками, выби-

тыми скотом, кустиками. Наконец я выстрелил и бросился к тому месту. Табунчик шумно поднялся и улетел. Подскакивая к кочковнику, я увидел трех бьющихся рябчиков, а четвертого, с подстреленным крылом, поймал Михайло.

Прошли немного далее, как на Михайлу наскочил заяц; тот не прозевал и убил косога.

Мы отправились в кривляки речки, где были старицы. Долго мы ходили и уже хотели воротиться, как вдруг я услышал голос Михайлы: «Барин, барин! Смотри не зевай — гуси!» Взглянув кверху, я увидел, что два гуся, должно быть остальцы, тихо и низко тянут над кустами. Оба мы присели в кочках. Почти в один залп последовали два выстрела, мой и Михайлы, и один гусь упал в кусты. «Мой», — вскричал Михайло. «Нет, мой», — сказал я.

— Да вы разве стреляли? — спросил он.

— Стрелял, а ты?

— И я стрелял, — радостно сказал Михайло и побежал за гусем.

Мы отдохнули, я закурил, а он положил за губу. (В Нерчинском крае многие простолюдины и даже некоторые местные чиновники

кладут за губу, как моряки, простой листовой или молотый табак.)

Выйдя из стариц и кривляков, мы отправились на луг. Долго ходили и никого не нашли. Наконец на плоском, пологом озерке увидели шесть плавающих чирков. Я, как не любитель ползать, сел на выбитую траву, а Михайло пополз к ним. Но чирки заметили его и поплыли к другому берегу. Нечего делать, пришлось ползти и мне, но чирки заметили и меня, дружно поднялись и полетели. Раза два налетали они кучкой на меня, но все неловко. Наконец я выбрал момент и ударил из своего знаменитого «мортимера». Два чирка упали сразу, а остальные просвистели далее, но снова заворотились, и, к удивлению нас обоих, немного подальше, упал третий, а шагов через пятьдесят и четвертый. Только два счастливица улетели из глаз и уже не возвращались.

— Вот так ловко! — сказал Михайло.

— Типун тебе! — проговорил я.

Пошли далее, назад к Култуме. В одном кривляке Михайло увидал на песчаной косе сидящую казарку. Не надеясь на свой дробовик, он попросил скрадывать меня.

Отправившись за такой редкой здесь дичью, я употребил все свое умение и подполз из-за куста шагов на 80. Ближе подползти было невозможно, а потому я, скрепя сердце, и выстрелил. Казарка захлобысталась и скоро уснула.

Солнце уже клонилось на покой и манило домой. Мы отправились назад, но нас потянуло пройти луговой стороной мимо Култумы, на «грязные озерки». Но так как там мы ничего не нашли, то и пошли было к берегу Газимура; вдруг из-под самых моих ног тяжело сорвалась пара косатых уток. Я выстрелил из обоих стволов — одна из них упала, а другая улетела невредимой. Михайло дал промаха по сидячему серому селезню. Только что повернули опять к озеркам, как на меня налетел гусь, должно полагать, тот самый, у которого мы убили товарища, но и я, и Михайло спуделяли.

— Ну, барин, будет! Довольно! Верно, фарт наш кончился; пойдём домой, — сказал Михайло.

— Должно быть, что так! Верно ты сказал. — И мы едва потащились домой. На бро-

ду пришлось раздеваться, и я вспомнил Наташу.

Солнце уже давно закатилось, когда мы дотянулись до дому. На крылечке сидел Елизарыч и поджидал нас.

— Ладно же вы настегали почти у дома, в поскотине! — сказал он.

Мы, конечно, передали все до мельчайших подробностей, и дедушко сосредоточенно проговорил:

— Что, Михайло Дмитрич! будешь теперь верить моему замечанию. Я, брат, облыжно никогда ничего не говорю.

Другой случай таков.

Однажды вечером, в начале ноября, пришел ко мне Егор Степаныч, напился чаю и стал звать на лесных рябчиков, говоря, что он нашел их в большом количестве верстах в пятнадцати от Култумы, в «листвягах», а потому охота будет удобная и нестомчивая, так как место ровное. Перетолковав все, что следовало, мы порешили, что завтра, пораньше утром отправимся за ними.

Ярый охотник Михайло выпросился с нами. Мы приготовились с вечера и с нетерпе-

нием прокоротали долгую ноябрьскую ночь. Рано утром, почти что на свету, мы втроем выехали из ворот, повернули в верхнюю улицу и потянулись друг за другом. Я ехал впереди и пробовал свой пищик на рябчиков. В это время какая-то старуха вышла из ворот, перешла поперек улицу, почти под мордой моего коня, неся в руках горячую головешку, от которой изредка вылетали красные искры. Я сказал: «Здравствуй, бабушка!»

Но она что-то прошамкала и заковыляла в другие ворота. Так как было еще темновато, то я и не разобрал ее безобразия.

— И откуль ее выпихнуло, проклятую! Ну, что же бы подождать, дать крещеным людям проехать; так нет, язви ее! лезет, как кикимора полуношная, под самую лошадь! — брюзгливо сказал Егор Степаныч и гадливо плюнул.

— Что тебя мутит, что ли? — спросил я. — Что это за ведьма с огнем по селению разгуливает?

— Ведьма и есть, барин! Это бабушка Шайдуриха прошла. Да и куда ее нечистый ведет в такую пору? — отвечал Егор Степаныч.

У меня сейчас же мелькнула, признаться, в голове мысль: «Ну, мол, ладно! попробуем и эту ведьму». Но я ничего не сказал и, выехав за околицу селения, поехал рядом с товарищами.

Долго мы ехали шагом и толковали о всякой всячине. Наконец Егор Степаныч повернул направо, в листьяги, и сказал: «Вот тут они были, надо поискать». Нам попадало на снежке множество рябочьих следков, но все были старые и затрушенные инеем. Но пот попали и свежие. «Надо глядеть, скоро выгоним», — сказал Егор. И действительно, скоро рябчики стали вылетать с полу, из кустиков целыми кучами и тут же рассаживались на большие лиственницы.

Солнце было уже довольно высоко, и зимнее утро горело на белой скатерти снега.

Заметив, куда расселись рябчики, мы живо привязали лошадей, сняли ружья и пошли потихоньку скрадывать. Ходили-ходили кругом лиственниц, но ни одного рябчика увидеть не могли, точно они сквозь землю провалились. Долго мы ахали и разглядывали чуть не каждый сучок, чуть не каждую шишку, но

рябчиков увидеть не могли. Что за диво! Стали в деревья бросать сучьями. Тогда от каждого взброса с лесин срывались По три, по четыре рябчика и, тютюркая, улетали сажен за сто, в близлежащую падушку, густо покрытую лесом и сплошь заросшую ерником, дулгигшей. Увидав улетающих рябчиков, мы, конечно, прекращали бросание сучков и снова принимались, все трое, разглядывать их на деревьях. Но, увы! при всей нашей настойчивости, повторялась та же история: смотрим — рябчиков нет; бросим сучком — полетят, по нескольку штук сразу. Так продолжалось до тех пор, пока уж и от сучков перелетывать не стали — всех разгоняли, ни разу не выстрелив! В этой потехе прошло, по крайней мере, часа полтора. Мы подивились, потолковали, покурили, отдохнули и пошли в чащу, куда они перелетывали. Долго ходили и тут, пролезая и продираясь сквозь дулгигшу; мы видели уже пропасть рябчиков, которые посвистывали кругом и тютюркали, когда кто-нибудь из нас был близко. Многие, незамеченные, слетали чуть не с головы. Видя воочию, так сказать, кажется, чего бы лучше! Значит, стре-

ляй, да и только, но вышло не так: стрелять никому не пришлось. То чаща помешает, то рябчик не выдержит — диво, да и только! Наконец, Егор Степаныч увидал где-то, в сторонке, низко на кустике, сидящего рябчика и указал мне. «Стреляй скорее, барин!» — сказал он. «Ну, а ты чего зеваешь?» — спросил я, «Да подалеко, стреляй ты», — ответил он. Я приложился и выстрелил. Рябчик упал. «Ну, слава богу», — сказали мы в один голос. Но не тут-то было! Долго еще мы шаршились по чаще, разгоняли опять всех рябчиков и ни разу еще не выстрелили!..

Выйдя все в поту из такой небывалой пытки, мы опять отдохнули. Солнце уж пошло на вторую половину. Рябчики, как мы замечали, вылетая из чащи, пробирались на те же листовенницы. Конечно, и мы отправились туда же. Еще издали увидали мы их на лесинах; все они сидели, как комочки, и точно звали нас: «Ну, мол, пожалуйста, господа охотники, мы здесь!» Мы, конечно, не замедлили явиться — и пошла потеха! Выстрел следовал за выстрелом, перо летело горстями, а рябчики, точно смеясь, тютюркали и улетали невреди-

мо опять в ту же чашу. Дело дошло до того, что мы, не веря уже себе, стреляли с прицела, на близком расстоянии, кладя и притыкая ружья к близ стоящим кустам и деревьям, но все трое убить ничего не могли.

Кончилось тем, что я всего выпустил 16 зарядов, Михайло — 14, а Егор Степаныч — 8! Кажется, достаточно!.. а привезли домой мы только одного злосчастливого рябчика, которого указал мне Егор Степаныч.

Почти молча ехали мы всю дорогу и молча уселись дома пить чай. Часа через полтора, уже вечером, пришел Егор Степаныч и, как бы боясь проронить лишнее слово, стал снова звать меня на тех же рябчиков, говоря, что если не поедем мы, то стрельцы узнают и выхлопают всех, а нам и спасибо не скажут. Но я был в таком дурацком состоянии, что решительно отказался и пожелал ему счастливой охоты.

Егор Степаныч, действительно, уехал на следующий же день, с утра, один, и к вечеру привез мне 17 штук. На один стол это достаточно, особенно в короткий ноябрьский день!

Я спросил его, не собирал ли он раненых,

которые могли уснуть. Но Егор уверял честью, что «единого раненого не взял», а сделал только два промаха и то потому, что сперва боялся подходить близко, как к напуганным вчера, и стрелял сначала далеко. В удостоверение его показания я нарочно пересмотрел и перещупал рябчиков; все они были талые, мягкие, даже тепловатые, что ясно доказывало то, что они биты сегодня; иначе они были бы мерзлые, после долгой ноябрьской ночи. Что такое было со всеми нами, троими, не знаю, — не знаю и до сего дня. Но в факте случившегося даю слово, пожалуй, не охотника (хороша репутация!), а просто слово сибиряка.

Быть может, читатель скажет: «Слово-то слово, а суеверие-то в тебе видно». Но это будет не совсем верно, хотя я, действительно, и не завзятый скептик. На этот раз я попрошу только читателя быть настолько снисходительным и любезным, чтоб объяснить мне, почему мы, все трое, испытали такую неудачу? Скажу еще, что мы были не пьяны и в белой горячке не находились.

Что касается до суеверия, о котором я заик-

нулся, то, господа, воля ваша, а я того мнения, что большая часть истых, не кабинетных охотников, особенно тех, которые вертелись немало в народе и видели жизнь не из мудреных книжек, а в натуре, что они, если не суеверны, то непременно с причудью, которая явилась не вследствие заурядных, наследственных традиций — нет, ничуть! — а явилась она в силу долгого опыта жизни, собственных наблюдений, замечаний и прочего — и потому эта причудь так разнообразна. Истых скептиков-охотников я почти не знаю, а если они и стараются казаться ими, то я, простите бога ради, не совсем доверяю этому скептицизму. Не доверяю потому, что видел в натуре и страшных скептиков и отъявленных нигилистов. Особенно хороши были последние — в миру, так сказать, когда они несли такую чепуху атеизма, нигилизма и всякого другого пресловутого изма, что волосы подымались как у слушателей, так и у них самих. Но одного из них мне случилось видеть в те минуты, когда приходилось делать расчет с жизнью и отправляться к праотцам, и этот ярый пустоист тихонько отвертывался к сте-

не, шептал молитвы и крестился под одеялом, желая быть незамеченным, но умер без покаяния потому только, что, по его мимике, не успели пригласить священника. Что касается до стойков, умирающих публично, то это еще не доказательство и ничто более, как особого рода бравурство, — право, так. Другого пустюриста мне довелось видеть в бане, и оказалось, что у этого атеиста висел на груди целый иконостас, тут были и образчики, и узелочки, и ладанки, и даже зеленый огарочек с святой Афонской горы...

Кто не видал игроков-скептиков, которые, или забываясь, или не обращая внимания на других, то и дело меняли колоды карт, когда им не везло? Бывало спросишь: «Для чего переменили карты?» — «А эти лучше тасуются», — отвечали они. А когда выждешь и спросишь о том же, когда они опять меняли на старую колоду, то уж не знаю, право, что эти люди и отвечали на этот раз. И это скептики, не суеверы! А их пропасть повсюду и в ученых кабинетах, и в богатых салонах...

А сколько великих мужей, людей гениальных, как гласят их биографии, были и при-

чудливы, и мистики. Это, я думаю, знают и многие скептики...

Нет, господа, поживите в народе, да подольше поживите и присмотритесь, опытно, на деле присмотритесь, как, например, промышленники ловят больших и малых зверьков; как рыбаки добывают рыбку, которую многие кушают под причудливыми соусами да похваляют, осуждая глупых мужиков за суеверство и проч., — вот и увидите, что известные слова сказаны неспроста: «Нет, друг Гораций...»

Однако ж я начал эту статью «за здравие», а кончил «за упокой», да как бы и «гусей не раздражить»: ну что делать, коли так пришлось, и потому чуть не забыл сказать, что Елизарыч добытые тогда панты (рога изюбра) продал на товар китайцам и выручил за них более ста пятидесяти рублей.

А что же сказать про Наташу? Когда я уехал на горный совет в Нерчинский завод, она скоропостижно вышла замуж. Года через два я ее видел на золотых промыслах. Муж попался тюфяк, и ее поведение одобрить было нельзя... Она «срывала», как говорят сибир-

ряки.

# Урюм

## I

Урюм, Урюм! Сколько тяжелых и вместе с тем приятных воспоминаний рождается в моей голове при этом слове! Ты мне родной и потому тесно связан с моим существованием, с моим бытием как лично, так и в семейных узах родства. Сколько горя, забот, слез и радостей принес ты мне в моей жизни, в пору цветущей молодости, и сколько лишений дало мне твое существование. Урюм! Ты мое детище, мой пестун и, пожалуй, мачеха...

Кажется, какая нелепость в этих словах, если совместить понятие одновременно в значении этих самых слов, а между тем никакой нелепицы в них нет, если рассмотреть их порознь. Но об этом после; сама статья пояснит читателю, что я прав; но вопрос в том, хватит ли у него терпения дочитать до конца! Ну что за беда, если и не хватит; не такие горшки летали об нашу голову, ничего! Была бы только справедливость; виноват будет он, а я буду прав, значит, и на совести моей станет полегче.

Однако ж, не откладывая в долгий ящик, надо сказать, что такое Урюм. Это долина, или по-сибирски падь, в северо-восточной части Нерчинского горного округа. Речка Урюм берет свое начало из урюмых отрогов Яблонового хребта, который в этом месте служит водоразделом Олекминской и Шилкинской систем, а в более обширном смысле — отделяет воды громадной Лены от Амура, Ледовитый океан от Охотского моря! Забравшись на отроги этого водораздела, бывало, невольно приходила в голову такая мысль: вот место, на котором какой-нибудь вершок земли делит воду на громадные расстояния необъятной Сибири! Быть может, одна капля дождя переломится надвое — и одна ее половинка попадет в Ледовитый океан, а другая в Охотское море! Какое неизмеримое расстояние! Как грандиозно творение господа! Не то ли мы встречаем часто и в жизни человека...

Урюм, беря свое начало из отрогов Яблонового хребта, спускается на юг, принимает в себя множество мелких ручейков и речушек, соединяется с более солидными речками и, пробежав не одну сотню верст, делается за-

метной сибирской рекой и называется Черным Урюмом; а соединившись с неменьшим по величине протекаемого пространства Белым Урюмом, подошедшим к нему с запада, течет уже одной струей, составляя одну большую реку Черную, которая и впадает с левого берега в реку Шилку. Место соединения Урюмов называется Сбегами, отсюда Черная катит свои волны до Шилки на расстояние 80 или 90 верст. Черный Урюм называется потому, что весь свой путь протекает по сплошным темным дебрям тайги, а Белый, наоборот, бежит преимущественно по луговой долине, и только его вершины сумрачны не менее своего собрата.

В голове вертится так много эпизодов, тесно связанных с моей жизнью в этом уголке Сибири, что более подробное описание местности остается на втором плане, да оно, пожалуй, и лишне, потому что всего не опишешь, растянешь статью, а читателю надоешь, который, быть может, и то уже морщится. Поэтому лучше замолчу и о красотах тайги скажу только при случае, если придется.

Я уже говорил, что в 1862 году я, с моего со-

гласия, был командирован в тайгу на розыски золота. Говорю «с согласия», потому что бывший горный начальник, высокоуважаемый Оскар Александрович Дейхман, не хотел посылать в такую тяжелую командировку людей против их желания, — и все отказывались, боясь лишений таежной жизни и видя мало пользы в открытиях. А понятно, что во всяком деле можно более надеяться и рассчитывать на того, кто принимается за это дело по желанию, по охоте его исполнить. Вот почему г. Дейхман держался этого воззрения и не ошибся. Зная, что я истый охотник, он и обратился ко мне с просьбою принять на себя труд быть партионным офицером, так как эта, хотя и крайне тяжелая, служба даст мне возможность до пресыщения насладиться охотой и, из любви к этой страсти, попутно сделать и дело. В этом он не ошибся: я, как страстный охотник, с удовольствием принял его предложение и действительно, с помощью бога, сделал дело. Это не самохвальство и не глупый личный эгоизм, а действительно та простая суть, за которую скажет самое дело, но и об этом после, а пока поговорим о ро-

зысках и тяжелой жизни, тесно связанной с удовольствиями и опасностью как самой охоты, так и скитаний по сибирским трупобам.

Я уже говорил также и о том, что, сделавшись партионным офицером, я поселился на Карийских золотых приисках, как ближайших к тому району тайги, где мне приходилось трудиться. Оставляя семью на Нижнекарыйском промысле, я каждый месяц ездил в партию дней на 15–20, которая и была поставлена в вершинах Урюмской системы. После неудачной попытки пробраться в тайгу весной и, потеряв на дороге вожака — старика Кудрявцева, я был в большом затруднении, потому что нового вожака приискать не мог, а между тем ехать было необходимо, чтоб осмотреть работы и задать новые. Положение мое было критическое, и я не знал, что делать, как попасть в тайгу.

Но вот поправился от хворости мой конюх и сотоварищ скитаний, ссыльнокаторжный молодец Алексей Костин.

В начале второй половины мая, в 1863 году, сижу я, задумавшись, на крыльчке и верчу в голове, что же делать? Как быть?

Заметя мое тяжелое раздумье и зная, в чем дело, кр мне тихонько подошел Алексей.

Увидя его, я обрадовался и спросил: «Ну что, Алеха? Как ты себя теперь чувствуешь?»

— А что, барин, теперь ладно. Слава тебе господи! Кажись, совсем поправился и пищу стал принимать всякую без вреда, а то, ведь сам знаешь, что было. Только вот слабость еще есть небольшая, а то ничего, — сказал он.

— То-то ничего, смотри, будь осторожнее. А вот, пойдём, у меня есть с полбутылки мадеры, возьми ее и пей понемногу перед пищей да ешь побольше мясного да молока.

Алексей поблагодарил, взял мадеру, но стоял на крылечке и топтался на месте.

— Ну, что еще надо? Что хочешь сказать? — спросил я.

— Да что, барин! Я ведь вижу твое затмение, — говорил Алексей. — А вот что я тебе скажу. Я на Желтугинских промыслах бывал и дальше их шурфовал. А ведь все едино — тайга одна, поедём и выедем на Урюм. Бывало, по одним сказкам идешь да выходишь. А тут что? Ну коли заблудимся, назад вернемся.

Я сообразил местоположение Желтугин-

ских промыслов, хотя и не имелось никакой карты, и пришел к тому заключению, что Алексей говорит правду, а потому, долго не думая, сказал ему свое решение, что как только он окрепнет силами, то мы соберемся и отправимся в путь.

Через несколько дней мы были уже на «Желтуге» и порешили ехать вдвоем дальше, на Урюм. Время стояло превосходное, май дышал своей прелестью и придавал какую-то особую бодрость на неизвестный путь по тайге, по которой приходилось ехать только по одному соображению, — это бы еще ничего; но, не забудьте, ехать вдвоем с ссыльнокаторжным человеком, имея при себе до полутора тысяч казенных денег. Но я об опасности в то время как-то не думал, и мне не приходило в голову, что, пожалуй, никто другой не решился бы на подобную штуку. Так оно и вышло, потому что впоследствии многие говорили мне в глаза, что такая самонадеянность безрассудна, глупа и не выдерживает никакой критики. Теперь я скажу, что это верно; но тогда не знаю почему, но верьте, что никакой серьезной опасности мне не приходило и

в голову; и это было не бравурство, а какое-то безотчетное доверие к Алексею, дружба и братство к этому заклеяменному человеку. Благодарю господу, что это доверие оправдилось на деле, а меня во все время неоднократных скитаний не грыз тот червяк, от которого при другом настроении можно рехнуться.

Один из Желтугинских промыслов Кудеченский, в котором мы и ночевали, расположен при устье речки Малой Кудечи, впадающей в реку Желтугу. Речка Большая Кудеча бежит параллельно Малой, находится от нее в нескольких верстах и впадает в ту же р. Желтугу. Между речками Кудечами находится отрог гор от горного хребта, который и служит водоразделом Желтугинского бассейна от Урюмского. Вершины Кудеч берут свое начало из южных покатостей этого хребта — водораздела, а все их протяжение разделяется помянутым отрогом гор главного хребта.

Рано утром 21 мая мы выехали из Малых Кудеч, проехали немного вверх по этой долине и повернули направо, на хребет, чтоб, перевалив его, попасть в долину Больших Кудеч, вывершить эту речку и подняться на

большой хребет, а переехав его, попасть в Урюмскую систему. Все это кажется очень просто, но на деле вышло не совсем так.

В этом путешествии менторствовать взялся Алексей, как уже бывший в Больших Куде-чах, и потому ехал впереди. На нем был мой дробовик, а на мне висела моя зверовая винтовка с привернутыми сошками. Так как утро было очень холодное и росистое, то дробовик был в кожаном чехле, а на моей винтовке была надета, с приклада, барсучья «насовка», или «нагалище», как называют сибиряки, чтоб не вымочить оружия. Сильная роса лежала не только на траве и ягоднике, по которым пришлось пробираться, но и на всех кустах и даже деревьях она висела крупным холодным потом, обдавая нас, как дождем, с каждой задетой ветки, лишь только приходилось продираться между кустами и густой зарослью деревьев.

Несмотря на этот холодный душ, мы ехали бодро, весело и много говорили. Перебираясь с горки на горку, из лоцинки в лоцинку, Алексей, вероятно, потерял свой план путешествия, потому что, спустившись с послед-

него злобка, подъехал к речке, которая и попала нам с левого бока. Он уже хотел переезжать речку и потому сказал:

— Ну вот, барин, слава богу и до Кудечей добрались! Давай на ту сторону!

— Нет, брат Алеха, стой! Ты неладно приехал. Эта речка не Большая Кудеча; видишь, она попала нам с левой стороны, тогда как должна попасть с правой. Стой и не езд.

Но Алексей никак не мог сообразить такого курьеза, а потому заспорил и стал утверждать, что приехал он ладно и что эта речка Большая Кудеча. Долго мы толковали об этом, и я убедил моего ментора только тогда, когда слез с коня и начертил на песке план расположения местности. Из него он понял, что ошибся, что его обманула пересеченная, холмистая покать хребта, разделяющего Кудечи, и что, действительно, Большая Кудеча должна попасть с правой стороны.

Мы воротились и снова полезли на тот же хребет, хоть и досадно, а что поделаешь! Вперед поехал уже я; взял прямо поперек хребта и скоро спустился на другую покать, за которой и попала другая речка, с правой стороны

нашего пути, что доказывало, что речка эта и есть та самая Большая Кудеча, которую мы ищем.

— Ну что, Алеха! Видишь теперь, что я прав.

— Вижу, вижу, барин! Ну виноват, прости! Завертело меня, вот и ошибся. Точно, что эта речка Большая Кудеча.

— Вот по ней и давай подниматься кверху, — сказал я.

Мы поехали. Оказалось, что мы действительно завертелись на пересеченном ложками хребте и первый раз попали в ту же долину Малых Кудеч, откуда отправились.

— Вот если это Большая Кудеча, то с левой руки, верст 5–6, нам должен попасть ключик, на котором мы коней поили зимой, — сказал Алексей и, видимо, старался загладить свою ошибку.

Действительно, так и случилось — ключик попался, что еще более убедило меня в том, что мы едем верно.

Долго вершили мы долину речки Больших Кудеч, наконец добрались до подножия Большого хребта и стали забираться на этот гро-

мадный водораздел. Южная покатость этого великана была покрыта сплошь величественным строевым хвойным лесом, а у подошвы этих могиканов росли громадные кусты мелкой поросли и скрывали те звериные и оронские (лесных бродячих туземцев) тропы, по которым мы забирались на хребет. Густой папоротник покрывал почти все свободные промежутки. Запах цветущей черемухи наполнял воздух и как-то чарующе действовал на нервы. Тишина была невозмутимая, только изредка чиликали и насвистывали мелкие пичужки, которые тревожно выпархивали из кустиков и проворно улетали, завидя наше приближение. Но вот где-то вдруг сорвался глухарь и, бойко захлобыстав крыльями, понесся между деревьями, задевая за их ветки, которые, покачиваясь, означали путь пернатого жителя глухой тайги.

Мы залезали все выше и выше на хребет; растительность изменилась, и уже стала появляться стелющаяся поросль; деревья редели, ягодник исчезал, а вместо него попадался почти сплошной нагорный мох. Тропы разбивались во все стороны и делались едва замет-

ными или терялись совсем. Как-то жутко делалось на душе, а взмыленные лошади усиленно дышали и пыхтели от крутого, тяжелого пути. Но вот попался бурелом, и пришлось перелезть через толстый валежник. Крутом стояли большие кусты и точно нарочно драпировали эту местность. Мой знаменитый Савраско что-то задумался, сбавил свою поспешность, стал озираться и бойко попрыгивать ушами; чрез это он запнулся, перешагивая чрез большую валежину, и едва не упал, за что я и вытянул его верховой плеткой, которая как-то особенно громко щелкнула своим лапчатым, кожаным наконечником.

Как вдруг в эту минуту я слышу голос Алексея: «Барин, барин! Смотри, не зевай!»

Справа сильно закачался большой темный куст, а за ним я увидел громадного медведя, который стоял на задних лапах, пытливо смотрел чрез куст и страшно фыркал. Совсем забыв, что ружья наши в чехлах, я как-то машинально схватился за винтовку, повернул Савраску прямо на зверя и сделал несколько шагов. Видя ли этот, хотя и бессознательный с моей стороны, натиск или предвидя, быть

может, и неравную борьбу по оружию, но медведь круто и неуклюже перевернулся на бок и пошел наутек — и пошел так скоро, на ускоки, что мы в минуту потеряли его из глаз.

— Вот так фигура! — сказал несколько побледневший Алеха. — Экая страсть, братец ты мой! Ну и зверь! Ну и зверь матерущий! Видел, барин?

Мы остановились, и я, как ошеломленный, едва понимал замечания Алексея и только ответил: «Видел, как не видать такую диковину!»

Я все еще сидел па коне, смотрел на куст и держал в руках сдернутую с плеча винтовку, с которой была уже снята насовка и лежала на земле около ног, не менее меня озадаченного Савраски. Когда и как сдернул я с себя винтовку и насовку с ее приклада — отчета дать не могу, потому что я теперь не умею объяснить этого поспешного маневра. Полагаю, что сделалось это машинально, по привычке. Алексей тоже этого не заметил и только удивлялся моей готовности встретить врага, хотя я, скажу по совести, и не заслуживал его одобрения, потому что, как помню я теперь, был рас-

терявшись. Что бы случилось дальше, если б не убежал зверь, — это вопрос другого сорта, но в ту минуту я похвалы не заслуживал, ибо времени хватало достаточно для того, чтоб пустить поспешную пулю. Но, быть может, все это сделалось и к лучшему, потому что, как я слышал, «торопливость годна только блох ловить».

Оправившись совсем от такого неожиданного случая, мы слезли с коней, привязали к деревьям, чтоб они отдохнули, закурили и пошли разглядывать то место, где пугнул нас Михал Иваныч. Оказалось, что он, вероятно, долго лежал за той самой валежиной, чрез которую перелезал мой Савраско, и был скрыт ее мохнатой вершиной и кустом. Отпечатки его лап на мху были так велики, что мы с Алексеем не могли их закрыть двумя ногами. Куст, чрез который наблюдал нас зверь, был более сажени вышины.

Когда мы забрались на самую вершину хребта, стоял уже полдень, и нас поманило закусить. Вид на всю окрестность и на едва заметную вдали долину Урюма был превосходный. Все меньшие горы и щели горных речу-

шек виднелись как на ладони. Не хотелось оторваться от этой редкой картины, которую видят в природе, вероятно, очень немногие, а особенно те счастливцы мира сего, кои сидят в своих золоченых палатах и почищают свои розовые ноготки придуманными для того инструментами. Их окружают только мягкие бархатистые ковры, роскошная мебель, превосходные картины вакханок и затейливых заграничных пейзажей, а не та неподдельная натура, которой наслаждались, не хуже этих счастливцев, мы с Алексеем, и не тот мягкий мох, на котором мы сидели, выпивши по рюмке водки, и грызли сухари и вяленое мясо, о коем эти Крезы и понятия, конечно, не имеют; зато они спесиво рассуждают и выводят свои заключения, что поиски и добыча золота — это пустышки, а их доверенные и управляющие — люди нечестные, ничем не довольные, плуты и мошенники. Слава этим счастливцам! Слава!..

Заморив червяка и отдохнув, мы сели на коней и отправились вдоль по вершине хребта, придерживаясь северо-восточного направления. Проехав несколько верст, Мы увидели

с левой стороны вершину какой-то долины, которую с высоты хребта можно было видеть всю, до соединения ее с долиной Урюма. Послушав Алексея, я поворотил коня налево и стал спускаться с хребта. Обеденное солнце било мне прямо в лицо несколько с правой стороны, что и заставило меня одуматься. Я остановился.

— Мы опять неладно поехали, — сказал я.

— Как неладно? — возразил Алексей.

— А так и неладно, что солнце бьет в правую щеку. А помнишь, когда мы с тобой ездили на Урюм зимою, то в передний путь солнце было всегда сзади нас, а когда возвращались, то смотрело в лицо. Значит, теперь мы едем поперек этого пути и даже несколько назад, а нам надо держаться такой дороги, чтоб солнце было несколько сзади и било в левую щеку. Понимаешь?

Я слез с коня и опять наглядно показал наш путь Алексею, набрав сухих сучков и разложив их по моху, что и помогло доказать ему вторую ошибку нашего путешествия.

— Да ведь все равно, барин! — возразил Алексей. — Так или эдак, а на Урюм попадем.

— Нет, не равно; если б было все равно, то и этих хребтов бы не было, а мы бы с тобой, Алеха, совсем заблудились в лесу и не видали бы, куда ехать. Давай назад, а то укатим так, что попадем чуть не к устью Урюма, тогда как надо попадать в его вершину. Понял?

— Теперь понял, понял, ваше благородие! Вестимо так, что попадем низко, — уже весело проговорил Алексей.

Пришлось опять воротиться и снова залезать на хребет по проеханному пути. Взобравшись наверх, мы взяли первое Направление и поехали опять вдоль хребта. Лес на нем был редкий, почему все вершины спускавшихся с него долин были как на ладони. Твердость почвы и мелкий сухой мох позволял нам ехать проворной переступью, и мы бойко двигались вперед, минуя несколько вершин речек, которые своим направлением гласили о том, что и они впадают в Урюм ниже того пункта, куда нам хотелось попасть. Вершина хребта загибалась К востоку и давала возможность ориентироваться так, как мне хотелось. Но вот наконец увидели мы такую долину речки, которая, спускаясь с хребта, бежала

прямо на северо-восток. Завидя ее, Алексей нагнал меня и громко сказал:

— Вот, барин! Смотри, какая падушка (долина, лог) попалась. Вишь, как бичом стегнула прямо на север.

— Вижу, брат, давно вижу, вот ей и давай спускаться.

Мы повернули налево и стали потихоньку съезжать с хребта. Сначала спуск был пологий и мы сидели верхом, но чем ближе подвигались мы к ущелью неизвестной нам долины, тем спуск становился круче и круче, наконец дело дошло до того, что сидеть верхом было уже невозможно, и мы слезли с лошадей. Пройдя пешком несколько сот сажен, мы уже не знали, что делать, так как спуск в самую долину был до того крут, что пришлось остановиться и подумать, как и что предпринять, потому что воротиться назад с лошадьми уже не было никакой возможности. В этом месте вся крутая покатость горы заросла густой мелкой порослью, большие деревья попадались только изредка, а под ногами лежал слой толстого моха, под которым была почти сплошная оледенелость. Мох еще кое-

как держал человека, но несчастные лошади, продавливая мох, страшно скользили по скрытой ледяной поверхности и стремительно катились вниз, натыкаясь на деревья и путаясь в мелкой чаще поросли. Дело принимало критический оборот. Мы боялись изувечить лошадей или того, что катящиеся лошади при малейшей оплошности наедут на нас и, пожалуй, раздавят. Кое-как выбрав удобный момент, мы их остановили в чаще и привязали к поводьям свои кушаки, что дозволило вести лошадей в поводу на далеком от них расстоянии, а видя малейшую опасность, поспешно свертывать в сторону, за деревья и заворачивать за них удлинненные поводья, которые удерживали катящихся лошадей и тем спасали их от ушибов и видимой гибели. Последние сажени спуска мы уже стремительно сорвались прямо в воду горной речки, которая подбилась своим течением под самый обрыв нагорного хребта. Благодаря господа, все кончилось благополучно, мы и лошади получили только по несколько царапин, и только! Ноги и руки остались целы, даже ружья как-то сохранились от казавшейся неизбежной

опасности. Речка была невелика, и мы даже не вымокли, а, зачерпнув немного в сапоги, перешли ее поспешно вброд.

— Ну, барин! Молись скорее богу, что мы так благополучно сполали о такой кручи! Вот где вспомнишь царя Давида и всю кротость его! — проговорил радостно Алексей и набожно, сняв шапку, перекрестился.

То же сделал и я, горячо-горячо помолившись.

Проехав этой лесной падушкой верст 20, мы счастливо добрались до левого берега Урюма, но не знали, в какое именно место его течения попали, после такого тяжелого путешествия. Время было еще не позднее, часы показывали 6, что давало возможность оглядеться и отдохнуть во всю душу, изморившись до того, что ноги тряслись и подгибались от утомления.

Расположившись табором на самом берегу Урюма, нас соблазнила близость чистой таежной воды, тихого омута. Мы разделись и бросились в воду, но, окунувшись раза три или четыре, выскочили из реки, как сумасшедшие, и, корчась от хохота, едва попадали в

свои рубахи.

— Вот так ободрало! словно студенным кипятком ошпарило! — говорил, постукивая зубами, посиневший Алеха.

— Ага, не любишь! Вот и вспомни царя Давида и всю кротость его, — едва проговорил и я, нащелкивая подбородком.

Поспешно одевшись, я взял Алексея за руку и потащил его по ровному берегу бегом, чтоб согреться. Алексей понял мое желание и пустился вразбег, но его тяжелая фигура никак не могла осилить мою прыть; однако жмы до того натужались оба, что воротились к табору уже шагом, едва переводя дыхание и согревшись до испарины, что и требовалось нам обоим.

— Ну, барин! И ёмкой же ты, как я погляжу. Уж на что я удалый, да нет — не берет, догнать не могу, а поддаться не охота, аж во рту пересохло и в бок закололо, — говорил с перерывом запыхавшийся Алексей.

— Это оттого, что ты с хворости, — сказал я.

— Ну, нет! Верно, пробка слабее твоей, — отвечал он, поправляя огонь.

Поправившись и напившись чаю, я взял дробовик и пошел по берегу, а Алексей отправился оглядеть местность. То и другое нам почастливило — я убил двух больших уток, а Алексей признал ту часть Урюма, куда мы попали. Оказалось, что мы всего верстах в 30 или 35 от нашей поисковой партии. Такая радость не могла не отразиться на нас обоих, и мы от удовольствия выпили По рюмке коньяку.

К ужину мы сварили в котелке похлебку из жирных уток и так закусили, что забыли все неудачи пути и улеглись спать. Такой похлебки, конечно, не едали и те счастливицы мира сего, о которых я упомянул выше. Куда им! Разве они могут понять, что такой импровизированный ужин несравненно лучше их пикантных закусок, а сон под темным кустом черемухи не навеивает тех злополучных грез, которые подсказывают им, что все их доверенные плуты и мошенники...

Предвидя небольшой переезд до партии, мы заспались и утром напились чаю уже тогда, когда солнышко поднялось из-за гор и как-то особенно приветливо стало согревать

майскими лучами.

Пройдя несколько берегом, Алексей торопливо вернулся и сказал, что видел на шивере речки какую-то большую рыбину.

— Беги скорей, — говорил он, — да возьми винтовку, погляди, какая штука шевелится на галишнике мелкого перебора, — как полено, только и признал, что хвостом пошевеливает.

Я взял винтовку и тихонько пошел с ним к шивере Урюмского брода. Несколько громадных тальменей неподвижно лежали на самом мелком месте перебора, так что струя воды плескалась по их спинам и едва покрывала их темные фигуры. Тихонько подкравшись из-за куста, я выцелил одного тальменя под жабры и спустил курок. Вместе с звуком выстрела поднялась масса водяной пыли, в которой радужно переломились лучи восходящего солнца, слышался тревожный плеск спасшихся тальменей, а один из них, повернувшись кверху брюхом, спускался вниз по воде, и его катило струей по гальке. Алексей бросился на шиверу, поймал еще бьющуюся добычу и притащил громадного тальменя, весившего, как я полагаю, не менее 30–35 фун-

тов. Мы его выпотрошили, привязали в мешке в торока и в ранний «паужин» привезли в партию. Люди давно поджидали моего приезда, не выдавшись более полутора месяцев, и были крайне довольны, особенно когда выпили по доброй чарке водки и закусили превосходной свежей ухой из жирного тальменя.

И так вот каким образом попал я в свой уголок далекой тайги, без вожака, после первой неудачи пробраться туда с вожаком, о чем я и говорил в отдельной статье «Сломанная сошка». Радость моя была велика, потому что, проехав более 300 верст в 4 дня, не потерпев особых несчастий, путеводствуясь только одним соображением и солнцем, по безграничным и безлюдным дебрям тайги, нельзя было не радоваться и не благодарить бога за благополучное прибытие к желаемому пункту, затерянному среди громадных лесных оазисов беспредельной Сибири.

Вот почему и угрюмая тайга делается для человека как-то милее; давящее душу горе как-то скорее забывается; все лишения точно не ощущаются; а простые, рабочие люди становятся как бы близкими родными, друзьями

и товарищами, без всяких ширм и задних мыслей...

## II

Прожив в партии несколько дней, я осмотрел все работы, еще раз проверил всю местность вершин Урюма и пришел к тому заключению, что тут делать больше нечего, надо спускаться ниже и преследовать всюду появляющиеся знаки золота, которые убеждали меня в том, что где-то есть настоящий снос золота и его надо во что бы то ни стало отыскать. Но это «где-то» и заставляло задумываться, проверять в голове теорию науки и соотносить практику, часто идущую вразрез с законами теории.

Считая неудобным говорить здесь о специальности самого дела, я везде буду стараться быть кратким, насколько это позволит, чтоб сказать только об одной сути дела.

В одной из падей притоков Урюма было выстроено небольшое зимовье, в котором была сбита русская печь, в коей и пекли хлеб на всю партию. При зимовье находились амбар, где хранились припасы, и погреб, куда помещались такие вещи, которые этого требовали.

Зимовье это называлось пекарней. Тут жили мой помощник, пекарь и два конюха, которые развозили припасы по окрестным долинам, в коих находились рабочие, жившие там в особых зимовейках, выстроенных из леса на месте работ, с черными каменками вместо печей. В пищу рабочие получали мягкий хлеб или сухари — смотря по их желанию; мясо, сало, соль, крупу, кирпичный чай. Все это полагалось от казны, но на руках моего помощника находились байховый чай, сахар, готовая обувь, необходимый товар и некоторые мелочи, что и давалось рабочим под жалованье, без наложения процентов. К праздникам, по заказу рабочих, я привозил им всевозможные прихоти их обихода, как-то: коньяк, ром, яйца, поросят, конфеты, пряники, масло и проч. Все это не было излишним и доказывало рабочим людям то братство, а за ним и внимание, о котором я сказал выше; и вот почему в продолжение трехлетнего своего управления я был крайне доволен всеми рабочими, а от них кроме искренней благодарности и братского благословения ничего не слышал, стяжав имя «отца». Мне тогда было

всего 29–30 лет, а потому как-то неловко и вместе с тем крайне приятно было слышать, когда люди, часто с седыми волосами, обращаясь ко мне, называли меня не ваше благородие, а просто «отец» или «барин».

Как ни тяжело было расставаться с насиженной местностью и теплым гнездом, а приходилось всю партию переводить ниже по Урюму и в избранном заранее месте, еще в зимние поездки, строить новую пекарню, амбар и пока фальшивый ледник, так как вершины Урюма были, по-видимому, все исследованы. Говорю «по-видимому» — это потому, что в действительности по воле господя оказалось не так!..

Порешив вывести партию, я собрал всех людей со всеми их пожитками и уже распределил, кому куда отправляться на новые поиски. Но какое-то предчувствие останавливало мое окончательное решение; что-то точно подсказывало на ухо — «погоди», «не торопись», «задержи партию», — и я, в силу этого необъяснимого состояния, остановил всех людей, велел им отгулять день или два, починиться, поправиться и подал им в день сбора,

вечером, по чарке водки. Люди остановились, сложили свои хотульки и радостно благодарили за неожиданный отдых и выпивку.

Всех рабочих состояло налицо около 40 человек. Всем поместиться в пекарне было неудобно, и так как время стояло уже теплое, то все люди расположились бивуаком около разложенных костров огня. Многие товарищи, долго не видавшиеся друг с другом, работая в разных местностях тайги, не могли наговориться и поделиться своими впечатлениями. Говор и шум не умолкали ни на одну минуту. Но вот стало смеркаться, походные котелки повисли на всевозможных таганах, — все готовили ужин. Я подал еще по рюмочке, — говор оживился, похлебки поспели, и живописные группы закоптелых людей разместились где кому любо у своих котелков. Шутки и остроты сыпались со всех сторон. Хоту и неподдельному юмору не было конца. Пламя костров причудливо освещало эти группы веселившихся собратий и нередко давало такие картины, которых нет и в тех напыщенных кабинетах, о которых я говорил выше.

Но вот кончился и ужин; появились из хотульков балалайки, скрипки, гармоники — и все это загудело, заплясало, запело. Никогда я не забуду этого вечера. Чего, чего тут только не выкидывалось? Даже старики расходились и отдирали такого трепака, что чертям тошно. Когда плясали «русскую», то молодые ребята повязывали головы замусленными платками, а вместо юбок надевали рубахи, которые воротом пропускали до пояса и затыкали за гасник; изображая таким образом прекрасный пол, рабочие жеманно выплясывали и плавно ходили на кругах вокруг своих кавалеров, наворачивая несуществующим турнюром. Всевозможные фокусы, ловкости, уловки — были в ходу. Появлялись и такие акробаты, что сердце замирало от страха, а удивлению не было конца. Шепот замирания и одобрителные возгласы слышались со всех сторон. Я подстрекал удальцов и показывал новые и неизвестные им гимнастические упражнения, так что не только молодежь, но и седина принималась повторять эволюции и ломаться до того, что пот катился градом, а в случаях неудачи общий гомерический хохот

оглашал уже совсем потемневшую тайгу и нарушал неопределенным эхом ее невозмутимую тишину... Появились хоры русских «каторжанских» песен, каких нет ни в цыганских таборах, ни в репертуаре г. Славянского, сердце замирало от их смысла и гармонии мотивов. Ничего подобного не даст никакое нотное пение и не выльет та народная поэзия, которую слышно внутри России. Тут до истомы ноет сердце, невольно плачет душа, говорят все кости... Но вот наконец замолкли и песни, походные инструменты попрятались в мешочки, весь уходившийся люд стал укладываться спать кому где любо, куда кто присунулся. Начались сказки, похождения, случаи, но было далеко уже за полночь, и я не помню, как уснул тут же, под открытым небом.

На солновсходе вместе с народом проснулся и я. Слышу неуклюжий русский разговор пришлых ороchon, местных аборигенов громадной тайги, но лежу, и вставать не хочется, на свету так пригрело под походной овчиной, и так замолаживает на сон весеннее утро! Но вот слышу такие речи, что я моментально со-

скочил с нагретого лежбища и позвал к себе неожиданных гостей. Оказалось, что орочны, два брата, принесли семь глухарей и продают их рабочим в обмен на сухари, крупу, чай и прочее.

— Здорово, друзья! — сказал я, вставая.

Орочны поздоровались по-своему, скрестили на груди руки, сделали крыж из сомкнутых пальцев, неуклюже поклонились, перегибая одну поясницу, и, улыбаясь во весь рот, плохо проговорили — «дратуй, дратуй» — и протянули свои заскорузлые руки.

Не умея передать весь типичный разговор ороchon, скажу только ту главную суть, которая имела громадные последствия. Дело в том, что от них я узнал, что они были на току глухарей в той долине, в которой не было разведочных работ, а между тем эта падь находилась недалеко от нашей таежной резиденции, т. е. пекарни. Крайне поражаясь таким обстоятельством, не подавая виду смущения, я скупил у ороchon всех глухарей, роздал их рабочим и просил хитрых туземцев показать мне тот самый ток, на котором они стреляли, обещаясь их наградить за это указание.

Долго переглядывались и толковали между собой ороконы, но я как бы не обращал на это внимания и соблазнил их порохом, который и обещал дать за отвод тока. Они просто ленились и не хотели идти туда, где уже были, рассчитывая вернуться в свои юрты, а меня грызла та мысль, что мы, по всем соображениям, пропустили ту долину, где они стреляли.

Наконец кончилось тем счастливым решением, что ороконы согласились вести меня на ток и поохотиться, хотя на добрую охоту и нельзя было рассчитывать как по позднему времени, так и потому, что ороконы только что были на этом току и опугали глухарей. Но тут мне нужна была не охота, а что-то другое, и это что-то увенчалось позднейшим успехом.

Перед вечером я отправился с одним аборигеном на волшебный для меня ток, а другого я приказал задержать на пекарне и угощать как можно лучше.

Ночевав на току и взяв две зори, вечернюю и утреннюю, я убил двух глухарей и в душе был поражен и обрадован тем, что та долина,

около которой был глухариный ток, была действительно не исследована нами, не вследствие нерадения или нежелания, а по той простой причине, что когда я лично ездил осматривать притоки Урюма, чтоб поставить работы, то не один раз, проезжая по льду мимо устья этой долины, при впадении ее в Урюм, не обратил на нее внимания, потому что устье этой речушки и самой долины, при впадении в Урюм, сжато горами, покрыто лесом, перерыто утесами, громадными валунами, а самая речка едва приметна и, забитая в камнях льдом, никак не походила на речку, почему — как я, так все нарядчики и рабочие — принимали ее за незначащий, ничтожный ручеек или нагорный исток.

Но тут-то и заключалась вся тайна и колдовство природы. Недаром, значит, говорят, что все клады имеют свою особую таинственность и спроста не даются в руки, а находят своего избранника, как невеста своего суженого.

Оказалось, что тот нагорный исток, за каковой мы все его принимали, в действительности есть большая долина речки, которая

имеет свои притоки, тянется более чем на 20 верст и впадает в Урюм таким обманчивым, замаскированным руслом.

Щедро расплатившись с орочами, уготив их на славу и отправив с пекарни, я снова в тот же день поехал верхом в найденную Калифорнию с двумя нарядчиками, подробно осмотрел всю долину, сделал расколотку и задал новые работы, почему более половины рабочих воротил с пекарни и поместил в эту долину. С этого дня наша верхняя резиденция не потеряла своего значения и осталась существовать и кормить рабочих еще долгое время. Только часть людей я перевел вниз по Урюму и ими обследовал впоследствии ниже лежащие притоки.

Все это заняло много времени, и я только через несколько дней, взяв с собой другого еще конюха, ссыльного черкеса Ибрагима для узнавания пути и, наняв ороча для указания ближайшей и более удобной дороги, отправился домой на Карийские промыслы, куда доехал благополучно и без особых приключений. На длинном пути нам указал ороchon два знаменательных минеральных ключа, на ко-

торых впоследствии я скоротал не одну ночь на карауле за зверями, а один из них оказался целебным источником и принес немало облегчения и пользы больным.

Приехав домой, я, дав отдохнуть своим спутникам, Алексею и Ибрагиму, отправил их в тайгу с припасами и велел им помочь перевезти часть партионных принадлежностей на вторую пекарню, ниже по Урюму, на устья речек Амуджиканов и заказал, чтоб Алексей, поправившись в тайге, приехал за мной в конце июня.

### III

Не покажется ли странным, что я, уроженец Новгородской губернии, по выходе из Горного института, попал на службу в Нерчинский край, не имея там ни родных, ни знакомых и не в силу обязательства службы, а единственно по своему желанию. Конечно, читателю не интересно это обстоятельство, но мне, ведя этот рассказ, приходится коротенько сказать, почему это так вышло, чтоб придерживаться в статье принятого направления. Отец мой был уроженец Пермской губернии, мать помещица Тверской губернии, все

родные внутри России. Что же манило меня уехать на многие годы в этот суровый, удаленный край, на каторгу? А вот что, господа, — страсть к охоте, к путешествию, нелюбовь к протекциям и желание быть самостоятельным. Кроме того, к тому способствовала особая причина, которая затрагивала оскорбленное самолюбие и давала особые силы на борьбу с жизнью, отравленную со школьной скамейки возмутительным давлением на экзаменах со стороны директора института, покойного С. И. Волкова. Человек этот, имея своих детей, давил меня и гнал с юных лет моего бытия, до выпуска из корпуса. Только общая любовь всех остальных моих начальников и товарищей, хорошее поведение и прилежание, несмотря на его ужасные несправедливости, дали мне возможность окончить курс и выйти прапорщиком, тогда как большая часть, и даже недостойные любимцы директора, выходили поручиками и реже подпоручиками. Видя ужасную несправедливость и давление в лице директора, я терпеливо нес свой крест в продолжение восьми лет, нес и не знал причины такой вопиющей немилости.

сти!..

Только в офицерских эполетах, при делании благодарственных визитов по начальству, я узнал о том, за что я нес это иго и терпел напраслину от его превосходительства, наставника и попечителя юношества! Оказалось, что я в первые годы своего поступления в корпус был вхож, как дальний родственник, в дом бывшего почт-директора Ф. И. Прянишников, где за обедом, в присутствии его приятелей, на его вопросы наивно и без всякой задней мысли отвечал одну правду и рассказывал многие неблагоприятные поступки и несправедливости своего директора, который часто за уши тянет своих любимцев и давит тех воспитанников, кои почему-либо попали в его немилость. Прянишников, будучи в контрах с Волковым по какой-то истории английского клуба, не подозревал двуличия в своих собеседниках, а потому так неосторожно расспрашивал меня о своем недруге и, конечно, не думал о том, что на меня, тогда еще ребенка, посыплется невзгода и месть со стороны моего начальника. Но, увы! Были уши, которые все слышали, а под этими ушами тай-

лись подленькие души, которые насплетничали на меня Волкову, отсюда и родилась та месть, которую я выносил, не имея понятия о ее происхождении. Странно однако же, что такая знаменательная личность, как покойный С. И. Волков, поступала таким образом с воспитанником, почти ребенком, не имевшим понятия о водвороте жизни, в котором нет правды. Если я, как ребенок (мне тогда был 13-й год) поступал опрометчиво, то не лучше ли бы позвать меня, объяснить неловкость моего поступка, пожалуй, надрать мне уши, как отец сыну, чем давить и гнать волей и силой директора восемь лет!.. Это ужасно и к чему отнести его поступок? Как назвать такого директора, который, не объясняя причины, доводит своего воспитанника чуть-чуть не до преступления?!

Боясь уклониться от сути этой статьи, я умолчу о том, чем кончилось это давление и на что оно меня вызвало, по мере истощения моего долготерпения и вопиющей несправедливости директора; скажу только, что вместо подготавливаемой им мне серой куртки я, как сказал выше, вышел прапорщиком, что и бы-

ло немалою причиною того, что я избрал себе службу на Нерчинских заводах, где тогда мест свободных было много, и я думал, что «на безрыбье и рак рыба». К тому же вследствие угнетения своего внутреннего «я» меня тянула в Восточную Сибирь какая-то неведомая сила, необъяснимая таинственность! И теперь благодарю бога, что случилось в моей судьбе так, а не иначе.

Надев эполеты, я уехал в отпуск к своим родителям, не видавшись с ними восемь с половиною лет! Отец мой в то время служил уже в Пермской губернии в Дедюхинском соляном заводе, куда и уехал на службу в тот самый год, когда я поступил в корпус.

В сентябре 1855 года кончился срок моего отпуска и я, прогостив у своих два месяца, должен был снова проститься надолго и ехать в Восточную Сибирь...

При последнем «прости» родители благословили меня.

...Остановившаяся на этом, ворочусь к прерванному рассказу и поведу речь о том, что, приехав домой из тайги и отправив Алексея и Ибрагима в партию, я, прожив несколько

дней в кругу своей семьи, видел однажды сон, что будто бы нашел в тайге новый, в серебряной ризе, образок божьей матери. Проснувшись, я сказал об этом видении жене, но оба мы не придали никакого значения сну и забыли о нем.

Но вот чрез несколько дней я снова вижу крайне замечательный сон, который и до настоящего дня остался в моей памяти, до мельчайших подробностей видения...

В ужасе и смятении я проснулся, но, не шевеля ни одним мускулом, не понимал себя и не знал — жив я или нет. Не мог сообразить, где я и что со мною! Что это, сон или действительность? Где я нахожусь? Так как в крошечной нашей спальне горевшая лампадка потухла и при запертых ставнях с улицы была непроницаемая темнота. Долго я не мог понять, где я спал, дома ли, в таежном ли зимовье, или в лесу, под открытым небом. Так велико было мое смущение и невольное непонимание окружающей обстановки, вероятно вследствие того, что очень часто приходилось менять ночлеги. Наконец совсем освоившись, я убедился, что нахожусь дома, в спальне, и

подле меня не Алексей, а еще молодая жена моя. Слыша, что она спит, я не стал ее будить, хотя ужасно хотелось поделиться с ней своим замечательным сновидением. Долго я не спал, не знал, который час ночи, и думал только об одном: как бы не забыть, не «заспать», как говорят, такого чудного сна. В силу этой боязни я долго обдумывал все виденное и, чтоб не забыть его, завязал на сорочке узел, и, как бы успокоившись этой предосторожностью, я незаметно снова уснул и проснулся уже тогда, когда взошло солнце и в щели ставней несколько осветило нашу спаленку.

Сна я не забыл и тотчас рассказал жене, как только она проснулась, а на десять ладов передумав о его значении, сказал: «Знаешь ли что, Душа (Евдокия)! Вот посмотри, что, даст бог, я открою хорошее золото...»

Прошло после этого видения четыре дня. И вот после утреннего чая сидел я у оконца нашей мизерной квартирki и читал «Современник». Как вдруг слышу близкий топот верхового коня. Я машинально оглянулся и увидел, что едет верхом мой Алексей, который, не за-

метив меня, бойко прохлынял в мой дворик. Сердце мое замерло от этой неожиданности, так как Алексей должен был приехать не ранее как еще через неделю. Много тяжелых дум повернулось в моей голове. Могли привезти в тайгу водку, перепоить команду и тогда — «поминай как звали!..» — но вместе с этими мыслями являлось и радостное чувство, о котором предсказывал виденный сон. Под этими впечатлениями я выскочил через сени во двор и пытливо смотрел на физиономию Алексея, который слезал с коня и здоровался с людьми на кухне. Радостное лицо Алекси успокоило мою душу, я видел, что ничего дурного не случилось, а напротив — сердце подсказывало мне о чем-то добром.

— Здравствуй, Алексей! Что хорошенького? Говори скорее! — закричал я ему через двор.

— Здравствуй, барин! Молись скорей богу и хвали его милость: золото нашли, и богатое золото! — отвечал, подходя ко мне, Алексей.

— В самом деле? Или ты шутишь? — радостно веря его словам и как бы не веря своему счастью, спрашивал я.

— Какие тут шутки, барин! Золото так золото и есть! Богатое, страсть! Эво какие лепехи! — говорил сиявший радостью Алексей, указывая на ногти своих заскорузлых пальцев, уже подойдя ко мне и сняв шапку.

Я обнял Алексея и крепко-крепко расцеловался.

— В той самой падушке нашли, которую мы было прозевали; вот куда заворотил ты партию и где задал последние работы, — пояснил Алексей и вместе со мной вошел в сенцы.

— Вот видишь, Алексей! Какое у меня предчувствие было, чтоб не выводить совсем партию и подождать; а ты все торопил: пойдём да пойдём дальше! Видишь, счастье-то наше ближе было; да и чуть не осталось, если б тебя послушался, — толковал я, войдя в квартирку и наливая рюмку коньяку, чтоб угостить радостного вестника.

— Верно, верно, барин! Значит, на все воля господня! С золотом поздравляю! Дай бог тебе счастья и всякого благополучия за твою простоту и добрую душу... — говорил Алексей, взяв от меня рюмку и низко кланяясь.

— Постой, брат, погоди! — Я налил другую, чокнулся с ним и выпил вместе с Алексеем, который стал рассказывать подробно об открытии и как проехал он новой дорогой, по указанию орочона и как испугал двух изюбров, бывших на минеральном ключе. Но в это время мне было не до изюбров, и я поздравил жену с открытием золота и с тем, что виденный мною сон действительно был предзнаменованием нашего счастья.

Оказалось, что первые разведочные шурфы, как и гласил рапорт моего помощника, были промыты на золото в тот самый день, на который я видел знаменательный сон.

Присланные росписи о разведках золота ясно говорили о богатстве и мощности найденной золотоносной россыпи, а привезенное Алексеем полученное в шурфе золото служило вещественным доказательством богатого открытия.

Весть об открытии новой Калифорнии в Нерчинском крае облетела весь округ. Многие поздравляли меня от души — это больше простые люди, мои сотрудники и приятели; многие и поздравляли, но завидовали моему

счастью — это больше те товарищи, которые отказывались от чести заведования партией и предпочитали теплый угол открытой, холодной и страшной для них тайге.

Через два дня после приезда Алексея я снова поехал в партию и задал новые, уже более детальные, разведки. Открытая россыпь была названа Малым Урюмом и разведывалась мною, по грандиозности своих размеров, несколько более года. Границы ее простирания по трем притокам были на одиннадцать верст и по приблизительным вычислениям в этой россыпи заключалось золота, которое могло добываться с большою выгодой для казны, такое количество, что превышало цифру 1010 пудов шлихового металла, что выражало стоимость по тогдашней цене, без лажа, на 13 000 000 рублей.

В 1864 году мною была сделана официальная заявка об открытии золотоносной богатой россыпи, и в том же году я был представлен к награде по 125 руб. с пуда получаемого металла. Но кабинету его величества угодно было изменить представление, и я был высочайше награжден, в том же 1864 году, пенси-

ей по 1200 рублей в год до тех пор, пока Урюмская россыпь со всеми ее притоками будет с выгодой разрабатываться.

В 1865 году были поставлены уже валовые работы на получение золота, и Урюм сделался злобою дня всего Нерчинского края. Я говорю здесь «злобою дня» не в смысле избитого выражения, нет, а по той действительной злобе, которая умышленно срывалась с языков завистников и прохвостов, распускавших слух, что золота в Урюме нет, а его открыватель — подлец, надувший свое начальство и кабинет его величества! Но ложь всегда останется гнусной ложью и рано или поздно почти всегда выплывает на поверхность. Так вышло и тут, но приходилось незаслуженно терпеть и выжидать время, которое и показало клеветникам, что открыватель Урюма не подлец, а найденная россыпь действительно богата и высочайшая награда последовала недаром.

Вследствие этого все лжецы получили от открывателя достойные, хотя и непечатные, стихи и замолчали.

В настоящее время Урюм продолжает рабо-

ты, выгружая свое богатство, и дал уже до настоящего дня около 900 пуд шлихового золота. Велико было бы счастье открывателя, если б дали ему попудные деньги.

Не могу не сказать тут, хоть коротенько, о том, что мне же пришлось делать первую обстановку нового промысла и получить честь управления по производству работ. Вероятно, многие не смогут представить себе и в воображении того труда, тех забот и хлопот, которые выпадают на долю тех деятелей, коим приходится в глухой тайге, за несколько сот верст от жилых мест, вдруг, скоросделкой обстанавливать работы, строить массу теплых помещений, припасных хранилищ на десятки тысяч пудов, механических устройств, гидравлических приспособлений и проч.

Заботам и усиленному труду нет конца. При малейшей неосмотрительности или даже случайной оплошности волосы поднимаются дыбом от могущей быть ответственности, и тут все лишения и личные неудобства жизни как-то забываются, приходится безропотно терпеть и мириться с ними.

Так было и при обстановке Урюма. По

несколько семей служащих людей с малыми детьми ютились в наскоро построенных «зимовьях», около одного общего очага, а забираясь в тайгу, эти путники проводили не одну зимнюю ночь под открытым небом. Разложенные костры отогревали застывшие ручки и ножки ребятишек, а морозное звездное небо служило им Покрывалом, сверх походной одежды.

С зари до зари народ кишел, как в муравейнике, в непроходимой дебри тайги, а стук топоров, как барабанный бой, оглушал неусыпных тружеников. Лесная чаща редела с каждым рабочим часом; мохнатые лиственницы и сосны, вздрагивая под неумолкаемыми ударами топоров, покачиваясь своими вершинами, как подкошенные былинки, валялись направо и налево десятками, сотнями, тысячами. Зато скороспелые постройки выростали как грибы, и целые улицы, как в волшебной сказке, вдруг появлялись там, где была дремучая тайга, незадолго уютившая в своих дебрях одних зверей и слышавшая только изредка глухие звуки сибирской винтовки бродячего орокона.

Несмотря на эту волшебную поспешность, приходилось задумываться до слез, потому что в то же время, чтоб не потерять зимнего пути, везли десятки тысяч пудов разных припасов. Их надо было помещать не медля ни одной минуты, чтоб не задерживать возчиков в бескормной тайге. А куда помещать? Это-то и было вопросом, злобой дня, навертывающимися слезами. Нередко приходилось снимать плотников, чтоб разгрести снег и на очищенное до земли место валить подвезенные припасы; закрывать их чащей от непогоды и, внутренне молясь, надеяться, что их похранит господь, так как проектированные амбары только рубились или были в еще стоялом лесу!..

Сам я, со всей своей семьей, прожил почти год в бане. Предбанник был прихожей и моим кабинетом, а самая баня служила нам спальней, гостиной и залом. Она была наскоро срублена из сухоподстойного леса, чтоб избежать сырости, что и предупреждало от разных невзгод на здоровье, зато с появлением весны из проточин сухого леса полезла такая масса хранившихся в них больших волосо-

грыжиц, что мы не знали, куда деваться от присутствия таких усатых насекомых. Особенно боялась Их жена, которая плакала чуть не до истерики, если назойливые страшные букашки заползали на ее платье или подушки. Приходилось и тут только терпеть и по возможности избегать ужасных сцен непритворной боязни.

#### IV

Однако ж, пока обстраивается Урюм и пока кипят там подготовленные работы, как в пчелином улье, я ворочусь несколько назад и скажу еще про то дорогое для меня время, когда находился я в партии и делал свои заезды в тайгу. Это самый памятный для меня период — период душевных тревог при расставании с семьей и неизвестности чего-то будущего, таинственных ожиданий.

Однажды, уже в конце сентября месяца, пробирался я в тайгу вчетвером. Кроме Алексея, вечного моего спутника, с нами ехал штейгер Тетерин и унтер-штейгер Коперский. Первый очень маленький, но плотный и крепкий человек, всю свою жизнь шляющийся по тайгам, переходя из партии в партию; а

последний — Коперский, довольно рослый и тучный мужчина, первый раз ехавший в тайгу, горячий, но трусоватый парень. Оба они были крайне веселого характера и остряки на слово, за которым в карман не лазали, а на всякую неожиданность были готовы, — на серьезные вопросы отвечали толково, а на шутку платили часто такой же шуткой и метким юмором, так что противнику нередко приходилось замолчать или смеяться до слез.

Ночуя на долгом пути у какой-то речушки, нас совершенно завалило снегом, под которым спать было тепло; но когда Пришлось вставать, то сквозь слезы сыпавшиеся остроты выходили как-то некстати и как бы теряли свою соль. Действительно, пробуждение и вставание крайне тяжело действовали на всех нас, потому что мокрый снег вымочил все наши путевые принадлежности, огонь горел худо и высушиться не представлялось возможности, так как сляка продолжалась и не на шутку пугала предстоящей дорогой по чаще леса.

Кое-как напившись чаю, мы скрепя сердце заседлали лошадей, помолились и отправи-

лись в дальний путь. Предыдущие холодные утренники худо заморозили грязи и топкие места, а мокрый снег навалился на всю поросль, так что под его тяжестью мелкие деревца нагнулись, переплелись между собою и составили как бы свод над проторенными тропинками. Положение ездоков было ужасно, потому что промерзлая грязь не держала лошадей, они преступались на каждом шагу, колыхались всем телом, то выпрыгивая из грязи, то снова проваливаясь и запинаясь за скрытые снегом кочки, сучки и корни деревьев. Ездоку приходилось вертеться на седле, как акробату, и в то же время опасаться, как бы перегнувшейся чащей не выхлестнуло или не вырвало глаза. Кроме того, чаща эта переплелась так, что приходилась верхом сидевшему человеку как раз в пояс, почему требовалось разнимать ее сплетения самим собой, тогда как лошади, нагнув головы, подходили под нависшие ветви и согнувшиеся молодые деревца. Вследствие всего этого с каждым шагом вперед, кроме ужасного молотья на седле, ездока осыпало мокрым снегом, который нецеремонно забирался всюду — за го-

ленища сапогов, за ворот шинелей, за пазуху и даже в карманы. Путешествовать пешком было невозможно, потому что ноги катились, запинались, и человеку приходилось все время идти нагнувшись и в сущности испытывать тот же снеговой душ. Все мы промокли ужасно, на нас не было сухой нитки, и мы не знали, что делать, как пособить горю? Но деваться некуда и приходилось только терпеть, кое-как подвигаясь вперед.

Но вот выглянуло солнце. Сляка остановилась, а дорога выбралась из чащи, потянулась тянигузом в гору и пошла по крупному редколесью. Мы громко благодарили бога и бойко поехали. Товарищи мои стали поговаривать веселее, их пообдуло ветерком, посушило солнышком. Послышались шуточки, мурлыканье песен, посвистывание на коней и разных мотивов. Я ехал впереди и ожил сам, а потому остановился, достал походную фляжку, выпил рюмку и угостил всех своих спутников, которые после выпивки совсем уже пришли в себя и поехали весело, забыв о снеговом коридоре.

Вот еду я и слышу забавный разговор, а по-

том и горячий спор. Ехали мы гуськом, друг за другом.

— А что, если вдруг медведь-шатун[4], вылетит на нас сбоку, что тогда делать? — говорил Коперский.

— Ну, что за беда? Пусть вылетает — у барина ферволтер есть, — отвечал мой Алеха.

— Ха-ха-ха! — засмеялся громко Коперский. — Ферволтер! Дура необразованная! Назвать еще не умеет, а туды же, фер-вол-тер! Ха-ха-ха!

— Ну, а как же нужно назвать? Известно, ферволтер, — огрызался обидевшийся Алеха.

— Конечно, вервер! а то ферволтер, — говорил уже несколько тише Коперский.

— И ты, брат Григорьич, неладно называешь, а туда же поправляешь без толку, — проговорил внушительно Тетерин.

— Ну, а как же, как же по-твоему? — почти закричали оба противника.

— Как? Известно: Вольтер; у меня у самого такой был, как служил на Амуре, — горячо отвечал Тетерин.

Коперский и Алексей захохотали уже вместе. «Вольтер, Вольтер», — повторяли они сме-

сь, и наконец все трое заспорили, съехались в кучу и, жестикулируя руками, горячо отстаивая всякий свое, нагнали меня.

Я едва держался от душившего меня смеха, но нарочно крепился и не говорил ни слова.

— А вот давайте-ка спросим барина, вот и узнаем, кто из нас прав, — сказал Алексей и стал напонуживать своего коня.

— Давай, давай! Ну-ка спроси в самом деле, — говорили оба, Коперский и Тетерин, и тоже старались подъехать ко мне.

Наконец я не выдержал, видя распетушившихся спутников, и сказал им, оборачиваясь назад:

— Все вы врете, и все называете неладно, а петушиться и просмеиваете друг друга.

— Как же, как же надо? — кричали они, перебивая один другому дорогу.

— Револьвер, — сказал я громко.

— Слышь — реворвер, — говорил Алексей.

— Нет — леворвер, — перебил Тетерин.

Слыша новый спор, я повторил им с расстановкой:

— Ре-воль-вер; ну, поняли?

— Левольвер. Ле-воль-вер, — тихо повторил

ли они и все снова захохотали.

— Подите вы, татары улусные! И по-готовому сказать не можете, а спорите по пустякам; вишь, у вас пена у рта, а толку нет, — сказал я, смеясь.

Все они хохотали, тихо шептали мудреное для них слово, коверкая его по последнему выражению, и наконец замолчали. Мы подъехали к речке и остановились обедать. Развесив перед огнем промокшую одежду, мы поставили котелок и с нетерпением дожидались похлебки. Но вот поспела и она, мы выпили по рюмочке и принялись уписывать по-таежному. Наевшись как следует, я, отправляясь к речке пить, сказал шутя:

— Вот, если б кто теперь тут выкупался, то можно бы поженить на другой бабе.

— А что дадите? — сказал Коперский. — Я и без бабы выкупаюсь.

— Бреешь, брат! Храбрости не хватит теперь выкупаться, — заметил я снова.

— Нет, выкупаюсь, что дадите? — говорил он. Принимая это, конечно, за шутку, я сказал, что 2 рубля дам, думая, что на такую пустяшную сумму он не позарится.

— Хорошо, идет! — отвечал Коперский и стал раздеваться.

Видя это и все еще думая, что он шутит, я проговорил громко:

— Ну, а если не выкупаешься, то я вместо денег вытяну тебя, жирного, вот этим прутом.

Но Коперский молчал и поспешно раздевался. Убедившись, что он не шутит, я достал два рубля и сказал:

— Что ты, окаянный, сдурел, что ли? На вот деньги и не смей купаться.

— Нет, — говорил он, — даром не возьму, — и живо подбежал по снегу к речке и плюхнул в воду, окунулся три раза и выскочил как ни в чем не бывало.

Лошади наши были уже заседланы, мы ожидали одевающегося Коперского; но я завязал стремяна на верху его седла и не позволил ему сесть на коня, а поехав вперед, пропарил его пешком до тех пор, пока он пропотел и стал проситься залезть на лошадь.

— Ну что, будешь купаться? — говорил Терин запыхавшемуся Коперскому.

— А что за беда! Эка важность окунуться три раза! Зато два рублика в кармане, все же

сыну на сапоги хватит, — отвечал он и закурил свою носогрейку.

Эта осенняя поездка в тайгу была не совсем удачна и в обратный путь. Погода стояла сырая, то дождь, то снег смачивали тайгу почти каждый день, отчего даже и пустые речушки пучились, надувались, пенились и гремели своим быстрым нагорным течением. Северные покатоности гор побелели от снега, дорожки разжижили и представляли еще большее затруднение для передвижений. Нужно было торопиться, чтоб успеть выбраться из тайги.

Прожив несколько дней в партии, распорядившись работами и задав новые, я оставил в ней Коперского, а с Алексеем и Тетериным отправился в обратный путь, взяв с собой двух вьючных лошадей, на которых рассчитывалось отправить с Карийских промыслов припасы для рабочих, которые просили меня купить им некоторые теплые принадлежности. Зима была уже недалеко, и понадобились чулки, фуфайки, варежки и прочие вещи.

Отправившись с верхней пекарни утром, мы благополучно добрались к вечеру на ниж-

нее зимовье. Людей тут было мало, и я успел осмотреть работы в тот же день. К ночи сырая и серая погода стала изменяться, подул сивер, а в воздухе сделалось хотя и суше, но холоднее. Мы заночевали в зимовье. Проснувшись рано утром, меня удивило то, что между моими спутниками шел тихий разговор; они не приготавливались к походу и не будили меня. «Что бы это значило?» — подумал я, но встать не хотелось, и я лежал под крестьянской черной шинелью.

— Однако в хребте снег ляпнул; вишь, какой стужей потянуло, — говорил тихо Тетерин.

— Стужа-то стужей, — это ничего, вато сухо; а вот как Урюм переедем? — возражал Алексей.

Слыша это, я соскочил с койки, перекрестился и спросил:

— А что такое Урюм?

— Да чего, барин, — посмотри-ка, что он делает! В одну ночь вода-то прибыла на 6 четвертей, — пояснили оба мои спутника.

Тотчас отправившись к берегу, чтобы умыться, я просто не верил своим глазам, по-

тому что почти не узнал своего Урюма. Из средней величины горной речки образовалась большая многоводная река. Быстрина была ужасная, отчего по поверхности воды стремительно неслись клубы серовато-белой пены, которые вертелись, нагоняли и перегоняли друг друга, соединялись, разбивались и, кружась, цеплялись за береговую затопленную поросль. Вода по всей поверхности помутнела, крутилась то образуясь, то исчезающими воронками и, шумя каким-то особым характерным шумом, неслась по середине, забегала в береговые плесы, замоины и подмывала берега, которые обваливались и тоже с особым характерным шумом плюхали в воду. От этого образовывались густая муть и новые клубы пены, которые тотчас же уносило вниз по освирепевшей реке. Целые и изувеченные громадные лиственницы, подмытые выше, с шумом неслись по Урюму, направляясь вниз своей вершиной, а огромные их корни с землей, дерном и державшейся на них галькой служили им как бы рулем и направляли путь. В кривляках громадные несущиеся лесины вершиной упирались в берег, отчего

тяжелый их комель с корнями несколько изменял свое направление, напирал в упорную точку и движение будто приостанавливалось; вся лесина становилась поперек течения; вода с клубящейся пеной поднималась выше и массой напирала на встретившуюся преграду. Вследствие этого ужасного напора лесина не выдерживала; ее вершина и сучья ломались, трещали и, отрываясь, уносились водою; но вот и самое веретено дерева выгибалось дугой, если место было тесно, и с ужасным треском ломалось пополам. В широких же плесах комель делал полукруг и спускался по течению вниз; от этого упертая в берег вершина освобождалась, но ее тотчас заворачивало быстринной, почему вся лесина снова поворачивалась на воде, в обратном виде перво-му повороту и по-прежнему, вниз вершиною, неслась по течению...

Долго стоял я на берегу и любовался этой картиной природы. Сердце мое поднывало, потому что предстояла необходимая поездка и переправа чрез эту освирепевшую стихию, а душа невольно подсказывала о величии творения создателя. Но вот я слышу голос

Алексея, который и вывел меня из созерцания и тяжелого раздумья.

— Барин! Эвот орочны приехали. Давай спросим их, где лучше переехать, они все брода знают.

Я оглянулся. У зимовья, действительно, стояли ороchonские олени, а их хозяева, те самые два брата, которые отводили мне ток, своей звериной неслышной походкой подвигались ко мне.

Поздоровавшись с ними, мы стали расспрашивать их о том, где и как переехать Урюм. Они говорили, что сейчас нечего об этом и думать, а что вода скоро должна несколько сбыть, потому что поднялась вдруг, а не «водом» (т. е. исподволь) и тогда можно будет переправиться на ту сторону на собачкином броду. Падь Собачкина находилась ниже от зимовья верстах в восьми. Делать было нечего, приходилось мириться с обстоятельствами и слушаться опытных жителей тайги.

Волей-неволей мы остались дневать. Я велел варить завтрак, чтоб с горя закусить самим и угостить гостей.

Вечером в этот день я с одним орочоном отправился на охоту, в увалы. Погода разъяснилась, и вечер был добрый. Тихо вышагивая около солнпеков, я не видал никого, но ороchon заметил где-то козулю, долго ее скрадывал и убил из своей немудрой винтовки. На звук выстрела я побежал к нему, но ороchon, завидя мое приближение, грозил мне пальцем, чтоб я не ходил. Оказалось, что с его выстрела шарахнулась из кустов изюбриная матка и сначала, пробежав несколько сажен, остановилась, а потом бросилась на большие ускоки и моментально скрылась в чащу. Жаль, что он не заметил ее раньше, а когда уже увидал, то не успел зарядить винтовку.

Подойдя к орочону, когда уже миновалась осторожность, я увидел, что мой закоптелый товарищ оснимывал добычу. Он проворно облупил козьи ножки, подрезал их суставы, оставя сухожилья, и вынул из брюха все внутренности. Сырые и еще теплые почки он тут же артистически съел, а я отказался от его угощения. Затем он вырезал сухой обгорелый прутик, заострил его как иголку, стянул распоротое брюхо козули, прошил им по краям и

зашил тонким сырым прутком разрезанную на брюхе шкурку. Потом подобрал снятую с ног козули кожу, связал эти ремни наперекрест, просунул в них руки и надел на спину свою добычу, как ранец. Я молча выглядел всю эту процедуру опытного аборигена, закурил папироску, дал другую ему, и мы вместе потянулись к зимовью, где Алексей сварил уже ужин и поджидал нас. Нельзя забыть этот способ свежевания убитого животного и легкого и удобного переносения его на себе. Защищенное брюхо козули, приходившееся к пояснице охотника, нисколько не марало его одежды, а вся ноша, ловко повешенная на плечах, не обременяла на ходу.

Вечером же орочон рознял на части козую и накормил нас прожаренной на вертеле свежинкой.

Когда мы встали рано утром, орочонов уже не было, а вода в Урюме действительно сбыла четверти на две. Мы оседлались и поехали на собачкин брод. Погода нас радовала, хотя северный ветер дул порядочно, зато было сухо и светло. Небо выяснило, и только белые, клочковатые облака быстро неслись по синей

лазури. Дорога подсохла, и грязи схватило крепким утренником. По Урюму образовались тонкие ледяные забереги. Вообще ехалось легко и свежо, так что до собачкина брода мы добрались скоро и благополучно. Но вот и брод. Вода широко разлилась по речной шивере и затопила речную гальку, между которой стояли небольшие лывки, подернутые первым осенним ледком. Ширина брода простиралась от 80 до 90 сажень. Противоположный берег был довольно крут и густо порос лесом. По всему броду вода быстро катилась серебристой рябью и шумела по более или менее выдающейся гальке; но в его нижней части, на самой середине реки, торчали два огромных, увесистых камня, наискось один повыше другого. Между этими камнями вода стремилась ужасно; сильный ее бой точно умышленно напирал на это вековое препятствие и, как бы пользуясь случаем разлива, хотел спихнуть гранитную преграду. Но увы! волнистые струи набегали на громадные пороги, клубились, пенились и, разбиваясь вдребезги, только обдавали их верхушки холодной, искристой водяной пылью и еще с

большей стремительностью неслись в образующиеся ворота между этими твердынями. Ниже же брода, и как раз за порогами, находилось тихое глубокое плесо, где вода точно отдыхала от неудачной попытки спихнуть преграду и по ее поверхности разбитая пена кружилась повсюду мелкими клубочками и колечками. Тут бой умолкал и слышался только тихий попукивающий шум от прорвавшейся струи сквозь ворота и лопающихся пузырьков вертящейся пены. Тут вода мурлыкала воронками и как бы говорила, что под ее поверхностью скрывается большая и темная глубина, что как-то удручающе и таинственно действовало на нервы. Она точно шептала на ухо, среди общего шума, что если ты не переберешься чрез бушующий брод, то здесь, в этой зловещей пучине, твоя неизбежная могила.

Долго мы ездили по отлогому берегу и выбирали место, где бы лучше переехать брод. Но так как Алексей и Тетерин держали поводья вьючных лошадей, которые стесняли их движения, а я один был свободен, то и сказал им, чтоб они подождали, пока я попробую пе-

реезжать, и с этим словом поехал в воду, избрав место сажень на 60 выше порогов. На мне висела с привернутыми сошками винтовка, в тороках лежала поперек коня привязанная шинель, а подо мной, на седле, были перекинуты таежные сумы, плотно набитые всякой всячиной и крепко зашнурованные ремнями.

Когда я собирался ехать, то оба мои спутника уговаривали меня не ездить, а Алексей прямо этого требовал и говорил, что поедет пробовать брод он. Но я не слышал уже его последних слов и смело подвигался, несколько наклонившись по течению, вперед. Подбираясь к половине ширины брода, конь мой смело и твердо шел по гальке, хотя вода била его уже вполбока и захлестывалась на мои колени. Видя это, я уже хотел заворотить назад, как вдруг конь мой всплыл и, вытянув по воде шею, поплыл. Испугавшись такой неожиданности, я тотчас выпустил на всю длину поводья и выдернул из стремян ноги. Умный и легкий конь плыл наискось поперек реки, но вдруг я заметил, что его стало покачивать и сильно понесло; в этот самый момент я увидел, что меня далеко умчало быстрой струей

фарватера и ужасные пороги находились от меня всего в нескольких саженьях! Сердце мое сжалось от ужаса, и первая мелькнувшая в голове мысль была та, чтоб скорее сбросить с себя винтовку, но беда была уже так близко, что я не успел этого сделать; а чувствуя, что меня с конем бросит на камень, я машинально повернул коня на правую «чизгину» (повод) и моментально направил его вдоль реки, что помогла мне сделать быстрота течения и что инстинктивно разумело животное. В один миг я был уже между порогами, и меня обдало с головы мелкими водяными брызгами. Помню, что я тихо, как-то внутренне проговорил: «Господи, помилуй меня и сохрани!»

И теперь не могу представить себе того момента, как стремительно продернуло меня между порогами и как я очутился плывущим на широком и глубоком плесе. Щукой вытянувшись, мой конь, как бы не выпуская воздуха из вздутых боков, тише уже плыл по-вдоль по речке и только изредка пофыркивал ноздрями. Ниже порогов струя била к противоположному берегу, и я, воспользовавшись этим, стал потихоньку воротить к левому бо-



«Урюм»

ку. Вот уже я в нескольких саженьях от берега и вижу, как бойко мелькает в моих глазах проплываемая береговая поросль. Наконец я почувствовал, что мой утомленный конь коснулся ногами дна; еще минута, он уже, повесив голову, зашагал по твердому речному грунту, и меня прибило струей к самому берегу, на котором большой массой лежал переплывшийся между собою, набитый водою валежник. Громадные карчи торчали тут целой сетью перемешавшихся корней и своими «за-лисевшими» остовами говорили о том, что они испытали более тяжелую судьбу в своем существовании и погребены здесь давно.

Лишь только коснулся я первой береговой карчи, как тотчас соскочил на нее, прикрепил за выдавшийся сук стоящего в воде коня и набожно, с полною верою в милосердие создателя, помолился и поблагодарил господа за спасение.

Когда я, опомнившись, оглянулся вверх по реке, то мои товарищи были очень далеко от меня, стояли как окаменелые еще на том берегу и по-видимому не знали, что делать. Но когда я им закричал: «Ищите другого брода,

выше!» — чего они, как оказалось, не расслышали, — то я видел, как они, сняв шапки, крестились и, заехав выше, спустились на брод.

Как переехали реку Алексей и Тетерин, я сам не видал, потому что трясся от холода и внутренне молился.

Голова у меня ходила вокруг, я боялся, как бы не слететь с карчи, и удерживал коня, который хотел выпрыгнуть на ту же карчу. На мне не было сухой нитки, но пришлось ждать товарищей, которые и приехали ко мне минут через двадцать, бледные и со страхом на лице от виденной ими потрясающей картины...

Когда они добрались по валежнику до меня, то я бросился к ним и стал от радости обнимать и целовать их обоих. Все трое мы снова помолились и немедленно принялись за работу. В два топора, попеременно, рубили мы более тонкие карчи, спускали их на воду, расчищая дорогу, и только не ранее как через полчаса могли вытащить моего коня на расчищенное место. Говорю «вытащить» потому, что несчастное животное до того ослабело и промерзло в холодной воде, что не могло дви-

гаться и только дрожало, не имея силы и бодрости, чтоб встряхнуться от бежавшей с него воды.

Разувшись, мы тотчас надели на руки свои мокрые, крестьянские чулки и ими принялись оттирать моего Савраску.

Только после этой операции животное пришло в себя, несколько раз фыркнуло ноздрями, зевнуло и встряхнулось. «Ну слава богу», — сказали мы все трое разом и кое-как, с большим трудом, вывели уже повеселевшего коня.

Разложили огонь, выжали все платье, немного погрелись и в сырых костюмах отправились пешком, чтоб согреться внутренне. К несчастью, никакого вина с нами уже не было, потому что распоили все в партии и при угощении мокрогубых ороchon. Пройдя верст пять или шесть, мы согрелись до поту, а платье наше подсохло на нас, и мы уже сели на коней, которые тоже отдохнули и пошли бодро.

Не один раз впоследствии судили мы о том, каким образом мой конь, хотя и легкий на воде, не затонул под такой тяжестью, пото-

му что я все время сидел в седле и не погружался в воду выше пояса. Положим, что быстрое течение способствовало лошади плыть, но ведь в то же время оно же и захлестывало животное. Думаю, что находившиеся подомной плотные и крепкие таежные сумы немало помогли в этом редком случае, потому что они не потонули и все время, как пузыри, поднимались кверху и хватали мне до талии. Все это так, но провидение и милость господа тут более на первом плане. Ему молюсь и доньше и его благодарю за чудное свое спасение!..

Тетерин и Алексей не один раз рассказывали мне про тот ужасный момент, когда они увидали, что меня повернуло вдоль реки и стремительно продернуло в воротах, между страшными порогами. В это время моего коня они не видали совсем, а замечали только одни мои плечи, шапку и приклад винтовки; а когда меня обдало массой водяной пыли и скрыло порогами, то совсем потеряли из глаз и молча стали молиться, полагая, что меня совсем удернуло в плесо. Когда же я снова показался им на воде, как черный поплавок, то

они, за дальностью, не могли различить очертаний и сбивались в понятия, что они видят голову ли лошади, выброшенную ли мою одежду, или меня? Это сомнение свинцом давило их душу, и они молча только крестились, не сознавая того, молятся ли за упокой или за спасение своего «барина». Только тогда, когда я уже вышел на карчу и показалась у берега спина моей лошади, они пришли в себя и едва сообразили, что и им нужно перебираться на другой берег, что они и сделали несколько сажен выше того места, откуда я отправился, — и тут благополучно переправились, так что и лошади их ни разу не всплыли.

Только вечером, приехав на ночлег, вспомнил я, что со мной находилось 700 рублей казенных денег, которые и хранились у меня на груди, в шелковом мешочке. Представьте мой новый ужас, когда я распорол мешочек и увидел, что все кредитные билеты были мокры... Пришлось сушить походную казну, для чего мы сделали сошки, вбили их в землю, положили на них палку, а на нее растянули шинель, к которой и прикрепили, тоненькими

деревянными иголками, все пострадавшие от потопления кредитки. Перед разложенным костром они скоро просохли, я успокоился и улегся спать, но всю ночь провертелся без сна; какое-то нервное состояние отогнало Морфея, несмотря на ужасную усталость, и я завидовал богатырскому храпу Алексея и на- свистыванию Тетерина.

Заканчивая эту главу, оказалось, что в тетради остается свободное место, а потому я и позволю себе рассказать еще один из сотни тех случаев, кои приходилось испытывать, находясь в поисковой партии.

Однажды в июле месяце, пробираясь в партию с Алексеем, мне не хотелось ночевать в Горбиченском казачьем карауле, стоящем на левом берегу Шилки, а потому мы и проехали его мимо, чтоб ночевать в тайге. Время еще было рано, день стоял превосходный, кони шли бодро — чего же лучше; а ночевать в лесу гораздо приятнее, чем в душных избушках, часто засыпанных мириадами неприятных насекомых. Отъехав от Горбицы несколько верст, мы стали подниматься на Желтугинский водораздел. Но вот мы заметили, что по-

сле душного и жаркого дня на небе стали появляться грозовые тучи, которые медленно группировались на небесном своде, плавно подвигались в нашу сторону, наплывали одна на другую и, скучиваясь в общую темную массу, грозили предстоящей бурей. Видя такую перспективу, приходилось подумать о ночлеге под открытым небом и пожалеть, что не остались в Горбице.

Не проехав и половину подъема на хребет, мы выбрали удобное место у небольшого ключика, около которого рос лесной пырей, что могло служить лакомой пищей для наших лошадей, остановились и заторопились развести огонь и наставить котелок, так как вдали погромыхивал гром и до нас доносились отблески молнии.

— Ну, где-то гроза покатывает! — сказал Алексей.

— А вот, смотри, что и к нам пожалует, — говорил я, наблюдая за движением тучи, но небо обложило повсюду, и сквозь вершины деревьев и их промежутки уследить было невозможно, куда надвигается роковая, непроницаемая туча.

Гром слышался чаще, молния сверкала яснее, и стали появляться редкие, но крупные капли дождя. Сделалось несравненно темнее, и мы торопились закусывать. Было уже около десяти часов вечера, как редкие капли сменились на частые, а затем полил такой ливень, что мы едва успели броситься на потники и закрыться — я крестьянской, толстого сукна, шинелью, а Алексей — потником. Легли мы нарочно поодаль друг от друга. Стало так темно, что не представлялось возможности различать деревья. Дождь лил как из ведра, молния засверкала ужасная, удары грома следовали за ударами, ветер шумел страшными порывами, и окружающий нас лес болтался во все стороны, нагибался, скрипел и страшно трещал. Под нами стояли лужи воды, которая в общем шуме дождя и ветра характерно журчала каскадами, сливаясь с нагорной крутой покатости.

Целый ад неба повис над нами и, разразясь свирепой, ничем не укротимой силой, точно пробовал наши слабые силы и посылал свои перуны моментально, один за одним. Тотчас за ослепительным блеском молнии

следовали страшные оглушительные удары; но вообще грохот; и рокотание раскатов грома не умолкало ни на одну секунду. Но вот налетел такой шквал, что вокруг нас, недалеко, с страшным треском повалились деревья и в общем гуле бури загремели своим падением.

Мы молились душою и набожно крестились под промокшими покрывалами, которые давили нас своей сырой тяжестью. После каждого удара мы невольно перекликались.

— Алексей!

— А! — было ответом.

— Барин!

— А! — отзывался и я.

Эти возгласы говорили нам о том, что мы живы.

Ни потник, ни шинель не закрывали от нас яркого блеска молнии. Напротив, я всякий раз ясно видел клетчатую сеть ткани сукна, а Алексей, как он говорил, различал группы скатанных волосиков своего потника. Когда я осмеливался выглянуть из-под полы шинели, то при всяком новом блеске молнии мне казалось, что вся земля нагорья, со всею своею растительностию точно моментально

зажигалась электрическим зеленоватым огнем; деревья делались как бы ажурными, а каждая их игла рельефно рисовалась своим очертанием; неподвижно стоящие лошади, с сложенными ушами, казались темными силуэтами, а лежавший недалеко Алексей какой-то черной неопределенной кучкой.

Но вот еще страшный удар, и вся земля под нами вздрогнула, а стоящая саженях в 25 от нас сухая громадная лиственница вдруг, как волшебным чудом, исчезла из глаз.

Мы молились и продолжали перекликаться. Наконец буря стала проходить, удары перешли в раскаты, молния становилась отблеском, дождь проходил, и затем наступила тишина, которую нарушали только журчащие потоки, яро стремящиеся с нагорья.

Встав на свету, мы увидали, что громадную сухую лиственницу расщепало до корня, а отлетевшие дранощепины так глубоко вонзились в землю, что некоторые из них мы вдвоем не могли вытащить.

## V

Пока я рассказывал о тех случаях, которые редко встречаются в жизни человека. Урюм

уже совсем обстроился, и в нем шла промывка шлихового золота. Считая неудобным говорить здесь подробно вообще о добыче золота на сибирских промыслах, я скажу только несколько слов опять и о тех же невзгодах, тягестях жизни и вместе с тем ее развлечениях, кои приходится ощущать и переносить нашему брату.

В первый год разработки Урюма, поставленной, так сказать, на частном порядке, пришлось вынести столько горя и тревожений, что ничего подобного не желаю никому. Дело в том, что, не говоря уже о непосильном труде, хлопотах и заботах, довелось до слез возиться с командой, которая была набрана по новости дела, как говорится, с Камы и с Волги, всего до 700 человек. Эта разношерстность не имела бы дурного качества, если бы не было перед этим дарованного освобождения кабинетских крестьян от обязательного труда. Эту высочайшую милость освобожденные крестьяне и горнорабочие люди поняли по-своему и думали, что воля и свобода заключаются в совершенной равноправности сословий и безапелляционном своеволии! Все они счита-

ли себя какими-то «панами», на которых нет ни суда, ни расправы, и в силу этого убеждения дозволяли себе всевозможные безобразия, нахальство в поступках и бесцеремонность в обращении, доходящую до личного оскорбления и дерзости с людьми, выше себя стоящими во всех отношениях.

И в этот-то самый период переходного состояния, когда еще освобожденные люди не успели отрезвиться, пришлось обстанавливать новый таежный промысел!

При семистах такой вольницы на прииске не полагалось никакой охраны со стороны полицейских мер, а в силу контрактов люди обязывались избрать из своей среды старшин, которые и должны были чинить суд и расправу. Конечно, эта мера недурная, если бы все люди были людьми и понимали свои обязанности, но увы! На деле вышло не совсем так и вышло потому, что управляющие не имели голоса в выборе старшин, а команда, ложно понимая святость выборного начала, избирала в общественные владыки таких людей, которые не имели за собой никаких заслуг порядочности, а напротив, отличались

буйной жизнью, — говорунов, грубиянов и людей по большей части безграмотных, что, конечно, имело большое влияние на невыполнение контрактных условий по работам и попираание законных требований.

Вследствие такой обстановки общественного порядка, явилось в команде много негодаев, которые мучили и возбуждали ее всевозможными неправдами и ни с чем несообразными выдумками. Они распускали слухи, что людей обсчитывают в мере по работам, в выдаче задельной платы, в приписке невыданных на руки припасов и проч. Ежедневно вымышленным неудовольствиям не было конца; приходилось умиротворять ясными доказательствами на придуманную ложь и не находить виновников, потому что их скрывали. Словом, это был ад, который доводил до отчаяния, и только терпение и сила воли, при сознании своей непогрешимости, побороли его — это «пекло» народной разнузданности!..

Все нарядчики, мастера и надсмотрщики теряли голову и уже отказывались служить, потому что команда мало их слушала и свое-

вольничала. Всего больше буйнов являлось преимущественно из среды бывших обязательных, меньшинство из переселенцев и никого из вольных-ссылнокаторжных. То ли потому, что эти люди понимали свои обязанности, то ли оттого, что над ними в управлении находилась острастка, состоящая в жалобе тюремному управлению, и они могли снова лишиться дорогой для них свободы и потерять надежду на заработки.

Вот однажды утром заявляется ко мне заслуженный обер-штейгер Соловьев, весь бледный и трясущийся от волнения. Он категорически доложил, что обыватель Онохов (бывший обязательный) не только не слушает его приказаний, не исполняет законных требований по работе, но своевольничает и пред лицом всей команды обругал его неприличными словами, а потому просит меня или принять решительные меры, или рассчитать его и уволить.

При таком состоянии общей разнузданности положение мое было крайне неловкое; мер решительно никаких не представлялось, кроме письменных жалоб, которые ни к чему

не приводили вследствие ложного понимания гуманности либеральными мировыми посредниками...

Ни слова не говоря, я взял шапку, и отправился вместе с Соловьевым на разрез, где до 250 человек работали на вскрытии торфов и добыче золотиносных песков. Золотопромывальная машина действовала на полном ходу и промывала пески.

Когда я пришел на разрез, то все рабочие поняли, в чем дело, остановились на своих местах, кто где был, перестали работать и, опершись на ломы и лопатки, выжидали, что будет. Тишина воцарилась повсюду. Я громко спросил Соловьева, в чем дело, он так же громко объяснил свою жалобу и просил защиты. Я позвал к себе Онохова и стал говорить ему, зачем он не слушает главного надсмотрщика и почему не исполняет условий контракта. Рослый, здоровенный Онохов отвечал мне крайне грубо, и когда я приказывал ему выполнить законные требования Соловьева и публично пред ним извиниться, то Онохов дерзко и громко сказал мне, что он столько же боится меня, сколько и Соловьева,

показывая в это же время рукой на что человек садится. Многие из рабочих засмеялись. Кровь прилила мне в голову, я не выдержал такой вопиющей публичной дерзости и хватил по физиономии Онохова так, что он кубарем, через голову улетел сажени на три и не мог сначала подняться. Минута была критическая и крайне опасная. Но во всей массе рабочего люда пробежал сдержанный взрыв одобрения, и все, до единого человека, как бы не видя случившегося, принялись дружно и старательно работать...

Что бы вышло со мною, если б не удалась эта штука?..

Но с этого дня все изменилось, Онохова вся команда стала называть моим крестником, и народ отрезвился, почти добросовестно исполнял свои обязанности, жалоб от надсмотрщиков не стало, а при расчете команды в сентябре месяце я, кроме братских благословений и дружеских пожеланий, ничего уже не слышал. Когда же, вслед за отправившейся командой, поехал я из промысла, то на урюмском броду увидел на громадной лиственнице большую затесь, на которой была выреза-

на ножом и протерта углем следующая надпись:

*«Г-ну Черкасову от всей урюмской команды благодарность. 1865 года».*

Прошу извинить читателя, что я уклоняюсь от цели журнала и беседую с ним о чем не следует, но он, конечно, вправе пропустить эти страницы, а мне хотелось познакомить его еще раз с тем, что приходится переносить и испытывать труженикам при таежной обстановке и что выпадало на мою долю, относя это повествование, конечно, не к охоте, ну а хоть к природе человека...

Этим я закончу свое отступление и скажу теперь об охоте, которою я пользовался, живя на Урюме, и которая, конечно, составляла главное мое удовольствие и развлечение в минуты отдыха, от тяжелых треволнений таежного труда, вдали от всего живущего другой жизнью. Охота в тот период была единственным целительным бальзамом моего существования. Она давала возможность забывать тяжелые минуты, нескончаемые заботы, веселила душу и восстанавливала потрясен-

ные нервы. Охота! Охота!., ты одна напоминала мне о лучшей жизни и точно толстой завесой закрывала всю тяжесть всего пережитого в тайге и давала новые силы на новую борьбу с трудом и жизнью в такой трущобе, о которой немногие имеют настоящее понятие; зато сколько таких, кои сочтут все сказанное за сказку и, недоверчиво улыбаясь, конечно, не оценят всего настоящей оценкой. Счастливицы! Живите, кейфуйте и наслаждайтесь в своих теплых углах у роскошных каминов; топчите свои толстые, мягкие ковры и, пожалуй, не верьте, но только не делайте гримасы, а то вы будете мелки и жалки!..

Читатель, вероятно, помнит, что по долине Малого Урюма был большой глухариный ток. Он-то и был на первых порах урюмской жизни нашим развлечением и нашим отдыхом. Я говорю здесь нашим, — это потому, что в числе служащих было несколько завязанных охотников, моих сотоварищей как по службе, так по оружию и страсти К охоте. Было время, когда Урюм только что начинал обстраиваться, когда еще сысподволь рубились первые зимовья, мы бивали глухарей около самых

построек и несколько раз снимали их с высоких лиственниц из пузырем затянутых оконцев и дверей зимовья. Это случалось рано утром или поздно вечером, когда работы или еще не начинались, или уже прекращались и люди не торчали на воздухе, а были в жилом помещении. Какой радостью обдавало охотничье сердце, когда кто-нибудь замечал прилетевшего глухаря на близстоявшее дерево и тихонько, келейно, сообщал мне об этом неожиданном визите. В это время всегда заряженная винтовка была начеку, как говорится, она быстро попадала в мои руки, пузырьная форточка открывалась, дуло просовывалось в ее отверстие — бац! — и глухарь, считая сучки, валился на снег.

Замечательно то, что глухари, привыкшие посещать ток, свою арену любовных наслаждений, прилетали и тогда, когда уже большая часть леса около тока была вырублена; из него родились постройки, дымились трубы, тут же находились в загородках лошади, а народ кишел с утра до вечера, неумолкаемо тюкал топорами, и нередко каторжанские песни раздавались во всю окружающую ширь

непроглядной тайги.

Но еще удивительнее то обстоятельство, что глухари назойливо посещали ток и тогда, когда уже Верхнеурюмский промысел почти совсем обстроился и работы повсюду кипели, в полном значении этого слова. Целая улица домов, магазины, кузница, конюшня, контора и прочие постройки стояли готовыми в окрестностях тока; велись уже земляные работы по отводным каналам, а глухари точно не видали этой оседлости и целыми десятками сваливались на свое любимое токовище, центр которого находился от главных построек всего в 150 саженьях, а от моего жилья не было и двухсот.

Когда наступил март и таежное солнышко стало поглядывать и пригревать по-весеннему, то и мы, грешные, забывая все недосуги и треволнения службы, отходили душою и только известною страстью охотнику, с особой радостью приветствовали появление первой весны. Намучившись и наслужившись днем, все утренние заботы исполнялись того же дня вечером, а ночь не давала надлежащего отдыха; тревожный сон худо смыкал уста-

лые глаза охотника, и нервная, приятно щекотавшая дрожь поминутно напоминала о том, чтоб не проспать зари и скорее, скорее, вприпрыжку бежать на близлежащий ток. Бывало, еще черти не бьются в кулачки и только черкнет желанная заря, как точно кто толкнет задремавшую душу; соскочишь как угорелый с кровати и, умывшись кой-как, бежишь с винтовкой к глухарям, стараясь опередить их прилет на ток. Да, только не охотнику такое поведение покажется странным и, пожалуй, смешным. Но не для него царапаю я свои записки, а хочу поделиться с теми друзьями, истыми охотниками, которые поймут эти строки и посочувствуют моему увлечению. Им я протягиваю свою руку и крепко, крепко трясую их бесперчаточные теплые длани...

Почти ежедневно ходили мы на этот замечательный урюмский ток. Нередко нас собиралось на нем до 4–5 человек, но мы не мешали друг другу и обоюдно делились радостями удачной охоты. Сколько курьезов, сколько замечательных случаев, сколько веселых разговоров давал нам этот ток в первую весну су-

существования Урюма! На нем мы убили всего 76 глухарей, что и скажет охотнику о его грандиозности! Ежедневно прилетало на него от 10–20 глухарей, что и зависело от состояния погоды. В хорошие ясные и тихие утра иногда собиралось их и больше, но в дурную ветреную погоду не появлялось и половины, да в такое время мы и сами оставались дома и скрепя сердце ложились доканчивать Морфея. Об этом замечательном токе я более подробно писал в статье «Глухарь», в своих «Записках охотника Восточной Сибири», второго издания (1883 года), а потому здесь и не хочется повторяться.

На второй год существования Урюма как промысла в нем появилась уже церковь, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а значит, явился и священник, — отец Иоанн В-ий, который, как оказалось, был страстный охотник в душе, что нисколько не мешало ему быть достойным уважения пастырем и всеми любимым человеком.

Когда я познакомился с отцом Иоанном поближе, покороче, и сошелся как друг, то, понятное дело, что не одну ночь переночевал с

ним в тайге и не одну зарю скоротал на охоте. Бывало, грех и смех, как придет великопостная служба, ему надо служить утреню, а я собираюсь на ток. Заявится батя ко мне и поглядывает на мои сборы, а у самого слезёнки на глазах и говорит как-то в нос:

— Что ты, блудный сын! Опять на ток собираешься?

— Да, а что?

— Возьми меня.

— А утреня как?

— Ничего, я отслужу всенощную, а к «часам» буду на месте.

— Ладно! Беги, батя, да поправляйся, чтоб все начеку было.

Повеселеет мой батя и побежит снаряжаться к охоте.

Отец Иоанн был человек небольшого роста, но плечистый и крепкий; чисто русское, добродушное лицо окаймлялось небольшой окладистой с проседью бородкой, а под широким лбом и маленькой лысиной светились бойкие, умные, темно-карие глаза. Душа — вся нараспашку; что на уме — то и на языке. Корыстолюбия в нем не существовало — сыт,

и слава богу! Дадут что за требы — ладно, не дадут — и только, слова не скажет; а если нужно, сам отдаст чуть ли не последнюю рубашонку. Свадьбы венчал он так — согласна невеста, повенчает; если нет — ни за что; а все это он знал, как житель немногочисленного Урюма; и уж тут никакие деньги его не подкупят. В беседе он был умный, острый, веселый собеседник и выпить не прочь, но дело свое помнил свято и служил так, что всякая короткость забывалась, а душевное настроение умиляло до слез.

Батя владел одним тульским одноствольным самопалом и из винтовки стрелять не умел, но это не мешало приходить ему с охоты с дичью, потому что его незатейливый туляк бил хорошо, кучно и далеко.

Никогда я не забуду, как однажды, на досуге, пошел я с ним следить зайцев, но батя нечаянно выпугнул копалуху, которая скоро взмыла кверху и уселась на небольшую сосенку. Надо было видеть, как он обрадовался, грозил мне пальцем, чтоб я не шевелился и с горящими глазами потянулся ее скрадывать. Баранью шапку он сдернул на затылок, голо-

ву утянул в воротник и, скорчившись, тихонько, но торопливо зашагал по торчавшему из снега ягоднику. Клином выставившаяся его борода от утянутой в воротник головы как-то особенно смешно торчала вперед и довершала общую карикатурную фигурку моего бати, который, замирая, подтягивался к копалухе и, боясь испугать, — не выдержал и ударил далеко, но птица упала и побежала по снегу. Он изломал ей только крыло и потому, бросив дробовик, пустился ловить добычу. Все это было так смешно, что я покатывался от хохота и не мог помочь батюшке; но вот он набежал на копалуху, запнулся и упал головою в снег, а бойкая птица выскользнула из рук, и у бати остались в руке одни перышки.

— Что ж ты, окаянный, хохочешь и не можешь поймать, — кричал отец Иоанн и со снегом на голове и бороде, сбросив шапку, снова пустился догонять подбитую копалуху.

Но вот умаявшаяся птица распустила крылья и прижалась к кусту, а весь спотевший и покрасневшийся батя тут как тут; но, подбежав к ней, остановился и тихонько крадется рукой, чтоб схватить за шею добычу.

— Хватай скорее, что еще мешкаешь! — закричал я ему.

— Да, хватай; она, брат, боже упаси! глаз выключет, — отзывался отец Иоанн и, поймав бившуюся копалуху, крепко держал ее в обеих руках и отворачивал голову, все еще боясь, чтоб она, «боже упаси», глаза не выключула! Слышите, копалуха-то?..

Другой раз был я с ним на охоте в половине сентября, когда вся команда была уже рассчитана и ушла с промысла. Надо заметить, что это время было самое лучшее во весь период годовой операции и промысловой жизни. Тут все служаки отдыхали душой и телом, после часто непосильных постоянных работ и занятий. Точно тяжелая гора сваливалась с плеч каждого, и полнейший отдых позволял употреблять время как кому угодно. Иные спали по целым дням и в этом находили удовлетворение за труды. Но не так поступали охотники! Это время служило им вакациями и наслаждением на поприще страстной охоты.

Вот однажды в такую пору приходит ко мне батя у видит, что я собираюсь.

— А! попался! — кричит он, сверкая черными глазками. — Куда направляешься?

— Как раз кстати пришел, святой отец, — говорил я, — а я только что хотел послать за тобой. Бери-ка свой самопал да пойдем пошляемся, сейчас и товарищи наши придут сюда же.

Отец Иоанн вприпрыжку побежал за ружьем, и не более как через полчаса мы уже поднимались на гору вчетвером: батя, штейгер Соловьев, мой бывший денщик Кузнецов и я. Утро было отличное и довольно холодное, что придавало нам особую бодрость и легкость.

Проходив несколько часов по горам и логам, я убил двух зайцев, копалуху и трех рябчиков; отец Иоанн зашиб рябчика и двух белок, об остальных не упомяну. Прошагав далеко вперед, мы очутились на закрайке, и дальше идти не хотелось, потому что горы давали себя знать, а предстоящая поджарая тайга не манила. Мы скричались между собою, собрались в кучку и уселись завтракать. У меня в кармане был небольшой пузырек водки, а другие этого снадобья не взяли. Увидя доро-

гую на охоте влагу, батя обрадовался и просил меня оставить ему, но я, потянув из пузырька, не рассчитал глотка и, отдернув губы, увидел, что водки почти не осталось и она только болталась на доньшке.

Увидав это, батя громко всплеснул руками и, умирая со смеху, сказал:

— Фё, фю, фю-ю! Александро Александрыч! Вот так оставил, спасибо; да тут и глаза нечем помазать, а не токма выпить!

— Не рассчитал, брат; ей-ей не рассчитал; видишь, что не нарочно! На, хоть понюхай, все же будет полегче.

Отец Иоанн взял со смехом пузырек, открыл пробочку, прищурился, заглянул в горлышко, потом понюхал, а затем прижал пузырек к сердцу, сделал уморительную гримасу и лизнул, смакуя остатки.

Было еще очень рано, и мы отдохнули, а потом решили идти почти тем же местом, но только с тем, чтоб взять выше по отклонам гор; а Соловьев, с которым были две собаки, обещался забраться на самый гребень и там хорошенько «пошукать», как говорил орловский уроженец, отец Иоанн.

Пошли обратно. Мы дали время долговязому Соловьеву залезть на самый гребень растянувшегося хребта и рядом с бате́й потянулись в полгоры; он полез в чащу, а я пробирался плешинами, между кустами и деревьями.

Недалеко впереди нас был глубокий и чаще́витый поперечный нашему ходу лог. Как вдруг, повыше нас, на горе, послышался гонный лай собак по-зрячему и вслед за сим раздался глухой ду́pletный выстрел Соловьева. Я тотчас бросился к окраине глубокого лога, и мне показалось, что вверху, на его дне, кто-то мелькнул между кустами. Сначала я подумал, что это заяц, но меня взяло сомнение в том отношении, что преследуемый собаками заяц не побежит под гору. «Что же такое мелькнуло?» — соображал я, и сердце мое запрыгало от радости, когда я услышал знакомый «бут, бут, бут» — от скачков бегущей козули. Стремглав бросился я еще вперед и лишь только увидал быстро несущегося гурана (дикого козла), как упал с размаху на брюхо, но не выронил ружья и, быстро соскочив, успел приложиться. Гуран летел как сумасшедший и, заложив на спину рога, Делая невероятные

ускоки, перепрыгивал через валежины и небольшие кустики. Я растерялся, и у меня мелькнула досада, что со мной не винтовка; но тут же, не думая долго, мгновенно взял на прицел и спустил курок. Раздался резкий выстрел из моего «ричардса», и меня задернуло дымом. Я взглянул вниз лога, но никого уже не видал, и сердце мое замерло от неизвестности. То ли убил, то ли он убежал? «Но когда же и куда убежал?» — мелькнуло у меня в голове. Нет, должно быть, убил, а между тем, все еще не веря своим мыслям, я пристально всматривался вперед и искал глазами гурана. Надо мной слышался треск от тяжелого хода бабки, и я невольно сердился, что этот шум мешает мне прислушиваться. Но вот до привычного и чуткого в этом случае уха донеслись знакомые звуки предсмертного подергивания животного; шуршала травка, шелестели сухие листочки, постукивали ноги о близстоящие прутья, слышался хриплый, залитый кровью вздох. Я быстро сбежал в лог, и — о радость! — предо мной лежал огромный хребтовой гуран, и только судорожная дрожь пробегала по его шкурке! Оказалось,

что я поймал гурана на самом прыжке, на 18-ти саженьях расстояния. В нем было 21 дробина (крупная своеделка), и удар был так силен, что некоторые дробины пролетели насквозь, а одна изломала заднюю ногу; животное упало на первом же скачке после выстрела и с размаху продернулось по земле не менее двух аршин.

Донельзя довольный таким счастливым случаем, я, чтоб не тащить коала одному и чтоб попутать товарищей, нарочно скрылся в кустах и стал кричать во все горло. Тишина воцарилась повсюду, только мой рев раздавался по лесу. Все, конечно, слышали мой выстрел и вдруг «запали», ясно, что они прислушивались к моему крику и соображали, что делать, думая, что уж не медведь ли напал на меня. Это последнее подтвердилось тем, что я видел, как батя тихонько выглядывал из-за дерева, не подвигался ни шагу вперед и молчал; а Кузнецов тихо и тоже молча подходил из-за кустов и держал ружье наготове.

Видя все это, я нарочно громко расхохотался и подтрунил над товарищами.

Спустился с горы и долговязый Соловьев.

Он рассказал, что его собаки врасплох набежали на двух притаившихся, лежавших в густой поросли гуранов, и когда они пугнули их в упор, то перепуганные животные, совсем оробев, бросились в разные стороны — один козел пошел в гору, а другой полетел вниз. За первым увязались собаки, и по нем стрелял Соловьев дуплетным выстрелом, но промахнулся, а второй набежал на меня.

С радости мы разложили огонь, розняли на четыре части гурана и, долго повалявшись по траве, переговорив всякую всячину, касающуюся этого случая, обовьючились добычей и весело отправились на близлежащий Нижнеурюмский промысел. Добравшись до жилья, мы до того устали, что едва волочили ноги и так проголодались, что стали искать у служащих обеда. Но все уже давно пообедали, и мы едва нашли уцелевший горшок щей в доме комиссара. Надо было видеть, с какой жадностью выпили мы по рюмке водки и принялись уписывать похлебку!..

Подобных курьезов было много во время наших охот с батей, но всех не опишешь, да и незачем, думаю, что и без того надоел читате-

лю своей болтовней. Однако же не могу не сказать здесь о том, что когда вышло первое издание моей книги «Записки охотника Восточной Сибири», в 1867 году, то я счел за особенное удовольствие презентовать один экземпляр отцу Иоанну В-му и в знак памяти и особого уважения написал ему приличную надпись и поместил следующие вирши:

## **ДРУГУ И ПРИЯТЕЛЮ, ОТЦУ ИОАННУ В-МУ**

*Вспомни, Батя, как ходили  
Мы с тобою по лесам;  
Вспомни, Батя, как мы пили  
Чисту водку по кустам!..*

*Вспомни, Батя, как убили  
Мы козулю по горам;  
Вспомни, милый, как любили  
Щей искать мы по дворам!*

*Вспомни тоже, как, бывало,  
Шампаньон лился рекой,  
Али то, как недостало  
Тебе влаги дорогой..*

*Да чего, брат, то ли было!*

*О другом не говоря,  
Расскажу, как сердце ныло,  
Как стрелял ты глухаря!..*

*Как тогда ты издрожался,  
Как боялся и моргать,  
Как к лесиночке прижался—  
Чтоб тетерьки не спугать.*

*А потом, на блажь святую,  
Как ты ахнул — на авось!  
И — о чудо! — птицу злую  
Пролетел свинец насквозь.*

*Как ты с радости, с убою,  
Побежал ее ловить.  
Да, запнувшись, в снег башкою  
Постарался угодить!!*

*Ну, да будет! Все бывшее  
Не припомнишь в одни раз;  
На Урюме время злое  
Ты провел не без проказ!..*

К сожалению, отец Иоанн В-ий, этот достойнейший пастырь православного духовенства, пробыл на Урюме только три года и должен был уехать по скудности казенного со-

держания на свою родину, в Орловскую епархию. Место его на Урюме было замещено другим священником — и тоже охотником...

Года через полтора мне писал многоуважаемый отец Иоанн, что ему в родной своей епархии, после сибирской жизни, не понравилось и он уехал на Амур, еще далее Урюма!..

Вот и опять немного местечка остается в тетрадке; жалко, оставить не хочется, значит, придется рассказать еще один случай из урюмской охоты.

В одну прекрасную весну, когда Урюмский промысел встал на свою ногу и действовал как хорошие часы, я воспользовался удобным случаем «опалки» покосов и поехал с товарищами в вершину реки Амазара, где находились сенокосные дачи. Это верст сорок пять от Урюма. Надо заметить, что единственные в тайге этого района луга были окружены со всех сторон угрюмой сплошной тайгой и на них находились озера, на которые летом выходили сохатые, а весной и осенью они кишели пролетной водяной дичью.

Поместившись в казенном покосном зимо-

вье, мы успешно охотились за всевозможными утками и набили их целую пропасть. Охота манила, дни стояли превосходные, и мы ночевали две ночи. В числе моих товарищей был брат моей жены Прокопий Иваныч, неутомимый охотник и хороший стрелок.

Мая 8-го мы уже хотели отправляться домой, как к вечеру повалил гусь и в такой массе, что едва ли не весь горизонт покрылся гусиными стаями, которые, обрадовавшись среди глухой тайги такому удобному месту, не улетали с громадного луга и поминутно то надлетали на нас, то садились на озера. Много зарядов выпустили мы без толку, потому что гуси держались довольно высоко и дробь трещала по их крыльям, как по бересту, но взять не могла; гуси после каждого выстрела неистово кричали, суетились, но с луга не улетали; а мы, как говорится, совсем одичали, потому что бегали из угла в угол, подползали к озерам, стреляли много, но — увы! — утиной дробью убить не могли и только пугали.

Но вот и вечер; наступили темные сумерки. Мы затихли и стали выжидать. Пролет был ужаснейший, и стон стоял по всему лугу

от разнообразного утинового крика и гусиного гоготанья. Заметив, что много гусиных стай спускалось на то самое озерко, на котором я бил пропасть уток, я пополз; но, добравшись уже в темноте до знакомых кочек, усумнился: озерка как бы не существовало, воды нет. Всю поверхность озерка покрыли плотно сидящие гуси, которых я узнавал только тогда, когда они поминутно, во всех сторонах, то опускали, то поднимали свои длинные шеи, шумно щелочили воду и оглушительно перегогатывали в массе.

Когда я узнал, в чем дело, то просто замер от радости и растерялся, но ближе ползти боялся и решил так, что пущу из одного ствола по сидячим, а из другого хвачу на подъеме.

Так я и сделал. Но увы! ужасное увы! После первого выстрела гусей поднялась такая масса, что я, соскочив на крутом берегу на ноги, совершенно растерялся от оглушительного их крика и машинально выстрелил не целясь, сам не знаю куда... Когда я увидел успокоившуюся от мгновенного взлета воду, то на ней не было никого! Я чуть было не заплакал; но вот слышу одиночное шлепанье по воде, меж-

ду кочками; бросившись туда, я увидел одного бегущего гуся с переломленным крылом. Запинаясь за скользкие кочки и падая, едва-едва поймал я единственную добычу, стало полегче на сердце, и я потащился к зимовью, где уже меня ждали ужинать никого не убившие охотники и потому завидовавшие и моему несчастью.

Всю ночь летел и гоготал гусь. Вспомнив, что в запасной моей сумке есть один заряд картечи, я крайне обрадовался; а брат Проня нашел тут же несколько штуцерных пуль, рассек их на части и скатал из кусочков импровизированную картечь. Всю ночь от волнения и ажитации мы не могли уснуть. Утро было холодное и ветреное, на траве белел «сухорос» (мерзлая роса). Но лишь только стало светать, мы с братом зарядили картечью и поползли скрадывать гусей, которые сидели в огромной массе на большом пологом озерке.

Подобравшись по возможности к берегу, где мы заранее приготовили «скрады», мы заметили, что все гуси сидели за ветром под тем берегом, а против нас болтались, почти у самого носа, одни утchonки. Делать было нече-

го, переползать нельзя, и мы решили дать залп. Тихо сговорившись с братом, мы лежали на брюхе и выжидали. Вот сплылись целые массы гусей.

— Я направо, ты налево; слушай, когда скажу «ну» и ткну тебя ногой, тогда и катай, — сказал я.

— Вижу — хорошо!

— Бери маленько повыше, далеко, — проговорил я еще и тихо скомандовал «ну», ткнув брата в то же время и ногой.

Раздался залп, и звуки выстрелов слились в один усиленный «голк».

Семь гусей большой породы (коурых, как там зовут) и серый селезень остался на озере. 4-х убили мы наповал, а 4-х подранков пришлось достреливать. Выстрел был не менее 35 сажен.

С каким удовольствием возвращались мы домой и благодарили бога за удачную охоту.

## VI

Вспоминая об Урюме, нельзя остановиться и закончить предыдущими главами, не сказав ни слова о главной охоте этого отдаленного уголка Сибири. Кроме множества глухари-

ных токов, окружающих Урюм, в его окрестностях находились два ключа, несколько омутов по речке и три или четыре озера, на которых били мы зверей. На первые, т. е. ключи, ходили преимущественно изюбры, а на последние, в особенности озера, — сохатые. Все лежало невдалеке и потому тем более возмущало охотничью душу и не давало ей покоя, когда наступало время охоты, а этот период заключал в себе несколько месяцев. С мая и до октября представлялась возможность побывать и поохотиться на ключах или озерах, а это слишком достаточно для того, чтоб избирать досуги среди служебных обязанностей и «сорвать охотку», забывая семью и удручающие заботы, которым не было конца во весь круглый год. Одна охота хоть несколько освежала душу в такой трущобе и заставляла забывать о том, что есть на свете клубы, театры, цирки, острова, дачи, музыка и прочие развлечения и удовольствия. Всего этого мы были лишены с молодых лет своего бытия и только мысленно завидовали тем счастливым, которые пользуются ими и нередко презрительно толкуют о нашем бра-

те, говорят о своих недостатках и проповедают о том, что к чему сибирякам возвышенные оклады, когда у них дешевы хлеб, мясо и прочие сырые потребности жизни! В нынешнее время неверно даже и это, а что касается подобного воззрения, то как оно пошло, низко и недостойно образованного человека!.. Невольно краснеешь за эти взгляды, перо нервно сжимается в руке, по спине пробегают мурашки, и тут поневоле останавливаешься писать, ставишь судорожно точку и принимаешься за папироску, чтоб отдохнуть и сообразить, о чем сказать далее.

Один из «зверовых ключей» находился от Урюма всего в семи верстах, на р. Аркие, а другой в двадцати пяти. Между ними, по долине реки Урюма, помещались омота и озера. Это расстояние позволяло многим охотникам побывать на охоте, посидеть в сидьбе, покараулить, употребить несколько свободных часов досуга и вовремя явиться на службе. Задерживал иногда только дальний ключ, но что за беда! — ведь и повыше нас служаки, имея за плечами и большую нравственную ответственность, ездят же для удовольствия

подальше чем за 25 верст. Ничего! Дозволяли и мы себе подобные прогулки, чтоб хоть немного проветриться...

Надо заметить, что дальний ключ был минеральный, углекисло-железистый, — это главное, кажется; но подробного анализа воды при мне сделано не было, а потому я не могу сказать ничего более, как только то, что вода его крайне приятна на вкус и, вероятно, поэтому приманивала к себе в таком большом количестве всех зверей местной фауны. Ключ этот мы называли просто «кислым», и, не имея возможности по дальности расстояния часто пить его целебную воду, мы привозили ее на промысел в деревянных «лаговках», которые нередко разрывало на части, если забывали о предосторожности, чтоб предупредить неудачу. Стоило только в лаговку положить несколько кусочков той же минеральной породы, из каковой бежит ключ, как посуду не рвало и вода сохраняла свой вкус по приезде в селение, хотя никогда уже не могла сравняться с той, которая вытекала из ключа на месте.

Однажды, в половине июля, пользуясь сво-

бодными днями и хорошей погодой, собрался я на озерко, чтоб покараулить сохатых. Товарищем моим был прежний мой денщик Михайло Кузнецов, хороший стрелок и надежный охотник. С утра отправившись верхом, мы отлично проехали тайгу и уже подбирались к желанному месту, как на нас нанесло дымком, а затем пахнуло какой-то «чахледью» и смрадом, что ясно говорило о том, что тут стоят орочны. Характерный запах их стоянки слышен далеко, и знакомому с ним человеку ошибиться трудно. Куда бы ни заявился орон, он, как гоголевский лакей, везде со своей атмосферой, со своим особым запахом. Всегда несет от него каким-то смердящим дымом; так и в этом случае оронская стоянка давала о себе знать довольно далеко. Досадно, а делать было нечего и приходилось мириться с обстоятельствами, надеясь, однако ж, на то, что озерко не одно и мы успеем попасть на другое.

Не доезжая нескольких десятков сажен до стойбища, слышалось потенькивание мелких колокольчиков от пасущихся оронских оленей, затем навстречу вылетели туземной

породы собаки, которые готовы были загрызть нас на лошадях, и наконец перед самым уже стойбищем появились ороchonские ребятишки, грязные, заскорузлые, закоптелые и совершенно голые, несмотря на то, что лесной овод не давал им покоя и они отбивались от него ветками и ручонками, а с их ребячьего тела местами все-таки сочилась кровь из прокусанных ранок и, смешавшись с грязью, бежала ручейками или засыхала в виде оспенных пузырьков. Но вот и стойбище. Две ороchonских летних юрты стояли друг возле друга, и в них копошились женщины. Юрты, покрытые особо приготовленными берестяными пластами, дымились своим вечным огоньком и как-то неприветливо смотрели на нас, хотя уж и знакомых с их обиходом. Зимнюю те же юрты покрываются «проделанными» звериными шкурами, а берестяные, летние покрывала скатываются в вальки и хранятся в сайвах, т. е. особых помещениях, кладовых, так сказать, которые рубятся из нетолстых бревешек и делаются в тех местах, куда весной намерены прийти их хозяева. В сайвах же ороchonы складывают все лишнее и

некоторые запасы, чтоб не возить с собой на оленях, а в случае надобности оставленный запас выручает их в нужные минуты тяжелой, бродячей жизни. Тут оставляются меха, половинки (выделанные шкуры на замшу или лосину), кукура (вяленое мясо), сушеная рыба, порох, свинец, чай, посуда, винтовки и прочие принадлежности их бытия. Сайвы плотно закрываются и закрепляются так, чтоб ветром не могло сорвать с них крыши, а рубятся они на деревьях, аршина 4–5 от земли, для того чтобы пакостный медведь или росомаха не могли достать запасного магазина и попортить хранимое.

По обычаю ороchon, всякий нуждающийся в случае какой-либо крайности может вскрыть оставленную на произвол судьбы сайву и взять из нее, что ему нужно, — это ничего, но обязан положить за взятое что-либо поценнее или одной стоимости. Но сохрани того господь, если взявший поступит иначе — плохо закроет сайву, положит в обмен вещь меньшей стоимости или украдет. Тогда неминуемая месть и жестокая кара падет на голову обидчика от хозяина, который рано

или поздно непременно отыщет виновника и жестоко накажет. Тут обыкновенно меткая пуля мстителя оканчивает судьбу похитителя, или только по особому смягчению обиженного он берет у вора что ему вздумается, без всякой апелляции со стороны последнего. Тут не оправдывается и естественная смерть обидчика, — поплатится одинаково семья или родные умершего.

Хотя я и уклонился от цели своего рассказа, но все-таки скажу еще несколько слов о том, что ороконы приготавливают летние покрывала из береста так прочно, что они служат им десятки лет и составляют лучшую защиту от дождя. Бересто снимается вовремя, умело очищается и как-то проваривается, отчего оно делается мягко, как кожа, и уже не ломается и не дерется. Оно кроится на известной формы куски, которые и сшиваются между собою жилками (нитками из звериных и оленьих мышц и сухожилий), а края подгибаются и оторачиваются какой-либо плотной материей (дабой преимущественно) или той же «проделанной» берестой. Мне случалось находить в лесу давно брошенные куски бере-

стяжных покрывал, и швы их были настолько крепки, что разорвать их почти не представлялось возможности и скорее продиралась иструхшая береста, чем чахлый шов из жилки.

Остановившись у юрт, мы заметили, что кругом их, на самом припеке солнца, по сучьям деревьев были продеты длинные жерди, а на них вялилось разрезанное на продолговатые куски мясо — кукура. Внизу, под жердями, разложенные дымокуры отделяли много дыма, которым коптило мясо и охраняло оленей от назойливого овода. Большая часть животных стояла у дымокуров, уткнув свои головы в самый дым и только тем спасались от насекомых. Мужчин в юртах не было, но они скоро пришли, услыша тревожный лай собак, и рассказали нам, что только накануне убили большого сохатого на том самом озерке, на котором мы хотели караулить. Узнав цель нашей поездки и так как озерко было уже отоптано и опугано, то орочны рекомендовали нам другое озерко, говоря, что и на него звери приходят очень часто. Приходилось послушаться их совета и заворотиться

назад, потому что указываемое ими озерко лежало ближе к Урюму. Мы сварили обед, закусили и, угостив орочон водкой, поехали из юрт.

День стоял крайне жаркий и удушливый, так что ехать верхом было очень тяжело и неприятно. Однако ж мы скоро добрались до озера и остановились в долине речки, под лесом, у начинающегося кочковника. Кузнецов пошел к озерку, чтоб убедиться в том, что к нему ли мы приехали и есть ли признаки посещения его зверями, а я остался отдохнуть у лошадей. Но тут случилось со мной маленькое несчастье, которое благодаря бога кончилось благополучно. Дело в том, что я, жалея лошадей, разложил дымокур, но прилегши на траву не заметил, как огонь, по сухости дня, перешел на траву, и она, загоревшись, охватила тихим пожарищем уже пространство в несколько квадратных сажень, а перебирающийся огонь подскочил под лошадей. Заметив это, я прежде всего бросился к лошадям и, обрубив ножом поводья, привязанные к кустам, хотел отвести лошадей, но они упирались и лезли ногами на горевшую под ними

траву, а не шли на свободное место. Странное дело, почему это так? Но лошади положительно лезли на огонь, который уже опаливал их щетки, и они поднимали и корчили ноги, а все-таки поворачивались на пожар. Видя это упрямство животных, я тотчас сам заскочил на горевшую подсохшую траву и силой, толкая лошадей сбоку, едва спихал их с пожарища, только тогда они стали послушны и пошли на поводьях. Бросив лошадей уже на безопасном месте, я схватил свою крестьянскую шинель и ею успел захлестать распространившийся огонь. К счастью, лошади потерпели немного — у них опалило только щетки и хвосты до половины, но тела не тронуло. Зато я, воюя с лошадьми на самом пожарище и под солнечным пеклом, испортил сапоги и так уходился, что у меня тряслись руки и ноги, тело мое горело как в огне, а голова разболелась до того, что я едва мог пошевелиться.

Дождавшись Кузнецова, я с большим трудом рассказал о случившемся, но он принес воды в медном чайнике; я умылся, намочил голову и, немножко уснув, совсем поправился. Кузнецов рассказал, что он был на самом

берегу озерка, нашел на нем старую ороchon-скую сидьбу и заметил свежие сохатинные следы, что ясно доказывало о посещении озерка зверями, а потому мы и решили просидеть ночь и покараулить.

Перед закатом солнца мы стреножили лошадей, отпустили на траву и отправились к озерку. Надо было пройти до его берега убийственным кочкарником около 200 сажен; так что, обовьюченные разными принадлежностями охоты, потником и запасной одеждой, едва-едва одолели мы этот путь и почти мокрые, кой-как добрались до сидьбы. Озерко имело длины сажен 150, а шириною не превышало и 30 сажен, так что это расстояние позволяло надеяться на удачный выстрел и в том случае, если зверь будет на противоположном берегу, который окаймлялся густым лиственничным лесом колка, растянувшегося по левому берегу Урюма, находившегося от озера не более как в 50 саженях.

За рекой прилегали густо поросшие лесом горы и составляли те дремучие тайники, где водились звери.

Наш берег, где помещалась сидьба, оброс

только небольшими кустами и редкими деревьями, что совершенно достаточно скрывало сидьбу и помещавшихся в ней охотников. От караулки до берега продолговатого озера было не более 5–6 сажен.

После жаркого и душного дня наступил превосходный тихий вечер, отчего комары сновали целыми тучами и страшно беспокоили; почему необходимо было зажечь губки, чтоб хоть сколько-нибудь умерить их нападения. Но вот захопил (потянул) свежий ночной ветерок, комары исчезли, и мы отдохнули. Заря совсем догорела, наступила довольно темная июльская ночь и скрыла противоположный берег озера настолько, что сплошной лес потерял свое очертание и только по озерку можно было отличить ту рябь воды, которая несколько серебрилась у берега и означала его окраину. Сделалось совершенное затишье, так что вода перестала рябить, и в ней, как в темном зеркале, почти до половины ширины озера, черной, бесформенной полосой отражался противоположащий лес. Мертвая тишина царила по всей окрестности, и проклятые комары стали появляться снова.

Мы молча сидели на разостланном черном потнике в сидьбе, как бы тихо созерцали эту таинственную тишину природы и только пытливо прислушивались и пристально вглядывались в непроницаемую темноту того берега.

Утомившись от этой невозмутимой тишины и напряженного внимания, я невольно опустил глаза и стал задремывать. Как вдруг за узкой полосой колка, по галешнику Урюма, слышалось бульканье воды и тихое покукивание камешков, что ясно говорило охотничьему уху: «Не спи! Слышишь, зверь подходит!» Я мгновенно очнулся и подтолкнул Михаила, который ответил мне тем же толчком, тихо погрозил рукой и едва слышно, от пересохшей в горле истомы радости, проговорил: «Слышу, должно быть, сохатый, — вишь, смело идет».

Послышался треск по лесистому колку, и вдруг без малейшей подготовки громаднейший сохатый (лось) вышел на окраину и сразу бултыхнул в озерко. Все это он сделал так скоро и вопреки своей манере помешкать на берегу, оглядеться и прислушаться, что мы не

успели опомниться, как он уже бойко поплыл вдоль озера и только взбитые, круговые волны пошли по всей поверхности воды и стали захлестываться на наш берег, который, как окрепшая трясина, несколько заходил, так что и наша сидьба стала то приподниматься, то опускаться. Совсем наготове, мы пристально следили за зверем и потеряли его из глаз, когда он, накупавшись, заворотился назад и нырнул против самой нашей сидьбы; только попукивающие пузырьки означали то место, где скрылся зверь, но не означали его подводного хода. Минута ужасная для охотника! Потому что нырнувший зверь мог вынырнуть против сидьбы, вылезти на наш берег и очутиться от нас в каких-нибудь 3-х или 4-х саженях!.. Только охотники могут оценить эту дорогую минуту и посочувствовать своему собрату.

Я был в совершенной готовности встретить ночного купальщика — и ждал. Прошло минуты две или три, прежняя тишина окружала нас со всех сторон; но вот далеко в стороне и под тем же берегом быстро распахнулась вода, показались огромные рога, а за ни-

ми и сам сохатый, который бойко вылез на противоположный берег, отряхнулся и тотчас же снова бросился в воду. Повторилась почти та же история — зверь поплыл тем же путем и опять нырнул, но уже далеко от нас, и мы испытывали те же муки ожидания и неизвестности его появления. Будь ночь хоть несколько посветлее, все же можно бы было следить за его движением по поверхности воды, но — увы! — в этот раз не представлялось никакой возможности проследить его подводный путь.

Сохатый плавал чрезвычайно бойко и легко, так что вся спина его была поверх воды, и в это время, ночью, он походил на громадную фантастическую рыбу, с большими плотно прижатыми к спине рогами, заложенными ушами и вытянутой толстой мордой. Когда же это чудовище хотело нырнуть, то на ходу как-то вдруг приподнималось на воде, поджимало вниз уши и, опустив голову, моментально скрывалось в темную влагу. Выныривая к берегу, оно тотчас выходило и несколько останавливалось, не отнимая ушей, чтоб дать возможность сбежать с головы воде, которая

и струилась потоками, нарушая тишину ночи. Все это довольно ясно было видно из нашей сидьбы, потому что на темном фоне леса сохатый казался как бы серебристым, особенно по контуру своего очертания.

Зная обычаи этого зверя, мы были уверены, что он еще долго пробудет на озерке и непременно обойдет его по берегу, как и говорили следы по всему побережью: тогда мы выберем удобный момент и пустим смертельную пулю. По этому плану его норова он мог побывать около самой сидьбы и тогда бы... о, тогда бы, наверное, он получил смерть от наших винтовок, давно уже готовых к немедленному выстрелу. Но, увы! Вышло не так. Сохатый после второго купанья быстро вышел на противоположный берег и почти моментально скрылся в темной чаще густого, лесистого колка.

Неужели он почуял нашу засаду? Неужели едва курящаяся губка выдала наше присутствие? Досадно, ужасно досадно! Но зверь ушел, и его не воротишь; а мы, сидя в караулке, все еще таились и посылали сто чертей, что не стреляли в те моменты, когда пред-

ставлялась возможность, — во время его вылезания на тот берег и когда он плыл перед сидьбой. Но раскаяние всегда поздно, и утешительным оправданием служило нам только то, что не хотелось посылать выстрел наудалую, на ура, так сказать, особенно ночью, по такому дорогому и опасному зверю.

Проводив сохатого глазами, при обратном возвращении в темную чащу, мы все еще на что-то надеялись, — а вот он, быть может, задержится в колке и снова явится на озерко пожевать горького ира или захочет еще охладиться от душного знойного дня... Но вот слышался треск его шагов через лесистый коллок, а затем до нас донеслось и обратное бульканье и покукивание камешков, при переходе Урюма. «Ушел!» — сказал я. «Да, ушел!» — чуть не плача проговорил и Михайло.

После такой неудачи Михайло все-таки остался караулить, а я с горя завернулся в шинель и улегся спать; но долго уснуть не мог, потому что от моей шинели сильно пахло дымом, от захлестывания ею пожарища, и мне поминутно представлялась картина купания сохатого и тот ловкий маневр, как он нас на-

дул. С восходом солнца мы добрались до табора и заварили чай, а напившись, заседлали лошадей и понуро отправились восвояси, — на службу. По дороге нам попались орочны, те самые, у которых мы были в юртах. Они тоже сидели на каком-то озерке и никого не видали. Когда же мы рассказали им подробно о своей неудаче, то они объяснили, что к нам приходил зверь «хитрый и пуганый», а потому надо было стрелять его при первой возможности. Первую хитрость означало уже то, что он, нисколько не мешкая на закрайке леса, тотчас бросился в озерко — это и служило поводом его осторожности. Значит, «век живи и век учись», а так как век наш короток и нам все-таки не быть ороचनाми, то мы посоветовали о своей неопытности, приняли к сведению замечания сибирских немцев и, попрощавшись с ними, похлыняли домой. Неудача точно свинцом давила мою душу, и мы почти всю дорогу ехали молча.

## VII

В числе урюмских охотников была одна довольно оригинальная личность — это лекарский ученик Корнилов. Человек он был

среднего роста, но довольно коренастый и плотный, что давало ему возможность неумолимо ходить по горам, переносить всякую всячину в тайге, охотиться во всякую пору по сибирским дебрям. Как служака старого времени, Корнилов брился и носил только одни баки, а форменно подстриженную голову причесывал всегда вперед виски, что как бы прятало и без того маленькие серенькие его глазки. На «поговорье» он был всегда вежлив и слащав, иногда до приторности, хотя и любил пошутить жирным словом, особенно когда немного выпьет и его маленькие глазки несколько посоловеют и почти спрячутся в покрасневшие орбиты. Несмотря на страсть к охоте, Корнилов не мог назваться хорошим охотником, почему звери и птицы на него особенно не жаловались. В этом случае он вполне подходил к сибирской пословице: «Охота-то смертная, да участь горькая». Действительно, в нем, при всем его старании, чего-то не хватало, словом, «девятой заклепки не доставало». А жаль, парень он все-таки был хороший и старательный служака.

Когда он служил на Урюме и бедствовал в

тесных помещениях, пока обстраивался промысел, то ужасно скучал по семье, которая оставалась на его родине, в Еултуминском руднике. Но вот однажды зимою встретил я Корнилова, бегущего по дороге из промысла, в кое-как наброшенной на плечи шубенке и в одних калошах без сапогов.

— Куда это ты, Корнилов, так улепетываешь? — закричал я ему.

— Да вот, сударь, сказали, что жена недалеко едет, так и побежал встретить, — говорил он, не останавливаясь.

— Да постой хоть маленько, Афанасий Степаныч, видишь, по дороге никого нет, успеешь!

Он приостановился и, запахиваясь шубенкой, сконфуженно проговорил:

— Я, знаете, спал; а тут вскричали — вставай скорей, жена недалеко едет! вот я и соскочил, как был... Извините, пожалуйста!

Он конфузился еще более и старался скрыть свой туалет.

— Да в чем же извиняться? — сказал я. — Только ты не простудись.

— Помилуйте, зачем же-с? — проговорил

он и перепыхнулся шубенкой.

Оказалось, что Афанасий Степаныч был в стареньком халатишке и в одних синих дабовых плюндрах.

— А за щекой у тебя что? — спросил я, едва удерживаясь от смеха.

— Кусочек сахарку-с.

— Это зачем?

— Чтоб слаще с хозяйюшкой поздороваться, — сказал он и, сладко улыбаясь, торопливо зашмыгал калошами по дороге, на которой действительно показалась какая-то таежная повозка.

— Ну, брат, беги скорее И поцелуйся послаще! — сказал я ему вслед и чуть. — чуть не прыснул от душившего меня смеха...

Бывало, придет Корнилов за чем-нибудь по службе, вытянется, руки по швам и с ноги на ногу не переступит; но лишь только заметит, что я покончил со службой, как тотчас соорудит умильную физиономию и непременно заведет что-нибудь об охоте, а там к чему-либо и припросится: то «порошку» у него нет, то «дробцы» не хватает, то «фистончиков» маловато.

Что тут поделаешь при таком горе «смертного» охотника, поневоле дашь того и другого, потому что сердиться на него было невозможно за его безыскусственную простоту и угодливость, в случае надобности.

Да, таких людей нынче однако уже нет! Весь нараспашку, что на уме, то и на языке, без всяких ширм и крючков современного бытия. В чем нуждается — просит; попросите его — отдаст последнюю рубаху, а по своей профессии — готов убиться и не спать несколько ночей, только бы угодить и помочь по своему разуму. Вся штука была только в том, что иногда недоставало девятой заклепки — ну, что делать; не у всех же и все десять!

Однажды, в последней половине сентября, когда вся команда уже была рассчитана и ушла с промысла, собрался я съездить на кислый ключ, чтобы посидеть на нем ночь или две и покараулить зверей, так как в это время бывает в разгаре изюбриная течка и начинается сохатиная. Товарищем моим и в этот раз был тот же Михайло Кузнецов, но, услышав наши сборы, чего не утаишь в маленьком месте, ко мне пришел Корнилов и убедительно

просил взять его с собой. Мне этого не хотелось, по той простой причине, что в этом случае третий охотник был лишним, так как при карауле зверей, в сидьбе, никогда не садятся более двух вследствие малого помещения и потому что, при соблюдении крайней осторожности, третий только мешает, а запах, или «дух», как говорят промышленники, гораздо сильнее, что может испортить всю охоту.

Высказав все это Корнилову, я отказал в его просьбе, но Корнилов объяснил, что он и сам все эти условия хорошо знает, а потому и просится ехать не как охотник, а как конюх, чтоб оставаться на таборе, блюсти лошадей и помогать по таежному очагу; говоря также, что у него есть хороший «промышленный кобель», который отлично следит зверя и в случае надобности может служить дорогой необходимостью. Доводы Афанасья Степаныча были так логичны, а умильная физиономия со слезами на глазах настолько говорила за страстное желание съездить, что я невольно согласился на его просьбу и дал свое согласие взять его с собой, но не иначе как для испол-

нения обязанности конюха.

Надо было видеть неподдельную радость Корнилова, его расцветшую физию и тот восторг, с которым он торопливо побежал готовиться к отъезду, взяв позволение «захватить» с собой и винтовку, — ну, хоть так, на всякий случай.

На другой день, рано утром, выехали мы втроем верхом и гуськом, шагом, потянулись тайгою к заветному кислому ключу. Надо заметить, что в Забайкалье сентябрь месяц по большей части стоит превосходный, особенно первая его половина, и потому время это справедливо носит здесь название бабьего лета. Действительно, в этот период жаров больших уже не бывает, овода нет и комары исчезают, а ясные дни манят на воздух. Словом, бабье лето едва ли не лучшее время для сибирских путешествий; но зато оно дает себя знать в том случае, если погода стоит сырая и солнце спрячется в непроницаемую свинцовую мглу, на несколько дней сряду. В эту поездку веселый, ясный день вполне оживлял природу и давал надежду на хорошую охоту, а потому мы ехали весело, много говорили и

почти незаметно перешагали 25-верстное расстояние и к обеду добрались до ключа, никого из зверей не встретив во всю дорогу. Только, переезжая одну речушку, кто-то бросился из кустов и заставил нас невольно схватиться за оружие. Оказалось, что этот «кто-то» был домашний бык, который, вероятно, был потерян в тайге маркитантами и вычеркнут из их списков доставки мяса на промысел. Животное до того одичало в лесу, что совершенно потеряло облик домашней скотины, походило на зверя и чуть-чуть не кинулось на нас. Пришлось воевать с домашним животным, чтоб не оставить его в тайге, а потому я избрал удобную минуту и убил его пулей в лоб. Свежевание быка нас несколько задержало, но мы все-таки, как я и сказал выше, приехали к ключу рано. Впоследствии нашелся и хозяин потерянного быка, так что мясо было привезено на промысел и засчитано в число приемки от маркитанта.

Не доезжая до кислого ключа сажен 300, мы расположились табором на берегу речки, в которую выше этого расстояния бежит знаменитый минеральный ключ, составлявший

такую дорогую приманку почти для всех зверей местной фауны.

Долина реки Талой, где находился ключ, покрыта вся редким смешанным и лиственным лесом, с мелкой порослью и большими кустами; местами сплошной лес выделялся особыми группами и составлял разной величины колки, которые резко обозначались по своей густоте, служили притонами зверям и драпировали их лесные прогулки. Место нашего табора находилось в низменности береговой поросли и окаймлялось небольшим возвышенным «залавком», за которым саженях в 30-ти расстояния тянулся густо заросший колок. Между ним и нашим стойбищем, на когда-то горелом месте, валялось много валежника, между которым рос лесной пырей, что и могло служить лакомой пищей для наших лошадей... Задавшийся кривляк речки и кайма залавка давали нашему табору укромное и совершенно скрытое помещение.

Так как время позволяло нам устроиться не торопясь, то мы поставили вариться обед, заготовили на ночь дров и успели побывать на ключе, чтоб заранее высмотреть все что

следовало и познакомиться с характером посещения ключа зверями. По нашему осмотру оказалось, что все приходные тропы с вершины речки были настолько проторены зверями, что местами представляли собою глубоко выбитые дороги; а свежесть следов, преимущественно сохатиных и реже изюбриных, ясно говорила о том, что ключ посещается весьма настойчиво и едва ли не ежедневно.

Самый родник ключа, «голова», как называют сибиряки, вытекает под большими лиственницами из каменистых плит и валунов, которыми, ниже ключа, сплошь покрыто все пространство, на коем нет почти никакой растительности. Выше же головы родника прилегает сплошной лес, с большими чащеватыми кустами. Вода ключа чиста как хрусталь, но все окружающие его камни и плиты покрыты красноватой ржавчиной, что заметно по всей той поверхности, где только просачивается минеральная вода. В самой голове родника камни разбросаны, отчего образовались большие лунки, из которых и пьют эту замечательную воду звери.

Зная по личному опыту, что явившиеся на

ключ звери прямо подходят к этим большим лункам и, напившись, скоро уходят, мы нарочно заложили эти резервуары плитами, для того чтобы пришедший зверь хоть несколько походил и поискал воды, что и оправдалось на деле Закладывая лунки, мы брали только те плиты, которые лежали в стороне, наверху, и, чтоб не осталось нашего запаха, ополоскали их той же ключевой водой из берестяного «чумашка».

Вытекающая из ключа вода постоянно пузырится и издает особый, попукивающий, характерный звук, к чем; необходимо прислушаться и схватить ухом эту особенность, чтоб потом, ночью, не принять эти звуки за что либо другое и не испугать зверя. Все это мы заучили схоронили в себе, вдоволь напились целебной воды и тихо, тем же следом, ушли на табор, где закусили уже поспевшими щами и стали дожидаться вечера. Лошадей и собаку мы привязали, а Корнилову строго наказали чтоб он, лишь только мы уйдем караулить, отнюдь не кричал на лошадей, не рубил дров и не разводил большого огня.

Но вот наконец наступило и желанное вре-

мя! Солнце стало садиться, в воздухе сделалось посвежее, зачиликали собирающиеся к ночлегу лесные пичужки, где-то «скуркал» вещун ворон, ему отозвался другой, мягким и тихим звуком, что, по замечанию промышленников, предвещало успех.

— Слышите, как наговаривает! — тихо заметил Корнилов.

— Давай бог, примета хорошая! — сказал Михайло. Мы обовьючились потниками, необходимыми принадлежностями сиденки в холодную ночь, надели винтовки потрясли руку Корнилову, перекрестились и пошли на ключ.

— Ни пера ни шерсти вам, господа охотники! — сказал нам, провожавший глазами, Афанасий Степаныч.

— Спасибо! — ответил я и сказал еще раз, чтоб на таборе было тихо.

— Знаю, знаю; не в первый раз, ступайте с богом! — проговорил Корнилов и благословил нас большим крестом, а у самого на лице точно написано: «Счастливыцы! Так бы и пошел я с вами».

Старая сидьба, или засадка, сделанная из

сложенных плит и камней, удобно помещала двух охотников, а от времени кругом поросшая кустами, мохом и разным дромом, она говорила о своей стародавности и о том важном обстоятельстве, что к ней спокон веку привыкли звери. Ведущая же к ней тропинка, снизу окраины ключа и из береговых Кустов речушки, наглядно свидетельствовала о том, что эту сидьбу часто посещают туземные охотники.

Забравшись в засаду, мы один потник разостлали по ее внутренности, а другим накрыли каменную стенку, чтоб ночью, в случае надобности, как-нибудь не стукнуть оружием, выцеливая добычу. Моя знаменитая зверовая винтовка была заряжена на полуторный заряд пороха, двумя круглыми пулями, — пуля на пулю, что на близком расстоянии весьма действительно, а пущенные таким образом пули бьют цельно и ложатся одна повыше другой, на какой-нибудь палец расстояния.

Для ночной стрельбы со мной находится «маяк», это белая костяная планшетка вершка три длиною, с несколько выпуклой середи-

ной, а шириною как раз в верхнюю грань оружия. Маяк крепко привязывается тоненькими жилками на конец дула, по своим спущенным концам и ночью, при выцеливании несколько отбеливает в общем мраке, чем и дает возможность охотнику видеть конец оружия; зверя же, по своей мизерности и матовой белизне, нисколько не пугает.

Довольно ясный и холодный вечер предвещал нам хороший звериный ход, но так как засветло к ключу никто не приходил, а свежесть погоды давала себя знать, то мы надели черные крестьянские шинели. Невозмутимая тишина царила во всей окрестности, и до напряженного слуха доносилось только журчание воды в речке, а характерный звук от выходящих пузырьков в ключе постоянно напоминал о существовании родника и о цели нашей засады.

Вот совершенно стемнело, и я тихонько прикрепил к дулу винтовки костяной маяк. Так как сентябрьская ночь довольно длинна, то мы и порешили на том, что с вечера будет сидеть Михайло, а к утру — я. На этом основании он, сидя, прижался в уголок засадки и по-

ложил конец винтовки на стенку сидьбы, к ключу; а я улегся в другой угол и насторожил свою «пицаль» в противоположную сторону, откуда мы пришли, так как хитрые изюбры частенько являются снизу, а не сверху ключа. Долго я лежал на потнике, не спал, прислушивался и, мечтая о разных разностях, перебивал мыслями всюду — и близко, и далеко, и там, где и быть никогда не придется; припомнил, кажется, все, давно уже прошедшее, что когда-то бывало, — и горе, и радость, и свое детство... Как вдруг слышу, что «скукали» камешки, и затем снова мертвая тишина! Я невольно откинул ухо и стал усиленно прислушиваться. Но вот опять кукнули плитки, я понял, что означают эти звуки, а потому ткнул пальцем Михаилу и поглядел на его физиономию, но было так темно, что я плохо видел даже его очертание, а заметил только, что он тихо и низко помахал рукой в знак отрицания, дескать, лежи, никого нет.

Я успокоился, но снова услышал то же легкое покукивание и совершенно уже убедился в том, что по ключу ходит зверь, а потому тихонько приподнялся и выглянул из-за стенки

сидьбы. Каково же было мое удивление, когда я увидел громадного сохатого, стоящего боком к выстрелу и находившегося от нас не более как в 20 саженьях по направлению к голове ключа.

Моментально спустившись за стенку, я заметил, что Михайло сидит по-прежнему и не готовится к выстрелу. Я снова ткнул его рукой и едва слышным шепотом сказал:

— Стреляй скорее!

Но Михайло тихо нагнулся ко мне и прошептал:

— Стреляй, барин, ты, а я не могу!

Делать было нечего, рассуждать некогда и нельзя; а потому я показал ему рукой, чтоб он нагнулся и тотчас по его спине, чтоб как-нибудь не стукнуть, стал переводить свою винтовку и в то же время, придерживав гашетку, взвел курок. Положив дуло на потник, лежащий на стенке сидьбы, я тихо привстал на колени и стал выцеливать громадного зверя, который немного зашагал, но остановился и, видимо, прислушиваясь, едва слышно взмычал два раза, как самый маленький теленок. Это означало то, что он не один и что еще

один миг — и зверь бросится наутек.

Убедившись в верности прицела, я потянул за гашетку. Раздался ужасно резкий выстрел, и я схватил момент звука, который привычному уху говорил о том, что пули ударили по костям. Хоть меня и задернуло дымом, но я, повернувшись вбок, заметил, как сохатый согнулся в спине и потом, сделав ужасного козла, как пьяный, зашагал а вершину ключа, где прилегалла густая чаща леса.

С выстрела зверь так «брызнул», как говорят промышленники, что к нам от его ног полетели мелкие камешки и комья промерзлой грязи.

Лишь только скрылся сохатый, я машинально взглянул в правую сторону и, к удивлению моему, увидел двух маток, которые стояли почти рядом на левой стороне ключа и, видимо, ошеломленные выстрелом, не трогались с места и как бы не знали, что им делать. Упавшая роса серебрила животных, и потому их очертания весьма ясно рисовались на темном фоне густой поросли.

Указав их Михаиле, я почти громко сказал: — Стреляй скорее хоть этих; что ж ты еще

мешкаешь?

Но совсем растерявшийся Михайло водил винтовкой то в ту, то в другую сторону и испуганно проговорил:

— Которую стрелять-то?

— Да стреляй какую попало, не все ли равно; что еще спрашивал! — почти сердясь, сказал я Михаиле и хотел взять у него винтовку.

Но в это самое время матки как-то гортанно буркнули и стремглав бросились в густую чащу.

Несколько секунд слышалось их поспешное бегство, но с другой стороны доносилось легкое потрескивание, что означало, что тяжело раненный сохатый тоже тихо пробирается по тайге.

— Что ж ты не стрелял? — напустился я на Михаила.

— Да оробел что-то; зарность какая-то подступила; сердце точно схватило, во рту пересохло, а самого затрясло, как в лихоманке; в глазах зарябило, чисто никого не вижу, а сам гляжу на зверей.

Действительно, Михаилу трясло, в чем я

убедился ощупью и слыша его прерывистый разговор.

— Ну, а сначала-то почему не стрелял быка? — спросил я, все еще волнуясь и сам от досады, что упустил маток.

— Разве ты его не видал или уснул? — продолжал я спрашивать.

— Как не видал, видел! С самого первоначала видел; да все думал, что вот-вот он подойдет поближе.

Взяв в руки винтовку Михаила, я заметил, что на ее стволе, над визиром, надет «подзор» (карабчён, как там называют), с которым стреляют только днем и то в сильно ясную погоду, чтоб не отсвечивало в резке визира. Я рассмеялся и спросил Михаилу:

— Ну, а это что? Разве с карабченом ночью стреляют? Эх ты, охотник! А еще садишься зверей караулить; то-то бы ты и попал в небо!..

— Не доглядел; ей-ей не доглядел, а как заметил, что он привязан, то заторопился и сдернуть не мог, — так меня затрясло!

— Да как и не затрясти тебя, чучелу этакую, когда сам плох! — сказал я шутя, подал

ему винтовку и стал заряжать свою, тем же порядком — двумя пулями.

— Ну и зверь матерущий! А слышал, барин, как пули-то защелкали? Должно быть, сильно попало! — сказал Михайло, закладывая за губу добрую понюшку табаку.

— Слышал, как не слышать! А вот ты слышал ли, что в этой стороне потрескивало? — спросил я и указал место.

— Слышал; да и недавно вот еще тут похрустывало; вишь, шибкохватило! Должно быть, в чашу затягивается, — отвечал Михайло и перебирал нижней губой, которую, вероятно, вертело от доброй понюшки «сам-кроше», потому что он сплюнул уж раза с четыре!..

— Ну, слава богу! Попало и сильно попало! — сказал я, налил из фляжки рюмку коньяку и объявил, что лягу с радости спать; а он, если желает, то пусть сидит и караулит.

Уткнувшись в уголок сидьбы, я скоро задремал, но задремал таким сладким и вместе с тем чутким сном, что сам слышал себя, как стал помаленьку похрапывать; даже сознавал, как в тумане, что при карауле зверей

храпеть нельзя, но — увы! — слышу и сознаю, а сам собой проснуться не могу.

— Барин! Не храпи! — тихо сказал Михайло и ткнул меня пальцем.

Я очнулся; но помню, как сейчас, что заснул ту же минуту и точно так же захрапел снова и снова также внутренне сознавая, что этого нельзя.

Михайло опять разбудил меня таким же манером и посетовал на то, что я своим храпом отравляю охоту. Этот выговор совершенно разбудил меня, и я уж только лежал, а о сне и не думал. Как рукой сняло!..

— Что, слышал кого-нибудь? — спросил я шепотом.

— Нет никого, — отвечал он тихонько и рассказал, что в том месте, куда ушел раненый зверь, снова немного трещало, что и доказывало, что его шибко схватило.

Долго сидели мы молча и прислушивались. Но вот взошел ущербнувший месяц и матово-зеленоватым блеском осветил весь ключ. Сидьба наша приходилась в тени, под лесом, и мы не боялись, что будем замечены. Серые облачка появились на небе и, быстро

несясь с юго-запада, то закрывали, то открывали луну, что ужасно мешало приглядываться к окружающим предметам и следить за их пребыванием на ключе. Это попеременное освещение как-то сбивало присмотревшийся глаз и придавало какую-то таинственность виднеющимся предметам. Какой-нибудь пенек или маленький кустик казался как бы одушевленным, и настроенному воображению представлялось, что он шевелится, а его неподвижные формы рисовались изменяющимся очертанием, фигурой стоящего зверя. Если бы бессмертный Пушкин был страстным охотником и посидел такую ночь на ключе, как сидели мы с Михайлой, то неужели бы он не воспел этих чар своим звучным, гениальным стихом великого поэта?.. Так думал я, лежа в уголке таежной засадки, и уносился мыслями куда-то в пространство... Как вдруг до моего слуха донеслось новое покукивание камешков! Что это — обман? Или нет? И я невольно превратился весь в слух. Но характерное постукивание повторилось опять! И я, не веря более Михаиле, тотчас приподнялся, чтоб взглянуть через стенку засадки. И — о ужас!..

Несколько поправее того места, где стрелял зверя, я опять увидел большого сохатого, который стоял к нам грудью и пил из ключа воду.

Повторилась почти та же история, как и при первом случае. Я только толкнул Михайлу и показал рукой, чтоб он скорее стрелял, но он быстро нагнулся и показал мимикой, чтоб стрелял я.

Пришлось проделать тот же маневр, и я, тихо переведя винтовку на переднюю стенку засадки, неслышно взвел курок и прицелился. В это время зверь вдруг поднял ветвистую голову, и его осветило луной. Боясь того, что он слышал наше присутствие и пользуясь освещением, я быстро взял на маяк и спустил курок. Боковой уже ветерок тотчас отнес пороховой дым, и я опять слышал стук пуль и видел, как сохатый сунулся на колени, а потом «с прыти» встал, согнулся и, опустив голову, тихо зашагал в чащу.

— Опять ловко попало, а пошел как целый! — сказал Михайло и соскочил на ноги.

— Ну нет, не совсем целый! — проговорил я и погрозил, чтоб он молчал, усиленно при-

слушиваясь, где трещит зверь.

Долго провожая ухом, нам показалось, что сильно раненный сохатый ушел по тому же направлению, куда утянулся и первый. Мягкий треск чащи то утихал, то возобновлялся; наконец все замолкло, и мы порешили, что сохатый или упал, или лег.

Радость наша была велика! Михаилу снова немножко потрясло от волнения, и я опять подтрунил над ним, потому что на его винтовке тот же подзор красовался на дуле!..

— Ты что же это делаешь? Опять не снял карабчена? — спросил я.

— Да, вишь, думал, что уж больше никто не придет, потому что первым зарядом оголчили место и я помекал, что с такого выстрела и сонных-то всех разбудило, — оправдывался и отшучивался радостный Михайло, а потому такую здоровенную понюху заворотил за щеку, что чертям тошно!..

Зарядив винтовку уже одной пулей, я улегся спать и проснулся только тогда, когда совсем рассветало, так что по веткам чиликали птички и кой-где перепархивали по кустикам. Михайло, свернувшись калачиком, креп-

ко спал в уголке сидьбы; я его разбудил, и мы, забрав все принадлежности, потащились к табору, с которого пахло дымком и доносились звуки топора.

Заслыша нас, Корнилов подправил огонь, и костер свежих дров запылал тепло и приветливо. Мы навесили чайник и скоро напились горячего чаю, что отогрело позастывшие наши члены и возбудило новую энергию искать раненых зверей. Нечего и говорить уже о том, что мы все подробно рассказали Корнилову о нашей охоте и поблагодарили его за то, что он сумел сохранить полнейшую тишину на таборе.

— Оба выстрела слышал отлично. И порадовался же, как заметил по голку, что ладно попали! Особенно первый-то раз! Слышно было, как щелкнула пуля по костям зверя, а голк не раздернуло! — радостно говорил Афанасий Степаныч, торопясь идти с нами на поиски зверей.

Лошадей мы стреножили и отпустили на лесной пырей, тут же около табора, за маленьким залавком. Одно только не радовало нас — это погода, которая начала хмуриться;

все небо затянуло сплошной свинцеватой тучей.

— Ну-ка попробуем твоего кобеля, каков он будет на деле, — сказал я Корнилову и просил его, чтоб он до время не отпускал его со сворки.

— Богатый Серунько! Вот увидите сами! — говорил Корнилов и стал отвязывать собаку, которая, насидевшись на привязи, сильно рвалась и начала лаять.

Вооружившись винтовками, мы бойко отправились к ключу, чтоб выправить следы и тогда отпустить собаку. Но вышло не совсем так, потому что Афанасий Степаныч уж шибко понадеялся на своего Серуньку, которого отпустил со сворки ранее, чем мы дошли до ключа. С радости насидевшийся пес опрометью бросился расправлять свои ноги, напал на свежий след, и мы скоро потеряли его из глаз.

Придя на те места, где выстрелы застали зверей, мы скоро нашли признаки запекшейся крови и в обоих случаях проследили их несколько десятков сажень, но в чаще потеряли ее следы; а простой уход зверей по одним

следам, без крови, проверить не представлялось возможности, потому что все тропы были избиты свежими следами. Тут надо быть природным орочаном, чтоб разобраться в такой толчее след раненого зверя и знать вполне его обычай, чтоб сообразить по местности, куда он должен уйти и лечь, а для этого необходимо точное знакомство со всею окрестностью и ее тущобами.

Пока мы все трое разбирали следы крови, время прошло незаметно и стал пролетать редкий снежок.

Как вдруг на левой стороне от ключа, где-то в лесистом плоском нагорье, послышался гонный лай Серуньки. Заслыша его, Корнилов тотчас бросился туда и закричал нам, чтоб мы поскорее бежали на лай. Ту же минуту Михайло последовал за Корниловым, и они мгновенно скрылись от меня.

Оставшись один, я усомнился в верности розысков хваленого Серуньки, потому что он лаял совсем не в той стороне, куда, видимо, утянулись раненые звери; но, сознавая свое одиночество и боясь единолично наткнуться на раненого сохатого, который в этом случае

очень опасен, я машинально пошел по тому же направлению, куда убежали мои товарищи. Пройдя с версту, я в нескольких местах заметил следы собаки, которые резко означались по беловатому сухоросу и ясно говорили о том, что Серунько удрал по тому следу, которым последний сохатый пришел перед утром на ключ, так как ясные отпечатки звериного хода гласили о его пути к ключу. Убедившись положительно в ошибке собаки, я начал громко кричать, созвал товарищей и наглядно доказал им, что собака убежала неладно, а если и лаяла, то, вероятно, подняла свежего зверя и погнала по-зрячему. Все это оправдилось на деле, и мы воротились, чтоб следить на другой стороне ключа, куда ушли раненые сохатые. Пока мы возвращались, повалил снег хлопьями, и вся окрестность скоро побелела от раннего гостя.

Придя на старые розыски, мы уже ясно видели ржавые пятна крови на свежем снегу и потому скорее пошли по следам отступления простреленных сохатых. Но снег валил не на шутку и так запорошил все тропы, что пришлось отказаться от преследования, и мы с

сокрушенным сердцем воротились на табор. Словом, нам не повезло, потому что еще ранее этого возвратившийся Серунько совершенно разгорел и, отыскав нас на следах зверей, изнеможенный упал в лужу воды, между кочками, и жадно лакал, так что мы не могли его дозваться и оставили на месте.

Увидав такую невзгуду со стороны природы, мы порешили убраться домой с тем, чтобы через день или два снова приехать и отыскать зверей. На этом основании мы поставили на таган котелок, чтоб сварить щи, пообедать и отправиться восвояси. Пока мы приготавливали котелок, резали мясо, поправляли огонь и проч., снег несколько поутих, а потому Корнилов и Михайло решились попытать счастье и снова отправились на розыски, а я с досады остался на таборе варить похлебку.

Прошло с полчаса; я лежал около огонька, курил и помешивал в котелке. Как вдруг услышал за окружающим табор залавком сильный треск. Я подумал, что не конь ли запутался треногом между валежником, а потому моментально соскочил и выбежал на залавок, чтоб поглядеть. Но, к удивлению моему,

все три лошади благополучно ходили по пырею, однако сторожко посматривая на колок. В это самое время послышался новый удаляющийся треск, а затем и гонный лай отдохнувшего Серуньки.

Было ясно как день, что один из раненых сохатых лежал в том самом колке, который тянулся от табора за прилегающим залавком и находился так близко к ночующему Афанасию Степанычу! Ясно было также и то, что остывший в воде Серунько — чтоб его черт взял! — скоро наткнулся на кровавый след зверя, разыскал его без всякого толка в колке и угнал вниз по долине!

Живо сообразив, в чем дело, я невольно плюнул от досады, понуро пошел к табору и в душе бранил Корнилова, что он не послушался и рано отпустил собаку. Совсем бы разыгралась другая история, если б с первого раза мы пошли с собакой по кровавому следу и, конечно, скоро бы подняли зверя, еще до снега.

Взбешенный, сидел я у огонька и поджидал охотников, которые скоро и явились без всякого толка, потому что густой снег снова

повалил без перемежки, закрыл все следы и отравил всю охоту! Корнилов и Михайло подробно рассказали о своей неудаче и о том, что потеряли собаку, так как ее не было на том месте, где оставили. Слушая их рассказы, я пока крепился и молчал, потому досада давила мне сердце, и я чуть не плакал. Заметя мою хмурость, Корнилов смекнул, в чем дело, и заискивающим тоном тихо проговорил: «Напрасно я не послушал вас, Александр Александрович, и отпустил Серуньку рановато; а надо бы навести его на след и пустить по крови». — «А! Теперь и ты, Афанасий Степаныч, понял, в чем дело! Вот тебе и науки: впредь слушайся и не умничай!» — уже не вытерпев, горячо проговорил я и подробно рассказал, что я видел, слышал и переживал, оставшись кашеваром у табора.

Представьте мою досаду, когда после этого рассказа Корнилов, закусив губу и что-то соображая, со слезами на глазах оповестил о том, что он еще с вечера, вскоре после первого моего выстрела, слышал треск в этом ближайшем колке, но не смекнул, в чем дело, и ни слова не сказал мне об этом, когда я при-

шел с Михайлой с ключа!..

Услыша такое признание, я едва удержался от взрыва и, кое-как укрепившись, только покачал головой и мягко сказал:

— Вот видишь, Афанасий Степаныч, какую ты новую глупость сделал своим молчанием. Ведь зверь-то в руках у нас был, только ты закнись хоть одним словом, что слышал треск в этом колке после моего выстрела! Мы бы пришли к нему прямо и взяли бы на месте, без всяких хлопот и розысков. Эх ты, голова мудреная! Вот теперь и будешь знать, как на всякую штуку, при такой охоте, нужно обращать внимание! А теперь что? Был «гевезен», да выскочил!..

Кончая этой избитой фразой, я невольно посмотрел на Корнилова, и мне стало его жалко, потому что он чуть не плакал и только с досады кусал свою губу. Заметя его горе и видимое раскаяние, я взял его за плечо и братски сказал: «Ну полно кручиниться! Вот давай выпьем по рюмочке и забудем свое горе, а дня через два приедем и, бог даст, найдем зверей, а теперь они не испортятся».

Мы выпили и уселись обедать, но снег не

останавливался и порошил по-прежнему. Вскоре прибежал откуда-то и Серунько! Я уж молчал, чтоб не растревлять нашей общей раны.

Оседлавшись, мы уехали домой, куда и добрались уже в потемках.

Скоро снег идти перестал и установилась добрая погода, а потому через день я отправил на ключ розыскную экспедицию. Михайло, Корнилов и штейгер Соловьев поехали на поиски и нашли одного сохатого саженьях в 300-х от ключа. Они рассказывали, что, приехав на тот же табор, заметили ворона, который прилетел к речке, посидел на лесине, как-то особенно скуркал и, точно осведомившись о приезжающих, скоро снялся с дерева и, куркая, отправился в лес. Помня мои советы относительно этой птицы, они тотчас заскочили на лошадей и побежали за вороном, не теряя его из глаз. Заметя, что таежный вещун уселся на высокую лиственницу, они немного остановились и стали наблюдать, что он будет делать. Но хитрый ворон, видя их преследование, упорно сидел на дереве, опять покуркал и потом снова полетел.

Боясь потерять птицу, они опять поспешно поехали, но скоро, добравшись до той лесины, где он сидел, заметили густую мелкую чащичку, в которой, на самом закрайке, совершенно неожиданно увидели лежащего зверя.

— Здесь, здесь! — закричали они разом и, крестясь, благодарили бога, что он помог им через птицу отыскать потерю.

Найденный зверь оказался 4-х лет, но был уже настолько велик, что от переднего копытца до конца загривка имел меры 11 четвертей. Две пули, на вершок одна повыше другой, оказались не в груди, а в самом заду!.. Они прошли наискось всю внутренность, изломали на левом боку три ребра и одна из них вышла навывлет у левой лопатки.

Вот как крепок сохатый, что с такой ужасной раной мог утянуться на такое расстояние и, как видно, имел силу идти до последнего вздоха, потому что, где он упал, не было никаких признаков, чтоб он бился в агонии. Это доказывало, что сохатый сунулся мертвым!..

Если мне показалось, что я стрелил второго зверя в грудь, а не в зад, то это ничто больше как обман ночного освещения. По всему

вероятно, в момент выстрела сохатый стоял к сидьбе задом, но, заслыша нас, заворотив голову, оглядывался на засаду, почему и показалось мне, что он стоит грудью.

Второго зверя в этот же день нашли орочны, которые, узнав о моей охоте, немедленно отправились на розыски. Они сначала скрыли свою находку, но потом признались во всем и говорили, что такого громадного быка им видеть не приходилось! Обе пули попали немножко низко, в левый бок груди, что и дало ему возможность уйти от ключа, а потом и от собаки, версты на полторы от того колка, в котором он лежал и сохранился по невниманию Корнилова.

Прожив на Урюме почти семь лет, пришлось испытать еще много такого, что не вошло в эти записки или по неудобству изложения, или потому, что всего не напишешь; да и надоело немного сидеть и царапать. А потому покончу на этом и теми же словами, как начал: — Урюм! Урюм!..

# Бальджа

## I

Перенося свои воспоминания на бумагу, вижу, что, принимаясь за эту статью, я сделал большую ошибку, ранее познакомив читателя с тем, что было после; между тем как Бальджа — это «альфа» моих скитаний по тайге и первоначальная школа сибирской охоты. Сознавая эту ошибку, я все-таки осмеливаюсь думать, что читатель не будет строг и не посетует на меня за такую непоследовательность, так как воспоминания охотника не историческая запись и тут хронологический порядок не может играть важной роли.

Приехав в Нерчинский край новоиспеченным офицером, еще совсем юношей и не имеющим понятия о службе, в том значении, какова она была в то время на горных заводах и рудниках столь удаленного края, как Даурия, мне всякое перемещение казалось в каком-то розовом свете, и я, по юности лет, еще не понимал той тяжести жизни, которая скрывалась за ширмами и не могла выказаться сквозь невольную драпировку моего радуж-

ного калейдоскопа. Действительно, в то счастливое для меня время всякое перемещение по службе приносило мне только одно удовольствие и еще более развивало во мне страсть к путешествию, потому что почти всякое новое место гористой страны, сменяясь столь разнообразными картинами даурской Швейцарии, приводило меня в восторг и вселяло большую любовь к природе. По обычаю того времени и порядку службы, нас, горных офицеров, обязательно год или два содержали на практических занятиях и не давали ответственной должности; так что я, в силу этого порядка, в очень непродолжительный срок успел побывать во многих местах Нерчинского края и хоть несколько оглядеться, познакомиться и присмотреться к тому, к чему меня подготовляла служба. Эта разумная мера усвоила во мне наблюдательность и приучила заглядывать за те ширмы, которых я сначала как бы не замечал и недоумевал, что за ними делается!.. Да, эта разнообразная и как бы бродячая жизнь невольно развивала во мне опытность и с каждым днем моего существования помаленьку точно раздвигала

драпировку моего калейдоскопа, а снимая ее, она показывала жизнь в натуре и этим уничтожала радужные цвета молодого воззрения, так что к семи цветам солнечного спектра примешивался черный, который, тушуя радугу, оставлял для жизни только что-то серенькое, запачканное, сальное, слезливое... Да, эта служба практических занятий в короткое время познакомила меня со многими фазами человеческой жизни, научила еще глубже заглядывать за ширмы и понимать горе и радости бытия человека как с эполетами на плечах, так в своедельной сермяге, так и громяющего цепями на безъудольной каторге...

В это время моего приспособления к жизни и службе в Восточной Сибири царил знаменитый генерал-губернатор Николай Николаевич Муравьев — тогда еще не граф Амурский. Личность эта крайне знаменательна и заслуживает особого внимания всякого истинно русского человека. В это самое время Муравьев только что окончил свои первые экспедиции на Амуре и обратил большое внимание на устраивающийся новый город Читу,

так сказать, свое детище и центр управления Забайкальского новосформированного казачества, которое он образовал преимущественно из горнозаводских крестьян. Воздвигая Читту как областную столицу, Муравьеву хотелось во что бы то ни стало открыть и развить около этого центра и золотопромышленное дело; и вот он командирует на поиски драгоценного металла горного инженера А-ва, который состоял лично в его штате, делал с ним экскурсии по Амуру и находился в некотором фаворе...

Г. А-в довольно долго трудился в окрестностях забайкальской столицы и при всем своем усердии угодить Муравьеву не мог этого сделать потому, что золото, как нарочно, не открывалось в этой местности, и он волей-неволей должен был удалиться от этого района и производить разведки в более удаленном уголке Забайкалья.

Так как Муравьев, так сказать, «командовал» и горной частью в Нерчинском крае, то инженер А-в и обратился к нему с просьбой выбрать горнорабочих людей прямо с рудников и заводов, так как ощущал недостаток в

умелых руках и численности этой рабочей силы. Вследствие этого доклада Муравьев командировал самого же А-ва в Нерчинский край, чтоб он лично выбрал команду, а горному начальнику дал предложение, чтоб он открыл все пути к этому выбору.

В это время в Александровском заводе (Нерчинского края) жил в отставке горн. инж. А. И. Павлуцкий, который в свое время много ходил по тайге как партионный офицер, открыл две знаменательные россыпи золота — Карийскую и Шахтаминскую — и был на разведках в юго-западной части обширного Нерчинского округа, но живя в тайге, захворал настолько сильно, что должен был оставить тайгу и его, больного, на качалке (см. ст. «Сломанная сошка»), вывезли из дремучих дебрей сибирских трупоб. Павлуцкий, как человек добрый, познакомившись с А-м, хотел ему помочь и еще послужить родине, а потому откровенно поговорил с искателем новой Калифорнии и посоветовал ему отправиться прямо в юго-западную часть Нерчинского края, на речку *Бальджу*, в которой Павлуцкий был лично, делал разведки и нашел надежные

признаки скрывающегося в недрах золота.

Выбрав людей, тогда еще обязательных горнорабочих, А-в послушал советов старика Павлуцкого и отправился прямо, как по писаному, в указанное место; задал там разведочные работы, поручил их опытному надсмотрщику и уехал в Иркутск для личного свидания с Муравьевым. Унтерштейгер Тетерин, тот самый маленький человечек, о котором я говорил в статье своей «Урюм», скоро наткнулся на присутствие хорошей залежи золота и уведомил о находке своего командира г. А-ва, который, пользуясь милостью Муравьева, едущего в Питер, захотел отдохнуть и сам, а потому выпросил себе отпуск на Алтай, где находились его родственники; а на время этого отсутствия, чтобы партия не оставалась без офицера, Муравьев предписал горному начальнику Нерчинского края немедленно командировать молодого инженера в помощь г. А-ву, который должен ожидать посланное лицо в г. Чите и дать надлежащие указания.

В это самое время я находился на практических занятиях в Шахтаминском золотом промысле и не чаял о предстоящей команди-

ровке, как вдруг получаю экстренное распоряжение, которое гласило о том, чтоб я, раб божий Александр, немедленно явился за приказанием в Нерчинский завод, а затем, нима-ло не медля, отправился в гор. Читу, в распоряжение и помощь г. А-ва.

Тут рассуждать уж не приходилось, да и некогда, а потому я, — как одна голова не забота, — живо собрал свои вещи, сложил в чемодан, забрал все ружья — два дробовика и ижевский одноствольный штуцерок — и в сопровождении денщика Михаила Кузнецова (см. ст. «Култума») отправился в Нерчинский завод. Прожив в нем несколько дней, чтоб за-пастьись необходимыми таежными принад-лежностями, я в последних числах августа 1856 г. выехал на Московский тракт и пока-тил в г. Читу.

Как теперь, помню эту поездку, потому что она совпадала с моим желанием путеше-ствовать и дала мне случай отделаться от нена-вистного мне Шахтаминского промысла, в ко-тором большая часть работ производилась ссыльнокаторжными людьми, а следователь-но, ежедневно, с раннего утра до позднего ве-

вчера, слышался звон кандалов и нередко потрясающий вопль человеческих стонов от размашистых ударов кнута и трехлапчатой плети... Где жизнь перешагивала рубикон человеческого бытия и давила своей обстановкой как потому, что в таких местах жизнь — копейка, так и по каре возмездия законного порядка.

Так как эта поездка была в самый разгар осеннего пролета дичи, то я почти не заметил неудобств перекладной тележки, всегдашних лишений пути по глухим местам, и скоро докатил до г. Читы. Среди ежечасных наблюдений над новыми местами, по массе отлетающей птицы, мне слишком памятно одно место — это слияние рек *Онона* и *Ингоды*, где мне пришлось ночевать на почтовой станции, за разгоном почтовых лошадей. Во избежание войны с неприятными насекомыми я улегся спать в почтовый тарантас, но, несмотря на усталость от дневной поездки, почти что до утра уснуть не мог, потому что в эту sereneкую ночь был такой пролет дичи, что трудно себе представить даже и в воображении. Не выходило такой паузы, чтоб где-ни-

будь не было слышно гусиного гоготанья или свиста от пролетающих табунов уток. Ну какой тут сон для страстного молодого охотника! — особенно тогда, когда гусиное гоготанье нередко было так близко к моей повозке, что я не один раз выскакивал из «волчка» кибитки и пристально смотрел вверх, но, конечно, ничего не видал, зато иногда слышал характерное дребезжание крыльев гусиного полета. Надо заметить, что слияние рек Онона и Ингоды — место чрезвычайно красивое и замечательно в Сибири по притонам для водной птицы, где она останавливается, отдыхает и группируется как весной, так и осенью для отлета на север или юг. Да, не забуду я этой ночи на 3-е сентября, по тому чувству охотничьей тревоги, которая переполняла мою душу каким-то особым трепетанием нервов и заставляла забывать неудобольствия путевой остановки, а равно и ночевания в почтовой кибитке, с чуть-чуть не голодным молодым желудком.

Приехав в Читу и явившись к наказному атаману М. С. Корсакову (впоследствии генерал-губернатор Вост. Сиб.), я узнал от него,

что А-в, не дождавшись моего прибытия, уехал в отпуск, а мне оставил письмо, которое и было мне передано. Прочитав его тут же, в квартире Корсакова, я был поражен его содержанием. Письмо состояло из пятнадцати строчек, гласивших о том, что он, А-в, «устав нравственно и телесно», едет отдохнуть на Алтай; оставляет мне для работ 125 руб.; просит собрать команду, которая отпущена им гулять по деревням, и предлагает отправиться на речку Бальджу, где и производить разведки на золото. Ошалев окончательно, я сначала растерялся и не знал, что сказать дожидавшему меня Корсакову, бывшему тогда в приятельских отношениях с А-м. Видя мое замешательство, добрейший, как человек, Михаил Семенович спросил меня: «Ну, что же вы думаете делать?»

— Не знаю, ваше превосходительство, надо подумать.

— Ничего, — сказал он, — поезжайте и работайте, а деньги скоро пошлются.

— Слушаю, — отвечал я и хотел уже отправиться, как Корсаков оставил меня обедать, велел снять шпагу и долго протолковал со

мною и с подошедшими к нему гостями, но о моем затруднительном положении более и не заикнулся. Видя это как бы намеренное молчание, я молчал сам; а пообедав, откланялся и, придя на станцию — свою квартиру, тотчас потребовал лошадей и отправился в путь, к месту, где гуляла команда.

Не могу тут не сказать, что во время моего отсутствия мой денщик Михайло достал от полицеймейстера Сахарова превосходного щенка[5], который был еще очень невелик, но начинал уже есть всякую всячину и потому не особенно пугал на предстоящий нам путь.

Можете судить, читатель, в каком настроении выехал я из г. Читы, имея в кармане только 125 руб. казенных денег и в перспективе такую трудную задачу, чтоб на эту сумму произвести работы и не заслужить нареkania за свою неумелость вывернуться из затруднительного положения, не видав еще службы и имея от роду только 22 года!..

Но молодость, счастливая молодость! Быстро передумав всякую штуку, я как-то скоро забыл предстоящие заботы и весело ехал

все дальше и дальше, все ближе и ближе к цели своего назначения. Новые места, новые картины природы разбивали мои мрачные думы, а попадающаяся чуть не на каждом шагу разнообразная дичь приводила меня в восторг, как молодого охотника, и точно какой-то волшебной силой прогнала всю мою кручину. В самом деле, разнообразной дичи столько попадало на дороге, что я охотился за ней попутно до пресыщения, нередко привозил по несколько штук на станцию и, конечно, тут же раздавал убитую птицу хозяйкам квартир и ямщикам. Разных пород уток было так много на прилегающих к дороге озерах, что трудно поверить, и мы их не стреляли, а берегли заряды на более ценную дичь, так как попадала и пропасть гусей, которые большими табунами встречались на песчаных отмелях рек, на зеленых отавах и по хлебным пашням. Покосачившиеся выводки тетеревей частенько попадались около самой дороги, а каменные рябчики (серые куропатки), равно как и белые куропатки, не особенно боясь проезжающих, бегали целыми табунчиками по колеям нашего тракта.

Весь длинный путь мы ехали отлично; только переезжая вброд речку Илю, пришлось потерпеть крушение, потому что после сильных дождей в хребтах вода прибыла настолько, что едва не выходила из берегов и стремительным шумом неслась по руслу. Ямщик наш, понадеявшись на знание брода и бойкость лошадей, пустился переезжать речку, нисколько не остановясь на берегу и не посоветовавшись с нами. Лишь только наша тележка спустилась в речку, как вода залила весь кузов, а кони всплыли и их потащило струей. На самой середине речки наш экипаж чуть-чуть не перевернуло кверху колесами, и мы спаслись только благодаря тому, что я, видя неминуемую беду, как-то машинально передернул своего денщика Михаилу на свой же бок и тем сдавил поднимающийся борт тележки; а удалой ямщик, заметив пониже песчаный откосок, вовремя направил лошадей наискосок, вниз по течению, и благополучно доплыл до этой отмели, на которую мы и заехали, очутившись в затишье и вдающемся в берег плесе.

Спасшись таким образом, нам пришлось

немало поработать, потому что, минуя брод, мы попали под довольно крутой и возвышенный берег, на который выехать нельзя было и подумать. Что тут делать? Сначала мы хотели послать за народом в деревню, но, обдумав все положение и время, необходимое для посылки, мы порешили самим одолеть препятствие. Не думая долго, мы вылезли на берег, срубили колья и с помощью их и топора спустили канавкой берег, а затем по этой брешке вывели поодиночке лошадей. Потом разобрали почти весь наш немудрый экипаж и по частям перетаскали его на берег. Так как крушение это было днем и солнце светило ярко, то мы скоро привели все подмоченное в порядок, собрали экипаж, запрягли, сели и поехали, как ни в чем не бывало.

Чтоб не утомить читателя неинтересным для него дальнейшим путешествием, без особых приключений, я постараюсь быть кратким, чтоб поскорее добраться до сути рассказа и познакомить его только с тем, на чем мне хочется остановиться и побеседовать.

Добравшись до тех селений, где гуляла команда, я скоро собрал полупьяных людей и

отправил их с нарядчиками ближе к месту работ, а сам познакомился с богатыми крестьянами и казаками, запрянул их доставить в тайгу сухари, крупу, соль, мясо, кирпичный чай и прочие принадлежности таежного обихода, а для расчета команды занял денег. Читателю, быть может, покажется все это странным и, пожалуй, невероятным, что богатые люди верили, так сказать, на слово, не получая ни одной копейки за свои припасы! Сомнение его будет, конечно, весьма естественным и резонным, но только потому, что он, быть может, незнаком с порядками старо-сибирских обычаев. «Что за Аркадия!» — скажет он, что, не зная, совсем человека, богачи верят ему на тысячи и даже не спросят, когда получат за припасы деньги. Разве уж там кисельные берега и медовые речки, что такая простота в обиходе?

Да, господа! — отвечу я на ваши вопросы. Старая Сибирь лет 25 назад в некоторых своих уголках действительно была настоящей Аркадией и, пожалуй, обетованной землей с кисельными берегами и сытовыми речками. Для примера скажу хоть такой факт: остана-

вась в Ульхунском карауле, у богатого казака Перфильева, я втроем и с двумя лошадьми прожил на полном его иждивении ровно две недели, и когда при отъезде спросил его, что следует с меня за квартиру и содержание, то он обиделся за это до слез и жестоко на меня рассердился, говоря, что бог дал ему живот (скот) и богатство не для того, чтоб собирать гроши с проезжающих, а для того, чтобы приютить и чествовать своих гостей во славу божию и чрез знакомство с хорошими людьми приобретать славу доброго человека. «Не обижай меня, барин, — говорил он. — Бог мне дал всего вдоволь, и я горжусь тем, что у меня стоял хороший человек; это моя слава и моя честь. Живи хоть еще целый месяц, и я с тебя не возьму ни копейки; а поедешь обратно — меня, старика, не забывай, а то грех и тебе будет». После такого выговора мне оставалось только извиниться и сердечно благодарить старика за такое радушие и гостеприимство. Зато беда, если после такого поста приехать в то же селение и остановиться на другой квартире, — это значит жестоко оскорбить старого хозяина и нажать в его лице непри-

миримого врага.

Действительно, трудно поверить тому, что в Сибири из крестьян и казаков есть такие богачи, что они стада овец считают не сотнями, а тысячами, а рогатый скот и лошадей сотнями голов. Многие из таких Крезов живут очень хорошо, конечно, относительно своих понятий о жизни: имеют хорошие поместья и приличную обстановку. Нередко в их домах увидите порядочную мебель, зеркала, фарфор, сервизы, дорогое столовое белье, серебро и проч.; но все это только для торжественных праздников и почетных приемов, а в обыденное время эти богачи, хоть едят просто и сытно, но никакого комфорта себе не позволяют: ходят в простых овчинах, едят деревянными ложками; и не потому, что они скупятся, — нет, а скорее в силу привычки. Равно как и живут такие люди не в убранных комнатах (по их «горницах»), а в чистых простых избах с русской печью и неизменными полатями.

Отправив с грехом пополам пьяную команду, я, как и сказал выше, ездил из селения в селение и заготавливал необходимые припа-

сы на всю зиму для существования партии в тайге. Путешествуя таким образом, я познакомился в Усть-Илинской волости с крестьянином Скородумовым, который, выслушав меня, вошел в мое положение и сделался первым моим благодетелем и другом. Он взял на себя большую часть заготовления припасов по самым умеренным ценам и снабдил меня деньгами на необходимые нужды. Не могу не выразить этому доброму человеку, печатно, своей полнейшей и искренней благодарности, хотя и через такой продолжительный период времени. Человек этот не только от души желал помочь моему горю, но и сердечно радел тому, чтоб розыски золота достигли своей цели, говоря, что «как и не послужить нашему батюшке царю, у него ведь заботы-те не наши, да и расходу-то в шапку не сложишь; надо же откуль взять и копейку, сама собой ведь не родится».

Устроив все, что следовало устроить для существования партии в тайге, я окончательно успокоился, ожил душой и повеселел так, что забыл всю свою кручину и, распрощавшись со своим благодетелем Скородумовым, с

полной надеждой на будущее, радостно выехал из Усть-Илинской волости.

День был превосходный, солнце почти палило, и я на лихой скородумовской тройке, вместе с Михайлой, пролетел сряду две станции, направляясь к пределам тайги. Приехав на станцию, я потребовал лошадей, но кони были в поле, и мне пришлось подождать. Я спросил самовар и уселся пить чай, а когда заметил, что пригнали лошадей, то вышел из избы и пошел к подготовленной тележке, оставив Михаилу прохладиться у самовара, и собрать дорожные принадлежности.

Выйдя в сени и в крытое крыльцо, ведущее прямо на крытую же галерею к калитке, я встретил под навесом несколько цыган, которые пробирались в избу. Впереди всех бойко шел рослый и чрезвычайно представительной наружности старик цыган. Его выразительная физиономия и могучие плечи говорили сами за себя и невольно бросались в глаза. За ним шли две пожилые цыганки, и одна из них тоже выдавалась по своей наружности и лучшему одеянию. Позади же всех шла молодая девушка такой красоты, что я,

увидев ее, невольно остановился и несколько смутился; но она бойко смотрела на меня и, заметя мое смущение, быстро покраснела и сама несколько потупилась. Сначала я, растерявшись, не знал, что делать, и не знал потому, что не хотел пройти мимо этой красавицы, не сказав ни одного слова. Точно какая-то неведомая сила заставляла меня остановиться, посмотреть на это дивное создание и поговорить хоть только для того, чтоб услышать ее голос. И спасибо старику цыгану — он меня выручил.

— Здравствуй, барин! — сказал он. — Куда изволишь путь держать, верно, проезжий?

— Здравствуй, брат! — сказал и я. — Ты угадал, еду в партию искать золото.

— Не хочешь ли вот моя баба тебе поворожит, а вон моя дочь споет тебе песню, попляшет.

— Нет, голубчик, не надо; а вот иди в избу, там мой денщик пьет чай; он и вас всех напоит. Идите туда.

— Спасибо! — сказал старик и что-то проговорил на своем диалекте со своей женой.

Молодая цыганка быстро взглянула на ме-

ня, снова покраснела и так улыбнулась, что я и до сего дня помню эту улыбку. Чтобы не растеряться совсем и не показать своего смущения, я тотчас воротился в избу и сказал Михаиле, чтоб он заварил свежего чаю и напоил гостей. Выйдя обратно в сени, я сошелся с идущими цыганами, но молодая девушка стояла на том же месте и пристально смотрела на меня. Проходя мимо, я чувствовал себя уничтоженным, но, скоро поправившись, протянул ей руку и сказал:

— Здравствуй, красавица!

— Здравствуйте, барин! — проговорила она таким мягким и непринужденным голосом, что я снова опешил. Точно она давно меня знает и нисколько не стесняется моего замешательства, которого она не могла не заметить; этим она как бы ободряла меня и словно говорила — не думай обо мне дурно, но и не смущайся.

Девушка эта была довольно высокого роста и сложена замечательно хорошо. Ее круглые и довольно широкие плечи точно нарочно были так созданы для того, чтобы рельефнее показать грациозный бюст молодой кра-

савицы, оттенять ее тонкую талию и отделить классически красивую головку. Руки ее до того были женственны и так малы, что меня передернуло, когда поздоровался с нею. Не знаю, право, сумею ли я очертить ее замечательное лицо, которое своим продолговатым правильным овалом напоминало о том, как непогрешима природа в таком замечательном творении человеческого образа. Почти совершенно прямой нос, с небольшим горбиком, оканчиваясь правильными, но несколько как бы вырезанными ноздрями, выделялся своей милостивой рельефностью. Но глаза — что это за глаза! — большие, продолговатые, темно-синие, с каким-то особенным блеском, и вместе с тем точно какая-то дымка застилала их от любопытного взора и говорила о том, что бойся этой поволоки, в ней-то и заключаются все чары красавицы. Какую-то особую мягкость и как бы затаенную глубину души придавали этим глазам длинные черные ресницы, которые точно сплетались между собою и в профиле резко выделялись над щекой, как бы казавшись шелковой бахромой. Черные правильные брови почти сходились

над переносом и придавали лицу достойную смелость и сознательную гордость. Но замечательнее всего то, что, смотря на глаза сбоку, с профиля, они казались темно-вишневыми, тогда как en face цвет их был чисто темно-синий. Точно прозрачная ляпис-лазурь лежала на красивой темно-агатовой подкладке. Правильный, маленький ротик, с розовыми, просящими поцелуя губками, довершали красоту этого замечательного лица. Волнистые, блестящие темно-каштановые, почти черные волосы были до того длинны, что несмотря на то, что, будучи вполтину подобранными на затылке жемчужной ниткой, они все-таки своими концами спускались ниже талии и точно роскошным, густым шиньоном закрывали сзади всю шею и часть плеч...

На девушке был надет красный кумачовый тюник, на прошивной синей юбке; а сверх белой кисейной рубашки рельефно охватывал красивую тонкую талию невысокий, черный, бархатный спенсер. На голове было легкое кисейное покрывало, которое как бы предполагалось только на случай для закрытия головы от солнца и дорожной пы-

ли. Прекрасную позагоревшую шейку почти закрывали несколько ниток хороших бус.

Выйдя на улицу, я обернулся к девушке и ласково сказал:

— Вот ты, красавица, иди и погадай мне «на ручке», а то я не люблю, как гадают старухи.

— Изволь, барин, погадаю! Я на это мастерица, — сказала она, и бойко, мелкой и частой походкой, как-то поталкиваясь вперед, девушка подошла ко мне, когда я уже стоял у тележки и поправлял сиденье.

Тут я только заметил, что моя красавица путешествовала босиком и ее маленькие, с высоким подъемом, ножки были покрыты пылью и сильно загорели.

Я протянул ей руку кверху ладонью.

Девушка взяла меня за пальцы и стала глядеть мне на ладонь. Ее опущенные глаза только тут показали всю прелесть густых и длинных черных ресниц. Не выдержав этой пытки и прикосновения ее горячих рук, я невольно стал шалить и ущипнул ее за палец, который она вырвала и хотела опять гадать, но я снова ущипнул ее так же. Она быст-

ро взглянула на меня, покраснела и тихо сказала:

— Полно, барин, не шали, пожалуйста, а то я уйду от тебя.

— А я тебя не пущу!..

— Как не пустишь, я ведь вольная птица, и если б не хотела, то и не подошла бы к тебе, а то, видишь, пришла сама и желаю поговорить с тобой, пока ты не уехал.

— Вот за это спасибо! Так садись хоть на кучерскую беседку и потолкуем.

— Хорошо! — сказала она и одним скачком прыгнула так ловко, что очутилась сидящей на тележке.

— Скажи, красавица, как тебя зовут?

— Зара, — отвечала она бойко и как-то особенно взглянула.

— Который же тебе год, милая Зара?

— Семнадцать, восемнадцатый пошел с Ильина дня.

— Отчего ты такая беленькая и так чисто говоришь по-русски, точно и не походишь на цыганку?

— Такая, верно, уродилась. Я маленькой долго жила в Верхнеудинске у купца, там на-

училась грамоте; читать и писать немного умею.

— Зачем же ты ушла от купца и очутилась в таборе, разве соскучилась?

— Отец силой взял меня от него, и я терпеть не могу этой кочующей, праздной жизни; так бы и убежала отсюда!..

— Ты говорила это отцу?

— Говорила.

— Что же он?

— И слышать не хочет, говорит, убью, коли пойдешь против моей воли.

— Для чего же он взял тебя в табор?

— Замуж хочет отдать за богатого цыгана.

— Что ж ты, согласна?

— Нет; я видеть не могу своего жениха, он такой старый и злой. Я и отцу сказала, что не пойду волей, а если отдаст силой, то утоплюсь.

— Что ж, ты любила или любишь другого?

— Нет, барин; я еще молода и никого не любила.

— А меня бы полюбила? — тихо спросил я и пытливо посмотрел ей в очи.

— Тебя? — спросила она, покраснела, быст-

ро замигала влажными глазами, закрылась кисеей и нервно заплакала.

Я испугался, не знал, что делать; у меня у самого навернулись слезы, и я жестоко раскисивался, что предложил такой необдуманый вопрос.

— Полно, милая! не плачь, а то увидит отец и, пожалуй, на тебя рассердится.

— Нет, ничего, — сказала она тихо и утерлась кисеей.

— Что же ты, желала бы еще поучиться?

— С удовольствием, барин.

— А что ты читала?

— Пушкина читала, да только не все понимаю. А его «Цыган» знаю на память.

— Вот как! А еще что-нибудь читала?

— Басни Крылова, да тоже не все понимаю.

— Разве некому было растолковать тебе?

— То-то — некому; я все это тихонько читала.

— Почему же тихонько?

— Да, вишь, не давали: потому что купеческие дочки завидовали.

— А хотела бы креститься в православную веру?

— И хотела, да отец не велит.

— Долго вы здесь пробудете и куда пойдете?

— Не знаю, и куда пойдём — не знаю.

— А ты давно уже опять в таборе?

— Вот второй год пошел с весны.

— Ах ты, Зара, Зара! И зачем ты Зара! — сказал я и тихо взял ее за руку.

— Зачем, зачем! — повторила она почти шепотом. — Но я могу быть Катей, Олей — если ты захочешь! И отца не послушаю! — и она снова заплакала.

В это время вышел из сеней Михайло, а за ним и старый цыган со своими спутницами. Я тихонько дернул Зару за рукав, она оглянулась, быстро утерла слезы и живо соскочила с тележки. Подошел и цыган.

— Ну, что? Наговорилась с хорошим баринном? — спросил он свою дочь.

— Да; я ему рассказывала, как жила в Верхнеудинске; как научилась грамоте и что умею работать.

— Дура ты, дура! Ты бы лучше сказала, как ты не слушаешь своего отца и противишься его воле; или то, как ты любила вот его бла-

городие! Ты думаешь, я не вижу! — сказал довольно мягко цыган, с свойственным этой расе акцентом.

Зара взглянула на меня и так взглянула, что я никогда не забуду этого теплого взгляда, полного неги и любви, какая может выразиться только у пылкой и страстной девушки; но тотчас опустила глаза и силою воли подавила в себе затаенное чувство... только ее грудь выдавала это чувство и сильно поднялась повыше ее черного спенсера.

— Нут-ка, Зара, давай спляши барину на прощанье, — сказал старик и, взяв из-за пазухи гармонику, заиграл какую-то плясовую; женщины подхватили мотив и стали притопывать ногами.

Зара сначала стояла и точно не слышала музыки; но потом — вдруг глаза ее зажглись каким-то особенным блеском, она быстро повернулась, сдернула с головы кисейное покрывало, взяла его гирляндой в обе руки и пошла плясать — то что-то вроде качучи, то наподобие быстрой лезгинки. Вот где показала она свою природную грацию и чарующую быстроту движений.

Народу собралось много; все удивлялись и поощряли красавицу; а мой ямщик, запрягавший лошадей, стал у незатянутой супони и положительно осовел, потому что стоял как истукан в том же положении даже и тогда, когда Зара кончила пляску и едва переводила дыхание.

Я встал, поблагодарил Зару за доставленное удовольствие и крепко-крепко пожал ее руку. Она уже почти отдохнула и как-то особенно посмотрела мне прямо в глаза; я едва выдержал этот взгляд и, снова смутившись, сказал: «Ну, Зарочка, теперь спой хоть одну песенку».

Зара взглянула на отца, тот заиграл на гармонике и она, чистым грудным сопрано, запела:

*Ах ты, ночь ли ночь,  
Ночь осенняя!..*

Немного погодя, ей стал подтягивать сам старик довольно чистым, хотя и старческим, баритоном. Дуэт вышел на славу, и когда окончилось пение, то все захлопали в ладони, а я, совсем побежденный красавицей, достал

единственный свой полуимпериал и подал его Заре; но она не брала его и как бы с упреком покачала мне головой) но когда ей сказал что-то отец, она вспыхнула, быстро взяла монету и передала старику.

Лошади были уже готовы, я потряс руку цыгану и крепко, протяжно пожал Заре; а затем быстро заскочил в тележку и едва мог сказать ямщику: «Ну, айда, айда! поскорее...»

В этот самый момент меня кто-то крепко схватил за голову сзади, повернул к себе и крепко, и горячо поцеловал в самые губы два раза, а потом как бы нежно отпихнул от себя... Освободившись, я оглянулся, но уже за тележкой, как статуя, стояла Зара и махала своим белым покрывалом.

Лошади подхватили, пыль взвилася клубом, и я скоро потерял из виду прелестную Зару. Вылетя за деревню, я не мог удержаться — упал на подушку и зарыдал, как ребенок... Прощальный поцелуй Зары точно жег мои губы, а в закрытых глазах неотступно блеснул чарующий образ замечательной девушки...

Очнувшись уже далеко на пути, я стал перебирать в голове, и у меня роилось столько

несбыточных мыслей, что я забыл, где нахожусь, и не мог понять, что со мной делается: по всему моему телу бегала какая-то нервная дрожь, голова горела, а лишь только закрывал я глаза — мне снова представлялась во всей своей царственной красоте и грации си-неокая Зара. Да, господа! Я до того был убит и поражен Зарой, что сквозь трели бойко звенящего колокольчика в моих ушах слышались душевно гармонические ноты ее грудного сопрано...

Подъезжая к следующей станции, я хотел силой воли побороть свое внутреннее волнение и потому шутя спросил ямщика: «А что, брат, какова молодая цыганка?»

— Диво, барин, да и только! Чистое диво! Ведь уродится же этакая писаная красавица и у кого же, подумаешь? У цыгана!.. Пфу!..

Признаюсь, последний возглас ямщика мне пришелся не по сердцу, потому что в моей голове вертелись совсем другие мысли, и я, стараясь переменить разговор, спросил:

— А откуда этот цыган?

— А кто его знает откуда: у нас они еще впервые, прежде я его не видывал. Ведь они

шляются по всему белому свету...

Тройка остановилась у большой новой избы. Я вышел, покурил, мне запрягли лошадей в тарантасик, и я снова покатил далее, пересиливая себя и стараясь не думать о Заре. Но при всем моем желании побороть себя мне этого не удавалось, и я, вынув свою записную книжку, стал кое-как на ходу записывать точно нарочно лезущие в голову вирши. Листок этот сохранился у меня доныне, и вот то произведение, которое вылилось тогда из моей потрясенной молодой души, на пути к угрюмой тайге.

## **ЦЫГАНКЕ**

*Такой красавицы, клянуся!  
Нигде доныне не видал.  
Любить тебя — я признаюсь,  
Сейчас полжизни бы отдал!..*

*Умна ты, вижу, от природы;  
Чиста, как голубь, по сей день!  
Снося все бури, непогоды,—  
Родную молча терпишь лень.*

*Судьба жестоко насмеялась  
В твоём рождении — поверь;*

*В дворцах создать тебя боя-  
лась,—  
К шатру, в степи, открыла  
дверь!..*

*Она боялась шума света,  
Быть может, козней мировых!  
Дала тебе, вместо паркета,—  
Всю жизнь в кибитках путевых.*

*Увы! твой рок скитаться вечно,  
Ковров пушистых не топтать;  
Быть может, «маяться» сердеч-  
но,  
Разумной жизни не видеть,*

*Терпеть побои, жить обманом;  
Себя, скитаясь, унижать!..  
Питаться краденым бараном!..  
Глупцов гаданьем ублажать!..*

*Не знать о мире и о боге.  
Его любви не понимать;  
Просить и клянчить на пороге,  
До гроба лепты собирать!..*

*Того ль, красавица природы,  
Достойна ты? — спрошу тебя!*

*Кто в бури жизни и невзгоды  
Тебя согреет не любя!..*

*«Зачем ты Зара?» — повторяю:  
Тебе б колечко я надел!..  
Любя всем сердцем, — уверяю,  
К тебе б вовек не охладел...*

Как ни малодушны строчки последнего куплета, тем не менее я не хотел их выбросить и оставил в том самом виде, как они написались тогда, когда еще я только что начал жить и носил на плечах неполных 22 года жизни при такой неопределенной обстановке собственного бытия.

## II

Воображая, что партионная команда давно уже на месте, я рассчитывал осмотреть за попутьем некоторые долины рек на поиски золота, но вышло не так: оказалось, что всю мою партию я догнал верст через 90 и волей-неволей должен был остановиться в *Кыренском* казачьем карауле. Дело в том, что кыренские казаки, по простоте сибирских нравов обрадовавшись пьяным партионным гостям, курили сами вино и продавали рабо-

чим, едва ли не из каждого дома этого большого селения. Караульцы продавали эту сводельную дрянь, самосидку, как они называют, по 30 коп. за полведра. Значит, пей сколько хочешь, тут уже и душа меры не знает! Из такого безобразия вышло то, что вся моя партия остановилась в карауле и, кроме некоторых штейгеров и нарядчиков, не было решительно ни одного трезвого человека. Многие рабочие валялись на улице, во дворах и огородах в совершенном бессознании и скорее напоминали собою животных, чем людей. Что тут делать? Пришлось воевать с местными доморощенными властями не на шутку, потому что на все мои просьбы и официальные отношения они были немые, глухи и, пожалуй, бессильны; а бессильны потому, что эти пресловутые господа «зауряд», хорунжие и сотники, были сами мокрогубы и «собственноручно» сидели вино в своих огородах. Делалось это без всякой церемонии и опаски со стороны акцизной власти, так как приезжающих ревизоров они или задаривали, или били иногда до полусмерти и выпроваживали из своих владений; а когда наезжал суд — то,

конечно, виновных не оказывалось и доморощенных приспособлений выкурки вина не находилось!.. Значит, нраву нашему не препятствуй! Пей вовсю — отвечаем!..

Положение мое было критическое. Но вот, встав однажды рано утром, я вышел на улицу, сел на завалинку и посматриваю. Вижу, болтаясь во все стороны, пробирается мой партионец Баранов и несет целый *туяс* (бурак, посуда из бересты) вина. Я перевернул форменную шапку кокардой назад; сбросил сапоги, вывернул форменное пальто наизнанку и сижу — думаю, что будет? Баранов кой-как подобрался ко мне и, не узнав меня, спросил:

— А что, брат, не хошь ли выпить?

— Давай, брат, спасибо!

Он подал мне *туяс*, я открыл крышку и немного попил, но потом незаметно выплюнул эту дрянь и спросил:

— Почему брал?

И — о горе! — тут узнал меня Баранов и хотел было бежать, но я поймал его за шиворот и запихнул в калитку, во двор.

— Говори, где брал вино?

— Не знаю, ваше благородие!

— Говори, а то я тебя выдеру.

— Хоть запори до смерти, а где брал — не скажу!..

Я позвал штейгера Макарова, Михаилу, нарядчика Полуэктова, Тетерина, которые стояли на одной же квартире со мной; велел принести розог и разложил все еще упрямившегося в показаниях Баранова; но когда ему дали четыре розги, то он сказал: «Постой, барин, скажу всю правду. Брал я водку у жены бывшего старосты, заплатил десять копеек деньгами и отдал новый красный платочек».

— Где у ней вино? И куда она положила платочек?

— Вино, барин, в подполье; а платок она положила в сундучок, тут же в куте.

— Ты это не врешь?

— Нет, не вру; а за то на нее и сказываю, что она — сволочь! Нашего брата обидит.

— А есть у ней еще вино в подполье?

— Есть, барин! да еще какое — двоеное! то не продает, говорит, к Покрову берегу.

Я тотчас написал экстренную бумагу сотнику, заведующему караулом (казачьим селе-

нием), и просил его немедленно, с хорошими понятиями, пожаловать ко мне; а если он не явится, то я сейчас же пошлю нарочного к атаману Корсакову.

Не прошло и получаса, как ко мне заявился казачий сотник с четырьмя урядниками. Я объяснил ему, в чем суть, и просил сию же минуту сделать обыск у казачки такой-то, так как он раньше не оказывал мне никакой помощи, и что если он этого не сделает, то я брошу партию, уеду в Читу и донесу кабинету его величества, так как поисковая партия ходит от государя императора.

Сотник и понятые струхнули и ту же минуту отправились со мной в дом казачки. Я захватил все письменные принадлежности, отрезвившегося Баранова и своих сослуживцев.

Не стану описывать всей интересной процедуры обыска, а скажу только, что мы нашли в подполье громадные лагуны двоеной водки-самосидки и красненький платочек Баранова. Смешно и досадно было, когда женщина, чувствуя свою вину, сначала уселась на крышку подполья, а потом на заветный

свой сундучок и ни за что не хотела сойти с этих драгоценностей; она говорила, что без мужа ни за что «не откроете я». Пришлось снимать ее силой, но она и тут не поддавалась и стала кусаться и плевать. Видя «поличное» и мою решимость составить акт, сотник и понятые стали меня просить о снисхождении, и я, душевно радуясь такому исходу, порешил на том, чтоб казачку, для примера другим, высечь; а сам шепнул своему письмоводителю, чтоб он сообщил женщине о том, что сечь ее не будем, а сделаем только пример. Казачка, видя беду и просьбы своих же понятых, согласилась. Принесли розги. Заперли ворота, положили во всем одеянии бабу и велели ей кричать, а розгами шлепали по земле. Затем разбили глиняные лагуны с водкой и ушли по домам.

Этот казус имел такое влияние на караульцев, что все жители вылили все заготовленное вино и хлебную барду в речку; а на другой день все уже трезвые партионцы явились ко мне и жаловались только на то, что во всем селении нечем опохмелиться ни за какие деньги.

Пришлось пропившихся и полунагих рабочих одеть и тогда уже отправить далее, к месту работ, до которых оставалось еще более 140 верст. Но пример постыдного наказания казачки был так многознаменателен, что молнией облетел все окрестности и вина нигде уже не было, а кабаков в то время в этих селениях не существовало.

Прости, читатель, что я после встречи с Зарой знакомлю тебя с такой грязной картиной; но что делать, если так и было! Да, было почти 30 лет тому назад, когда еще розга имела магическое действие, а безвыходное положение заставило меня обратиться к такому приему, хотя в то время и не особенно резкому. И что мне оставалось делать, чтоб вывести спившихся рабочих, не имея никакой поддержки со стороны опустившейся до безобразия местной власти?

Придя в крайний пункт своего путешествия, в так называемый Бальджиканский караул, я остановил команду, дал ей отдохнуть, починиться, а затем увел людей в тайгу и распределил работы.

Бальджиканский казачий караул — это

крайний пункт на юго-западной границе забайкальского казачества; и это, мне кажется, самое «убиенное место» из всех селений, какие мне только случилось видеть во всем обширном Забайкалье. Все селение состояло из семи дворов, в коих жило, должно полагать, не более 50 душ обоего пола. Бедность ужасная! Все домишки, с первого взгляда, поражали отсутствием домашнего обихода; а их небольшие окна были затянуты пузырем или полотном, пропитанным в древесной сере. Только у одного казака, Юдина, была отдельная изба с двумя окнами со стеклами. Конечно, этот дом и был вечной квартирой в кои-то века приезжающих чиновников. Ни в одном дворе не было не только телеги, но и ломаного колеса, потому что тут, кроме верховых троп, никаких дорог не существовало. Весь ездальный обиход жителей состоял в плохих седлах и простых дровнях, на которых зимою подвозили с лугов сено.

Бальджиканцы существовали скотоводством и звериным промыслом — только! Никакой культуры человеческого бытия они не знали, и вот почему все жители этой анти-Ар-

кадии волей-неволей были зверопромышленники. В окрестностях Бальджиканского караула никакой хлеб и никакой овощ не произрастал. Сколько раз пробовали сеять ярицу, ячмень, садить картофель, капусту — и ничего не получалось. Поэтому несчастные жители все необходимые хлебные продукты привозили из окрестных селений, а в случае незаготовки питались одним мясом и молочными произведениями. Почему не родился хлеб и овощ — сказать не умею; но полагаю, что вследствие возвышенности места, сурового климата и короткости лета. Но травы росли хорошо, и потому скотоводство было довольно значительно и служило главным материалом бытия караульцев, этого забытого богом уголка Сибири.

Сами бальджиканцы называли свое место «убиенным» и нередко вспоминали известную легенду о рябчике, но с особым прибавлением. Они говорили, что когда Христос путешествовал по земле, то дошел до их места; но тут его испугал лесной рябчик своим крутым и шумным вспорхом. Тогда Спаситель осердился только в первый раз — он наказал ряб-

чика, бывшего в то время большой птицей, тем, что сделал его маленьким; а в память этого события белое мясо рябчика разбил по всем другим сородным ему птицам, и вот почему у тетери, глухаря, куропатки есть часть белого мяса, которое зовут рябчиковым мясом. На том же месте, где испугался Спаситель, он плюнул и повелел, чтоб тут кроме леса и травы ничего более не произрастало. На плевке же Христа по незнанию человека построили Бальджиканский караул, и вот почему жители этого места так бедствуют до настоящего дня.

Все наше счастье, говорят они, заключается в том, что Спасителю не угодно было совсем оскудить это место и он не запретил водиться на нем разному зверю. И действительно им на это жаловаться нельзя, потому что в окрестностях Бальджикана на громадное расстояние, в нескончаемых горах и лесах водится множество разного зверя. Тут пропасть медведей, волков, лисиц, зайцев, белок, козуй, изюбров, сохатых, рысей и немало выдр и кабанов; а о мелких зверьках нечего и говорить — этого добра целая «неуйма»!

Так вот куда забросила меня судьба! Вдали от цивилизованных людей и всех благ и удовольствий, которые доставляет человеку цивилизация. Можете судить о том, что я испытывал в первое время, когда не успел еще освоиться с окружающими меня людьми и с новой обстановкой.

Можете судить, какая перспектива жизни предстояла и мне в этом ужасном захолустье! Что бы было со мною, если б я не был охотником и был взыскателен к жизни?.. Понятно и то, почему А-в убежал из такой прелестной Аркадии и захотел отдохнуть, пользуясь милостью Муравьева!..

Партионные работы были разбиты в 40 верстах от Бальджиканского караула, на речке Бальдже, которая брала свое начало в юго-восточных отрогах Саянского хребта, впадала в Прямую Бальджу, а эта несла свои воды в р. Онон, но впадала в него в пределах поднебесной империи и своим устьем, следовательно, не принадлежала России. Вообще весь этот район был самым юго-западным углом Забайкалья и прилегал почти к самой границе китайских северных владений. Вершины речки

Бальджи заканчивались грандиозными отрогами гор, которые упирались в общий Саян (или Яблоновый хреб.), нередко были покрыты снегом и летом, а потому и носили название белков, или гольцов. Тут почти все горы были покрыты громадным кедровым лесом, редко лиственницею (на предгорьях и в долинах) и еще реже сосною, которая росла единично или небольшими группами на солнпеках южных покатостей гор. Смешанный лес — березы, ольхи, осины и проч. — встречался преимущественно на предгорных еланях, марях[6] и по долинам речек.

Долина р. Бальджи, где производились разведочные работы, не превышала длины 15 и много 18 верст и была так узка, что скорее походила на ущелье и пролегала между такими крутыми покатостями гор, покрытых сплошь кедровником, что на них и пешком трудно забраться, а не только подумать заехать на экипаже. Все это, взятое вместе, придавало местности какой-то особый колорит угрюмости и с непривычки производило на свежего пришельца крайне удручающее впечатление. Черные, высокие горы точно свинцом давили

человека, а почти вечный их шум отзывался каким-то зловещим гуденьем и потрясающе неприятно действовал на нервы. Надо было сжиться со всей этой дикой прелестью, чтобы безропотно мириться с жизнью в этой труппе, в этом вертепе сибирского захолустья!.. Хорошо должно быть такое место, где солнце зимою заглядывало только часа на полтора и много — на два, зато ночной мрак окутывал всю нагорную окрестность в продолжение шестнадцати часов!..

Для жилья рабочих в долине Бальджи были настроены так называемые в Забайкалье зимовейки. Это ничто больше, как крохотные избенки, которые рубились из прилежащего леса, преимущественно из сушняка и большею частью помещались у предгорий, за ветром. Внутри сбивались изредка глиняные печи, а чаще устраивались простые каменки, без трубных выводов. Около стен делались небольшие нары и полки для поклажи рабочей абды (одежды) и съестных принадлежностей. Крохотное оконце и небольшая «на пятке» дверь обыкновенно довершали незатейливую архитектуру постройки. Такие таеж-

ные дворцы отапливались по-черному и потому, во время топки, живущим приходилось выходить или сидеть на полу, так как дверь должна быть отперта; в нее и в дымовое отверстие в потолке выходил дым. В таких помещениях было крайне тепло и уютно, так что рабочие по три, по четыре и даже по шести человек жили в них удобно и безропотно. На сооружение такой хаты требовалось не более трех дней, следовательно, было бы грешно заставлять рабочих «жить по-тетерьи» — под березкой или зимою в простых балаганах, как это делают многие партионные отцы-командиры и, конечно, больше на этом проигрывают, чем выгадывают, особенно в зимнее время.

Местная резиденция управления партией находилась на устье речки Малой Бальджи, при самом ее впадении в Прямую, или Большую Бальджу. Тут было выстроено большое зимовье на два помещения: в наибольшем, с прихода, проживали рабочие, которые «робили» поблизости этой местности; а в наименьшей, задней половине, помещались штейгер Макаров и некоторые нарядчики; тут же юти-

лась и моя койка. Около этой резиденции находился амбар для хранения съестных припасов и фуража для лошадей.

Я жил в партии не постоянно, а приезжал каждую неделю дня на два, на три, и главная моя квартира находилась в Бальджиканском карауле у казака Юдина, где жил со мной в одной избе и денщик мой Михайло Кузнецов, хороший человек и недурной охотник. Так как помещались мы совершенно отдельно от хозяев, то и не терпели никакого стеснения. Вся беда наша заключалась в том, что не имели денег и потому нередко отказывали себе даже в необходимом комфорте таежной жизни — нам не хватало на табачок и на выпивку, что при такой жизни было настоятельной потребностью. Михайло мой получал 57½ копеек тогдашнего окладного жалованья рабочего и три рубля порционных в месяц; а я, раб божий Александр, получал одиннадцать рублей; хотя и следовало мне 16, по чину прапорщика, но 5 руб. вычиталось ежемесячно по корпусному долгу «за разбитую посуду», «потерю кровати» (!) и проч. грехи кадетской жизни. Выходило так, что мой денщик был

богаче своего барина, потому что я платил Юдину за квартиру и за стол десять руб. в месяц, и мне оставался один рубль на все остальные потребности; тогда как Михайло все содержание получал сполна от меня и, кроме того, имел расчет за положенный натурой провиант — полтора пуда сухарей в месяц. Но надо отдать справедливость и благодарность Юдину и его хозяйшке — кормили они нас хорошо; хоть и просто, но сытно: каждый день щи, жареная баранина или козулятина и молоко; это за обедом и ужином; а то перепали на губу и пельмени, и каша, и яичница, а иногда и уха из живой мелкой рыбешки.

Теперь мне хочется сказать о самой нашей жизни, а затем уже перейти и к охоте. Понятное дело, что, живя в таком захолустье ва исполнением своих обязанностей, свободного времени оставалось много. Куда его девать? А то скука смертная, так как читать, кроме юдинского псалтыря, решительно нечего. Я стал работать и научился у Михайлы шить козлики (шубы из козульих шкурок) и унты (теплые, мягкие сапоги) из козьих барловых

шкурок (малошерстных, осеннего битья). А для охоты состряпал себе патронташ, в который вместо жестяных патронов сделал такие из камышовых дудок.

«Убиенность» Бальджиканского караула отражалась во всем, и нередко случалось так, что не представлялось возможности купить себе не только папиросного табаку, но и простой махорки. Зато какой бывал праздник, если заезжал какой-нибудь торгаш и мы покупали у него четверку или две «турецкого» или хорошую папушу «сам-кроше». Тогда Михайло молот себе зелья в тавлинку (он клал за губу), а я сооружал папиросы. Тут мы корешки отделяли и бросали за печку. Но вот приходило иногда и такое время, что купить и листочка махорки негде; тогда — смех и горе! — брали мы бабье помело, и нутко им выметать из-за печки!.. Бывало, какая радость, как наметешь этих корешков порядочную толику, старательно обдуешь их от пыли, и чтоб поменьше держать такой драгоценности, то для куренья в трубке прибавляли к корешкам мелкие стружки от сухой березовой палочки, а то натертой сосновой коры, которую бальджи-

канцы нарочно привозили издалека и продавали; за кусок коры, величиною в тарелку, по три копейки!.. Это ли еще не жизнь молодого горного инженера!

### III

Так как я гостил, так сказать, в Бальджиканском карауле с осени и время приближалось к покрову, то многие караульцы суетились и подготавливались к «белковью»; но в этот год, как нарочно, белки в тайге было мало, и потому многие промышленники охали от такого невзгодья и волей-неволей нередко сидели по домам. Они отлучались в тайгу только наездом и занялись шитьем козляков, унтов, рукавиц и проч. принадлежностей для моих партионцев, так как время подходило к зиме и в теплой лопати (одежде) ощущался порядочный недостаток. Я с Михайлой, по незнанию местности, ходил преимущественно по ближайшим окрестностям и пользовался одними рябчиками и зайцами; а диких коз, хоть и попугивал часто, но с болью в сердце глядел им только вслед, «в сугонь», как говорят сибиряки-промышленники, и, чуть не плача, возвращался домой, потому что тогда

еще не знал способов добычи этой дорогой для охотника дичи. Сердце мое рвалось на части, и я не мог придумать, что делать; тем более потому, что мой ижевский штуцер бил крайне неправильно конической пулей. Каждый день я его пристреливал на всевозможные лады, и — увы! — результаты стрельбы выходили крайне плачевные.

Все это, конечно, видели караульские промышленники, потому что нередко приходили ко мне на звуки выстрелов, помогали советами, крайне соболезновали о неудачах и для пробы приносили свои немудрые винтовки, из которых я бил почти постоянно в пятно, чему они втайне удивлялись, переглядываясь и перемигиваясь между собою, но никогда этого восторга не высказывали мне воочию. Но вот однажды мне пришла в голову счастливая мысль попробовать свой штуцер круглой пулей — и, о радость! Оказалось, что он стал бить ею чрезвычайно верно, так что на состязаниях с промышленниками я постоянно перестреливал их винтовки и бил в мушку на дальнейшей дистанции. Ларчик, как видите, открывался просто, и я находился в неопи-

санном восторге, а поэтому тотчас купил у зверовщика Лукьяна Мусорина подходящую *колып* (пулелейку), которая была у него за лишней, и, заручившись такой драгоценностью, стал звать караульцев на охоту за козами. Но — увы! — они под разными предлогами каждый раз отказывались, и я все-таки не знал, что делать. Все мои одиночные и с Михайлой похождения в горы не удавались, и я только изредка пользовался глухарями, которых иногда неожиданно вспугивал и бил на большом расстоянии.

Все это, однако же, видели промышленники и что-то соображали.

Вот однажды приходит ко мне Михайло и как-то таинственно сообщает, что завтра зверовщики собираются на охоту за козулями и хотят пригласить и меня.

— Что ты говоришь? — спросил я, не веря такому счастью.

— Вправду, барин! Вот я сейчас толковал с ними и слышал от них самих, своими ушами.

— Черт их возьми, проклятых! Да что же они раньше-то думали и обегали меня, ведь я не кусаюсь!..

— Да, вишь, говорят, знаем мы этих чиновников! Поди с ним да и майся; толку, братец ты мой, нет, а туда же шеперится, — то неладно и другое неладно, а сам натюкается так, что с коня валится, вот и пластайся с ним, как с малым ребенком, ублажай его, как дитю!

— Пфу ты, язви их! да и тебя-то вместе с ними! Так ты отчего же не сказал им, что я вовсе не такой человек и пьян не бываю; ведь ты, поди, меня знаешь.

— Как не сказал, все говорил; так вот и хотят попробовать, толкуют — «отведаем».

— То-то, отведаем; давно бы так. Когда же они хотели звать?

— «А вот сегодня вечером, говорили, придем и позовем твоего барина».

— Ну ладно; так ты самовар приготовь и водочки поставь, а хозяйюшке скажи, чтоб закусить чего-нибудь поставила — понимаешь?

— Понимаю, как не понять; да я уж, признаться, и говорил ей об этом! — сказал Михайло и закачался своей походкой к выходной двери.

Оставшись в избе один, я чувствовал себя как-то особенно хорошо. Какая-то сладкая,

нервная дрожь пробежала по всему моему телу, и появилась такая потягота, что я не находил себе места: то ходил по избе, то ложился на кровать, то пел, то насвистывал и под этим приятным впечатлением не помню, как уснул на ленивке, около теплой русской печки, и проснулся только тогда, когда скрипнула дверь и вошел с зажженной сальной свечой Михайло, а за ним перешагнули порог зверовщики Мусорин и Шиломенцев. Я соскочил с ленивки и хотел поздороваться, но они, не глядя на меня, помолились образу, затем поклонились и тогда уже протянули свои заскорузлые, черствые руки.

Явился самовар, водочка и яичница. Мы напились чаю, пропустили по рюмочке, вдоволь позакусили и досыта натолковались о всякой всячине, порешив на том, что пораньше утром отправимся пешком за козулями. Михаиле они обещали дать свою винтовку, которая есть наизлишке у Мусорина. Проводив гостей, я приготовил все необходимое к охоте, едва скоротал остальной вечер и почти всю ночь не мог уснуть от волнения — ясно было, что идти пешком за козулями, вблизи

селения, была «проба» промышленников моей персоны. Давай, мол, отведаем!..

Рано утром мы вчетвером отправились в горы, на которых лежал уже первый снежок и показывал нам по следам присутствие диких коз. Утренник был довольно холодный, и порядочный ветерок отравлял удовольствие охоты, так что промышленники два раза раскладывали огонь и грелись. Но когда солнышко поднялось довольно высоко, то ветер стих, и мы весело пришли уже к месту охоты, которая состояла в том, что двое тихо заходили на козьи перевалы, где и западали в засаду, а двое отправлялись в лоцины гор в так называемые падушки и потихоньку выгоняли из них козуль. Сделали уже несколько загонов, и все безуспешно: то ли не находили коз, то они пробегали мимо засад и уходили вне выстрелов. Я, как гость и как «чиновник», пользовался преимуществом и, несмотря на мои просьбы нести одинаково участь охотника, ни разу не ходил в загон, а садился в засаду, на указанные места; между тем как все остальные менялись. Как караулить козуль на их лазах, мне подробно было рассказано, и

я с нетерпением ожидал той счастливой минуты, когда представится случай выстрелить по козуле.

Но вот, взобравшись на один высокий перевал с Лукьяном Мусориным, я встал на указанное место и спрятался за толстую листовницу, а он отправился выше, сажень за сто, и уселся за камень. Не прошло и четверти часа, как внизу лога послышалось легкое покрикивание загонщиков и поколачивание палками по деревьям, а вслед за этим я услышал и звук, происходящий от «*потона*» козульих прыжков по подмерзлой земле. Бут-бут-бут-бут доносилось до напряженного моего уха, и вся кровь прилила мне в голову, потому что я понял происхождение этих звуков — и замер на месте!.. Смотрю и не верю глазам — снизу падушки неслось прямо ко мне девять коз, которые скакали друг за другом и в один миг очутились на перевале, не далее как в двадцати саженьях от меня! Я не растерялся и громко «*кукнул*» два раза — кук, кук!.. Две передние козули остановились, а к ним потихоньку подтянулись остальные, и составила живая группа животных, которые тихо перешагива-

ли на месте и зорко поглядывали, как бы недоумевая, откуда вылетали звуки «кука». Заметив, что две козы «спарились» на линию выстрела, я быстро прицелился и, взяв ближайшую ко мне под лопатку, спустил курок!.. В глазах у меня зарябило и сначала задержало дымом, но я заметил, что козы шарахнулись в стороны и, сделав по скачку почти на месте, остановились и испуганно озирались. Я тотчас спрятался за дерево и стал поскорее заряжать штуцер. Козы все стояли и переминались. Загнав пулю «довяжом», без приколачивания забойником и шомполом, я скоро был уже готов и торопился надеть пистон, но «взвзрых» уронил со шнурка пистонницу, крышка отворилась, и все пистоны высыпались на снег. Я моментально нагнулся, схватил один капсюлек и почти уже надел его на «финку», как все козы вдруг бросились и поскакали кверху по перевалу. В это время я заметил, что одна козуля тихо повернулась назад, под гору, сделала несколько шагов и остановилась около чащички молодой поросли. В те же минуты я услышал куканье Мусорина и потому, моментально взглянув кверху, увидел,

что те же козы опнулись против Лукьяна (т. е. остановились ненадолго), а вслед за тем вспыхнул дымок на полке и раздался выстрел. Козы мгновенно скрылись, а я не спускал почти глаз со своей простреленной козули и следил за каждым ее движением. Она горбилась, опускала голову, хватала ртом снег и кое-как утянулась в чащичку.

Я торжествовал! Сердце стучало и, точно воркуя, говорило мне тихо — молодец! Не прозевал!.. Я не торопясь собрал просыпанные пистоны, выдул из них снег, посовал их в пистонницу и заметил, что ко мне подходит несколько сконфузившийся Мусорин.

— Молодец, барин! не прозевал, — сказал он, как нарочно, те самые слова, которые говорило мне сердце, — а я, брат, заторопился да и торнул мимо, чтоб ее язвило!..

— Вот козуля ушла в эту чащичку, должно быть, тяжело раненная, — сказал я и закурил походную трубку с тютюнком из самодельного кисета.

— Нет, барин, раненый гуран (козел) ушел вон туда, а не в чащичку.

— Чего ты говоришь, когда я сам видел и

хотел еще достреливать козулю, но усмотрел, что она чуть жива, а потому и не стал.

— Ну, не знаю; а только я тоже видел, что подстреленный гуран утянулся вон туда в сивер, — спорил Мусорин и сам запалил свою ганзу (маленькая китайская медная трубочка).

— Да неужели я обоих хватил? — сказал я, потому что когда прицеливался, то помню, что «на целе» были две козули, одна за одной; только задняя нога была немного впереди и тихо подвигалась в гору.

— Ну, вот это дело другое, так бы и говорил, — сказал Лукьян и пошел к указанной мною мелкой поросли.

В это время подошли загонщики, Михайло и Шиломенцев, и, узнав, в чем дело, отправились вместе с нами. Мусорин живо окинул след, зашел в чащичку и закричал нам: «Здесь, здесь!» Мы подбежали и увидели козулю, которая уже уснула и лежала на боку.

— С промыслом! Ваше благородие! — сказал радостно Мусорин, снял шапку, поклонился и подал мне руку.

— Ну, слава богу! это первая! — прогово-

рил я и перекрестился.

— Говори по-нашему: «это не та», либо «не последняя» [7], а то — первая! — поправил меня Лукьян и как бы передразнил на последнем слове.

Мы разложили огонь, освежевали козулю, изжарили на вертеле печенку и порядочный кусок мяса, а еще теплую и сырую почку превкусно съели зверовщики и благодарили меня за «убоинку». Я достал походную фляжку, а они взятого хлеба и соли, и мы, выпив по рюмочке, преплотно позавтракали.

Начав описание этой охоты, я забыл сказать, что с нами был и мой щенок Танкредушко, который уже подрост и не отставал от Михаила, показывавшего ему свежие следы коз и приучавшего его следить, что он скоро понял и доказал это на деле в тот же день.

Покончив в чащичке, мы отправились следить раненого гурана. Я обошел северную покатость горы и стал в логу: Михайло с Шиломенцевым разошлись по бокам, а Мусорин пошел следом, по крови. Лишь только успел я зайти в долину, как в сиверу послышался выстрел, а немного погодя я услышал визгливый

лай моего Танкредушки, который как-то боком бежал за козлом и, частенько запинаясь за сучки и лесной дром, падал, справлялся на ноги и снова култыхал за едва удирающим гураном. Видя всю вту штуку, я хотел уже кричать на щенка, думая, что он, шельмец, угонит козла куда-нибудь далеко. Но вот вижу, что гуран побежал прямо на меня, а потом вдруг круто поворотил и пошел ко мне боком. Я быстро приложился, но взял много вперед, и пуля сорвала снег перед самой грудью гурана. В это время Танкред догнал раненого козла и, вероятно, хотел схватить или схватил его за ногу, ибо он вдруг обернулся к собаке, несколько спятился назад, приподнялся на задних ногах и норовил по-бараньему боднуть надоевшего ему щенка; но Танкред увернулся и снова лез к животному, лая во всю мочь. Повторился тот же натиск гурана и тот же маневр молодой собаки. Видя всю вту историю, я сообразил, что дал промах; снова зарядить не успею; а потому бросил штуцер и побежал к воюющим животным. Гуран, заметив меня, оставил без внимания Танкреда и стал тем же манером нападать на мою особу.

Я выждал момент наскока и схватил козла за один рог, но — увы! — рог остался у меня в руках, а обазартившееся животное снова готовилось к такому же наскоку. Повторился тот же самый казус — другой рог остался в моей длани, а безрогий уже козел готовился еще и тут боднуть меня и защититься от моего нападения; но я, не думая долго, — бросился на гурана, поймал его поперек сверху спины и вместе с ним упал на снег, не выпуская своей жертвы. Тут подскочил торопившийся к месту побоища Мусорин, схватил козла за ухо и доколол ножом, когда уже я слез с животного.

— Никогда не хватай за рога! — говорил мне Лукьян. — А то, брат, плохо бывает; вишь, какие у него терпуги; храни бог! как раз и ладони все спорет. Хорошо, что теперь поздняя осень и рога слабы; почитай, скоро сами отвалятся, так и подались тебе; а то, брат, горе!.. Надо в таком разе иметь за уши или уж за задние ноги и скорее докалывать [8].

Собравшись снова все вместе, мы оснимали гурана, разбили на две чести и унесли убоину к оставленной убитой козуле. После этого согласились сделать еще два загона, но ко-

зуль больше не видали, а Танкредушку потеряли; он нашел где-то свежий козий след и убежал им. Сколько мы ни искали, сколько ни кричали, но щенка найти не могли, и так как время клонилось к вечеру, то мы и решились идти домой, а на другой день поискать его верхом. Надев на спины по части снятой убоины, мы уже в потемки пошагали к дому. Какова же была моя радость, когда я, промаршировав с порядочной ношей верст восемь да целый день полазив по высоким горам и выйдя всего в эту охоту не менее тридцати верст, возвратившись домой, увидел своего Танкредушку в сенцах, перед дверью своей квартиры!.. Как он, голубчик, лежал, свернувшись калачиком, и только устало помахивал еще не опушившимся хвостиком. Хозяюшка говорила, что он прибежал уже давно, что она потчевала его молочком, но он не ел, все лежал и не пошел за ней в избу, а остался у моей двери.

Оказалось, что я, стреляя, с первого раза, в двух козуль — первую прострелил около лопатки и пробил легкие, а заднего гурана ранил в левую холку задней ноги; при втором

же выстреле, на бегу, сорвал ему на груди только одну кожу. Мусорин же, заметив козла лежачего к сиверу, в чаще, выстрелил мимо.

С этой охоты почему-то в меня уверовали промышленники Бальджикана и уже почти никогда не ходили на промысел, не сказавшись и не пригласив отправиться с ними; а во время наших охот никогда не дозволяли мне ходить в загон, но всегда садили меня на лучшие лазы зверя. И действительно, я в то время стрелял пулей хорошо и промаху почти не случалось. «Ему, брат, чего! — говорили промышленники. — Только бы стрелить; а как ляпнул — так и тут; бери, значит, нож и беги потрошить». Они знали «голк» моего штуцера и никогда не ошибались издали; а часто, заслышав мой выстрел, говорили: «Слава богу! есть!» — и обыкновенно после этого крестились. Хоть и неудобно говорить про себя, но таковы воспоминания, — слово я де-вать некуда; а истина требует точности рассказа и заставляет как бы обходить приличие, умалчивать о себе.

Познакомившись с промышленниками покороче и, можно сказать, подружившись с

этими хорошими людьми, много зимних ночей скоротал я с ними в лесу, в глухой тайге, под открытым небом. И теперь, вспоминая это бывшее, щемит мое сердце, а в голове роится столько мыслей, столько воспоминаний, что я, волнуясь, теряюсь — что передать читателю, так как уже много эпизодов из этой охотничьей жизни переданы мною, хотя и коротенько, в моих охотничьих записках. Повторяться как-то не хочется, да всего и не напишешь, а потому постараюсь быть кратким и только при случае поговорю, что придет на память.

Подружившись со мною, зверовчики часто соболезновали о том, что придется скоро расстаться и не удастся поохотничать вместе весною и летом на озерах, солонцах и солянках, потому что зимняя охота не так добычлива и не имеет того удовольствия. Они знали, что я долго в Бальджикане не останусь и, покончив разведку, уеду. Через них я скоро познакомился с известным в то время по всему их округу зверовщиком, настоящим Моргеном[9], как они говорят, Алешкой Новокрещеным — выкрестом из тунгусов. Этот Алешка

был чуть не саженого роста, с могучими плечиками и непомерной силы, несмотря на то, что в это время он был уже совершенно седым стариком. Каков же этот человек был молодым? Бывало, смотришь на него и невольно думаешь о том, что не таков ли гусь был и тот татарин, который единоборствовал с Пересветом на Куликовом поле!.. Однажды Алешке, уже старику, сказал тунгус, что он, еще по черностопу, нашел громадного медведя, который живет на одном месте и лежит на какой-то куче хвороста. Алешка тотчас взял винтовку и отправился к тому месту, взяв тунгуса проводником и на тот случай, чтоб тот не выдавал. Подбираясь к пункту медвежьего стана, проводник далее впереди не пошел, а только указал место и сказал — «близко». Алешка разулся и пошел скрадывать бо-сиком. Пройдя несколько десятков сажень, он увидел громадного медведя, который лежал на куче хвороста и спал. Алешка тихо подобрался к большой лиственнице, стал к ней спиной, тихо поставил на сошки винтовку, выцелил зверя в ухо и спустил курок, но на полке вспыхнуло, и винтовка осеклась. Зверь

поднял голову, *почухал*[10] и не заметил дерзкого охотника, оставшегося в том же самом положении и не дрогнувшего ни одним мускулом. Зверь успокоился и снова лег, немного затылком к стрелку. Прошла порядочная пауза невозмутимой тишины, только легкий ветерок перебирал ветки и шелестил хвоею. Тогда Алешка, оглянувшись и заметив, что его товарища нет, тихо проткнул затравку, подсыпал из скороспелки (особый костяной патрончик на случай) на полку пороху, еще тише подпрудил[11] огниво, снова выцелил зверя и потянул спуск — грянул выстрел, и медведь, подскочив на куче, как тяжелый мешок, свалился на землю... Признаюсь, — вот это хладнокровие, выдержка и знание характера зверя в известный момент!..

Оказалось, что медведь задавил большую кабаниху (матку), поел ее и остатки спрятал под кучу хвороста, на котором и лежал. Но не так хладнокровно перенес Алешка измену товарища: он его поймал тут же в лесу, связал и повесил, для смеха, за опоясанный по талии кушак, на сук. Несчастный тунгус провисел, болтаясь ногами, до тех пор, пока старик осве-

жевал медведя и снял громадную шкуру.

Слыша этот рассказ из уст самого Алешки, я спросил его: «Что ты сдурел, что ли? Ведь этак он и долго провисел, пока ты обдирали зверя; ну, а если б твой товарищ совсем уходился?»

— А что за беда! и пусть бы пропал, как собака, — туда и дорога! Не выдавай, значит!

— Что же он после этого?

— А что? Ничего! Только кашлял с неделю; зато тогда же дал зарок никогда больше не трусить. Мы и теперь с ним друзьями; зачистую и зверуем вместе, только на медведя с ним больше не хаживали; все как-то не случилось после того.

Между промышленниками существовало поверье, что Алешка бьет зверя неспроста, а что-то знает такое, что зверь ему покоряется. Все это они говорили в глаза Алешке, но тот только посмеивался. «Вот погляди сам, — толковали они мне, — что он делает! Поедет за козулями один и сколько найдет в табунке — все его будут! Словно овцы — далеко не бегут, а он то ту, то другую постреливает, да и только, но собирает потом, как покончит. Зато,

брат, не поедет и промышлять, пока не потребуется. А сколько он бедницы кормит — страсть! То и дело отдаст убоину и шкурку не жалеет; многих голышей одел, как есть с головы до ног!..»

— Вот ему за это господь и дает, — говорил я.

— Вестимо, за это! Только нет, барин, — что-то он знает. Другой раз и поедет, и козуль найдет — так не стреляет, говорит, не мои. Вот и поди с ним!..

Все рассказанное мне однажды случилось увидеть своими глазами. Поехал я с караульцами верхом «ылбечить» диких коз, т. е. охотиться гонком, садясь в засады или нагоняя друг на друга. Дорогой мы заехали к Алешке, который жил в юрте особым стойбищем в широкой долине реки Хаваргуна, так как имел много скота. А надо заметить, в окрестностях Бальджикана зимы хотя и довольно суровые, но снегу, как и вообще в Забайкалье, чрезвычайно мало, так что весь рогатый скот, кроме дойных коров, и табуны неезжалых лошадей всегда всю зиму ходят в поле, в степях и питаются подножным кормом. Алешка за-

седлал коня и поехал с нами. Долго ездили мы по горам и падушкам (ложочкам), но все как-то не клеилось, потому что напуганные в этом районе козули и привыкшие к этой охоте не слушались загонщиков и часто удирали в обратную сторону, назад, прорываясь сквозь загон; почему приходилось менять систему и садиться на караул туда, откуда начинали гнать. Только таким манером Мусорин и я убили по козе. Такая неудача, должно быть, надоела Алешке, и он от нас отшатился (отдалился). Сначала, не заметив этого отсутствия, я молчал и только недоумевал, куда девался Алешка, но потом догадался и спросил:

— А где же Алешка?

— А он, барин, и все так. Коли видит, что плохо, — и в сторону! Зато уж даром не отвернет; вот и теперь, верно, сметил «своих» коз, то и утянулся, — говорил Мусорин и стал посматривать по горам.

В это время я увидел, как на отдельной горе, сажень за 300 от нас, тихо выбежали четыре козы и остановились в небольшом нагорном ложочке. Как вдруг — смотрю, одна из них упала, а три поскакали. Затем мы услыша-

ли отдаленный выстрел и потом заметили Алешку, который шагом ехал верхом и, проехав убитую козулю, утянулся за убежавшими животными.

— Вот видел, что делает! — сказал мне Мусорин.

— Видел, это интересно!

Не прошло и четверти часа, пока мы оснимывали убитую Лукьяном козулю, как послышался и второй выстрел Алешки. Мы сделали еще несколько заездов, но все безуспешно, а между тем время подходило к вечеру, и мы порешили ехать домой. Дорогой нас догнал Алешка, и у него в тороках было привязано три козы, так что удамый его Бурко едва тащил эту тяжесть и своего геркулеса хозяина.

— А где же четвертая? — спросил его Мусорин.

— Довольно и этих! — как бы нехотя отвечал Алешка...

После, неоднократно промышляя с этим Немвродом, я заметил, что он, кроме превосходного знания местности и характера диких коз, обладал замечательным зрением и великолепной винтовкой (четвертей семи дли-

ною), которая «несла» очень далеко, и потому Алешка, умело скрываясь от животных, бил их на громадном расстоянии. Вероятно, в этом и заключались «чары» знаменитого промышленника!..

Однажды был я на белковье с артелью Мусорина. Их четверо — я пятый. Ночевал я с ними четыре ночи подряд и много интересно и поучительного почерпнул из рассказов и охотничьих приемов этих замечательных зверовщиков. Что только не говорилось в нескончаемые вечера на таборе, у разложенного костра и кипящих котелков, когда промышленники, возвратившись с белковья, оснимывали убитую белку, а еще более после плотного ужина. Тут они занимались чисткой оружия, починкой лопаты (одежды), обуви (обувь) и поминутным курением из китайских трубочек. Всевозможные охотничьи похождения, с характерным описанием быта и нравов зверей, без всякой утайки и натяжки, выливались из уст этих замечательных людей, всю жизнь свою проводивших на промысле. Тут вся душа выходила нараспашку, за пазухой, кажется, не оставалось ничего и не

только вранья, но и забывшиеся подробности вылезали наружу, потому что товарищи поправляли друг друга и, как бы общими силами, дополняли рассказываемое. Сколько неподдельного юмора, природного остроумия и братских шуток сыпалось на этих таежных беседах!.. Зато тут же сколько приходилось слышать и видеть горечи, слез, лишений и потрясающих картин и событий из прошлых воспоминаний охотников, которые нередко, поминая сородичей, погибших на зверовье, крестились за упокой и частенько нервно плакали. Да тут, бывало, и самого прошибет горячая истома участия; у самого точно тисками сожмет сердце, а привычная рука положит несколько набожных крестов и утрет пробежавшие по щекам слезы... Надо еще заметить, что промышленники при подобных рассказах, воодушевляясь былыми событиями, подкрепляют свои повествования типичными жестами, движениями и положением, что чрезвычайно гармонирует с их неподдельной мимикой и крайне картинно рисует передаваемый случай. Бывало, слушаешь, следишь за всем и, живо представляя себе

картину случившегося, невольно плачешь или уж смеешься до колотья!.. Таков сибиряк-промышленник и в таком захолустье, как Бальджиканский караул; только надо его раскопать, подружиться с ним и суметь задеть в нем ту живую струнку, которая, я полагаю, есть во всяком истом охотнике! Да, и это не те кабинетные рассказы многих фатов и хвастунов, кои частенько бьют дичь из чужих ягдташей и передают, не краснея, небывалые чудеса своей храбрости...

В одну из таких поездок на белковье с нами произошел довольно замечательный случай. Ходил я с Лукьяном по тайге и помогал ему бить белок из дробовика, потому что мой штуцер для этой охоты был велик и его пуля при самом маленьком заряде все-таки рвала белку и портила шкуру. Мусорин же стрелял из малопульной винтовки, которая от довольно частых выстрелов скоро грязнилась, и ее приходилось протирать снегом. Поэтому моя помощь очень нравилась моему ментору, тем более потому, что я убитую мною белку отдавал ему, а сам довольствовался только охотой и веселой компанией на вечерних посидел-

ках у веселого костра на таборе. Было за полдень, и короткое зимнее солнышко уже пугало своим закатом. Спустившись в одну чащевитую падушку, мы сели отдохнуть на валежину, вытащили трубки, набили и только хотели высечь огня, как вдруг снизу ложка слышался легкий треск.

— Постой! — тихо сказал Мусорин, толкнув меня локтем и взяв свою винтовку, которая была заряжена маленьким, беличьим зарядом и лежала концом на валежине.

— Это кто трещит? — тихо спросил я.

— Молчи, барин! Это какой-то зверь тянется кверху. Слышишь — потрескивает звериной поступью, а не то чтобы шел без бережи человек и шарчал своей лопатью (одеждой), — шептал Лукьян и приготовлялся к выстрелу.

— А что ты поделаешь беличьим-то зарядом?

— Молчи, пожалуйста! Близко-то проберет и этот, пуля не спросит! — еще тише шептал он и погрозил мне пальцем.

Потрескивание сучков изредка продолжалось и, видимо, приближалось.

— А что, если это шатун? — опять я шептал Мусорину.

— Нет, медведь-шатун ходит не так; тот, брат, — страсть!.. — Но в этот момент треснуло уже совсем близко, и Лукьян махнул рукой, чтоб я молчал.

С прихода зверя нас закрывала громаднейшая лиственница и выверченные корни валежины. Мы просто замерли на месте и были наготове. Вот уже совсем около нас треснул сучок и качнулась ветка на кустике, а вслед за этим тихо вышагнул сохатый (лось) и, не замечая нашего присутствия, остановился около небольшой березки и стал чесать свою шею. Мусорин тихо прицелился «с руки», и как-то глухо «пычкнул» беличий заряд-малопулька. Нас застлало дымом, но я видел, как зверь привскочил на передних ногах, зашатался и тут же с опущенной головой новалился на березку, которая затряслась вершинкой и медленно нагнулась от тяжести. Мусорин быстро ускокнул за валежину и, когда увидел, что убил наповал, торопливо снял шапку и стал набожно креститься. От нас до сохатого не было и двенадцати сажен. Можете судить

о радости Мусорина; а я, видя всю эту картину, сначала совсем растерялся и потом уже стал тоже креститься и все еще тихо сказал: «Ну, брат, слава богу, — упал!»

Лукьян трясся от волнения и молча, но торопливо заряжал винтовку, а покончив с нею, негромко сказал! «Ну-ка, барин, пойдём поближе, да стрель его в ухо, а то, кто его знает, бывает, отходит, и тогда горе — как раз затопчет!..»

Я тихо подошел к зверю сажени на три и выстрелил крупной дробью в самое ухо, но он не пошевелился, и эта предосторожность была совершенно излишней.

Мусорин разложил огонь и стал кричать «хоп-хоп!», «хоп-хоп!», а сам между тем снял с себя верхнюю одежду, засучил рукава и начал свежевать громадную убоину, Я учился приемам и помогал сколько мог. Не прошло и получаса, как к нам подошел артельный товарищ Шиломенцев и помог разнять на части сохатого. Выбирая внутренности, мы увидели, что выстрел был крайне удачен, так как пулька прошла по самой середине сердца, но на другой бок не вылетела. Лукьян нашел эту

маленькую виновницу смерти, завязал ее в тряпочку и спрятал в запасную каптургу[12].

— Это для чего же ты прячешь? — спросил я.

— Это, барин, мой фарт (счастье случая)! Вот сохраню ее до чистого четверга (на страстной неделе), смешаю со свинцом и налью новых пулек, пока солнце не закатится...

Зверь оказался по четвертому году и потому не особенно велик, но зато неожиданный случай был крайне редок.

А вот и еще довольно редкий случай из моих сибирских скитаний по тайге. Ездив однажды за козами с теми же промышленниками, я уже перед вечером подстрелил гурана, изломав ему заднюю ногу повыше колена, отчего он бойко еще бегал и удирал от меня. Я позвал на помощь Мусорина, и мы оба верхом пустились преследовать дичинку, чтоб дострелить; но гуран долго нам не давался, и мы запоздали. Наконец нам удалось увидеть беглеца на открытом месте, на увале, где изнемогшее животное притаилось на лежке. Увидав его, мы тотчас соскочили с лошадей, но козел снова бросился бежать и направился

под гору, так что болтающаяся нога хлестала его снизу и сверху, как плеть. Мы выстрелили оба почти в один раз — Лукьян перешиб вторую заднюю ногу, а я угодил в шею. Взяв козла, мы еще немало потеряли время, пока освежевали убоину, и поехали домой уже тогда, когда взошел молодой месяц и плохо осветил тайгу. Товарищи наши давно уехали, и мы остались одни. У Мусорина на цепочке была зверовая собака, которую он отпустил на волю, и она тотчас скрылась из глаз.

Мы ехали шагом и тихо разговаривали. Как вдруг впереди раздался визгливый лай собаки по-зрячему, а затем злобное урканье, вовсе незнакомое для моего «небывалого уха». Затем лай собаки, уже редкий и призывный, слышался на одном месте.

— Кто это? — спросил я тревожно.

— Не знаю, а должно быть, матерая рысь, — вишь, как урчит, — проговорил, вертясь на седле, Мусорин и пожалел: зачем стрелял по раненому козлу, так как эта пуля у него была последняя и более в каптурге не находилось, как он ее ни тряс, так что его винтовка оставалась незаряженной.

Мы поторопили лошадей и поехали рысцой. Лай собаки становился все ближе и ближе, наконец мы тихо соскочили с лошадей и пошли скрадывать. Собака, слыша хозяина, как бы нарочно залаяла без перерыва и этим заглушала нашу поступь, которая ночью не могла быть тихой. Подбираясь к собаке, я увидел на большом суке большой лиственницы, не очень высоко от земли, какого-то большого зверя, растянувшегося по суку; он злобно урчал, и глаза его страшно горели.

— Кто же это? Видишь! — спросил я Мусорина и указал на дерево.

— А-а! Эвот где; вижу, вижу! стреляй поскорее, барин! Это рысь, а то она слышит нас и, пожалуй, соскочит.

Я приложился, но руки мои тряслись от скорой езды и внутреннего волнения, а потому несколько раз прицеливаясь по стволу и не видя мушки, я наконец выстрелил. Рысь как-то особенно прыснула, затормошилась на дереве и бросилась на пол. Собака схватила зверя, и завязалась страшная драка, сопровождаемая визгом и грубым ревом. Я живо подбежал к вертящимся животным и хотел

торчмя прикладом ударить по зверю, но в темноте и в потасовке, вероятно, угодил по собаке, которая визгнула и отскочила от рыси, а освободившееся животное моментально бросилось прямо мне на грудь и злобно зарычало. Я машинально отклонил голову, отбивал левой рукой в грудь зверя и не мог его отбросить, так сильно уцепился он ужасными когтями за мой продымленный[13] козляк. В это мгновение поправившийся пес схватил рысь за шиворот, а подоспевший Мусорин посадил ее на нож. Только тогда лапы ее ослабли, и она сунулась у самых моих ног, все еще стараясь снова схватиться с собакой, но та осилила зверя и тут же придушила.

Это был большой оморочо (рысь — самец), и шкура его почти не уступала величиною волчьей. Оказалось, что я в темноте выцелил плохо и пуля прошла посредине зверя, позади ребер, по полому[14] месту; и вот почему зверь этот имел еще такую силу и бойкость.

#### IV

В то время когда я проживал в Бальджикане, не проходило такого дня, чтоб я не повидался со своими друзьями-промышленника-

ми; разве уж их не было дома, и тогда смертная скука одолевала до того, что не знал, куда деваться, так как книг никаких не существовало, а работа не всегда случалась. И вот в одну из таких бессонных ночей пришел мне на ум такой вопрос: что за причина, что мой штуцер бьет отлично круглой пулей и прескверно конической? Подумав об этом, я порешил на том, что штуцер сам по себе верен, а значит, неправильна коническая пуля. Лишь только мелькнула эта мысль, я тотчас соскочил с кровати, зажег свечу и стал разглядывать и вымерять коническую пулю; а затем снял со спички штуцер и попробовал тихо спускать в него пулю острым концом вниз. Оказалось, что нижняя цилиндрическая часть пули была неправильно цилиндрическая, а тоже немного конусная. Понятно теперь, думал я, отчего она фальшит: это значит то, что когда пуля ляжет тупым концом на порох в дуле, то при ударе шомпола оно покосится в ту или другую сторону и потому при выстреле летит неправильно, перевертывается от сопротивления воздуха, а потому и приходит в мишень то боком, то тупым кон-

цом. Сообразив все это, я был счастливейшим из смертных, и мне кажется, что бессмертный Колумб не так радовался открытию Америки, как я своей находке. Почти всю ночь я не мог уснуть от радости и нетерпеливо ждал утра, а лишь только Михайло затопил мою печку, как я уже соскочил и, кой-как умывшись и помолившись богу, принялся за работу. За неимением инструмента пришлось взяться за перочинный ножичек, который оказался настолько тверд, что легко брал мягкое железо колыпи. И вот концом этого ножичка я выбрал тонкими стружками ту часть формы, где цилиндр был неправилен и походил на усеченный конус, что и приходилось к тому самому месту, где начинался настоящий конус пули. Покончив с работой, мы с Михайлой тотчас отлили пулю, спустили ее конусом в дуло, и оказалось, что она более не хлябала, а плотно врезывалась в винты штуцера. Попробовали в цель, и — о радость! — пуля ударила в самое пятно; еще и еще — то же самое: пуля не выходила из яблока и прилетала правильно — конусом. Значит, ларчик открывался просто, а за этим ларчиком круглая пуля по-

лучила отставку и на ее место поступила коническая, которая стала доставать зверей на более далеком расстоянии. Этой находке радовались и промышленники, потому что она отражалась на успехах охоты и нередко добывала зверя там, где по понятиям зверовщиков не представлялось возможным.

Вслед за этой радостью последовала и другая, которая только растронула поджившую рану сердца и еще глубже залегла в мою душу. Приехав однажды из партии, мне отдал Михайло какой-то конверт, который по своей форме походил на казенный, а сверху имел надпись писарской рукой: «Его благородию, в золотоискательную партию. Господину партионному офицеру». Конверт был запечатан плохим сургучом, а на нем довольно ясно означался оттиск как бы небольшого донышка наперстка.

Ничего не подозревая и будучи чем-то занят, после трудной сорокаверстной дороги верхом зимою, я бросил пакет в бумаги и забыл его существование. Только ложась уже спать, вспомнил о нем, и меня точно что-то кольнуло, когда я снова взглянул на печать

пакета.

К моему счастью, Михайлы не было дома, он ушел к кому-то на вечерку, или девичью посиденку. Не трогая печать и разрезав конверт, мне все еще не приходило в голову, что в нем скрывается не форменная переписка, а письмо и письмо от кого же — от Зары! Руки мои затряслись, и слезы мешали читать, а сердце бойко стучало, и его сдавило точно клещами... Прочитав письмо несколько раз, я упал на подушку, заплакал и долго-долго обдумывал все, что могло прийти в разгоряченную голову... Только перед утром нервы мои поуспокоились, и я, горячо помолившись, крепко уснул. Вот что писала своеручно красавица Зара:

*«Милый Барин! Где ты? Здоров ли? Помнишь ли всем сердцем любившую тебя Зару? Ах, если б ты знал, как мне тяжело жить на сем свете! Отец велит идти замуж за того старого цыгана. Я сказала не пойду. Он прибил меня и дал сроку до весны. Если я тебе мила, то напиши хоть одно слово, — я брошу семью, прибегу к тебе пешком и пойду за тобой всюду, как верная соба-*

*ка. Не брезгуй цыганкой, они умеют любить вернее ваших барынь. Плачу иногда целые ночи, и что будет весной — боюсь и подумать. Пишу тихонько от отца и как умею, не осуди. Твоя, твоя Зара».*

Не привожу здесь буквальной копии письма потому, что для читателя это не составит большого интереса, но скажу только, что вся речь сохранена мною дословно и исправлена одна грамотность, так как Зара писала неправильно, например: «в суду» вместо «всюду»; «жыть» вместо «жить» и проч. Знаков препинания почти не было. Все послание написано на простой серой бумаге, плохими беловатыми чернилами и с кляксами; почерк очень разборчив и даже красив, но совершенно отделялся от почерка на адресе, тоже написанного с ошибками.

Так как мой Михайло был человек грамотный, то я письмо Зары спрятал подальше и, встав утром, спросил, от кого он получил переданный мне пакет. Михайло говорил, что его не было дома, а ему передал хозяин. Спрашиваю хозяина — тот сказал, что письмо при-

вез какой-то проезжий тунгус, который напился у него чаю и отправился далее в Мензинский караул, лежащий за Бальджиканом верстах в 200. Одним словом, сколько я ни бился, но ничего положительного добиться не мог. Это исследование, видимо, заинтересовало Михайлу, и он не один раз спрашивал меня о пакете: «А что, барин, разве что важное получилось в конверте?» или «Разве вас сменяют из партии?» — «Али из России чего неблагополучно?». Но на все эти вопросы я как-то дружески отделялся и успокоил Михайлу, что ничего важного нет, а что нужно отвечать, а куда — не знаю, так как не видно, откуда эта бумага, и Михайло замолк, но помогал мне в розысках и тоже ничего не добился.

Меня ужасно мучила неизвестность и как будто таинственность этого послания. Я уже начинал сомневаться и придумывал разные комбинации, но порешил на том, что никто не мог знать моих чувств к Заре, и если б тут было что-нибудь загадочное, то нет цели скрывать место от того, от которого ожидался ответ. Читая письмо чуть не каждый день, я

выучил его наизусть и, обдумывая каждое слово, чувствовал сердцем, как и при первом прочтении, что тут ничего такого нет; что в этом послании говорила одна любящая душа девушки, но писала его келейно, под страхом грубой воли отца и потому забыла сказать о месте своего нахождения или названия того пункта, куда я должен был отвечать, — на что она вполне могла рассчитывать как по своему уму, так и по той тончайшей струнке любви, которая, даже и при старании субъекта скрыть ее, не обрывается и остается тем звеном, которое связывает сердца и чувствительнее понимается женщиной...

Что тут было делать, что предпринять? Я решительно терял голову и не находил точку опоры. Ответить же Заре мне хотелось во что бы то ни стало, и я уже думал открыться Михаиле, с тем чтобы послать его на розыски Зары; но денег у меня не было лишнего гроша, и я утешился тою мыслью, что кончу разведку в тайге ранее весны и успею сам отыскать эту замечательную девушку.

Письмо Зары пришло ко мне в конце февраля, что еще более укрепляло меня в той на-

дежде, что весна далеко и я успею покончить работу. Пугало только одно — это неизвестность того времени, когда писала Зара, что, конечно, могло иметь большое значение в положении девушки относительно расчета в получении ответа; но и тут думалось так, что она, вероятно, понимала неудобность сообщений по таким местам и знала это по той жизни, которая выпала на ее тяжелую долю.

Как ни страдал я внутренне, затаив свою сердечную рану, тем не менее время летело быстро и я не замечал этого полета; тем более потому, что хлопотал и трудился, а заботам не было конца, так как денег мне не присылалось, а работа и люди требовали известного расчета.

Но вот, приехав однажды из партии, уже в половине марта, я встретил у ворот своей квартиры Михаилу, который стоял поджавши руки и, видимо, был чем-то недоволен.

— Ты что так закручинился? — спросил я его.

— Да что, барин! Деньги привезли без тебя, я их принял, да вот и не сплю две ночи; боюсь — как бы не задавили!..

— Что ты, Христос с тобой! Еще чего выдумаешь? В это время вышел из избы хозяин, я прекратил вопросы, и мы с Михайлой отправились в свою избу.

— Сколько же привезли? — спросил я войдя.

— Две тысячи.

— Кто же их привез?

— Казачий урядник, — прямо из Читы, от атамана.

— Как же он тебе сдал? Разве ты не говорил, что я скоро буду?

— Как не говорил, все сказывал и денег не принимал, да он упросил христом-богом, говорит, некогда, велено воротиться на срок.

— Что же ты и расписку дал?

— Дал, когда принял и пересчитал при хозяине. Написал, что, за отбытием партионного офицера в тайгу, две тысячи принял денщик такой-то.

— Диво, да и только! Ну и молодцы же вы оба.

— А что же я буду делать, коли просит? Принял да вот и маюсь с ними другие сутки.

— Где же у тебя деньги?

— А вот на груди, на гайтане; так и спал с ними две ночи.

Подали самовар. Я принял деньги и уселся пить чай, а в тот же вечер написал Корсакову рапорт, что деньги я получил и велел старшине отправить его с нарочным до первого Букукунского караула для пересылки по казачьей почте.

При деньгах нашлось и письмо, в котором г. А-в коротенько уведомлял о том, что он приедет в конце апреля и примет от меня партию; это известие радовало меня ужасно, и я ожил надеждой...

## V

Я уже говорил, что я ездил в тайгу каждую неделю и жил там дня по два и по три. Узнав хорошо таежную дорогу, мне пришла довольно дикая мысль путешествовать чрез это сорокаверстное расстояние непременно одному как потому, что жалел выбитых партионных лошадей, видел расчет в сбережении лишнего человека, конюха, так и потому, что мне хотелось переносить ту же участь, которая падает на простых людей при исполнении своих обязанностей. Мне думалось так, что,

если, например, посылают конюха в ту же тайгу, то ему не дают никаких провожатых, сберегателей его особы, — и он перекрестится и едет один, не показав вида, что он боится, не дрогнув ни одним мускулом трусости.

«Почему же я не могу этого делать? Разве я сделан из особого теста? Вздор!» — думал я и ездил все время один.

А между тем не безрассудно ли это в моем положении? Я еще был неопытным юношей; по самому своему воспитанию не мог понадеяться на себя, что перенесу все случайности непогоды, таежного пути и в случае тяжелых обстоятельств, пожалуй, не найдусь, как из них вывернуться. Словом, тут столько причин по возможности этого не делать, не рисковать, не бравировать, что меня осуждали потом все мои товарищи и даже некоторые простолюдины; но большая часть последних не находила в этом ничего особенного, но, напротив, как оказалось впоследствии, видела во мне какую-то силу самостоятельности, волю характера и потому не смела со мной заигрывать и тем более менторствовать. Все это крайне влияло на этот люд, и у них сложи-

лось такое понятие, что их «партионный» — Илья Муромец! Это убеждение со временем перешло в «каторг у», и все ссыльные, которыми я немало заведовал (на Карийских промыслах), были того мнения, что я ничего не боюсь и обладаю силою разрыв-травы!

Говоря же по душе, разве я-то на самом деле — тьфу! и больше ничего. Но молва эта была мне на руку, особенно в то время, когда я служил в «каторге» и исполнял серьезные поручения по службе. Благодарю господа, что он хранил меня до сего дня и осенял своею милостью!.. Быть может, если даст господь веку, я еще познакомлю читателя со многими курьезными эпизодами из своей жизни, которая как-то так складывалась с юности, что в ней встречалось много такого, чего не случилось с другими...

Приезжая в тайгу, я всегда жил в большом зимовье вместе с рабочими, ел с ними одинаковую пищу и едва ли не носил точно такую же одежду, потому что тайга не позволяла отличия по Той потребности, при которой складывалась самая жизнь таежника и требовало того удобство самого костюма.

Зимой я носил плисовые шаровары, ситцевые рубашки, жилет с внутренними карманами для казенных денег, фланелевую блузу, толстые крестьянские чулки, козы унты (теплые мягкие сапоги), нагольный продыmlенный козляк, теплую рысью шапку — чебак и простые половинчатые (замша, лосина) рукавицы с варежками. Вот вам и его благородие, партионный офицер кабинета его величества. Недаром однажды случилось так: ехал я со своим товарищем Т-м, который был хоть и не в форме, но, по крайней мере, одет прилично. Добравшись до одного зимовья, где следовало переменить лошадей, Т-в ушел на станцию и велел подать самовар; а я оставался у кошевой и вынимал подорожники, но потом, захватив с собою все узелки, отправился на станцию же и пошел прямо в комнату, к своему товарищу. Увидя это, сторож бойко догнал меня, схватил за рукав шубы, дернул назад и сказал: «Стой, куда ты лезешь без спросу! Вишь, там господа!..»

В тайге, т. е. в партии, я менее скучал, чем в карауле. Тут с раннего утра приходилось работать, несмотря ни на какую погоду. Целый

день до самого вечера нужно было обойти все работы, задать новые, принять поконченные и лично промыть и заверить шурфы на содержание золота. Весь обзор по работам выражался более чем в десятке верст, и понятно, что такой моцион отражался на аппетите молодого желудка и я, возвратившись в зимовье, преисправно съедал целый котелок щей, тем более потому, что утром кроме чаю и ржаных сухарей закусить было нечего. Случалось, что брал с собой в карман несколько сухариков, но они приедались и не особенно поманивали. Вся беда заключалась в том, что зимний день в такой трущобе, как Бальджа, скоро кончался, и вся задача состояла уже в том, как скоротать вечер, бесконечный таежный вечер!..

Я сказал выше, что большое зимовье наше делилось на две половины и что в меньшей его части помещались штейгер Макаров, нарядчик Полуэктов и тут же ютилась в уголке моя койка, — т. е. какая же койка? — вбиты в землю две низенькие козлинки, а на них положены две колотых широких тесницы. Так как в зимовье всегда к вечеру было очень

жарко, то мое помещение находилось невысоко от земли, зато койка Макарова удивляла и многих рабочих, потому что была устроена под самым потолком. Макаров ужасно любил спать в тепле, и бывало, когда залезет на свою вышку и уляжется, то нельзя было не удивляться, как мог этот человек спать в такой температуре, где можно париться веником! А между тем Макаров, весь в поту, так храпывал и насвистывал во всю «носовую завертку», что либо мутило, либо зависть брала, когда являлась несносная бессонница.

Совсем забыл сказать, что в нашем же, меньшем отделении, проживал еще урядник Краснопёрое, который, как чертежник, делал планы местности, наносил шурфы, вел рабочую табель команде и был расходчиком припасов. Все эти три сослуживца были люди хорошие, более или менее трезвые и веселого нрава, что в тайге немалая находка и нередко душевное утешение. Только штейгер Макаров несколько посерьезнее, но и тот, случалось, так расходится, что насмеешься досыта. Стоило только суметь поджечь эту натуру, да если к тому же попотчевать рюмочкой, то откуда

чего и бралось — Макаров словно перерождался и нередко со своей вышки рассказывал такие вещи, что все хохотали до слез.

При большом зимовье находился сторож, который топил помещение, приготавливал дрова, заготавливал воду (из льда), мел «на чистоту», как он выражался, и ходил за коровой, составлявшей нашу таежную роскошь и доставлявшую лакомство и нам, и многим рабочим, в виде подбелки к чаю, а иногда и стаканчика молочка!.. Однажды случилось так, что рано утром все мои сослуживцы разошлись по работам и в зимовье остались только старик да я. Но как на грех дедушко захворал «нутром»; что тут делать? Пришлось лечить походными средствами, а самому — топить зимовье, нарубить дров, приготовить воды — и все это ничего, все это я сделал скоро; но вот беда, пришлось доить коровушку, которая, не зная меня, не подпускала к себе и не давалась. Я подал ей кусочек хлеба, огладил и на всякий случай привязал кушаком к оградке. Кажется бы и ладно, но дело вышло не так: лишь подсел я с подойником, коровушка не спускала молока, переступала ногами, мотала хвостом.

Постой, думаю, улажу и это; я попотчевал ее еще кусочком хлеба, и она успокоилась, только тихо помыкивала, и я, снова подсев на стульчик, стал доить, но пальцы срывались с сосков, а молоко чиркало мимо. Наконец я понял умелую сноровку и уже доканчивал занятную для меня работу, как вдруг животное почему-то осердилось, мотнуло головой, прыгнуло задом, повернулось ко мне и сшибло меня со стульчика; я упал на бок и ногами опрокинул подойник... Сколько было смеху, когда вечером собрались мои сослуживцы и рабочие, и я им рассказал о своей неудаче; даже дедушко хватался за больной живот и катался по своей койке.

Перейду теперь и к другой картине, так как в жизни человека нередко встречаются слезы и там, где только что раздавался гомерический хохот. Так случилось и в нашем кружке таежных тружеников. Вечером доложил мне Макаров, что в вершине пади (долине реки) в самом верхнем зимовье захворал рабочий Матафонов. Человек этот перемогался давно, но молчал, а когда уже вдруг болезнь приняла острый характер, то он слег и

не было возможности вывезти его из тайги. С ним сделался потрясающий озноб, страшная головная боль и затем ужаснейший жар, так что несчастный то метался, то сильно бредил. Так как при партии не было и плюгавого фельдшера, то я порешил на том, что утром же поеду в Бальджикан и привезу с собой Михаила, который когда-то был лекарским учеником и хоть несколько мараковал по части обыденной медицины.

Через два дня к вечеру я приехал в партию с Михайлой, но — увы! — было уже поздно, и Матафонов скончался. Его вывезли на вьючной из вершины падушки и положили сначала в большом отделении зимовья, но потом нашли это неудобным и унесли в маленькое зимовейко на Большой Бальдже, которое стояло совершенно отдельно, у ключа, и служило рабочим черной баней.

В партии ждали меня, и посланный нарочный с известием о смерти встретился мне на половине дороги. Зная, что в ближайших караулах нет ни одной церкви, а следовательно и священника, я не воротился с дороги и решил составить акт о смерти на месте и пре-

дать тело земле, как это обыкновенно и делается при потере людей в таежных экскурсиях. Товарищи отпоют, как умеют, и похоронят на месте. Что делать? Другого исхода нет, и, следовательно, надо мириться с этим положением, а затем уже, выехав «в руськое место», т. е. в селения, где есть церковь, отслужить заупокойную литию и помянуть усопшего.

С нами ехал еще штейгер Тетерин, который только что прибыл из отдельной партии по р. Ашиньге и просился съездить со мной на Бальджу, чтоб посмотреть работы на этой речке, где он первый открыл присутствие золота. Приехав благополучно в партию, мы нашли всех людей на местах, но убитых сожалением о потере товарища. Вечером в большое зимовье собралось много рабочих, чтоб «наутро» проститься с покойником и предать тело земле. Неподалеку от бани, на горочке, уже была выкопана могила, которая и ждала первую жертву из бальджиканских пришельцев. В зимовье стало тесновато, и потому многие рабочие сидели на воздухе и варили в принесенных с собою котелках таежный ужин.

Так как рабочих зимовеек было несколько штук, кажется 8 или 9, то в них остались люди, чтоб протопить свои помещения и наблюдать за инструментом. Да проводить покойника всем не было и надобности, а у многих и желания выходить за несколько верст и тесниться в нашем зимовье; что они, конечно, хорошо и сделали — горю не пособишь, а себе досадишь.

Отличный морозный вечер давал себя знать на улице, и потому все пришедшие заявились ужинать в наше зимовье, и нам, хозяевам, пришлось по возможности потесниться и радушно принять гостей. Но, по пословице «Не взяла бы лихота, не возьмет теснота» мы так удобно разместились, что место нашлось всем, а в случае надобности отыскалось бы помещение и «городничему». По обыкновению, после ужина пошли толки, суждения, рассказы, и так как злобой дня был случай смерти, то все повествования вертелись около этой темы и на первом плане толковалось о покойниках; говорилось все, кто чего видел на своем веку, кто чего слышал от стариков, за давно прошедшее время, канув-

шее в Лету забвения. Много тут было рассказов крайне курьезных и невероятных, а много и таких, что минувшие события потрясли всю душу и шишом становились волосы, особенно при окружающей угрюмой обстановке таежной жизни. Все до того были возбуждены, что отпечатки повествований рисовались на вытянутых физиономиях слушателей, а некоторые рабочие даже прятались за своих товарищей и тряслись от страха. Тут и я, грешный человек, подсыпал немало, передавая некоторые замечательные исторические события и схваченное из жизни своих предков. Словом, экзальтация настроения общества собеседников доходила до апогея, и у многих навертывались слезы сочувствия или невольного страха.

Вдруг встает мой Михаила и говорит:

— Все это пустяки, господа! Бояться нечего. Ничего особенного на свете нет; как нет ни черта, никакой чертовщины!

— Как нет черта! — слышалось с разных концов.

— Да так! Нет, и только! А покойники не ходят! — возразил Михайло.

— Послушай-ка, Митрич! Как же нет черта, когда и в священном писании говорится, что есть. Я и на библейских картинках видал изображение сатаны! А кто соблазнял Спасителя на высокой горе? — говорил обзартившись Тетерин.

— Я этому, брат, не верю! Ай в Библии мало ли чего нарисуют. Ведь картины-то писали такие же люди, как и мы с тобой! — возражал и кипятился Михайло.

— Как не мы! Ты, брат, о покойниках говори, что хочешь, я об этом не знаю и не спорю, а что касается священного писания, то об этом не смей и толковать! Понял? Вот что я тебе скажу, друг любезный!..

— Ну, ладно, ладно! Это оставим, а что покойников бояться нечего.

— Да ты только хвастуешь, а вот докажи это на деле — сходи к Матафонову! — предложил раскрасневшийся Тетерин.

— А что за беда, эку штуку выдумал, сходить к Матафонову! Изволь, схожу.

— А чем докажешь, что был у покойника?

— Да чем, давай хоть сажай лоб ему вымарю.

— Ну, нет: это, брат, грех! А вот принеси два огарочка восковых свечек, которые лежат под изголовьем, у самого полена, под шеей. Я знаю, что во всей нашей тайге нет больше ни одного огарка. Вот этим докажешь, что был и не боишься, а хвастать-то нехитро!..

Все молчали и слушали распетушившихся спорщиков.

— Ну, а что дашь? — сказал Михайло. — А то так не пойду, не стоит трудиться.

— То-то, не стоит! Верно, пробка захлябала! Ну, изволь — рубль дам, коли сходишь; а не сходишь — с тебя рубль. Понял? — спросил Тетерин и полез в карман.

Михайло, ни слова не говоря, вынул рубль и сказал:

— Ладно, идет по рублю; давай деньги за руки! Барин, примите, пожалуйста, деньги, — обратился он ко мне.

Я взял два рубля, а Михайло, не торопясь, снял со своего места шубу, накинул ее на плечи, надернул шапку и пошел из зимовья.

Был уже поздний вечер, далеко за полночь. До бани, где лежал покойник, считали около версты по таежной тропинке, пробитой

среди дремучего леса. Все присутствующие молчали, и только некоторые уговаривали Михайлу не ходить, но он их не слушал и поковылял по дорожке. Я вышел за ним и посмотрел за тем, чтобы кто-нибудь не вздумал пугать, и потому сказал всем присутствующим, чтоб никто не смел этого делать, когда уже Михайло скрылся за лесом. Многие стояли на улице, тупо смотрели вслед за Михайлой, и воцарилась такая тишина, что сначала слышались только шаги удалявшегося Михайлы, а когда они затихли, то на горах шумел один ветер, и этот особый гул как-то неприятно действовал на нервы, — точно мы в первый раз его слышали.

Мы все воротились в зимовье, расселись по своим местам, и только некоторые тайно шептались между собою. Я посмотрел на часы и закурил трубку. Тетерина трясла лихорадка, и он то и дело посматривал в крохотное оконце. Прошло уже более двадцати минут, а Михайлы все не было. Вот и 25, а его нет.

— Уж не случилось ли чего-нибудь? — тихо проговорил Тетерин.

— А вот подождем еще маленько, ведь тропка-то лесом, идти неловко, — сказал я и снова поглядел на часы.

Прошло и еще десять минут, а Михайлы нет. Я уже хотел одеваться и идти с кем-нибудь сам, — как кто-то сказал: «Идет».

— Идет, идет! — подхватили многие и лезли к оконцу. Действительно, снег похрустывал и слышались уже явственно неторопливые шаги Митрича, а затем отворилась дверь, и он вошел в зимовье. Все расступились, дали дорогу, и многие рабочие сказали: «Ну, молодец! Михайло Митрич!»

— На! — сказал Михайло и подал два восковых огарочка Тетерину.

— Не трус же ты и есть, как посмотрю я на тебя!.. — проговорил Тетерин и обнял Михайлу.

— Отчего так долго ходил? — спросил я.

— Да чего, барин! Он сказал, что огарки лежат под головой, а я шарил, шарил — их там нет; зажег уже спичку да углядел их на той стороне, за покойником, под полешком.

— Точно, точно, — подхватил Тетерин, — я ведь и забыл, что давеча переложил их, как

прочитал над усопшим молитву.

Я подал два рубля Михаиле и, признаюсь, читатель, немало удивился его поступку; а что касается до меня лично, то ни за какие бы миллионы не сделал этого похода, особенно после тех разговоров, которые слышались в нашей беседе, перед спором Михайлы с Тетериным...

— Что же тебя оторопь не брала, когда доставал огарки через покойника? — спросил Макаров.

— Нет, не брала, я ведь привычный и не один раз читывал по усопшим; вот и сегодня почитал бы над Матафоновым, так псалтыря нет, да и холодно в зимовьюшке. А вот как отправился я назад, то угрог маленько; потому что, захлопнув дверь, я уже пошел, а она вдруг отворилась... Пришлось воротиться и задавнуть ее с веткой, которую и сорвал тут же с лесинки. Вот в это время ободрало мало-мало: подумалось, уж не он ли вышел! А то ничего...

Все укладывались спать, так как уже давно был первый в исходе. Затрубил и Макаров свою песню на вышке; но я долго не мог

уснуть — то ли от зкары, то ли от духоты, потому что от скопища народа в таком тесном помещении был такой спертый воздух, что «хоть топор повесь», как говорят любители красного слова.

Утром встали все рано, напильсь чаю и отправились хоронить Матафонова. Покойника положили в выдолбленную колоду, покадили ладаном, прочитали молитвы и с миром опустили в могилу.

Все рабочие разошлись по своим местам, я задал новые работы, велел над усопшим срубить гоубчик (а то просто гобчик), поставить крест и на другое утро с Михайлой и Тетериным уехал в Бальджикан. А затем мне предстояла тяжелая поездка в партию к Тетерину, верст за 80 таежного пути. Почти во всю дорогу из партии рассказывал нам Михайло курьезные случаи из своей практики читальщика по усопшим. Тетерин только вздрагивал и крестился!..

## VI

Занявшись с Тетериным в Бальджикане по делам отчетности относительно его отдельной партии, мы через два дня собрались в до-

рогу и отправились вчетвером в Ашиньгу. Со мной выпросился Михайло, чтоб посмотреть новые места и хоть немного проветриться от скучной жизни в таком карауле, как Бальджиканский. Кроме того, с Тетериным был конюх, который поехал с нами же.

Март стоял уже по-весеннему, и теплое солнышко давало себя знать, потому что появились лужи, снег убавился наполовину, а по логом и речкам образовались снежные заборы — это ужасно скверная штука для путника. Она предательски обманывает глаз и нередко в таежных безлюдных местах бывает крайне опасна. Дело в том, что после продолжительных оттепелей и уже весеннего солнышка в занесенных логом снег «борется водой», которая скапливается внизу снежной массы и стоит так пока без всякого движения, между тем как верхние слои снега почти все не меняют своего зимнего вида и в холодные утренники подмерзают иногда настолько, что по «черепу» (сверху) дороги держат коня и можно ехать. Днем же «череп» оттаивает и тогда — горе! — конь проваливается и может в глубоких заносах провалиться совсем и

захлюпать в водянистом снеге.

Так с нами и случилось. Проехав благополучно верст 25 и миновав Ашиньгинский пикет (юрты казаков-тунгусов) — стойбище инородцев для содержания якобы почтовой верховой станции, — нам пришлось переезжать небольшой, но глубокий ложок, под снегом которого скрывалась маленькая речушка. Дорожка шла по «черепу», и никакого объезда не было. Пришлось пробовать. Мы прошли сначала пешком, потыкали в нескольких местах колыями — крепко; а если крепко и даться некуда, значит, надо ехать. Мы повели лошадей в поводу и благополучно прошли уже более половины, как вдруг передний конь проступился, стал биться и погружаться в снежную кашу; от нарушения связи «черепового» покрова, провалились одна по одной и остальные три лошади. В общем провале образовалась жидкая снежная майна[15], и мы, все четверо, повалились туда же, ибо не было возможности удержаться на обрушивающемся снеге, за «черепом» утоптанной дорожки. Счастье наше состояло в том, что масса снега была не очень велика и мы, орудуя

кольями и разворачивая снег впереди, кой-как выбрались Из зазора и вывели лошадей. Кажется, беда бы и небольшая, да дело-то в том, что мы вымокли сами, вымочили потничные (войлочные) подседельники и подмочили всю провизию, так что все ржаные сухари превратились в хлебную кашу, а наш походный котелок и чайник, с мешочком чая, во время нашего крушения и возни с лошадьми оторвались из тороков и были ими затоптаны в снежной и водянистой каше.

Дело плохо! Приходилось остановиться, разложить огонь и ночевать, так как время подходило к вечеру, а впереди пути предстоял переезд через подобный же зазор. Вернуться в Ашиньгинский пикет не было возможности — сзади нас оставалась растоптанная пропасть!.. Мы заночевали, пообсушились около огня, но были полуголодны, потому что на нашу долю оставались одни подмоченные сухари. Кой-как провертевшись у огонька целую ночь, мы еще до свету заседлали лошадей и поехали дальше, чтоб по морозу успеть переехать предстоящий зажор, что нам и удалось вполне. Голод давал себя знать,

и вся надежда заключалась в том, что к вечеру доберемся до богатого тунгуса Шодурки, который жил по дороге нашего пути и отличался гостеприимством. Поторапливая лошадей, мы скоро переехали сорокаверстное расстояние и еще засветло подбирались уже к стойбищу Шодурки. Как приятно наносило на нас дымком вечно курящихся юрт и давало знать о близости жилого места! Это приятное ощущение могут понять только те, кто испытал в жизни подобные путешествия и по опыту знает цену тех надежд, которые рождаются у каждого путника, жаждущего отдохнуть в тепле и плотно закусить горячей мясной пищей. И это не то, что «дым отечества нам сладок и приятен», — нет! — тут настоящий дымок, хотя и закоптелой юрты, так глубоко действует на ваш избитый дорогою организм, что вы забываете всю тяжесть пути, считаете минуты прибытия и волнуетесь от того, что и бойкая поступь вашего коня кажется вам слишком тихой, а потому вы невольно сердитесь и понуждаете ничем не виноватое животное.

Каково же было наше разочарование, ко-

гда, подъехав к юртам, мы услышали какой-то особый, неприятно потрясающий звон бубнов, лязг чего-то металлического, а затем дикий крик исступленных голосов и чьи-то стоны. Мы остановились и, ошеломленные слышанным, не слезали с лошадей. Но вот распахнулся прокоптелый потник юртачного входа, заменяющий дверь, и к нам вышла растрепанная, безобразная, в полном смысле этого слова, с слезящимися глазами и покрасневшими веками старуха, которая неприветливо объявила, что принять нас не может, потому что хозяин при смерти, болен и все юрты заняты.

Знакомый с жильцами юрт, и даже друг хозяина, бойкий Тетерин стал объяснять наше безвыходное положение и просил гостеприимства, говоря, что с ним приехал и найден партии, т. е. господин командир, которого нельзя не принять. Старуха как будто не слышала слов Тетерина, повернулась и скрылась за потником. Вот положение! И опять — что тут было делать? Тетерин окончательно растерялся, но я сказал, что дальше ночью не Поеду и силой полезу в другую юрту, в которой

было тихо и, по-видимому, пусто. Тетерин слез с коня и заглянул в эту юрту, но оказалось, что в ней помещалась целая орава грязных ребят и она переполнена всевозможным скарбом и вещами, вероятно вынесенными из хозяйского помещения. Я тоже соскочил с лошади и хотел забраться в большую юрту, чтоб требовать ночлега, но из нее вышла еще не старая тунгуска, жена умирающего, и сказала, что в их юртах решительно нет места, а что не хотим ли мы поместиться в стайке (хлеве), где помещаются новорожденные телята, козлята и барашки. Подумав и сообразив положение хозяев, нам оставалось только поблагодарить за такой приют и согласиться, имея ту надежду, что будет хоть и холодно, так не голодно.

Мы расседлали лошадей и отправились к стайке. К счастью нашему, в этом скотском жилище находились только один теленок, два козленка и два барашка: сена было вдоволь, и мы рассчитывали на мягкое и теплое ложе. Однако же оказалось, что большого огня разложить не представлялось возможности и пришлось топить насквозь продуваемый

хлев только тоненькими сучками, чтоб не сделать пожара и не задохнуться от дыма.

Устроившись на сене около жиденских стен помещения, мы попросили поесть, но нам сказали, что пока не кончится шаманство (служба, суеверный обряд инородцев), в юрте нет ничего съедобного и надо подождать.

Действительно, перед большой юртой курился огонек из тоненьких дровец, а перед ним, на привязи, понуро стояли два барана и ждали своей горькой участи. Это была жертва заклятия агнцев пред их божеством и вместе с тем ожидаемая пища после обрядов шаманства. Делать было нечего, и мы решились дожидаться, но голод брал верх над словом и мыслью, а потому появились наши походные вьючные сумы, и мы стали подергивать из них Промерзлые остатки подмоченных сухариков. В юрте звон, лязг, крики и стоны продолжались и наконец, поднимаясь все крещендо и крещендо, дошли до того, что весь этот хаос звуков дошел до апогея своего безобразия и не умолкал ни на одну минуту. Мы же, заморив червячка и немного пригретые

огоньком и сеном, уснули.

Когда я проснулся от холода, в юрте была тишина, из нее доносились глухие стоны больного и слышался разговор тунгусов. Наш мизерный огонек потух, и сквозь полуоткрытую дверку потянуло холодом. Оказалось, что в наш покой запустили маток — овцу и козлушку, а теленка вывели, чтоб насосать на улице, ибо корова не могла пройти в небольшие дверцы хлевушки. Я разбудил Тетерина и просил его сходить в юрту, чтоб попросить чего-нибудь закусить. Он отправился, долго хлопотал и возвратился крайне озлобленный, потому что ничем, кроме кирпичного чая в грязной посудине, разжиться не мог. Несмотря на мою небрежливость, я никак не сумел принудить себя, чтоб напиться этого зелья, такого неопрятного приготовления. Тетерин тоже не стал пить, но конюх и Михайло немного «пошвыркали», как они выражались. На все наши просьбы и обещания заплатить хозяйка отказала в более материальной закуске и отзывалась тем, что все, что было мясного, съели после шаманства, а ничего хлебного у нее нет.

Пришлось снова терпеть и снова пошариться в дорожных сумках, чтоб утолить голод теми же остатками Сухариков. Подложив огонька, мы завернулись в козляки (шубы) и кой-как уснули. Ночью нас разбудил какой-то шум в пашей стайке (хлевушке), и затем потянуло таким приятным запахом вареной баранины, что у нас слюна побежала от удовольствия предстоящей закуски. Явилась какая-то сладкая потягота, и мы стали весело поговаривать. Нарушение нашего спокойствия произошло оттого, что в нашу стайку поместили какого-то приезжего бурята, друга и приятеля умирающего хозяина. Этот запоздавший гость, нисколько не обращая внимания на наше присутствие, удобно расположился в пустом углу нашего помещения и в полном смысле слова жрал вареную баранину, которой принесла ему хозяйка целое корытце. Пар валил от горячего мяса и приятно щекотал наше голодное обоняние. Конечно, мы думали, что таким же блюдом угостят и нас, а потому терпеливо ждали и под этим впечатлением родившейся надежды закурили трубочки. Но — увы! ужаснейшее УВЫ! —

ужаснейшего разочарования в такие минуты! Дело кончилось тем, что бурят, сожрав все корытце баранины, обсосал все косточки и расположился спать. Мы ждали, что придет хозяйка хоть за опростанной посудой, но она не являлась, а проклятый бурят так захрапел и заскрежетал зубами, что не было никакой возможности не только уснуть, но и просто перенести эту страшную пытку, особенно после оскорбленного самолюбия и переносимого голода от негостеприимной хозяйки.

Мы долго терпели и выносили эту пытку, но дело дошло до того, что нервы наши слабели, а здоровенный инородец только входил в разгар непробудного сна и так загремел зубами, что мы привстали на местах и в несколько голосов стали окликать собрата по ночлегу, чтоб разбудить этого зверя и тем прекратить это ужасное скрежетание. Но бурят так крепко спал, что не слышал нашего оклика и доходил до фортиссимо!.. Пришлось будить. Могучий сын природы проснулся, тупо посмотрел на нас, повернулся на другой бок и через несколько минут загремел снова. Повторилась та же история разбуживания и тот же

«скрежет зубовой»! Тетерин выходил из себя и в каждый раз расталкивания бурята сначала говорил ему ласково:

— Друг! Зачем так скричишься? Ведь другим спать не даешь!

А затем его взяла уже такая досада, что он без милосердия толкал бурята, тряс за ноги и сурово кричал:

— Что ты, пропащий! Сдурел, что ли, что скричишься, как дьявол?! Вот попробуй-ка еще, так мы те вот как! — и он показывал проснувшемуся кулак.

Но дело от этой угрозы нисколько не выигрывалось, потому что бурят вскоре засыпал и снова надрывал нас своим ужаснейшим концертом. Действительно, такое могучее и страшное скрежетание зубов по сне мне довелось слышать только один раз в своей жизни. Я и теперь не могу понять, каким образом человеческие зубы в состоянии выносить такое сильное трение и производить такие невыносимые звуки!. Если б я не слышал своими ушами такого скрежета, то, право, не поверил бы другому при подобном рассказе. Нет, это что-то невероятное! Мне кажется, что и громад-

ные зубы мастодонта не могли бы произвести таких ужасных звуков. А между тем они являлись у спящего человека, и я слышал их сам!.. После этого понятно, почему грешников пугают будущим адом, в котором раздастся «скрежет зубовный»!..

Как мы ни крепились, как ни будили бурята, но ничего поделать не могли и были решительно не в состоянии перенести эту нравственную и чисто нервную пытку, а потому порешили выпроводить такого ночлежника из своего помещения, для чего снова разбудили сына природы и предложили ему убираться. Он стал что-то лопотать по-своему, выругал нас по-русски и грубо, повернувшись к нам спиной, запахнул шубой. Эта выходка взорвала нас всех, а потому мы в один миг, как один человек, схватили бурята — кто за руки, кто за ноги, ткнули ногой дверь и, как метляка, выбросили его на улицу, а за ним мотнули туда же его шубу, потник и даже корытце с костями от баранины!..

После этого мы слышали какой-то разговор около юрты, а затем все смолкло, и мы, улегшись на свои места, снова уже крепко за-

снули.

Когда я проснулся от утреннего холода, то моих спутников не было в стайке; они седлали лошадей и на мой зов объяснили, что в юрте осталась одна старуха и малые ребята, а все большие с шаманом во главе и гостями отправились хоронить Шодурку, который еще мычал и протягивал руки.

— Может ли это быть? Вы врете? — спросил я.

— Нет, бариин, не врем, а видели своими глазами, как больного вытащили из юрты, положили ничком на седло, накрыли шубой и повезли, — говорили почти в один голос Тетерин и Михайло.

— Да как же это можно? Отчего же вы не разбудили меня? Ведь я бы именем закона не позволил этого сделать.

— Я и говорил Тетерину, давай, мол, разбудим бариина, — сказал Михайло и погрозил Тетерину.

— Я и толковал шаману и всем родственникам Шодурки, что этого делать нельзя, но они и внимания не обратили, а навалили умирающего на коня да и поперли вон туда в

кусты! — оправдывался Тетерин и хлопал руками по бедрам.

— Да все же они сказали тебе что-нибудь — почему так делают? — спросил я, озадаченный возмутительным поступком инородцев.

— А только и говорят, что по шаманству так вышло да в их книгах указано.

— Что указано? — перебил я Тетерина.

— А чтоб, значит, вывезти его живого и спасти душу грешника, как богатого человека; а потом положат его на бойком месте и через три дня поедут смотреть...

— Ну, что же смотреть?

— А то, что тронул зверь или ворон покойника? Если не пошевелил (не поел, не поклевал), то, значит, человек этот не угоден богу; а если потрогал — значит хорошо.

— Да ведь он еще жив?

— Ничего, говорят, скоро должен пропасть.

— Ну, а если нет?

— Не беда! Они все-таки бросят и уедут.

— Ну, а если он оздоровеет и приползет в юрту?

— Тогда уж, барин, не знаю, что они и де-

лают.

— Ах, как жаль, что вы меня не разбудили и я не видал этого. А давно ли его увезли?

— Да вот уж более часа, — почти на самом свету.

Около опустевших юрт была невозмутимая тишина, только изредка слышался легкий плач ребятишек и взывание оставшихся собак, шарившихся около большой юрты и добывающих просачивающуюся кровь, где кололи барашков...

Кстати, я сделаю здесь небольшое отступление и скажу, что выражение Тетерина «пропасть» сказано не даром. Это потому, что русские относительно смерти инородца никогда не говорят — помер, умер или скончался, а всегда выражаются *пропал*. Это сибирский термин. Сами тунгусы и буряты всегда говорят о смерти своих собратьев так же. Точно они считают себя за животных в том смысле, что признают душу человека как бы отдельным существом; вследствие этого они же никогда не скажут, что — дух вон, а всегда — пар вон; например: брат мой упал, да тут же и пар вон. Зато инородцы и о русских выража-

ются таким же манером — пропал и т. д. За это уж не прогневайтесь. Смешно однажды было, когда один дружный тунгус приехал из участия на похороны молодой жены одного чиновника. Выражая свою печаль, он говорил так: «Ой, бой! друг! баба пропал, — жаль! Нужна была (т. е. худоцава, чахоточна), от того и пропала. Бери другу, — жирну!..»

Видя, что у юрт больше нечего делать, как сесть на лошадей и ехать, мы сложили свои багаж и отправились в дальнейший путь к пределам своей партии, до которой оставалось не более пятнадцати верст. Животы наши подвело от голодной истомы, и мы ехали злые, недовольные не только собой, лошадьми, седлами, — но, кажется, всем светом и жестоко проклинали службу, которая связывает человека с такой нуждой и с такой безлюдной местностью. К раннему обеду мы подъезжали уже к партионному зимовью на р. Ашиньге и благодарили судьбу, что скоро и благополучно доехали и забрались в горы, где поджидали нас свои люди и мы надеялись утолить наш голод.

Нас слышали партионные собаки, выбо-

жали навстречу и сильно залаяли, но, узнав Тетерина, завиляли хвостами и уже повизгивали от радости. «Ого-го, как вас подвело!» — заметил Тетерин и понужнул коня, чтоб опередить мою лошадь и принять меня, как хозяйина. Тут вышли из зимовья «морные» (испытые) рабочие и как-то грустно поздоровались на мой привет. Оказалось, что партионцы третий день сидят почти голодом, не ходят на работы и кой-как пробиваются на остатках сухарей.

Дело в том, что партионный подрядчик не доставил вовремя провизии, и потому люди так бедствовали.

— Вот утешение! — сказал я и набожно помолился.

Рабочие говорили, что все счастье их еще в том, что недавно были тут промышленники, которые убили изюбра (благородного оленя) и поделились с ними, а то бы дело вышло дрянь, и им бы пришлось голодовать не на шутку; что они заказали с зверовщиками, знающими подрядчика, чтоб они непременно поторопили его и объяснили ему положение рабочих. По запасливости бывалых партион-

цев оказалось, что у них на всякий случай хранилась голова изюбра и оставалось немного сухарей. Узнав о нашем положении, они тотчас вычистили голову зверя, навесили котелки и наварили похлебки. Мне кажется, никогда в жизни не едал я так вкусно и с таким аппетитом, как в этот раз. Самая простая похлебка из головизны и вымоченный в бульоне сухарь мне казались чем-то особым и необыкновенно вкусным. Понятное дело, что с нами вплотную закусили и рабочие, которым я объявил, что если завтра не придет транспорт, то я брошу работы и выведу их из Ашиньги. Но рано утром собаки подняли такой лай и вой, что мы все проснулись и увидели целую веревочку обовьюченных лошадей, которые везли съестные припасы. Подрядчик опоздал потому, что его в хребтах встретила метель (пурга), он заблудился и выбил лошадей. С приходом транспорта все мы ожили и работа пошла своим порядком.

Через несколько дней я с Михайлой и конюхом возвращался уже домой; и так как погода сильно похолодела, то все зажоры мы проехали благополучно и в юрты не заезжа-

ли, а слышали в Ашиньгинском пикете, что тунгус Шодурко пропал еще на седле и потому его бросили на пробу его святости или негодности богу уже мертвого!..

Золота в Ашиньге не оказалось, а потому с своей командой вышел в Бальджикан знаменитый Тетерин и поступил на разведки в другую местность.

Долго вспоминали мы с ним смерть Шодурки и ужасного бурята, «скричающего» зубами!..

— А ведь в нем, должно быть, бес сидит! — говорил Тетерин.

— Какой еще бес? Это бывает у человека от солитера, — сказал я.

— Это кто такой солитер? — спросил он.

— Конечно, не бес; а, знаешь, такие белые черви в желудке.

— А! знаю, знаю! Только нет, барин, какие тут черви у такого зверя. Нет! В нем, наверное, сатана посажен; ведь бывает, что он залезает в человека!..

— Да, пожалуй!.. Только тот, брат, не «скричит» сам зубами, а от него скрежещут другие...

— Так! понимаю! — сказал Тетерин и задумался, точно припоминал что-то из жизни.

## VII

Когда я возвратился в Бальджиканский караул и съездил в партию на р. Бальджу, меня созвали промышленники ехать на охоту за границу, в китайские пределы, где народу мало, а зверя достаточно и живут изюбры и кабаны. Конечно, это предложение я принял с удовольствием, и вот мы втроем — Мусорин, Шиломенцев и я — отправились за границу!.. Привыкнув понимать последнее выражение в настоящем смысле, по-русски, делается смешно и вместе с тем грустно, что мы, втроем, из Бальджикана отправились верхом за границу, — курьез!.. просто злая насмешка!..

Тут я позволю себе повториться и рассказать тот случай, который я уже коротенько описал в своих «Записках охотника Восточной Сибири» (изд. II, 1883 г.). Вот он дословно: «Охота производилась облавой. Я, как не знающий местности, постоянно садился на указанные пункты и дожидался зверей; а товарищи мои поочередно, то тот, то другой, ездили облавить, т. е. нагонять изюбров (или коз) на



«Бальджа»

известные места. Мы ночевали две ночи, убили двух диких коз, но изюбров и в глаза не видали. Охота как-то не клеилась. Мы собрались домой, сели на лошадей и хотели уже ехать, как вдруг один из промышленников увидал вдали, на солнопеке, двух, пасущихся изюбров. Дело было под вечер третьего дня нашей охоты. Мы отложили поездку и согласились облавить этих зверей. Один из промышленников и я поехали сидеть на избранные места, а третий отправился подгонять к нам изюбров. Мне досталось объехать верст пять и взобраться на высокую крутую гриву (гора — в связи гор), изредка поросшую лесом и увенчанную сверху огромными обрывистыми утесами. С трудом заехав на нее, я поспешно привязал коня к дереву и спустился на несколько сажен на чистую открытую лужайку, на которую, по моему расчету, должны были прибежать изюбры. Прошло с полчаса; солнышко уже готовилось спрятаться за виднеющийся вдали темно-синий хребет, а зверей все еще не было. Следовало уже отправляться на условный сборный пункт; я собрался идти к коню, как вдруг в это время слы-

шался отдаленный выстрел моего товарища, что и доказывало, что изюбры пробежали тем местом, где сидел он на карауле. Я поторопился и побежал к коню, но, не доходя до него сажен десяти, увидел сбоку, под утесом, под огромной нависшей скалой, сидящего инородца, который держал в руках винтовку, как будто направленную прямо на меня. Я содрогнулся, невольно остановился, хотел что-то кричать, но не мог. Кровь прилила мне в голову, по телу пробежал озноб. Я думал, что этот инородец, воспользовавшись моей оплошностью, хочет меня застрелить, так как подобные истории здесь случались нередко, тем более с ссыльными бродягами... О, их, бедных, много перебито здешними промышленниками, а в особенности инородцами. Много их, несчастных, действительно «без вести пропало», много умерло с голоду и холоду, много перетонуло в быстрых горных речушках, но много и попало на пули! После первого испуга я скоро опомнился, быстро подскочил к дереву и спрятался за его ствол. Вглядевшись хорошенько в сидящее чудовище, я усмотрел, что оно недвижимо, а потом убе-

дился, что оно и бездыханно. Что же оказалось, когда я, видя безопасность, подошел к сидящему инородцу? Это был труп пожилого, широкоплечего, среднего роста тунгуса, который и был посажен на большой камень, под громадной нависшей скалой огромного утеса. На нем была овчинная шуба особенного покроя, кругом опущенная чем-то красным; на голове остроконечная шапка с медной шишечкой наверху и шелковой бахромкой около нее; с боков же шапка была опущена хорошим рысьим мехом. На ногах покойника козы унты с толстыми (чуть ли не деревянными) подошвами; оголенные его руки покоились на коленях, на которых и лежала прикладом винтовка; в правой руке покойника была воткнута медная китайская трубка — ганза, а в левой торчал простой табак. На правой же руке, на большом пальце, светилось серебряное кольцо. За поясом был небольшой нож, каптурга с пулями (числом 3) и огниво; а из-за пазухи торчала роговая пороховница. Глаза покойника были выклеваны птицами, щеки и губы тоже попорчены, вероятно ими же; из полуоткрытого рта виднелись белые,

как слоновая кость, зубы. Вообще картина была очень неизящна и как-то тяжело и неприятно на меня действовала, особенно при последних лучах догорающего солнца. По рассмотрении причины первого моего испуга, я машинально отвернулся, невольно плюнул и пошел к коню, который по-видимому давно дожидал меня, потому что не стоял на месте и поминутно ржал. Я еще раз взглянул на страшный труп тунгуса, вскочил на коня и рысью понесся к ожидающим меня товарищам, которые оснимали уже убитого изюбра, розняли на части и жарили на огне печенку. Я рассказал им про свой испуг и его последствия; они долго смеялись и сказали мне, что здешние инородцы часто хоронят таким образом своих умерших собратьев».

Выслушав их, мне невольно пришел на память Шодурко, а вслед за этим и страшный бурят, по Тетерину, одержимый «скричающим» бесом. Мы заночевали, наварили и нажарили изюбрины и преплотно поужинали.

Утром обовьючились мясом и отправились домой другим путем. Как нарочно, мы врасплох наехали на большое стадо кабанов,

которые лежали в громадном ворохе натасканной ими ветоши. Заслыша нас, животные вдруг бросились наутек и подняли такую пыль с своего логова (гайна), что мы сначала не могли их видеть, а заметили уже тогда, когда они бежали далеко. С нами была одна собака, которая страшно рвалась, но Мусорин не отпустил ее с цепочки, так как одна в поле не воин, а в табуне был секач. Преследовать их на лошадях тоже не представлялось возможности, потому что на них лежала тяжелая ноша убоины. Волей-неволей должны были отложить попытку преследования и поговорили о том, чтоб сюда нарочно приехать за кабанам в другой раз.

В конце марта мне пришлось ехать в г. Читту, за покупками товаров, потому что рабочие обносились ужасно и надо было сшить им рубахи и прочие принадлежности. Поездка эта меня крайне обрадовала, — я надеялся узнать о месте существования Зары и, быть может, с нею повидаться. Проездив я несколько более недели, закупил товар, но — увы! — Зары не только не видал, ко, несмотря на все мои исследования, как в передний, так и в обратный

путь, нигде не мог перехватить вести, где она находится со своим свирепым отцом. Приятеля своего Скородумова я просил тотчас меня уведомить, лишь только он узнает, где проживает зиму эта семья цыган. Он дал мне слово и, как человек ловкий и надежный, взял от меня письмо мое к Заре, чтобы при случае немедленно передать ей. Я вполне надеялся на Скородумова и с облегченным сердцем, хотя этой помощью, вернулся в Бальджикан, где ждал меня соскучившийся Михайло. Вот наступил и апрель. Прилетели утки, гуси, и я почти ежедневно пользовался свежинкой. Кругом Бальджикана с началом весны запищали повсюду рябчики, а на токах защелкали краснобровые глухари. Охота была в полном разгаре, тем более потому, что козули, как тараканы, лезли на увалы и манили к себе. Словом, открылась такая охота, что молодому горячему охотнику скучать не представлялось возможности; но, несмотря на это богатство, я все-таки скучал, разбитый душой... Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, но прелестная Зара не выходила из ума, и я не находил места от какой-то особой истомы: худо ел, худо

до спал — и тяжелее всего то, что я это святое чувство любви таил в себе, так как поделиться было не с кем... Только, ложась спать, я горячо молился, а сунувшись на подушку, нередко смачивал ее слезами и частенько шептал:

— Зара, Зара! Где ты? Что с тобою? Откликнись хоть еще один раз!..»

## VIII

Теперь мне хочется познакомить читателя, как мы жили в тайге и как я проводил время в этом ужасном захолустье. Но прежде, чем что-нибудь сказать о жизни, необходимо замолвить о самой команде разведочной партии. Надо отдать справедливость г-ну А-ву в том отношении, что он выбрал людей более или менее хороших и дельных работников. Все они пошли в партию по собственному желанию, без всякого насилия власти, а потому ропота почти не было; напротив, все делали таежные походы охотно и на судьбу таежных скитаний не жаловались; то ли потому, что большая их часть были все люди молодые, веселые, которым хотелось походить по новым местам, посмотреть людей, показать себя; то

ли потому, что они боялись общей участи рудничной и заводской молодежи быть в откомандировке на золотые промысла з Нерчинском крае, что одинаково лишало их домашнего крова и связывало с обязательной работой на тяжелых «урках» (уроках) по золотым приискам, чего они всегда боялись и всевозможными путями отбивались от этих командировок. В числе рабочих находились замечательно веселые люди и способные «на всякое колено». Спеть ли за душу хватающую песню, сыграть ли на каком-либо походном инструменте, или тряхнуть такого трепака, что чертям тошно, — на все их хватало!.. Одна беда — это водочка; но эта штука, при смотре нии и братском обращении, как оказалось впоследствии, легко умиротворялась и за пределы безобразия не выходила. Следовательно, на людей жаловаться нельзя, а напротив, как тогда, так и теперь, говорил и говорю им сердечное спасибо, хотя с начала моего вступле ния в партию и пришлось с ними немного «посурьезиться»!.. Но люди поняли всю суть и потом все время вели себя сносно, а при тугих обстоятельствах были истинными друзьями

и братьями.

В числе этой удалой молодежи особенно выдавалась личность Василья Ежикова, которого вся команда звала просто Васькой. Человек этот играл такую замечательную роль в партии, что нельзя на нем не остановиться и не сказать хоть несколько слов. Васька был в то время лет 25–26; обладал хорошим здоровьем, необыкновенной выносливостью, крайне веселым характером, природным комизмом и замечательным остроумием. Его находчивость и бойкость на слово просто поражали. А между тем человек он был неграмотный и прошел одинаковую школу рабочего подрастающего со своими сверстниками в обязательное время. Довольно высокий рост, подвижность всего организма и выразительная физиономия брюнета придавали ему что-то такое, что он отличался с первого взгляда из всей команды. Несмотря на все его колкости и остроты над собратами, товарищи его любили и стояли за него горой, коли где-нибудь и приходилось неладно. Такие люди, как Васька, в партионных командах необходимы — без них плохо! Они составляют всю

соль той закваски, которая так выручает человека иногда в самые критические минуты и нередко преодолевает такие препятствия, которых немислимо побороть при плохом настроении. А смотришь — одно курьезное слово Васьки, одна уморительная гримаса или какая-нибудь выходка делает то, что потерявшиеся товарищи оживают духом, забывают всю тяжесть случая и делают чудеса в русской «юдоли»!..

Да, Васьки необходимы! Недаром не один раз говаривали рабочие, что «без Васьки мы бы пропали»! Пожалуй, это и верно, потому что всему партионному люду приходилось безвыходно жить всю бесконечную зиму в такой тяжелой трущобе, что можно рехнуться; или, не выдержав этой пытки отлучения от мира, забыть обязанности служебного долга и без оглядки бежать из вертепов тайги.

При самом еще походе в тайгу Васька творил столько курьезов своими выходками, что рабочие умирали со смеху и забывали об удалении от своей родины. Что ни верста пути, что ни стоянка на отдыхе — Васька непременно удерет какое-нибудь колено и потешит то-

варищей. Диво, да и только! Откуда бралось у этого человека такое разнообразие шуток, выходов и острот. Я никогда почти не видал Ежикова повесившего нос; нет, он вечно весел с утра и до вечера: даже, кажется, и спит улыбаясь! А если и случалось, что ему «прискучдается» (по болезни или так), то и тут в его горе непременно проглянет какая-нибудь характерная черта его природного юмора, он поймает ее сам — и горю конец!..

Васька и выпивши никогда не ссорился с товарищами, а если на него нападали, под влиянием паров Бахуса, то он всегда отделялся какой-нибудь выходкой или находчивостью и даже в серьезных случаях не дрался, а только становился в оборонительное положение, подпирал руки в бока и действовал выдающимися локтями так ловко и бойко, что противники отлетали как метляки или падали тут же; случалось, он употреблял в ход и ноги, но это уже более для курьеза; по однако же так основательно, что ноги не уступали локтям. В таких эволюциях Васька походил на ловкого акробата и обижать себя не давал.

Описывать его выходки отчасти и неудобно, и, пожалуй, не место; да их так много, что теряешься, какую из них передать читателю. Не лучше ли оставить, а сказать о его замечательно крепком физически лбе. Да, лбом он творил такие штуки, что трудно поверить. Однажды Васька заспорил с хозяином квартиры в Кыринском карауле, что он отворит лбом избяную дверь, которая так примерзала в притворе в зимнюю стужу, что ее с трудом отворяли ударами ног. Заложили пари: Васька встал па четвереньки, разбежался и так хватил лбом примерзшую дверь, что она не только что отворилась, но слетела с петель и повалилась в сени.

Другой раз он выиграл большой заклад у питейного дома. Спор зашел о том, что домашний козел настолько сильно бьет лбом, что в состоянии сшибить быка, а Васька говорил, что это вздор и что он выйдет на поединок и сшибет своим лбом любого козла. Порешили на том, что тотчас притащили натравленного драться козла, и поединок состоялся тут же. Васька сам рассердил козла и в момент нападения животного тотчас встал на

четвереньки, уловил наскок, сдал на ударе и потом дал такой отпор, что козел сел на зад, заблеял, живо поворотился на задних ногах, завертел хвостиком, потряс бородой, запырыскал и убежал. Пари было выиграно, но Васька долго носил на голове добрый синяк и жаловался на то, что у него дня три трещала «головизна», «а на лбу-то точно гагара, ночевавши, напырыскала».

По дороге к Алтанскому караулу однажды Васька нашел потерянного тунгусского бурхана (металлический идол, божок). Вместо того чтобы припрятать эту вещь и получить за нее пеню, он, долго не думая, посадил бурхана тут же на дороге во что-то мягкое и отправился догонять товарищей. Через несколько верст попался верхом тунгус, который разыскивал свою потерю. Подъехав к путникам, он остановился и заговорил:

— Мэнду, тала! (Здравствуй, друг!)

— Мэнду![16]—отвечали рабочие.

— Куда пашла? — спрашивал тунгус.

— В тайгу, золото копать!..

— Ммм! — промычал он и спросил: — А что, друг! Не видала ли мой бурхан?

— Видал! — кричал Ежиков.

— А где видала?

— А вон, на дороге, верст десять сидит отсюда и кашу ест под кустом! — пресерьезно проговорил Васька.

— Ммм! Кашу? Каку таку кашу? Врешь?

— Нет не вру! Поезжай, сам посмотри!

Тунгус снова сказал свое «мэнду-у!» (прощай), сел бочком и поехал по дороге.

— Ну, будет тебе, Васька, за эту кашу! — говорили рабочие.

Так и случилось. Тунгус воротился, три дня разыскивал Ваську и хотел его убить из винтовки. Об этом узнали рабочие и спрятали Ваську, надев на него другой костюм и подвывая бороду.

В другой раз рабочим, по дороге же в тайгу, попался небольшой кожаный тулунчик (мешок), в котором что-то хранилось. Любопытный Васька тотчас посмотрел находку, и оказалось, что в тулунчике лежал мертвый маленький тунгусенок, должно быть недавно родившийся. Все бросили находку и потолковали на ту тему, как инородцы хоронят иногда своих собратьев. Васька же, ни слова не го-

вора, взял находку под мышку и понес.

Пройдя версты две, Ежиков заметил, что навстречу едет верхом скупущий богатый казак. Он тотчас бросил на дорогу тулунчик и сказал товарищам:

— Смотрите, не зевайте!..

Люди прошли сажен сто, встретили проезжающего, поздоровались, поговорили и пошли своим путем. Но Васька не дремал и наблюдал за казаком, который, как любопытный сибиряк, скоро заметил под кустом тулунчик, оглянулся, слез с коня и, взяв находку, стал привязывать ее в торока, но так, чтобы не заметили люди. Он думал, что нашел что-нибудь оброненное рабочими.

— Стой! — закричал Васька и с несколькими рабочими бросился к казаку. Тот заскочил на лошадь и хотел удирать, но остановился и сказал:

— Ребятушки! Эвот не вы ли обронили тулунчик?

— Нет, не! мы! А что в нем? Ну-ка, смотри! — говорил Васька.

— Фу, братцы! Какая оказия! — говорил растерявшийся казак и побледнел как полотно.

но.

— Вот то-то — фу! Небось зафукаешь, как сейчас тебя свяжем и представим к начальству, — стращал его Ежиков.

— Нет, голубчики! Оставьте! А вот вам — выпейте винца; только молчите, пожалуйста! Вишь, грех меня попутал! — и он достал из сумы лаговку водки (круглая деревянная посуда).

Васька вскричал всех своих товарищей, которые выпили водку, попрощались с казаком и пошли, говоря спасибо их сотоварищу Ежикову, а казак сел скорее на коня и рысью побежал по дороге. Оказалось, что Васька знал о поездке казака и рассчитывал на его встречу, а потому и удрал такую штуку, которую узнали все караульцы и долго смеялись над богачом и осуждали его скупость.

Что касается жизни в самой тайге, на месте разведки, то она так неинтересна и однообразна, что приходится остановиться только на исключительных эпизодах и сказать о них хоть несколько слов. Я уже говорил выше, что я в партии жил не постоянно, а бывал наездом каждую неделю и ночевал ночи по две и

по три; эти посещения вошли более или менее в обычай, и рабочие к ним подготавливались. Они старались по возможности оканчивать заданные работы или вести их так, чтоб мне было занятие по промывке шурфов (проба на золото) или по задаче новых работ. Знали они и то, что если я оставался доволен их трудом, то им перепадала выпивка, так как со мной приезжала и водочка. Почти всякий мой проезд был для них праздником. В эти дни многие рабочие приходили из своих отдельных помещений в большое зимовье как за получением приказаний, так и за тем, чтоб провести вечерок вместе — посидеть, потолковать, послушать моих рассказов, потому что я частенько знакомил их с многими знаменательными историческими фактами, простыми физическими и химическими опытами, которые они называли фокусами или чудесами; а времени для этих занятий было слишком много, так как зимние таежные дни коротки, зато вечера бесконечны.

Утром рабочие поднимались очень рано и уходили на работы еще в потемках. Я вставал позже, на свету, пил чай и уже тогда уходил

по шурфам нередко на целый день. Без меня наш дедушко, сторож Рогалев, топил зимовье и приготавливал все необходимое для варки обедов и вечерних бесед. Для этих последних он топил сало, лил или макал свечи, приготавливал жирники.

Спутниками моих походов по работам были обыкновенно штейгер Макаров и нарядчик Полуэктов; они встречали меня па шурфах и сопровождали уже всюду. Если не было промывки на золото, то случалось, что работы я обходил скоро и потому нередко возвращался к большому зимовью к обеду; но чаще приходилось трудиться до позднего вечера, и тогда мои завтраки производились на самых шурфах или у рабочих, которые гостеприимно принимали меня в своих крохотных зимовейках и угощали своим незатейливым обедом. В свободные паузы от занятий я лазил по крутым горам, находил рябчиков, белок, а иногда пользовался глухарями и кабарожками (кабарга).

Однажды Полуэктов предложил мне перевалить небольшой хребет, чтобы попасть в соседнюю долину речки, тоже Бальджи, по-

смотреть расположение пади (лога) и выглядеть место для предполагаемых работ и там. Мы пошли; скоро поднялись на хребет и перевалили на другую «покать». Пройдя ею несколько сот сажен, мы зашли в мелкий осинничек, в котором лежала громадная валежина погибшего кедра. Я залез на лежащее дерево и стал оглядывать местность, а Полуэктов пошел мимо; как вдруг он остановился, наклонился и начал присматриваться.

— Что там такое? Кого увидал? — спросил я.

— А вон, барин, дыра какая-то! — картавил Андрей.

— Какая еще дыра?

— Да кто ее знает какая, а только дыра! Сами посмотрите.

Я живо соскочил с валежины и подошел к громадному вывороченному корню кедра, где стоял Полуэктов. Около пня лежала какая-то куча хвороста, почти совсем покрытая снегом, а из-под этой кучи, у самой земли, выделялось темное отверстие, в котором торчал мох, но в верхнем его крае замечалась небольшая дырочка, покрытая куржаком

(инеем), заметном и на близ стоящих синках. Со мной все вооружение состояло из двуствольного дробовика Ричардса, заряженного рябчиковой дробью, а у Андрея в руках находилось только одно *правилко* (шестичетвертовая выстроганная палочка, с разделением на четверти и вершки, — принадлежность всякого горного нарядчика для обмера работ); даже необходимого топора с собой не было за поясом. Я поставил ружье к леснике и стал тоже разглядывать дыру.

— Барин! Я потыкаю туда правилком, — сказал Полуэктов и приготовился действовать.

— Нет, постой! погоди! — сказал я и удержал его за руку.

— А что годить, все же узнаем, что за дыра! — настаивал мой спутник и снова хотел тыкать.

— Слышишь, не тронь!

— Да вы, ваше благородие, чего боитесь? Ведь с нами ружье.

— Да, ружье! А как это берлога? Тогда ты что запоешь? Правилком, что ли, воевать будешь? Подумай!

— Правилком... Берлога... — уже тихо говорил Полуэктов и попятился от дыры.

— Нет, брат Андрей! Пойдем-ка поскорее отсюда, подобру-поздорову! Кто ее знает, в самом деле не берлога ли? — тихо сказал я, взял ружье и осторожно пошел под гору из предательского осинничка. Побледневший Полуэктов потянулся за мной и постоянно оглядывался. Мы благополучно спустились в долину, осмотрели место и уже поздним вечером едва дотащились до зимовья...

Бальджа, Бальджа! Не забуду я тебя до гроба; не забуду и тех вечеров, которыми ты надеяла мою молодость; отравляла кипучую жизнь, подавляла ее своей страшной труппой; лишала не только житейских удовольствий, но наложила ту печать одиночной сосредоточенности, которая осталась во мне едва ли не до сего дня и породила то самосознание отсталости, каковая грызла меня в то время, когда была охота учиться, следить за наукой, не отставать от мира и приносить положительную пользу по специальности. Что дало мне твое существование? Ничего! Одно забвение и того, что оставалось еще в памяти от

школьной скамейки... Но, будет, довольно и этого! А потому попробуем вспомнить, как невыносимая тишина заставляла убивать свободное время, коротать бесконечные вечера, чтоб не рехнуться от такой жизни в кипучую молодость и не нажить какой-нибудь серьезной болезни.

С четырех часов пополудни было уже так темно, что поневоле приходилось зажигать в зимовье жирник или самодельную дедушкину свечу, и самому заняться приготовлением горячей пицци. Этот труд заставлял вертеться на улице около огонька и отнимал часа полтора или два от предстоящего вечера, а затем все жильцы и гости забирались в зимовье и начиналась трапеза. Кто еще только обедал, а кто уже и ужинал. Но эта разница выражалась только в понятии самого названия и несколько не мешала проводить время после такой закуски кому как любо. Кто ложился отдыхать, кто садился «починиваться», а кто тренькал на каком-нибудь походном инструменте или мурлыкал излюбленную песню.

Бывало, лежишь «кверху ноги» от усталости на своей мизерной койке и прислушива-

ешься. В моем маленьком отделении — тишина! — все большею частью лежат. В большой половине — жизнь! Там слышно лязгают ножницы, шмыгает дратва, постукивает молоток. Но вот кто-то затянул вполголоса песенку; а! это Матвей Марков поет приятным тенорком свою любимую «романсу» и сам же тихо аккомпанирует на балалайке, но не обыкновенным боем правой руки по струнам, нет, он только душевно пощипывает их пальцами и перебирает лады левой рукой.

— *В коленях у Венеры  
Сынок ее играл;  
Он тешился без меры  
И в очи целовал! и т. д.*—

уже ясно слышится из большой половины, и Марков воодушевляется все более и более; кончает «Венеру», несколько молчит, потенькивает струнами, откашливается и нежно-нежно начинает новую, крайне задушевную и мелодичную песенку.

*Уж ты беленький, хоро-о-шень-  
кой,  
Спокину-у-ул да меня!..*

Ему кто-то подтягивает; а вот отворилась дверь, пришли гости, тихо подсели на нары к лежащему на спине Маркову, подхватили мотив — составился хор — и пошли закатывать!.. Да так закатывать, что слеза прошибает... Слушая сердечный мотив этой песенки, невольно уносишься мыслями, является на ум прелестная Зара, сердце поднывает, и уже невольная слеза катится на продымившуюся подушку...

Песня окончилась. Воцарилась тишина. Кто-то высекает огонь из огнива. В наше отделение потянуло трутом — люблю я этот «русский дух», особенно на воздухе, как и хорошую махорку ямщицкой трубки. Но вот опять скрипнула уличная дверь, кто-то вошел и остановился. Слышится смех, а затем знакомый голос. Это явился Васька Ежиков, вероятно отмочил какую-нибудь штуку и потом командует: «Смирно! Видите, царь Салтан пришел! Поди-ка без меня совсем зачичерили: вишь, губы-то у вас покосило, словно дедушкины подметки у старых ичигов!» (род мягкой обуви).

Слышен характерный треск — это кто-то

пути ударил Ваську, а вслед за этим раздался на балалайке камаринский и пошел пляс. Со- скакиваю с койки и гляжу в большую полови- ну; за мной стряхнулся и Макаров с своей вышки. Оказывается: царь Салтан в теплой шапке, в шубе и в рукавицах так отдирает трепака, что «небо с овчинку»!

— Эх его выгибает, паршивого! — говорит сзади меня Макаров.

Увидав меня, музыкант вдруг обрывает, а Васька замирает на «присядке»; но тотчас вскакивает, строит умильную рожу, вытяги- вается по-солдатски и говорит:

— Здравия желаю, ваше благородие! Пу- стите переночевать; за веру и отечество кровь не проливаю, все шурфики копаю! При- кажите камердинеру честь мне отдать и во- дочки подать, коли есть наизлишке, молодо- му парнишке!..

— Ладно, ладно! брат, это потом, если за- служись.

— Постараюсь, ваше благородие! Сегодня и мяса не ел, на работе радел!..

Все смеются, и Васька начинает раздевать- ся.

Девять часов. Вот снова побрякивают котелками и выходная дверь то и дело «скрыпает» и бьет по притвору. От нечего делать велел и я поставить свой чайничек, чтоб «копорки пошвыркать», как говорят любители чаепития. Все в движении; даже и дедушко Рогалев таскается со своим ужином.

Макаров, Красноперое и Полуэктов притащили большой котелок щей, достают ложки, вытирают их грязными прокопченными полотенцами, крестятся и садятся.

— Не желаете ли и вы с нами? — говорит мне Макаров.

— А вот, постойте маленько! — говорю я, достаю водку, подаю всем по рюмочке и усаживаюсь к их котлу.

В большом отделении слышится хохот и кто-то гонит Ваську: «Уйди ты, судорога походная, поесть крещеному человеку не дашь!» — говорит дедушко и сам хохочет, так что поддетая ложка щей плескается и заливает его стеганный нагрудник.

— Ох, дедушко! не натряхивайся, пожалуйста; а то жулетик погадишь и помыть некому, тут ведь никаких мамзелей нет, — раздается

голос Васьки, и он лезет поддержать дедушку; но тот отвертывается и бьет его ложкой по лбу...

Воцаряется тишина, и до уха доносится похрустывание сухарей, схлебывание с ложек, чамканье кусков мяса. Васьки не слышно, он, должно быть, вышел на улицу. Но вот дедушко повертывается на нарах, оглядывается во все стороны и низко почесывается... Наконец вскрикивает, ползет с нар, опрокидывает остатки щей, хватается за полено, заглядывает под нары и кричит смеясь: «Вот я те, проклятого! Вылезь-ка только сюда!..»

Дело в том, что Васька заполз под нары и тоненьким шилом покалывал старика снизу, сквозь щели досок...

Случалось однако же и так, что Васька до того смешил и надоедал своими выходками, что товарищи не могли поест; тогда они выгоняли его на мороз и припирали дверь. Но Ежиков не унимался и тут — он поминутно подходил к оконцу и оттуда до слез потешал публику.

После ужина, а иногда и до этой трапезы, рабочие нередко проводили вечер общей

компанией и веселились, так сказать, «огульно». Составлялись хоры песенников, хороводы, всевозможные пляски и акробатические «представления». В последнем случае я принимал живое участие и показывал различные гимнастические упражнения, которым учились молодые ребята, а в потешных эволюциях принимали участие пожилые люди и даже дедушка Рогалев, для общего курьеза. Непривыкшие рабочие к незнакомым перегибам трудились до пота, падали, ушибались, помогали друг другу и частенько, все-таки не добившись до сути, сами над собой хохотали до слез. Вот однажды дедушко похвастал, что он перевернется через голову так же легко, как и Васька; но кончилось тем, что его толстая неуклюжая фигура при опрокидывании туловища так захрустела, что все на минуту замолкли; а когда он, постояв на голове, переметнулся как мешок на спину, то у него лопнул стеганый «жулет» и развалились ергашные (замшевые) панталоны, и дедушко чуть-чуть не свернул себе шеи. Когда он сел на полу, осовело глядел на товарищей, пробовал шею и оглядывал прорехи, — то последовал

общий гомерический хохот, а Васька тотчас притащил помело и, как веером, подувал на дедушку...

При тяжбе на палке, подъеме двух человек «сумами» с лежачего положения на полу, поднятии за ноги, упражнении гирями и проч. находились замечательные силачи, а при различных перегибах и доставании через голову с полу иголок являлись из молодежи настоящие фокусники. Тут особенно отличался Ежиков; он просто поражал своей гибкостью и ловкостью и получал за это, по приговору товарищей, излишнюю чарку.

Так коротали мы таежные вечера в зимовье и нередко забывали, что более счастливые товарищи, «в добром месте», проводили время иначе!.. Но еот уже поздно, надо ложиться спать, чтоб встать пораньше и отправиться на работы. Но тут являлись на сцену «*посказатели*», и всевозможные сказки народного мифологического эпоса выливались с таким задушевным уменьем, что их прослушивали чуть не до утра, и была такая тишина, что, кроме монотонного голоса рассказчика, не выдавалось никаких звуков. Думаешь —

спят! Но вот какое-нибудь забавное приключение героя сказки — и во всех сторонах прыскают неспящие слушатели или раздаются сдержанные уморительные возгласы!.. Все зашевелится, начнут перешептываться, но поспышится — ш-ш-ш!.. И все снова замолкнет...

Нельзя не удивляться тому, какое разнообразие мотивов живет в народных сказках и какую замечательную память обладают неграмотные посказатели! Чего, чего только не являлось в их повествованиях!.. Тут и «Еруслан Лазаревич»; тут и «Бова Королевич»; и «Сивка сигалетка»; и «Ванюшка-дурачок»; и «Кот Мурлыка»; и «Петров солдат»; и «Змей Горыныч», и «Баба Яга», и «Хрустальный дворец», и «Ерш-чудодей», и «Царевна Прекрасная», и «Мальчик с пальчик», и «Цыган-Миган» и проч., и проч., так что в одних названиях изменяет уже память; но, кажется, довольно и этих, чтоб судить о том, чего я наслушался на таежной койке, в пыли и грязи, в бальджиканской трущобе... Да и, быть может, в то время, когда мои товарищи слушали итальянские оперы, смотрели балеты, аплодировали мировым примадоннам!..

Однажды вечером сидел я в зимовье и проверял расчеты. Многие рабочие были на улице и варили ужин. Как вдруг слышу за дверями зимовья удивленные возгласы: «Ох, господи! Это чего такое?.. Это чего такое?.. Змей! Змей!..»

Я моментально выскочил на улицу и захватил только уже конец явления. Огромный, малинового цвета метеор тихо летел поперек над Бальджей и скрылся за тот хребет, где я гулял с Полуэктовым. Несмотря на это, светлая, как бы огненная, полоса оставалась за его полетом, и когда она исчезла, то видно было облако дыма и слышался какой-то особый шум. Но рабочие говорили, что они видели при полете и массу искр.

— Это что же такое? — спрашивали меня люди и все еще крестились.

— Это метеор, ребяташки.

— Метевор, метевор! А по-нашему так это огненный змей, и он, барин, даром не вылетает. Старики наши сказывают, что либо к добру, либо к худу, — говорили они и спросили: — Ну, а метевор-то что же значит?

Я объяснил им, как умел, но многие не со-

гласились. А когда я рассказал им про найденный метеорит Палласа, то и неверующие замолчали и только пожимали плечами.

— Ну, братцы! А как этакая загогулина за башку заденет, пожалуй, и челюсти вывернет! — сказал Васька, но на него «закыркали» товарищи, и кто-то проговорил: «Полно тебе, чудо таежное! зубами-то лязгать. Видишь, это божье веление и убьет, так только и жил!»

— Вестимо — только! И похоронить нечего. Так всего в землю и запихнет, — набожно сказал дедушко.

— Ну кого как? А тебя, Рогалев, не запихнуть; ты как стул свинешный. Вон штаны-то половинчатые (лосина) — однако и те лопнули! — огрызался Васька.

— Сам-то ты дура половинчатая! Вот что! Бога ты не боишься, людей не стыдишься, — сердито пробормотал дедушко и полез в зимовье.

Васька замолчал и сконфузился. Он понял, что в такие минуты, когда все трепетно сознают величие Создателя и непонятные силы природы, — шутки неуместны.

Говоря о партии и касаясь ее внутренней жизни, не могу не упомянуть здесь о довольно замечательном факте, который наделал мне много хлопот, и приходилось подумать, что делать?

Однажды, уже поздней осенью, приезжаю я в партию и узнаю от штейгера Макарова, что все рабочие хотят меня о чем-то просить. Действительно, лишь только пришел я на работы, как люди собрались в кучку и стали просить о том, что в их среде есть много серьезно больных «неподходящей» болезнью. Что, так как живут они вместе, пользуются «одной ложкой и плошкой», то боятся заражения и потому убедительно просят удаления больных товарищей. Чтоб исполнить их разумное желание, пришлось задуматься не на шутку — куда девать больных? Чем и как лечить этих несчастных? А я уже говорил выше, что при партии не было ни аптечки, ни фельдшера. В окрестных казачьих караулах — то же самое. Отправлять больных на родину — немыслимо, как по холодному времени, так и по неимению средств на тысячеверстный путь, не говоря уже о том, что при-

ходилось лишиться семи человек хороших работников, а сердце не позволяло оставить их без призрения. В Бальджиканском карауле казаки не принимали больных на квартиры и совершенно отказывали в приюте. Что тут предпринять? А людей жалко!..

Чтоб не иметь никакого сообщения с партией и с Бальджиканом, я тотчас приказал построить зимовейку на две половины на речке Прямой или Большой Бальдже, в 20 верстах от партии и в таком же расстоянии от караула. В три дня новая хата была уже готова, и в ней поместились больные. Так как в этом помещении печей не было, а простые каменки, которые топились «по-черному», то делали так, что одну половину протапливали утром, а другую вечером, и хворые люди постоянно находились в тепле — только переходили из одной половины в другую.

Устроив это, пришлось хлопотать о медицинской помощи. Узнал я от казаков, что есть какой-то мунгальский (китайский подданный) лама, который хорошо лечит эту болезнь и берет с человека за пособие «по коню с седлом» или «по кобыле с жеребенком». Дол-

го не думая, я отыскал нашего бурятского ламу, знающего мунгала, и с ним отправился «за границу» — искать знаменитого эскулапа. Найдя эту личность, я сговорился на том, что мунгал приедет в партию, осмотрит людей и станет лечить чрез посредничество моего спутника — русского ламы, а за излечение с каждого человека заплатит по семи рублей, с тем, что по 5 руб. получит мунгал, а по 2 руб. наш лама. Не говорю здесь уже о том, с каким трудом сговорил я мунгала, чтоб взять такую малую плату за лечение.

К общему нашему благополучию, мунгальский лама оказался действительным эскулапом и сотворил чистое чудо. Пять человек из больных ровно через две недели совсем поправились, а двое вышли на работы через три недели. В числе последних был здоровенный по складу мужчина Костя Шантарин, который хворал так сильно, что не мог ходить, ползал на четвереньках и говорил едва слышным сипом.

Лама держал больных на строгой диете, позволял пить один карымский чай[17] (кирпичный), без соли, и есть одни сухари. Давал

он им какие-то крохотные порошки, сильно больным кроме них делал «подкуривание» с каким-то обмыванием — вот и все!..

Многих из этих людей мне пришлось видеть впоследствии, уже чрез несколько лет, — они были совершенно здоровы и не чувствовали никакой «отрыжки» болезни. Так например, Костю Шантарина я встретил кузнецом на Желтугинских промыслах чрез семь лет — бык быком! Так что едва узнал такого атлета, помня его болезненного по партии. Вот вам и китайская медицина!..

Помещаю здесь эту заметку только для интересного факта и прошу извинить меня за неуместность рассказа, а потому и постараюсь поскорее перейти к продолжению своих записок, как охотник.

Сказав выше, что штейгер Тетерин, по выходе из Ашиньги, был командирован в другую часть тайги, я однажды собрался съездить к нему особой дорогой с Лукьяном Мусориным, как вожаком и охотником, с тем, чтобы проехать по тем местам, где водятся изюбры и выходят на увалы, чтоб покушать первых первенцев весны — синеньких цветоч-

ков ургуя (прострел — ветреница). Мы отправились вдвоем, верхом. День стоял великолепный, и весеннее солнце магическими лучами оживляло проснувшуюся тайгу от восьмимесячной зимней спячки.

Ехали мы шагом, друг за другом; Мусорин, как вожак, конечно, впереди. Добравшись до одного большого и страшно крутого перевала, Лукьян направился объездом, по чуть заметной тропе и ничего не сказал мне, что ожидает нас на этом пути, а потому я и не принял никаких предосторожностей. Подъехав к тому пункту, где начинался объезд, он приостановил коня, сорвал с лесники ветку и бросил ее на большую кучу хвороста. Я совершенно машинально сделал то же самое, но тотчас спросил на ходу Мусорина:

— Это что тут за куча и для чего ты бросил на нее ветку?

— Это, барин, для «опаски»!..

— Для какой такой опаски?

— А это, видишь, заведено не нами, а нашими предками; должно полагать, по примеру бурят.

— Ну?

— Да, значит, обычай такой. Вишь, место-то тут опасное, вот и бросают ветки хозяину, чтоб задобрить; как бы просить милости о счастливом проезде.

— Какому хозяину?.

— Да как — какому? По-нашему хозяин везде — и в лесу, и в воде, и в горах!

— Фу, Лукьян! Какой же ты вздор мелешь, а еще умным человеком считаешься.

— А ты думаешь, что хозяина нет?

— Конечно, нет; везде один бог!

— Бог-то богом! Это верно; но люди сказывают, что есть и ён.

— Всякому вздору вы верите, Лукьянушко! Ведь это грех!

— А кто ее знает, может, и грех; да, вишь, барин! Грех тоже и отцов-то не слушать, а они учили нас этому.

— Чему? Ветки-то бросать?

— Да, вестимо, — всему!

— То-то вы и набросали такую кучу!

— Ну, да спокон веку этак ведется, то как куча не будет!

— Но, а если кто не бросит?

— А не бросит, так худо живет! (т. е. быва-

ет).

Во время этого разговора мы уехали уже далеко, и тропинка пошла по карнизу горы, поднимаясь все выше и выше. Наконец дело дошло до того, что мы забрались высоко, а узенькая дорожка, как ниточка, тянулась по обрыву и висела, в полном смысле этого слова, над страшной пропастью, на дне которой журчала горная речка. Выше же тропинки дыбились громадные утесы и точно упирались в небо своими вершинами. Местами, по дорожке, лежали еще снег и лед и делали проезд крайне опасным; тем более потому, что наши лошади были не кованы. Попав в такую западню, я потерялся и не знал, что предпринять, что тут делать, так как смотря налево, вниз, у меня кружилась голова; вследствие чего я невольно наваливался на правый бок и старался не глядеть на эту же сторону, но от близости мелькающей на езде стены утесов у меня рябило в глазах, а винтовка от навала на бок, черкала концами привернутых сошек по выдающимся частям скал. Я хотел остановить коня и слезть, но об этом нельзя было и думать. Наконец я стал чувствовать, что мое

седло валится на правый бок, а с ним еду туда же и я. Чтоб удержаться на коне, я опираюсь руками в стену утеса, но на ходу не могу поспеть и перебираю руками... Но вот я кричу; Мусорин останавливает свою лошадь, а за ней встала и моя. Подпруги ослабли, седло совсем набоку, и я тоже, упершись головой и плечом в утес. Мусорину никак нельзя слезть с коня и помочь мне. Положение мое страшно критическое, потому что одна моя нога на седле ущемлена в стреме, а другая под брюхом лошади, которая из самосохранения упирается левыми ногами в край пропасти и машинально наваливается на меня... Я внутренне молюсь... Наконец мне кой-как удалось вытрясти левую ногу из стрема; от этого седло совсем повернулось вниз, а с ним съехал и я под самое брюхо лошади, так что мои ноги только упирались в край отвесной пропасти. Лукьян, видя такой благополучный исход, поехал вперед, за ним пошел и мой конь, перешагнув через меня задними ногами. Вследствие этого единственно возможного приема, я остался один на висячем карнизе горы и со страху зажмурил глаза... Мусорину оставать-

ся было нельзя, и он уехал далее, до широкого места дорожки, сажень за тридцать от меня.

Странное дело, господа! Но знаете ли, какое чувство и желание были у меня в то время, когда я сидел на обрыве пропасти с зажмуренными глазами? Боюсь и вымолвить! Чувство ужасное, потому что я ощущал кружение головы и страшную слабость во всем организме, а внутри какое-то замирание, холод; сердце мое то сжималось, то билось «как голубь»... А желание? Желание броситься; да — броситься, туда — в эту преисподнюю, но чтоб не умереть, нет, а как бы только попробовать!.. Точно какая-то сила отделяла меня от скалы и наклоняла книзу, а в ухо точно кто-то шептал: да попробуй; ну! бросайся скорее!.. От этой мысли невольная дрожь пробежала по всему телу; бросало то в озноб, то в жар — и я открыл глаза; осмотрелся вдаль, помолился в душе и, сообразив все случившееся и в особенности свое положение, я перекрестился и, схватившись руками за какой-то камешек, выдающийся со стены утеса, кой-как поднялся на ноги и, упираясь правой рукой в каменную гору, тихо зашагал по карнизу.

Дойдя благополучно до широкого места, я залез за лошадей, прижался к горе и только тогда, не видя из-за животных пропасти, пришел несколько в себя и сказал Лукьяну:

— Ты что же это делаешь? Повел меня по такой дороге и ничего не сказал, что есть такая опасность!..

— Я думал, барин, что ты привычный. А вот мне так и горя мало; я завсегда тут ежу — один.

— Вот то-то и есть, голубчик! По себе не суди, ты уж обнатурился.

— Верно, что обнатурился. Мне и в ум не пало, что так будет. Ну прости, бога ради, меня, старого дурака! Вишь, какая оказия — сохрани господи всякого человека! Беда!..

— Что ж, тут бывали несчастья?

— Как не бывать — бывали! Вот третьего года, по осени, на том месте, где ты свалился, улетели два тунгуса; совсем с лошадьми свернули на речку!..

— Что же, убились?

— Гм! Да как не убиться — убились! И коней, и их самих так истальчило, что и признать не могли. Где, значит, рука, где нога! Со-

храни господи? Смотреть-то страшно, так инда сердце подсасывает!..

Долго еще потолковав на эту тему, мы подтянули подпруги, сели и уже спокойно поехали дальше; потому что дорожка пошла пошире, а отвесная пропасть от поворота речки перешла в пологую покатость. Но и тут мы были на такой еще высоте, что громадные деревья, стоящие на берегу речки, казались нам какими-то мохнатыми карандашиками...

Уже апрельское солнышко отогревало зачоченевшую тайгу и превосходные пейзажи в гористой местности были до того хороши, что я скоро забыл свое страшное путешествие по карнизу громадной горы, давно помирился с Мусориным и вполне наслаждался прелестью природы. Тут мы ночевали две ночи и убили на солнцепечных увалах большого козла (гурана) и изюбриную матку. Не решаясь ехать обратно тем же путем, мы оставили часть мяса в тайге и отправились домой через большой хребет, на котором подъемы и спуски располагались до того круто, что сидеть верхом не представлялось возможности и мы почти половину дороги шли пешком. Но труд этот не

только не тяготил, но доставлял мне большое удовольствие; я часто останавливался на высоких перевалах и любовался чарующими картинами дикой и безлюдной тайги! Что это за прелесть, в самом деле! Вот бы на этот раз быть хорошим художником и все мною виденное положить на полотно и оживить картины типичными сценами сибирской охоты!..

## Х

Переходя от одного к другому, я совсем забыл сказать о неожиданном для меня последствии того случая, когда мы с Полуэктовым, переваливая из Бальджи в другую параллельную речку, Бальджу же, наткнулись на громадную валежину кедра, кучу хвороста и заинтересовавшую нас дыру. Еще в начале зимы был я в партии, ночевал две ночи и собирался уже ехать в Бальджикан, как к нашему зимовью подъехали зверовщики, чикойские крестьяне, привезли с собой громадную свежеубитую медвежину и продавали ее рабочим.

Услыхав незнакомый голос людей, я вышел из зимовья, поздоровался с промышлен-

никами и увидал разостланную на снегу превосходную медвежью шкуру; около нее толпились рабочие, меряли ее четвертями, удивлялись величине и гуторили между собою. В числе их стоял и Андрей Полуэктов, задумавшись и опершись на свое правилко. Увидав меня, он снял шапку и, тыкая правилом в медвежину, сказал:

— Вот, ваше благородие, это тот самый коstopрав, который спасался под кедрой и которого я хотел потыкать в дыру.

— Как так? — спросил я.

— Да вот они (промышленники) вчера, тоже случайно, наткнулись на его берлогу, обложили и счастливо убили.

— А ты, ваше благородие, рази там был? — спросил один из зверовщиков и утимился на меня.

— Был, брат! Вот с ним! — сказал я, указывая на Полуэктова, и передал все подробно, как это случилось.

— Ну хранил вас господь! А то, боже упаси! коли б потрогали этого зверя! То мы с товарищами и диковали, видя старые занесенные следы куль берлоги. Что, мол, за оказия — кто

ж тут топтался? А потом и след-то выправили, откуль двое приходили и как ушли под гору, — говорил тот же здоровенный промышленник и размахивал руками в знак особого удивления.

Я велел сварить обед и накормить охотников. Но так как время было дорого, приходилось ехать, то я и не дождал их завтрака, а они коротенько рассказали мне, как убили зверя одним метким выстрелом маленько повыше глаз, в разбор, как выражаются промышленники, когда крепко облежавшийся медведь тихо полез из дыры и, будучи заломлен стягами в лазе, выставил свою голову.

Невытянутая шкура зверя, по неоднократно обмеру, оказалась в 19½ четвертей и имела великолепный серебристый *нацвет* по черному волосу. Отдавали зверовщики эту замечательную медвежину за девять рублей, но у меня не было и этих денег, а затруднительность выделки, в таком захолустье, заставила нас всех отказаться от покупки.

— Ну что, Полуэктов! Теперь видишь, кто спасался под кучей и что могло случиться с нами, если б ты потыкал в дыру, когда еще

было рано и зверь лежал некрепко? — спросил я Андрея.

— Молчи, барин! Меня и сейчас мороз подирает, как вспомню про это, — отвечал он и нервно потряс головой.

Я сел на коня и, по обыкновению один, поехал домой, в свою очередь обдумывая всю эту штуку.

Возвратившись к этому времени, мне хочется рассказать довольно курьезное обстоятельство. На рождестве все рабочие после тяжелого труда в партии просились выйти в «Русское место», чтоб отдохнуть и хоть немного погулять в Бальджикане. Просьба их была так основательна, что я, оставив в тайге необходимых сторожей, вывел всю команду в караул и приготовил для гостей водки.

Наш общий отдых продолжался дней 5 или 6; ограничивался одним заскорузлым Бальджиканом, и, несмотря однако же на это, веселию не было конца. Посиденки и вечеринки сотворялись каждый день и едва ли не в каждом доме семидворового караула! Чего-чего, только не производили мои партионцы на этих праздниках! И все бы хорошо —

да, видите, не хватало караульских львиц, а потому неминуемо явились столкновения, неудовольствия и потеретки... Что делать, без этого нельзя: приходилось разбирать, умиротворять и воевать самому. Но так как это, конечно, неинтересно, то я и умолчу, а расскажу лучше про курьез.

На второй день праздника, в день своего рождения, лежу я на кровати и слушаю песни, доносящиеся с улицы, разгулявшихся партионцев и местных казаков. Как вдруг отворяется моя дверь, входит Полуэктов и переминается с ноги на ногу.

— Здравствуй, Андрей! Что, брат, скажешь хорошенького?

— Да до вас я, ваше благородие! Просьбу, значит, имею.

— Ну, говори, что тебе надо!

— Да заложили мы бег...

— А! Значит, денег нужно! Но ведь ты знаешь, что у меня нет лишней копейки...

— Нет, барин! — перебил меня Андрей. — Денег не надо, на то есть свои, а вас хочу просить...

— Ну, о чем же?

— Да, видите, условие бега в том, чтобы ка-  
заку Юдину бежать сто сажень, а мне с полови-  
ны, — значит с пятидесяти, с человеком!..

— То есть как с человеком? Не понимаю!

— Да мне на закукорки сядет человек, я и  
должен бежать с ним; а он, значит, простой.

— Что ты выдумал? Этак ты всегда проиг-  
раешь.

— Нет, барин, не проиграю; уверьтесь! Бе-  
гивали не раз — знаем! А вот только надо без-  
облыжного седока, чтоб сноровил, да не тя-  
нул на их руку.

— А, понимаю! Ну так что же?

— Так вот и хочу просить вас...

— Проехать на тебе — так, что ли?

— Так точно! Я уже знаю, что вы не схлюз-  
дите...

— А сколько закладу?

— Пять рублей.

— Ну, а если я схлюзжу?

— Нет, надеюсь!..

— А когда бежать?

— Да сейчас! Все ждут.

— Ну а мера размежована?

— Все готово, и колышки забили.

— Хорошо — я сейчас выйду.

Повеселевший Полуэктов вышел вон из избы, а я тотчас надел вместо тяжелых кунгурских сапогов легкие козьи унты и, надернув на себя одну фланелевую блузу, вышел на улицу.

Все сняли шапки и посмеивались. Бегунцы — казак и Андрей — в одних теплых чулках на ногах, одних дабовых, синих, нижних «невыразимых» и легких, до пояса подобранных халатах, стояли на местах и ждали только меня — седока! Тот и другой бледнели от волнения и топтались на месте, словно ретивые бегунцы (скакуны).

— А верна ли мета? — спросил я.

— Безоблыжно, ваше благородие; пожалуйста!

— А кто сигнальщик?

— Я, барин! — вскрикнул Васька. — Вот как махну красным платком, так и катайте.

— Смотри, не торопись; дай хорошенько мне усесться.

— Знаю, ваше благородие, не впервые!..

Я подошел к Полуэктову, вспрыгнул ему на «закукорки», он подхватил меня под согнутые

колени у поясницы, а я со сметкой взял его за плечи, чтоб не давить за шею, и сказал: «Смотри, не торопись да не упади».

В это время Васька махнул платком, все закричали, и мы побежали. Надо заметить, что на половине нашего половинного пути, как нарочно, находился небольшой взлобчик, на который забегать человеку с ношей было не совсем удобно; на что, как оказалось, и рассчитывали противники. Бежим. Я сноравливаю, сию упруго, не мешком и нисколько не наваливаюсь на Андрея; но вот и проклятый злобчик уже близко! «Не торопись», — говорю я в ухо Полуэктову; а он хотел забежать с прыти, но запнулся и упал, а за ним, конечно, полетел и я. Нисколько не растерявшись, я моментально вскочил на ноги, дернул Андрея за шиворот, живо прыгнул ему на спину и вскричал: «Пошел!» Он подхватил — и мы побежали. Когда Полуэкт первым перешагнул черту меты, то все закричали: «Браво! браво!» Казак Юдин отстал на две сажени. Пари было выиграно; Андрей получил деньги и благодарил меня, а ему говорили все, что если б не «барин», то он проиграл бы заклад.

— Ты как же это не мог нас обогнать? — спросил я молодого, высокого роста, молодца Юдина.

— Да чего, ваше благородие! Меня смех задолил, как вы оба растянулись на злобке; точно подсекло, — не могу бежать, да и шабаш. Вот почему и проиграл, — говорил смеясь Юдин и вызывал на новое пари, но Полуэктов не согласился.

Кстати, передам здесь и другой эпизод, из моей жизни в тайге, но уже совсем не такого характера и говорящего о том, как безрассудны были мои одиночные поездки в партию.

Живя в Бальджикане, я всегда ездил на одном бессменном рыжем коне как в тайгу, так и на охоту, который постоянно находился при мне и так прижился к местности, что знал не только почти все близлежащие уголки, но хорошо понимал, куда и зачем я поехал — «на службу» или на охоту. В этом он, шельмак, доказывал свою сметку много раз и никогда не ошибался. И странное дело, на охоту он всегда шел охотно, тогда как в партию нередко с большим затруднением. Вот однажды, уже позднею осенью, поехал я на нем «на службу»

и по обыкновению отправился рано утром. За караулом, верстах в полуторах, находился большой ключ, куда гоняли поить весь деревенский скот. Отлично добравшись до ключа, я слез, напоил Рыжку и, взобравшись на него, хотел ехать дальше; но животное заупрямилось, воротило назад и ни за что не хотело идти вперед. Я осердился и так настегал его плетью, что Рыжко освирепел в свою очередь, дал несколько козлов задом и передом и, когда увидал, что сшибить меня не мог, закусил удила, подхватил и полетел во весь мах, все еще стараясь воротиться назад. Но я, направив его на дорожку в партию, подсобил еще нагайкой, что более осердило животное, и оно, как дикое, скакало во весь дух. На этом бешеном аллюре я увидал впереди небольшую логотинку, в которую, по моему расчету, Рыжко непременно должен был скакнуть передними ногами; а потому стал сильно сдерживать на поводьях (чизгинах, по-сибирски), отчего лошадь хоть и сбавила ход, но задрала голову кверху, прозевала неровность пути, действительно, как раз попала скачком в ямку, запнулась и полетела через голову. Я, уже

предвидя эту штуку, успел выбросить ноги из стремян и щукой бросился вперед, а упав на мерзлую землю, дал еще скачок на четвереньках, как лягушка, и только этим манером увернулся от опасности, потому что опрокинувшийся через голову Рыжко все-таки достал меня по ногам своим хвостом и даже крупом задел мою правую ногу.

На мне был надет мой штуцер, вниз дулом, который во время самого крушения так стукнул меня прикладом по голове, что у меня позеленело в глазах! Однако же я скоро опомнился, живо соскочил на ноги схватил за поводья Рыжку, который все еще лежал, мотал головой и тяжело дышал. Я, уже нежно, огладил по шее животное и заставил его встать. Оно встряхнулось, несколько раз фыркнуло и оказалось по осмотру целым. Я снял теплую шапку и набожно, от Души помолился господу!.. Весь изъян состоял в том, что на седле изломалась передняя лука, лопнула одна подпруга (та тор, по-сибирски) и погон на штуцере. Воротиться домой мне не хотелось, и я, связав оборванные принадлежности, пошел вперед по дорожке, а Рыжку повел в поводу.

Тут я почувствовал, что порядочно ушиб колени, левый локоть, а в спине и пояснице слышалась неловкость. Рыжко несколько тянулся на поводу, но шел довольно бодро.

Думал я, думал — как быть? Воротиться или нет? И под этим впечатлением прошел версты четыре, а потом, поразмявшись молодыми костями, перекрестился, сел на коня и поехал в партию.

Что бы случилось, если б я не успел ускокнуть вперед на четвереньках? Об этом, читатель, боюсь подумать и теперь!.. Благодарю Создателя, что конь не задавил меня и так чудно сохранилась моя жизнь!..

Но правду говорит пословица, что «одна беда не живет». Так случилось со мной и тут. Еще рано приехав на половину дороги, я остановился у речки Прямой Бальджи, развел огонь, расседлал Рыжку, нарезал ему ножом Ветоши и сварил себе в котелке обед. Выпив рюмочку и плотно закусив, я напоил коня и задал ему взятого с собой овса, а затем присунулся к огоньку и не помню, как уснул. Не знаю, по какому случаю заржал мой Рыжко, — я проснулся и к немалому моему удив-

лению увидал, что огонь совсем потух, а солнце уже низко. Живо заседлал Я коня, сел и поехал к броду на Бальджу, на которой стояли уже большие забереги (льда) и несло шугу. Рыжко уперся и ни за что не спускался в воду; как я ни бился, но ничего с ним поделывать не мог, а потому должен был до половины раздеться и брести на своих ногах, а упрямого коня тащить на поводу. Вода оказалась такой холодной, что ноги мои страшно заломило, просто невтерпеж; а когда я, сжав зубы, перебрался на ту сторону, то ноги сделались так красны, как у гуся, и невыносимо ныли. Вижу, что дело дрянь! Ехать еще далеко, а солнце садится. Я крепко протер их крестьянскими шерстяными чулками, живо оделся, пошел пешком и шел до тех пор, пока не согрелся до поту, а когда уже сел на коня, то было так темно, что лесная тропинка исчезла из глаз и пришлось надеяться на опытность лошади. Уже поздно вечером добрался я благополучно до зимовья, нашел в нем всех спящими и удивил их своим поздним прибытием.

## XI

Перехожу опять к апрелю месяцу, к вес-

не — к той волшебной весне, которая как бы магически действует на всякое живое существо; возрождает и обновляет природу почти во всех ее фазах жизни! Эту могучую силу чувствовал и я душой, сердцем, всем своим организмом и не мог хладнокровно переносить ее живительных проявлений, ощущающихся во всем, с каждым днем чарующего апреля. Время это после тяжелых трудов, забот и лишений давало мне новые силы для окончания борьбы, тесно связанной со службой в такой трущобе, как Бальджикан, и выражающейся пословицей «В чужом пиру похмелье»; оно возбуждало во мне особую надежду поскорее покончить работы в тайге, выбраться из этих ужасных вертепов и лелеяло особым желанием — быть может, отыскать Зару и повидаться с нею... При одной этой думе я становился каким-то сказочным Иваном-царевичем, уносился в область фантазии из действительной жизни... мысли мои путались, перебивали, опережали одна другую, и я чувствовал какую-то ненормальность, потому что при расходившемся воображении сердце мое замирало не на шутку и какой-то особый тре-

пет завладевал всем моим организмом, всем моим существом!..

Однако ж при всем этом настроении, при всей этой иллюзии сила воли брала верх, и я усиленно трудился. Эту же энергию чувствовали все мои сотрудники и старались поскорее покончить с Бальджой, уйти без оглядки из ее трущоб, отдохнуть на просторе, повидаться со своими, обнять и расцеловать близких натосковававшемуся сердцу.

И, слава богу, надежда оставить Бальджу была тем ближе, чем живительный апрель подвигался к концу. Действительно, все разведочные работы уже настолько рельефно говорили сами за себя, что без ошибки можно было сказать, что Бальджа — это могучая золотоносная россыпь! Но этого мало, потому что более или менее детальные разведки ясно определяли силу россыпи и давали почти положительные цифры о количестве залегающих в недрах металла и указывали на выгодные отношения для предстоящей работы, будущего золотого промысла, что, слава богу, и оправдалось на самом деле.

В это самое время — время душевных тре-

вог и ожиданий — приехал я однажды из партии и с радостным сердцем от удачных работ въезжал уже в селение Бальджикан, как вдруг увидел своего Михаила, стоящим с поджатыми руками к сердцу, как он это всегда делал, у ворот другого дома. Я думал, что он тут только в гостях, а потому и проезжаю его; но он замахал рукой и сказал:

— Барин! Сюда, сюда, пожалуйста!

— Это с чего?

— Да там, на нашей фатере, остановился господин А-в.

— Гм, вот как! А когда он приехал?

— Да вчера еще приехали.

— Гак ты зачем же перешел сюда?

— Они-с приказали. Я и перетащил все сюда.

Я остановился у ворот и не слезал с лошади. Молодая кровь прилила мне к сердцу, а потом ударила в голову от страшного волнения. Но я скоро овладел собой, заехал на двор, слез с коня, пошел на новую «фатеру» и велел подать чаю. Но не прошло и пяти минут, как является посланный.

— Здравствуй, брат! Что тебе нужно?

— Да господин А-в приехали.

— Ну так что ж?

— Вас изволили требовать — пожалуйста!..

— Вот как — требовать! Скажи ему, братец, что я устал и хочу отдохнуть.

— Слушаю-с.

Подали самовар, я уселся пить чай, но руки мои тряслись. В голове у меня вертелись черт знает какие мысли. Мне думалось: что ж это такое? Как назвать подобную выходку? Господин А-в старше меня по выпуску только двумя годами!.. Он, пользуясь милостью Муравьева, съездил в отпуск, всю зиму прожужировал на Алтае, а я с грошом в кармане как вол работал восемь месяцев, испытал всякую всячину, переносил лишения, разведаль и определил россыпь — и что же за все это? Самовольное выпроваживание меня даже с квартиры, где я прозябал для его личной пользы, потому только, что изба Юдина получше других! Где я прожил целую зиму, а он приехал на несколько дней, чтоб чужими руками жар загрести! Нет! Нет! Это ниже всякой критики, низко, пошло! Да неужели это порядочность? Неужели ныне так благодарят сво-

их товарищей за братскую услугу? Нет!.. И я в волнении ходил со стаканом по своей квартире. Но вот скрипнула дверь, и в ней показалась рожа того же посланного.

— Что тебе опять нужно? — спросил я под впечатлением только что передуманного.

— Пожалуйте, сударь! Вас опять требуют-с!

— Пошел вон и скажи своему барину, что я устал, слышишь?

Дверь захлопнулась. Михайло принес мне стакан холодной воды — спасибо! — сообразил, значит. Ну да ведь недаром же и учился когда-то лекарскому искусству!.. Я выпил воду и действительно немного «отошел», как говорят сибиряки. Но проклятый оскорбленный червячок снова точно шептал па ухо: да разве А-в не мог остановиться на той же квартире, как товарищ! Это было бы для меня крайне приятно. Кажется, не тесно двоим в большой избе! Почему же он не хотел пожить несколько дней со мной? Мы ведь оба холостяки!.. В корпусе были товарищами, вместе в «развод» ходили к покойному императору Николаю; вместе на часах стояли у гроба герцога Лейхтенбергского... Что ж это такое? Что за произ-

вол?.. Тэ-тэ-тээ! Понимаю! Я, видите ли, вышел по «милости» начальства прапорщиком (смот. ст. «Урюм» — Природа и охота, январь 1884 г.); а он, тоже «по милости» того же, поручиком!.. Тэк-с! Вот оно что, значит, так сказать, начальство!.. Понимаем!..

Хожу все еще по избе и вижу, что по улице, той же дорогой идет кто-то у моих окон; вижу потому, что мелькнула тень на моих пузырях вместо стекол. Вот слышу и разговор в сенцах: «Я уж, брат, не пойду к нему, прибьет! Унеси, Митрич, ты!» Я остановился и жду. Входит мой Михайло и подает письмо, сначала не глядит на меня, а потом вопросительно смотрит в глаза. Оно от г. А-а. Пишет, что он ужасно устал с дороги (вчера приехали!) и потому просит прийти меня. Так как при переносе моих вещей все перепуталось и под рукой не нашлось бумаги, то я и просил Михайлу сходить к г-ну А-у самому, извиниться, что не пишу, и сказать, что я устал сам, а завтра явлюсь к нему в полной форме.

День подходил к вечеру, и начинало смеркаться, а когда уже порядочно потемнело, то ко мне пришел сам г. А-в.

Мы потолковали!..

После этого свидания «сердце прошло», я надел пальто и, расцеловавшись, пошел вместе с ним на свою бывшую «фатеру». Тут мы потолковали почти до утра, поужинали с привезенными лакомствами, выпили бутылочку, и г. А-в растаял от тех данных, которые я сообщил ему относительно окончательно разведанной и определенной золотоносной россыпи! Да, тут я заполучил несколько хотя и некрепких объятий, лобызаний и слышал о том, что его первой священной обязанностью будет ходатайствовать обо мне у Муравьева, что «он представит» меня к чину и выхлопочет по меньшей мере годовой оклад жалованья (что-то около 200 р.). Одобрениям моих трудов не было конца. Я поблагодарил «начальство» и ушел спать.

На другой день мы уехали в партию, на Бальджу, чтобы воочию убедиться в богатстве открытия и в произведенной работе на месте, проверить шурфы; мысленно от видимого дела мы пожинали уже лавры от предстоящих наград. Я, грешный человек, думал уже о том, как куплю себе эполеты (мы тогда носили во-

енную форму) с двумя звездочками, знаете, — этак «ватрушечками», потолще, с опупочком; а на наградные деньги выпишу хороший двухствольный штуцер. Что думал А-в, не знаю, но, конечно, что-нибудь получше моего...

Воротившись из тайги, г. А-в, по представленным мною данным и подробным планам, сделал с моей помощью окончательный отчет, расчет на золото и написал доклад генерал-губернатору Муравьеву, а затем стал собираться к отъезду из Бальджикана. Я проводил его верхом, распрощался и был очень доволен, что он взял на себя труд по пути пови-даться со всеми подрядчиками и рассчитаться с ними уже наличными деньгами, по переданным мною документам.

Я ожил от радости, как потому, что г. А-в при последнем прощании повторил свое обещание «представить» и «хлопотать», так и потому, что скоро прощусь с тайгой, поеду весенним путем, вдоволь поохочусь, поищу... и, быть может, найду прелестную Зару.

Ожидание наше с Михайлой было так велико, что мы, как институтки, считали дни и только не отрывали их от тесемки из писчей

бумаги. Время стояло превосходное, и если я не был в партии, то мы решительно каждый день ходили или ездили на охоту и били всякую всячину. Приятель мой Мусорин, понимая предстоящую разлуку, скучал не на шутку, виделся со мной каждый день и нередко даже плакал, — так связала нас охота и что-то такое, что коли написать, то будет слабо и ничего не выйдет.

В первой трети мая я уже получил известие, что золотоискательная партия, согласно прежних моих служебных заявлений, снимается, приедет новый инженер, примет от меня обследованную золотоносную россыпь, оставшиеся припасы, инструмент и заложит промысловые работы. Весть эта обрадовала меня еще более, и радужные надежды росли с каждым часом. Распоряжения Муравьева в долгий ящик не откладывались — и, действительно, в половине мая приехал управляющий будущего прииска, и я окончательно ожил. Господин Л-н в два дня принял от меня все расчеты, съездил со мною в Бальджу, осмотрел все работы, нашел их настолько солидными, что основался на произведенной

расшурфовке россыпи и сделал по готовым уже планам расколдку будущих разрезов (разносов) для выемки металла из золотосодержащих песков.

Я освободился! И эта поездка в партию была для меня последнею по Бальджиканский дебрям! Общая наша радость выходила, кажется, из пределов, и мы с Михайлой не могли уснуть, не могли наговориться в продолжение всей ночи, а когда наступило желанное утро, то торопливо напились чаю, собрались, простились, сели на коней и, радостно крестясь, выехали из Бальджикана. Длинный переезд до Букукунского караула мы не заметили, потому что всю дорогу толковали о всем пережитом и строили чуть не воздушные замки в будущем. Как теперь помню этот путь, ибо я не верил своей радости, что расстался с Бальджой, и постоянно оглядывался, прощаясь с синеющей вдали тайгой и боясь того, как бы г-н Л-н не воротил меня за какими-нибудь справками. Так тяжела была для меня Бальджа со всеми ее прелестями, где пришлось мне ответственно поработать еще в первый раз в жизни и вкусить, в самую зо-

лотую пору юности, столько забот и лишений. Воображаю, как бы перенес эту пытку жизни какой-нибудь другой юноша, не будучи охотником. Мне кажется, он с ума бы сошел — право, так! У кого от веку чистые, розовые ноготки, брызгливые губки и кто носит только чистые, тонкие, полотняные сорочки, — советую об этом и не думать.

К вечеру, добравшись до Букукунского караула, мы остановились у богатого казака (не упомяну фамилию) и остались ночевать, потому что ехать верхом ночью по гористой местности не только неудобно, но и опасно. Радужные хозяева приняли нас крайне гостеприимно, как и в первое наше знакомство, и, чтоб на прощание угостить хорошенько, еще молодая и довольно красивая хозяйка просто забегалась, затопила печку и засуетилась с ужином. Проехавшись верхом и с утра ничего, кроме чаю, не закусивши — мне хотелось есть страшно! От одного ожидания пожевать и похлебать чего-нибудь горяченького уже бежала слюна и терпение лопалось. А вот появилась хозяйка и стала готовить постель, но представьте — не стол! Думаю, что ж это та-

кое? Неужели она хочет сказать нам «покойной ночи» без ужина! Нет, не может этого быть! Это не по-русски, а тем более не по-сибирски... А голод пересиливает рассудок и точно подсказывает на ухо — ляжете и так, ужина нет, видите, постель готовят!.. Это в Сибири-то, думаю опять! Не может быть!.. И хочу спросить, но стыдно, и спросить не решаюсь; тем более потому, что хозяйка так старательно и аппетитно обходит мое ложе. Она притащила пуховик, белую простынь, чистые белые подушки (что в Сибири большая редкость у простого народа) и штофное одеяло на заячьем меху. Вот, мол, это хорошо после восьмимесячного спанья на заскорузлом жестком войлоке! Хозяйка притрепала подушки и ушла, не сказав ни одного слова. Постой! Значит, на все и ужин подаст. Так, конечно, и вышло — скоро явилась опять хозяйка и начала готовить стол. Она подвинула его на середину комнаты (не избы), накрыла белой полотняной скатертью, поставила тарелки, графин с домашним пивом, стакан и положила серебряную ложку, вилку и ножик. Описываю это для того, что вся эта,

хоть и самая простая сервировка, большая редкость в Сибири у простого народа, ибо обыкновенно подают прямо чашки с кушаньем и кладут деревянные ложки, даже и в богатых домах.

Видя это приготовление, я попросил накрыть на двоих, так как в пути всегда ел вместе с Михайлой. Последовало добавление. Затем хозяйка принесла графинчик водки, перечницу, горчицницу и целую массу пшеничного хлеба. Вся эта обстановка меня немало удивляла как по зажиточности простого казака, так и по бывалости хозяйки. Прошла порядочная пауза. Наконец дверь отворилась, и хозяйюшка появилась с белой фаянсовой миской. Я до того обрадовался, что чуть-чуть не сказал «несут, несут!..» Мы помолились образу; видим низкий поклон и слышим — «пожалуйста!» Этот обычный и теплый привет всей «не мшоной» Сибири. Лишь только мы сели, хозяйка налила две рюмки водки, поставила на поднос, подала нам и опять с поклоном — «пожалуйста!» Мы выпили; я открыл миску и — о ужас! Меня так щелкнуло по носу, что я отошел и невольно взглянул на Михайлу, а

хозяйка стояла сзади меня, кланялась и говорила «пожалуйста». Думая, что она выйдет, я тихо наливаю ковшом похлебку, сначала нарочно Михаиле, — а хозяйка все тут. Нечего делать — наливаю себе, но хлебнул и есть не могу... В миске оказалась похлебка из рубцов, вероятно крайне дурно очищенных. Вот, думаю, беда и что тут делать? Но спасибо Михаиле, он смекнул и выручил меня из неловкого положения. Сообразив, в чем дело, мой Митрич тотчас встал, тихо накрыл миску и передал хозяйке; та приняла и ушла, по-видимому не догадавшись о сути дела и произведенном маневре. Я поскорее открыл голландскую печку и вылил в нее подальше из своей тарелки, а Михайло кое-как «осилил» налитую порцию. Пришла хозяйка, принесла жареную баранину и два стакана сливок; поставила на стол, убрала тарелки и опять — «пожалуйста»! Я сидел, «как огурчик», не подавал виду, что согрешил, принялся за жаркое и боялся взглянуть на гостеприимную хозяйку, до того мне было стыдно и неловко, а деваться некуда...

Хоть голодным я не остался, но проклятые рубцы испортили все дело и меня грызла за-

бота — не заметила ли хозяйка и не обиделась ли нашей проделкой. Но оказалось все благополучно, потому что Михайло был на кухне и слышал, как хозяйюшка бранила стряпку за неопрятное приготовление; извинилась перед Михайлой и ни слова не сказала о том, что я не ел похлебки. Зато спал я отлично, тепло и мягко... Одно плохо, грезы и думы тревожили меня так, что я просыпался несколько раз, сбрасывал заячье одеяло, ходил по комнате и пил холодную воду; она, как душем, обливала постукивающее сердце, остужала воображение и облегчала душу какой-то сладкой, обдуманной надеждой... Но правду говорят, что «утро вечера мудренее»! И когда утром подали нам отличный завтрак, то я не утерпел и, подготовив хозяйку, как оказалось, крайне веселую женщину, чисто-сердечно сознался ей в том, как поступил с похлебкой. Она хохотала до слез и говорила: «Экая я дура! Поддалась вам на миске и не догадалась, что это значит. Вот и правду толкуют, что у нашей сестры — и долог волос, да ум короток. А ведь, кажется, видала виды и с мужем в городах жила. Ну и хитрые же вы,

господа, как посмотрю я на вас. А на похлебке все-таки извините. Виновата, не доглядела! Видно, грех попутал!»

Поблагодарив хозяев за радушие и гостеприимство, мы сели на лошадей и простились истинными друзьями. Только хозяйюшка несколько конфузилась, грозила мне пальцем и, смеясь, говорила: «Ну, другой раз не поддамся, не обманете на мякине». Я сделал ей поцелуй рукой и пожелал от души всего хорошего да «принести» (родить) самоварчика... Она поняла мою шутку, покраснела и уже вслед сказала: «Вот как женитесь, так это уж вам желаю, а у меня есть двое, больше не надо, тяжелы эти самоварчики». Я приостановился и закричал ей: «Ну так чашечку!» — «И это вам!» — кричала она и смеялась... Когда я поехал, то проклятые рубцы точно все еще вертели в носу, напоминали о моем затруднении и находчивости Михаила...

Следующую станцию мы проехали отлично, также верхом. Алтайский караул прилегал уже к степной местности, а потому, добравшись до него, я и потребовал колесный экипаж, потому что ехать верхом до крайно-

сти надоело, а с порядочным количеством вещей очень неудобно и утомительно. Оказалось однако же, что в богатом казачьем селе-нии не нашлось ни одного сносного тарантасика, вследствие чего «старший» убедительно просил меня и следующую станцию отправиться верхом, обещаясь дать мне такого «орла», который донесет, как птица, и не тряхнет. Нечего делать, пришлось согласиться и волей-неволей ночевать. Утром привели верховых лошадей — двух под нас и третью под вьюк. Поблагодарив хозяев за хлеб-соль, мы вышли садиться. У амбара, на чембуре, стоял превосходный конь калюной масти (вроде соловой, с ремнем на спине); он шустро (бойко) поглядывал по сторонам, вертелся на привязи и поминутно ржал.

— А вот тебе, ваше благородие, и «орел»! Донесет, как на ладони, — сказал хозяин.

— «Орел-то орел!» Так я-то, братец, воробей. Как бы не съел!

— Ннна! Ваше благородие, уж и воробей! Мы ездим — ничего. Только иди к нему смелей, — не бойсь!

Оглядывая пока еще издали «орла», я заме-

тил, что у него ноги, повыше бабок, немного потерты и в крови, а во рту продет волосяной заудельник (трэнзель), помимо удилов.

— Это что же такое, — отчего у него кровь? — спросил я и остановился.

— Да, вишь, ваше благородие, шалит маленько, вот и призадел где-нибудь.

— Гм! Странно, братец!

— Нет, верно говорю, барин! Иди только смело! — говорил старший, он же и хозяин; но сам стоял на дворе и не подходил к коню.

Видя, что Михайло садится уже на свою лошадь, я бойко подошел к «орлу»; он посмотрел на меня и понюхал мое плечо. Но лишь только отвязал я кукуиный чембур (ремень из гураньей шеи), как конь всплыл на дыбы, захрапел и хотел поймать меня передними копытами, чтоб смять под себя. Но я как-то не обробел и в самый этот момент закричал на «орла» и так сильно дернул его за чембур, что он сел на зад, а поправившись, хотел повторить ту же штуку; но я сметил его замысел, предупредил вторым осадом за чембур и в это же время вытянул «орла» по шее нагайкой. Конь заржал, прыснул ноздрями, опять поню-

хал меня в плечо и встал как вкопанный. Я подобрал полы своего длинного пальто за кушак, вдернул ногу в стремя, проворно заскочил в богатое «мунгальское» седло, повернул коня к воротам и шагом выехал из двора. Все провожавшие как-то переглядывались, тихо разговаривали и разводили руками. Я смекнул, что тут что-то неладно, и держал ухо остро; но видя, что конь отлично идет, действительно «орлом», тихо выехал из деревни, а выбравшись в степь, пустил его рысью. «Орел» с первого раза так пошел «отщипывать», что я живо бросил скакавших в опор своих спутников и не мог не удивляться как его резвости, так и удивительно мягкому ходу. Действительно «орел» летел птицей и нес меня как на ладони.

На половине дороги, это верст через 18, я остановился, огладил коня, потрепал по шее, закурил трубку и пошел пешком по дороге. «Орел» после скорого хода несколько не задохся и шел на поводу так, что его можно бы вести на нитке. Минут через пятнадцать меня догнали Михайло и провожатый казак. Мы потолковали, поправились и еще с версту

прошлись. Затем я остановился, тихо сел на «орла», и он весело и игриво пошел ступью; но такой ступью, что спутники ехали за мной хлынью (малой рысцой). Потом я снова пустил рысью и пролетел остальные пятнадцать верст ровно в двадцать восемь минут. Во все это время «орел» ни разу не сбился (не сорвал) с рыси и шел на тугих поводьях.

Когда я вбежал во двор на свою старую квартиру, в Кыринском карауле, слез с коня, огладил и потрепал его по шее, то дедушко, поздоровавшись со мной, как-то особенно посмотрел на копя, на меня, тряхнул вбок головой, но ни слова не сказал и просил меня в горницу. Не ранее как через полчаса приехали Михайло и казак. Мне подали закусить. Но вот в открытое окно я слышу разговор старика хозяина с моим проводником.

— Это что же? Неужели викуловский Калюшко? — спрашивал хозяин.

— Он самый и есть, Сидор Петрович! А что? — спросил казак в свою очередь.

— Да у вас где же крест-то? На вороту или нет? Разве не знаешь, что от этого коня уже двое в гробу лежат?

— Как не знать, — знаю.

— То-то знаешь; а того вот не знаешь, что за это нашему брату бывает?

— Это, дедушко, дело не мое; на то хозяин есть.

— Хозяин! А ты должен сказать.

— Да я и говорил, так разве нашего брата слушают.

— Ну, а ноги-то отчего у него в саднах?

— Да, вишь, ловили арканами; а как поймали, то свалили да тогда уже стреножили и потом заседлали.

— Вот то-то и есть! Бесстыдники, нехристи вы этакие: креста на вороту у вас нет, вот что! — проговорил сердито старик, плюнул и пошел в избу.

Какой разговор продолжался в избе, я уже не слышал, но понял все, что совершилось, и разделял мнение уважаемого старика хозяина, что нет у некоторых сибиряков не только креста на вороту, но и ничего теплого за пазухой. Они часто пользуются тихим нравом проезжающего, отправляют его бог знает на чем и как и остаются дома с спокойной совестью, — дескать, «отправили», свое дело ис-

полнили, а как? — это точно и не их дело — до царя далеко, до бога высоко! Оттого все и сходит...

Это был мой дебют из самых последних курьезов при выезде из бальджиканской тайги. Далее я отлично поехал на колесах и скоро добрался до Усть-Илинской волости, к приятелю Скородумову.

Какую массу различной дичи видели мы в продолжение этого радостного для нас пути. Сколько диких коз перепугали при выезде из последних гор тайги, в окрестностях Букукунского караула! Нигде и никогда не видал я столько козуль, как в этой местности; правду говорят тамошние казаки, «у нас, барин, козуль — как таракана»! И действительно, сравнение крайне характерно как по цвету животного, так и тому виду, какими кажутся дикие козы издали, выбегая на чистые, «прохавые» места. Не могу не заметить, что в степи множество довольно разнообразных памятников «чуди» — этого легендарного народа, когда-то заселявшего Сибирь. Все памятники более или менее выражаются «чудскими могилами», обставленными большими плитами

на ребро, на высоких курганах (земляные насыпи). Тут же есть два гранитных столба, аршина в  $3\frac{1}{2}$  вышиною; они аккуратно обделаны в правильную форму четырехсторонней призмы, а на середине их высоты высечены пояски, канавкой вокруг столбов. Эти памятники народ зовет коновязями Чингисхана. Действительно, они напоминают эту цель их сооружения, потому что столбы нетолсты и по высоте как раз подходят к тому, чтобы к ним вязать верхового коня. Соображая степное раздолье и не видя других остатков более серьезной культуры когда-то жившего тут народа, невольно рождается мысль, каким образом доставлялись эти тяжелые и объемистые вещи с далеких гор и чем они обдывались в правильную форму? Около этого же караула есть богатая инородческая кумирня, выстроенная из дерева и обнесенная стоячим тыном. Кругом ее раскинулся обширный инородческий улус (селение из подвижных юрт). В кумирне много превосходно сделанных бронзовых бурханов (идолы, божки), перед которыми теплятся неугасаемые особые светильники, стоят жертвенники весьма различного ха-

рактера: тут и пшеница, тут и сметана, и вещи, и проч., и проч. Кумирня содержится весьма чисто, опрятно и заключает в себе для молящихся много «лавок» (скамеек), обитых хорошим темно-зеленым бархатом. Поставлены они рядами, с проходом посредине. Перед входом в кумирню, в особом отделении, стоит на самой дороге как бы большая вертящаяся витрина, кажется, шестиугольной формы, с какими-то изображениями по сторонам. Всякий входящий инородец вертит эту витрину и тогда уже идет в самую кумирню.

По всей степи, на прилежащих озерах и в култуках речек была еще такая масса всевозможных пород уток, что, не видавши, трудно поверить. Но в самой же необъятной степи во многих местах тюфикали большие и малые кроншнепы и разгуливали громадные степные курицы (дрохвы), которые, завидя нас, грузно, с разбегу, поднимались на воздух или западали в неровностях степи. Тысячи жаворонков, как и бабочки, тряслись и звенели в воздухе и как бы радовались вместе с нами, благословляя весну. Последние вереницы гусей неслись местами в прозрачной синеве

неба и оглашали степь своим зычным покрыванием, как бы радуясь приволью и вдыханию освежающего воздуха. Легко, свободно дышалось и нам на степном просторе; только одно неладно: нет-нет да и познобит маленько какой-то особой дрожью, словно чем-то мазнет по сердцу, то теплой надеждой, то холодным сомнением — аж жутко станет!..

Приехав к Скородумову, я ночевал у своего приятеля и келейно узнал от него, что «тот» цыган проживал всю зиму где-то по р. Онону и, как он недавно слышал, находится там и теперь. По незнанию в точности места жительства и из опаски Скородумов письма моего не передал Заре, а потому я и взял его обратно.

Выехав из двора Скородумова, я направил свой путь на р. Онон как потому, что мне хотелось познакомиться с этой громадной и роскошной долиной Восточной Сибири, так и по той причине, что я порешил во что бы то ни стало отыскать Зару.

Подвигаясь по долине Онона, я уже не скрывался от Михайлы, и он помог мне узнать положительно, что искомый цыган со

своей семьей находится в богатом селении М-м, до которого оставалось уже только несколько десятков верст. Мы, сообразив это, рассчитали так, чтоб непременно приехать в это селение утром и в случае надобности прожить в нем под разными предложениями сколько потребуется, но чтоб непременно повидаться с Зарой.

Прелестное утро дышало своей свежестью, когда мы часов около девяти приехали в М-м и остановились на станции, но в ней, кроме старухи и женщин, никого не нашли. Спрашиваем, где же люди?

— А ушли на следствие, господин-барин, — отвечала старуха.

— На какое следствие, бабушка?

— Да, вишь, родимый, проживал у нас цыган...

— Ну, так что же? — перебил я старуху.

— Так вот, кормилец, грех и попутал. — Какой же грех?

— Да цыган хотел выдать свою дочь за другого цыгана, а она, значит, уперлась: не пойду, говорит...

— Ну?

— Отец-то, значит, осерчал да и побил дочь, а она ночью-то взяла да и убежала...

— Ну? Бабушка?

— Цыган-то хватился, видит: дочери нет; он пал (сел) на коня, да и нутко по дороге, — вот откуль ты приехал. Значит, смекал чего-то; догнал ее, милую, да побил крепко и притащил домой.

— Бедная Зара!.. — вырвалось у меня невольно. Старуха покосилась на меня, что-то хотела сказать, но умолчала и только перебирала руками под приподнятым передником.

— Что же дальше? Бабушка! — сказал я, спохватившись.

— Да что, батюшка! Тут грех-то и вышел. Дочь-то ночью скрылась опять да и утопла в Ононе...

— Как утопла? — уже почти вскричал я и не мог удержаться от слез, а сердце мое сжалось тисками.

— Да как? — значит, навязала на себя камень да и бросилась в речку.

— Когда это было? Бабушка!..

— А вот позавчера, мой родимый!

— Что же, не искали? Ведь можно было от-

качать! — уже едва говорил я.

— Как не искали! И нашли, в то же утро; нашли, так уж не захватили... А красавица-то какая была, словно нарисованная! Что поде-лаешь, верно, воля господня, значит, предел подошел! — и старуха непритворно заплакала.

В эту минуту я точно окаменел, и ни одной слезы не выкатилось из моих глаз. Я тупо смотрел на старушку и едва мог спросить ее:

— Где же она? Бабушка?

— Да сутки лежала в ледянке, мой батюшко, а вот утрося (сего утра) приехал заседатель, делал опрос, составил акт — и велел схранить. Поди-ка, уж закопали! — сказала старушка и посмотрела в улицу.

— Вон идут! — проговорила она сквозь слезы.

Я вышел на крылечко и увидел большую массу народа. Впереди шел священник и заседатель, а в середине толпы, качаясь, шагал старик цыган за конвоем. Лицо его было бледно, полно ужасной грусти, и слезы бежали на щеки. Он что-то говорил и бил себя в грудь кулаком.

Я не мог выдержать этой страшной картины. Особенно тяжелое впечатление производили на меня лопаты, которые несли в толпе три или четыре человека, я невольно отвернулся и ушел в избу, где уже кипел самовар и что-то стояло на тарелках. Но я есть ничего не мог, попросил поскорее лошадей и, заскочив в кибитку, почти не помню как, выехал из деревни. Тут слезы полились градом, на сердце стало полегче, но душа моя рвалась на части, и я проклинал свои ночлеги. Точно внутренний голос говорил мне в самое ухо — не ночуй и захватил бы Зару живою!..

— Мир твоему праху, несчастная! — шептали мои уста; но слезы душили, и у меня срывались слова: «Зара, Зара! Неужели, моя голубушка, я — причиной твоей ужасной судьбы!..»

Михайло сел на козлы и всю станцию протолковал с ямщиком. Первый говорил тихо, но ямщик не опасался, и до меня несколько раз доносились его слова: «Ну, брат, и красавица... вся деревня жалеет... никому не досадила... перебил... убегала... какой-то фыцер... писала... словно рехнулась... не вынесла... все

ждала... убежала б... она бы, брат, нашла... уми-  
ница... Не догнал бы?.. предел, значит...»  
Дальше я не вынес, упал на подушку, зарыдал  
и накрылся с головой полушубком...

\* \* \*

Мая 18-го я был уже назначен приставом в  
Култуминский рудник, еще до моего приезда  
в Нерчинский Завод. Вскоре после этого Му-  
равьев сделал представление министру дво-  
ра, и г-н А-в за открытие Бальджиканской зо-  
лотоносной россыпи получил какую-то награ-  
ду и шестьсот рублей ежегодной пенсии. А я?  
Я — ничего! Только попользовался тюмен-  
ским ковром, который получил в подарок от  
г-на А-а еще в Бальджикане, при прощании!..  
Тетерину А-в послал из Иркутска глухие се-  
ребряные часы...

\* \* \*

За упокой Зары я молюсь и доньне. Да,  
действительно, на все воля господня!.. И все  
мои планы канули в Лету, как канут и эти  
воспоминания...

# В Кадаче

## I

**В** 1858 году я управлял Верхнекарыйским золотым промыслом в Нерчинском горном округе. Однажды, тихим весенним вечером я сидел в кабинете и думал, как бы сорваться дня на два или на три в любимую тайгу, чтобы позверовать и отвести охотничью душу. Промысловое дело идет хорошо, все в порядке, все служащие на своих местах и знают свои обязанности. Отчего же и не съездить? Разве что случится во время моего отъезда... вот беда! Хуже всего — это тюрьма, в ней более тысячи ссыльнокаторжных! Теперь же весна, и они бегут едва ли не каждый день по нескольку человек, но ведь я тут не виноват, это дело военного караула...

Ну, а работы?

Ничего не значит, они идут своим порядком; промывки золота еще нет; кассы немного, да я ее могу сдать на хранение комиссару — человек он хороший, надежный... Ведь после хуже — нельзя будет съездить, а самое лучшее время уйдет, и его не воротишь...

При этой мысли сердце мое стало постукивать сильнее, а глаза невольно повернулись к охотничьим принадлежностям... Явилась какая-то сладкая потягота, точно пред назначенным тайным свиданием; я встал, подошел к висящей на гвозде винтовке и, сняв эту «астролябию» на высоких сибирских сошках, стал прицеливаться в лежащего на ковре Танкредушку.

Только что я нарочно щелкнул курком, как Танкред проснулся, вопросительно посмотрел на меня, забил хвостом, наконец соскочил, начал визжать, привскакивать и старался лизнуть меня непременно в физиономию...

Вдруг скрипнула входная дверь немудрой промысловой квартиры, послышалось вытирание ног о половики и знакомое покашливание, которое узнал и Танкред; он тотчас оставил меня, бросился в прихожую и начал снова прыгать и ласкаться.

— Полно, полно тебе, Канклетушко! Будет, а то и зипунишко порвешь, — говорил вошедший, унимая мою зверовую собаку, обрадовавшуюся его приходу.

— А-а, Дмитрий! Здравствуй, — сказал я вошедшему старику Кудрявцеву.

— Здравия желаю, ваше благородие!

— Ну, брат, легок на помине, а я только сейчас о тебе думал.

— Значит, сердце сердцу весть подает, вот это что!

— Должно быть, что так, дедушко! Ну-ка садись, да рассказывай, как живешь, где был, что поделываешь?

— Да что, барин! Живу себе ладно; а вот сердце гребтит у меня не на шутку, словно сосет, вот и пришел тебя сомуцать. Вишь, время-то какое доброе стоит, самое зверовое!

— Ах, молчи ты, пожалуйста! У меня, брат, у самого душа вся изныла.

— Так чего ей ныть-то, вот соберемся, благословясь, да и поедем.

— А ты куда думаешь?

— Да помекаю в Унгурки сначала заехать, а потом и в Кадачу махнуть, помнишь, я тебе сказывал.

— Как не помнить, дедушко, помню. Только ведь это далеко, а у меня служба; сам знаешь, что надолго мне уехать нельзя.

— Да сколь далеко? Верст пятьдесят, боле не будет. Суток двое, а либо трое проедем, ну, потом и домой!..

— Да, а тюрьма-то?

— А что за беда? Тюрьма как тюрьма и есть. Кому бежать, так тот и тебя не спросит, а убежит, да и только. Не упасешь, это ведь не овцы.

— Все это верно, дедушко; а как что-нибудь сделают?

— Нет, барин, не сделают. Ресторанты тебя любят; нам, говорят, отца родного не надо. А время-то какое, погляди-ка! Утром-то встанешь, так инда сердце трепещет, словно весь мир-то смеется, всякая тваринка радуется и славит господу...

— Ну ладно, дедушка, я ведь это нарочно подзадориваю, а сам уж до тебя решил съездить и хотел за тобой посылать Михаилу.

— Вот то-то же и есть! Да я ведь и по глазам твоим вижу, что ты нарочно турусы-то строишь.

Я позвонил. Пришел мой денщик Михайло Кузнецов, сложил руки у груди и вопросительно смотрит.

— Михайло! Тащи-ка, брат, самовар, да и закусить чего-нибудь дай.

Явился самовар, бутылка «всероссийского», горячие ватрушки, яичница. Мы закусили и решили с Кудрявцевым как можно ранее поутру отправиться в путь и взять с собой харчей на всякий случай дня на три.

Я утешался тою мыслью, что подошедшие праздники, троицын день, хоть несколько оправдают мою отлучку с промысла и нравственно успокоят мою заботливую душу, так как в Эти дни даже «каторга» отдыхала и не работала обязательно.

## II

Часов около трех утра мы уже выехали с двора верхом и направились узкою тропинкой прямо в горы, в любимую тайгу. Дивное майское утро дышало своею свежестью, и только что выходившее солнышко, как золотом, брызнуло по верхушкам деревьев на выдающихся сопках. Смолистый, ароматический запах лиственничного леса повсюду напоил прохладный воздух и как целебный бальзам проникал во глубину груди. Задеваемые при езде намокшие от росы веточки точ-

но нарочно брызгали в самое лицо. Проснувшиеся пичужки чиликали наперебой и, перепархивая по веткам, бойко отряхивались, чистили свои носики и суетились по-весеннему. Вот выскочил на тропинку испуганный нашей ездой заяц, сел под кустиком, прислушался и моментально скрылся в чащу...

— Экая благодать господня! — сказал ехавший впереди меня Кудрявцев.

— Да, дедушко, хорошо! А мы куда же теперь поедем?

— А поедем по речкам, вот Булак и Ушмун недалеко. Там есть солнопеки, и на них надо посматривать козуль; они теперь, барин, шибко выходят еще по увалам, а вот маленько погода бросят, спустятся в речки, в падушки и уже там станут кормиться.

Таким образом, тихо разговаривая, мы проехали несколько верст и незаметно спустились в долину Ушмуна. Проезжая один из чащевитых и больших колков (лесной остров), Кудрявцев остановился.

— Вот, барин, года с четыре тому назад на этом самом месте меня поцарапала медведица.

— Как так?

— Да, вишь, ехал я один на звериный промысел около Николина дня (9 мая) и призадумался, да вдруг примечаю, что мой Гнедко начал озираться и ушами пошевеливать. Что, мол, за штука? А уж это недаром, кто-нибудь тут, значит, есть. Стал озираться и сам. Вот смотрю этак вправо, а на листвянке сидит медвежонок, а маленько подале и другой на леснике. Услышали они меня да и притаились на ветках. Я смекнул, что дело не ладно; уж где-нибудь недалечко, значит, и мать схоронилась. И только что успел я перевести это на уме да приостановить коня, как вдруг из чащи выскочила медведица и прямо на меня. Одною-то лапой она поймалась за гриву, а другой-то уцепила меня за ляжку. Вот и теперь, барин, три белые пятна на левой ноге; так угостила, проклятая!

— Как же ты спасся, дедушко? — перебил я его.

— Да как, барин, все мое счастье было в том, что Гнедко мой уж шибко смирёный и привычный к зверям, он не тряхнулся, а только захрапел. Тут и медведица стала порявки-

вать, оскалила зубы да и тянется ко мне, а я, значит, свернулся скорей с коня на правую сторону, сдернул с себя винтовку, подпрудил огниво, упер ей дулом под санки, да и спустил. Она ровно мешок тут же и свалилась с коня, да как забилась у него под ногами, тогда он ударил козла, вырвал у меня из-за пояса чембур (ремень, кроме поводеьев) да и пустился влягивать; отбежал сажень пятьдесят, остановился и давай ржать, насилу его поймал, так напугался, а уж на что смирный и привычный к этому делу.

— Неужели, дедушка, ты так сразу и убил медведицу?

— Уж воля господия, барин! А так ловко чихнуло, что снизу-то всю башку ей разворотило.

— Ну, а медвежата-то как же?

— А те чего? Еще маленькие, глупы, я их перестрелял как рябков.

— Зачем же ты не переловил их живыми?

— А на черта мне их, барин? Я этак-то раз привез в мешке живых, так только один грех. Подарил я тех медвежат бывшему управителю, так тот и спасибо мне не сказал, говорит:

«Заходи после, я те на водку дам». Ну, а где пойдешь, не свой брат! Ведь он этого не разбирает, как ты их добыл; как, значит, у смерти был; да сколько маялся, как тащил медвежат из тайги верст сорок. Нет! Ничего этого чоху-моху не понимает. А после, за спасибо-то, меня же отодрал безвинно, дай бог ему царство небесное!..

— Все-таки мудрено это, Дмитрий, как же так сплоха налетела на тебя медведица, а собака-то что же?

— Да вишь, барин, место-то здесь пустова-то, я и опустил Карама, такой черный, большой кобель был у меня, мунгальской породы, он, проклятый, нашел козулю да и угнался за нею. А как я стрелил, тогда уж и прибежал на мой голк.

— Ну хорошо, а медведица-то чего же такая смиренная?

— А она, значит, первопутина[18], молодая, сама еще трусовата. Постой, барин, эвон Канклетко чего-то нюхтит, — сказал мне тихо Кудрявцев и погрозил пальцем.

В это время из чащи выскочила молодая козлуха, а в кустах раздался жалобный «пик»

маленького козленка. Я сдернул винтовку и прицелился с лошади в подпрыгивающую на одном месте козулю. Лишь только раздался мой выстрел, как неподалеку от первого пика послушался другой рев козленка. Матка упала, а Танкред с большим усилием тащил из чащи небольшого, еще полуживого *анжигана* (козленка).

Мы слезли с лошадей, докололи молодого гурашка, оснимали матку, розняли на части и, отправясь с собакой, нашли и другой трофей Танкредушкиной охоты — тоже маленького и уже задавленного козла.

Чтобы не возить с собой добычу, Кудрявцев нашел в колке еще сохранившийся снежный набой под нависшим утесом; надрал мочу, ягоднику, выкопал в оледенелом снеге ямку, выстлал ее постилкой и сложил туда всю добычу, закрыв все мясо корой и берестом.

Добравшись в тот же день до большой долины по речке Уйгурке, мы настреляли уток и, наварив отличную похлебку из свежинки, поужинали и улеглись спать под сохранившимся до весны стогом сена. Как хорошо было в природе под весенним небом! Мне ка-

жется, что только истый охотник может ощущать это удовольствие... А сколько замечательных эпизодов из своей охотничьей жизни рассказал мне тут старик Кудрявцев. И как подумаешь, что все это «прошло, прокатилось и красным солнышком закатилось» для моей некогда восторженной души, ныне уже одряхлевшей и сморщившейся под тяжестью жизни... Да, такой весны уж не повторится в моем существовании!.. Да, пожалуй, и незачем!..

Утром, еще до света, мы напились чаю и пешком отправились в горы, чтобы поохотиться на увалах. Но сколько мы ни ходили, сколько ни скрадывали коз, убили только одного большого гурана (козла) и с тем воротились к нашему табору, порядочно устав под тяжестью ноши.

Мы снова напились чаю и улеглись отдохнуть. Когда я проснулся, было уже одиннадцать часов пополудни. Кудрявцев встал раньше меня и отправился к речке, чтобы набрать сушняку и поддержать догорающий огонек. Я лежал на спине и следил за плавно несущимися белыми клочковатыми облачками. Немного погодя подошел и Кудрявцев с

целой охапкой сухих сучков.

— Ну что, дедушко, какова вода в речке?

— Да что, барин, вода хоть и спала, а все еще велика, и нам на ту сторону не пробраться.

— Вот тебе раз! Значит, мы на заречные солнопеки и не попадем?

— Нет, не попасть, а места-то какие там добрые!

— Ну что делать, значит, в Кадачу махнем поскорее.

— Да уж верно, что так приходится.

Тут старик заслони́л ухо ладонью и стал прислушиваться. Я, глядя на него, тоже замолчал и превратился весь в слух.

«Ттррынь, ттрррынь!» — с каким-то дребезгом доносилось до нас через всю луговую долину из прилежащих гор, высокой грядой тянувшихся с обеих сторон речки Унгурков.

— Это что же такое, дедушка?

— А это, барин, должно быть медведица где-нибудь ходит по сопкам со спои́ми ребятишками; вот она и забавляет их по-своему. Вон слышишь, как наигрывает?

— Слышу, слышу! Ах она, проклятая! Да

как же и чем она этак натрынькивает?

— Гм! Чем? У ней, барин, свои струменты понайдены. Вот придет к ним да и забавляется на досуге. Ей чего? Хозяйства нет, квашня не перекиснет, ну и дурит! А все же дети, она мать, надо и пошалить с ними...

— Так все же я не пойму, чем она наигрывает?

— А видишь, есть в тайге такие лесины, которые либо громом разбило, либо бурей поломало, вот на них и останутся на стволе расколотые дранощепины; зверь-то их отведет лапой да и опустит с маху, ну оне, значит, и дребезжат на весь лес. Иногда утром по зоре так шибко далеко доносит. Другой раз услышишь врасплох, сердце захватит, инда мурашки забегают...

— Ну, а самец делает этакие штуки?

— Играет и он; особливо вот в Петровки, когда ищет матку и сердится; а то так ее забавляет...

— Тоже кавалер, значит, — перебил я Дмитрия.

— Да как не кавалер! Чем он хуже других? Смотри-ка, чего он тут выстраивает, какие ба-

лансы выкидывает, и скачет, и через голову вертится, и обнимается; а то так лесины дерет; встанет, значит, на дыбы да сколь может хватит передними лапами: таких лент накроит, что смотреть страшно.

— Это для чего же?

— А это для острастки другому, чтобы на грех, значит, не лез; а поглядел бы *по заскребам*, дескать, вот он какой, эвон куда хватил по лесине! А другой такой матерущий, что на коне едва рукой достанешь где он царапал, беда!

— Ну, а если сойдутся, тогда что же бывает?

— Ух, барин, так дерутся, что не приведи господи видеть, страсть! Который посильнее, тот и владеет, а коли ровны, так заедают друг дружку до смерти.

— А матку не трогает?

— Как не трогает! И ей, чуть буде что не по нем, таких оплеух надает, что она ревет лихо-матом...

Тут до нашего слуха донеслись очень ясные звуки как бы от катящихся с гор камней.

— Ну, а это что? — спросил я Кудрявцева. — Слышишь?

— А это, барин, она же дурит с ребятишками.

Мы встали и начали присматриваться на окружающие долину горы.

— Эвон где! — сказал старик, зорко приглядываясь и заслонившись руками. — Вон за утесом-то. Вишь, чего делает, проклятая!

Я вынул из походной сумки свой бинокль и стал смотреть по указанию. В него очень ясно было видно, как медведица играла с детьми, как они бегали друг за другом, боролись, перескакивали один через другого и забирались на мать; а она в свою очередь ложилась на спину или вдруг поднималась, подходила на самый край горы и лапами спихивала с нее камни. Интересно было наблюдать те моменты, когда только что покатаются камни — и медвежата, встав на дыбки, заглядывали вниз и следили за их падением...

Долго я любовался в бинокль на эту картину и благодарил судьбу, что привелось видеть то, чего не увидит никакой натуралист в кабинете и даже в искусственных зверинцах.

— Ну-ка, барин, дай-ка и я погляжу в твою астролябию, — шутил Кудрявцев.

— На-тка, дедушко, посмотри хорошенько да наведи по глазам; вот так, верти за это колеско, пока не дойдет, понял?

Старик взял бинокль и скоро настроил его по своему зрению.

— Фу ты, язви ее, какая диковина сделана! Кажется, уж на что далеко, а в машинку-то сколь близко показывает, тут и есть! Эвон, эвон, гляди-ка, чего ребятишки-то строят. Так друг дружку по рылу и хлещут! Ну и штука произведена, барин! — сказал Кудрявцев, передавая мне бинокль.

Но вот вскипел чайник, мы достали из сум деревянные чашки и стали с сухарями пить карымский (кирпичный) чай, заправив его чухонским маслом и солью.

В это время над нами мелькнула тень от пролетающей птицы, и послышался характерный свист утиноного полета. Я невольно взглянул наверх и увидел бойко несущуюся матку большой породы крохалей[19], с ношей во рту.

— Видел? — спросил я Кудрявцева.

— Видел, как не видать! Это, барин, крохалюха детей переносит из своего гнезда.

— Как так? Да разве она не на земле строит свое гнездо?

— Нет. Она, брат, всегда гнездится либо в утесах, либо в больших дуплах, а как вылупятся утята да подрастут маленько, она и таскает их на воду. Да еще посмотри-ка чего делает!

— А что?

— А вот постой, я те покажу, что она выстраивает. Заприметь только место, где она спустилась к воде.

— Да я уже видел, дедушка. Вон за тою большою Листвянкой, за кривляком.

— Ну верно, и я то же место приметил.

В это время крохалюха, уже без ноши, бойко просвистала тем же путем обратно. Я проследил ее глазами и заметил, что она долетела до утеса и там потерялась. Не прошло и пяти минут, как заботливая мать снова пронеслась над нами и опять с ношей во рту. Кудрявцев дождался ее возвращения и, торопливо встав с места, сказал:

— Вот теперь, барин, пойдем поскорее, я и

покажу тебе, что она делает.

Я вскочил и побежал за стариком. Живо добрались мы до кривляка и спрятались в густых кустах черемушника. Немного погодя мы видели, как третий раз пролетела крохальюха и спустилась к воде, тут же за нашими кустами. Мы снова сождали и дали ей улететь, а потом тихонько подползли к самой листовнице и аккуратно спрятались за толстою валежиной. Перед нашими глазами, за большим речным кривляком выдавалось объемистое плесо; а около него над затишьем речной струи врезывалась в берега широкая песчаная коса, которая при убыли воды сверху совсем уже подсохла, и беловатый мелкий песочек, рябя малозаметными струйками, был облит солнечным припеком.

— Эвон где ребяташки-то посажены, видишь? — сказал мне тихо Кудрявцев.

— Нет, дедушко, не вижу.

— Да пот в песочке-то под тенью; вишь, как пуговки, торчат их головки.

— А-а! вон где; вижу, вижу теперь. Смотри, как запрятала, чуть заметно!..

В это время послышалось легкое покерки-

вание матки, и Кудрявцев ткнул меня пальцем.

— Молчи, не шевелись, — тихо сказал он.

Мы притаились и только осторожно выглядывали из-под валежины, в проделанную нами дырку.

Вдруг раздался резкий свист полета, а потом сдержанное хлобыстание крыльев, как это бывает в тот момент, когда птица готовится осторожно сесть на землю. Эта заботливость не ушибить маленького была так велика, что матка долго тряслась над косой, подняв голову кверху и сдувая крыльями мелкий песок; она совсем тихо опустилась на песчаную отмель в каких-нибудь пяти или шести саженях от нас и зорко огляделась. В это время маленькие головки завертелись над песком и нежно запикали.

Матка тихо подошла к ним, не выпуская из клюва своей ноши, четвертого детенка, живо выгребла в песке порядочную лунку, посадила в нее цыпленка и придержала его клювом; а он, усевшись, помахал кудловатыми крылышками и притих. Крохалюха тотчас загребла его в песок носом по самую шейку,

поправила песочек на прежде перенесенных малютках, тихо покеркала и, спустившись на воду, несколько проплыла, а потом вдруг поднялась и, сделав отвод на полете, понеслась снова к утесу.

— Господи, господи! Вот где чудны дела твои, Создатель! — тихо сказал я Кудрявцеву.

— Да, барин! Вот тут и подикуй, как все премудро устроено творцом небесным! Всякая тваринка свой разум имеет. Уж на что вон букашка какая-нибудь, а глядишь — и та хоронится от своих врагов либо тоже охотится по своей силе; а придет урочное время — туды же гоняется друг за дружкой, ссорится, свадьбишки строит, а там и гайно (гнездо) свое ладит. Диво, да и только! Чего-чего не нагляделся я, барин, на своем веку! А я какой-то любопытный; бывало, какую-нибудь мелочь, а все самому досмотреть охота...

— Да, дедушко, вот будь-ка ты грамотный, так и записал бы все, что видел.

— Эх, барин, куда нам гнаться за этим. Вон мало ли грамотных, да что они записали? Ничего! А тут, значит, наука нужна, вот что!..

Но вдруг снова донеслось до уха покерки-

ванье крохалюхи, повторилась та же история прятанья птенца, с теми же самыми подробностями.

Мы имели терпение долежать в своей за-саде до конца, то есть до той самой минуты, когда крохалюха переносила всех своих ребятишек, числом семь, и окончила материнское попечение тем, что спустила их на воду.

Когда она принесла последнего детенка, то закопала и его, а сама отправилась на речку, сплавала вниз и, прилетев оттуда, поспешно выгребла всех из песка; дала им хорошенько отряхнуться, расправить все члены, помахать крылышками, оципаться носиком, — что делала и сама, — и уже после этого, тихо покеркав, повела их на плесо. Но и тут наблюдения наши не кончились, потому что крохалюха, очутившись на воде, материнским оком оглядела всех ребятишек, точно она сосчитала, все ли они налицо, и тогда уже стала купаться и нырять около малюток, как бы заставляя их делать то же самое. И действительно, маленькие крохалятки сначала будто испугались незнакомой им еще среды, все жалобно запикали, а потом замолкли и начали плес-

каться и бить по воде куцыми крылышками...



Тут мы вдруг встали из своей засады — и надо было видеть ужасный испуг сердобольной матери! Как она в ту же секунду зычно зазеркала, захлопала по воде крыльями и бросилась спасаться, а все малютки, как метляки, пустились за нею, шлепая своими комельками, пища и улепетывая во всю свою еще неумелую прыть. Только мелкие брызги полетели от них во все стороны, и взбитая рябь поды осталась одна перед нашими глазами...

Проводив глазами эту счастливую семью, мы тихо отправились к табору.

— Ну что, барин, насмотрелся? — самодовольно спросил меня Кудрявцев. — Теперь станем собираться и поедем в Кадачу, потому что солнце-то уж пошло на вторую половину.

— Ладно, вот как придем, так и давай садиться. А далеко отсюда?

— Ну да порядочно, скоро не перемелешь...

### III

Кадача — это небольшая горная падушка (долинка), берущая свое начало из узла гор или, лучше сказать, перебитого горами хребта, отделяющего большие долины рек Унгур-

ков и Джилинды, текущих на восток, в северо-восточном углу от Карийских золотых промыслов, в Забайкалье. Речка Кадача протекает по страшной тайге и, почти совершенно замаскированная крутыми, обрывистыми горами, составляет такой тайник, который знают не все и охотники, а потому эта суровая местность посещается очень немногими смертными. Зато ее укромные вертепы служат хорошим притоном для зверя; и действительно, хитрому, осторожному зверю тут есть где и укрыться от преследования человека.

На северных покатостях гор — громадные каменистые россыпи и высокие отвесные утесы, опущенные чащевитым лесом, доставляют укромное убежище мускусной кабарге, росяхе и рыси; а противоположные солнопеки, с мелкими осинничками, составляют любимые места жительства диких коз и изюбров. Словом, это охотничья житница, которую не брезгует и медведь, поселившийся в этой трущобе в значительном количестве.

Чтобы не запоздать к вечерней охоте, мы поторапливались и ехали напрямиком, пересекая небольшие ложочки и хребтики. Мой

Танкред сначала гулял на свободе, но когда мы въехали в таежные вертепы, то необходимо было пристегнуть его к седлу на смычок, потому что он убежал далеко от нас и пугал козуль. То и дело проноси

### **<пропуск текста>**

стук мелких камешков, которые сыпались с крутого увала, вероятно, от неловкого движения изюбра.

Старик стоял как тень и только знаками показывал мне вниз под утесик, чтоб я приготовился к выстрелу. Я давно уже взвел курок на винтовке и не мог совладать с собой, чтоб унять волнение молодой крови. Но тут, после этого жеста, меня вдруг бросило в жар, и лихорадочного состояния как не бывало.

Прошло еще секунд пятнадцать, как вдруг я увидел, что саженьях в тридцати от нас, из-под нависшего камня утеса, внизу по увалу, показались сначала мохнатые рога, *панты*, а затем и вся передняя часть красавца изюбра...

Не думая долго, я тотчас приложился к дереву, схватил на мушку лопатки зверя и спустил курок. В глазах у меня потемнело, и я снова весь затрясся как в лихорадке. Тут я

увидал, что Кудрявцев достал из-за пазухи на-  
труску и стал проворно заряжать свою вин-  
товку.

— А где же изюбр? — спросил я уже гром-  
ко.

— Молчи, барин, да молись скорей богу!..

— А что?

— Да вишь, господь дал нам панты, за гре-  
хи наши...

Тут только я увидел, что изюбр лежал под  
утесом и бился ногами. Не вытерпев от такой  
радости, я бросил на траву винтовку и подбе-  
жал к зверю, а за мной полетел и старик со  
своею уже заряженной винтовкой.

Снимая шкуру и разнимая на части убои-  
ну, я только тогда пришел в себя и заметил,  
что мой Танкред сидит около меня и жадно  
подлизывает кровь, а дедушка подбрасывает  
ему кусочки от дорогой дичины. Оказалось,  
что после выстрела, Танкред оборвал поводок  
и, с оставшимся концом смычка, прибежал к  
нам.

— Да ты, дедушко, разве стрелял? — спро-  
сил я озадаченно, увидав две пульные пробо-  
ины, одну возле другой, на шкуре зверя.

— А ты думал, что я просплю? — радостно отозвался Кудрявцев.

— Я, брат, не слышал твоего выстрела.

— А я не слышал твоего выпала и думал, что ты проробел; да нет, барин, толк в тебе будет! Емкость имеешь. А другой вон всю жизнь свою промышляет, а толку ни черта нет: дурбень! Одно слово дурбень!..

Мы сходили за лошадьми и тяжело обовьючили их мясом, а затем кое-как залезли на седла и шажком потянулись по узкой тропинке...

Провозившись с охотой и свеживанием зверя, мы призапоздали и решили так, что лишь только спустимся в долину Кядачи, тотчас остановимся у печки и заночуем. Солнце уже закатилось, и весенний вечер стал окутывать всю окрестность. В природе было так тихо и хорошо, а похолодевший лесной воздух так глубоко проникал в грудь своим ароматом, что мы забыли все тревобления жизни, и я восхищался прелестными картинами, в фантастическом освещении майского вечера. Все, что давит за плечами в жизни, тут куда-то отлетело, и я забыл про свою ответ-

ственность как по управлению промыслами, так и про злосчастную тюрьму с ее клейменными «детками»!..

#### IV

Пробираясь по тропинке, мы тихо разговаривали и радовались счастливой охоте, как вдруг мой Танкред громко залаял впереди нас, бросился оттуда к нам и оцетинился, а обе наши лошади сначала приостановились, а затем зафыркали и шарахнулись в сторону так стремительно, что мы оба чуть-чуть не вылетели из седел и едва сдержали их порывы.

— Должно быть, медведь! — торопливо сказал Кудрявцев, соскочил с коня и сдернул с себя винтовку.

Я тотчас сделал то же самое и кой-как удерживал своего Буцефала, который фыркал и пятился.

Отведя лошадей в сторону и привязав их к лесникам, мы пошли смотреть на тропинку, чтоб узнать причину нашей общей тревоги...

Боже! Что мы увидали в этой ужасной глуши, среди только что улыбавшейся природы.

На самой тропинке, между кустами распу-

стившейся черемухи, лежали два человеческие трупя, в ужасном виде от ужасной смерти...

Мы невольно сняли шапки и набожно перекрестились.

Один труп человека пожилого, русого, с проседью лежал в одной ветхой рубахе, на спине, и следы невыразимых мук застыли на его клейменом лице... А другой, — человек гораздо помоложе, с курчавою черной головой и бородой, в белых холщовых портах, арстантской шинели и в рваных броднях, — покоился ничком, наискось к первому, с лицом, опущенным на голую ногу своего товарища. Около несчастных не было ничего, кроме дырявого железного котелка и теплой меховой шапки, валявшихся в стороне.

— Господи! — вскричал я тут же, и нервные слезы полились у меня градом.

Старик, словно нянька, заботливо увел меня подальше от страшного зрелища, на берег речки, в густую заросль кустов.

Умывшись в холодной горной речушке и выпив по рюмке водки, мы совсем освежились и сели на ягодник.

— Ну что, барин, теперь поверишь мне старику, как я рассказывал тебе, сколько этих «несчастных» гибнет в тайге, а?

— Так разве я тебе не верил, дедушко?

— Вот то-то же и есть! Вот и подумай, как их хоронить всех станешь да объявлять полиции?..

— А то как же по-твоему?..

— Да очень просто, прочитаешь молитву, покуришь ладаном или серой (древесной) да и закопаешь, где ловко, а нет — так и чащей забросаешь, либо на воду спустишь, вот как я раз нашел утопленника в реке, на куст водой посадило, с берега-то и не достанешь. Ну сходил к остожью, притащил длинную жердь, да ею и спихал его на воду.

— Эх, дедушко! Сказано: умерших погребайте!..

— Это и я, барин, знаю. А что делать тогда, коли и достать нельзя? Неужели же по-твоему лучше оставить тело ястребам до воронам? А этих несчастных столько в тайге пропадает, что за каждым телом и сама полиция не стала бы ездить. Иной раз наткнешься верст за восемьдесят от промысла, так

неужель мне бежать до полиции да потом снова отвозить ехать. Нет, барин, этак здесь и промышлять лучше не ездить, а надо сидеть дома на печке, вот что!..

— И то верно ты говоришь, Дмитрий.

— Да как, барин, не верно: все верно толкую! А то еще что, пожалуй, заяви, так и жизни не рад будешь, скажут сам убил, либо ограбил, вот и затуторят за окошко с железною решеткой. Бывали эти примеры-то, знаем. Вон Федька П-н объявил, да так и захнул сам по чижовкам. Нашли, значит, что тело-то было убито, вот и придрались: говорят, это твое дело, сознавайся! А старик-то какой был сердечный! Кажется, единой мухи на киселе не обидел. Вот и объяви после этого. Нет, барин! А коли совесть чиста, то и на воду спихнуть не грешно. Господь-батюшка все это видит и вину не поставит.

— Верно, дедушко! А только знаешь ли, ты все-таки поступил не по закону.

— Не по закону-то, не по закону, это и я знаю. А по-моему, барин, выходит так, что если бы все делалось по закону, то и тюрем бы не было, да и беглых бы не попадалось, а я бы

их, грешный человек, и с кустов не спихивал.

— Как же, дедушка, эти-то люди попали в такую труппу? — спросил я, кивнув головой по направлению к нашей находке.

— Значит, бестолковы, вот что, барин. Им надо идти вон куда, на закат солнца, а они пошли на восход, где отсюда на тысячи верст и жилья-то нет никакого до самой Олёкмы. Вот и заблудились, отощали, ну и погибли с голоду.

— Неужели с голоду?

— Да как не с этого? Видел ведь ты, что около них и огнища нет. Значит, выбились из сил, одичали, пропали не по-христиански!.. А кто же ногу-то поел тому, что постарше?

Старик помолчал, как бы давая мне время догадаться, но мысль эта было уже зашевелилась во мне, и вместе с тем я почувствовал, как шевелились у меня волосы на голове.

— Гм! Ведь голод не тетка, — продолжал старик, — заставит и людского мяса попробовать. Зверь, барин, с ноги есть не начнет.

— Что ты, дедушка, грессишь на покойника, а если не он?

— Нет, барин, уверься, что он!.. Потому что

если бы наткнулся на свежих покойников зверь, скажем, медведь либо волк, то поел бы не этак... Да здесь всякому зверю и без человека пищи довольно.

— Ну, хорошо, а если он поел товарища, то как же с голода тут же и умер?

— Он, значит, уж прежде выть потерял и истощал, надсадился; а как хватил вдруг, вот его и задавило уж пищей. Ну, значит, тут же и застыл!..

По всему моему телу пробежала нервная дрожь.

— Это, барин, верно! И с большого голода никогда не надо есть вдруг, а по крохотке, по-маленьку, не то как раз задавит, — поучительно проговорил Кудрявцев и встал с места.

— Ну хорошо, дедушко! Так что же мы теперь будем делать? Неужели так их и бросим?

— Нет, барии! Зачем так? Это грех! А вот мы пойдем, нарубим побольше чащи да и закроем несчастных\*, чтобы тела их не валялись да чтобы зверь или ворон не трогал покойных.

— Ну ладно, так пойдем поскорее, а то ведь

совсем запоздаем.

Мы отправились к лошадям, отвязали топор, развели небольшой огонек, нарубили пропасть молодой поросли из мохнатых зеленых листвянок и стали забрасывать сначала издали тела усопших. А потом, когда тела были таким образом прикрыты, мы подошли ближе и натаскали целую кучу намогильной чащи, а затем придавили ее срубленными деревцами. Потом Кудрявцев достал из таившегося на его груди мешочка несколько кусочков росного ладана, принес две горячие головешки из костра, положил между ними ладан, и, когда он задымился, старик снял шапку, набожно помолился на восток и, раздувая головешками, три раза обошел намогильную кучу и все время шептал про себя молитвы...

Видя эту сцену среди угрюмой тайги при небольшом освещении костра, я невольно упал на колени и горячо молился...

Покончив тризну, Кудрявцев срубил из сушины крест и поставил его в головах «несчастных». Затем он снова покадил ладаном и сказал:

— Ну, барин, господь не осудит нас за та-

кое погребение! Он видит, что мы больше сделать ничего не могли. Давай зальем огонь водой и поедем поскорее ночевать к речке, а то я как-то весь ослабел и пристал ужасно. Да, поди-ка, уж поздно, ну-ка погляди, пожалуста, колькой теперь час?

Я вынул часы и, подойдя к огню, посмотрел.

— А вот, дедушко, теперь как раз половина двенадцатого, скоро и петухи запоют, — сказал я, пытаюсь хоть шуткой отогнать мрачное настроение.

— Петухи! Это в тайге-то петухи! Смешной же ты, барин, как погляжу я на тебя...

Мы сели на лошадей и поехали шагом. Со всем стемнело. Моя напускная веселость прошла с первых же шагов нашего пути по глухой тайге с такою тяжелою ношей за седлами и при ночном таежном мраке. Тропка исчезла из глаз, мелкая поросль хлестала по лицу, и нам пришлось только обороняться руками, чтобы не выстегнуть глаза, а самый путь доверить привычным лошадям, которые довольно проворно шли, не сбиваясь с тропинки, и скоро привезли нас к броду на речке Ка-

даче.

— Ну вот и фатера! — сказал Кудрявцев, переехав за брод и тихо слезая со своего опытного Гнедка.

— Поди-ка, не топлена, а либо нет ли угара? — сказал я шутя.

— Кто ее знает, а вот как бы взаболь не угореть после такого похмелья, — говорил смеясь старик и принялся развьючивать лошадей от тяжелой ноши.

Я в это время нарубил сухих сучков и разложил огонек. Серебристая роса уже покрывала всю растительность и давала себя знать при каждой задетой в темноте ветке.

— Давай-ка, дедушко, выпьем с устатку да наварим похлебки.

— Вот за это спасибо, барин! А то я уже хотел просить тебя подать мне рюмочку, так я пристал сегодня, что лытки трясутся...

Мы выпили, нарезали кусочками свежей изюбрины, положили в котелок и навесили его на таганчике (жердочка на двух вилашках), а когда вода стала кипеть, то пустили в него мелких сухарных крошек, перцу и заправили сметаной, взятою с собой в маленьком

туясочке (посудина из бересты).

Когда сварилась похлебка, мы достали су-харей и ложки, выпили еще по маленькой и принялись уписывать.

— Ну и щи наварились. Ложку хлебнешь, а другая так сама и просится! — говорил старик и делал уморительные гримасы при схлебы-вании горячей похлебки. — А каковы пан-ты-то? — сказал уже весело старик и показал пальцами. — Десять отростков (по пяти на каждом роге), рублей восемьдесят дадут нам, однако.

— Слава богу, дедушко! Надо его благода-рить за такую убоину. Это уж господь послал нам счастье сплоха, чего мы и не думали.

— Вестимо он, а кто же больше? Это уж его милость!..

Мы помолились на восток, где уж отзари-вало, и улеглись спать.

— Кудрявых снов! — сказал я и завернулся крестьянскою шинелью.

— И тебе в то же место! — буркнул старик и скоро захрапел сном праведника.

Но не так было со мной. Я долго не мог уснуть, и пред моими глазами постоянно вер-

телись картины — то красавец изюбр, разгуливающий по увалу, то страшная находка со всею удручающею душою обстановкой ночного погребения, при фантастическом освещении костра.

Из гор то и дело доносились звуки ревущих козлов, а вблизи слышалось журчание речки, треск огонька, поскакивание спутанных лошадей и их похрупыванье молодой травки... Только на рассвете заснул я крепким сном.

# Разбойник

В конце шестидесятых годов, когда я уже несколько лет служил на Урюмских золотых промыслах, мною же открытых в Нерчинском горном округе, случилось мне проезжать из Нерчинского завода на Карийские золотые промысла. Почти на половине этого горного пути находилась описанная мною в одном из моих рассказов Култума, где я когда-то был управителем. По мере приближения к этому руднику или, лучше сказать, селению сколько приятных воспоминаний щекопало мою душу и сколько тяжелых дум роилось в моей голове!.. И это вовсе не потому, что, дескать, в мое управление все было хорошо, а теперь, без меня, худо стало. Нет, а тяжелые думы давили меня оттого, что действительно после данной свободы Култуму нельзя было узнать, а култумяне испортились до того, что добрая о них память осталась одним воспоминанием, настоящее же говорило об ужасающем пьянстве, огульном воровстве, неистовом разврате и обеднении когда-то зажиточных жителей.

Золотой Култуминский промысел был закрыт, горное управление стухевалось, порядок исчез, и явилось одно безобразие пьяного самоуправления. Не имея условных заработков, потеряв всякое обеспечение со стороны казны, народ сначала одурел от данной свободы, а когда пришло тяжелое время «некусая», он волей-неволей бросился нахищническую разработку промысла, оставленного без призора; или побросал свои прадедами насиженные гнезда, веками облюбленные уголья и пустился на заработки по более или менее удаленным золотым приискам. Многие из култумян покончили там свои дни, многие спились окончательно по возвращении домой с добытыми горбом деньгами; а немало и таких, что бросили свои дома и переселились в другие места.

Благодаря этому теперешняя Култума уже несколько, не походила на прежнюю, а развалившиеся заборы, обрешетившиеся крыши домов и надворных угодий представляли крайне печальную картину. Точно Мамай прошел через селение!..

Бойкие взмыленные лошади одним духом

подняли мою кошевку с речки Газимура на высокий «взвоз», а на улице ко мне обернулся ямщик и, сдерживая тройку, спросил:

— А вас, барин, к кому завезти прикажете?

— Да вези к Шестопалову, это мой старый друг и приятель.

— А к которому, к Микулаю Степанычу? Или к Егору?

— Нет, к Николаю.

— Да, барин, он ведь, однако, живет на заимке (хуторе).

— Как на заимке? А в доме-то кто же?

— А дом-то заколочен.

Мы остановились. Пришлось подумать и сообразить, что делать. Бойкие лошади от крутого подъема на берег тяжело дышали до биения подтянувшихся пахов, а два небольшие колокольчика тихонько потенькивали под ходившею дугой рысистого коренщика. Пока мы думали и гадали, к нам подошел полупьяный старик Пальцев и, увидав нас, приостановился.

— А что, дедушко, Николай Степаныч Шестопалов дома или на заимке?

Тут старик узнал меня, вероятно по голосу,

сдернул шапку и полез ко мне здороваться.

— Ах, батюшка ты наш! Александр Алек-  
сандрыч, коли не ошибаюсь?.. — говорил он  
подходя. — Ну да вижу, вижу, что ты! Прости  
ты меня, пожалуйста, выпил маленько.

— Ничего, Пальцев, бог простит, а вот ты  
скажи нам: где теперь живет Николай Степа-  
ныч.

— А он, барин-батюшка, на заимке живет.  
Вишь, у нас в руднике-то стало плохо, он и  
утянулся туда еще с осени со всем домом;  
знашь, там на Еромае.

— Так вот, ваше благородие, я тебя туда и  
домчу! — сказал мне ямщик, заворотил лоша-  
дей и только хотел ухарски свистнуть, как по-  
лупьяный старик упал ко мне в кошеву и  
схватил меня за ноги.

— Батюшка ты наш!.. Кормилец род-  
ной!.. — кричал он и так крепко уцепился за  
мои колени, что я едва оттащил его от себя.

— Полно тебе, дедушко! Нехорошо, голуб-  
чик!..

— Знаю я и сам, что нехорошо, так серд-  
це-то гребтит не на шутку, что поделаю!..

— Ну, прощай, Пальцев, а то видишь — ко-

ни не стоят.

— Не стоят, язви их, черную немочь! Вижу и это. Ну прощай, барин!

Когда мы отъехали уже сажен пятнадцать, я оглянулся, — старик сидел на снегу, махал своим малахаем (теплая шапка) и кричал:

— Прощай, проща-ай, барин!

Переезд из Култумы до шестопаловской заимки был невелик, каких-нибудь верст шесть или семь, и мы скоро докатили до еромаевского спуска, а с горы как на ладони увидели избу Николая Степановича и ее приветливые огоньки в маленьких окнах.

Пока мы спускались с хребта и ехали уже тихо, по долине Еромая стал подувать ветерок, закрутилась метель, налегли свинцовые облака, повалил снег и пошел завывать такой буран, что мы насилу нашли занесенный снегом свороток и едва попали на шестопаловскую заимку, уже в потемках. Целая куча собак атаковала нас со всех сторон и лезла к самому экипажу. Но вот скрипнула дверь избы, и сам Николай Степаныч, босиком и в одной рубахе, вышел на широко огороженный двор, поймал какой-то прут и стал унимать освире-

певших собак.

— Цыть, цыть вы, проклятые! Что вы, сдурели, что ли? — кричал он и кой-как прогнал верных и сердитых караульщиков заимки, так мирно приютившейся под склоном высокой лесистой горы, над самым берегом довольно широкого тут Газимура.

— Кого привез? — спросил он вполголоса ямщика.

— А вот меня, Николай Степаныч! — сказал я, вылезая.

— Ох ты, мой батюшка, барин!.. Сколько лет, сколько зим! — говорил, уже сквозь радостные слезы, старичок Геркулес.

— Пойдем скорей в избу, а то ты простудишься.

— Нет... барин... не простыну, мы ведь привычны, — толковал он и руками смахивал с меня снег.

В это время вышли из избы его сын, хозяйка и старший внук со свечкой в руках. Но ветром тотчас захватило огонь, и я с непривычки к избе едва попал в маленькие дверцы...

Старушка, жена Николая Степановича, тотчас распорядилась подбросить на загнетку

мелких дровец. В избе стало светло, тепло и уютно, а в объемистом горшке варились уже пельмени[20], и толстый, неуклюжий самовар начинал пыхтеть в углу около печки. Молодوخа, жена сына, торопливо накрывала на стол, обтирала посуду и частенько подбегала к самовару, чтобы пораздуть его голенищем старого сапога.

— А вы что же, разве еще не ужинали? — спросил я, ни к кому не обращаясь лично.

— Нет, барин, не ужинали. Так ведь еще рано, мы вот сидели да почиивались, — говорил Шестопалов. — Это, значит, падерой-то затянуло, так оно и показывает, что поздно, а то нет; мы вот только что отсумерничали да и зажгли светец.

— А мы к вам насилу попали: хоть пальцем коли, не видать ничего, да и шабаш. Футь, братец, какая оказия поднялась, страсть! — говорил привезший меня ямщик, греясь у печки.

— Я ведь давненько услышал, что потенькивают колокольчики, да думал, что так кто-нибудь, мол, трахтом пробирается в такую непогодь и, признаться, пожалел проезжаю-

щих, — толковал Николай Степанович, разводя руками.

Мы уселись на лавке и в короткое время успели о многом потолковать с гостеприимным хозяином. Николай Степаныч, как сибиряк, спросил меня обо всем, что его интересовало, и в свою очередь толково отвечал на все мои вопросы, душевно соболезнуя о том, что Култума стала уже не та, а судьба разъединила нас, и теперь нет случая попромышлять вместе...

Подали ужинать и накрыли мне одному.

— Это что же такое? — сказал я. — Садитесь все, а я один есть не стану. Я ведь не «чашник» и не «белоногой веры».

— Ну что же, старуха, давай, накрывай скорее на всех; вишь, его благородие не любит, — говорил старик.

— А вот водочки-то и нет, не обессудь, барин! — продолжал он, обращаясь ко мне.

— А коли нет, так у меня есть своя, и тебя попотчую.

— Ну, нет, барин, уволь, не стану.

— Это почему?

— Так ведь ты знаешь, что я не пью по за-

року: как придет покров, ну тогда уж и того, разрешаю вовсю, это мой праздник, а то ни!..

— Ну, а нынче тоже сдернул охотку?

— Сдернул, барин, да так сдернул, что едва и богу душу не отдал.

— Вот это и худо, Николай Степанович. Надо, брат, все в меру.

— Ну да что поделаешь, коли так пришлось: вишь, мера-то не при нас писана. Значит, захлестнуло сразу. Вот я и давай понужать, да так напонужался, что дней десять бу- ровил и свету не видел...

В это время на дворе опять послышался лай собак и вдруг смолк: доносился чей-то знакомый голос и уже ласковое повизгивание сердитых псов.

— Поди-ка, Егор накатил, — сказал старик и стал прислушиваться.

Действительно, вскоре отворилась дверь, и в ней показалась занесенная снегом фигура Егора Степановича. Он с умильной физиономией тихо пролез в дверку, снял чебак, помоллся образу, поклонился на все стороны, подал руку брату и устремился на меня:

— Баринушка, здравствуй! Вот еще господь

привел свидетелься!..

— Здравствуй, Егор Степанович! А ты, брат, все такой же?

— Да пока бог несет, ваше благородие. А как ты поживаешь?

— Да ничего, ладно.

— А мне дедушко Пальцев сказал, что ты проехал. Вот я скорей засупонил конишка, пал на дровни-да и ну-тка сюда: дескать, верно, барин ночевать станет, ведь не поедет же в такую падеру, а я хоть погляжу!..

Подали ужинать на всех, и хозяйюшка снова обратилась ко мне: «пожалуйте!»

Я достал фляжку, попотчевал Егорушку, сына, ямщика и выпил сам.

После долгой езды и мороза я с особенным аппетитом подергивал пельмени из общей чашки и подзадоривал веселого Егорушку. Но он не отставал от меня и без просьбы, а поддевал по два пельменя на ложку и, по обыкновению, смешил всех нас.

— Вот и видно, что дома обедал! — говорил он смеясь. — Дома-то я не смею, хозяйка торопится, а в гостях-то совесть не зазрит, все больше по два стараюсь. Да и пельмени ка-

кие, словно чем смазаны, так насквозь и про- скакивают!..

После ужина нам постлали толстые потни- ки (войлоки), кому где любо, и пошли беско- нечные разговоры. Шестопаловы снова спра- шивали меня, а я их закидывал всевозмож- ными вопросами, и, конечно, наши повество- вания перешли на охоту. Егор Степанович, с природным юмором, передавал свои похож- дения, и все хохотали до слез.

Между прочим, он рассказал нам про свою весеннюю охоту на рябчиков.

— Одиново (однажды) ночевал я в лесу. Утром, чуть-чуть свет, сварил себе чаю, позав- тракал и отправился промышлять, — говорил он, — а утро такое зачалось доброе, что и сердце-то радуется: тихое, ясное и такое теп- лое, что ижно пар повалил из земли, а потому и травка молодая, как щетина, повсюду по- лезла и стала зеленеть по увалу, а лиственни- ки уже совсем отдохнули и хвою набирали, а от них понес запах, да такой бравый, что словно духами напрыскано!.. Вот я отошел от табора и полез на залавочек (возвышение), в чащичку. Думаю: уж тут непременно есть

рябки, потому как они такие места любят, особливо около солнопека да близ водички. Вот иду помаленьку да в пикульку посвистываю, и не успел я спикать два или три раза — слышу, где-то близехонько вспорхнул рябок и подал мне голос. Я тотчас остановился, присел на валежинку и послушиваю, а ружье-то, значит, положил концом на кустик. А ведь ты, барин, поди-ка, помнишь мою турку, чуть не с оглоблю... Вот я и слышу опять — где-то в другой стороне вспорхнул рябок и тоже подал свой голос; я переждал маленько да и спикал каорябушка — они, братец ты мой, ту же минуту спурхали на пол да и нутко пешком, а я и слышу, что бегут, прутиками пошевеливают, листочками сухими пошмунивают. Вот и притаился и не шевелюсь, а только поглядываю да и вижу, что один самчик весь натутурцился, распустил крылышки, а гребешок и хвостик поднял да так и наливает по заячьей тропке прямо ко мне, а другой, значит, напересек ему. Думаю, что мне тут делать, испугаю, непременно, мол, испугаю. Я тихонько пригнул молодую листвяночку да и заслонился маленько, а глаза-то прищурил, как бурхан

мунгальский (идол), и вздохнуть-то боюсь. А вот и слышу, что один рябок пробежал по моим ногам, значит, по самым ступням, а другой-то, будь он проклят, должно быть, зачуял меня и вспорхнул кверху да и уселся на самый конец моей турки, а сам расшеперился да как засвистит лихоматом, меня инда смех задолил — я как прысну да как фыркну во весь рот, они тотчас вспырхали кверху да и уселись на небольшую листвянку. Я ту же минуту взбросил ружье и тут же одного сшиб, а другой улетел без оглядки и так затянулся в чащу, что словно пропал, так напужался, чтоб ему пусто!..

— Ах ты, Егорушка, Егорушка! — сказал я шутя. — И все ты такой же до старости.

— Эх, барин, барин, так неужели же все плакать. Ведь и без того горя-то много. Уж на что у попа велики карманы, а всего и в них не складешь.

— Это верно, Егор Степаныч. Хвали господа, что он наделил тебя таким веселым характером, и я, право, тебе завидую. Счастливеец ты, вот что! А теперь, брат, за тобой очередь, рассказывай ты, что с тобой было, — сказал я

Николаю Степанычу.

— Да что, барин, со мной было, — говорил он, усаживаясь на полу, — много чего случилось, всего не упомнишь.

Однако: Шестопалов помаленьку перешел к рассказу, как он пред рождеством ходил со своим сыном на берлогу.

— Ну и Сенька у меня, барин! Такой молодец, что и сказать не умею, — говорил Николай Степаныч про своего сына.

Действительно, Семен Шестопалов был в то время такой молодец, каких мало и по всей Руси православной. Он, бедняжечка, только головой выше и чуть ли не полтора раза пошире и посильнее своего геркулеса тятеньки. Любо и завидно смотреть на таких молодцов! Он точно весь из чугуна отлит в форму человеческого образа, и нигде нет пустого местечка: «все ровно сколочено и пестом натолочено», как говорил Егор Степаныч...

— Мы, барин, еще с осени заприметили эту берлогу, ну и помалчивали: никому, значит, и Егорушке даже не сказывали; а все поджидали, дескать, пускай облежится, — рассказы-

вал Николай Степаныч. — А вот как пришел рождественский пост, мы и того, собрались, благословясь, да и поехали втихомолку, чтобы, значит, огласки никакой не было, а то оно нехорошо...

— Да не все ли равно, дедушко?

— Ну нет, барин. Как же равно: ведь всякий народ есть — другой, значит, гроша медного не стоит, а туды же озевать может либо подстроит какое колено, вот оно и неладно, а ведь это не козуля. Храни господи, пожалуй, такую прическу заплетет, что и никаким гребнем вовек не расчешешь. Мы, значит, как порешили с Сеньхой промыслять зверя, то собрались втихомолку да и отправились в тайгу с обеда и домашним не сказали, зачем поехали, а так, мол, козьи пасти порубить захотели. А то нехорошо, как бабы спознают, станут опасаться да причитать разную диковину, а промысел этого не любит, тут, барин, одно господне благословение да своя воля без всякого бахвальства нужны, вот что! Приехали мы к месту еще раненько и, не доехав до берлоги с версту, отаборились в небольшой падушечке (ложочке), чтобы зверь никаким

образом не мог нас слышать. Вот как расседлали лошадей, развели огонек, то и решили сходить к берлоге, чтобы посмотреть, тут ли зверь. Надели винтовки, заткнули за поясы топоры и, ступая след в след, тихонько подобралась к берлоге сажень на тридцать, посмотрели и видим, что тут. Ну, мол, слава богу, здесь! — шепнул я Сенюшке, подернул его за рукав и повернул назад. Отошли этак сажень сто, а Сенька-то и говорит мне:

— А что, тятка, давай промышлять сейчас, ведь еще рано.

— Нет, мол, Сенюшка, так нельзя, это, брат, не собака. Надо наладиться как следует, да тогда уж и пойдем, благословясь, а торопливость годна только блох ловить, вот что, голубчик! А вот переночуем, изладим оборону, да, как обогреет солнышком, ну тогда и пойдем с богом.

Пришли мы на табор, и стало смеркаться, но мы вырубали здоровые березовые ратовища, обсочили их под силу и уже при огне приделали к ним большие ножи, а потом сварили ужин, поели, накормили коней и улеглись спать. Сенька мой как лег под шубу, так и за-

храпел, что твой Илья Муромец, а до того все, значит, потягался да сжимал кулачище, а ел за троих. Я все это вижу, да только помалкиваю, а на уме думаю: «Ладно Сенька у меня молодец, этот не струсит, все приметы хорошие», а то, барин, труса сейчас увидишь: бледнеет, ночь не спит, вертится как на угольях... Ну на такого уж и не надейся, дрянь! Как раз скормит зверю.

Спали мы славно, да и ночь такая была теплая, что я под шубой-то ижно вспотел. Да и порошка маленькая упала, так что все поотмякло, отботело, и старый снег не стал похрустывать. Вот, мол, господь благодать послал! Я на свету встал и разбудил Сенюшку; вставай, говорю, да корми коней, а сам поправил огонь, сходил за водой, навесил котелок и наварил карыму (кирпичный чай). Солнышко только вошло, а мы уж наелись и совсем прибрались на таборе.

— Ну что ж, тятка, пойдем! — говорит Сенька.

— Нет, мол, погоди маленько, пусть обогреет, а вот садись да и слушай, что я тебе скажу. И я ему, барин, тут рассказал все, что нужно

делать, когда пойдём к берлоге: как заломить, как не пускать зверя, коли полезет, куда стрелять в случае надобности и что делать, буде случится что недоброе. Словом, все, что знал и думал, то ему и передал.

— Хорошо, говорит, тятка! Все это я понимаю и надеюсь, что не сдам, а только ты сам не давай маху...

— Вот как обогрело маленько, мы сняли шапки, помолились господу, помянули сродственников, поклонились друг дружке в ноги и трижды поцеловались, а потом я благословил Сенюху и сказал, что если, не ровен случай, задавит меня зверь, то ты, мол, родимый, не оставляй без призрения матери и сестер, а пой и корми их до последу, тогда и тебя господь не оставит, а всем им и внучкам передай мое благословение...

Потом мы, значит, надели полегче поддевки, взяли все доспехи и пошли потихоньку, а снег не глубокий, меньше коленка, так что мы и не вспотели... А берлога-то, братец ты мой, была сделана на залавочке, почитай под увалом, в редколесье, в небольшой чащичке, под выскарью; но, значит, не там, где выворо-

тило с корнем лесину, нет, а с другой стороны, за выворотом, у самой матки. Зверь выгреб себе яму, натаскал себе сучьев, чащи да и привалил их к комлю лесины и сделал такую хоромину, адоли балаган, так что с одной стороны его защищал выворот, а с другой-то комель матки, такой матерящей лиственницы, что страсть! Я давно знал эту лесину, да года с четыре назад она подгорела в пожар, ну а потом и упала от бури прямо в чащичку. Так видишь, барин, мы как подошли молчком к лазу, я тотчас тихонько расчистил ногой снег, встал на коленко и поставил на сошки винтовку, а ратовище приткнул в снег около себя у лесники. Когда мы увидали, что зверь нас не почухал, то я мотнул рукой Сенюшке, он тотчас подошел сбоку к самой берлоге, поставил около себя винтовку, ратовище и тихонько заломил толстущим бастрыгом наперек лаз. Когда он совсем поправился, я взял приготовленную нарочито дразнилку и стал помаленьку пихать ее в берлогу. Только что ткнул я два или три раза, как слышу, что зверь пошевелился, и я увидал в потемках, глаза так и горят как свечи, инда неловко ста-

ло.

— Смотри, мол тут! не робей! — шепнул я Сенюхе и ткнул опять дразнилкой да и угодил, должно быть, в самую морду, потому что я слышал, как зверь схватил ее зубами и ту же минуту высунул голову, но Сенька тотчас прижал ее бастрыгом, а я, значит, в это же время и стрелил из своей старухи.

Тут, братец ты мой, зверь-то как пыхнул назад да и полез кверху. Смотрю, ну, едят-те мухи! А вся крыша на берлоге так и зашата-лась, снег повалился, а из него и выставился до половины всей туши вверх да как заревет, проклятый, так ижна волосы дыбом! А у самого кровь из пасти так и каплет, так и каплет на лапы. Я испужался, соскочил на ноги, бросил винтовку, схватил ратовище да и кричу Сеньке: «Стреляй, мол, скорее! Что ж ты зевашь?»

А он, барин, ни слова не говоря, в одно мгновение ока выдернул из-под чащи бастрыг, да как хлопнул им зверя по переносью, тот и осел, заболтал башкой, да как зафыркал, заплевал, а сам ревет, инда лес гудит! Тут Сенька-то опять не обробел да и махнул его

по голове тою же ннжстиной снова, и раз; и два, да и давай тальчить, только бастрыг мелькает. Я подскочил и поймал Сенькину винтовку да вижу, что зверь сунулся, как мешок на чашу, и стал биться, подергиваться, а тут и совсем затих, только, значит, дрожь по шкуре забегала, а потом и этого не стало.

— Уснул! — говорит Сеньюшка.

— Нет, мол, постой! Дай-ка я лучше стрелю его в ухо, а то кто его знает, уж не прихилился ли? Ведь бывает и это!

— Нет, тятка, не надо! — говорит Сенька. — Видишь, уснул и не здышет.

— А сам тотчас подскочил, сел на него верхом, взял за уши, да и говорит опять: «Не я тебя бил, а злой татарин!»

Это уж, барин, такое поверье ведется у здешних зверовщиков, чтобы, значит, на прок[21] отзадков[22] никаких не было. Мы подождали маленько и, как увидали, что зверь действительно уснул совсем, завязали ему за голову кушаки и вытащили из чащи на снег, а как оснимали, так шкура-то четырнадцать четвертей вышла, безо всякой растяжки. Во какая медведица!

— Значит, ты уж и не стрелял другой раз? — спросил я.

— Да кого, барин, и стрелять-то! — перебил меня Егорушка. — Сенюха-то так ее отмолотил, что всю башку изломал.

— Что же и медвежатки были?

— Нет, одна была, как есть одна. Какая-то пустоцветная, и брюхо распороли, так один жир, — говорил Николай Степаныч. — Бывает ведь, барин, и это. Другая весь век свой ребятишек не носит.

— Странно только вот что, — сказал я, — как она после удара бастрыгом далась на другие удары, не спрятала голову и не закрылась лапами?

— Так видишь, барин, ловко ей угодило по переносью, вот, поди-ка, и вышибло сразу из памяти да и отуманило до потемок.

— Ну, а куда же попала твоя пуля?

— А угодила в шею, пониже плеча, да и прошла в грудь и сердце только чуть-чуть не задела.

Тут запел под печкой петух и так громко, что я вздрогнул от неожиданности.

— Чего ты, барин, испужался? Словно не

из робкого десятка, а тут, вишь, петуха побоялся! — сказал мне шутя Егорушка.

— Да видишь, батюшка, как он спросонья-то заорал, а еще и пельменей не ел!

— Он брат, и без пельменей душу отводит: защурится да и кричит лихоматом, дескать, эвот я как! А вы, мол, считайте: крикну как впервые, значит, чертей всех разбуду, что вылезали с преисподней да народ соблазняли, а как заору вдругорядь, значит, шабаш. Их всех угоню, вот они и позапихаются которого где захватит, — балагурил все тот же Егорушка.

— А ты, Егор Степаныч, видал когда-нибудь черта?

— Видал, барин, и не один раз. Вон у нас бабушка Шайдуриха, да чем она лучше его? Всем вышла, и обличьем, и ухватками, настоящая сатаниха!..

— А! Знаю. Да неужели она все-то еще жива?

— Куда она денется? На том свете за нее паек получают! Все, как кикимора, ходит из одной избы в другую да народ сомущает. Сколько одних девок перепортила, чертовка! Никакая сила не берет эту старуху, точно она

злой судьбой припечатана!.. Да что о ней толковать, настоящая лихоманка. А ты вот лучше спроси Микулая Степаныча, как он разбойника Казанцева ловил, а вечер-то еще длинный, он и расскажет.

— А вот погоди маленько, барин! Я только во дворе коней посмотрю да привяжу их на выстойку, чтобы к утру готовы были, а то наедятся, так и станут преть, а как подберутся к стойке, так оно и лучше, легче побегут.

Николай Степаныч разбудил геркулеса Сеньюшку, надернул шубенку и вместе с ним вышел на улицу. Буран хоть и стихал, но все еще завывал в трубе и шумел снегом по окнам.

— А ведь еще рано, — сказал я, посмотрев на часы, — только половина двенадцатого. Как же это петух-то рано пропел?

— Да вишь, барин, к бурану-то и все больше этак: точно и ему не спится, будто опасится, словно человек заботливый, — толковал Егорушка и поправил светец в доньшке разбитой бутылки.

Немного погода пришел Николай Степаныч, заложил за губу порядочную щепотку «сам-кроше», сбросил шубенку и снова уселся

на свой потник, на пол.

— Ну, так что же? Николай Степаныч, расскажи же мне про разбойника-то.

— Ты уж, брат Микулай, рассказывай все, — ввернул Егорушка. — Это занятно, не сказка какая-нибудь.

— Какая тут сказка! Сущая быль. И теперь вспомню, так диву даешься, какие на свете люди бывают, оказия!

Я закурил папиросу, а Николай Степаныч расстегнул на рубашке ворот и принялся рассказывать.

Дословно передаю более или менее сглаженное повествование Николая Шестопалова.

— Этому, барин, лет восемнадцать, а либо и все двадцать уж будет (значит, в сороковых годах), как бежал из острога волжский разбойник Казанцев. А за что он сидел в каторге, бог его ведает! Только такой, значит, он был, что его и своя братия боялась до смерти. Потому он и сидел отдельно ото всех, а тут как-то сплеховали, Казанцев разбил цепь, выворотил решетку, да и был таков. Утром-то как хватились, а его и след простыл. Дали явку по

всей округе, чтобы непременно поймать и доставить его в управление, но он, проклятый, как в воду канул, и почти целый год о нем не было ни слуху ни духу.

Но вот прошла молва, что Казанцева в вид видели то в той, то в другой деревне. Пошли толки, народ загалдел повсюду, но настоящей никто ничего не знал. А тут, маленько погодя, стали уж и потолковой рассказывать, что вот мол, в такой-то именно деревне схватили его за гумнами, но он разбросал поимщиков и скрылся.

Потом, значит, молва пошла и поболее, и похитрее, что вот в такой-то день видели его там-то, а чрез какие-нибудь сутки сметили его верст за сто. Точно на крыльях, проклятый, летает, а либо на каком ковре-самолете уносится с места на место. Эти толки живо обошли весь околоток и так напугали народ, что все стали опасаться, а где так и молебны служить...

Пошли такие штуки рассказывать, что волоса дыбом. Где коня что ни на есть лучшего украл; где корову зарезал, где барана, а где так и в сундук залез да ограбил все деньги у

богатых мужичков. А где не поживится ничем, так деревню подожжет, а сам отбежит куда-нибудь в сторону, да так захохочет силой нечистой, так инда лес гудет. Целыми деревнями сбивались православные и ничего поделать не могли. Вот он, видят, тут и есть, а бросятся на конях, он как сквозь землю провалится, словно в воду уйдет; ищут, ищут, попустятся и поедут домой, а он, глядишь, тут же где-нибудь выскочит да и захохочет как дьявол.

Стали уж говорить, что он и с силой нечистой знается и шапку-невидимку какую-то носит; а конечно, все это вздор, запуги одни, потому что он такой же человек, как и все, только значит, ловкость имеет особую, знает, куда броситься, где плохо лежит. И все бы это ничего, барин; мало ли по здешнему месту бегают из острога, все они охулки на руку не кладут. Да дело-то в том, что он, окаянный, уж шибко до женского пола охоч был. Где, значит, поймает женщину или девушку, уж так ли, этак ли, а она, сердечная, будет его. Где лестью возьмет, где угрозой, а другую так просто силой добудет. Многие из них сначала

да-то таились, не сказывали, а все это потому что он их застращивал: коли, мол, скажешь, так я тебя найду, от меня не уйдешь — на лесину повешу кверху ногами. Ну и боялись до смерти, и грех на душе замыкали...

— Да как же, Николай Степаныч, Казанцев ловил их? Ведь этот народ больше дома сидит, а отлучается чаще артелями, — спросил я, прерывая рассказ.

— Что ты, барин! Да хитрость-то чего на свете не делает. Мало ли где их изловить можно в крестьянском быту; а ведь он, проклятый, так и караулит по таким местам, где они, голубушки, ходят безо всякой опаски. Вот либо за коровушками пойдет, либо по венники отлучится, а нет так за ягодами утянется, мало ли где? А он ведь, как волк смердящий, цоп — да и захоронится с ней, пока не натешится. А та несчастная и пикнуть боится, потому что как увидит нож, так поневоле со страха распухнет. Конечно, ведь и он не дурак, не бросится туда, где ходят артелями, а скараулит уж такую, которая одна либо отобьется от подружек подальше, да где место подходит.

Вот, значит, как призналась на духу одна, другая, третья — так молва-то и покатила по всему округу, вот и стали опаситься, а народ освирепел и начал начальство просить, чтоб помощь дали...

А тут как раз узнали, что Казанцев в Нерчинском заводе украл из-под замка у вдовы Павлучихи знаменитого иноходца, за которого ей тысячу рублей давал какой-то купец из Иркутска. Ну и конь, барин, был — страсть! Из себя большой, длинный; ножищи, как железные, а в груди так хоть человек пролезай. Сам такой красивый, грива и хвост большущие, а бегал так, что и сверстников не было, никакой бегунец (скакун) не держался, летал словно птица. Бока у него, как бочки, надуты, а в брюхе подбористый, точно собака. Ну, а как пустится иноходью, так ног не видно, точно земли не касается, только копоть (пыль) одна — страсть!..

Вот, барин, как добыл он этого коня, тут уж и залетал, как птица, а доли орел с одного места в другое. Тут напрокудит, там только спохватятся, а его уж и след простыл. Потом дошло до того, что он, подлец, стал насмехаться

на самых глазах. Вот народ падет[23] на коней да и бросится ловить его артелью, а Казанцев подпустит этих молодцев поближе, повернет коня на дорогу, привстанет на стремянах, покажет им спину, похлопает по ней рукой да как свистнет по-разбойничьи, только и видели! Гонятся, гонятся, плюнут да и воротятся.

— Все-таки я не понимаю, Николай Степаныч, как же народ переносил все эти безобразия и нигде не пристрелил его втихомолку?

— Эх, барин, а суеверство-то наше на что? Ведь в народе-то Казанцев прослыл каким-то Соловьем Разбойником, которого ни меч не берет, ни пуля не догоняет. Известно, кабы попробовали этого Соловья из винтовки, увидели бы, что вся эта молва вздор. Так, видишь, барин, боялись ответа: ведь каторгу-то никто не уважает, а кому же охота из-за такого каторжанина цепями-то грохать? А вот ты и слушай дальше, чего я тебе скажу. Вот, значит, этот самый Казанцев довел до того, что и начальство уж хватилось за ум, да и предписало по тем волостям, где он озорничал, сделать общественные облавы и непременно изловить этого разбойника. Ну народ обрадо-

вался и давай выезжать на поимку целыми деревнями, словно за зверем каким, инда смех берет. Ездят, ездят, ищут, ищут и по горам и по лесам, а Казанцева и видом не видать, и слыхом не слыхать, точно в тартарары запрячется. Ну да ведь и он не дремал, барин, все это знал и смекал, где его облавят, да и укатит туда, куда и не думают. Вот, глядишь, и пойдет опять слух, что Казанцев-то верст за двести от того места и уж там озорничает. Только он раз как-то и сплоховал маленько да и попался в облаву. Многие молодцы увидели его на коне, закричали сполох: «Здесь, здесь, братцы!» Ну, конечно, все бросились к тому месту и решили так, чтобы прижать разбойника к поскотине: тут уж он, мол, не уйдет, не вырвется, тут ему и конец! Вот все бросились верхом и погнали его с разных сторон, а он, проклятый, показал им опять спину да как махнет через поскотину на своем *калюнке* (конь золотисто-соловой масти с черным хвостом и гривой), только и видели. Ух, ах! А где возьмешь, им и не пахнет!

Тут Николай Степанович приостановился, выбросил из-за губы старый табак, заложил

новую здоровенную понюшку и поправил светец, а Егорушка подтолкнул меня и тихонько сказал:

— Это еще, барин, только половина; вишь, брат Микулай за новым зарядом в тавлинку поехал!..

— Ладно тебе зубы-то скалить, — огрызнулся Николай Степанович, — нет, братец, вот попробовал бы ты сам с ним повозиться, как мне довелось, так не стал бы смеяться.

— Нет, дедушко, а ты вот что скажи мне: что ж этот разбойник только грабил да озорничал, а убийств не делал?

— Как не делал, ваше благородие, так разбойничал, что и сказать страшно! Сначала-то не было слышно этого, а потом, значит, когда стали его ловить, так он словно одичал по-зверски: мужиков убивал до смерти, а либо увечил и насмехался, скрутит ему руки и ноги, забьет рот какою-нибудь онучей да и бросит где-нибудь под деревней, чтобы нашли. Это, мол, за то тебе, желторотый, чтобы ты не ходил в облавы да не ловил, подлец, Казанцева! А несчастным женщинам и девушкам, которые от него отбивались, так он рты

разрезывал, косы отсекал, либо норки (ноздри) рвал и всяко издевался до сраму... Вот вам, красавицы, говорит, за то, что не умели казну получать от Казанцева.

— Ну, вот, видишь, Николай Степаныч, как же не застрелить такого зверя, если поймать нельзя? По-моему, это не грешно и перед богом, и перед своею совестью.

— Так вот, барин, я и хочу тебе сказать о том, что когда узнало про это начальство, то и распорядилось по всему округу сделать облаву повсеместно, со всех, значит, деревень, и во что бы то ни стало доставить Казанцева хоть живого или мертвого. По всем дистанциям разослали тихонько с нарочными указы и велели произвести облаву всем в один день да искать разбойника, пока не найдут. Все местное начальство тайло этот приказ до времени, а потом вдруг объявило всем жителям. Боже мой, какой содом поднялся по всему миру! Народ, как червяки, закопошился по всем дворам и в назначенный день выехали на облаву, кто с ружьем, кто с топором, кто с косой, беда! Только стон пошел по всей округе. Все миряне до того, значит, обозлились, что соби-

рались в артели человека по три, по четыре и давали между собою клятвы, чтобы друг друга не выдавать, а где попадетсЯ разбойник, то ловить или убить как собаку.

И к нам в Култуму пришел, значит, такой же указ от горного начальника[24]; тоже была объявлена облава по всей нашей грани, и сказано так, что если кто доставит живого Казанцева, тому выдадут пятьдесят рублей вознаграждения.

Вот я, как услышал это, так и стал одумывать такую штуку, как бы мне одному поймать этого злодея мирского. А я уж, значит, слышал о том, что Казанцев пронюхал об огульной облаве и стал вертеться около нашего рудника (селения), потому что места-то у нас лесистые и гористые: ему, варнаку, есть где притулиться. Ну-ка я думать, ну-ка думать об этом, да и надумал, что пойду, мол, звать кума Тимофея Вагина с тем, чтоб отделиться с ним от облавы да и поискать разбойника там, где и в нос не бросится. А надо тебе, барин, сказать, что этот мещанин Вагин был вот не хуже моего Сенюшки: страсть здоровенный мужик и зверовщик из десятка не выбросишь

да и стрелок не последний. Он и с медведем боролся, вот в вершинах нашего Еромая. Уж чего, брат, и говорить, боец настоящий! Ну да и Казанцев был не промах, такой-то страшнящий мужик, что страсть! Недаром и ребяташек пугали им бабы. Сам здоровенный как су-тунок сосновый. Что ноги, что руки, все еди-но, словно чугунный, а шея как у быка, и ро-жа вся в клеймах, только он их чем-то зама-зывал. Борода чуть не по пояс, волосы кудря-вые, а глазищи, так вот и шьют во все сторо-ны, точно у рыси.

Так вот, барин, пришел я к куму, да и стал его звать на поимку. «А куда, говорит, мы по-едем? Черт его знает, где он спасается! Вот толкуют люди, что он залезает весь в воду, возьмет в рот камышинку, да чрез нее и ды-шит. Вот и ищи его, проклятого!» — «Все, мол, это, Тимофей, пустое. Как можно этому ве-рить? Ну, положим, что и залезет, так много ли он надюжит? А коня-то куда он денет? Ведь в воду не запихает, а без него теперь ему не нога».

Долго мы толковали с ним обо всем и ре-шили, барин, на том, что возьмем с собой по

ружьё, по топору, по веревке да и поедем отдельно. Только, мол, надо спроситься у пристава. А тогда Култумой управлял Михаил Евграфович Разгильдяев, значит, брат бывшему горному начальнику. Вот пришел я к нему и велел доложить, а он знал меня коротко и любил за мои услуги, потому что я же ему и тарантасы оковывал и коней охотных (рысачков и иноходцев) ковал. Выслушал это он меня.

«Что ты, братец! — говорит. — Да как это можно отдельно ехать? Ведь он тебя порешит на месте. Видишь, какой зверь. А теперь он обозлился». — «Не сомневайтесь, мол, ваше благородие! Я ведь и сам не ребенок, да у меня и товарищ есть хороший». — «А кто?» — говорит. «Да кум мой, Тимофей Вагин». — «Ну, брат, этот и сам зверь, не хуже Казанцева. С этим, пожалуй, что и можно». — «Так благословляйте, ваше благородие! Мы сегодня же и уедем, а облава пусть завтра направляется». — «Хорошо, Шестопалов, ступайте с богом!» — сказал он и перекрестил меня в голову.

— А надо тебе, барин, сказать, что я все

приемы Казанцева знал, потому что не раз уже слышал о них от, людей вероятных, которые бывали с ним в переделках. Он, подлец, чего, например, делал: как приструнят его на поимке, он возьмет да и бросит какого-то порошку прямо в глаза, так что человек поневоле отскочит да и закричит лихоматом; а то ножом пустит с ремня да так метко, что куда захочет, туда и воткнет. Сам Казанцев часто переодевался в разные зипуны: то, значит, видят его в черном, то вдруг в рыжем, и шапки менял чуть не каждый день; а коня чем-то красил: то он у него вороной, то рыжий, а то так и пеганым сделает, хоть по природе-то он был настоящий калюный. И коня этого он так намуштровал, что тот бегал за ним как собака, а если где ходит поодаль, так Казанцев только свистнет между двух пальцев, конь-то со всех ног так и бежит к нему без оглядки. Но уж никогда не соржет и о себе знаку никакого не даст. А легкость в нем такая была, что никакая изгородь его не держала, — как махнет, так через и перелетит как птица. А не то с любого берегового яра так и бросится в воду — вот такая беда! Ну как тут наш брат, мужик

необразованный, не поверит тому, что Казанцев знался с нечистым?

Мы, значит, в тот же день оседлали что ни на есть лучших коней, взяли с собой харчей дня на три и поехали по дороге к деревне Х (названия припомнить не могу). Вагин зарядил свою зверовую винтовку, а я заправил свой большой дробовик целую горстью жеребьев, так что и на медведя так ладно.

Первую ночь мы ночевали в большом колке, совсем в стороне от облавы; спрятали лошадей и огня не разводили, чтобы не было, значит, никакого подозрения. Ну, а дело-то было к осени, и мы так продрогли, что утром едва отогрелись. Маленько позакусив, мы заехали на сопку (гору), спрятались за кустики и все утро наблюдали, не проедет ли где-нибудь Казанцев, но никого не видали и днем; а поездив около этих мест, никакого следа не переняли. Но по всем нашим помекам, Казанцев должен был скрываться в этой округе, в стороне от облавы, так что мы с Вагиным порешили ночевать и вторую ночь на старом таборе, где место укромное, а лесного пырея для коней достаточно.

Еще с вечера мы сварили на маленьком огоньке чаю и с пряжениками (пирожки с мясом) поужинали, а к ночи огонек совсем потушили и залили водой, чтобы по свежему воздуху и дымом не пахло, а то ведь как раз нанесет на дошлого человека, вот и скажет, что тут кто-нибудь есть. Эту ночь мы спали по очереди: сначала я маленько соснул, а так с полуночи улегся Тимоха, и я стал караулить. Вот пред утром слышу я, кто-то едет верхом по дорожке; я притаился, взял в руки свой дробовик и боялся только того, как бы, думаю, не заржали наши кони; они, часто бывает, на воле, как кто-нибудь едет близенько, а наш табор был от дорожки не более как сажень с сорок, да почитай, и того не было.

Вот я слушаю-послушаю: едет, все ближе и ближе. Думаю на уме: это он, непременно, мол, он, больше некому ночью тут ехать, и так мне стало жутко, что и сказать не умею. Вот я разбудил тихонько Тимоху да и погрозил ему рукой: молчи, дескать, да слушай. Тут, значит, конский топот, по-иноходному, и совсем уж приблизился; ну, барин, а нас так и ободрало морозом. Вагин схватил топор и сел,

а я тихонько встал на ноги да и слышу, что кто-то едет и так нежно посвистывает, будто не по-нашему, а как поравнялся с нами, конь за что-то запнулся, и седок хлестнул его со всего маха нагайкой, а потом заругался.

Когда он проехал, я подтолкнул Тимоху да и говорю: «А что, кум, ведь это Казанцев проехал?..» — «Пожалуй, что и он».

Мы тотчас босичком выбежали к дороге, но за темнотой видели только одну стену (силуэт) верхового человека и слышали, как все тою же иноходью удалялся проезжающий. Мы воротились и улеглись под шубенки.

«Куда же это он пробирается?» — говорит Тимоха. «Не знаю, а должно быть, к бараньим стоянкам: там место диковато да и открыто, а ему теперь этого и надо, чтоб издали сметить облаву, коль она туда направится. Да нет, она на стойбище не пойдет, а станет искать его по лесам да по речкам. А он, хитрец, все это знает, вот, поди-ка, и лезет на степоватое место где его, варнака, и не чают».

Нас как пригрело под полушубками-то, мы и уснули, а на свету сварили чаю и позавтракали. Выйдя на дорожку, я и сметил, что по

сырой-то земле уж шибко приметен весь след прошедшего тут коня. Вот я позвал кума, и мы углядели по следу, что три ноги у коня, должно быть, кованы недавно, потому что и гвозди-то видны, а задняя левая без подковы, босая.

«Ну брат, Тимоха, гляди-тка, нам сам бог дает путину, чтобы найти душегубца. Давай-ка седлаться, да и поедем по следу, а тут не замнут, проезду немного, место глухое. Только не надо торопиться, а глядеть на дальях (издали), чтоб он сам не сметил нас раньше».

Когда мы поехали, солнышко уже взошло высоконько, и была такая тишь, что нигде единого человека мы не заприметили. Поэтому ехали тихонько, не торопясь и не теряли следа, который верст пятнадцать шел все дорожкой, а тут вдруг потерялся, и его на тропинке не стало. Мы слезли с коней и едва-едва разобрали, что след своротил направо и пошел в ту сторону, где должны быть стоянки.

«Ну что, кум? Правду я тебе сказывал, что Казанцев проехал и что он пробирался к сто-

янкам?» — «Правда! — говорит. — Так что же станем теперь делать?» — «А что, мол, делать, вот поедем вон за те сопки да и поглядим с них, нет ли где-нибудь его *калюнка*, а коли нет, то спросим пастухов: не видали ли они».

Так мы и сделали, но сколько ни шарились, а нигде уприметить не могли. Когда же солнышко пошло напokatь, мы себе тихонько подъехали к стойбищу и нашли в нем одного пастушонка, так мальчишечку лет двенадцати, и стали его спрашивать:

«А что, мол, парнишка, ты разве один па-сешь тут овец?» — «Один, — говорит, — дя-дюшка, да и боюсь». — «Так на что же тебя од-ного оставляют?» — «Да, вишь, место-то здесь спокойно, неволчисто, а дедушка пошел за харчами, в деревню». — «А далеко ли, мол, де-ревни?» — «Не, верст семь, боле не будет. А вы, дядюшка, какие же будете?» — «А мы, роди-мый, из Култумы, промышлять едем. Ну, а у вас на деревне делали облаву?» — «Делали, да никого не сымали». — «А здесь не были?» — «Нет, да и кого тут искать? Одна степь да ку-сточки». — «А твой дедушка когда ушел на де-ревню?» — «Да чуть свет утянулся». — «Ну, а

тут никто не проезжал верхом?» — «Проезжал какой-то». — «Давно?» — «Да еще утрося (сего утра». — «На каком коне?» — «А такой калюный, чернохвостый». — «Что ж он, заезжал к тебе?» — «Заезжал, да я баран угонял». — «Так и не видел его близко?» — «Видел, как воротился». — «Что ж он тут делал?» — «А разувался да онучи сушил». — «Только?» — «Поел маленько». — «Что ж, и ружье с ним?» — «Не, а пистоль есть». — «А еще что?» — «Три ножа; да такие большие!» — «Где же они у него?» — «Один-то, дядюшки, за поясом, а два-то за голенищами». — «Что ж, он тебя спрашивал чего-нибудь?» — «Просил молочка, да у меня не было». — «А еще что?» — «Да спросил, где дорога на...» — «Что ж ты сказал?» — «А я показал, эвот сюда ездят». — «Ну, а еще что спрашивал?» — «Да просил молочка принёсши, а я, говорит, дам тебе на сапожки». — «Куда же велел принести?» — «А я и сказал, что вон за тем логом есть пашни и балаган, так он тамotka и хотел сождать, а я, говорит, заночую. Только не велел дедушке сказывать. А ты, говорит, как пойдешь за овцами, так и принеси мне ти-

хонько». — «Что ж, ты пойдешь?» — «Не, дя-  
дюшки, не пойду, страшно». — «И не ходи го-  
лубчик! Это ведь бродяга». — «Так сапожки-то  
жалко, он ведь посулился». — «Ах ты, глу-  
пенький, глупенький! Да какие же у бродяги  
сапожки?»

Парнишка посмотрел на нас и заплакал. Мы дали ему чаю да тридцать копеек медяка-  
ми и строго-настрого приказали, чтоб он не  
ходил к балагану и пока ничего не говорил  
дедушке, а когда мы вернемся, то, мол, расска-  
жем ему сами. Парнишка перестал плакать и  
пошел за водой, чтобы согреть наш котело-  
чек.

Напившись чаю, мы с кумом поехали по  
указанной дорожке и увидали на ней те же  
конские следы. Поднявшись на злбчик, мы  
заприметили еще издали земляной балаган, а  
за ним и привязанного коня. Мы тотчас сво-  
ротили в сторону и заехали за кусты, а потом  
пробрались в небольшой колочек и постави-  
ли коней, а сами помолились царю небесно-  
му и пошли с ружьями к балагану. Подкрав-  
шись тихонько, мы услышали храп человека.  
Ну вот, мол, слава богу, верно, спит разбой-

ник. Тут Тимофей спутал его знаменитого коня, который был оседлан и ел снопы овса, а я подошел к самому выходу из балагана, поставил на сошки свой дробовик и встал на одно коленко. В ту пору Тимофей приткнул свою винтовку к балагану, а сам, взяв тяжелый бастрыг, стал сбоку самой двери.

Как и что делать, мы, барин, стоворились с кумом еще в колке. Казанцев ничего не слышал и все еще храпел, лежа во всем одеянии. Сбоку в балагане *шаял* небольшой огонек, из одних конских шевяков.

«Ну, — шепнул мне Вагин и показал на дверку».

В это время Николай Степанович стал на одно колено и воочию изобразил позу, как он стоял на карауле, как Вагин замахнулся бастрыгом и как он сам перемигивался с кумом.

Глаза рассказчика горели, и весь он являлся таким атлетом, которому позавидовал бы любой скульптор и художник, чтобы схватить эту картину и воспроизвести в своем творчестве. Я невольно подвинулся подальше от воодушевившегося Николая Степановича, который продолжал свой рассказ:

«Готово?» — спрашивает кум и замахнулся бастрьгом. «Постой!» — говорю и погрозил пальцем, а сам, значит, совсем приготовился и взвел курок. Как только щелкнула собачка, Казанцев пошевелился, но ничего не почухал и захрапел сызнова.

«Казанцев!» — кричу ему грозно таково. «А, а!» — сказал это он спросонья и схватил свой пистоль в руку. «Сдавайся! Облава!» — рывкнул я пуце прежнего. «Много ли?» — спрашивает. «Двести человек! Ребята, сюда!» — кричу нарочно...

Тут, барин, мы слышали, как у него щелкнул курок на пистоле и сердце у меня замерло.

«Опускай!» — кричит мне Тимоха, но руки у меня задрожали, и я пожалел стрелять в человека. В это время у Казанцева на полке дало осечку, пыхнуло в дверку порохом, и я видел, как он бросил свой пистоль в угол.

«Пропал Казанцев!» — завопил он вдруг и стал на коленки. «Бросай, подлец, свои ножики, не то убью тебя сразу!» — кричу ему. «На, говорит, собака!» — и бросил один нож. «Бросай и другой, душегубец проклятый!» — «По-

давись ты и этим!» — крикнул он с сердцем и выбросил в дверки другой. «Бросай последний!» — «Нету боле!» — А сам шипит он как змея подколотная. — «Врешь!»

Тут, барин, углядел я, что разбойник выдернул нож из-за правого голенища и пустил уж прямо в меня, но господь сохранил меня в эту минуту, и я успел увернуться, так что нож польснул меня только по шубе и распластанул ее по поле четверти на две. А кум как хватит бастрыгом по дверке — только щепы полетели; но разбойник тоже увернулся, а в балагане поднялась копоть и все задернуло словно дымом. Я не обробел, бросил ружье в сторону, кинулся в дверку, схватил Казанцева за волосы и сбил под себя!.. Пока мы барахтались, в балаган проскочил Тимоха и как медведь скрутил разбойника, так что тот распустился и заревел, точно ребенок. Мы выхватили из-за кушаков веревки и связали душегубца по рукам и ногам, а потом взяли его за шиворот, выбросили из балагана на улицу... Он, барин, так злобно глядел, что, кажется, съел бы нас обоих зараз! Так что отвернулись... Ижно неловко стало!..



«Разбойник»

Тяжела картина слышанного мною рассказа, но зато как хорош был Николай Степаныч, когда он при своем повествовании передавал все это в лицах и с ужасными жестами, так что пол и лавки небольшой избенки вздрагивали и тряслись от движений моего старого приятеля...

— Ну, ваше благородие, уж много лет этому минуло, а теперь мороз по коже, как вспомню я этого Казанцева! — продолжал Николай Степанович. — Мы сделали так, что я пошел в колок за конями, а Тимоха остался караулить разбойника. Потом, значит, мы силком посадили Казанцева со связанными руками на моего коня и связали ему ноги из-под брюха веревкой, а я сел на его знаменитого калюнка и повезли варнака в Култуму.

— Что ж он не просился у вас на свободу?

— Как не просился! Просился, и денег сулил дать несколько тысяч: у меня, говорит, они в землю зарыты; а коли не отпустите, то я, мол, убегу из острога и тогда вам жилы повытяну, ремней накрою, языки повырежу, на огонь пущу...

Тут, значит, Тимоха и не вытерпел, подле-

тел к нему да и закричал: «А! Волчище смердящий! Так ты еще стал застрачивать! — да как начал его наливать нагайкой, так с зипуна только шерсть полетела. — Вот я тебе, говорит, накрою рубцов да повыправлю жилы!»

— Что же он?

— А что, барин, только молчит да зубами кричит, верно, своя шкура-то!

Потом, значит, как привезли мы его в Култуму, так столько народу собралось смотреть разбойника, страсть! Бабы так и голосят да причитают, а бойкие ребятенки стали в него плевать, дразнить, бросаться... Чистая беда! А он, проклятый, только глазищами поводит, как ястреб. Тут его сейчас заковали в ручные и в ножные, посадили за решетку, назначили большой караул и на другой день за конвоем отправили в Нерчинский завод.

— Ну, а что же награду? Выдали или нет?

— Выдали, барин, на другой же день. А когда мы привезли разбойника, то г. Разгильдеев попотчевал нас водкой и хотел представить к медалям, да из этого пива ничего не вышло.

— Куда же этот Казанцев девался?

— А его, ваше благородие, засадили в острог, приковали на цепь, скоро же судили и загоняли...

— То есть как загоняли?

— А так и загоняли, что по его заслугам вышла ему зеленая улица, чрез двенадцать тысяч, и велено было загонять до смерти. Да еще что, велено было сделать гроб и тут же носить за ним, как наказывали, значит, для примера другим. А по округе дана была публика, чтоб ехали смотреть, и в самый день наказания столько собралось народа, что стена стеной запрудили площадь.

— Чем же кончилось?

— А кончилось так, что Казанцев проходил одиннадцать тысяч почти здоровый; народ, как увидал это, озлобился; забоялись, что он выходит и двенадцатую, так разбирали частоколы и ими уж добились разбойника. Беда, что тут было, как его наказывали, чистое светопреставление! Отовсюду кричат: «Бей крепче, бей его, варнака! Смерть ему, душегубцу!.. Смерть!..» И били, барин, со всего плеча! Смотреть страшно!

Только что Шестопалов окончил свой рас-

сказ, как снова под печкой закричал петух во второй раз.

— Ну, Егорушка, теперь и чертям конец, — сказал я.

— Верно, барин! Да и брат Микулай запужал их до смерти. Теперь они все позапихались по щелям да по чердакам. Поди-ка, только хвосты трясутся.

Мы погасили светец, помолились и улеглись спать. Но я долго не мог уснуть и завидовал братьям Шестопаловым, которые скоро засвистали на все лады богатырского сна.

К утру пурга совсем стихла. Когда я проснулся, у хозяйки уже топилась печь, а гостеприимная старушка суежилась около нее и приготавливала что-то съедобное. Братьев Шестопаловых в избе уже не было, они хлопотали во дворе и подготавливали лошадей. Солнышко вошло весело и приветливо заглядывало в небольшие оконца избенки...

Мы позавтракали. Нам запрягли лошадей. Я поблагодарил за гостеприимство, простился и, помолясь, вышел на улицу. После бурана было повсюду так бело, что точно всю окрестность природа накрыла неизмеримо белой

скатертью. Меня повез сам Николай Степанович прямо до Деревушки (название большой деревни) за шестьдесят пять верст. Проехав почти на половине пути Начинское зимовье, одиноко стоящее на страшных лесистых горах, Шестопалов вдруг обратился ко мне.

— Вот, барин, здесь, на этих горах, была однажды потешная штука. Не шибко давно в каторге были три брата Горкины: Ванька, Конка и Данилка, и все трое разбойники страшные. Когда они бежали из острога, то несколько лет озорничали по округу так, что имя Горкиных знали все бабы и ребятенки. Что они творили — так страсть! А ребята все силачи, действовали дружно, никакая сила их не брала; ну и постановили повсюду такой страх, что, значит, и ездить по дорогам опасались. Чистая беда! Потом их как-то изловили и посадили снова в острог. Тут они одумались, повели себя хорошо, и когда отбыли срок, то вышли на волю и зажили кому где любо, честно и смирно. Вот один из этих Горкиных и был ямщиком в этом самом Начине, что сейчас проехали. Такой хват парень, что смотреть любо! Одно слово, молодец! А в ту пору проез-

жал из Нерчинского завода аптекарь, да он какой-то не русский, — немец, что ли? Не знаю! И фамилия забавная — Лизенкранк, Дризденфранк, как-то этак, мне и не выговорить... Так вот он, значит, и поехал на Кару (Карийские золотые промыслы) погулять, посмотреть, вишь, не бывал, не знает и за попутьем повез казну, а что-то много, тысяч пятьдесят, однако. Я его и возил тогда из Култумы, вот сюда до Начина. А ехал-то он один и не чаял, сердечный, что тут дорога хребтами да лесом. Все время он со мной разговаривал, а как стали подъезжать к зимовью да въехали в самый лес, он и спрашивает меня: «А что, брат, есть тут медведи?» — «Есть, говорю, ваше благородие, много; часто, мол, на дорогу выходят и другой раз проехать не дадут, проклятые! Потому что кони боятся, а дорога, вишь, какая убойная, того и гляди, изувечат». — «Что ж вы, говорит, берете с собой оборону?» — «Нет, мол, не берем. Да и куда ее денешь? А сунешь один топор под беседку, так и то ладно». — «Ну, а если он теперь вдруг выйдет из леса, что тогда делать?» — «Так ведь у тебя, ваше благородие, поди-ка, ружье

с собой есть?» — «Нет, говорит, нету». — «Ну это худо, надо брать на такой путь, а то, пожалуй, задавит», — говорю ему нарочно. «А разве были здесь такие случаи?» — «Бывали, ваше благородие, и не раз бывали», — вру это ему свое. Он, должно быть, и сробел да и говорит: «Так ты, брат, катай пошибче, все же лучше». — Вот я и пустил по каменьям, ижно самому невтерпеж стало, а он сидит да только щурится и руками за меня держится. Как привез я его до зимовья, так целый рубль на водку мне дал, должно быть, с испугу, что счастливо добрался. А как выехал из Начина уже с обеда, закурил сигарку и посвистывает.

«А что, — говорит ямщику, уж не мне, а тому, что из Начина-то с ним поехал, — тут есть разбойники?» — «Да как, поди, нет! Куда они в Сибири девались?»

Вот аптекарь струсил да и говорит: «Ты, братец, поскорей, пожалуйста! А то в самом деле, смотри, чтобы кто-нибудь не напал на нас да не ограбил. А то, говорят, что есть какие-то разбойники Горкины, беда!»

В это время, барин, у них правая пристяжная и оборвись всем задом в обрыв. Ямщик

тотчас остановил коней, встал ногой на трубицу, подхватил оборвавшегося коня за хвост, выдернул его одною рукой на дорогу да и говорит: «Ничего, сударь, не бойся, коли с Горкиным едешь...»

Аптекарь-то, значит, затрясся от страха, да и спрашивает: «Как с Горкиным? Да ты кто?» — «А я, сударь, тот самый Горкин и есть, Данилком зовут».

Ну, барин, тут аптекарь так и онемел в телеге, и сделалось с ним такое расстройство, как у медведя с перепугу, едва до деревни добился, да и захворал не на шутку, так что в Кару-то уж за дохтуром посылали. И его, бедняжку, так взяло, что и дохтур-то насилу с ним отводился!.. И смешно, барин, и жалко, а что поделаешь? А Данилко-то, будь ему неладно, всем это рассказал да и посмеивается во весь рот, дескать, вот как напужал я этого самого немца Дризденфранку, смех, да и только!..

Тут Николай Степаныч ухнул на коней, тройка подхватила во весь мах, колокольчики слились в какой-то дребезг, и меня обдало снежною пылью.

*26 января 1885 Барнаул*

# Зерентуй

## I

Вероятно, многие из собратьев по оружию согласятся со мною в том, что для человека, у которого на лице поместились уже непрошенные морщины, а в волосах появилась ничем не излечимая седина, некоторые минуты прошлого лелеют еще очерстневшую уже душу, волнуют воображение и молодят постаревшее сердце. Вот эти-то дорогие минуты и заставляют меня опять взяться за перо, чтоб снова как бы пережить былое и поделиться с друзьями теми впечатлениями, которые так глубоко залегли в память и еще глубже завоевали себе место за охотничьей пазухой.

Из этой серии воспоминаний мне хочется побеседовать о тех годах молодости, когда я только что приехал в далекий Нерчинский край, не быв по рождению сибиряком, и по воле начальства получил первую командировку в серебряный Зерентуйский рудник.

Нельзя не сказать об этой местности хоть маленькой характеристики. Как самый рудник, так и селение Зерентуй находится всего

в двенадцати верстах от Большого Нерчинского завода, главного центра горного управления в крае, и расположены на пологих возвышенностях нагорной местности. Строевого леса здесь нет совсем, а все холмы или голы, или покрыты небольшим однообразным кустарником, который на сибирском диалекте зовется *ерником*. Вообще вся местность Зерентуя не трогает за душу, а напротив, наводит какое-то уныние и разочарование после тех картин природы, какие приходилось видеть при путешествии в Забайкалье. В Зерентуе даже нет речки, а бегут только небольшие ключики, поточинки, родники, которыми и пользуются волей-неволей поселившиеся тут жители, большею частью *бергалы* (бергбауэры), то есть обязательные горнорабочие люди — в прежнее время закрепощения, но ныне работающие повольно и по условиям.

В Зерентуе были и тюрьмы, где содержались ссыльнокаторжные, обязательно работавшие в руднике, но в мое время, в половине пятидесятых годов, работы арестантами здесь уже не производились и клейменные затворники вскоре были все переведены на золотые

казенные промысла.

Цель командировки моей в Зерентуйский рудник заключалась в том, чтоб я произвел оптовые работы при прохождении Воздаянской штольни, где расход, показываемый приставом рудника, в то время унтер-шихт-мейстером Скрипиным, выражался цифрой более сметного положения.

Тогда все мое имение состояло из двух чешуе-моданов с бельем и платьем, двух ружей с необходимыми принадлежностями и здорового легаша Каштана; а за плечами у меня не было никакой удручающей заботы, кроме неизбежной тоски по родине, после прощания с обожаемыми мною родителями. Полнейшее одиночество, незнакомый суровый край, лязг кандалов, клейменные лица — все это давало себя знать на каждом шагу, и только силой воли и верой я подавил в себе тоску наболевшего сердца по родине и свыкся со всем окружающим, а богатая охота в крае мало-помалу помирила меня с тяжелой обстановкой. Она, исподволь задевая туго натянутые струны, скоро заиграла полным охотничьим аккордом и волей-неволей заставила

меня предаться всей молодой душой этой благородной страсти. Не будь я страстным охотником, а простым смертным и даже не любителем природы, как один из моих товарищей, при первом знакомстве с Даурией я бы мог только сказать, подражая пиитам:

*Край отдаленный, снегами пови-  
тый,  
Скорбью людскою, слезами обли-  
тый.  
Правом гражданским, природой  
забытый,  
Славою каторги в мире покры-  
тый!..*

Эти грустные думы являются сами собой у всех тех, кто смотрит только на одну внешнюю сторону обстановки, не знакомится с народом и не заглядывает за те ширмы, где можно получить более или менее полное понятие о жизни. В самом деле, смотря на Зерентуй одним внешним взглядом, вы увидите довольно грустную картину, потому что вся местность и постройки селения не ласкают пытливого взгляда, а напротив, — небольшие домишки «бергалов», не напоминающие ни-

чем русских деревень, наводят безотчетную тоску на душу, и во всем руднике нет ни одного такого здания, которое бы сколько-нибудь остановило ваше внимание и приятно поласкало глаз. Даже дом управляющего смотрит какой-то казенщиной, и только единственная березовая роща в так называемом саду несколько смягчает взор наблюдателя, а выдаваясь из общего грустного пейзажа, говорит о том, что вот именно в этом самом месте живет управляющий рудником.

Почти таков же и Благодатский рудник, ближайший сосед Зерентуя. В том и другом селениях постройки разбиты на плоскогорьях и более или менее правильным амфитеатром спускаются в долины, где мало-мало бегут небольшие ключики.

Если же познакомиться поближе с жителями этих невзрачных оазисов Даурии, то вы увидите, что тут люди живут лучше многих российских деревчан. Все они почти поголовно имеют при доме по несколько коров, лошадей, овец и едят не мякину, а хороший хлеб, обыкновенно просеиваемый не на решето, а на сито, пшеничное печенье и очень ча-

сто мясные щи, свинину, баранину. Только самая бедность пробавляется на кары иском (кирпичном) чае, но пьет его не из самоваров, как это бестолково делается в Западной Сибири, а из чугунок, гончарных латок, со всевозможными пряжениками кулинарного бабьего искусства. Кирпичный чай не заваривается, а сливается, т. е. в кипящую воду бросается потребное количество толченого *карыма*, заправляется солью, молоком, сметаной, маслом и нередко затураном (поджаренной на масле мукой); затем все это сливается поварешкой до тех пор, пока чай выделит свои части. Так что, судя по такому приготовлению, выходит не чай, а скорее — особого рода похлебка, которая очень питательна и привычному человеку вкусна. Есть такие замечательные любители этого чая, особенно старухи, что им ничего не значит в один присест выпить полуведерную посудину. Забайкальских женщин даже дразнят местные скалозубы тем, что если у хозяйки есть *карым* в запасе, то она обыкновенно садится сливать его к окну, поднимает поварешку высоко и весело поет:

*Уж ты, парень, уж ты, бравый!*

Если же чайку нет или мало, а купить не на что, то она прячется, сливает остаточки запаса так, что едва видно ее ложку, — словно болтает, и уже слезно поет:

*Проходи-тко ты, мое скучное вре-  
мечко, поскорей!*

Вот в этом-то захолустье необъятной Сибири, за восемь тысяч верст от родины, мне и пришлось впервые испытать свои служебные силы. В Зерентуйский рудник я приехал зимою в 1856 году и, не имея никого знакомых, подыскал себе квартиру у ссыльного еврея Кубича, который, благополучно отбыв свой срок каторги, был уже свободным жителем, торговал разными разностями, имел кроме своего помещения отдельную избенку и относительно жил очень порядочно.

Избенка, в которой я поместился, стояла на одних общих сенях, под одной крышей с жилищем хозяина. Она была так мизерна, что в ней едва помещались кровать, небольшой столик, лавка и крохотная русская печь. Несмотря на это, два ее оконца выходили на

улицу, а третье, из другой стены, в глухой узкий переулочек, по которому все более или менее близкие соседи ходили за водой. Потолок моего палаццо так низко находился от пола, что я, несмотря на свой средний рост, почти задевал головой за матку, а в единственную выходную дверь приходилось сгибаться чуть не вдвое, чтоб выйти в просторные сени.

За квартиру и за стол, хотя и простой, но очень сытный и опрятный, я платил Кубичу семь рублей в месяц. Тут заключался обед, ужин, молоко и печение к чаю. Из этого читатель легко увидит ту дешевизну, какая была в пятидесятых годах в Нерчинском крае. Словом, я поместился относительно очень удобно; был доволен тем, что никому ничем не обязывался и вполне по своему желанию располагал временем. На работы я ездил три и четыре раза в сутки, по мере надобности, и, несмотря на это, у меня все-таки оставалось много свободного времени, которое я и употреблял преимущественно на охоту. Она служила мне единственным развлечением, тем более потому, что тут же мне приходилось знакомиться с моим будущим денщиком Ми-

хайлой Кузнецовым, который, как истый охотник, знал все места охоты по всей окрестности, а как хороший умный человек, мог быть искренним сотоварищем по оружию. Он познакомил меня со многими практически приемами и, так сказать, тайнами сибирской охоты, а затем сдружился со мною так, что только одно положение разделяло нас на житейском поприще. Но в сущности мы были искренними друзьями, что и заставило Михайлу, семейного человека, идти ко мне в денщики, согласно тогдашних правил для горных инженеров — получать прислугу натурой. Денщичество Михайлы состоялось впоследствии, а сначала у меня прислуживал один из молодых подростков рабочей команды, Петр. Этот юноша находился при мне только днем, затем уходил домой; он ничем особым не выделялся, а только слепо исполнял мои приказания.

Так как около Зерентуйского рудника во множестве водились каменные рябчики (серые куропатки) и зайцы, то мы с Михайлой почти всю зиму исключительно охотились за ними. Об этих последних я говорил довольно

подробно в своих «Записках охотника», и повторяться не хочется, тем более потому, что охота эта не представляла собой какого-либо особого способа, она состояла исключительно в том, что мы собирали мальчишек, которые заходили в колки и с криком и песнями гнали зайцев, а мы караулили на удобных местах с противоположной стороны и стреляли выбегающих ушканов, как говорят сибиряки.

Что же касается каменных рябчиков, то мы ездили в пошевенках около кустиков, овражков и по солнечным припекам, где, находя эту дичь в табунчиках, стреляли нередко в сидячих, а более приходилось бить на бегу и влет. Чаще же всего мы отправлялись на охоту рано утром и тогда встречали рябчиков преимущественно около гумен, на токах или вблизи хлебных вымолоктов, особенно гречишных, где они, завидя нас, так ловко прятались в труху и притаивались, что вся штука состояла в том, чтоб уметь рассмотреть их хитрость. Тут вся охота заключалась в зоркости глаза и терпении, для чего приходилось иногда несколько раз проезжать шагом по различным направлениям и внимательно

присматриваться, но отнюдь не останавливаться до тех пор, пока не убедишься в том, что мнимая чернота — не разбитая хлебная труха, а действительно крепко сидящие и притаившиеся рябчики. Иногда случалось наезжать на запрятавшийся табунчик так близко, что чуть-чуть не задеваешь их полозом. Но шельмоватая дичь ни одним движением не выдавала, себя, а напротив — закрывала даже глаза и упорно сидела в трухе. Тут и стрелять не представлялось возможности, а надо было не шевелясь проезжать мимо и, уже тихонько повернувшись, выпускать заряд назад.

Надо заметить, что такие подъезды необходимо было делать очень рано утром, так что нередко приходилось выезжать со двора до зари, а прибыв на место к рассвету, находить уже рябчиков на кормовище. В очень холодные утра они всегда сидели крепче и нередко всем табунчиком собирались в одну кучку, располагаясь таким образом, что составляли правильный кружок, — все они до одного садились вплотную друг возле друга, головами наружу и хвостиками внутрь. Вот,

бывало, как заметишь такую компанию да ударишь в меру, так глядишь — сразу штук 6–8 и лежит на месте, а остальные с ужасным переполохом моментально взлетают и, чирикавая, бросаются спасаться, обыкновенно в близлежащие кустики или овражки. Однажды мне удалось вышибить из такого кружка, из своего знаменитого «мортимера», одиннадцать штук; но в этом случае я выдержал и нарочно отъехал подальше, чтоб дробь не ударила кучей, а несколько разбросило.

Бывало, какая радость, как вовремя усмотришь притаившийся табунчик и сумеешь объехать, и наоборот, сколько досады, когда прозеваешь, вспугнешь всех и только, ругаясь, посмотришь на улетающих и чирикающих рябчиков!.. При этой охоте необходимо ездить на обстрелянном, привычном коне, а то как раз вылетишь из пошевенки и останешься один в поле, потому что вспугнутые рябчики всегда взлетают все вдруг и с страшным шумом. Вот именно такой казус и был однажды и с нами, когда «кучеривший» Михайло как раз наехал конем на весь табун залегших рябчиков, которые, взлетев из-под са-

мых ног лошади, до того испугали хоть и привычного Серка, что он окончательно взбеленился, бросился на дыбы в сторону и вывалил нас обоих на снег; но, по счастью, выпущенные из рук вожжи скоро запутались за пеньки в кустарнике и остановили храпающего буцефала. Сначала нам обоим было ужасно досадно, а потом, когда мы проводили глазами рябчиков и увидали, что лошадь остановилась, то мы, сидя на снегу и вытряхая его отовсюду, хохотали чуть не до слез, посмеиваясь друг над другом.

Однажды ночью приехал в рудник управляющий округом, бывший в то время капитаном, Янчуковский и утром, потребовав меня к себе, не хотел верить тому, что я в 30-градусный мороз был на охоте. Потом он рассказывал этот казус всем товарищам как анекдот. Да, теперь мне несколько смешно и самому, но, вспомнив былое, нисколько не удивляешься прошедшему и только со слезами на глазах вспоминаешь те годы молодости, когда всеильная страсть к охоте делала и не такие выходки, а устраивала курьезные фокусы, о которых, если рассказать, то, пожалуй, не по-

верят и настоящие, истые собраты по оружию...

Не упомню, которого числа, но в один из очень морозных дней, мы с Михайлой отправились в подъезд за рябчиками — и каково же было наше удивление, когда мы вместо рябчиков заметили в ворохе гречишной соломы притаившегося волка. По счастью, в моем патронташе был заряд картечи; я тотчас высыпал его на дробь и, подъехав шагов на пятнадцать, ударил в спрятавшегося кума, а когда он соскочил на ноги, то вторым зарядом самодельной сечки пустил ему в ухо так, что волк упал и, несколько побившись, попал в наши пошевни.

А другой раз Михайло, заметив в кустах залегшую лисицу, тотчас передал мне вожжи, тихо свалился на снег за санки и, когда я проехал, сразу убил прозевавшую кумушку.

Надо заметить, что около Зерентуя иногда водились и дикие козы, но в тот год они куда-то «откочевали», так что мне с Михайлой в этот период не пришлось на них поохотиться...

Но вот подошел март. Солнышко стало

пригревать посильнее, зимние дороги почернели, и стали появляться лужи; а в Благовещение (25 ч.) пришел ко мне вечером сияющий Михайло и сказал, что на речках уже видели появившихся уток. Долго толковали мы на эту тему и, поужинав вместе, улеглись спать, все еще толкуя о том, что весною они долго живут около Зерентуйского рудника и что охота на них в это время крайне интересна.

И долго-долго еще гуторили мы по этому поводу, как вдруг услышали, что кто-то, подъехав верхом к нашей избенке, торопливо постучал в оконце.

Михайло встал с потника, посланного на полу, и тихо спросил:

— Кто тут?

— Да я, Митрич! Донской.

— Ну, что тебе надо?

— Да на штольне нарядчика шпуром убило, так его благородию доложить надо.

Слыша эту неприятную новость, я тотчас соскочил с кровати, велел Михаиле отворить в сенях дверь, чтоб впустить вестника, и начал поспешно одеваться.

Вошел побледневший Донской и торопливо рассказал о том, как нарядчик Гурбатов пожалел невыпаливший пороховой шпур в люфтлоге[25] и стал его снова проходить медным штревелем[26]; но вдруг последовал выстрел, несчастного ударило оторванной горной породой на подъеме и бросило на лестницу, с которой он, упав, еще больше расшибся о каменную почву горной выработки...

— Что же он, живой? — спросил Михайло Донского.

— Здышет и стонет, когда я поехал, а теперь, брат, не знаю.

— Эко, парень, какая беда! А семья — мал-мала меньше!..

— Что поделаешь? Не чаял, сердечный! Да, вишь, воля господня!..

— И на что проходил? Залить бы водой.

— Кабы знал, так и валил, а то, вишь, пожалел, что тунно пропадает работа и порох...

Не прошло и четверти часа, как я, с рабочим Донским, уже летел почти во весь опор верхом на Воздаянскую штольну, а Михаилу послал к фельдшеру, чтоб тот немедленно, с необходимыми принадлежностями, как мож-

но скорее приехал к месту несчастья...

Благодаря господу все кончилось относительно благополучно, потому что Гурбатова не «убило», как говорил, по общему сибирскому выражению, Донской, а только сильно ушибло и немного поизувечило. Его спасла толстая овчинная шуба, по которой хватило воспламенившимся шпуром. Когда я спустился вниз по лестницам, на двадцать две сажени глубины, в люфтлог, то нашел несчастного всего в крови, едва дышащего от боли. Мы тотчас в бадье воротом подняли его наверх, вспрыснули холодной водой, дали немного водки, а затем, когда прискакал фельдшер, тотчас пустили кровь и расшибленные части перевязали холодными компрессами с арникой, а потом, еще до утренней зари, осторожно доставили больного прямо в лазарет. Когда я приехал домой, то Михайло разбудил уже Кубича, поставил самовар и ждал меня с чаем.

Гурбатов, прохворав около трех недель, совершенно поправился, но опоздай я каких-нибудь четверть часа на рудник — несчастного задавило бы подтеком крови, и

Гурбатова не стало бы на сем свете.

Оставляя этот несчастный случай и десятки ему подобных при рудничных работах, я ворочусь к началу весны, которая так магически действует на всякого истого охотника, и попробую познакомить читателя с той весенней охотой, какой я пользовался, живя в Зерентуйском руднике. Но так как я только что еще слышал от Михайлы о первом появлении прилетной водяной птицы, а сам ее не видал, то зная, что в первые дни охота не так интересна и сопряжена с большими затруднениями, — я приостановлюсь и подожду, чтоб приближающаяся вошла в свои пределы, а дичи налетело побольше, потому что про одиночные удачные выстрелы по уткам говорить не стоит. Кроме того, я убежден еще и в том, что писать и читать про одну только охоту утомительно и скучно, а потому попробую в это время вспомнить о жизни и ее особых моментах в Зерентуе, так как всякий охотник прежде всего человек, которому присуще обращать внимание и на что-либо другое, более или менее интересное и помимо охоты.

Итак, позволяя себе сделать небольшую

паузу, мне хочется сказать в это время о замечательном субъекте, казачьем офицере Явниусе, который был командирован в Зерентуйский рудник для надзора за военным караулом, находящимся при занятии поста около бранных останков тюрьмы, где еще заключалась небольшая партия арестантов. Тут, мне кажется, кстати будет заметить, что формирование забайкальских казаков из бывших приписных крестьян к Нерчинскому горному округу состоялось по инициативе графа Муравьева-Амурского, — это всецело его детище! Лишь только казачество было решено, как, понятное дело, явилась потребность в офицерах, и вот Муравьев кликнул клич по всей Руси православной, дескать, пожалуйста, господа, вот вам честь и место, — приходите и княжите!

Призыв этот магической силой разнесся по всем полкам российского воинства, и многие из тех промотавшихся или спившихся субъектов, которым тяжело было оставаться в своих командах, изъявили полное желание ехать в Восточную Сибирь, чтоб принять бразды правления в новой войске, учить быв-

ших крестьян уму-разуму и княжить; а главное, заполучить увеличенные выдачи на дорогу и рассчитывать на уменьшенный срок сибирской службы. Многие из этих пионеров, вероятнее всего, не помнят, от «сердечных возлияний», как они добрались до Даурии. Знаю немало и таких примеров, что некоторым из них при путешествии зимою прописывалось в подорожных и казачьих «бланках», чтоб на станциях обязательно выдавалась проезжающему проходная доха!.. Делалось это по той простой причине, что у многих казачьих пионеров, этих цивилизаторов края, кроме солдатского форменного пальто, не было при себе никакой другой теплой одежды. Значит, если не дать офицеру ямщицкой дохи, то он замерзнет на дороге же, как таракан, а потому вместо цивилизации привезет в край только свой один проспиртованный труп.

Видел своими глазами, как однажды один из подобных пионеров просил ямщика положить в «перекладную» побольше сена, чтоб можно было им хорошенько закутаться. Действительно так и случилось: когда ямщик ис-

полнил просьбу офицера, то этот последний бросил в повозку небольшой чемоданчик, залез сам, закутался с головой сеном и бессвязно крикнул: «Пошел!»

Пусть читатель догадается сам, что можно было ожидать от этих первых пионеров при формировании забайкальского казачества. Только особенная понятливость сибирского простолюдина, его терпение, выносливость характера сделали то, что образовалось казачество, а вся эта реформа произошла почти без особых волнений. Сам атаман Запольский говаривал так: что если б все люди были настолько доступны и понятливы, как сибиряки, то он взялся бы приготовить в два-три месяца сотни тысяч отборного войска, а оставаясь на цивилизаторах, не стеснялся делать такое заключение, что если сформировать другое забайкальское казачество и снова вытребовать такое же количество учителей, то он ручается в том, что по всей российской армии не останется более уже ни одного негодяя. В принципе решение это верно, и выражения атамана, вероятно, еще многие помнят.

Один из «отцов-командиров» Донинского батальона однажды собрал к себе старейших из образовавшихся казаков и серьезно спросил их:

— Ну, а что вы, ребяташки, засеваете?

— Да как что, ваше благородие! Сеем всякого хлеба достаточно: ярицу, овес, ячмень, гречиху и пшеницу различных сортов, — значит, кубанку, простую, арнаутку, кому кака любя.

— Хорошо! А крупу сеете?

— Крупу... крупу! — шептали казаки, переглядывались и топтались на месте.

— Да, да, крупу сеете? — повторил командир.

— Никак нет, ваше благородие! — проговорило несколько голосов.

— Ну вот то-то и есть, болваны! А вы знаете, что крупа — это лучший солдатский приварок. Сеять! С будущего же года сеять! Слышите? — скомандовал командир и с миром отпустил людей.

Казаки вышли на улицу, поулыбались двусмысленно между собою, похлопали по бедрам руками и разошлись по домам; но казус

этот живо разошелся по всему Забайкалью, и многие, подтрунивая над казаками Донинского батальона, в шутку называли их *крупосевами*.

Полагаю, что и Явениус был одним из первых пионеров забайкальского казачества. Когда он появился в Зерентуе, то немедленно послал за приставом рудника с приказанием явиться к нему. Скрыпий, очень почтенная личность, зашел ко мне и сказал о требовании Явениуса.

— А-а! — сказал я. — Так, вероятно, этот же посланный был и у меня с тем же самым «приказанием».

— Должно быть, что так; ну и что же вы ему ответили?

— Я, батенька, погорячился и велел сказать посланному, что его барин — дурак!

— Ну нет, это уж чересчур. А я объяснил уряднику, что я являться к его благородию не имею надобности и не обязан. А если ему угодно видеть меня, то пусть пожалует, тогда я готов к его услугам...

Понятное дело, что Скрыпин и я с первых же минут сделались врагами в глазах Явени-

уса, и он все-таки вообразил себе, что он комендант рудника, а потому отдал такой приказ по всему селению, чтоб все жители, после пробития вечерней зари, т. е. с девяти часов вечера, отнюдь не отлучались без крайней надобности из домов и не шлялись по улицам.

Все, конечно, смеялись над самозванным комендантом и не исполняли этого требования, тем более потому, что самая рудничная работа уже тесно связана с ночным движением рабочих людей, так как в руднике обязательно производились работы в ночных сменах.

Комендант, увидя, что никто не исполняет его распоряжений, освирепел. Он ежедневно, после вечерней зари, стал ездить по улицам с казаком и бил нагайками тех, которые, не успевая заскочить в дома, попадались под его удары. Никакие бумажные отношения пристава не помогали делу, и такая потеха продолжалась несколько дней, так что даже многие женщины побывали под казацкой нагайкой. Но вот «дошлые» сибиряки сами догадались, что нужно делать, и жестоко проучили

непрошеного коменданта. Они собрались, человек десять, замаскировались во что попало, понадели импровизированные парики, бороды из пакли и конского волоса, залегли вечером в огороды и ждали проезда коменданта, а чтоб привлечь его внимание к окраине селения, они отрядили двух молодцов, которые притворились пьяными и орали песни. Лишь только смерклось на улице и произведенный маневр приманил к назначенному месту строгого блюстителя неуместного порядка, как передовые бойцы тотчас, сдернув с лошадей Явениуса и провожавшего его казака, крикнули товарищам, те моментально выскочили из засады, отобрали лошадей и так отжарили своими нагайками коменданта, что после этой бани едва запихали его на коня и, понуждая животное со всех сторон, отправили восвояси.

Этим казусом прекратились наблюдения коменданта. Когда же кончались последние звуки вечерней зари, Явениус тотчас уходил домой, а высунувшиеся в окна головы арестантов кричали ему разные мудреные изречения из запаса каторжанского репертуара и

свистали сквозь пальцы.

Эту проделку рабочих Явениус почему-то относил к содействию Скрыпина и моему, а потому собирался отмстить нам обоим; но мы узнали об этом намерении от его же подчиненных казаков и предупредили катастрофу.

Говоря о Зерентуе, нельзя пройти молчанием о его соседе — Благодатском руднике, в селении которого жил богатый еврей Хаим. Человек этот, несмотря на свои «гешефты», был очень доброй личностью и помогал всевозможными ссудами не только рабочим, но и многим людям из окрестных селений. В лице Хаима олицетворялась идея народного банка. Он давал деньги и товары в долг за небольшие проценты и под полевые работы, так как, быв хорошим агрономом, засеивал много хлеба. Зная всех и каждого, Хаим никогда не ссужал тех, которые просили его помощи, не имея нужды, а тем более ради пьянства; нет, он был искренним помощником тех, кои действительно нуждались либо по какому-нибудь несчастью, либо по стечению обстоятельств, требующих расходов. Народ хорошо это понимал и долг Хаиму деньгами

или работой считал почти священной обязанностью.

У Хаима была очень недурненькая молоденькая дочь Таубе, про существование которой узнал г. Явениус, а познакомившись с семейством, начал сильно ухаживать за девушкой, уверяя отца, что он желает вступить с нею в законный брак. Как кажется ни лестно простой евреечке выйти замуж за офицера, тем не менее умная Таубе и слышать не хотела об этом. Что думал отец — не знаю, но только известно мне то, что он, при всей своей осмотрительности, дал Явениусу займы, что-то 300 или 400 рублей, хорошенько не помню.

Пронесся слух, что г. Явениус должен получить какое-то небольшое наследство от умершего родственника, о чем будто бы есть уже объявление на почте в Нерчинском заводе. Хаим был как-то в гостях у моего хозяина Кубича и радовался, что Явениус отдаст ему долг, в котором он начинал уже сомневаться.

Но вот однажды, поздно вечером, келейно пришли ко мне казаки из команды коменданта — один вроде фельдфебеля, а другой уряд-

ник — и просили моего совета в том, как поступить им при следующем обстоятельстве: их командир приказывает им завтра ехать к Хаиму и просить его прибыть в Зерентуй за получением долга, а когда он отправится, то подкараулить Таубе на дороге, так как девушка эта должна вечером проехать из Нерчинского завода, схватить ее и привезти ночью к нему. Что же касается самого Хаима, то командир дал приказание другим казакам, чтоб они были готовы с нагайками и когда он, показав деньги еврею, получит от него заимодавную расписку, то они тотчас должны «отжарить» Хаима на славу и выпроводить за рудник.

Сообразив всю нелепость вышесказанного, я, признаться, заподозрил казаков, подумав, что нет ли тут какой-нибудь ловушки лично на мою особу; а потому незаметно взял саквояж, достал револьвер и положил его в карман.

Однако же при дальнейших расспросах и суждениях я убедился в том, что казаки говорят истину, действительно искренне просят моего совета, но с тем, чтоб я молчал о их

просьбе и выручил их из двойной беды, так как, исполнив в точности приказание командира, они могут попасть под строжайшую ответственность, а отказавшись от этого поручения, нажать себе опасного врага в лице их ближайшего повелителя.

Подумав немного, я сказал казакам:

— Благодарю вас, ребятушки, за доверие ко мне; в моем молчании вы можете быть уверены — где нужно, там я могила, но вы сами не выдайте себя и никому не говорите, что были у меня. Что же касается командира, то изъясните ему готовность, поезжайте к Хаиму, но дочь его Таубе ни под каким видом не хватайте, а скажите потом, что она приехала раньше вас домой. Я же со своей стороны сейчас напишу записку Хаиму и утром пораньше пошлю ее к нему, где скажу, чтоб он отнюдь не ездил к вашему командиру; а почему — это сообщу ему лично при свидании. Поняли?

— Поняли, ваше благородие! Благодарим покорно за неоставление своими милостями. Простите, что беспокоили, счастливо оставаться! — говорили казаки, выходя из моей хаты.

Хаим был человек грамотный, а потому я утром же послал к нему «нарочным» коротенькую, но вескую предупредительную записку. Через несколько дней он лично явился ко мне благодарить за услугу. Хаим говорил, что ему бы и в ум не пришло подозревать в таком гнусном намерении «благородного» человека... Я уже говорил в своих «Записках охотника Вост. Сиб.», что г. Явениус был большой любитель жареной зайчатины, но, не будучи сам охотником, он посылал за зайцами сибиряков, которые, стреляя из винтовок, не могли часто добывать своему начальнику любимую им дичь. Между тем он видел, что я таскаю зайцев вязанками. Явениуса ужасно бесила эта штука, он сильно сердился на промышленников, которые «таскали» ему только «давленных ушканов», зло смеялся над ними и даже стращал их командирскою властью того времени. Но все это не помогало, а я нарочно упрямялся и не посылал ему на жаркое, так что казаки приходили ко мне и просили научить их стрелять эту дичь, думая, что я знаю слово, а потому бью такую пропасть «ушканов». Я им сказал, что я не чародей, и объяс-

нил, в чем суть; они успокоились.

Вскоре последних тюремщиков перевели на Карийские золотые промыслы, а «благородному» коменданту дали какое-то другое назначение, и мы с ним более не встречались.

Заканчивая речь о Хаиме, мне хочется познакомить читателя с некоторыми приемами этого замечательного деятеля. Я уже говорил о том, что Хаим засеивал много хлеба: но ведь это же делали и многие другие, даже из лиц служащих, потому что посев хлеба приносил порядочные выгоды; только дело в том, что когда приходила страда, то каждый день становился дорог; ввиду того, чтоб поспевший хлеб не перестоял на корню, все агрономы страшно нуждались в рабочих руках; между тем все хлебопашцы убирали свои собственные пашни в то же время и не шли на заработки ни за какую плату. Словом, многие горевали и придумывали разные способы, чтоб заменить рабочих, делали помочи, хорошие угощения и платили дорогую поденную плату, но все это мало помогало, так что хлеб нередко «утекал» из колоса на корню. (Только

один Хаим не печалился об недостатке рук: у него всегда народу было достаточно, несмотря на то, что он на помочах давал только одно хорошее угощение и редко производил поденную плату. Все это невольно бросалось в глаза, и многие задавались вопросом — почему это так? Знали только одно, что Хаим делает ссуды под работы еще зимою, но это не объясняло причины стечения той массы народа, какая собиралась на его помочи.

Вот однажды Вик. Федос. Янчуковский просил Хаима о том, чтоб он открыл ему секрет для сбора рабочих.

— Эх, васе высокоблагородие! — говорил еврей. — Вам никогда не сделать того, что сделает Хаим; а не сделать потому, что вы не знаете того, что знает Хаим. Мне, например, известна вся подноготная по всей окрестности, знакомы все отнесения молодежи, секретные связи замузных, и вот я перед работой еду или иду по всем и зову на помоц всех лично сам, да тихонецко и сепну, например, Паласке, что смотри, мол, приходи, — Костя у меня будет, а Косте скажу, что, мол, смотри будет Паласка. Вот таким зе манером тихо-

нецко оповесцу всех и Катюсек, и Сергусек, да и бабам сепну, какой цего любо. Вот, смотри, и недосуг, а все и бегут к Хаиму, потому что оне хорошо знают, что Хаим их не выдаст и не обманет; а если сказал Маланье, что будет тут же и Яска, то это уз верно. Вот оно что, васе высокоблагородие! Ну, а вам этого не сделать.

— Понял! — сказал Виктор Федосеевич, — ты, Хаим, прав и до тонкости изучил премудрость нашего бытия; тебе, брат, и книги в руки, — спасибо!..

Выше я упомянул о рабочем Донском. Надо заметить, что эта личность получила легендарную известность едва ли не по всему Нерчинскому горному округу; а случившийся с ним казус, наверно, пойдет в последующее поколение на долгое время и примет характер легенды. Дело в том, что молодой еще Донской был не последним поклонником русского Бахуса, и вот он весною, быв на каноне[27] в Михайловском руднике, порядочно пображничал со своими товарищами и, захмелев, отстал от них, а потому отправился домой уже ночью, один. Обязательная служба того времени заставляла его быть непременно

но к утренней раскомандировке в своей команде; а так как расстояние перехода невелико — всего четыре версты, — то он и не думал подыскивать себе спутника. Дорога одна, сбиться невозможно, место ровное, безлесное, только небольшие горки пересекают путь; речек нет, значит, чего же бояться? Вот он простился с хозяевами, нахлобучил шапчонку и весело отправился домой, в Зерентуйский рудник.

Но вышло не совсем так, потому что у пьяного свои особые комбинации, другие воззрения на все окружающее и ему иногда кажется, что пьяна, например, улица, а не он. Так, вероятно, было с Донским, потому что он не пошел дорогой, а захотел пробраться прямее, отправившись через горы, где, на его беду, находились старинные, заброшенные горные выработки, около которых предохранительные загородки от времени пришли в ветхость, попадали и не достигали предназначенной цели, открывая доступ к зияющим пропастям глубоких рудничных шахт, шурфов и поверхностных разрезов.

На другой день праздника рабочего Дон-

ского в Зерентуе не оказалось. Спросили товарищей, бывших с ним на каноне в Михайловском руднике, те сказали, что видели Донского вечером, знали, что он собирался идти с ними, но пока остался у хозяев и сказал, что он придет один. Пристав тотчас послал в Михайловский рудник узнать и, если Донской там, то немедленно, взяв его под арест, доставить в свою команду. Посланцы, явившись на другой день, доложили, что Донского там нет, что он, по отзыву хозяев, ушел от них домой, хоть и поздно вечером, но все-таки в тот же день праздника.

Думали уже и так, что Донской дома, но скрывается пьяный от местного начальства, боясь наказания. Вот старательно поискали его и дома, и по соседям, но без вести потерявшегося Донского нигде не оказывалось, а между тем прошло уже два дня. Пристав Зерентуйского рудника, по своей обязанности, донес о неявке рабочего начальнику в Нерчинский завод; а сам тотчас же нарядил команду, чтоб она сделала облаву в окрестностях прилежащих рудников и непременно нашла хоть труп потерявшегося рабочего.

Многочисленная команда разбилась на отдельные поисковые партии и, под присмотром особых нарядчиков, пустилась повсеместно искать Донского, но, пройдя целый день, не нашла никаких признаков существования потерявшегося. Признали необходимым сделать поиски и на другой день, так как время стояло холодное, а было известно, что Донской гулял в легкой одежде. Тут отправились даже многие женщины, особенно его родственницы, помогать облавцам: стали кричать, бить в трещотки и прислушиваться, не подаст ли где-нибудь голоса несчастный.

Оказалось, что эта последняя мера была действительно, потому что небольшой кучке людей, проходившей мимо старой Петровской шахты, удалось услышать слабые, неясные звуки, выходящие из недр глубокой горной выработки. Обрадовавшись такому открытию, искатели подошли к самому отверстию темнозияющей шахты и стали кричать в глубину пропасти. Каково же было их удивление, когда они уже ясно услышали из шахты отчаянные вопли погибающего и доносящиеся до них как бы замогильные мольбы:

— Братцы!.. Я здесь... Спасите, а то погибну!.. Спасите поскорее!..

Весть о находке, как эхо, полетела по всей окрестности с горы на гору, из долины в долину и скоро оповестила всех искателей, которые шли, бежали и ехали верхом к Петровской шахте. Заведующие партиями тотчас дали знать приставу рудника, и когда тот немедля приехал на место, то убедился, что достать Донского из старой глубокой выработки нет никакой возможности, как только сняв где-либо готовый рудничный ворот, наскоро пристроить его к Петровской шахте и при этом приспособлении достать несчастного, потому что никаких лестниц в шахте уже не существовало; все они обвалились, а самая крепь (сруб из бревен) во многих местах «ушла» и только в некоторых пунктах была еще цела и поддерживала шахту от окончательного обвала; глубина же всего колодца шахты, как известно было многим старожилам, когда-то тут работавшим, достигала до тридцати сажен. Немедленно было приступлено к сооружению временного ворота, и когда его сделали общими силами рабочих, то

из всей команды нашелся только один смельчак, который согласился спуститься в привязанной на веревка бадье в глубину шахты.

Когда его тихо и со всеми предосторожностями спускали вниз, то все присутствующие, как один человек, лишь набожно крестились и благословляли отважного. Сначала в массе слышался сдержанный разговор, перешедший в общий шепот, а когда бадья с человеком исчезла из глаз — мертвая тишина царила над всеми, точно тихий ангел парил над всей толпой и заставлял только невидимо внутренне молиться...

По мере того как спускали в шахту бадью, отважный рабочий подавал голос и постукивал по уцелевшей крепи, чтоб вызвать ответный голос страдальца и убедиться в том, где дать сигнал, чтоб остановить спускаемую с ним бадью. Но вот и эти звуки становились все тише и глуше, наконец они замерли в темной глубине, а тонкая веревочка дала знать, чтоб прекратили спуск. Все снова набожно перекрестились и стали высказывать свои предположения...

Оказалось, что смелый сотоварищ обрел

Донского на восьмой сажени по глубине шахты от поверхности, кой-как сохранившегося за обвалившейся крепью в образовавшейся пустоте и едва примостившегося на провалившихся туда полугнилых бревнах, — так что один господь хранил несчастного почти четыре дня от неизбежной смерти. Когда спасающий товарищ остановил бадью и с большими усилиями подтянул ее крюком к тому месту, где скрывался Донской, то много стоило ему труда, силы и отваги, чтоб одолеть препятствия и, работая инструментом, попасть туда же, где скрывался несчастный.

Трудно описать ту радость, какую ощущал Донской, когда увидал возможность своего спасения и обнял товарища. Он, то моляся, то братски целуя своего спасителя, почти не мог съесть кусочка хлеба и выпить рюмку водки от крайнего волнения и потери сил; но это было необходимо для Донского, чтоб поддержать бодрость духа и воскресить онемевшие мускулы для предстоящего воздушного путешествия над зияющей черной пропастью. Когда все нужное было наконец сделано, тогда спустившийся Товарищ осторожно посадил

Донского в бадью, привязал его к канату, кой-как прилепился сам и дал знать, что все готово. Тогда работающие сотоварищи на поверхности, под руководством самого пристава, осторожно стали «выбирать» канат на ворот — и бадья с такой дорогой кладью тихо поехала кверху, покачиваясь в стороны и потряхиваясь над страшной глубиной обвалившейся шахты, из которой пахло затхлой сыростью и доносились неясные звуки от падения в пропасть мелких, задетых бадьей камешков. Ворот поскрипывал от тяжести, канат туго навивался на веретено: мозолистые руки рабочих дружно, но осторожно вертели кривошипы ворота, и глаза собратьев были невольно устремлены в темную пропасть. Все присутствующие замерли от ожидания, столпились в одну плотную массу и тянулись один через другого, чтоб поскорее увидеть выходящую к поверхности тяжесть...

Но вот роковая бадья вышла тихонько наружу; ее осторожно «приняли» с ворота и вынули почти обезумевшего Донского.

Так как он сильно «окреп» от рудничного холода и сырости, то его тотчас же натерли

вином, уложили на сено в телегу и, накрыв шубами, повезли в Зерентуй, где он скоро поправился и пошел на работы.

Невольно является вопрос такого сорта: каким же образом полупьяный человек попал в старую шахту на восьмую сажень ее глубины да очутился за крепью; тогда как никаких лестниц уже не существовало, а сохранившаяся бревенчатая крепь во многих местах совсем обвалилась и упала на дно шахты? Других же рудничных ходов к шахте уже не было: все они, обрушась, завалились породой.

Если допустить, что пьяный Донской упал прямо с поступи, на-косых, то есть по диагонали колодца шахты, то он мог только удариться о ее стенку, а попав на какое-нибудь высунувшееся бревно, непременно бы убился или жестоко расшибся, пролетев такую внушительную глубину. Но дело в том, что Донской был весь цел и невредим, а чтоб попасть туда, где он просидел около четырех дней, пришлось спустившемуся товарищу разрабатывать инструментом из висящей над пропастью бадьи.

Вся эта штука была загадкой тогда, остает-

ся загадкой и до настоящего дня.

Когда я лично спрашивал Донского о случившемся, то он говорил, что ничего не знает и сам не понимает того, какими судьбами очутился он в старой шахте за ее ветхой крепью.

Когда же я спросил его о том, что, вероятно же, он помнит то время, как пошел из Михайловского рудника, хорошо зная, что будь он без памяти или в совершенном бессознании пьяного человека, но еще крепкого на ногах, то его ни за что бы не отпустили хозяева.

— Как не помнить, ваше благородие! Это я хорошо помню и как теперь вижу, — говорил он, — что когда я вышел из Михайловского, то догнал своего товарища (имени и фамилии я не упомяну), который сказал мне:

— А, Митька! Это ты? Так пойдём, брат, вместе.

— Я говорю — Пойдем! Но когда мы пошли рядом и стали разговаривать, то мне и помстилось — как же это, мол, так? — он покойный, а я живой, а идем, значит, вместе. И знаете, ваше благородие, как передумал я это на уме, и так мне сделалось страшно, что и ска-

зять не умею. А он словно заметил, что я трушу, да и говорит:

— Ты чего, Митька, боишься? Я ведь живой!

— Я поглядел на него, да и подумал опять — живой! Взаболь живой! Так чего же я трусил? Иду, значит, все рядом и бояться не стал, и на душе стало полегче; иду да и вижу, что недалеко деревня, значит, как следует деревня — и дома стоят, и дворы, и огороды. Он остановился да и говорит: «А что, Митька, зайдем ко мне да выпьем по рюмочке». — «Ну, что ж, говорю, пожалуй, пойдём».

— Вот мы зашли; я сел на лавку, а он достал полуштоф, налил стакан да и потчует, — на, говорит, пей на здоровье!

— Я, знаете, принял от него стакан, как теперь вижу, в левую руку, а правой-то перекрестился — да больше, ваше благородие, ничего и не помню, и где нахожусь — не знаю! А когда мне стало холодно и я словно очнулся, то увидал, будто в сумерках, что я сижу на каком-то бревне, а где именно и понять не могу. Потом сделалось маленько посветлее, и я разглядел, что нахожусь в какой-то старой шах-

те, за крепью!..

— Ну хорошо, Донской! Значит, ты пришел в себя, отрезвился, — так что же ты думал и соображал?

— Ох, ваше благородие! О чем я думал целых три ночи и почти четыре дня, то уж и вспомнить боюсь, — инда душа замирает... Сколько я молился, сколько слез выплакал, сколько кричал до того, что грудь заболела!.. Да нет, барин, всего и не спрашивайте. Да мне всего и не рассказать, что я перенес и вытерпел...

Я, конечно, сейчас же прекратил беседу и хотел Донского угостить водкой, но он отказался и сказал, что после того случая пить вино совсем перестал, так что вот уже несколько лет, как и в рот не берет этого проклятого зелья.

— Ну, а вот что, Донской! — спросил я. — Тот, с которым ты шел, был действительно покойный?

— Как же, барин, — покойный; это и товарищи мои все знают, что он умер до того случая года за полтора. Я и теперь иногда за него служу панафиды, а то нет-нет да и приснится,

царство ему небесное!..

## II

Написав уже несколько листов этих воспоминаний, я до сих пор нисколько не познакомил читателя с особой моего хозяина, чистого типа еврея Кубича. Этот небольшой, седенький человечек был крайне симпатичной личностью как по своему поведению, опрятной и строгой жизни, так по уму и своей начитанности, не только по халдейской, но и русской библиотеке, особенно книг духовного содержания и догматов веры, на которые он смотрел с такой точки зрения, что трудно было верить тому, что это говорит еврей, да еще раввин между своей братии. Он, например, нисколько не отвергал великого учения Спасителя и с благоговением относился к святому евангелию, а когда я попросил его перекреститься, то он сделал крестное знамение и несколько улыбнулся, как бы в том смысле, что ты, дескать, этого не ожидал от еврея, а вот взял да и перекрестился...

Кубич частенько приходил ко мне вечерами, нередко просиживал до глубокой ночи, рассуждал о разных разностях и выпраши-

вал о газетных толках и о современной политике. Видимо было, что он знаком с географическим положением государств и понимал их отношения между собою. Но всего забавнее было то, что старик чрезвычайно любил анекдоты, особенно те, в которых остроумие или соль речи играли первую роль. Так как я в то время знал массу всевозможных курьезных рассказов, то Кубич частенько после наездательных повествований с особенным вниманием слушал мои анекдоты и хохотал до слез, а однажды не вытерпел и сконфуженный выбежал на улицу из моей избенки, так что в этот вечер я уже не мог заманить старика послушать еще другой, более занимательный казус.

— Нет, — говорил он, — будет! Я и без другого не усну теперь целую ночь.

Кроме Кубича ко мне несколько раз заявлялся ссыльный еврей Ицка, еще совсем молодой, рослый, здоровый мужчина, бывший солдат, но пришедший на каторгу за дезертирство и контрабанду, как значилось по его «статейному списку». Этот человек был крайне веселого характера и, что всего невероят-

нее, — охотник в душе. Еврей — охотник! Да еще такой, который очень недурно стрелял на лету. Он не один раз ходил со мной на охоту за куропатками и зайцами, стреляя последних очень удачно. Вот он-то отчасти и снабжал г. Явениуса этой дичью. Он говорил, что за свою ловкость стрелять он и пришел в ка-торгу, а за что именно, ни за что сказать не хотел — это была его тайна, а что аттестат его неверен. Ицка довольно чисто говорил по-русски и не один раз потешал меня своими рассказами из солдатской жизни в западных губерниях. Крайне сожалею, что в то время не записывал хотя бы только одну суть его повествований; в них было столько соли, комизма, юмора и замечательных изворотов и хитростей, что никакие анекдоты не сравнятся с той искренностью и правдою, которые вытекали сами собой из действительной жизни солдата того времени. Тут Ицка был настоящим, неподдельным комиком, потому что черпал все это с природы и изображал в лицах так рельефно, что невольно у слушателя представлялась полная картина всего происходившего, как бы перед собственными глаза-

ми, и не было сил удержаться от душившего смеха. Одна мимика Ицки чего уже стоила! Вот бы эту бестию выдвинуть на сцену да показать публике!.. Он бы, наверное, затмил современных Вейнбергов, а его рассказы положительнее по содержанию и правде сказок казака Луганского (Даля).

Когда он освоился со мной да увидал, что «его благородие» не кусается, то выпросил у меня две пары старых эполет и шарф (офицерский того времени).

Я с удовольствием подарил ему эти вещи, но спросил его, для чего они ему нужны?

— А вот увидите, ваше благородие, что я из них сделаю и стану торговать.

Действительно, Ицка удивил нас всех: он распустил по ниточкам всю серебряную канитель и понаделал из нее на проволочках всевозможных сортов колечек, крестиков, пуговок, сережек, головных уборов и проч., да так аккуратно и искусно, что несколько таких вещей продал довольно дорого тут же в руднике, а с остальными уехал в окрестные казачьи селения и в скором времени привез оттуда два воза хлеба, который выгодно спустил, а

на вырученные деньги завел себе коробку с разными мелочами и стал торговать, разъезжая по деревням...

Дальнейшей судьбы Ицки я не знаю, но носились слухи, что будто бы его где-то убили уже как настоящего коробейника; если это так, то нельзя не пожалеть такого способного человека.

Но, господа! Вспоминая свою молодость, можно ли пройти молчанием о той особе, которая затмевает собой и Кубича, и Хаима, и Ицку не только каждого порознь, но и всех трех взятых вместе. Но вот вопрос — говорить ли об этом? Потому что жена уж и без того на меня сердится за мою откровенность по предыдущим статьям, в чем я ей, грешный человек, не каялся ранее и только теперь представляю повинную голову...

Дело, видите, в том, что как раз через мою улицу, почти против моей низенькой и крохотной избенки, жила с матерью прехорошенькая богатая молодая вдовушка, еврейка по происхождению. Отец ее был негоциантом в Варшаве, имел хорошую фирму, но был замешан по польскому восстанию, а потому со-

слан на поселение в 30-х годах в каком-то селении Восточной Сибири. Вдовушку звали Рахилью. Она молоденькой вышла замуж и через несколько месяцев овдовела. Молодой ее муж, сын какого-то часовщика из Москвы, тоже попал за что-то на поселение, жил хорошо, но, женившись, внезапно умер от разрыва сердца. Мать Рахили, очень строгая, обрусевшая старуха, незадолго переехавшая в Зерентуй, приходилась какой-то родственницей моему хозяину Кубичу, почему частенько являлась к нему в гости; но Рахиль жаловала очень редко и, как я узнал, большею частью тогда, когда я отправлялся с Михайлой на охоту.

Однако же все это не мешало молодому сердцу забывать на время охоту и биться той тревогой, которая чего-то ищет и заставляет человека поглядывать в ту сторону, где существует особого рода магнит, действующий такой непонятной силой, какую иногда ничем не парализуешь. Так было, по крайней мере, со мной тем более потому, что я скучал одиночеством, живя в такой далекой глуши, и жаждал отголоска в другом молодом сердце.

Бывало, придешь с рудника или с охоты, усталый, измученный, и ляжешь отдохнуть; но только закроешь веки, как прелестная Рахиль точно нарочно явится перед тобой, а ее выразительные глаза и коралловые губки до того смущают молодое воображение, что нет воли побороть это наваждение и чем более воюешь с самим собой, тем в более чарующей картине всевластной красоты молодой женщины представляется чудная вдовушка. Так что мечешься во все стороны, повертываешь несколько раз подушку, но она все кажется горячей, и нет сил уснуть поскорее...

Да и как не иметь такого влечения молодому человеку, когда Рахиль действительно такая хорошенькая — тонкая, воздушная, стройная и с такими чудными, большими, темно-вишневыми выразительными глазами. Одна ее бойкая, гордая походка чего уже стоит! Точно горная серна. Что ни шаг, то и рубль — прелесть! Так ходят только энергичные, бедовые женщины; дороги они не дадут никому и смело пройдут хоть по жердочке, не моргнув глазом и не дрогнув ни одним мускулом. Они не станут визгливо кричать над

пропастью, не будут из боязни и кокетства болтать руками, а разве серебристо похохочут над опасностью и с природной грацией сделают только несколько чарующих движений, чтоб удержать равновесие... Эти чудные создания не только всевластны над нашим братом, но они невольно наводят на ту мысль, что их необходимо снимать на полотно талантливой кистью именно в тех позах, когда они напоминают сказочных красавиц и всемогущи в своей царственной красоте!.. Да, и такие-то жемчужины встречаются в глухой Сибири и глохнут в ее пустынных дебрях...

Недаром уже многие заискивали расположения Рахили и предлагали ей руку и сердце, но молодая вдовушка с гордостью отвергала все предложения и ни за что не хотела принять православия, что было необходимо, так как все ее обожатели не могли иначе вступить с нею в законный брак. Все это я слышал от многих, не надеялся на успех ухаживания, зная строгую нравственность прелестной женщины, но тем не менее никак не мог утерпеть, чтоб при малейшем удобном случае не дать ей понять, что я сильно интересуюсь

ею и ищу ее расположения.

Но, увы! Все мои заискивания не имели успеха и нередко терпели такое фиаско, что приходилось краснеть по уши, внутренне злиться и говорить про себя: «Ах ты, шельма этакая! Гордячка! Рыбка холодная!» А между тем я хорошо понимал, что она не рыбка, но огонь, и огонь опасный, который, пожалуй, ничем не потушишь и не зальешь...

Но вот стало потеплее в воздухе; многие начали отворять окна, и, конечно, я едва ли не первый сделал это и тут же заметил, что и наискосок моей квартиры, в известном мне домике с беленькими ставнями, тоже отворилось окошечко. Но какова же была моя досада, когда я первый раз увидел в нем старуху мать, обмывающую стекла. Однако ж я не смутился этой неудачей, а знал очень хорошо, что живая, энергичная Рахиль не вытерпит и непременно подойдет к растворенному окну, а потому вооружился биноклем, сел на пол у печки и стал наблюдать. Старуха давно окончила свою работу, взяла какую-то посудину и ушла во внутреннюю дверь. Смотрю, тотчас появилась Рахиль, выглянула в окно, метнула

взглядом на мою избенку, как бы чего-то подождала и ушла от окна. Я нарочно сидел в уголке, спрятавшись еще более. Фу! Да как же близко была она в моем бинокле — и какая хорошенькая! Просто дух замирает! Я видел не только ее длинные черные ресницы, темные бедовые глазки, но схватил ту мелькнувшую улыбку, которая пробежала по ее губкам и точно сказала мне что-то такое, от чего является надежда на что-то будущее... Фу, чертенок! Так бы вот и поцеловал ее хоть сквозь эти холодные стеклышки!..

Но не прошло и десяти минут, как снова появилась Рахиль с какой-то работой, выглянула и снова так же метнула, как серна, на мой уголок.

Тут я не выдержал, тихо встал и как бы ненарочно подошел к своему окошечку. Она тотчас, заметив это появление, отвернулась, но не уходила. Я скараулил, поймал удобный момент и послал ей рукой поцелуй. Она оспыхнула, оглянулась, сделала мне пальчиком нос и захлопнула раму.

— Ах ты, чертовка! — вырвалось у меня невольно. — Ты точно нарочно скараулила

меня сама, да только для того, чтоб сделать мне нос? Постой же, голубушка! Будет же праздник и на моей улице, — думал я и не оставлял своих наблюдений и посланий поцелуев, но всегда делал это так осторожно, что меня никто не мог видеть, чего придерживалась, видимо, и она.

Однако же эти постоянные неудачи оконного волокитства бесили меня порядочно. И вот я однажды, вытесав из дощечки рыбку, показал ее Рахили. Она улыбнулась и отрицательно покачала головой, да так покачала, плутовка, что решительно свела меня с ума. Тут было все — и отрицание, и упрек, и кокетство, и молодая кипучая жизнь, полная любви и неги...

— Вот настоящий демон, а не женщина! — говорил я и прятался в свой угол...

Но подошли и праздники святой пасхи. Мы с Михайлой уже несколько раз пробовали ездить за утками, но стояла распутица, несмотря на раннюю весну вообще в Забайкалье, и наши охоты были мало успешны. Тут мне случайно удалось убить пару гусей и несколько разных уток, но об этом пока не

стоит и говорить...

На праздниках народ веселился, выходил за селение на удобные сухие места и затевал разные игры, в которых нередко принимал участие и я. Рахили тут не было. Меня это бесило, но я все-таки из дома посылал почти ежедневные поцелуи и всякий раз получал от нее какой-нибудь афронт, а чаще всего приставленные к носу козульки. Наконец мне это надоело, и я с умыслом прекратил свои послания; даже делал вид, будто не произвожу более своих простых и астрономических наблюдений.

Хотя сердце мое поднывало не на шутку, но я крепился, хотел выдержать себя, а потому наблюдал только издали; или же нарочно садился к окну и точно не замечал ее близкого соседства. Но, в сущности, видел иногда сквозь пальцы, прислоненной к щеке руки, как демоническая милая вдовушка нередко уже нарочно появлялась у окна, как бы невольно поглядывала на мой уголок и глубоко вздыхала. Тут я, еще более скрепив сердце, притворялся равнодушным, будто читал книгу, но, конечно, не видал строчек, ничего не

понимал, и меня давила особая истома.

Эта перемена декорации задела самолюбие гордой избалованной Рахили, а может быть и особую струнку любящего сердца, что я заметил очень скоро, а потому еще упорнее показывал свое хладнокровие к ней.

Дни пасхи стояли превосходные, теплые, ясные, и молодежь не сходила с улиц, а на избранных гульбищах веселилась каждый вечер. Пошел по обыкновению и я в ту же компанию, но невеселый, унылый, с затаенной грустью на сердце. Как вдруг вижу, что разодетая по-праздничному Рахиль, прекрасная, как весна, пришла туда же и приняла участие в «горелках». Я нарочно как бы не замечал ее появления и, когда дошла до меня очередь «гореть» или «разлучать», как говорят сибиряки, с умыслом бросился ловить не ее, а другую девушку ее пары и, конечно, поймав эту беглянку, заставил гореть Рахиль. Эта Золушка сделала свое дело, и я видел, как хорошенькая евреечка затаила в себе досаду и вместе с тем торжествовала, как бы разделяя мою осторожность перед компанией.

Тут я сметил, что бойкая и легкая на ногу

вдовушка так ловко делала свою обязанность «горелки», что нарочно не ловила бегающие пары: то она как будто прозеваает, то запнется и все-таки не поймает. Дошло дело и до меня. Я побежал шутя; это взбесило Рахиль, и она во всю прыть бросилась за мной. Но я наддал, убежал от нее и схватился со своей парой. Это еще более задело вдовушку, и все видели ее досаду. Далее я с умыслом поддался той паре, которая стояла перед очередью Рахили, и снова остался гореть. Когда же пришел черед бежать ей, то я видел, как она приготавливалась показать свою прыть, метала на меня огненные взгляды и, видимо, хотела оставить меня с носом. Я не показывал того, что замечаю ее намерения, и зорко караулил.

Но вот побежала ее пара; я тотчас бросился за Рахилью, отделил ее от подруги и нарочно угонял подальше, как бы не имея сил догнать. А когда мы оба забежали под небольшую горку, то я тотчас догнал воздушную вдовушку: хоть она и торопилась сама, но запнулась и чуть-чуть не упала. Я моментально подхватил ее сзади за талию, так же скоро повернул к себе и, не дав ей опомниться, видя, что мы

одни, сочно поцеловал ее в губки. А потом, взяв за руку, пошел с нею, как ни в чем не бывало, к играющим.

Рахиль, как видно, не ожидала такого пассажи, сильно сконфузилась, растерялась и только тихо, но выразительно и с расстановкой сказала: «Не-год-ный!»

В ответ на это я пожал ее руку и тем же тоном с той же расстановкой проговорил ей: «Не-прав-да!»

Она быстро метнула на меня влажными большими очами, потом их опустила, точно закрыла, и не сказала ни слова.

На пути к играющим я вторично пожал ее ручку. Рахиль как бы дрогнула, покраснела еще более, но слабо ответила тем же.

Я торжествовал внутренно, долго еще играл в горелки, и нас уже никто не мог «разлучить» с нею. В антрактах игры мы громко разговаривали, шутили, смеялись, но она как бы избегала моего взгляда. Зато ее грудь высоко поднималась и точно высказывала затаенную радость, переполненную чувствами души. Словом, Рахиль тоже торжествовала, щеки ее пылали, глаза бросали искры, и она бе-



«Зерентуй»

гала, как сибирская козочка.

На прощании, уже вечером, я снова пожал ее руку и поглядел ей в черные очи; они несколько потупились, но блеснули, как молнии. На губах шевельнулась улыбка, а горячая ручка, как бы нехотя, тихо вытянулась из моей широкой длани.

На другой день я скараулил Рахиль у окна, послал ей поцелуй обеими руками и сначала испугался, когда заметил, что она тотчас спятилась внутрь дома. Но затем она послала сама мне легкий поцелуй и тут же погрозила пальчиком, потом прижала его к губам и тихо заперла окно.

Я поклонился, показал ей на свое оконце в переулок, этот глухой проход в пустом месте, и спрятался в избенке. У меня от волнения заболела голова, я лег на кровать и очень был рад, когда пришел ко мне Михайло...

Мы наделали патронов, приготовили все необходимое для дальней охоты и вечером же, на его Серке, в простой телеге, уехали за утками, чтоб утром быть на месте и не потерять удобного времени.

В нескольких верстах от Зерентуйского рудника протекает небольшая речка Борзя. Долина ее русла очень широка и местами даже принимает характер степи, так что маленькие пологие холмы, сопутствующие течению реки, отходят во многих местах очень далеко, представляя собою волнистую окраину, и только изредка виднеются небольшие возвышенности, несколько напоминающие отдельные сопки. Самое русло реки, чрезвычайно извилистое и в некоторых местах поросшее небольшим кустарником, образует большие кривляки, затяжины, плеса, старицы, култуки и острова с малорослым лесом, а по самой долине реки встречаются разной формы и величины озерки. Далее, на много десятков верст, нет воды вовсе и только голые увалы холмят окружающую местность.

Все это, взятое вместе, дает в этом районе единственный пункт, где может останавливаться пролетная водяная дичь. И действительно, как в осенний, так в особенности в весенний пролет, по долине реки Борзи держится масса всевозможных пород уток и гуся.

Да, трудно поверить тому, в какой дей-

ствительно массе собирается тут водоплавающая птица весной, особенно в ненастные, мокрые дни. Она табунами садится не только по речным плесам, но падает на лывы и лужи тотчас за избами Михайловского поселья, а рано утром, пока не встал народ, целые табуны уток копошатся нередко в окраинах на уличных грязях и ползают чуть только не у самых домов, собирая разную дрянь и всплывшие кверху зернышки хлеба. Мне самому случилось дважды убивать мелких утенок на уличных лывах, а за огородами и деревенскими гумнами я их перебил не один десяток, — только надо встать как можно ранее и опередить заботливых хозяек.

Нигде я не видал такого разнообразия пород уток, как в Забайкалье. Особенно эта разнокалиберность поражала меня в первый год моего приезда в Даурию из России. Сколько раз, бывало, случалось, что убьешь утку да и вертишь ее в руках, не зная, как назвать невиданный образец. Только охотничий инстинкт подскажет тебе, что она не из породы рыбалок, и потому торопливо пихаешь ее в мешок, чтоб поскорее застрелить еще более

интересный экземпляр. Не один раз приходилось мне сожалеть, что я не умел приготовить чучел, а как хороши некоторые породы в весеннем наряде!..

Сколько могу припомнить, попробую перечислить на местном жаргоне те породы, какие попадались под мои выстрелы.

1) Обыкновенные кряквы, которых забайкальцы зовут красноногими.

2) Обыкновенная шилохвость, или острохвосты.

3) Серые утки, поменьше последних.

4) Широконоски, или саксоны.

5) *Косатые* утки, поменьше кряковых и даже серых, с косицами по шее и над крыльями.

6) *Свизи*, или *связи* (ямщики).

7) Чернеть черная, хохлатая.

8) Чернеть голубая — утка не менее кряковой, с красноватой головой.

9) Крохаль — двух пород, большой и маленький, — несется больше в утесах.

10) Гоголь — с большой головой, короткой шеей и носом. Несется больше в дуплах. В Западной Сибири крестьяне нарочно ставят дупла и собирают яйца, а потом подрастаю-

щих молодых.

11) Лутки, или нырки. Самец беловатый, матка серенькая. Гнездятся тоже больше в дуплах и садятся на деревья, иногда очень высоко от земли.

12) Гагары — большие и маленькие. Из первых утятники делают шапки.

13) Обыкновенные чирки (две породы).

14) Клоктуны — несколько побольше чирков, но меньше серой. Они замечательны тем, что, где бы они ни сидели, всегда клокчут и скажут о себе охотнику сами.

15) Трескунчики — очень маленькие породы чирков.

16) Свистунчики носят названия по крику и свисту. Весною чрезвычайно красивого оперения, с длинными наподобие волос перьями по спине и цвета георгиевской ленты.

17) Большие темно-серые утки, с бланжевым подбоем под крыльями, — эти очень редки и в Забайкалье. Полет их походит на тетеревиный. Убивал их только осенью.

18) Горные утки. Орочоны называли их *шавыр-нэге*. Встречаются только в тайге, по большим и быстрым речкам. Довольно боль-

шие — с широконоскоу, темного оперения.

19) Горные утки поменьше первых.

20) Зеленоватые большие утки, складом похожие на вальдшнепа, шея короткая. Их я только видел два раза в тайге, на большой речке Амазаре.

21) *Ангатуи* — утки величиною с казарку, совсем белые с бланжевым отливом, только над плечами и на голове по щекам имеются шоколадного цвета пятна. Чрезвычайно красивые, осторожные и вкусные. Их я убивал только на реке Аргуни весной.

22) *Турпаны* — очень большие красные утки. Водятся преимущественно в Южном Забайкалье, вблизи хлебных полей, на широких местах, около скалистых гор, чрезвычайно хитры и осторожны. Гнездятся часто в утесах. Когда матка парит яйца, самец обыкновенно сидит где-нибудь на поле или на пашне, караулит и кричит. Их бьют больше из винтовок.

Надо заметить, что про турпана в Даурии существует легенда. Она говорит о том, что турпан был когда-то человеком — тунгусским ламой и, как все ламы, носил всегда красную одежду: летом монгольского покроя халат

или бешмет, а зимой баранью шубу, крытую сукном или красной китайкой. Но вот однажды лама поспорил с богом о том, что так как лама — человек богатый, то он ничего и никого не боится на земле, а после своей смерти знает, что он и за гробом будет жить также в богатой юрте. Это, надо заметить, общее верование всех бурят: они говорят, что их шаманы и книги толкуют о том, что все тунгусы и на том свете живут юртами, занимаясь скотоводством. Так или иначе — дело убеждения и веры, но суть легенды такая, что господь наказал ламу, напустил на его стадо мор и сделал его бедняком, а затем превратил в турпана с красным оперением — и вот, дескать, почему эта утка живет преимущественно около тех мест, где кочуют тунгусы, — и вот почему турпан такой хитрый, как истый азиатец...

Гусей я видал в Забайкалье три породы:

1) Обыкновенный серый полевой гусь.

2) Гусь гораздо большей породы с рыжеватым оперением и с наростом на носу. Их сибиряки называют каурыми. Они попадаются реже и ведут себя гораздо осторожнее серых собратьев.

3) Обыкновенная казарка — гусь небольшой породы, вероятно известный многим охотникам Южной России. В Забайкалье он редко встречается, почему особой охоты за ними нет, а бьют их случайно.

С другой стороны Зерентуя, в противоположные горные покати от Борзи, тоже в нескольких верстах от селения, бежит мочагами и болотинами небольшая речка Сигачи. Она сбегает к реке Аргуни, проходит между сенокосными дачами и хлебными полями, что служит хорошей приманкой для пролетных гусей. Сюда многие охотники ездят на гусиные ночевки, чтоб покараулить в устроенных засадках. Тут иногда собирается такая масса пролетного гуся, что крестьяне не знают, как отбиться от этих прожорливых гостей, потому что они выклевывают зерно из весенних посевов хлеба и заставляют обиженных ими пахарей нередко снова подсеять на свои пажити.

Утка же держится в Сигачах преимущественно только со второй половины пролета, и многие пары остаются тут на лето, вьют гнезда и выводят молодое поколение. Но гуси

всегда улетают или дальше к северу, или переселяются за Аргунь на мунгальскую (китайскую) сторону и уже там обзаводятся домом.

Надо еще заметить, что весенние утки и гуси в Нерчинском крае прилетают чрезвычайно жирными, а потому составляют очень лакомое блюдо, от которого не отказываются и разборчивые гастрономы.

Однако же я увлекся; и видя отсюда, как некоторые двусмысленно хохочут на мой счет, постараюсь поскорее сказать о том, что мы с Михайлой, после удобного ночлега, снова набили такую массу, что едва поместили птицу в телегу. Только ночью, уже шагом, воротились мы домой, а на другой день рассылали свежинку по своим знакомым, соседям, и Михайло от себя снес несколько отборных уточек матери Рахили, за что получил душевное спасибо от обеих, а я — тихонько посланный поцелуй от одной очаровательной вдовушки...

Но вот с обеда небо затянуло серыми тучами, и изредка уже несколько раз начинал покрапывать живительный весенний дождичек. Я съездил на рудник два раза, вымыл ру-

жье, приготовил новых патронов, наконец поужинал и улегся спать, но уснуть не мог. Впечатления удачной охоты, беленькое окошечко и все те же сладкие, несвязные мечты отгоняли куда-то сон, и я вертелся на горячей подушке да прислушивался к невозмутимой тишине уснувшего рудника. Только изредка где-то потявкивали собаки, да пели петухи почти одновременно во всех концах накрытого мраком пасмурной ночи селения. Какое-то радостное предчувствие волновало мой организм и чем-то особым лелеяло восторженную душу...

Я встал с кровати, напился ледовой воды и чиркнул у окна спичку, чтоб закурить папиросу, а затем несколько пошагал по своей крохотной избенке, докурил до самого мундштучка, задавил об печку огонь и снова улегся, точно отдохнув от волнующих душу мыслей.

Мне нередко случалось убивать в Восточной Сибири весной таких уток, у которых попадалась глубоко заросшая чугунная дробь весьма разнообразного калибра, но всегда крупнее наших утиных сортов. Неужели ки-

тайские охотники стреляют чугунной дробью?

Отправившись с Михайлой на речку Борзю, я вполне отвел охотничью душу и настроился по горло, так что в это время и хорошенькая вдовушка оставалась на заднем плане. Мы проохотились два дня, заночевав очень удобно на какой-то заимке около деревни Байки, — это почти в сорока верстах от Зерентуя. Так как весной на заимке никого не было, то мы расположились очень удобно: затопили печку, сварили в котелке великолепную похлебку из свежих уток, напились чаю, натаскали целый ворох соломы и с комфортом улеглись спать. Вот только тут мне сначала мерещилась в какой-то сладкой грезе прелестная Рахиль со своими очаровательными, бархатными глазками и розовыми губками, а потом усталость взяла перевес, мечты задержались флером, сладкая потягота исчезла, и я крепко уснул сном праведника... Смутно только помню, что целый вечер в открытые окна до нас доносился свист от пролетающих табунов уток, их покеркивание на речке и зычное гусиное гоготанье сверху. Трудно за-

быть этот вечер, когда душа переполнена удачной охотой, в голове какие-то сладкие грезы, мечты, надежды на счастливое будущее, а на сердце так тепло и отрадно!.. Лежишь, тихо покуриваешь, смотришь на догорающий огонек, уносишься мыслями бог знает куда и в то же время чувствуешь, что за пахучей словно пощипывает — от одного уже того, что перед отъездом на охоту из беленького окошечка вылетел к твоей избенке стыдливый поцелуй, а приложенный к губкам пальчик говорил о том, чтоб свято хранить молчание и — надеяться на что-то будущее, от которого замирает душа, наворачиваются облегчающие слезы и невольный особый трепет, разжигая приятной теплотой тело, пробегает по нервам...

Да, господа, кто из нас не испытал этих ощущений в молодости и кто может забыть их под старость?.. Полагаю, что если у человека не было в жизни таких минут, тот ни больше ни меньше, как льдина или никуда не годная тряпка, бездушная мочалка, — право так!.. Такого субъекта надо расстрелять «простоквашей», как говорят сибиряки, выбро-

сидеть за бортом несколько не жалея, и нет ему места там, где должна быть по естественному закону природы кипучая жизнь, полная любви и неги, доверия и ласки. <...>

Но вот не прошло и четверти часа, как мой строгий Каштан немного заворчал, а потом, подойдя к кровати, начал лизать мою руку. В это время я услышал легкий шорох за окном и затем осторожное постукивание в оконную раму со стороны пустого переулочка. Я невольно вздрогнул и сначала подумал, что уж опять не случилось ли чего-нибудь на руднике, но какой-то внутренний голос точно подсказывал мне на ухо: не бойся, а вставай поскорее и отвори оконце.

Я моментально отпихнул Каштана, тихонько подошел к окну и посмотрел в стекло, но видел только одну ночную тьму и никого больше.

«Что за штука? — подумал я. — Кто же стучал? А мне это не почудилось, и я отчетливо слышал потенькивание окопной рамы. Фу, черт побери! Неужели же это кто-нибудь школьничает в такое время ночи?..»

Постой, думаю, дай-ка я посмотрю, и если

последнее предположение верно, то выскочу и поучу школьника.

И вот я тихо отворил раму, а осторожно выглянув в переулочек, заметил, что у самого края окна, около стены избенки, стоит какой-то человек. Я начинаю приглядываться и вижу, что незнакомая фигурка в мужском рабочем азыме, как говорят сибиряки, или шинели, и в мужском картузе, утянув голову в воротник, прижалась к стене спиной, молчит и не шевелится.

Опять какое-то особое чувство радости пробежало теплым током по моим жилам. Я тотчас накинул халат, надернул туфли, выглянул в окно и тихо спросил:

— Кто тут?

Но ответа не последовало, а прижавшаяся фигурка только переступила ногами и углубила голову в воротник.

Заинтересованный таинственностью как бы прятавшегося человека, я повторил вопрос:

— Кто тут? Говори! Что же ты молчишь?

Но и на этот призыв полнейшая тишина окружала меня со всех сторон, и только мой

строгий Каштан, поставив передние лапы на уголок подоконника, бил меня хвостом по ногам.

Какая-то непонятная тревога и особое ощущение во всем организме, мешаясь отчасти с невольным страхом и волнением в крови, овладели всем моим существом. Я боролся с самим собой и не знал, что делать, но опять-таки какое-то радостное предчувствие точно подсказывало мне в ухо: да вылезь и погляди хорошенько. Я тотчас выпрыгнул из окна, смело повернулся к незнакомцу и, крепко взяв его за плечи, нагнулся, чтоб рассмотреть в лицо. Он несколько вздрогнул и еще больше утянул в воротник голову, но из-под козырька его картуза светились каким-то фосфорическим огоньком как будто знакомые очи. В это время подскочил Каштан, понюхал незнакомца и тотчас, быстро повернувшись, упрыгнул в избенку.

Разглядывая молча притаившегося человека, я слышал, как у него постукивало сердце, а по мягким плечам пробегала нервная дрожь, но он молчал по-прежнему и еще упорнее прятался в воротник. Я снял с него

фуражку и, проводя рукой по голове, ощупал превосходные женские волосы.

Тут я не верил себе, не верил своему счастью и не понимаю, как только не закричал от радости и того чувства, которым переполнилась моя душа, а сердце забилося особой тревогой. И вот я, не думая долго, поднял тихонько прятавшийся гладкий подбородок, и губы наши слились в долгий-долгий, горячий поцелуй...

Рахиль страстно обхватила меня за шею руками и как бы замерла в моих крепких объятиях...

— Ты ли это, моя дорогая голубка! — невольно тихо вырвалось у меня из груди. Но она молчала, точно повисла на моей шее и только горячо-горячо целовала меня в глаза и щеки...

Я схватил ее, как ребенка, на руки, поцеловал в губки и осторожно, как неоценимое сокровище, тихо продел в мизерное оконце крошечной избенки...

Мне кажется, что никакой рай Магомета — ничто в сравнении с этой короткой, но темной ночью...

## IV

Через несколько дней мы собрались с Михайлой в Сигачи, чтоб покараулить гусей, так как он ездил туда и нашел те места, куда они прилетают вечером с хлебных полей для ночевки. Тут надо заметить, что хитрые гуси никогда не бывают ночью там, где проводят день, и наоборот. Поэтому необходимо иметь охотничью сметку, чтоб в отсутствие дичи распознавать разницу и положительно определять их токовище — дневное и ночное. Иначе охота не имеет смысла, а при ошибке с первого же раза покажется новичку нестоящей хлопот, скучной, отбивающей охоту историей.

В очень хороший апрельский день Михайло подъехал ко мне в телеге на своем охотничьем Серке. Мы сложили необходимые полевые принадлежности, взяли сухую закуску, медный чайник и отправились потихоньку в Сигачи. Тронувшись с места, я невольно посмотрел на беленькие окна: в глубине комнаты стояла Рахиль в мужском картузе на голове и в черной шинели. Заметив мой взгляд, она сняла фуражку, раскланялась по-мужски

и послала страстный поцелуй рукой. Мне нельзя было сделать того же привета на улице, а потому, скрепя сердце, я только слегка кивнул ей головой и снова поглядел на ее шалость. Но телега заколотилась по неровной дороге, я оглянулся, как бы поправляя сиденье, но тут же заметил, что Рахиль стояла уже у окна в обыкновенном женском костюме и пресерьезно смотрела на улицу.

«Прелестная!» — мелькнуло у меня в голове, и я не заметил, как мы очутились за околицей селения...

В Сигачи мы приехали довольно рано, а потому занялись приготовлением засадок. Я выбрал место в высоком кочкарнике, который выдающимся возвышенным островком лежал между двумя кочковатыми озеринками, а Михайло захотел сесть пониже меня саженьях в трехстах на большой лыве, где речка бежала руслом и, вдаваясь в берег, образовала широкое плесо.

Как опытный гусятник, Михайло сначала устроил меня. Он топором срубил несколько высоких кочек и составил их так, что между ними образовалось довольно большое поме-

щение, куда можно свободно залечь охотнику. Затем он ножом нарезал камыша и осоки, постлал это между кочками, чтоб не было большой сырости, и приготовил еще порядочный сноп «ветоши» (старой травы) с той целью, чтоб ею можно было закрыться сверху, когда придет время ложиться в засадку.

Вся эта штука очень практична: она не требует особых приспособлений, потому что весь материал находится под руками, на самом месте охоты.

Так как было еще рано, то мы сварили чаю и, напившись этого зелья, порядочно закусили. Когда солнышко стало «закататься», мы отправились по своим местам — я в кочкарник, а Михайло уехал на телеге к своей засадке.

Положив ружье и патронташ на удобное место, я лег ничком между поставленными кочками, а со спины забросал себя ветошью. Превосходный апрельский вечер дышал повесенному, так что невольное чувство радости овладело всем моим организмом. Но тут в голову лезли радужные мечты, надежды на будущее, несбыточные желания, и только из-

редка прилетавшие пары уток выводили меня из этого восторженного настроения и точно заставляли опомниться, прийти к действительности. Но я лишь посматривал на брачующиеся пары и не нарушал их счастья, не потому что жалел их убить, нет, а вследствие того, что боялся «оголчить» выстрелами место, дожидая более дорогую и осторожную дичь.

Но вот стало наконец и смеркаться, на небе показался половинный молодой месяц и матово осветил всю окрестность. Легкие тени легли по окраинам небольших увалов, а вся даль точно задернулась флером, потеряв свое очертание. Вода между кочками будто куда-то исчезла и светилась только в некоторых местах, а поросшие желтые кочки казались какими-то фантастическими призраками. Полнейшая тишина царила по всей окрестности, только изредка доносилось ржание отпущенных на волю лошадей, сонное курлыканье журавлей и свист пролетающих уток.

Вдруг я услышал вблизи какой-то легкий шелест и изредка побулькивание воды между таинственными кочками. Я невольно повернул туда голову, полагая, что это пробираются

утки. Но каково же было мое удивление, когда я, не далее как в пяти шагах, увидел сначала пару светящихся глаз, а потом и мордочку лисицы, которая, вероятно, учуяв засаду, встала передними лапками на кочку и зорко присматривалась. Я нарочно не шевелился и ждал, что будет, но кумушка тотчас юркнула между кочками, и я только видел, как однажды мелькнул ее пушистый хвост, а потом услышал, как из кочек с тревожным криком сорвалась пара кряковых и, поболтавшись на подъеме, исчезла во мраке вечера. Немного погодя раздался резкий выстрел Михайлы. Легким эхом прокатился он по ближайшим холмам, но потом вдруг замер, точно порвался, как одиночный звук в пустыне, и снова таинственная тишина охватила всю окрестность. Несмотря на это, в душе охотника является еще большее желание прислушиваться к самым отдаленным звукам и чего-то ждать, потому что душа созерцает в этой таинственности кипучую жизнь, лишь только прикрытую как бы прозрачной завесой весенней ночи. Это чарующее настроение дает жизнь тому же охотнику, и он невольно становится

ближе к природе, ближе к самому себе, чувствуя сильнее обыкновенного и свое я, и то, на что он «в миру» иногда не обращает внимания...

Но вот, отлежав грудь, я уже начинал терять терпение, что, в противоположность первому настроению, говорило о физике и немоци человека. Вдруг где-то вдали послышалось гусиное гоготанье. Я встрепенулся и припал в засадке. Еще несколько минут — и эти отрадные звуки стали приближаться все более и более ко мне. Наконец я услышал шум гусиного полета и, тихонько взглянув кверху, увидел очень низко над собой большую стаю гусей. Сначала она мерно пронеслась мимо, и я невольно досадовал, что не стрелял на лету; но вот слышу по гоготанью гусей, что они заворотились, дали круг около кочкарника и снова пронеслись надо мной, но уже так низко, что крыльями сдули с меня всю ветошь и без всякого крика, но шумно, опустились на воду, в нескольких шагах от моих ног. Затем воцарилась полнейшая тишина, так что ожидаемые гости, должно быть, не шевельнули ни одним пером, не дрогнули ни одним му-

скулом. Ясно было, что вся стая прислушивалась сама и испытывала, нет ли какой-нибудь затаившейся опасности. Так продолжалось несколько минут, и эта короткая пауза показалась мне вечностью: но, по совету Михайлы, я лежал истуканом и ждал. Такое положение для непривычного молодого охотника ужасно. Это настоящая пытка!.. Так вот и хочется посмотреть, понаблюдать. Словно какой-то зуд не дает покоя, и тебе кажется, что долее не вытерпеть и минуты. Но сила воли берет верх, и ты стараешься даже не дышать, уткнувшись лицом в мокрую подстилку. Фу, какое глупое состояние, скажет, конечно, не охотник, а истый собрат по оружию тотчас поймет всю эту штуку и, наверное, посочувствует в душе да, пожалуй, и скажет первому: не тебе, брат, судить о нашем брате; знай лучше свой мир и не называй глупостью того, что тебе недоступно, — это-то и есть та охотничья жилка, которой не поймут даже и те, кто ходит только в особых штиблетах по откупленному болоту да красиво пощелкивает одних долгоносиков, а завидя обвесившегося разной дичью мужичка со связанным мочал-

ками ружьем, лишь двусмысленно улыбается и воображает, что этот последний «хлопочет» только из-за одной нужды...

Но вот я услышал легкое успокоительное погогатывание нескольких голосов, как бы ясно говорившее наблюдательному уху о том, что все, мол, спокойно и бояться нечего, а вслед за этим вся стая стала щелочить воду и ходить по мелкой воде.

Я не знал, что мне делать, что предпринять, потому что лежал на животе и не головой, а ногами к такой осторожной дичи. Прошло еще несколько минут моего нового мучения. Повернуться на животе не представлялось никакой возможности, так как приходилось описать круг, а составленные кочки не позволяли этого поворота. И вот я тихо повернулся сначала на спину и полегоньку стал приподниматься, наконец кое-как сел и, согнувшись, начал присматриваться.

Тут я заметил очень забавную картину. Самых гусей за темнотой вечера я не видал, но замечал только как бы черные палочки, которые в разных местах то показывались, то скрывались, — то одна, то две, то три, то че-

тыре, поминутно меняясь в количестве. Словно какое-нибудь мифическое существо запряталось в кочки, показывало свои громадные пальцы и дразнило, переменяя их положение.

Ясно было, что эти черные палочки не что больше, как поднимающиеся и опускающиеся шеи гусей. Значит, зевать не следовало, а надо было поскорее стрелять где их побольше и погуще. Я поддержал собачки, тихо взвел курки и стал прицеливаться. Но поминутное исчезновение и появление гусиных шей до того пугало меня выстрелить мимо, что я водил ружьем то туда, то сюда, боясь спустить курок. Мне все хотелось скараулить тот момент, когда показывающиеся палочки остановятся и несколько штук сольются в одну тень. К тому же было так уже темно, что стволы едва отделялись от кочек и не представлялось возможности взять верный прицел.

Положение мое было крайне неловкое, а мысль испугать всю стаю доводила меня чуть не до отчаяния. Но вот я стал замечать те места, где шеи показываются яснее и в большем количестве, а затем, остановившись на из-

бранном пункте, я тихо сказал: «Ну, господи благослови!» — и спустил курок. Потом вдруг соскочил на ноги, чтоб в поднявшуюся стаю выстрелить еще влет. Тут я слышал, как будто что-то шлепнуло на воду, но ничего уже не видал и, бросив ружье, побежал в то место, куда были направлены мои выстрелы.

Трудно описать тот переполох, когда ничего не подозревавшие гуси вдруг были озадачены таким близким и громогласным выстрелом, а затем увидали в нескольких шагах от себя соскочившего охотника. Они выражали ужасную тревогу усиленным гоготаньем на особый мотив, путались в кочках, тряслись друг над другом невысоко в воздухе. Только через несколько секунд поправились гуси и, стремительно бросившись спасаться, скрылись в темноте вечера.

Добежав до кочек, я сразу нашел двух гусей на одном месте, одного увидел подалее между кочками, а четвертый, с переломленным крылом, удирал от меня на лужу. Я бросился за ним и, догоняя добычу, несколько раз упал, вымок почти весь и уже далеко от лужи, почти на сухом месте, поймал бойкого

подранка.

Смешно и досадно было на то, что я, схватив этого гуся, заблудился по кочкарнику и не мог найти своей засадки. Долго ходил я и запинался за кочки. Наконец, заметив к месяцу большую лужу, только тогда сообразил местность, а отыскав засадку, уже легко пришел к оставленным мной гусям.

Радость моя была не маленькая. И вот я, зарядив ружье, достал фляжку и, по русскому обычаю, выпил полную чару живительной всероссийской влаги, а затем снова улегся в засадку, но уже не так, как прежде, — нет, а головой туда, где были мои ноги, и — увы! жестоко ошибся в расчете.

Лишь только успел я устроиться в своем помещении, между исправленными кочками, как с той же стороны, от берегов Аргуни, до меня донеслись те же приятные звуки гусяного гоготанья: сначала чуть слышно, а потом все сильнее и сильнее, что ясно говорило мне, что и эта стая летит в мои Палестины. И странное, право, создание это — охотник! Мне кажется, что он во многих случаях жизни делается человеком «не от мира сего», а

каким-то особым существом, которое точно отделяется от земли и всем своим организмом витает в пространстве, в мире фантазии, где все человеческое куда-то исчезает, а является что-то возвышенное, идеальное, которое все его существо настраивает особым жизненным аккордом, так тесно связанным с творением великой природы... И в самом деле, ну что тут кажется лестного, как говорят сибиряки, в звуках гусяного гоготанья? Ничего! Какие-то скрипучие, негармоничные ноты, и только! А между тем как они приятны, как они мелодичны для уха караулящего охотника, особенно в тишине весеннего вечера, когда таинственно живет вся окружающая природа и заставляет вас думать о какой-то великой силе, которая так мудро управляет всем миром под десницей Создателя, но из века в век остается той же недоступной тайной для ума человека...

Да, читатель! Заслышав эти приятные звуки подлетающей осторожной дичи, охотник вдруг словно перерождается и тут же забывает все житейское — и горе, и слезы, а нужда и забота куда-то исчезают мгновенно, вслед за

исчезновением и всего идеального. Вместо всего этого являются надежда и радость уже чисто охотничьего характера, которые, точно электрическим током пробегая по всему организму, приятной теплотой отзываются на охотничьем сердце...

Заслыша новую стаю, я притаился в засадке, снова забросав себя ветошью. Звуки гусиного гоготанья то приближались, то как будто удалялись, то прерывались, то возрождались с большею силой. Но вот они смолкли совсем и только изредка сдержанный голос вожака тихо возвещал о том, что стая недалеко. И действительно, не прошло и пяти секунд, как послышался характерный свист и дребезжащий шум от работающих в воздухе крыльев, но гуси плавно пронеслись над моей засадкой...

Одним словом, повторился уже описанный выше пассаж гусиной осторожности и тревожного состояния охотника. Стая раза три, все ниже и ниже, пролетала над болотистым кочкарником, снова сдула с меня сухую ветошь и наконец с шумом опустилась на лыву, но — увы! — не на ту, куда прилетала первая,

а в противоположный ее конец, так что я опять очутился в том же неловком положении, как и прежде, то есть не головой, а ногами к гусям.

Кстати надо заметить, что те гуси, которые хотят остановиться и выбирают или осматривают место, всегда пролетают несколько раз над той местностью и в это время не гогочут, — нет, а только один вожак подает тихий звук в то время, когда по его убеждению нет никакой опасности и можно садиться. Те же, которые, хоть и низко, но летят мимо, не «кружат» над местностью и все как бы переговариваются между собою. Последнее и после тихого полета служит верным признаком, что они не сядут.

Переждав известную паузу невозмутимого молчания, я снова должен был с величайшей осторожностью повернуться диаметрально противоположно и выждать удобный момент, чтоб, скарауля дорогих гостей, выстрелить туда, где они сидят погуще. Но так как стая была невелика, всего штук девять или десять, то я уже долго не разглядывал, а ударил в то место, в котором замечал три опуска-

ющихся и поднимающихся шеи. Тут мне удалось убить двух, а на подъеме выстрелить не пришлось, потому что я, запутавшись за мягкий ружейный чехол, прозевал удобный момент.

Лишь только я подобрал убитых гусей, зарядил ружье и хотел опять ложиться в засадку, как услышал легкое постукивание телеги и почмокивание Михайлы на лошадь.

Вскоре он подъехал к кочкарнику и радостно спросил:

— Ну, что, барин! Много ли застрелили?

— Да нет, брат, шесть штук зацепил.

— Кого, гусей?

— Да.

— То-то я слышал, как они пролетали сюда. А у меня только последняя стайка покружала немножко да загоготала чего-то и ушла, не присевши.

— Ну, а ты, Михаила, кого же стрелял?

— Да только и убил пару красноногих.

— А гуси? Так и не садились ни разу?

— Нет, прилетал один небольшой табунчик, так у меня обсеклось, должно быть, пистон отсырел.

— Что ж, улетели?

— Да как не улетят, неужели дожидаться станут пока Я поправлюсь?

— Э-эх ты! А из другого ствола почему не стрелял?

Михаила сидел с моей двустволкой Ричардсона и свою одностволку не брал.

— Да я, барин, не привык к этим ружьям и забыл, что есть наготове другой заряд. А как славно подымались, проклятые! Тихо и недалеко...

Мы собрались, уселись в телегу и покати-ли домой, всю дорогу толкуя о разных удачах и неудачах охоты. Когда мы подъехали к моей низенькой избенке, то на востоке начина-ло уже отзаривать и беленькие окошечки как-то виднее, приветливее и вместе с тем мертво смотрели на улицу. Невольные думы роились в моей голове, поджигая молодое во-ображение: так и хотелось побывать за их темными стеклами, чтоб хоть посмотреть на прелестную Рахиль, как она, черноокая голуб-ка, разметавшись, спит в угловой комнатке, выходящей в огород с черемуховыми куста-ми... Так бы вот и подошел к ней на цыпоч-

ках, полюбовался, поцеловал тихо в губки и удалился, боясь оглянуться...

Пользуясь весенним пролетом, мы с Михайлой очень часто посещали ближайшие места охоты и били пропасть разной дичи, так что мой хозяин Кубич стал уже солить ее в запас. Дупелей в том крае нет вовсе, зато бекасов достаточно, но мы были в то время плохими стрелками и добывали их только случайно; да они и не манили особенно, потому что богатства утиноного и гусиноного царства привлекали нас больше.

## V

Однажды вечером я услышал какой-то шумный разговор в половине Кубича и, узнавая голос Михайлы, никак не мог понять причины горячего спора. Наконец крохотная дверь моего палаццо растворилась настежь, и в нее торопливо вошли Михайло и Кубич, оба вскипяченные и раскрасневшиеся; только умные глаза последнего толковали о том, что между ними, кроме шутки, нет ничего серьезного.

— Что такое? Что случилось? — смеясь, спросил я обоих.

— Да вот, барин, прикажите Кубичу отдать мне нос, — говорил, волнуясь, Михайло.

— Никакого носа я у тебя не видал и не брал, — отвечал Кубич посмеиваясь и хлопал руками по бедрам.

— Да как же ты не видал, когда я тебе показывал его сам?

— Может быть, и показывал, да только не мне, — никакого носа я не видал...

— Врет, врёт он, барин, не верьте! Сам вертел его в руках, а теперь отпирается.

— Ну на цто мне вертеть твой нос, когда у меня есть свой не хузе, цем у тебя, посмотри! — шутил Кубич.

— Не представляйся, пожалуйста. Не строй дурака-то! Мне твоего еврейского и даром не надо, а ты отдай мой...

— Да какой такой нос? — спросил я, ничего не понимая.

— Большой нос степного кулика, кроншпиля... — мне за него бабы по полтора рубля дают вот уже третий раз и теперь приносить велели... А он его спрятал... — толковал раскипятившийся Михайло.

— Поди ты и с носом! Ну на цто мне твой

нос? — захлебываясь от смеха, возражал Кубич. — Неси его к бабам, мозе, им нужно, мозе, они и еще больше дадут, — знацит, им надо, а мне на цто этот нос?..

— Да верно нужно и тебе, коли ты взял. А вот убей-ка сам, да тогда и владей, завидуший Фадей! А чужого не тронь, — все еще волнуясь, говорил Михайло, а Кубич подсмеивался и еще более раздражал своего приятеля.

— Ну, довольно, не плац! Я вот спрошу хозяйку, мозе, она над тобой подшутила и взяла такой дорогой нос, — сказал наконец Кубич и пошел в свою половину.

Когда он ушел, я успокоил Михаилу видимой шуткой хозяина и узнал о том, что мой собрат по оружию утром убил на полях большого кроншнепа, отрубил его нос с частью черепа и принес показать Кубичу с тем, чтоб от него идти к женщине и передать этот трофей без всякой огласки, за полтора рубля.

— Что за штука! Для чего же ей этот нос? — спросил я.

— А кто ее знает для чего, ни за что не говорит, а деньги платит хорошие; вот уже три носа продал я ей потихоньку.

— Что ж она — знахарка какая, что ли?

— Нет, барин! Ничего этого не слышно.

— Так ты бы узнал как-нибудь эту тайну. Ну хоть бы подарил ей одну штуку, вот бы и сказала тебе по секрету.

— Нет, шельма, не сказывает. Я уже пробовал на всякие манеры, а только и толкует, что если я узнаю, то больше продавать эти носы бабам не стану, а у них они потеряют свою силу...

Тут вошел Кубич и, смеясь, подал Михаиле громадный нос кроншнепа.

— Вот, на! Этот цего ли? Он больсе твоего, — шутил опять Кубич.

— Вот и давно бы так, нечистый! А то раздражает! — сказал сердито Михайло, вырвал нос, положил за пазуху и потом засмеялся.

Мы еще долго толковали на эту тему и не пришли ни к какому заключению, а затем мои гости ушли.

Я поужинал, немного почитал. Потом, погасив свечку, улегся, но не спал и чутко прислушивался, а когда все уснуло, до меня донеслось заветное постукиванье в крохотное оконце...

Надо заметить, что умная Рахиль так искусно делала свои посещения, что про наши отношения не знала ни одна живая душа. Это была глубокая тайна, о которой даже и не предугадывали злые досужие кумушки. Только один мой Каштан был свидетелем этих посещений, но и тот ничем не выдавал нас. Он почему-то даже не ласкался к Рахили, если встречал ее на улице, чего она боялась с первого раза.

Надо еще сказать, что у матери Рахили жил в работниках молодой парнишко лет шестнадцати, который был одного роста с Рахилью, такой же брюнет и похожий складом. Вот она, воспользовавшись этим сходством, и разгуливала, так сказать, под его «фирмой».

Тут Рахиль сказала мне, что ее мать получила на днях страховое письмо с Амура от какого-то родственника, который зовет их туда для совместного жительства, хвалит тамошнюю торговлю и обещает Рахили составить хорошую партию.

— Что ж, вы поедете? — спросил я дрогнувши.

— Да... мама собирается уплыть туда на па-

роходе... Она уже запродала наш домишко... — проговорила Рахиль с расстановкой от душившего ее волнения и нервно заплакала...

— Когда же вы думаете отправиться?

— А должно быть, в июне... Когда уже тебя здесь не будет, — сказала она сквозь слезы.

— Это почему? Я и сам, моя голубейка, не знаю того, когда уеду из Зерентуя.

— Да!.. Ты этого не знаешь, но я слышала в Нерчинском заводе, что ты скоро уедешь... — И новый поток непритворных слез душил уже нас обоих.

Долго еще прогоревали мы о предстоящей разлуке и заметили, что посветлело на улице. Рахиль заторопилась, оделась по-мужски и тихо вылезла через оконце в пустой переулочек.

Я проследил за ней, боясь какой-либо встречи, но, убедившись, что ни одной души не было на улице, — успокоился... а горячие слезы подступали под горло, какая-то особая грусть завладела всем моим существом, и я проплакал до самого утра...

Уже в мае месяце собрались мы с Михайлой еще раз на уток, но теперь отправились

пешком на Борзю, к Михайловскому руднику. Охота оказалась удачной, мы набили порядочно и решили ночевать в этом селении у приятеля Михайлы, богатого мужика Сошникова.

Это было как раз на майского Николу, то есть на 9-е число. Пришли мы в селение рано, хорошо закусили и отдохнули.

— А что, барин! Пойдемте-ка на Ступино озеро, — сказал мне Михайло.

— Ну, а что мы будем там делать? Разве спать? Так это, брат, здесь гораздо удобнее.

— Зачем спать, станем гусей караулить. А теперь последний срок, больше не доведется.

— А далеко ли до этого озера?

— Нет, версты четыре, больше не будет.

— Только?

— И того, пожалуй, не выйдет, а дорога все степью.

— Так что ж, пожалуй, пойдем. Я теперь отдохнул, а зарядов еще достаточно.

Мы успели напиться чаю, поправились и весело пошагали по другому берегу Борзи, а затем поднялись на небольшой увальчик и скоро увидели вдали, как зеркальце, необъе-

мистое озерко на широкой долине, покрытой в некоторых местах мелким кочкарником.

— А вон и Ступино! — сказал весело Михайло... Вечер был крайне теплый и ясный, но собиравшиеся темные облачка к закату предвещали ненастье.

Ступино озерко крайне невелико: длиной оно будет не более ста пятидесяти сажен, а в ширину, на самой середине, только от 20–35 сажен. Берега отмелые, и самая наибольшая глубина не свыше 2-х или 3-х аршин. Один его берег несколько приподнят и почти гладкий, а другой низменный, с прилегающей к нему кочковатой болотиной.

Подходя к озерку, мы увидали, что на его сухом берегу кто-то уж есть, потому что заметили кочкарную засадку и кого-то шевелящегося в ней.

— Ну брат, Михаила! Да тут человек. Значит, придется заворачивать оглобли да убираться назад.

— Отчего назад? Ведь им место не куплено, а берега хватит и на наш пай.

— Ну, а другого озерка разве поблизости нет? А то как-то неловко. Он опередил нас —

значит, его и счастье.

— Нет, барин, ничего! Ведь этак не впервые случается. Да я его угоню.

— Как угонишь? Что ты, с ума сошел, что ли?

— Да я гнать, конечно, не стану, а только он уйдет сам.

— Это почему же?

— А вот посмотрите, что уберется; и гнать не буду, — проговорил тихо Михайло, и мы подошли к караулящему охотнику, казаку из селения Байки.

— Здравствуй, брат! — сказал ему Михайло и приподнял картуз, что сделал и я.

— Здорово живете, господа честные! — проговорил охотник, вставая из своей кочкарной засадки.

— Что, барин? Верно, покараулить охота пришла? — сказал он и попросил поглядеть моего «мортимера».

— Да, брат! Хотим попробовать.

— Что ж, можно. Только теперь позднова-то; поди-ка, уж весь гусь вылетел отсюда...

Казак долго вертел мое ружье, любовался и цацкал. Пробуя прицеливаться, а Михайло

взял его винтовку и тоже вертел ее на все лады, похваливая «стволинку».

— Однако уж поздно, надо скорее делать сидьбы, — сказал он, поставил винтовку на сошки и пошел с ножом в кочкарник, чтоб нарезать для загородки кочек.

Я отправился помогать, и мы живо устроили засадки, — одну повыше, а другую пониже казака, уже спрятавшегося в своем помещении. Так как этот промышленник сидел посередине, то нам довелось поместиться в концах озера — мне в верхнем, а Михаиле в нижнем.

Когда мы попрятались в засадки, солнышко уже совсем закатилось за сгруппировавшиеся тучи, но тихий весенний вечер только слегка начал окутывать окрестность, и было еще настолько светло, что представлялась полная возможность стрелять из винтовки по «резке» (то есть по прицелу). В это время прилетел селезень, спустился прямо на середину озера, немного поплавал, поширкал и вылез на край противоположного берега против казака. Я следил за ним между кочек и видел, как промышленник, тихо выставив конец

винтовки, долго прицеливался. Наконец курок щелкнул в огниво, но на полке вспыхнуло, и винтовка осеклась, а испуганный селезень тотчас поднялся и улетел.

Казак утянул к себе винтовку и начал постукивать, что указывало об исправлении оружия, подвастривании кремня.

Но вот не прошло и четверти часа, как опять на середину озерка прилетела пара кряковых и, также поплавав, вылезла на берег против казака. Но тут повторилась совершенно та же история: винтовка осеклась, и только серый дымок вылетел с полки, а утки тотчас снялись и, тревожно крича, отправились спасаться от видимой опасности.

Тогда несчастный промышленник не выдержал: он тихо встал из засадки, сердито плюнул, накинул на плечо винтовку и, что-то бунча себе под нос, отправился восвояси.

Мы с Михайлой лежали по-прежнему, и я в душе пожалел охотника.

Но когда он ушел уже довольно далеко, я услышал сдержанный хохот Михайлы, а затем увидел, что он, натряхиваясь от смеха, идет потихоньку ко мне.

— Что ты хохочешь? — спросил я вполголоса.

— Да ведь я вам сказал, что он уйдет сам, — вот так и случилось.

— Почему же это так случилось?

— А потому, барин, что я заткнул ему затравку.

— Как заткнул? Когда?

— А когда он смотрел ваше ружье да цацкал, я взял крепконький корешок и туго заткнул его в затравку, а потом затер ее порохом и подсыпал на полку.

— Ну уж это, брат, скверно ты сделал, нехорошо!

— А что за беда? Ничего!

— Беда не беда, Михайло, а только нечестно, и он будет ругать тебя, как последнюю свинью, понял?

— Ну пусть поругается, — легче не будет, а нам не мешает, — сказал Михайло и, как бы недовольный мной, отправился к своей сидьбе.

— А вы теперь, барин, не сядете на середку? — спросил он остановившись.

— Нет, брат, не сяду. Мне и тут хорошо.

— Ну так и я не стану перебираться, а то запоздаю, — проговорил он и торопливо пошел на свое место.

Мне ужасно было досадно за проделку Михаила. Я хотел уже кричать казака, чтоб воротить и объяснить ему в виде шутки товарища эту историю, но охотник зашел уже за горку и скрылся из глаз.

Немного погодя к Михаиле прилетела новая пара кряковых уток. Он сождал тот момент, когда они сплылись, и убил обеих.

Лишь только он подобрал добычу, как еще засветло ко мне прилетели два гуся и уселись против меня. Я тотчас выстрелил и одного убил. Потом ко мне же тихо подлетели уже три и плюхнули на воду. Хоть и было еще светло, но я притаился и выждал, а когда они обсиделись, стали поплевывать, щелочить воду, я скараулил удобный момент и застрелил двух.

Михайло обежал кругом озерка, сбросил панталоны и достал из воды дорогую добычу. В это время начало темнеть, и все небо стало затягивать сплошными серыми тучами, но мы опять улеглись на свои места и снова под-

жидали гусей.

Но вот прошло более часу, как не было никого, а между тем пасмурный уже вечер превратился в ночь и стал накрапывать мелкий теплый дождичек. Я, спрятав ружье в чехол, хотел кричать Михаиле, что более ждать нечего, а надо отправляться. Но, подумав, что мне посчастливилось, а товарищу нет, снова улегся в засадку и прикрылся кожаном, решившись лежать до тех пор, пока Михаила не позовет меня сам.

Прошло еще около получаса. Я задремал, а Михаила все сидел и не собирался. Ясно было, что ему хотелось сожрать гусей. Наконец мне надоело лежать под мелким ситничком; я сел, налил из фляжки крышку водки и только хотел выпить, как услышал легкое гусиное гоготанье и затем, взглянув к небу, увидел почти над собой шесть гусей.

Я тотчас бросил водку, упал в засадку и замер.

Гуси довольно низко перелетели через меня и дали круг. Потом снова плавно пронеслись надо мной, но уже так низко, что чуть-чуть только не задевали мою спину, так что

мои волосы раздувались от их маханья крыльями. Я лежал, как пропащий, как говорят сибиряки, и боялся дышать. Но вот гуси, облетев озерко, вдруг тихо явились с верхнего конца и шумно спустились на озеро, как раз против меня.

Пришлось все время лежать и только слушать, а когда они успокоились в безопасности и начали щелочить воду, я, тихо прижавшись, поглядел между кочками, но было уже так темно, что не представлялось никакой возможности видеть не только гусей, но даже и воды. Все это сливалось в общий мрак, и только одни звуки намекали о том, что гуси на озерке и недалеко от меня.

Я тихо вытянул своего знаменитого «мортимера» из чехла, положил его стволами на кочку и начал присматриваться, но та же мгла покрывала всю окрестность, и я не мог различить то место, где находятся гуси.

Но вот на озерке несколько как бы блеснула струйка воды, и я догадался, что в такой тихий вечер вода может «срыбить» только от движения дичи, а потому тотчас приготовился к выстрелу и решил спустить курок

лишь только замечу такую же струйку.

К счастью, гуси не заставили меня долго ждать, и новая блеснувшая полоска воды, как бичиком, стегнула почти против меня, как бы поперек озерка. Я моментально прицелился по навыку в это место, совсем почти не отличая темных стволов, и с замирающим сердцем потянул за собачку.

Тотчас после выстрела один гусь с криком поднялся на воздух и в ту же минуту исчез в темноте ночи, а я, бросив ружье, сбежал с берега и увидал, наклонившись к воде, что на озерке неподвижно лежат два гуся, а два плывут к моему же берегу.

Опасаясь, что они уйдут в темноте в кочки, я закричал Михаиле, чтоб он поскорее бежал с ружьем на противоположный берег, а сам, скараулив гусей почти у самых кочек, пугнул их обратно на озерко. В это время Михайло был уже на той стороне и не пускал гусей там.

Я сказал ему, чтоб он поскорее достреливал такую дорогую добычу, но он за темнотой и торопливостью промахнулся оба раза, а зарядить тут же нечем, потому что Михаила не

захватил с собой патронташа.

Гуси вертелись на озерке и плавали то к одному, то к другому берегу. Положение наше было критическое.

— Пусть они плывут ко мне, — сказал я, — а когда подберутся к берегу, то я их пугну к тебе и в это время сбегая за ружьем, а ты пока спрячься. Понял?

— Хорошо, барин, я притулюсь, а ты пока не пускай их на берег.

Лишь только они подплыли ко мне, я бросил в них кочкой и прогнал на воду, а сам ментально сбегал за ружьем, но тоже не захватил патронташа и с одним зарядом воротился как раз в то время, когда Михайло прогнал гусей от себя, так что они очутились на середине озерка.

Тут я дострелил одного подранка, а за другим, близко у берега, бросился в воду. Но тот увернулся, нырнул, и только выдернутый хвост остался в моей руке, пришлось еще раз заскочить еще далее и только тогда удалось мне схватить за крыло другого подранка. Так что все кончилось относительно благополучно. Михайло и я торжествовали при такой

удачной охоте.

— Но вот что, Михаила! Я слышал, что после моего первого выстрела ночью один из гусей поднялся, четырех мы убили, но кто-то хлопбыстался на берегу, где ты стоишь, а всех прилетало шесть штук. Значит, пятый пропал, поищи, пожалуйста, в кочках, нет ли его, канальи, там?

— И я, барин, слышал, что кто-то возился в кочках, когда вы бегали за ружьем. Так вот постойте маленько, а я поищу, — проговорил он и начал шариться ощупью по большим кочкам на той стороне озера.

Однако же все его поиски оставались безуспешными. Мы собрали боевые доспехи, убитую дичь и отправились в Михайловский рудник. Пройдя по кочкарнику несколько десятков сажен, нам попало старое остожье, мы выдернули жердь, связали гусей и уток кушаком и понесли Коромыслом. Но Михаил шел не в ногу, тяжелая ноша болталась, ноги скользили по мокрому кочкарнику, мы беспрестанно падали и кой-как выбрались на дорогу; а едва добравшись до селения, устали до того, что с трудом передвигали по избе но-

ги.

Несмотря на то, что был уже первый час ночи, Сошников все еще не спал и поджидал нас ужинать.

— Ловко же вы погрохивали, словно из пушки! — сказал он. — А я все время сидел у окна и слышал все выстрелы. Кажися, семь раз отвесили на Ступином. А по зоре-то как гулко разносит, будто вот-вот тут и есть, кажиный вымпал слышен в деревне...

Пока хозяйка ходила в подвал и собирала на стол, мы рассказали Сошникову все, что было, и он ужасно хохотал над Михайлой, как он, заткнув казаку затравку, прогнал его с озера.

Тут сидел сынишка Сошникова, парнишка лет тринадцати, и слышал весь наш разговор об охоте. Он, смекнув, в чем дело, рано утром сбегал на Ступино озеро, пошарился в кочках, нашел в них пятого гуся и притащил домой, когда мы еще спали.

Меня сильно интересовало, каким образом я убил из шести гусей пять штук, почти ничего не выдавши в такой пасмурный вечер. Все мы стали осматривать добычу и убедились в

том, что почти всех гусей ударило по шеем. Вероятно, они плыли все рядом, немного наискось ко мне, когда их так удачнохватило зарядом, оттого и струйка воды показалась мне серебристой полоской. Другого предположения мы все трое сделать не могли.

Вскоре после этой удачной охоты мне пришлось побывать на волчьем гнезде, но я говорил об этом довольно подробно в своих «Записках охотника», потому не хочется повторяться. Дело все-таки в том, что мы разорили гнездо, сделанное в старой тарбаганьей (сурковой) норе: добыли выкуриванием шесть волчат и принесли их домой. По-видимому, волк-самец участвовал в выкармливании молодых и бился около гнезда, а потом провожал нас с матерью к самому селению до позднего вечера. Странно, что все шесть волчат были самки — это необыкновенная случайность, потому что чаще бывает наоборот. (См. Зап. ох. В. С. II изд., статья «Волк».)

Добравшись до дому, я посадил оставшихся в живых четырех волчат в свою избенку за печку и загородил выход. Я думал, что они просидят до утра спокойно, но лишь только

погасилась свеча, как волчата подняли такую суматоху и драку, что пришлось вставать и снова зажигать огонь. Тогда они притихли, но под утро стали жалобно выть и просто вытянули мне душу и сердце. Так что я едва дождался утра, послал за Михайлой и он «порешил» их всех... Шкурки вышли превосходные, вполне стоящие трудов и лишений охоты, — под конец под дождичком, а потом и страшной грозой на пути.

Май стоял прекрасный, так что скоро повсюду появилась зелень, а все кустарники начали одеваться густой листвой. Работы на руднике шли у меня хорошо, и весенняя охота все еще продолжалась, хотя и не в такой степени, как с начала весны. Все это оживляло душу и сердце, только предстоящая разлука с Рахилью сильно щемила в груди, несмотря на то, что мы виделись чаще и много толковали о разных превратностях судьбы человека, что она хорошо понимала, как порядочно образованная и развитая женщина. Отец ее не жалел денег на воспитание единственной дочери и нанимал для этой цели толковых ссыльных поляков. Он все еще думал, что

получит амнистию и вернется на свою родину, а после его смерти мать Рахили не захотела уже выезжать из Сибири, временно поселилась в Зерентуе, чтоб попробовать местную торговлю, но сразу, заметив одно кулачество в таком захолустье, решила искать более бойкого места, чего требовала ее натура и судьба рано овдовевшей дочери...

Однажды Рахиль сказала мне, что ее мать узнала о наших отношениях. Сначала журила ее за это, а потом смотрела снисходительно и боялась только того, чтоб не пронюхали досужие кумушки и не оскорбляли их разными пошлостями.

На память Рахиль подарила мне ружейный погон, превосходно вышитый шелком.

Когда я спросил ее, как она шила эту работу на глазах матери, так как для этого надо не один день усидчивого труда, то она рассмеялась и сказала:

— Да, голубчик! Тут я сначала обманула маму и уверила ее, что вышиваю сонетку, которую хочу продать.

— И она тебе поверила?

— Сначала не сомневалась, а потом все

вздыхала и ласково выпытала мою сердечную тайну...

Тут Рахиль не могла удержаться и нервно заплакала, так что я едва ее утешил и жалел, что неосторожно затронул ее святое чувство любви...

В начале июня предсказание прелестной Рахили исполнилось: я совершенно неожиданно получил предписание от горного начальника, чтоб сдать все работы по Воздаянской штольне приставу рудника Скрыпину, представить свои отчеты в Нерчинское горное правление и ехать на практические занятия в Шахтами — некий золотой промысел, это верст за триста от Зерентуя.

Получив такое распоряжение, я загрустил не на шутку и несколько дней не мог, что называется, прийти в себя. Сердце мое точно подсасывал какой-то червяк, тяжелая истома подступала под горло. Я почти не спал, худо ел и положительно не мог выносить присутствия посторонних, которые не могли понимать моего тяжелого душевного состояния, а тем более чем-либо помочь моему затаенному горю. Все люди казались какими-то про-

тивными существами, холодными эгоистами, бездушными тварями... Мне хотелось остаться одному или делиться чувствами с близкими сердцу, но — увы! — их не было, и я мучился в уединении.

Если и приходил когда Михайло, чтоб сманить меня на охоту, то я уже тяготился этим посещением, находил какой-нибудь предлог и отказывался. Мои ружья оставались невымытыми, патронташи неснаряженными, а на беленькие окна я решительно не мог смотреть, потому что при первом взгляде на них, они говорили мне уже о чем-то прошлом, напоминали о предстоящей скорой разлуке с моей первой любовью по выходе из корпуса, и слезы душили меня чуть не до истерики. Одно мое спасение от людей был рудник и зеленые кусты по его дороге, в них я просиживал целые часы с разными книгами, но часто менял их, потому что не мог усваивать содержания, даже нередко решительно не понимал, что читаю...

Когда приходила Рахиль, то я, зная ее нервный темперамент, боялся говорить ей о своем состоянии. Она сама хорошо видела во мне

затаенную пытку и в этом случае оказалась несравненно тверже и умнее меня. Она нарочно шутила, ни слова не говорила о своей душевной муке и утешила тем, что у всякого своя судьба, что я молод и она мне не пара и что мы непременно должны рано или поздно расстаться...

Слова «судьба» и что мы «должны расстаться» отрезвили меня окончательно, так что я окреп духом и внутренне сознавал, что Рахиль говорит правду. Этим она еще более возвысилась в моих глазах и встала на тот пьедестал, который я мог только духовно созерцать и считать для себя недоступным. Да, я сознавал это всем своим существом, взвешивая свое неустановившееся положение во многих отношениях только что начатой жизни; грустил о своей зависимости и вместе с тем гордился в душе теми чувствами, которые я носил в сердце к этой замечательной женщине. Рахиль была истинным стойком и, несмотря на свою нервозность, обладала великим характером.

Глубоко сознавая всю эту истину и считая судьбу неумолимым роком, я не стал откла-

дывать дни отъезда, а начал собираться в дорогу и желал только последнего «прости» с прелестной Рахилью.

Никогда я не забуду того раннего вечера, когда она, как богиня олицетворения женщины, прекрасная, как пышно распустившаяся весенняя роза, тихо отворила только припертое оконце и, как птичка, впорхнула в мою избенку. Я подхватил ее с подставленной ранее скамейки, поднял на руках, как трепещущую рыбку, и стал целовать и целовать...

Да не улыбнется тот из моих собратьев, кто не испытал ничего подобного в жизни, и пусть лучше пропустит эту страницу, чем осудит меня в той горячей любви, какая присуща пылкому юноше в 21 год своего существования, да еще в таком крае, как Нерчинские заводы...

Когда она сбросила с себя мужскую одежду и фуражку, то оказалось, что эта чародейка явилась в одной белой тончайшей прошивной сорочке и ее черные волнистые косы роскошно распустились по матовым плечикам...

Рахиль была весела, энергична и шалила чертовски: то она напевала, то изображала

вакханку, то подпоясавшись в рюмочку моим охотничьим ремнем, танцевала босиком с фигурами польку, и ее крохотные ножки, как беленькие рыбки, то быстро вертелись, то останавливались в позе на полу незатейливой избушки, закрытой ставнями. Ее смеющиеся розовые губки, показывая ровные беленькие зубы, шептали мне страстные слова, а глаза горели и метали такие искры всеильной любви и неги, что мне кажется, ни один смертный не устоял бы против этой чарующей силы красавицы...

Когда я спросил ее, когда они собираются ехать, — то она сказала, что у них все готово и только ждут моего отъезда.

— Спасибо тебе, моя голубка! Спасибо! — сказал я и горячо поцеловал ее в губки.

— В этом настояла я, — проговорила она тихо, — а то мама собиралась уехать еще вчера. Я знала, что тебе будет тяжело, если б мы отправились раньше.

— Верно, Рахиль! И тысячу раз верно!.. Ты настоящая героиня, и я против тебя суцая дрянь...

— Неправда! Я хорошо понимаю тебя и

твое положение, — перебила она энергично, — и если б ты был дрянь, я бы не обратила на тебя никакого внимания и не сходила бы с ума от той любви, которая глубоко залегла в моем сердце!.. — польстила она мне и тут же горько заплакала.

Я стал ее утешать, но она опять перебила меня и твердо произнесла:

— Нет, мой милый! Не говори мне ничего, я чувствую, что мы должны расстаться, и пусть будет воля господня!.. Давай же простимся!.. А то скоро и утро...

Услышав это, я точно окреп всем организмом, и ни одной слезы не выкатилось из моих глаз. А слыша от нее имя господя, я почувствовал невольное угрызение совести, и мне пришла в голову такая задушевная мысль:

— Ну, вот что, Рахиль!..

— Что? Говори скорее, я слушаю, — перебила она.

— Исполни мою последнюю просьбу.

— Изволь! И если могу, то исполню с большим удовольствием.

— Можешь.

— Хорошо, только говори поскорее.

— Крестись и прими православие.

— Я уже думала об этом сама с тех пор, как полюбила тебя.

— Правда?

— Ей-ей!

— Когда же ты хочешь исполнить это желание?

— А тотчас, как только благополучно приедем на Амур.

— Ну так поцелуй же теперь меня, как сестра, и назовись по моему желанию Верой — это славное русское имя.

— Хорошо! Я буду Верой и даже Александровной, если ты пожелаешь.

— Спасибо, спасибо тебе, моя милая, дорогая Верочка!..

Она уже сама обхватила меня руками за шею и крепко, крепко поцеловала.

— А напишешь ли ты мне хоть один раз, что будет с тобою?

— Непременно! И адресую на почту до востребования.

— Спасибо! Но вот еще одна просьба: возьми этот крест от меня на память и надень его при крещении, — сказал я, едва удерживаясь

от слез; тут же снял с себя большой золотой с эмалью крест и подал ей.

— Зачем же при крещении, когда это можно сделать и теперь, — проговорила она твердо, взяла распятие Спасителя, поцеловала, перекрестилась, как истинная христианка, и набожно надела на себя, спрятав его за прошивку сорочки. А потом опять поцеловала меня и стала надевать свою шинель.

— Пора! — сказала она торопливо.

Я схватил ее за плечи и начал целовать.

Она как бы замерла на месте и стояла, как античная статуя. Только щеки ее пылали, а глаза горели каким-то нервным, лихорадочным огнем.

Потом она вдруг обхватила меня, вся дрожа, прижала к своей груди, поцеловала еще один раз, прыгнула на окно, моментально выскочила в переулочек и глухо сказала:

— Прощай же, прощай!..

— Да хранит тебя господь, моя Верочка! — едва проговорил я и выглянул за оконце.

Она быстро перешла улицу, но шаталась как пьяная и кой-как попала в свою калитку.

Я упал на колени, горячо помолился, бро-

сился на кровать и только тогда зарыдал, как ребенок. Голова моя горела, под горло давила истома, но я скоро уснул тревожным сном...

Часов около пяти утра я уже проснулся, живо напился чаю, мне подали лошадей, я рассчитался с Кубичем, дружески поблагодарил его за гостеприимство, братски простился и поехал из Зерентуя...

Белые окошечки были притворены ставнями; я невольно поглядел на них в последний раз в жизни. Сердце мое захватило точно тисками, в глазах зарябило и — пусть читатель доскажет себе сам, что делалось с моей наболевшей душой, когда я выехал за околицу...

# Шахтама

## I

Можете себе представить, с каким разбитым чувством, после прощанья с своей первой любовью, приехал я в Шахтаминский золотой промысел, этот вертеп настоящей, патентованной каторги. Тут не запоешь и не услышишь под свежим впечатлением обаяния известного старинного ромansa:

*Ты скоро меня позабудешь,  
Но я не забуду тебя!..*

Селения Шахтаминского золотого промысла были раскинуты на плоскогорьях долины речки Шахтамы, в двух местах и носили название Верхнего и Нижнего промысла. Первый отстоял от последнего в трех или четырех верстах довольно сносного пути, по которому представлялась возможность ездить на экипажах.

«Резиденция» управления сосредоточивалась на Нижнем промысле. Тут жили управляющий, священник, аудитор и фельдшер, заменяющий доктора. Тут же помещалась глав-

ная контора, лазарет и неизбежная с высокими палями тюрьма, со «штатным» палачом, или «заплечным мастером», как он назывался официально. Этот «мастер» был действительно настоящим профессором своего незavidного искусства, изображая собой геркулеса вершков двенадцати ростом, с косою саженью в плечах и чуть не пудовыми кулачищами. Словом, он был на своем месте, и вся подвластная ему каторга называла его не Гришкой, а величала Григорием Парфенычем. Да ей и нельзя было не величать этого зверя в образе человека, потому что, мне кажется, никто из ссыльнокаторжных не мог поручиться за то, что не попадет под ужасные удары Тришкиной плети.

Но оставим эту печальную картину еще недавнего прошлого, порадуемся великим реформам царствования императора Александра II и скажем о том, что Верхний Шахтаминский промысел был гораздо беднее постройками и представлял собой крайне грустную картину человеческого жилища. Тут выделялась громадная тюрьма, с теми же остроконечными высокими палями, а вдали от нее

лепились небольшие избенки и землянки обязательных «бергалов» и ссыльных вольных, то есть тех ссыльнокаторжных, кои отбыли сроки казематного заключения и могли жить «по воле», исполняя промысловые работы. Вот тут-то, в этих вертепах скитания клейменных людей, совершались иногда такие преступления, что волосы становятся шишом при одном воспоминании о них и удивляешься тому, до чего иногда может человек походить на зверя в своих страшных поступках.

А если бы проследить историю совершающихся зверств, то мы пришли бы к тому печальному заключению, что наибольшая половина проступков возникала от возлияний водки и возмездия страстных поклонников прекрасного пола. Увы! Измена женщины и тут чаще всего служила яблоком раздора между обладателями сердец и доводила нередко соперников до такого исступления, что сами Мессалины попадали кверху ногами за два нагнутые дерева, а плоды их порочной связи без всякой пощады разбивались головами об печки или, как щенята, с тряпкой во рту, дохли в мутной воде промысловой реч-

ки!..

Так как Шахтаминский золотой промысел лежал в такой местности, где тайга не отличалась красотами природы, то и весь пейзаж расположившихся селений не производил приятного впечатления. Вся долина Шахтамы пролегает между лесистыми пологостями гор, не отличающихся характерной причудливостью тайги. Напротив, крайне однообразный и угрюмый вид их наводит какое-то уныние на душу и не производит того эффекта, как большая часть гористых местностей. Ко всему левому берегу речки прилегают темные северные покатости более или менее пологого хребта, а солнечная сторона не изобилует красивыми увалами, и только ниже промыслов, где Шахтама несколько изменяет свое направление, появляются кое-где отдельные горки, которые останавливают на себе взор любителя природы и смягчают тяжелое впечатление при выезде его из вертепа ссылки и стона бичуемых страдальцев того памятного времени.

## II

Так как я приехал в Шахтаму в первой по-

ловине июня, то понятно, что занимался охотой очень мало. В это время представлялась возможность охотиться только за дикими козами, подманивая их на «*ник*» козленка (см. Зап. ох. Вост. Сиб.) и поджидая на солонцах и солянках. Но я тогда не был еще посвящен в эти способы охоты, а знакомых промышленников тут не было. Да меня, признаться, так запрягли за работу, что я с раннего утра должен был отправляться на самый нижний разрез промысловских работ и наблюдать за тем, чтоб поскорее очистить его от громадных валунов горной породы, загромоздивших всю площадь золотосодержащих песков. Тут приходилось работать и порохом, чтоб разорвать те глыбы, которые были не под силу человеческим мускулам и не поддавались простым приспособлениям народной механики.

Я приходил домой только пообедать и уже потом являлся к вечернему чаю, чем и заканчивал свой дневной труд. Но случалось нередко, что и вечером приходилось работать до поздней ночи при поломках золотопромывочных машин или в общих суждениях в квартире беспокойного управляющего, кото-

рого в свою очередь давила разными вопросами и непосильными требованиями главная контора управления.

Так как в упомянутом нижнем разрезе была самая трудная работа относительно физических сил человека, то под мое ведение были отобраны такие атлеты из ссыльных рабочих, что стоило только любоваться этими пасынками судьбы и удивляться их бычачьей силе или замечательной сметке русского простолюдина. Этими тружениками выворачивались и поднимались на борта разреза иногда такие громадные валуны, весившие несколько сот пудов, что трудно поверить своим собственным глазам, видевшим это в действительности. Стоило только по-человечески обходиться с этими «пасынками», одобрять их усилия, отпускать за усердие пораньше с работы, а в критических случаях не указывать только пальцами, но в нужный момент помогать своими руками и плечами, — и тогда те же клейменные труженики становились настоящими братьями, а на их заскорузлых лицах выражалась добродушная улыбка, в речах появлялся юмор, остроумие, и вы забыва-

ли, что имеете дело с теми людьми, которых таврили, как лошадей, и называли презренным именем варнака или челдона...

В Шахтаме я помещался на одной казенной квартире с помощником пристава Николаем Геннадиевичем Даниловым, родным братом моего товарища по корпусной скамейке и выпуску в офицеры. Эта прекрасная личность была достойна особого уважения и дружбы как по человеческим правилам жизни, так и по доброте своего мягкого сердца. Мы жили с ним настоящими братьями, хотя он был постарше меня годов на восемь, а жизнь видел в гораздо больших и разнообразных фазах, чем я, потому что, получив порядочное наследство, он не окончил курса в горном институте, но вышел из первого специального класса, получил «чиновника», устроился в Петербурге при горном департаменте и жуировал на доставшиеся средства. Но — ничто не вечно в мире! — кошелек его через несколько лет поистощился, лакомые друзья и прихлебатели оставили, и он с горя поступил на службу в Нерчинские заводы, чтоб удалиться от соблазна, жить на малые сред-

ства, да разве вспоминать прошлое.

Он хорошо понимал, что в таком крае, как Нерчинский, раскутиться невозможно, и тут его симпатии выразились только слабостью к прекрасному полу да верховою ездой на диких необъезженных лошадях. Эти-то отчасти «сугубые» страсти и довели эту прекрасную личность до ранней могилы.

Однажды вечером, придя с работ, я ужаснулся, когда заглянул в его комнату: весь некрашенный белый пол был, как тюменский ковер, в красных пятнах, а сам Николай Геннадиевич лежал на кровати, бледный как полотно.

— Что это с тобою? — спросил я с участием.

— Да что, брат, упал с лошади прямо на камень и, должно быть, расшиб себе грудь. Вот посмотри-ка, что делается, — сказал он, встал с кровати и харкнул на пол печенками темной крови.

— Что же ты не пошлешь за фельдшером?

— А зачем? Может, и так пройдет.

— Как это можно, Николай Геннадиевич, так легко относиться к своему здоровью!

— А что?

— Да как что?! Ты знаешь, чем эта штука может закончиться?

— А чем? Поди-ка, чахоткой?

— Ну да немудрено! — сказал я грустно, подумав, и тотчас же послал за фельдшером, очень дельным и практичным эскулапом того времени.

— Давно ли это было, как ты упал с лошади? — спросил я, воротившись из кухни.

— Нет, недавно, вот только незадолго перед твоим приходом... Тьфу! Хххрр! Тьфу! — произносил он болезненно, и новые круги крови появлялись на белом полу.

Однако же эта неопрятность товарища доказывала уже то, что он крайне взволнован и озабочен своим положением.

Минут через десять пришел фельдшер Василий Иванович Дудин и тотчас принял меры против кровохарканья больного. Данилов через несколько дней будто поправился, но этот ушиб был началом его смертельной болезни...

Не замечая этого червяка, подтачивающего его организм, он влюбился в прекрасную девушку и вздумал жениться. Посватав ее, он

получил согласие, и помолвка совершилась. Николай Геннадиевич торжествовал и торопил свадьбой, но к совершению этого обряда родителем невесты были выписаны некоторые вещи из Питера, и время тянулось, потому что в Нерчинском крае в тот период надо было, по крайней мере, полгода для того, чтобы получить заказанные предметы. Между тем болезнь жениха не дремала. Она стала видимой для многих, все сильнее и сильнее входила в свои права и заставила задуматься как родителя, так и самое невесту. Свадьбу начали откладывать под разными благовидными предлогами, и дело кончилось тем, что жених понял свое тяжелое положение и начал чахнуть уж не по дням, а по часам, а вслед за этим вскоре отправился к праотцам... Мир праху и вечный покой этому хорошему человеку!

Надо заметить, что Василий Иванович Дудин был не только порядочным эскулапом, но хорошим дельным охотником и веселым собеседником. Познакомившись со мной, он часто утешал меня тем, что если я заживусь до осени, то он покажет мне хорошие места охо-

ты на рябчиков и молодых глухарей, где те и другие водятся в большом количестве. Но, господа, пока подходит осень, я позволю себе рассказать одно курьезное обстоятельство. А то, вспоминая прошлое, как-то не хочется пропускать некоторые характерные эпизоды из жизни на каторге.

Дело, видите, в том, что однажды рано утром (в бывший царский праздник предпрошлого царствования) ко мне постучали в дверь. Я соскочил с кровати, отпер задвижку и увидел запыхавшегося казака.

— Что тебе надо, голубчик? — спросил я, еще совсем не одетый.

— А вот послан до вашего благородия.

— От кого?

— От помощника управляющего, господина Пиленки.

— Да разве он приехал?

— Вчера вечером прибыть изволили.

— Ну, так что ему надо?

— Вас требуют.

— Требуют, вот как! А зачем меня требуют?

— Да в тюрьме бунт, так приказали сбегать

за вами.

— Скажи, брат, господину Пиленке, что это не мое дело. Для этого есть управляющий промыслом и военный караул, понял?

— Слушаю, ваше благородие.

Казак тотчас ушел, а я запер дверь и снова улегся. Но не прошло и пяти минут, как опять постучал тот же казак.

— Ну, что?

— Да требуют, сударь, вас.

— Скажи, братец, что требовать он меня не может, я ему не подчинен, и это не мое дело, я ничем тут не заведую, — уже кипяťся, проговорил я.

— Слушаю-с.

Дверь снова закрылась, и я видел в окно, как казак полетел бегом, а у тюрьмы целый взвод казаков стоял с ружьями наперевес и толпился народ. Я, несколько охладев, начал одеваться и решился помогать товарищу, разыгрывающему роль начальства. Но вот вижу, что опять тот же казак бежит ко мне уже с запиской. Я встретил его па крыльце и взял цидулку. Пиленко наскоро пишет, что в тюрьме бунт, что он ничего не может поде-

лать и убедительно просит меня прийти.

— Ну вот, это дело другое. Скажи, что сейчас буду.

Посланный убежал, а я нарочно тихо, не торопясь, пошел к тюрьме, что, конечно, видели заключенные в каземате сквозь забитые решетками окна.

Когда я вошел в караульную тюрьмы, где помещался особый конвой, то увидел, что Пиленко бледный как бумага и с пеною у рта сидит около стола на стуле, а кругом его стоят шесть или восемь казаков и держат ружья наперевес, обратив штыки в сторону арестантов. В камерах помещения был порядочный шум, и я увидел в открытые двери общей палаты, что многие «варначки» двусмысленно улыбались, покуривали носогрейки и сидели на нарах. Но в общем выражении лиц не было ничего такого, что говорило бы о серьезном настроении людей, а тем более не походило на бунт. Завидев меня, многие начали добродушно перемигиваться между собою и встали с нар.

Я, не торопясь поздоровавшись с Пиленкой, тихо спросил его, в чем дело.

— Да вот они, канальи, не хотят выходить на работу, — говорят, что сегодня «царский праздник», рождение покойного императора Николая (25 июня).

— Так почему же ты не объяснил им, в чем дело?

— Какое им, подлецам, объяснение! Их, скотов, надо передрать хорошенько, так это будет лучше всякого объяснения, и вперед научатся понимать, в чем дело и что бывает за бунт.

Видя, что он, по своей горячности, говорит вздор, который действительно может довести людей до бунта, я ни слова не сказав на это Пиленке, повернулся, пошел в общую камеру, ласково поздоровался с арестантами и спросил их, почему они не идут на работы.

— Да помилуйте, ваше благородие, сегодня царский праздник.

— Какой?

— Рождение государя императора, нашего батюшки, — ответили несколько голосов.

— Эх вы, школьники этакие! Ведь вы лучше нас знаете, что этот день праздновался прежде, а теперь нет. Ну, разве вы празднуете

рождение Петра Великого?

— Никак нет!..

— Ну вот то-то и есть, а дурите!

— Так зачем же, ваше благородие, по сию пору стоит патрет батюшки Николая Павловича в самой конторе? — сказал один бойкий и сам улыбнулся.

— Вот видишь, голубчик, тебе и самому смешно стало, что ты сказал глупость, а еще умным мужиком считаешься! Ведь ты, поди, видел не раз, что в старых присутствиях и до сих пор висят портреты покойных императоров, да ведь вы их рождения не празднуете. Вам положено два праздника в месяц, вы и гуляете, никто от вас их не отнимает, и гуляйте с богом! А чего нельзя, того и просить не следует, ребяташки, — вот что!

— Так точно, ваше благородие! — сказали уже многие.

— Так-то так, да вот, видите, вы сами заводите глупости, а оно нехорошо, может из-за пустяков выйти худая история, поняли?

— Как не понять, ваше благородие! Хорошо понимаем, да, вишь, не одной матери детки, — сказал тот же и стал озираться.

Я пошел далее, но, встретив глазами хохла Марушку, страшного атлета, подошел к нему, ударил его по плечу ладонью и шутливо спросил:

— Ну, а ты, хохлина, отчего нейдешь? Ведь все равно и тут галушек нема.

— Який бис тут галушки! — сказал он шутливо, достал с полки свою шапку, рукавицы и весело добавил: — За мной дило не встане, я готов.

— Ну, а готов, так и ступай с богом, — сказал я и шутя, как доброго коня, повернул его за плечи. — Экий черт! — прибавил я, смеясь.

Он пошел тотчас к дверям, а за ним и вся тюрьма забрякала кандалами, понадела замусленные шапчонки и, галдя, вышла на двор. Затем каждый встал на свои места, ворота отворились и все арестанты, как один человек, пошли на работы. Кто-то из них затянул арестантскую песню:

*Бывало, в доме преобширном,  
В кругу друзей, в кругу родных...*

Десятки голосов дружно подхватили излюбленный мотив задушевной песни, и еще

долго раздавался он о дороги, ведущей прямо к промысловским разрезам.

— Вот подлецы-то! — сказал мне все еще бледный Пиленко и, закусив нижнюю губу, тихо отправился на свою квартиру...

— До свидания! — сказал я ему вслед.

— Ох, брат, извини!.. — пробурчал он сквозь зубы.

— На здоровье!.. — ответил я громко и пошел домой пить чай.

### III

Придя домой, я застал Николая Геннадиевича уже за самоваром.

— Что там такое случилось? — спросил он тревожно.

— А ничего особенного. Варначки, как видно, не любят Пиленку и вздумали пошкольничать, а он, по обыкновению, обозлился да чуть не наделал целой истории.

— Так я и думал: он вечно суется туда, где его не спрашивают, и всегда останется с носом...

Тут отворилась дверь и к нам вошел Дудин.

— Чай да сахар! — сказал он, весело посме-

иваясь.

— Милости просим, Василий Иванович! Садитесь-ка да выкушайте стаканчик, — приветствовал его Данилов.

— Ничего, можно-с, это не вредно, — сказал он, усаживаясь к столу.

— А я к вам! — обратился он, глядя на меня.

— Ко мне? Извольте, я слушаю.

— Пойдемте сегодня на солянку покараулить козуль. Я хотел было один, да, признаться, боюсь. Видите, иногда медведи подходят, так одному-то, знаете, неловко...

— Вот за это спасибо, Василий Иванович! Пойдемте, пойдемте! А я еще ни разу не карауливал и не понимаю, что это за штука.

— А штука простая, не головоломная, — да вот увидите!..

Мы тут же уговорились относительно всего, что нужно для такой охоты, и решили, чтоб вечером, около семи часов, отправиться на солянку. Прислуживающий у Данилова человек, слышав наш разговор, сказал Дудину:

— Напрасно, Василий Иванович, вы сегодня собираетесь.

— А что?

— Да, однако, дождь будет.

— Это почему ты узнал?

— А потому что сегодня с утра чушки повизгивают и таскают в гайно солому да сено.

— Мели больше. Экой барометр твои чушки! — сказал, смеясь, Дудин, отправляясь домой...

В условленное время Василий Иванович зашел за мной, и мы весело пошли, он с винтовкой, а я с «мортимером», заряженным картечью. Его козья солянка была очень недалеко от промысла и помещалась в небольшой падушечке, под маленькой горкой, на крохотной полянке, почти со всех сторон окруженной кустами и редким смешанным лесом.

Дудин рассказал мне все, что нужно, и мы уселись в сидьбу, загороженную тоненькими жердочками и прилегающей толстой валежной громадной лиственницы.

Долго сидели мы в ожидании, тихо отмахиваясь от комаров, которые жалили немилосердно во все открытые части тела и заставили нас «закурить» гнилушки (задымить, зажечь), чтоб хоть сколько-нибудь отогнать

этих кровожадных вампиров.

Вдруг откуда-то прибежала к нам ящерка, остановилась у согнутых колен Дудина, посмотрела на нас, как-то поводила головкой и забралась на его ноги. Он не шевелился и наблюдал, что будет дальше. Ящерка приостановилась и потянулась к его пазухе, тогда Василий Иванович не вытерпел, моментально схватил ее рукой и выбросил вон.

— Ах ты, шельма этакая! У меня там хлеб. Неужели она его услыхала? — сказал он тихонько.

— Надо бы еще подождать, — прошептал я.

— Что вы. Не вытерпеть: она бы залезла, проклятая! — говорил он вполголоса и затряс головой...

Начинало уже смеркаться. Но вот кое-где на небе стали появляться скученные темные облачка с белыми окраинами. Затем послышались раскаты отдаленного грома, и вскоре закропил дождик из образовавшейся тучи.

— Однако убираться поскорее домой, — сказал с досадой Дудин. — Это уж не охота, и никакого толку не будет.

— Отчего? Может, пройдет.

— Нет, Александр Александрович, видите, кругом затянуло мороком, а козуля в такое погодье нейдет...

Как мне ни хотелось остаться, чтоб покарать тогда еще в первый раз в жизни, но пришлось «мортимера» за пихнуть в чехол и повиноваться своему ментору.

— А что, Василий Иванович, верно, батенька, замечанье нашего Федора справедливо, — сказал я, закуривая папиросу.

— Я ведь и раньше слыхал эту примету от старых людей, да, признаться, не верил. Ну посудите сами, почему же может знать чушка, что будет дождик!

— Она, значит, не хуже барометра, Василий Иванович.

— Да не хуже и есть, а мы деньги тратим да неметчину покупаем. А вот заведи только чушек, так и сыт будешь, и погоду узнаешь, — говорил он, смеясь.

Мы накинули на себя ружья и торопливо отправились восвояси, поминутно сбиваясь в темноте с тропинки и запинаясь за камни и корни.

В самом деле, предсказание Федора сбы-

лось на этот раз замечательно, потому что не успели мы добраться до промысла, как гроза разыгралась ужасная и страшный ливень промочил нас до нитки. Не забуду я той картины, как долговязый Дудин торопился домой и, согнувшись, улепетывал по лужам, делая прыжки, как козуля, но в то же время успевая креститься после ослепительной молнии и сильных ударов.

Когда и я, как сумасшедший, прибежал домой, то с меня бежали целые потоки, а не спавший еще Данилов подшучивал надо мной и угощал холодной водой.

— Что? Каковы козули? — говорил он, смеясь и помогая мне выжимать промокшую одежду.

— Нет, Николай Геннадиевич! Ты лучше скажи — каковы проклятые чушки, — сказал я, утираясь от пота.

— Да, брат! Это действительно штука забавная. Вот и не верь после этого народным приметам...

В одно прекрасное июльское утро был я, по обыкновению, со своими атлетами на нижнем разрезе и вытаскивал уже последние ва-

луны на борт, как к работам подъехал верхом управляющий округом, тогда еще капитан, Виктор Федосеевич Янчуковский. Он был в мундире, шарфе и каске с султаном.

Я явился к нему, как к управляющему, и отрапортовал о благополучной работе.

Он поздоровался, объехал разрез, поблагодарил варначков, обещал им водки. А мне, выразив особое дружеское спасибо, сказал:

— Сейчас будет горный начальник, садитесь поскорей на коня и поедemте вместе встречать, а то он обидится.

— А как я поеду не в форме?

— Это-то и хорошо, он знает, что вы на работе, сказал он, отправляясь верхом.

Я побежал к своей лошади, тут же привязанной у куста, и хотел поскорее заскочить в седло, но она не стояла на месте, вертелась во все стороны, поднималась на дыбы и ржала. Ей нужно было немедля бежать за своим товарищем, а потому она горячилась. Я уже всунул ногу в стремя, но левая рука сорвалась с загривка, а правой я никак не успевал схватиться за луку седла, вследствие чего держал лошадь только за повод и невольно подскаки-

вал на правой ноге. Так как лошадь стояла в кустах, то никто из рабочих и нарядчиков не видал моей неполадки. А между тем она принимала крайне серьезный характер и грозила большой опасностью, потому что двойная толстая подошва полуболотного сапога задела за край стремени, носок уперся в верхнюю пряжку или скобку, и я никак не мог высвободить ногу. Мне по-прежнему приходилось только подсказывать да вертеться около задурившей лошади, которая бесилась еще более и начала лягаться. Я мысленно умолял господ о помиловании и кричал рабочим о помощи, но было уже поздно, и единственная мысль спасения, точно свыше, осенила мою голову: я тотчас, подсказывая, начал сдергивать левый сапог, и мне удалось это в тот самый момент, когда лошадь вырвала у меня из левой руки повод и, ударив козла, стремглав понеслась по каменистой тропинке, окруженной накосом срубленными пеньками молодой поросли листвянок.

В это время лопнула под седлом подпруга (*татор* по-сибирски), и оно съехало на круп, придерживаясь на одной подфее (подхвостни-

ке), затем свалилось, попало под удар задних копыт и было отброшено в кусты. Лошадь опередила Янчуковского и во весь мах удрала на конюшню. Замечательно то, что мой сапог так крепко зацепился двойной подошвой, что вынес всю катастрофу, но не вылетел из стремени.

Как мне не благодарить бога за мысль спасения и Выполнение той почти невероятной штуки, при таком отчаянном положении; тем более потому, что я и дома с большим трудом сдергивал с ног тугие, отсыревшие сапоги.

Когда начальник вместе с Янчуковским подъехал к тому же разрезу, то я был в одном сапоге, а другой только еще разыскивали нарядчики. Моя левая нога так запухла, что я с большими усилиями мог надеть отысканный сапог и то без носка, на голое тело.

Начальник, покойный Иван Евграфович Разгильдеев, как бурят по своей родословной, был хорошим наездником. Он вместе со мной порадовался моему спасению и тут же сделал мне практическое наставление, что если есть другая лошадь, которая уже отправилась, то нужно свою повернуть головой в обратную

сторону и тогда уже садиться, но непременно сначала крепко взяться рукой за луку седла. Он говорил, что на его памяти было много таких несчастных случаев, что копи «затаскивали» до смерти ущемленных ногою людей не только в тайге, но по гладкой поверхности степи. Кроме того, он не советовал всаднику иметь такие сапоги, где толстая подошва набивается сверху, выходя опасной зарубой под середину ступни.

Все это верно, и я строго помню его практические советы.

Разгильдеев, оставшись очень доволен моим сотрудничеством в Шахтаминском промысле, пожалел меня, как юношу, а потому любезно предложил мне поездку в Цурухайтуевскую крепость на Аргунь, где он будет сам и вместе поедет на ленных гусей.

Я, конечно, сердечно обрадовался такой любезности начальника и изъявил свою готовность.

— Ну, так вот что, молодой человек! — сказал он ласково. — Идите в контору, получите бланку (подорожную) и завтра же утром отправляйтесь прямым путем на Александров-

ский завод, а оттуда, через Алгачинский рудник, на Цурухайтуй и закажите мне по дороге лошадей. Остановитесь у моего дяди Алексея Михайловича Муромова да скажите ему, что я вслед за вами буду к нему в гости. Пусть он приготовит своих рысаков, — я сделаю им экзаме́н, — а сами возьмите все свои ружья и везите с собой, потому что сейчас при мне нет ружья и я буду стрелять из вашего, хорошо?

— Очень приятно, полковник! А теперь позвольте благодарить вас за любезность и отправиться домой, чтоб успеть собраться в дорогу.

— С богом! — сказал он, и мы простились.

Я полетел домой чуть не вприпрыжку, радостно сказал Данилову о своей поездке, а на другой день к вечеру был уже в Александровском заводе, где забрал оставленные у товарища свои ружья и торопился к дальнейшему путешествию.

Можете судить, с каким радостным чувством я оставил ненавистную мне Шахтану и что я передумал во время пути. Тут гуси целыми вереницами выплывали из камышей в

моем воображении, согласно рассказов начальника, и я стрелял их по несколько штук зараз... Но, почувствовав себя на свободе, я невольно стал грезить о черноокой Рахили с ее воздушным, грациозным станом, а ее пылкая любовь сводила меня с ума при одном воспоминании... Я мысленно был с нею, и сердце мое рвалось на части... Но, увы! Я тяжело сознавал действительность разлуки, и горячие слезы текли по моим щекам... Нет, я лучше поставлю здесь несколько точек, потому что в настоящие дни мне уже и не выразить того чувства, которое давило меня при воспоминании о прелестной вдовушке, моей милой Верочке... «Где-то она теперь? Что она делает? Помнит ли меня?» — невольно шептали мои уста, и слеза за слезой капала на грудь мою...

Из Александровского завода я собрался выехать в тот же вечер. Ямщик Матвей Панов, еще молодой парень, хороший плясун и отличный песенник, подал мне удалую казенную тройку, и я покатил в легком открытом тарантасике. Но кони задурили на повороте улицы, тележка опрокинулась, я вылетел на

середину дороги, но, благодаря бога, нисколько не ушибся, а бойкий ямщик не отпустил вожжи. Он несколько сажень протащился щучкой, но все-таки остановил лошадей.

Когда я живо вскочил на ноги, подбежал к нему, перевернул тележку как следует, то схватил коренного под уздцы и спросил ямщика:

— Ну что, Матвей! Поди-ка, ушибся?

— Нет, барин, ничего! А вы не убились?

— Нет, только вымарался...

Словом, мы отделались благополучно. Но в экипаже изломалась оглобля, — пришлось воротиться на конюшенный двор, чтоб надеть новую, так что прошло около получаса и вечер еще более подвинулся к ночи. А затем мы снова заскочили в тележку, Панов ухарски свистнул на тройку, два колокольчика загудели под дугой, и мы понеслись резвой рысью по Алгачинской дороге.

На половине пути, к Алгачинскому руднику, в 16 верстах от Александровского завода, стоит деревня Манькова. В ней живут преимущественно выкресты из тунгусов, занимающиеся хлебопашеством, скотоводством и

«зверовьем». Но, кроме того, носились темные слухи, что маньковцы ведут себя не совсем хорошо, что они при удобном случае «пошаливают».

Дорога отличная, вечер превосходный — и мы ехали весело. Довольно резвый коренщик покатывал рысью, а бойкие пристяжные вились «колечком» и задевали за живое русское сердце. Как-то невольно вспоминалась родина с ее ямщиками, с ее колокольчиками «малинового» звона, и это отрадное чувство глубоко проникало в осиротевшую в Сибири душу. Хотелось припомнить юные годы, как, бывало, ездил я в поместье матери Тверской губернии, и вот я под этим впечатлением обратился к своему вознице:

— А что, Панов! Ты хоть бы песню мне спел хорошую, — ты ведь на это молодец, как я знаю.

— Извольте, барин. Я и сам люблю это, а то как-то скучно, как едешь молчамши.

— Ну, так вот и валяй, какая тебе по сердцу.

Матвей подумал, просморкался, прокашлялся, поддержал несколько лошадей и затем

приятным чистым тенором запел:

*Ах вы, сени, мои сени,  
Сени новые, кленовые,  
Решетчатые!..*

— Ох нет, брат, постой, постой! Мне такую не надо, — сказал я, взяв за плечо Панова.

— Так кака же, барин, вам любя? Это веселая!..

— Нет, нет, Матвей, я веселых не люблю. А ты, брат, запой какую-нибудь проголосную, — знаешь, такую, чтоб за сердце хватала.

— А-а! Вот вам что нужно, — я и сам, барин, люблю такие до смерти... Другой раз запоешь, да тут же и наплачешься досыта... Инда сердце-то высосет!

— Вот в этом-то и штука, Матвей! Это, брат, значит, что в тебе душа настоящая и сердце не каменное.

— Вестимо, барин, не каменное; да я и страсть какой жалостливый.

— А ты женатый?

— Нет, а хочу же жениться. Да все, знаете, по душе не могу подобрать себе ровни... Была, барин, одна девушка, так ей господь веку не

дал: простыла (простудилась), значит, на масленке, схватила горячку, прохварала ден десять, да и кончилась, царство ей небесное!..

Тут Панов, сняв шапку, набожно перекрестился.

— Что ж, ты любил ее? — спросил я, маленько обождавши.

— Любил, барин, и так любил, что чуть было не рехнулся, как в землю зарыли...

Мы замолчали, и я слышал, как Панов начал пошвыркивать носом.

— Ну а вы, ваше благородие, не любите как-нибудь барышню? — спросил он и обернулся ко мне.

Я, признаться, никак не ожидал такого вопроса и несколько смутился, а в голове моей мелькнула Рахиль, и я чувствовал, что покраснел.

— Нет, Матвей... Я еще, брат, молод... И мне пока не до женитьбы... — говорил я, теряясь и все еще припоминая недавно прошедшее.

— Та-ак! — протянул он сквозь зубы.

— А ты вот спой же песню-то, какую хотел, — сказал я уже твердо, заминая вопрос.

— Извольте, сударь, спою вам настоящую

каторжанскую.

— Ну-тка валяй, — потешь душеньку.

Панов опять прокашлялся, расстегнул на рубаше ворот, поправил шапку, как будто она ему мешала, несколько поерзал на козлах, потом пригнулся и запел чистейшим симпатичным голосом:

*Ты взойди-тка, взойди,  
Солнце красное!  
Над горою взойди  
Над высокою.  
Обогрей-ка ты нас,  
Добрых молодцев, и т. д.*

Матвей с таким чувством выговаривал душевные слова этой песни и таким соловьем выводил ноты, что я положительно заслушался и жалел, когда песня подходила к концу. А как только он кончил, я не вытерпел, привстал с места, взял его за плечи и сказал:

— Ну, брат, спасибо, молодец! Тебе бы только и петь с Шиловым.

— А ведь я его, барин, знаю; у него и научился, а то наши сибиряки петь совсем не умеют.

— Это верно, Матвей. А ты где же видел

Шилова?

— На Карийских промыслах. Я там робил, а он тогда находился в тюрьме. Ну и песельник, ваше благородие! Таких и умру, так больше не услышу.

— А «березыньку» знаешь?

— Знаю и эту.

— Ну-тка катай.

Панов опять припоправился и еще нежнее начал:

*Ох, то не березынька  
С лозой совивалась,  
То девчоночка  
С молодчиком совыкалась!..*

Тут он превзошел мои ожидания и так сердечно пел эту песню, что у меня замирала душа, навертывались слезы...

Вдруг Матвей стал осаживать лошадей, прервал песню и, обернувшись ко мне, торопливо сказал:

— Барин, барин! Смотрите-ка, это кто же попередь (впереди) нас на дороге?

— А где?

— Да вон на злобчик-то вызнялись, однако это волки!

— Нет, брат, не они. Волки бы отбеливали, а эти, видишь, чернеют.

— Так неужели коровы? Словно две черные «нетели»!..

В это время мы подъехали поближе, а неизвестные четвероногие сбежали с дороги налево от нас и начали останавливаться. Матвей поехал шагом и тихо сказал:

— Барин, стреляйте их поскорее, ведь это какие-то звери.

Я схватил одноствольный дробовик, заряженный крупной дробью, и взвел курок. Остальные два мои ружья, «мортимер» и «ричардсон», лежали в ящике. Панов остановил лошадей, но остановились и звери не далее как в пятнадцать саженьях от нас. Два существа, совершенно черные, стояли рядом, как запряженные в дышло, и как бы повернули к нам головы. Но было уже так темно, что мы оба никак не могли хоть по контуру определить животных. Скорее всего они походили на громадных чушек (свиней), но в высокой траве очертания ног теряли фигуру, и мы все-таки недоумевали, кого именно встретили.

Я прицелился в ближайшего, но точно ка-

кая-то сила останавливала меня от выстрела, так что я не решился спустить курок. Панов, ожидая выстрела, сдерживал лошадей, которые начали перетаптываться на месте, прятать ушами и похрапывать.

— Нет, Матвей, не стану я в них стрелять, — сказал я решительно, взяв ружье из плеча.

— Да, однако, барин, не надо. Кто их знает, что это такое? Лучше поедемте подобру-поздорову. Не ровен час — уж не оборотни ли какие? — проговорил он, крестясь, и поехал рысью.

Я оглянулся. Предполагаемые звери оставались все в том же положении, и мы скоро потеряли их из глаз. А когда паша тройка перебежала то место, где были на злобчике неведомые, какие-то апокрифические существа, то лошади вдруг подхватили и потащили, так что мы оба едва сдержали их шарахнувшийся порыв.

— Что за диво, Матвей! Кто же это такие?

— Не знаю, барин, а только не скотина.

Мы ехали крупной рысью, долго толковали о встрече, делали всевозможные предпо-

ложения, но ни к какому положительному заключению прийти не могли, тем более потому, что вся дорога от Александровского завода шла почти степью и сенокосными дачами, а лес оставался с левой стороны, за рекой Газимуром, и был от нас в нескольких верстах.

Но вот скоро и Маньково. Мы уже слышали потягиванье собак и подъехали к газимурскому броду. Лишь только мы спустились между кустами на речку, как сзади нас по дороге послышался бойкий топот скачущего коня, а затем кто-то отчаянно закричал:

— Гей, гей! Пойдите, пойдите!

Но в это время мы уже въехали в воду, и я поспешно сказал Панову, чтоб он не останавливался, воображая, что нет ли тут какой-нибудь штуки, так как маньковцы имеют манеру «пошалить».

Не успела еще наша тележка выбраться на крутой берег, как набежавший всадник со всего маха плюхнул в воду тотчас за мною, и целая масса холодных брызг, как дождем, обатила мне всю голову и спину.

— Кто едет? — как-то боязливо и вместе с тем нахально закричал верховой.

— А тебе что за дело? — крикнул я грозно и не велел останавливаться.

Тут я увидал, что из-за тележки выскочил верхом какой-то мужик. Он был в одной рубахе, белых холщовых портах, босиком, без шапки и сидел на коне без седла.

— Здорово живете, господа честные! Путь дорогой! — приветствовал он уже тихо, но голос его дрожал, и мужичок постоянно тыкал в бока лошади голыми пятками.

— Здравствуй, братец! — сказал я все-таки строго.

— Куда изволите путь держать? Верно, в Алгачи? — сказал он, посматривая на мою кокарду на фуражке.

— Да, брат, в Алгачи, а что?

— Да напужался я, ваше благородие, до смерти и теперь отойти не могу.

— Какого же беса ты так напужался, Пляскин? — спросил Панов, узнавши всадника.

— А! Да это ты, Матвей Васильевич? Так кажется, коли не вклепался! — сказал в свою очередь мужичок, признавая Панова.

Мы все время ехали шагом и не останавливались.

— А что? Вы никого не видали на дороге? — спросил он нас.

— Нет, никого не видали, — поторопился я ответить, желая узнать что-либо о нашей загадочной встрече, так как, видимо, разговор клонился к тому и заикнувшийся Панов, желая что-то сказать, остановился на полуслове.

— А двух медведей разве не заметили, ваше благородие? — обратился ко мне Пляскин.

— Медведей? Что ты врешь! — сказал я.

— Так точно, сударь, медведей! Вот уже третий день как вышли, проклятые, в покосы и двух коней уже задавили.

— Что за диво! В покосы? — спросил я, веря и не веря Пляскину.

— Да, ваше благородие, вышли в степь и стали пакостить, так что и народ весь разогнали, оказия!

— Так и теперь уж не они ли тебя пугнули?

— Они, проклятые, они! Я лежал, значит, в балагане и слышал по колокольчикам, как выехали, как приостанавливались и как потом вдруг погнали. Меня точно ткнуло по сердцу, — ой, мол, это недаром!.. Я тотчас выско-

чил на степь да только успел поймать коня, как слышу пыхтят. Оглянулся, а они, проклятые, оба тут и есть!.. У меня инда волосы шишом встали, все вши в голове позамерзли. Я мигом заскочил на каурка, да и ударился во весь мах за вами.

— Что ж, они гнались за тобой или нет? — спросил Панов.

— Я уж, Матвей Васильевич, этого не приметил, а как сел на каурка, так и бежал без оглядки. Вот только теперь сердце маленько утихло, а то словно выпрыгнуть хочет, так вот и бьется, как голубь.

— Так неужели, Матвей, мы с тобой их и видели на покосе? — сказал я.

— Да как что не их! — перебил меня Пляскин.

— Вот бы ладно вышло, если б я послушался Матвея да выстрелил в них дробью.

— Что ты, ваше благородие! Как это можно! Ведь они звери, самые ехидные звери. А теперь они оглазели, ничего не боятся! Вон на покосах все балаганы разворочали, и спокойя не стало. Многие деревчане и кошенину побросали, боятся и выехать. А они, проклятые,

и днем не опасаются, так и бегают парочкой...

— Что ж вы их не стреляете? А еще промышленниками слывете!..

— Да ведь один-то не сунешься, ваше благородие! А вот норовим сделать облаву, всем миром, так вот уж тогда что у нас будет, а то — ни! Съест, проклятый!..

В это время мы въехали в Маньково, но вся деревня уже спала и ни в одной избенке не было огня; только повсюду тявкали собаки и, выскочив из-под ворот, провожали нашу тройку. Пляскин, поворотив к своему дому, простился с нами и оцтыркал своих сердитых псов, а мы, озадаченные той и другой встречей, покатали далее по алгачинской дороге.

— Это ты, Матвей, своей песней приманил к нам медведей, — сказал я шутя.

— Ну да, барин! Хорошо, что не стреляли, а то, пожалуй, и другую бы песню запели мы с вами.

— Да, брат, это господь сохранил нас обоих.

— Так неужели бы мы не убежали на этой тройке?

— Не знаю, ну, а если бы кони шарахнулись с выстрела в сторону, да мы бы вылете-

ли как давеча из тележки. Тогда, брат, что бы случилось?

— Храни господь и помилуй! — сказал он, набожно перекрестился и свистнул на коней.

При скорой езде по сырому вечеру и около речки я немного продрог, потому надел толстое серое форменное пальто, нахлобучил фуражку и приткнулся к запыленной подушке...

#### IV

Еще через сутки я был уже в Цурухайтуевской крепости, на берегах Аргуни, на границе с Китаем. Тут я познакомился с дядей Разгильдеева, Алексеем Михайловичем Муромовым, и он принял меня к себе как родного сына.

Муромов был человек громадного роста и атлетического сложения. Он обладал такой силищей, что двухпудовую гирию легко перебрасывал одной рукой через весовую важную или крышу сарая. Как старый холостяк и на такой дальней окраине, он жил просто, но чисто, опрятно, ел хорошо и славился отличным наездником. Муромов в жеребятках узнавал будущих рысаков, а заполучал их от казаков за пустячные деньги, выращивал, наезжал —

и лучше муромовских рысаков не было по всему Забайкалью.

Алексей Михайлович при выборе жеребят поступал так: пользуясь тем, что на берегу Аргуни богатые казаки держат сотенные табуны хороших даурских лошадей, он караулил то время, когда пастухи гоняли лошадей на водопой. Муромов выезжал тихонько на их путь и приглядывался к тем жеребьятам, которые бойко выбрасывали ноги — и рысью или вскачь опережали своих матерей и собратьев. Опытный глаз охотника никогда не ошибался, и Алексей Михайлович тут же намечал тех, кои впоследствии попадали в его конюшню, а потом под умелой наездкой делались первостатейными рысаками.

Когда я сказал Муромову о цели своего приезда и что Разгильдеев будет вслед за мной, он заторопился промять нового рысака, а относительно гусиной охоты сказал, что мы опоздали, так как вся компания уже уехала за Аргунь, в китайские владения, еще утром.

К обеду приехал Иван Евграфович, закусил и улегся отдохнуть. А вечером, когда схлынул жар, после покропившей тучки, Муромов

предложил сделать экзамен своему рысаку, знаменитому впоследствии Крылатке.

Разгильдеев, как истый любитель и страстный охотник до охотных (беговых) лошадей, велел заложить присланную ему из Нерчинского завода тройку в маленький казанский тарантас, посадил с собой меня и, сам правя, поехал на Аргунскую степь делать испытание еще молодому Крылатке.

Надо заметить, что тут дорога как ска-терть; а после покрапанавшего дождика на ней сделалась такая «печать», что видно было не только колею проехавшего экипажа, но на почве отпечатывался каждый винт от шины и даже гвозди от подков.

Муромов, парой в тележке, ехал вперед все шагом рядом с нами и толковал с Разгильдеевым. Когда же мы заехали на шесть верст, он, поворотив назад, остановился, похолил коня и сказал так:

— Ты, Иван Евграфович, беги рядом да сначала не кричи и не ухай, а когда я крикну на коня сам, ну тогда уж валяй и делай что знаешь.

Муромов сел в тележку, подобрал вожжи и

поехал рысью. Мы тоже направились рядом, но ту же минуту не могли уже держаться и пошли вскачь. Так мы проскакали версты полторы, а когда Муромов мастерски крикнул на Крылатку, подтянул немного вожжи, то он вдруг так наддал, что мы начали отставать.

Разгильдеев не вытерпел, встал на ноги и выдернул бич. Но как он ни кричал, как он ни стегал свою лихую тройку, мы все-таки отстали и приехали к дому тогда, когда Крылатку шагом проводил уже кучер.

Надо было видеть азарт Разгильдеева и что выражало его лицо инородческого типа, когда Крылатка летел, как орел, убегая от мчавшейся во весь карьер тройки. Иван Еврафович готов был сам выпрыгнуть из тарантаса и лететь птицей, чтоб только не податься еще молодому рысаку. Но силы не хватало, и он только ахал да произносил разные возгласы удивления, не пропуская и ближайшую родню по происхождению.

Действительно, картина бега рысака, при наблюдении сбоку, замечательна как по красоте как бы летящей лошади, так и по тому чувству, которое возбуждается в зрителе. Тут

что-то особое задевает за сердце, и являются такие желания, что их трудно высказать на бумаге, да я и не берусь за это, потому что мне не выразить того, что чувствуют в такие минуты любители лошадей. Помню только, что мне самому-то хотелось управлять таким конем, то являлось желание сидеть на нем верхом. То наконец подмывало как бы самому посоперничать с лошастью и лететь рядом, так что при этом последнем чувстве невольная истома теснила дыхание, даже навертывались слезы, а ноги не стояли на месте и точно плясали по дну тарантаса... Я понимаю эту охоту и вполне сочувствую всем лошадиникам: эта страсть не уступит благородной страсти закоренелого псового охотника — тут они равносильны, а простые ружейники к ним уж не суйся!.. затеребят. Да, пожалуй, и пустит еще шерсть гораздо скорее, чем какой-нибудь кровный Нахал догонит далеко поднявшегося матерого русака...

После этого мы все трое сели в тарантас и поехали на то место, где Крылатка был в апогее своего бега. Разгильдеев нарочно вылезал из экипажа и кнутовищем мерил по следам

рысака занос задних ног за передние: оказалось, что он был более пяти четвертей.

Нельзя было не удивляться тому, как могла выскочить пристяжка при таком ходе на расстоянии шести верст!..

На другой день утром прибежал из Нерчинского завода нарочный и подал Разгильдееву пакет от генерал-губернатора.

Начальник вскрыл печать, прочитал бумагу, руки его затряслись, и он побледнел как мертвец...

Заметив эту страшную перемену и душевное волнение, я тотчас вышел на улицу и отправился на берег Аргуни...

Тут нашел меня Муромов и любезно предложил мне пару верховых лошадей да опытного казака-охотника, чтоб я не скучал, а съездил с ним на охоту. Но так как я об этой поездке говорил уже в своих записках, в статьях «Курьезы», то и умолчу здесь.

На следующее утро Разгильдеев собрался в дорогу, прямо в Нерчинский завод, а мне сказал, чтоб я отправлялся на свое место, в Шахтаминский золотой промысел.

Впоследствии я узнал, что начальник в Цу-

рухайтуе получил свою отставку и что на его место назначен Оскар Александрович Дейхман.

После поспешного отъезда Разгильдеева выехал и я обратно на Алгачинский рудник. Как весело летел я из Шахтамы в Цурухайтуй, так грустно возвращался опять туда же, в ненавистную каторгу. Счастье еще, что после проливного дождя ночью в жаркий день все степные куры (дрохмы) вышли из степи к дорожным лужам, так что я, попутно встречая их, делал заезды и убил во время пути из «мортимера» шесть штук, в том числе одного петуха (см. «Пр. и ох.» Сент. 1884 г. «Подъездная охота»).

Добравшись до Алгачинского рудника, я остановился, чтоб отдохнуть и хорошенько закусить у пристава. Тут Я услышал, что на днях в Маньковой была облава, на которой промышленники убили на степи одного медведя, а другой успел убежать, перебрался чрез реку Газимур и укатил восвояси, в прилежащий Газимурский лесной хребет. Этот факт подтвердил слова Пляскина и тот курьезный случай, что я с Пановым действительно

встретил в покосах не оборотней, а настоящих медведей.

Когда проезжал чрез Александровский завод, меня остановил Янчуковский. Он дал мне небольшое поручение: съездить в Акатувский рудник, и я тогда первый раз побывал в этом знаменитом захолустье, прослывшем по всей каторге своими угрюмыми казематами, суровой местностью и заточением тяжких преступников. А затем я несколько дней пожуировал в Александровском заводе за неимением дела, по случаю отъезда Янчуковского в Нерчинский завод, куда его потребовал начальник для приготовления округа к сдаче новому лицу. Тут я отдохнул среди своих знакомых и товарищей, так что предстоящая поездка в Шахтаму меня уже не так пугала, а ожидаемая охота подавала надежды на более приятную жизнь и в таком громяющем цепями вертепе.

Надо заметить, что в это же время в Александровске жили политические сосланные: Мих. Вас. Петрашевский — этот чудак юрист; Николай Александрович Момбелли — гвардейский офицер; Григорьев — больной, тихий

человек; Никол. Александ. Спешнев — очень образованная и светлая личность, и Федор Никол. Львов — вечно занимающийся химик, а по возвращении из Сибири секретарь Петербургского технического общества. Люди эти весьма оживляли наше общество, и с ними скучать было невозможно, к тому же конец июля имел свои удовольствия, — я почти каждый день ходил из Александровского завода за молодыми утками и жалел только о том, что со мной не было Каштана. Его еще перед моим отъездом из Шахтамы каким-то манером украл казачий офицер, кажется Некрасов, и запрятал в подполье, где несчастная собака промучилась более двух недель, и все мои поиски оставались безуспешными. Когда же этот негодяй узнал, что я вернусь еще в Шахтаму, то он, побоявшись моего возмездия, отправил Каштана на время в какую-то деревню к знакомому казаку, вероятно такому же каналье, как и он сам...

Вскоре приехал из Нерчинска Янчуковский, рассказал нам, как рвет и мечет Разгильдеев, получив там неожиданно насильную отставку, и порадовал нас тем, что на его

место действительно назначается начальником края подполковник Дейхман.

Выпив по этому случаю в общей компании несколько бокалов шипучего, я все-таки должен был собраться и, скрепя сердце, ехать в Шахтаму «впредь до особого распоряжения».

## V

Итак, я опять в Шахтаме, в этой «злосчастной» каторге, в той же квартире милейшего Николая Геннадиевича Данилова. Жизнь потекла тем же порядком, работы шли своим чередом, и не было ничего такого, на чем можно было остановиться в своих воспоминаниях. Ничем отрадным не затрагивало чуткую душу, ничто не волновало надтреснутое сердце. Оставалась в утешение одна охота, и вот она-то и была единственным моим развлечением в этот период жизни. Хорошо, что судьба как бы сжалилась надо мной и это тяжелое для меня время продолжалось недолго.

В августе мы с Дудиным начали похаживать на близлежащие горы и били молодых рябчиков. Но он этим не утешался, а постоянно говорил, что надо сходить подальше в тайгу и там поискать молодых глухарят. Понят-

ное дело, что я торопил его с этой экскурсией.

Вот однажды перед вечером, накануне какого-то праздника, пришел ко мне Дудин и сказал, что ему выдается завтра свободный день, а потому предложил мне свои услуги вести меня в *Шахтаменок*, — этот порядочный приток речки Шахтамы, который тянется на несколько десятков верст, вытекая из довольно большого лесного хребта. Дудин говорил, что в его вершинах живет много глухарей, а в побочных отрогах, по мелким чащичкам, «целая пропасть» рябчиков.

Пока мы судили и рядили, что и как делать, к нам пришел аудитор — Евгений Васильевич Павлуцкий, великолепная личность во всех отношениях, но человек слабый здоровьем и с задатками чахотки. Он посидел с нами, выпил чайку и тотчас узнал, что мы завтра с утра собираемся на охоту.

— А что, господа, да вы возьмите-ка и меня с собой.

— Куда, Евгений Васильевич?

— Да на охоту.

— Что вы, батенька мой, ведь мы собираемся в *Шахтаменок*!

— Да хоть еще дальше, так мне все равно.

— Так ведь вы не охотник!

— Ну что за беда, что не охотник, а я хоть прогуляюсь.

— Хорошо, только вы соскучитесь, а мы скоро назад не вернемся, — говорил Дудин.

— И это не ваша беда, я на вас не поеду, а найду дорогу один, если устану.

— Отлично! — подхватил я. — А нам будет веселее.

— Да он шутит, — заметил Дудин, — а вы и поверили.

— Нет, не шучу, — как бы обиделся Евгений Васильевич, — и если хотите, то буду вам помогать.

— Чем же это? — посмеялся Дудин.

— Как чем? Да я понесу закуску, а на охоте буду таскать вам дичь.

— А как она вас задавит, Евгений Васильевич! — пошутил уже я.

— Не бойтесь, я ведь не ребенок и говорю вам совершенно серьезно.

— Тем лучше, Василий Иванович, — сказал я Дудину, — Евгений Васильевич сделает нам большое одолжение и доставит удовольствие,

он же человек веселый.

— Так что же, пойдёмте втроем, — решил Дудин и тут же сказал, чтоб мы завтра вставали пораньше, да приходили к нему.

— Вот и отлично, merci! А то я, право, совсем засиделся, хочется поразмять свои косточки. А что касается вставанья, то об этом не беспокойтесь — не просплю! Около четырех часов буду у вас, — сказал мне Евгений Васильевич, отправляясь домой подготавливаться.

— Вот еще не грех ли к нам вяжется? — сказал Дудин, когда Павлуцкий, простившись, вышел из дома. — А в Шахтаменке ходьба тяжелая, там все мохарник. Да ему, бедняге, и пяти верст не выходить!

— Верно, надеется, Василий Иванович! А такие люди часто выносят больше, чем здоровые. Он весь-то, как воробей, — во мху не завязнет, на воде не утонет и харчей съест немного, а помочь поможет.

— Ну да уж обещали, так пусть так и будет, а только я с ним нянчиться не стану, — сказал Дудин, подал руку и пошел домой.

Вечером он снова забежал ко мне, чтоб

уговориться, что взять ему и что мне — для закуски, имея в виду и то, что, может быть, придется там ночевать. В это же время, уже поздненько, пришел опять Павлуцкий и, выслушав наше совещание, сказал, что он возьмет с собой на всякий случай топорик да небольшой медный чайник...

Утром, должно быть ранее трех часов, так что я еще спал, постучал в окно моей комнаты Евгений Васильевич.

— Будет вам спать, вставайте! — весело сказал он.

Я живо соскочил с кровати, отпер сени и велел поставить самовар, а сам умылся, помолился и оделся совсем по-походному: одни холщовые панталоны, легкую блузу и мягкие юфтевые «чирки» (вроде поршней).

Мы напились чаю, закусили, собрались и отправились к Дудину, но он, увидев нас в окно, встретил на улице. С ним были две собаки — одна среднего роста дворняжка, а другая — большой легаш, Тамерлан.

— А эту кривохвостку на что вы берете, — спросил я, указывая на дворняжку.

— Что вы, помилуйте! Да в ней-то вся сила,

она-то и главная штука, кривохвостка-то, и ищет. А вот этот дурак, его дело только жрать. Он и глухаренком не побрезгует, а так всего и счистит и перышков не оставит. Да и злой, проклятый! Я его иногда сам потрухиваю (трушу).

— Так на что же и брать такого крокодила?

— А, видите, кривохвостка без него не ходит, из дома не вытащишь...

Мы все трое отправились через разрез, перешли реку Шахтаму и попали на тропинку, ведущую прямо через небольшой злобчик в долину Шахтаменка. Долго-долго шли мы этой таежной тропкой. Потом, перебравшись через речку, зашли на такие мхи, что пришлось шагать как по перине, что ужасно утомляло и сокращало самую поступь.

Но вот нам стали попадать лесные колки, мы разошлись по разным направлениям, но все наши поиски сходили к нулю — никого найти не могли. Выйдя опять на чистый мхарник, я заметил на нем чьи-то большие следы. Сначала мне показалось, что это шел человек, но когда я заметил, что мой след гораздо меньше и не так уходит в мох, то подо-

звал Дудина и спросил:

— Василий Иванович! Посмотрите, пожалуйста, чей это след?

— Аа!.. Да это, должно быть, приставский Степан ходил тут, а он ведь знаете, какой толстый, словно медведь, да и частенько сюда заглядывает.

Я будто успокоился и не понял его шутки, но потом одумался, сообразил и сказал Дудину, что нет, Василий Иванович, это следы не Степана, а должно быть, настоящего Михаила Потапыча.

— А у вас есть с собой пули? — вдруг спросил он меня и несколько побледнел.

— Нет, нету!

— Ну вот это плохо! Да и я-то, дурак, не захватил с собой на всякий случай.

— А что?

— Да как что? Видите, это недавно прошел медведище, да какой матерущий, будь он проклят!

— Смотрите-ка, как мох-то удавливал, — преспокойно заметил Павлуцкий.

— Это нехорошо! А нам как раз надо идти в то место, куда он, черная немочь, шарашил-

ся!..

— Так что за беда, с нами ведь ружья, — тихо и сиповато сказал опять хладнокровно Евгений Васильевич...

В это время обе собаки, бросившись в громадный заросший колок, выгнали большое гнездо кополят.

Мы тотчас, забыв опасность, стали скрадывать тех, которые сидели поближе на деревьях. Собаки пробежали далее в чащу, но вдруг я вижу, что Тамерлашка с визгом вылетел из колка, поджал хвост и сунулся за Дудиной, а маленькая дворняжка громко затыкала, и тут я заметил, как шагах в двадцати от нас закачалась мелкая густая поросль. Но азарт мой был так велик, что я в это время не сообразил всей истории и, подкравшись к глухаренку, выстрелил из «мортимера». Молодой упал, но в ту же минуту вылетел из чащи в противоположную сторону громадный медведь и пустился наутек.

Дудин стоял бледный за деревом, а Павлуцкий, преспокойно поглядев на зверя, пошел поднимать кополенка.

Тут только опомнился и я, но так растерял-

ся, что начал что-то говорить и заряжать ружье, да так, что вместо пороха высыпал из патрона сначала дробь и стал припыживать.

— Что вы делаете? — тихо заметил мне Павлуцкий.

— А что, а что? — говорил я, теряясь.

— Вы высыпали сперва дробь.

— Да, дробь, дробь, а что?

— Как что?! Ну разве дробью заряжают сначала?

Тут я отрезвился, понял, в чем суть, и более всего на меня подействовало преспокойное состояние духа Евгения Васильевича, у которого, кроме маленького топорика за пояском и медного чайничка в мешочке, не было ничего.

Дудин все еще стоял у дерева и не шевелился. Тамерлашка дрожал и сидел под кустом на кукорках, а бойкая дворняжка гналась за медведем по мхарнику и хватала его сзади за гачи. Мишка поминутно останавливался, бросался за ней, а потом снова удирал в гору. Надо было видеть, с какой ловкостью увертывалась кривохвостка от лап Топтыгина и с какой злобой старался он ее поймать.

Тут мы потеряли из вида обоих, но лай собачонки и рев зверя еще долго доносились из леса. Только не ранее как через полчаса возвратилась оттуда тихонько собака, усталая, измученная, с высунутым языком, и, едва добравшись до речки, улеглась в воду.

— Вы, Василий Иванович, стреляли или нет? — спросил я Дудина.

— Как же-с, стрелял... — говорил он как-то тихо, и губы его дрожали.

— Убили?

— А, ей-богу, не знаю... Так я испугался, что и теперь руки трясутся.

— Значит, батенька, всех нас храбрее Евгений Васильевич да кривохвостка. А ваш Тамерлан тоже насыпал под куст, как я дробь вместо пороха...

Все это случилось так неожиданно и скоро, точно во сне, что мы не могли отдать себе полного отчета о всей катастрофе, не имея сил прийти в себя. Помню, что я как-то ослаб всем телом и едва вспомнил, что мой дробовик заряжен неладно. Пришлось вынимать пыж, вытряхать дробь да заряжать снова. Только Евгений Васильевич сидел на пне и

курил папиросу. Зато Тамерлашка поминутно присаживался и боязливо озирался. Дудин «отошел» (пришел в себя), но жаловался, что у него «отсекло» поясницу.

Долго еще хохотали мы друг над другом и забыли о кополятах, а когда поправились, то пришлось их отыскивать снова. Хорошо, что они, как непуганые, ушли недалеко, а остывшая дворняжка выгнала опять и посадила их на деревья, так что мы перебили всех да тут же наткнулись и на рябчиков.

Чем дальше мы шли к вершине Шахтаменка, тем чаще попадали нам колки. Наконец они слились в общий непролазный лес, и тут мы столько нашли молодых рябчиков, что, гоняясь за ними и вертясь во все стороны, совершенно «окружали». День был жаркий, пот катился с нас градом, ел глаза, и потому мы то и дело умывались да пили таежную воду, чистую, как хрусталь. Дичи набили мы пропасть, так что все трое едва таскали эти тяжелые ноши.

Интереснее всего то, что мы, гоняясь за глухарями и рябчиками то в одну, то в другую сторону в густом лесу, не видя окрестностей,

действительно «окружали», как говорят сибиряки, и никак не могли ориентироваться, чтоб, покончив охоту, направиться к дому. Пусть бы этот забавный казус случился с одним, это еще понятно, но нет, — мы все трое до того уходились, что никак не могли сказать, куда бежит горная речка! Придем к воде, бросим на нее листья, шишки и спорим — один говорит, что Шахтаменок бежит так, а другой утверждает, что совсем не так, а в противную сторону.

Да не усомнится тот из читателей, кто не бывал в таком состоянии и кому подобный казус покажется игривой фантазией, неестественным случаем. Говорю, как было в действительности и окончилось тем, что мы с Павлуцким, находясь в таком глупом состоянии, положились на опытность Дудина, но оказалось, что он-то более всего и ошибался, а чрез это мы, гоняясь за ним, окончательно отупевши, выбились из сил. Между тем солнышко было уже далеко на второй половине, так что мы хотели остаться ночевать. Однако же на общем совете посмеялись все трое над собой и решили, что мы завертелись, окружа-

ли, а потому следует отдохнуть и тогда со свежими силами решить вопрос, куда выходить — в ту или другую сторону, чтоб не топтаться по пустякам и не потерять последние силенки.

Мы остановились на берегу Шахтаменка, выпотрошили всю дичь, развесили ее в тени по кустам и деревьям, вымылись и улеглись на мох, как на мягкую перину. Скоро мы все трое уснули и, вероятно, проспали не менее часа, потому что когда я проснулся первый, то солнце спустилось уже гораздо ниже.

Не знаю хорошенько почему, но мне хотелось остаться ночевать: то ли оттого, что ненавистная мне Шахтама не тянула домой. То ли мне просто желалось, заночевавши в лесу, отдохнуть на свежем воздухе. Я уже лежал с открытыми глазами, приглядывался к роскошным переливам теней на окружающем лесе и чутко прислушивался.

Дудин, как истый абориген, спал крепким сном и похрапывал то с какой-то затяжкой, то с дребезгом, а Павлуцкий, свернувшись в комочек, только сиповато посвистывая и чамкая ртом. Даже собаки наши лежали врастяж-

ку и шипели, крепко уснувши. А храбрый кривохвостка изредка тьякал и перебирал ногами. Вероятно, ему снился мохнатый костоправ Потапыч, которого он гнал с таким азартом в лесистый хребет.

Задавшись мыслью ночевать, я, грешный человек, нарочно не будил товарищей. Но вот вдруг я слышу, что около нас «спурхал» рябчик и спустился к речке. За ним скоро же прилетел другой, а затем, немного погодя, и еще два. Все они уселись на выдающийся около воды галешничек, попили, как куры, холодной водички, потом, как воробьи, стали приседать и брызгаться, распускать крылышки. При этом они, как-то особо тютиркая, перебежали с места на место, снова брызгаясь и купаясь. Я до того был заинтересован этой картинкой природы, что боялся пошевелиться, только наблюдал, лежа за деревом. Мне стоило лишь тихонько протянуть руку, чтоб взять ружье и тут же убить хоть двух или трех, но у меня не поднималась рука на такое как бы постыдное убийство или охотничье святотатство, а сердце мое замирало от удовольствия.

Вдруг проснулся кривохвостка, поводит носом, учуял присутствие дичи, стремглав бросился на речку и вспугнул таежных купальщиков. Рябчики, тревожно тютиркая, ментально улетели в чащу.

Тут проснулись мои оба товарища и стали потягиваться, разминать уставшие руки и ноги.

— Фу! Как я крепко уснул, даже глаза слиплись! — сказал, вставая, Дудин.

— Ну у меня хоть этого и нет, а все-таки соснул хорошо, — просипел Евгений Васильевич.

— Хо-хо-хо! Солнышко-то уж где! — проговорил опять Дудин, начиная собираться.

— А вы куда, Василий Иванович?

— Как куда?! Надо поскорей домой отправляться.

— А ночевать разве не будем?

— Что вы, какая ночевка. Мне надо сегодня же побывать в лазарете, а утром пораньше на службу.

— А куда же пойдём? — спросил, еще не поднимаясь, Павлуцкий.

— Да солнце вон где, значит, надо идти на-

лево, теперь-то я не ошибусь.

— А не смотрел, куда бежит речка? — пошутил я.

— Ха-ха-ха! Ну-тка я в самом деле погляжу, куда она теперь тянет.

— Ну что? Куда?

— Да, конечно, налево же, куда нам и нужно. Вон видите, куда плывет шишечка.

— Ну хорошо, а отчего же мы давеча этого не видали? — спросил Павлуцкий, уже собирая свои пожитки.

— Вот то-то и штука, — это бывает.

— Да отчего же бывает, Василий Иванович?

— А очень просто, от усталости. Да к тому же и кривляки, проклятые, с толку сбивают. Видите, как тут изчертело всю речку. Вон, посмотрите, какую восьмерку загнуло, словно калач или крендель. Придешь к такому колену, а оно и показывает, что речка бежит будто кверху по пади (логу), — вот и буровишь по лесу, как сумасшедший и толку дать никакого не можешь...

Мы наскоро закусили, выпили «окаянного» по маленькой рюмочке, собрали всю дичь,

разделили ее поровну на плечи и сначала бойко отправились к дому.

Дорогой я рассказал им, как видел на речке рябчиков, и Дудин и Павлуцкий досадовали, что я не разбудил их.

— Да как же я стану будить, когда и сам боялся пошевелиться.

— Так отчего же не стреляли? — спросил Дудин.

— Рука не поднялась, батенька, вот почему. Я только любовался.

— Есть чем любоваться, нет, я бы не вытерпел.

— Ну, этому и я поверю, — сказал Павлуцкий. — Вы охотник в душе, а такой человек не воспользуется таким интересным случаем, как простой промышленник...

Долго еще толковали мы на эту тему и шли не останавливаясь. Наконец ноги наши снова отказывались служить, а пот смочил не только сорочки, но капал с волос, как в бане, и ел глаза. Мы подошли к речке, умылись, немножко посидели и освежились.

— Только не пейте теперь воды, — сказал Дудин.

— Отчего? — спросили мы оба.

— А потому, что хуже пристанете, да и простудиться недолго.

Мы послушали доброго совета и снова пошлагали по мхарнику, наконец дошли до того, что наши ходули совсем отказались нести нас, так что мы садились отдыхать уже где попало, чуть ли не через 50 или сто сажен.

— Вот немножко, немножко! — утешал нас Дудин. — Вон завернемся за тот колочек, так пойдем уж дорогой, там торная тропинка.

— Так как же, Василий Иванович, мы шли будто не этой дорогой? — спросил я.

— Нет, не этой, а тут ближе к тракту.

— Значит, мы выйдем пониже промысла?

— Да, версты на полторы ниже. Но тут есть хорошие места, и бывают глухари.

— Ну, батенька, теперь попадись хоть райские птицы, так и тех пройду мимо.

— Нет, завернете, а усталость пройдет моментально.

— Не может быть, куда она денется? — просипел Павлуцкий...

Как бы там ни было, но мы все-таки дошагали до этого заветного колка, когда еще сол-

нышко было на склоне, и страшно обрадовались, когда наша дворняжка, вдруг поднявши нос, потянула в лесистый колок. За ней бросился Тамерлан, и не прошло пяти минут, как завохтала кополуха, а с нею поднялось целое гнездо молодых...

Господи! Что это за сила — охота! Тут мы в одну секунду сбросили с себя тяжелые ноши и бегом понеслись к колку.

Все это понятно охотнику. Ну пусть мы с Дудиным почувствовали эту магическую искру и ожили мгновенно. Но нет же, она так же подействовала и на Павлуцкого!.. Смешно было смотреть со стороны, как он, ковыляя, как плетками, обессиленными жиденскими ножонками бегал за нами и торопился подбирать убитых глухарей, которые на закате солнца были крайне смирны, так что мы убили их семь штук в каких-нибудь четверть часа потухающего вечера.

— Ну что, Евгений Васильевич! Правду я вам сказывал? — говорил Дудин.

— Настоящую истину! И теперь я верю, что охота может ворочать горами.

— А вот теперь давайте маленько закусим

и тогда уж до дому, — сказал я.

— Отлично! — подхватили они оба, и мы уселись подкреплять свои силы.

— А далеко ли до промысла? — спросил Павлуцкий.

— Нет, версты четыре, больше не будет. Вон с той сопочки видно...

Часов около одиннадцати вечера мы были уже дома. Николай Геннадиевич ждал меня ужинать и удивился, когда я притащил к нему целую охапку молодых глухарят и рябчиков.

Однако же я до того был уставши, что почти ничего не мог есть, а наскоро рассказав Данилову о встрече с медведем, подвигах кривохвостки и прочих впечатлениях, отправился спать, наложил подушек под ноги, поднял их по-суворовски кверху и уснул, как убитый. В пять часов утра я проснулся, обкатился холодной водой и, напившись чаю, пошел на работы к своим клейменым атлетам.

## VI

Выше в этой статье, в разговоре с ямщиком, мне пришлось коснуться личности ссыльного Шилова. Буду считать непрости-

тельным пробелом со своей стороны, если, повествуя о Нерчинском крае, я умолчу об этом знаменательном в своем роде человеке на далекой каторге. Чтоб сказать о нем что-нибудь, мне придется оставить Шахтаму, переселиться мыслями в другой угол нерчинской ссылки, задеть последующее время своего служения в этом крае, и все это для того только, чтоб воспользоваться случаем и не забыть познакомить читателя с этой личностью.

Ссылнокаторжный Шилов все свое время ссылки был на Карийских золотых промыслах, это по системе речки Кары, впадающей с левой стороны в реку Шилку, в пятнадцати верстах ниже Шилкинского завода. Карийские промысла, или так называемая попросту Кара, состоит из трех отдельных селений, находящихся друг от друга в 4 и 5 верстах. В каждом из них существуют тюрьмы для содержания ссылнокаторжных, которые в мое время и составляли главную рабочую силу промыслов. Конечно, в них много было и «ссылных вольных», то есть уже окончивших сроки своего тюремного заключения, и

переселенных из рудников «бергалов», но в настоящую минуту дело не в этом, а речь идет к тому, чтоб поговорить о Шилове.

За что и как он был сослан на каторгу, я не упомяну, но знаю, что Шилов пришел с Кавказа, где он был «гребенским» казаком. Когда я состоял уже «приставом» (управляющим) на Верхнекарийском золотом промысле (в 1858—9 годах), Шилов находился в штате вольной команды, считался земляным «урочником», имел свой домишко, пару лошадей, потребный домашний обиход и исправно отбывал свой годовой урок по земляным работам. Жена его Анна находилась у меня, как «ссылная женка», и занималась стиркой белья.

Шилов был среднего роста, довольно костист и с очень доброй русской физиономией.

Полагаю, что и этой коротенькой биографии достаточно, чтоб поскорее перейти к главной профессии этой личности. Дело в том, что Шилов был замечательный песенник, и с этой стороны его знала не только вся каторга по всему Нерчинскому краю, но и всякий тот, кто когда-либо бывал на Каре.

Он обладал замечательно приятным и вместе с тем сильным и обширным, если можно так выразиться, тенором. Но это еще немного, а дело в том, что Шилов в свои песни вкладывал душу и сердце, а уменьем выражать в пении самые глубокие чувства человека он отличался от всей своей братии, так что всякий слушающий невольно обращал внимание на Шилова и восторгался. Кроме того, он умел выбирать хороших товарищей и составлять из них замечательные хоры. Конечно, репертуар его пения был не так обширен и наряден, как например г. Славинского, но зато вряд ли этот последний певал те задушевные каторжанские песни, в которых отличался Шилов, выливая в них всю жизнь и скорбь клейменного человека.

Когда он содержался еще в тюрьме, то с ним был замечательный случай, наделавший в свое время много шумного разговора.

Суть видите в том, что Шилону, само собой разумеется, не понравилась каторга, он вспомнил свою сторону и задумал бежать. Конечно, этой затаенной мысли певца никто не знал, тем не менее, когда пришла весна, а сол-

нышко обогрело заоченевшую каторгу, то и на Карийских промыслах угрюмая природа поддалась этому живительному действию весенних лучей. Снег сошел с окружающих гор, побежали ручьи, зазеленел повсюду лес, и ароматическая лиственница напоила весь воздух своим приятным освежающим запахом, а в горах закуковала бездомная кукушка, этот поджигатель сердец жаждущих свободы каторжников. Вот тут-то и пронесся по Каре слух, что Шилов бежит, что он, собираясь в поход, заготавливает помаленьку сухари.

Конечно, эта молва, хоть и келейно, но дошла до властей управления. Тотчас велено было смотрителю тюрьмы и военному караулу обратить внимание на это обстоятельство да держать «ухо остро». Хотя многие из управления в душе сочувствовали Шилону и вместе с тем жалели его двояко — как человека на каторге и как будущего беглеца, который скорее всего погибнет на длинной дороге или вернется «оборотнем» в ту же каторгу, и тогда ему, согласно закону, «почешут» плетишками спину и прибавят срок заключения в каземате.

Когда «пристав промысла» спросил Шилова келейно о том, насколько верен слух, что он собирается в поход, то он откровенно сознался, что кукушка запела свободу и нет сил вытерпеть заключения, а потому действительно собирается бежать.

— Ведь тебя караулят, и ты лучше не пробуй, а то знаешь, что за это закон тебя строго накажет, — говорил ему из участия пристав.

— Что ж делать, ваше благородие! Ваше дело смотреть, а наше бежать, но я вытерпеть не могу, и творись воля господня!..

Конечно, за такое признание пристав обязан был усилить строгий надзор и прикрепить арестанта, но ведь и пристав человек, да еще из таких, который сам не из нерчуганцев и глубоко сочувствующий выражению поэта: «О, родина святая!.. Какое сердце не дрожит, тебя благословляя...».

Собраты по заключению очень любили Шилова, знали его намерение и, понятно, молчали. Когда же он высказал некоторым свою тайну и просил их помочь, то они изъявили свое полное согласие содействовать побегу, а узнав его план, поняли, что нужно де-

лать, когда придет время.

Надо заметить, что арестантов водили из тюрьмы на работы за конвоем, который по обыкновению шел с известными интервалами с боков арестантской партии, был впереди и замыкал ее сзади. Самые же работы были несколько удалены от каземата, а ведущая к ним дорога с одной стороны каймилась небольшими предгориями, местами поросшими чащеватым лесом.

К тому же должно сказать, что хоть содержащихся арестантов всегда водили в ножных кандалах, но этот народ, когда нужно, умеет делать так, что железные цепи на ходу не издадут скребущего за сердце лязга и наоборот — звенят таким удручающим металлическим лязгом, что всякий чувствует не злобу и месть к закованному преступнику, а искреннее сожаление и сочувствие к ближнему. Вот почему едва ли не вся Россия речет арестантов несчастными.

Кроме того, многие арестанты брали с собой на работы котомки, в которые клали необходимые пожитки, различные инструментишки и хлеб для закуски, так что чело-

век, собравшийся убежать, не мог обратить на себя особого внимания по своему «хотулю» за плечами.

Вот однажды в прекрасное майское утро, когда вся окружающая природа уже ожила по-весеннему, а лес оделся листвой, арестантов вывели из тюрьмы, сделали перекличку, и, когда по проверке оказались все налицо, конвой принял всю артель, поставил на места конвоиров, скомандовал «марш!», и вся партия, побрякивая кандалами, двинулась на работы.

В числе арестантов был и Шилов, уже совсем готовый к походу, но так ловко замаскировавший свою тайну, что никому из конвоиров и в ум не пришло о том, что он собрался бежать именно в это превосходное ясное утро.

Когда партию вывели за промысел и повели по дороге, местами окаймленной кустами и лесом, то Шилов, как соловей, запел известную всей каторге песню:

*Отлетает наш соколичек  
Из очей наших, из глаз!..*

Тогда все арестантки, как электрическим током, задетые за живое, поняли, в чем дело: они поддержали кандалы, так что их удручающий лязг прекратился, убавили шаг и инстинктивно замерли, как прочувствованные задушевными нотами своего собрата, так и смыслом этой замечательной песни. В движущейся партии воцарилась тишина, и все душой и сердцем внимали благоговейным звукам любимого товарища.

Этой же магической силе очарования поддался и военный караул, в котором под серой шинелью билось тоже русское сердце, увлекающееся родными мотивами, так тепло и звучно передаваемыми знаменитым певцом, в особенности рано утром и среди улыбающейся природы, — силе, так отрадно действующей на душу, которая в известный момент легко симпатизирует горю всякого человека, а увлекаясь моментом, невольно забывает и свою обязанность, и одиннадцатую заповедь — «не зевай!..»

Партия шла тихо, подвигаясь вперед к тяжелым работам, а Шилов все сильнее и сильнее, все душевнее и сердечнее продолжал

свою песню, так что не только конвой, но, кажется, лес и горы, внимая этим святым звукам певца, затаили свое дыхание...

Такие минуты, по-моему, торжественны в жизни человека!.. Они имеют особый характер какой-то непонятной силы, заманчивой таинственности, магического очарования, как бы проникающего за пределы земного существования. Тут является что-то идеальное, возвышающее душу и соединяющее ее жизнь с чем-то запредельным, необъяснимым, так сильно действующим на самые грубые нервы... И вот почему в данном случае, при симпатии окружающей майской природы, заклеянные право и косо преступники, эти отрезанные ломти от семьи и всего гражданского мира, проникнулись тем святым моментом, который духовно соединил их с прошедшим, заставил забыть настоящее и унес этих пасынков в тот идеальный уголок, где нет пороков, оставшихся на грешной земле, а они, как добрые духи, запечатлев одной добродетелью, прощались с «отлетающим» куда-то любимым товарищем... А чем же мог отличаться в такую минуту военный караул, со-

стоящий из тех же братьев по плоти и духу, — как только не одной серой шинелью с ясными пуговицами?..

Тут Шилов преспокойно ровным шагом вышел за линию конвоиров, отделился несколько в гору и, продолжая заливать тем же соловьем каторги, настолько вышел из кругозора конвоя, что вдруг скрылся за кусты и помахал шапкой.

Тут вся партия поняла нужный момент, и в это время у всех моментально забрякали кандалы. Между арестантами, как бы возвратившимися к действительности, нарочно поднялся шум, и растерявшиеся солдаты не знали, что делать, потому что их капралы шли по концам партии, не вдруг поняли, в чем дело, и не давали команды, а боковые конвоиры суетились на линии и только как бы говорили сами себе: «Ох, Шилов бежал! Шилов бежал!.. Держите!.. Держите!..»

Тогда только капралы одумались и командировали двух или трех солдат преследовать беглеца. Те бросились в погоню, но тотчас потеряли из глаз Шилова, почему для очищения совести, выстрелив несколько раз наудалую в



кусты, возвратились к капральству. А Шилов, как привычный к горам кавказец, скоро успел скрыться в крутых изгибах нагорья и сдержал свое слово — бежать «на виду всех».

Когда было впоследствии неизбежное «дело» по поводу того, что арестант ушел на глазах вооруженного конвоя, то все солдатики чистосердечно сознались, что они никак не предвидели столь утонченного и дерзкого побега и, как люди, поддались обаянию знаменитого песенника. Они говорили, что Шилов «зачаровал» их и только вот почему ушел из под самого носа конвоя.

Но недолго погулял на свободе Шилов и, вероятно, недалеко ушел к своей родине: его где-то поймали, как бродягу, а затем привели с новой партией арестантов в ту же злосчастную Кару. Конечно, многие пожалели его в душе, но в силу закона снова засадили в каземат, прибавили срок содержания за побег и легонько «помазали» плетишками. В скором времени последовали высочайшие манифесты, и Шилов освободился из тюремного заключения, а потом завел домишко, женился и сделался земляным урочником на Верхнека-

рийском промысле.

Не могу умолчать о том замечательном хоре, который был составлен по выбору Шилова и знатока и любителя пения инженера Янчуковского. Этот хор подготавливался к отъезду горного начальника Дейхмана, собравшегося ехать в Петербург с новыми штатами по Нерчинскому горному округу.

Всех песенников насчитывалось до шестидесяти человек, — и что это за хор составлялся из этих избранных личностей!.. Особенно мне памятна последняя репетиция, накануне отъезда начальника. Слушающие допускались только по выбору из известного круга знакомых, случившихся в то время в Нерчинском заводе. Трудно описать не знатоку пения ту силу впечатления, какая получалась каждым от обаяния могучего хора, и ту гармонию звуков, которая вылетала из мощных грудей певцов, готовящихся братски проводить своего любимого доброго начальника.

Самые задушевные русские и «каторжанские» песни выполнялись с такой чарующей силой, что нередко слезы бежали по щекам слушателей, замирала душа и невольная, осо-

бого рода, дрожь пробежала по всему организму. Впечатление любителей народного пения вызвало желание собрать песенникам поильную помощь, и в этот вечер, тут же не сходя, так сказать, с места, несмотря на скудные средства нерчуганцов, было собрано на поднос более восьмисот рублей в их пользу.

Конечно, Шилов в хору был всегдашним солистом или запевалой, как говорят попросту, и мастерски управлял этим замечательным подбором всевозможных голосов, которые то гудели, как московские колокола, то заливались тончайшими звуками флейты и нежными дрожащими нотами замирали в общем аккорде. А сколько души, любви, жизни, горя, слез и русской беззаветной удали передавалось в этих звуках, так магически действующих на русское вселюбящее и всепрощающее богатырское сердце!..

Правду говорил покойный Янчуковский, что если бы была ему возможность обладать этим хором, то он немедленно вышел бы в отставку, уехал с ним в Москву, в Россию, и сделался бы богатым человеком.

В этом достойном замечания хоре обраща-

ли на себя особое внимание бас, хохол Марушко, который, как хороший тромбон, мог покрывать низкими нотами весь хор, так и два подголоска — Рогачев и Артемьев, кои в конце колена песни тянули высокие и симпатичные ноты, что мурашки пробегали по коже и непонятная истома удовольствия завладевала душой всякого слушателя. Тут же отличался тоже кавказец, хороший подголосок, плясун и неподражаемый тамбурист Лучкин. Что он, каналья, выкидывал со своим бубном, что он выделял руками, ногами и наконец всем туловищем, когда в плясовой песне вдруг вылетал на середину расступившегося хора и откалывал то трепака, то ухарскую присядку!.. Нельзя, мне кажется, никогда забыть той характерно смеющейся рожи, когда Лучкин моментально останавливался в кругу песенников, прижимал руки к сердцу и, комично подпевая, выговаривал под гармонию веселой песни слова:

*Ах ты, Катенька-свет!  
Скажи, любишь али нет?..—*

затем моментально перевертывался, ста-

новился на голову и, в такт ударяя ногами по бубну, изображал Катеньку, согласную выйти за него замуж!..

Тут нередко кончалось тем, что весь хор вдруг замолкал от душевного смеха певцов и здоровая пощечина по сиденью прогоняла Лучкина из круга...

Понятное дело, что в широкой каторге было немало голосов, соперничавших с шиловским, но все-таки первенство по всеобщему мнению оставалось за любимым певцом, потому что никто из них не вкладывал в песни того чувства, какое дышало в каждом слове и каждой ноте Шилова. Но все-таки нашлись такие люди, которые начали отдавать предпочтение ссыльному хохлу, кажется Авсеенко, а потому вышел горячий спор между любителями русских песен, пришедших к тому заключению, что им самим, особенно заочно, спора не решить. Поэтому они сделали складчину, собрали 25 рублей и послали за хохлом и Шиловым.

Цель спорщиков заключалась в том, чтоб попросить певцов спеть при собрании любителей — поодиночке, каждому порознь — ка-

кую им угодно свою любимую песню. Тогда посудить и спросить чистосердечно мнения самих певцов, кто из них по душе отдаст первенство тому или другому.

Пришли Авсеенко и Шилов. Им объявили цель их зова и попросили не отказаться от состязания. Сначала они не соглашались и говорили, что один будет петь хохлацкую, а другой чисто русскую песню, что не совсем одно и то же. Но их убедили, что сила не в содержании и выговоре слов песни, а в форме передачи и умении вложить в песню то чувство, какое ощущает сам певец.

— Ну как же ж? Нехай буде так, давай, — сказал хохол.

— А коли ты непрочь, так согласен и я, — тихо проговорил Шилов. — Давай, брат, потешим хороших господ, а у нас из этого не убудет, — прибавил он и стал прокашливаться.

Певцам тут же сказали, что по окончании пения им подадут водки и подарят хоть одному, хоть обоим 25 рублей.

Они отошли в сторону и стали толковать между собою, а затем попросили выпить перед пением, для «куражу», как говорил Ши-

ЛОВ.

Им тотчас поднесли по небольшому стакану горилки, по выражению хохла, и все слушатели уселись в ожидании пения. Но все дело останавливалось за тем, кому первому начинать, и ни тот, ни другой не решались покончить этот вопрос между собою.

Тогда предложили бросить жребий, на что певцы охотно согласились. Тотчас сделали два билетика, положили в шапку и дали им вынуть. Жребий выпал начинать хохлу.

Он, долго не думая, сиял рукавицы, положил их в баранью шапку, покачался, как бы выправляя грудь, и могуче и крайне симпатично запел сочным бархатистым баритоном:

*Виють витры, виють буйни,  
Аж дерева гнуться...*

Авсеенко пел, нисколько не стесняясь публики, бойко и смело, только не смотрел на слушателей и стоял к ним вполоборота, стараясь глядеть как-то неопределенно, точно в пространство. Долго звучал его симпатичный голос и невольно уносил слушателя на Украи-

ну, в широкую степь, на какой-нибудь хутор Южной России. Тут вспоминались бессмертные произведения Гоголя, и Запорожская Сечь, и Шевченко, а потому все слушатели сидели точно в каком-то забвении и только сысподволь поглядывали то на певца, то друг на друга и одобрительно покачивали головами. Но вот кто-то из приверженцев Авсеенка встал и как бы начал подпевать, но, тотчас, замолкнув, тихо сказал:

— Ну и хохлина!.. Ну и молодец!.. Отлично, отлично!..

Все это время Шилов стоял на одном месте, не проронив ни одного слова. Он то бледнел, то краснел и тихо похрустывал пальцами, а в высоких замирающих нотах как бы соразмерял свои силы и точно мысленно делал замечания и одобрения, посматривая на присутствующих да как бы вызывая их на горячие рукоплескания.

Но вот песня подходила к концу, а Авсеенко точно наддавал в своем могучем голосе, и наконец, окончив пение, он тихо повернулся к Шилону, вытащил из широких плисовых шаровар красненький замусленный плато-

чек и обтер им с лица и шеи показавшийся пот.

Все слушатели моментально соскочили с мест, и их дружные аплодисменты заглушили одобряющие возгласы.

— Бр-раво, бра-аво!.. Молодец Авсеенко!.. Спасибо!.. — наконец слышалось со всех сторон, а Шилов братски потряс руку товарища и поцеловал его в губы, не сказав ни одного слова.

Поднялся шум, движение присутствующих, и некоторые кричали: «Ну, Шилов! Теперь, брат, твоя очередь, не подгадь!..» Другие просили маленько подождать, чтоб собраться с новыми силами и несколько позабыть полученное впечатление от малороссийской песни...

Кто-то подошел к Шилову и спросил:

— Ну, а ты, Шилов, какую споешь нам песню?

— А вот позвольте, сударь! Какую-нибудь спую, дайте поуспокоиться, — отвечал он тихо и сплюнул сквозь зубы.

Наконец все действительно успокоилось, накурилось, наговорилось и мало-помалу усе-

лось на свои места.

— Прикажете начинать? — спросил Шилов, ни к кому не обращаясь лично, и сильно побледнел, так что все присутствующие, невольно заметив эту перемену в лице, начали поталкиваться локтями, коленками и тихо шептаться между собою. Все это не ускользнуло от пронизательности Шилова, и он еще более смутился, несмотря на свою привычку к слушающей публике.

Но вот слышались дружные и как бы одобряющие заранее возгласы:

— Как же, как же, начинай, Шилов, да не трусь!..

Певец ровным, но беспокойным шагом вышел на середину, скрестил на груди руки и одной из них, по своей привычке, чуть-чуть подхватил подбородок. Потом он окинул глазами присутствующих, затем опустил взор в пол и начал разбитым дребезжащим голосом:

*Ох, не одна-то ли одна  
Во поле дороженька пролегала...*

Тут он так побледнел еще более, что все внутренно испугались, да и сам Шилов, ка-

жется, задрожал, точно не узнав своего голоса. Но вот он вдруг покраснел в лице, как-то поправился плечами, словно воскрес от своего непрошеного оцепенения, и со второго же колена таким страстным соловьем подхватил задушевный мотив и слова чисто русской песни, что все слушатели невольно пошевелились на своих местах и точно замерли в тех позах, в каких их захватила чарующая сила любимого певца.

Глаза Шилова загорелись огнем воодушевления, он тоже несколько отвернулся от слушателей и так занесся в сердечном мотиве этой трудной для исполнения песни, что казалось, вот-вот Шилов не выдержит и оборвется на слишком натянутой струне своего могучего тенора... Но он только, так сказать, входил в свою роль и делал свободно такие переходы в мотиве, что в его звуках то слышалась бесшабашная молодецкая русская натура, то задушевная скорбь сердечной любви, то надежда, то сомнение, то какая-то глубокая страсть молодости, — сила и снова затаенная грусть, слезы и вместе с тем обаятельная сладость неподдельного восторга размашистой удали,

свободы и могучей воли любящего человека... Песня лилась, как журчащая река, не знающая преграды, — как симпатичная свирель настоящего виртуоза!..

Все будто окаменели. Сладкая горячая истома у многих подступала под горло и душила сдерживающихся слушателей, а некоторые, не стесняясь, плакали и боялись пошевелиться, чтоб обтереть капающие слезинки... Это еще более воодушевляло Шилова, и он забывал, кажется, все окружающее, весь душою и сердцем уносился за песней и тянул такие высоко-нежные ноты, что точно замирал на последнем звуке, потом переходил как бы, не останавливаясь на ноте, на более сочные, бархатистые тоны и спускался до приятно-густого баритона, выливая его на словах молодецкой удали...

Надо было видеть хохла Авсеенку, когда он, слушая, топтался на месте, поднимал плечи, то тихо поводил рукой, то поднимал глаза и при высоких, чисто соловьиных нотах, наморщивал брови и нагибал голову...

Наконец он первый не выдержал до конца песни, смело подошел к публике, замахнулся,

бросил с силою свою баранью шапку на пол и, перебивая мотив, сказал:

— Не, ваше благородие!.. Не могу!.. Кажу пусть буде его верх и пусть его деньги, бисова сына!..

Но все слушатели все еще, как очарованные, сидели и смотрели на невольное признание хохла и все еще слушали. Но тут Шилов оборвал песню и сказал, что ему тяжело допеть до конца и что его душит истома от сильного увлечения.

Некоторые встали, пошагали, поутирали свои слезы, и только тогда раздались дружные аплодисменты и восторженные возгласы одобрения, а хохол, как медведь, схватил в объятия Шилова и стал целовать, утирая уж не пот, а те же непритворные слезы умиления...

Принесли водку, налили по стакану певцам, они выцедили их чрез зубы, сплюнули на стороны и стали благодарить за угощение. Потом, получив четвертную, вышли на улицу, — а там обняли друг друга за шею и отправились восвояси, что-то разговаривая, пошатываясь в стороны и размахивая руками.

Все слушатели единодушно признали первенство за Шиловым и еще долго толковали о том, как он довел до слез даже и тех, которые не плакивали с ребяческого возраста.

С Шиловым мне случилось быть два раза на козьей охоте в 1858 году. Брал я его с собой как конюха, потому что он не был охотником, но, как кавказец, порядочно стрелял пулей. Он не знал приемов сибирской охоты, но не раз рассказывал мне, что на Кавказе охотятся за козами и оленями с собаками, которые находят, преследуют и нагоняют зверя на охотника, знающего те места, куда должна выбежать дичь.

В Сибири же, как известно, собак отпускают только тогда, когда зверь подранен. Если же он крупный, как изюбр или сохатый, и, заметив охотника, пошел на уход, то собаки тут необходимы: они забегают зверя спереди, прижимают к утесам, оврагам, так называемым в Забайкалье, *отстоям*, и, не давая ему хода, останавливают, держат до тех пор, пока не явится промышленник «*по скалу*» своего верного Кучумки.

Тут надо заметить, что опытная собака

«скалит» не постоянно, а только изредка подает голос и в то время, когда зверь хочет вырваться из-под ее караула. Если же он стоит смирно и только мотает рогами, то она лежит или сидит. Частое же «тявканье» означает охотнику издали, что зверь неспокоен, старается освободиться от докучливого сторожа, и вот почему пустолайки, надоедая своим бреханьем, часто не останавливают, а только угоняют зверя. Надо видеть сохатого, когда его «держит» собака! Как он, заложив уши, оцетинив загривок, натянув или оскалив верхнюю губу, мотает рогами, бьет передними ногами и сердится до исступления. Потом как будто успокаивается, но сам караулит собаку, выжидает какого-нибудь промаха с ее стороны и старается в этот момент стремглав броситься на нее, чтобы затоптать копытами и сразу покончить с непрошеным караульщиком. Тут малейший зевок «собольки» — и он пропал навеки: из него останутся только куски мяса да шкуры, из которой не выберется хозяину и на починку его старых рукавичек.

Изюбр в этом случае спокойнее, — он не так сердит и норовит больше поддеть на рога,

чем затоптать ногами.

С сохатым и охотнику необходимо быть поосторожнее. Ему следует подходить на зов собаки как можно тише, прячась за деревья, а то случалось не раз, что сохатый, заметив стрелка, моментально оставлял собаку и бросался на охотника. Тут — горе! Надо скорее повернее стрелять или находчиво спастись, соображаясь с местными условиями, что необходимо примечать ранее: сохатый ведь не медведь, его на нож не подденешь, а если прозевал, то и готовься на мясную котлету, да, пожалуй, ни с кем не простившись, отправляйся к праотцам, в царство теней!..

## VII

Но воротимся опять в Шахтаму, где мне пришлось еще несколько пожить, поглядеть на заклеяменную каторгу, послушать невыносимое бряцанье кандалов, стоны бичуемых арестантов и болеть душой и сердцем, как человеку и брату, за их страдания или же удивляться тем зверским поступкам, какие они производят в нечеловеческом исступлении, иногда за понюшку табаку, мести или ревности. Сколько раз обливалось мое сердце кро-

вью и нервно скрежетали зубы при виде этих ужасных, раздирающих душу картин!..

Но оставим эти страшные воспоминания и воротимся к обыденной жизни в этом вертепе.

Мне хочется сказать еще несколько слов о том, что в августе месяце мой сотоварищ по охоте Дудин что-то прихворнул и не мог сопровождать в моих охотах на молодых глухарей. Пришлось брать с собой простых конюхов и с ними отправляться в дремучую тайгу угрюмого Шахтаменка.

Надо заметить, что у Николая Геннадьевича Данилова часто прислуживал бойкий и расторопный ссыльный черкес Мустафа. Он был великолепным наездником, а потому состоял в штате конюшенного цеха. Вот он-то отчасти и был причиной того, что Данилов, упав с коня, расшиб себе грудь. Николай Геннадьевич заразился примером черкеса и думал так, что если на холзанке (лысанке) проехал Мустафа, то почему же не проехать и ему. Вот оседлали холзанку, подвели к крыльцу, вышел Данилов, сел на него с помощью Мустафы и поехал, но тотчас же не выдержал

«сбиванья» упрямого и злого животного, вылетел из седла и грохнулся грудью на камни...

Однажды в субботу мы с аудитором Павлуцким собрались опять в Шахтаменок, но уже с тем, чтоб взять вечернюю и утреннюю охоту, и потому приготовились к ночлегу в лесу, запаслись лишней одеждой, топором и медным чайником, а для ношения этих вещей взяли с собой Мустафу, который сам пожелал идти с нами. К вечеру субботы мы были уже на месте, нашли много рябчиков и вдоволь настролялись. Павлуцкий в это время заменил черкеса, охотившегося с моим «ричардсоном» и помогавшего мне отыскивать дичь. Мустафа по сидячим стрелял очень удачно, а тут больше ничего и не требовалось.

Когда уже стало смеркаться, мы выбрали отличное местечко у речки, разложили огонек, приготовили несколько штук молодых рябчиков, положили в медный чайник, подсыпали сухарных крошек, заправляя взятой с собой в туюске сметаной, и у нас наварилась такая похлебка, что мы опростали весь четвертной чайник и не захотели уже пить чай.

Одно неудобство состояло в том, что с нами не было ложек, пришлось сделать из береста кружки, согнуть их в виде пологой воронки, зажать сгибом в надколотые палочки и отлично хлебать ими импровизированный суп.

Но вот наступил вечер, мы надрали сухого моху, сделали постели и отлично устроились для ночлега. Но спать как-то не хотелось, и вот мы с Павлуцким стали расспрашивать Мустафу о жизни и приемах черкесов в их экспедициях. Он, хотя и не совсем чисто по-русски, много рассказал нам интересного о кавказских туземцах.

Его бесхитростные и поучительные повествования так увлекли нас, что мы готовы были слушать хоть всю ночь — и сна как не бывало. Сам черкес, вспоминая родину, нередко говорил сквозь нос, и видно было, что эти воспоминания задевали за живое его горскую душу и южное сердце. Когда Мустафа увлекался в своих повествованиях, мы часенько любовались его типичной красивой физиономией, которая при освещении костра была очень эффектна и ясно говорила о его воинственной нации. Глаза Мустафы то заго-

рались особым огнем, то наполнялись слезами, еще более задевавшими нас, так что мы невольно сочувствовали рассказчику и мысленно носились вместе с ним по воспетому краю или отдыхали под тенистыми чинарами... Особенно рассказы Мустафы о молодых черкешенках заставляли нас сладостно потягиваться на своих моховых тюфяках и, дополняя картины воображением, витать, как демону над «вершинами Кавказа», спускаться в его чарующие долины и мысленно искать по саклям и старинным башням чернооких Тамар. Конечно, тут и бедовая Рахиль мелькнула в моей памяти и заставила грустно забиться мое осиротевшее сердце...

Чтоб избавиться от этой мысли, крайне тяжелой в такую минуту, я как бы машинально сказал Павлуцкому:

— А что, Евгений Васильевич, будет с нами, если к нам ночью заявится тот здоровенный Михаил Потапыч, которого в прошедший раз прогнал кривохвостка?

— Так что за беда, он и теперь с нами, значит, прогонит опять, — заметил он сиповато.

— Вот Мустафа просадит его кинжалом, —

сказал я и потрепал по плечу черкеса.

— О, нет, барин! Я его боюсь.

— А что так, Мустафа?

— Да она пужал меня шибко.

— А где? На Кавказе?

— Нет, у Байкал.

— Ну-ка, расскажи, пожалуйста, как это было.

Мустафа закурил трубку, уселся поближе к огоньку и очень рельефно передал такую историю.

Когда он шел по этапам в каторгу, то в Верхнеудинском остроге подговорил своего товарища, чтоб, воспользовавшись удобным случаем, бежать с дороги на родину. За тридцать копеек серебром они расспросили у одного бывалого «оборотня» дорогу на кругобайкальский каторжный тракт и, улучив минутку, действительно бежали.

Сначала они шли хорошо и сытно, потому что сибиряки подавали им подаяние, а ночью беглецы сами находили на подоконьях краюхи хлеба и молоко в туясьях: обыватели по принятому обычаю нарочно выставляют то и другое на уличную сторону изб, в особенно-

сти в крайних домах селения, «для прохожих». Когда же черкесы, запасшись провизией, забрались в кругобайкальскую тайгу, то заблудились и несколько дней плутали по страшным тущобам. Несмотря на раннюю весну, погода как нарочно стояла пасмурная, и они никак не могли ориентироваться по солнцу, а узнавать страны света по деревьям они тогда не умели. Но как-то там ни было, а товарищи все-таки добрались до той системы речек, которые с высоких покатостей гор бегут в южную окраину громадного Байкала.

Несколько речек они перешли свободно, но когда добрались до страшно быстрой и многоводной речки Снежной, которая, по замечанию Мустафы, опаснее Терека, то пришлось остановиться, искать возможной переправы и выжидать, пока спадет вода хоть немного, потому что прояснившееся небо обещало неизбежную убыль воды после ненастья. Ждали они четыре дня и подобрались запасами провизии, так что у них ничего не оставалось, а трудный путь давал себя знать, требуя подкрепления сил. Между тем выходило наоборот: товарищи с каждым днем дела-

лись слабее и слабее и нравственно падали духом. С ними был только топор, который они украли, да небольшой ножик.

И все это еще ничего, но дело в том, что в эти несчастные дни их стал преследовать небольшой медведь. В то время, когда они ходили взад и вперед по правому берегу Снежной, мишка две ночи являлся к их табору и не давал им покоя. Приходилось не спать, терять последние силы и отбиваться от страшного преследователя из костра головешками, которых он трусил.

Мустафа говорил, что с ними была небольшая собачонка, приставшая к ним дорогой. Она сначала бросалась на зверя, но когда он как-то ночью пугнул ее не на шутку и, быть может, задел лапой, то она стала так бояться, что при его появлении начала прятаться за них же. Днем товарищи спали по очереди, и мишка их не беспокоил, но как только наступала ночь, зверь тихо являлся к их табору и уж не стал трусить раздуваемых в руках беглецов головешек, а начал дерзко лезть напролом и гоняться за собачонкой.

Видя такую беду, товарищ присудил скор-

мить нахальному зверю собачонку, чтоб тем отделаться от преследования. Мустафа говорил, что он не соглашался с этим мнением и, прячась за толстые деревья, отмахивался головней, а в другой руке держал на крайний случай ножик, который он насадил на длинную и крепкую рукоятку. У товарища же был обороной топор, тоже прилаженный к длинному топорису.

В эту ужасную для них ночь, по рассказу Мустафы, они грели в железном котелке воду, чтоб поварить запасные в мешке юфтевые подметки и выхлебать этот кожаный бульон с остатками уже небольшого запаса сухарей, с тем чтоб на утро во что бы то ни стало попробовать переправу чрез Снежную.

Однако же третье и последнее посещение ночью зверем довело их до того, что товарищ Мустафы не выдержал этой пытки, схватил за ноги прятавшуюся около него собачонку, ударил об «лесину» и бросил медведю. Зверь тут же схватил добычу, припал к земле и стал рыча закусывать.

Когда захрустели кости несчастной собачонки в пасти зверя, Мустафа в свою очередь

не мог вынести этой кровавой закуски и, заметив, что их котелок кипит ключом, тотчас машинально схватил его с тагана за дужку, живо подкрался из-за дерева и почти бессознательно выворотил с маху весь кипяток на глаза зверя. Он заревел ужасным неистовым ревом, моментально выбросил из пасти объедки собачонки, стал кататься головой по земле и лапами царапать глаза. В это время товарищ, не потеряв присутствия духа, подскочил из-за дерева и хватил зверя топором по затылку, или по «льну», как говорят сибиряки. Мустафа же, видя эту штуку, бросил котелок, подскочил с другой стороны и всадил свой ножик под левую лопатку.

Дело кончилось тем, что медведь скоро пропал от этих ужасных ран и достался мясным трофеем голодующим товарищам...

— Неужели это правда? — спросил я Мустафу.

Он ужасно обиделся за этот неожиданный вопрос, ударил себя в грудь кулаком, потом поднял руку кверху и с особенной набожностью, почти со слезами на глазах, сказал, поднимаясь на ноги: «Аллах!.. Аллах!..»

Мне стало ужасно неловко, и я дружески сказал Мустафе:

— Ну полно, Мустафа! Не обижайся, пожалуйста! Я не то чтобы не верил тебе, — нет, а такой случай редок, и мне хотелось узнать истину.

— Верь, барина, что черкес никогда не врет своя кунаку (другу). Она рубит ганжалом, стреляет гяура, но тебе говорит правду. Мая товарищ и теперь здесь, спроси, коли надо, его... Он наша мулла!.. Магомет никогда не врет...

— Полно же, полно! Не обижайся, пожалуйста, Мустафа! А вот если ты кунак, то дай руку и покурим вместе.

Тут я выдернул из кармана папиросницу, вынул две папиросы и одну подал Мустафе. Он снял папаху, взял папиросу и крепко, крепко потряс мою руку.

— Ну хорошо, друг! Теперь садись и доскажи мне уж до конца.

Все время внимательно слушавший Павлуцкий и не проронивший ни одного слова тут же подал руку черкесу и, потянув его садиться, тихо сказал ему:

— Верю, брат, что ты говоришь правду. Я слышал не раз подобные штуки, а потому не сердись и скажи нам, чем же все это кончилось? Неужели вы, черкесы, не перешли через Снежную?

Мустафа успокоился, сел опять к огню и объяснил, что на другой день они нарезали мяса медведя, сварили в котелке, а часть подсушили (подвялили) на солнечном припеке. К вечеру вода в Снежной спала, они собрались и, плотно закусивши, отыскивали потише и поменьше место в речке, а затем положили в свои хотули тяжелые камни пуда по три, надели на плечи и, вооружившись длинными крепкими шестами, поддерживая друг друга за руку, благополучно перешли Снежную...

Но через неделю их поймали в каком-то селении и сдали полиции. Их снова отправили по этапам, и они пришли в каторгу...

Мы уснули. На другой день еще много набили рябчиков, нашли один выводок глухарей и с полными мешками, кой-как, усталые, добрались до Шахтамы.

Через несколько дней пришел ко мне Павлуцкий и тихонько сказал, что он дружески

заманил к себе муллу и осторожно навел его на событие, переданное нам Мустафой. Мулла подтвердил почти дословно весь рассказ своего товарища и сказал, что он и теперь молит Магомета о их спасении.

В конце августа я получил предписание немедленно явиться в Нерчинский завод с тем, чтоб приготовиться к таежной экскурсии и отправиться на розыски золота, в помощь господину А-у. (См. «Бальджа», янв. 1885 г., журн. «Природа и охота».).

Явившись в Нерчинский завод, я неожиданно получил с почты «страховое» письмо, на котором знакомой рукой было написано «до востребования». Еще не распечатывая послания, я почувствовал томное, как бы щемящее биение сердца, и слезы сами собой горячо потекли по моим щекам...

Нужно ли говорить о том, что письмо это было с Амура от милой Рахили, которая келейно сообщала мне, что она до сих пор не может успокоиться и забыть Зерентуя, что по прибытии на Амур исполнила данное обещание, крестилась в православие и вышла замуж, составив себе хорошую партию. Сказала

еще, что теперь зовут ее Верой Александров-  
ной, но настоящей своей фамилии не сообще-  
ла и просила не разузнавать о ней, а заклю-  
чила тем, что она сердечно помнит меня, по-  
сылает мне последний горячий поцелуй и на  
днях едет с мужем и матерью «далее»... Моло-  
дость, молодость! Мог ли я думать о том, что,  
поплакав о Верочке, я чрез какой-нибудь ме-  
сяц встречу замечательную красавицу Зару и  
поплачу о ней еще душевнее и сердечнее!..

# Кара

*Посвящается собрату по оружию, уважаемому Евгению Тимофеевичу Смирнову*

*Есть в жизни минуты, читатель,  
такие,  
Что ты иль хохочешь, иль плачешь  
сердечно,  
В них юмор, и горечь, и слезы людские,  
А душу лелеют и помнишь их вечно!..*

## I

Позднее осенью 1857 года, «благодаря» в Култуминском руднике Нерчинского края, я вдруг совершенно неожиданно получил предписание сдать рудник назначенному преемнику, г-ну Бильдзюкевичу, и отправиться на Карийские золотые прииски, чтоб принять управление Верхнего промысла.

Получив такое предложение, я сначала совершенно опешил. Слезы поминутно навер-

тывались на глаза, и я не знал, что мне делать: то ли поупрямиться и протестовать, то ли просить начальство об изменении этого распоряжения, то ли, наконец, смириться, собираться и ехать, а ехать из благословенной Аркадии в патентованную каторгу мне было не по душе и не по сердцу... Перечитав несколько раз приказ о своем перемещении и волнуясь с головы до пят, я немедленно послал за своим приятелем, Павлом Елизаровичем Черемных, и просил его навестить меня. (См. «Култума».)

По счастью, он был дома, а потому тотчас пришел ко мне с сияющей физиономией, воображая, что я, вздумав ехать на охоту, приглашаю его с собою.

— Прощайте, милейший Павел Елизарович, прощайте! — говорил я, невольно дрогнувши от подступающих слез и волнения.

Лицо моего приятеля как-то вдруг вытянулось, глаза сделались больше, а на лбу и у носа появились вопросительные складки.

— Что? Что такое случилось? — говорил он, беря меня обеими руками за мою широкую длань. — Уж не помирать ли собирае-

тесь? — продолжал он, как бы думая пошутить.

— Ну нет, Павел Елизарыч, умирать не умирать, а все-таки прощайте!

— Да что такое, в самом деле, за притча? Поясните, пожалуйста.

— А вот, батенька, получил указ о переводе, прочитайте-ка.

Черемных взял бумагу, подошел к окну и, пробежав предложение, сначала почмокал губами, а потом, отвернувшись, положил его на стол и задумался, не взглянув на меня, видимо, он стеснялся того, что на его глазах навертывались слезы, которые он хотел скрыть.

— Ну что? — спросил я, невольно утирая платком веки.

— А что вам сказать, Александр Александрович! На все воля господня и распоряжение начальства, значит, надо сдавать управление и ехать, тут ничего не поделаешь, — сказал он как-то внушительно.

— А я хотел бы протестовать или проситься, чтоб оставили здесь, потому что ужасно как нежелательно служить на каторге. Я знаю ее по Шахтаме, и сердце мое не лежит к

этим карающим человека работам.

— Ну что делать, вы еще молоды, только что начинаете службу, а потому и неловко идти против воли начальства, — говорил, соблезнуя, Черемных и вместе с тем безапелляционно разводил руками.

Долго еще просидели мы с ним у стола и проговорили на эту тему. Конечно, я хорошо видел грусть Павла Елизарыча, но и не меньше того понимал, что опытный служака, говоря правду, как отец сыну, желает мне одного добра.

Но вот скрипнула входная дверь немудрой приставской квартиры, и в комнату вошли два приземистых геркулеса — братья Шестопаловы, мои подчиненные по управлению и искренние друзья по охоте. Они тихо, но размашисто помолились на передний угол, затем поклонились и, запихнув большие пальцы за пояски, «утимились» (воззрились, уставились) на меня.

— Здравствуйте, Шестопаловы! Что скажете хорошенького? — приветствовал я их, подходя поздороваться.

— Да сколь много хорошего, барин, что те-

бя от нас убирают? — сказал старший, Николай Степанович.

— А мы только сейчас услышали от конторских да вот и пошли проведать к твоему благородию, — проговорил в нос от душивших слез веселый Егорушка.

— Что делать, ребяташки, верно, не судьба еще послужить с вами, придется проститься.

— Эка ты втора! А мы только привыкли, обжились. Теперь как без тебя будем? — сказал с расстановкой и осовело поглядывая Николай Степаныч.

— Теперь и девки-то по тебе голосить станут, некому будет миленьких угощать на вечерках, — ввернул, шутя, Егорушка, неподдельно осклабившись.

— Ну, ничего, братцы: жили вы без меня раньше, проживете и теперь. А вот о ваших хорошеньких култумянках мне действительно потужить стоит, — там их не будет. А потому скажи им, Егорушка, чтоб собрали хорошую «вечерку» (посиделку) да приходили прощаться, а я их угощу по-приятельски...

Да, а говоря это, хотя и в шутливом тоне, крепко щемило мое сердце, и мне все-таки

менять прелестную Култуму на каторгу было крайне тяжело и не хотелось. Но волей-неволей приходилось мириться с назначением, а когда окончилась моя сдача, то, скрепя сердце, проститься с друзьями и ехать.

Никогда я не забуду того дня, когда в час моего отъезда почти все жители Култумы, старые и молодые, придя проститься со мною, запрудили собою не только комнаты, двор, но даже часть широкой улицы против моего дома. А сколько простых, но искренне братских пожеланий слышалось из толпы и сколько прелестных головок торчало из-за широких плеч мужчин, только молча и плутовски мило выражавших свое «прости», после задушевных песен да всевозможных русских игр с неизбежными горячими поцелуями на последней вечерке...

Бойкая сибирская тройка едва вывезла меня из двора сквозь сгрудившийся народ, который, цепляясь по отводинам кошевы, сильно тормозил экипаж. Но вот среди подбрасываемых кверху рукавиц, шапок и криков добрых искренних пожеланий кони вырвались на свободу, ямщик мастерски свистнул, коло-

кольчики слились в металлический дребезг, и я, с неизменным своим денщиком Михаилом, поднимая столбы снежной пыли да теряя по улице прилепившихся к кошеве провожатых, покатыл по широкой каторжанской дороге.

Сзади меня на особой лихой тройке неслись Черемных и Шестопаловы, которые непременно хотели проводить меня до первой станции и еще хоть раз угостить чаем...

Много воды утекло с тех пор, многое изменилось во многом, но я и до сего дня не могу без слез вспомнить этот выезд из патриархальной в то время Култумы, это огульное братское прощание целого населения, эту неподдельную любовь и доверие русского народа.

## II

С грустной душой да наболевшим сердцем приехал я перед вечером на Верхнекарийский промысел. Большой семейный дом приставы был хорошо вытоплен, подбелен, вымыт, но почти совершенно пуст, и только благодаря внимательности моего предместника, уважаемого старика Якова Семеновича Ко-

стылева, в нем я обрел два небольших столика, два крашенных стула да плохонькую деревянную кровать.

Не прошло и десяти минут, как ко мне явились все мои будущие сослуживцы и подчиненные, чтоб, представившись лично, познакомиться с новым приставом. Заторопившийся при доме сторож принес воткнутую в портерную бутылку сальную свечку и тускло осветил приемную комнату. Пришлось, извинившись перед явившимися сослуживцами, принять их «на ногах», а утром самому надеть мундир да ехать к управляющему Карийским округом, капитану Ивану Ивановичу Кокарову, который жил в резиденции управления, на Среднекарийском золотом промысле.

После приема управления Верхнего и первого знакомства с работами и подчиненными мне «служащими чинами» меня ужасно озаботила тюрьма, в которой считалось до 700 человек ссыльнокаторжных арестантов, которыми ближайше заведовал еще молодой человек и неопытный служака, зять моего приятеля Павла Елизаровича, тот самый, который

недавно женился на известной читателю «Природы и охоты» бедовой Наташе, той очаровательной брюнетке, которая сводила с ума култуминских юношей и в честь которой, на речке Газимуре, брод, пониже Култуминского спуска, получил название Наташина брода...

Чтоб познакомить читателя с Карийскими золотыми промыслами, необходимо сделать хоть маленькое описание этой местности далекого Нерчинского края, — местности, где волею судеб явились довольно обширные селения и куда с 1830-х годов пробился торный путь на широкую каторгу. Много полубритых человеческих голов с обезображенными клеймами лицами, с рваными «норками» (ноздрями) и с бубновыми тузами на спине прошло по этой дорожке, под общим именем «несчастных». Много этих пасынков природы погибло и погребено в вечно мерзлой почве этого края; много бежало чрез дебри по неизмеримым таежным тропинкам, но как относительно мало разошлось обратно на поселение по беспредельной Сибири... Сколько горючих слез оросило этот широкий каторжанский путь, сколько рухнуло радужных на-

дежд у желающих по нему возвратиться, и сколько зверских мыслей зародилось у людей, жаждущих мщениа да проклинающих не только судьбу, их породившую, но и тот день, в который они одинаково безвинными младенцами появились на свет божий.

Карийские золотые промысла разбиты в трех пунктах по таежной речке Каре, впадающей с левой стороны в реку Шилку, в 15 верстах пониже Шилкинского завода, а в 15 верстах выше устья реки Кары стоит первый Нижнекарийский промысел. Далее, на пять верст выше его, расположен Средний, а еще далее, на четыре версты к северу, — Верхний.

Все эти три промысла построены по левому солнюпечному берегу речки и все имеют общий характер заселения золотых приисков Нерчинского края, ничем не отличаясь, кроме некоторых частныхей, от Шахтамы, уже описанной мною.

Вся местность Кары не может похвастаться красотами природы, и только кое-где на выдающихся сопках она ласкает глаз, любящий таежные пейзажи. Конечно, с начала заселения карийская природа имела свои ха-

раактерные достоинства. Но потом, когда вырубил окружающий лес и повсюду появились одни комолые пни, то вся картина Кары сделалась крайне непривлекательной. Только со временем в некоторых местах поднявшаяся молодая поросль, разбившись красивыми группами по окрестным горам и старым промысловым работам, хоть несколько стала освежать и разнообразить общую панораму своей приятной темной зеленью хвойного леса, изредка перемежавшегося с березой, ольхой, черемухой да с мелким кустарником.

Все три промысловские селения, расположенные довольно широко по отлогим покатолям гор, правильным амфитеатром спускаются до рубежа долины, где уже раскинуты приисковые работы, то есть настроены золотопромывальные машины, проведены водопроводные русла, запружены плотины, перекинуты мостовые перемычки через канавы и пробиты тысячи шурфов в сохранившихся целиках золотоносной долины.

На Среднекарийском промысле находился центр управления всех Карийских промыс-

лов. Тут жил управляющий округом, помещались главная контора, церковь и большая центральная тюрьма — этот первый приют пришедших в каторгу несчастных. Тут новички знакомились со своими товарищами по заключению, впервые испытывали всю тяжесть далекой каторги, отсюда распределялись по другим тюрьмам и тут осваивались с тем понятием, что здесь конец «владимирки» — этого бесконечного пути по бесконечной Сибири. Они хорошо понимали и то, что тут последний верстовой столб, который говорит им о том, что это предел их тяжелого путешествия: далее, мол, идут одни тропы по безграничной тайге; смиритесь, взвесьте свои проступки, сочтите те тысячи верст, которые вы прошагали за конвоем по смердящим этапам, и нет вам возврата на милую родину, не увидите вы более на сем свете ни своих отцов, ни матерей, ни близких сердцу и друзей — все они далеко-далеко остались за вами, несчастные пасынки! Нет, не увидят и они ваших слез, которые вырвутся неистовым воплем из груди от тяжелых страданий... Это было одной из главных причин, что осуж-

денные люди теряли единственную нить, связывающую их со всем дорогим сердцу человека, еще более ожесточало огрубевшие нервы да нередко побуждало несчастных на новые преступления...

На Нижнекарийском промысле помещался главный и общий лазарет, куда отправлялись заболевшие со всех остальных приисков этого округа. Тут жил доктор со своим помощником и находилось поместительное кладбище, с миром ютившее тысячи жертв пришлого люда.

Только один Верхнекарийский промысел не имел ничего общего и жил своей особой жизнью, держась своих преданий да особо усвоившихся понятий о жизни на каторге. Тот из несчастных, который однажды попал на Верхний, уже редко переводился на другие промысла. Тут он обыкновенно оканчивал свою кару, получая свободу поселенца, или же, не вытерпев срока заключения, бежал в прилежащую тайгу. Однако же, несмотря на эту близость последней, тут побегии случались гораздо реже, сравнительно с другими промыслами: самая тюрьма как-то более по-

ходила на мирное общественное жилище, а люди жили в ней дружнее, не делая выдающихся преступлений. Выбирая хороших старшин и артельщиков, они втихомолку, своим судом, взыскивали с виновных, а имея в запасе артельную сумму, ели вкуснее и сытнее, что в общем имело громадное влияние на каждого арестанта: всякий дорожил своим помещением, почему крайне неохотно не только переселялся в казематы на другие промысла, но даже отправлялся в лазарет по назначению местного фельдшера...

Тут кстати будет сказать, что все Карийские промысла, вообще сокращенно обыкновенно называли Карой, так что подробный адрес писался только на «бумагах», а вообще говорилось так: поехал на Кару, был на Каре, а в частности промысла именовались еще проще: Верхним, Средним и Нижним.

Поместившись в большом семейном доме, я, как холостой тогда еще человек, занимал только две комнаты, из которых одна служила мне спальней, а другая приемной и столовой. Остальные же две, оставаясь пустыми, заменяли мне домашний тир: в них я почти

ежедневно, в свободное от занятий время, стрелял по разнообразным мишеням из пистолета, а пользуясь анфиладой четырех помещений, частенько практиковался стрельбой из штуцера самыми маленькими зарядами и дошел до такого совершенства, что безошибочно попадал в крохотную скважину, которая служила отверстием для железного болта от наружного ставня у окна и днем обыкновенно светила круглым пятнышком. Все пули свободно пролетали в отверстие скважинки, впивались в стену амбара, тут же стоящего во дворе, и редкий раз только чуточку задевали кромочки кругленькой дырочки, отчего она, рт времени все-таки сделавшись несколько пошире, обращала на себя внимание моих посетителей.

Водворившись на Верхнем промысле, я скоро познакомился со стариком Дмитрием Кудрявцевым, страстным охотником и хорошим зверопромышленником, который, окончив срок обязательной службы «бергала», то есть горнорабочего, был уже в отставке на Верхнем промысле, имел свой дом, порядочное хозяйство и занимался преимущественно

охотой, которая с избытком кормила его со старухой и оставляла про запас на случай черного дня или беспомощной старости.

Про эту замечательную и в своем роде эксцентричную личность я уже говорил в своих записках, в статье «Сломанная сошка», а потому нет надобности повторяться.

Кудрявцев почти вполне заменил мне милейшего Павла Елизарыча и, сдружившись со мною, нашел во мне хорошего помощника как в материальном отношении, так и в сотовариществе на охоте. Вся беда моя состояла только в том, что я по делам службы не мог часто ездить с ним в тайгу, а потому, насколько не задерживая его частовременных экскурсий, нередко болел сердцем о том, что не имел возможности сопутствовать этому Немвроду. Зато всякий раз, как только старик бывал дома, он непременно по вечерам заходил ко мне, рассказывал о своих удачах и неудачах и сговаривался, куда и как отправиться, если мне представлялся случай съездить с ним поохотиться.

А много угрюмой тайги искрестил я под руководством этого опытного зверовщика и

немало зимних и летних ночей скоротал с ним под открытым небом у небольшого огонька и походного чайника.

Сколько диких коз перебили мы с ним из винтовок и наловили в пасти и ямы в первую же зиму моего служения на Каре. А когда пришла весна, то частенько ездили по утрам и вечерам на глухариные тока, что, нисколько не мешая служебным занятиям, было лучшим моим развлечением при жизни на каторге. Многие сотоварищи по службе, проводившие вечера за картами, неоднократно журили меня за то, что я, не участвуя в их компании, предпочитал за лучшее проводить это время на охоте или в беседе с Кудрявцевым, который помогал мне своими поведованиями при собирании материалов для будущих записок.

От Кудрявцева я приобрел прирученного дикого козла, молодого «гурашка», и это милое, умное животное частенько развлекало мое одиночество. Я назвал его Васькой, и гурашек скоро усвоил эту кличку, так как, являясь ко мне по первому зову, всегда получал за это какой-нибудь лакомый кусочек, а ел он

почти всё и в особенности любил молоко и пшеничные или крупчатые сухарики. Мой охотничий пес, знаменитый Танкред, несмотря на свою свирепость на охоте, жил с козлом в большой дружбе. Он нередко играл с ним и часто облизывал ему глаза и мордочку, особенно после того, как козел выпивал свою порцию молока. Зачастую случалось и так, что Васька ложился на тюфяк собаки. Тогда Танкред преспокойно умащивался на его длинные ножки и сживал с места своего приятеля. Если же Ваське приходила фантазия полежать вместе с почивающим уже псом, то козел начинал тихо бодать его еще безрогим лбом, чем выводил Танкрета из терпения, так что тот обыкновенно старался грозно ворчать, но все-таки кончал тем, что уступал тюфяк козлу и уходил куда-нибудь в сторону, «не задирался», как говорил Кудрявцев.

Смешно бывало смотреть, как приятели разыграются между собою на дворе и начнут ловить друг друга. Сколько в этой игре совершенно разнородных животных наблюдалось грации, легкости движений, ловкости, сметливости и прямо логического соображения.

Если Танкреду удавалось обмануть и настигнуть козла, то он обыкновенно налетал на него грудью и нередко сшибал с ног прозевавшего Ваську; если же последнему приходилось надуть собаку, то он большей частью грациозно перескакивал через Танкреда и снова свертывал в сторону, удирая от преследования, а иногда самодовольно останавливался в позе победителя и поднимался на дыбки, чтоб отразить могущее быть нападение.

В комнате я им шалить не позволял, потому что козел, по тесноте места, заскакивал на подоконники, столы, а на крашеном полу его копытца раскатывались, и он падал, так что легко могло кончиться тем, что Васька или убьется, или сломает себе ноги.

И Танкред очень хорошо понимал это запрещение и, если замечал поползновение Васьки подурить, тотчас забивался под диван или кровать и хладнокровно переносил вызов козла на поединок, который обыкновенно становился перед собакой, заглядывал под мебель, фырчал и бил копытцем по полу. Однажды я стегнул Ваську за назойливый вызов

плеткой, он тотчас ускокнул от собаки, выбросил несколько шариков помета и с испуга упрыгнул на мою кровать, а затем зачихал голову под подушку и пролежал в таком положении не менее десяти минут.

Вообще же я заметил, что, несмотря на почти одинаковое обращение человека с животными, умственные способности козла далеко уступали таким же способностям собаки. Она понимала почти каждое слово, мимику, тон речи и прочее, а все это для Васьки было недоступно: он как бы заучивал только некоторые слова и не мог понять даже того, когда его настойчиво приучали к чистоте поведения. Так, например, никаким способом не просился за надобностью, не отличал своих от чужих и прочее. Так что уже при поверхностном наблюдении нельзя было не видеть такой резкой разницы в развитии понимания. И едва ли это не общий недостаток у всех копытчатых, за исключением лошади, при сравнении с лапчатыми животными?..

В один из масленичных праздников я с утра уехал из дома и сказал Михаиле, что не вернусь до вечера. Но судьба распорядилась

моим временем иначе, так что мне пришлось воротиться домой около обеда. На беду, мой неизменный денщик маленько кутнул с товарищами, а под влиянием Бахуса он запер комнаты на замок, отдал ключ сторожу и ушел в гости. Все, конечно, ничего, но дело в том, что он в комнатах запер Танкреда и Ваську, которые, просидев под арестом более шести часов, вероятно, соскучились и, выйдя из терпения, начали караулить мой приезд, а потому оба, заскочив на мой письменный стол, стали смотреть в открытую форточку.

Каково же было мое удивление, когда я, проезжая мимо своей квартиры, заметил с улицы, что оба мои приятеля стоят на столе. Увидав меня, они тотчас высунули головы в форточку, затем соскочили и бросились к дверям. Войдя в кабинет, я был поражен тем беспорядком, который царил на моем рабочем столе: все бумаги были сбиты со своих мест, некоторые залиты чернилами и изжеваны козлом, а часть их, в том же ужасном виде, валялась на полу. По всему столу были размазаны чернила из опрокинутой чернильницы и смешаны с рассыпанным песком и козьими

шариками...

Этот курьезный случай заставил меня изгнать совсем Ваську из комнаты и поселить во дворе, откуда он повадился прогуливаться в близлежащие кусты по старым выработкам, где его однажды поймали чьи-то зверовые собаки и задавили.

### III

Я уже где-то упоминал в своих записках, что бывший генерал-губернатор Восточной Сибири граф Муравьев-Амурский заведовал отчасти и горным ведомством Нерчинского края. Эта замечательная, крайне энергичная, выдающаяся и не менее того эксцентричная личность вообще недолюбливала горный мир.

Что Муравьев был в своем роде эксцентричной личностью, то этому служат многочисленные примеры его гнева на Амуре при первых экспедициях в этот край, когда он, например, высадил с баржи одного офицера (кажется г. Бурачка) на совершенно необитаемый остров, а затем уплыл со всей речной эскадрой вниз по Амуре. Только на другой день, по просьбе товарищей высаженного, он, смяг-

чившись, послал за ним катер, который и привез осужденного. Очевидцы рассказывали еще более эксцентричные вспышки амурского завоевателя, но довольно и этих, чтоб судить об этой замечательной личности и, снисходя ее слабостям, усматривать в этой особе действительно высокие достоинства и дарования великого деятеля.

Муравьев почему-то полагал, что все горные наживаются незаконным путем, а потому старательно подыскивал такого человека, который бы знал горное дело на практике. Такую личность нашел он в лице отставного горного чиновника Артемия Матвеевича Крюкова, который когда-то был советником Нерчинского горного правления. Вскоре после своего назначения чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Крюков был командирован строжайше обревизовать Усольский солеваренный завод, находящийся неподалеку от Иркутска. И вот с особенным полномочием Артемий Матвеевич, уже прославившийся следствием в Баргузине и своим крупным разговором с Муравьевым, которому донесли, что его доверенный чиновник

взял взятку с баргузинского исправника, явился грозным судьей в это злачное место. С свойственной ему энергией принялся он за всю «подноготную» и в несколько недель, что называется, разнес в пух и прах все управление, добравшись до самых ногтей той злополучной гидры, которая зовется на официальном языке злоупотреблением.

Торжествуя, выехал Крюков из вывернутого им наизнанку завода и явился с особым докладом к Муравьеву. Тот, поблагодарив его за услугу, тотчас сделал распоряжение, чтоб после погрома немедленно сменить всех виновников и взыскать с них по достоинству, а все разоблачения Крюкова опубликовать циркулярно по всем местам, состоящим в ведении генерал-губернатора, со всеми последствиями возмездия за оказавшиеся злоупотребления.

Понятное дело, что такие циркуляры прилетели и в Нерчинский завод, откуда немедленно были разосланы по всем местам управления горного мира. Еще понятнее и то, что мы, получив такие подробные фолианты и зная взгляд Муравьева на горных, тотчас пришли к тому заключению, что в недалеком бу-

дущем г. Крюков, конечно, заявится в гости и в наши отдаленные Палестины. Но только поговорили да на том и покончили, так как все мы хорошо знали, что никаких особых злоупотреблений за нами не существовало и потому ничем не подготовлялись к встрече такого дорогого гостя, а затем то ли по беспечности, то ли по молодости и неопытности совсем даже забыли о предупредительных циркулярах.

Так, например, что касается меня лично, то я по-прежнему вел дружеские беседы с Кудрявцевым, ездил с ним в свободное время за козулями, за рябчиками и бил глухарей на токах. Хотя весна еще только что начиналась, но время стояло теплое, и карийская природа точно торопилась сбросить с себя снеговой саван, чтоб, поскорее вздохнув по-весеннему, обогреть припекающим солнышком.

Тут кстати будет сказать, что на Карийских промыслах служащих лиц было немало, из чего составлялось порядочное общество, которое, живя между собою братски, по возможности пользовалось простыми дружескими отношениями. Все именины, проводины,

крестины и даже похороны как праздновались, так и оплакивались как-то огульно, но нельзя сказать, чтобы карийцы в этих случаях придерживались особых правил русской грамматики, по которой все имена существительные, кончающиеся на «ны» требуют «попойки», исключая слова «штаны», которые после употребления просят «починки». Нет, у нас этого правила не соблюдали, пили помаленьку, зато в отчетности придерживались последнего исключения.

В то время на всей Каре нас, горных инженеров, было только трое: управляющий округом капитан Ив. Ив. Кок-аров, пристав Среднего промысла Вас. Васил. Кобылий и я. Первый был старше меня по выпуску из корпуса лет на десять, а второй — мой однокашник, товарищ по скамейке. С ним я был в дружеских отношениях и жил истинно по-братски, мы даже называли друг друга по корпусным кличкам: я его — Васькой, а он меня Мамкой.

Увы! В нынешний век, кажется, уже не существует таких простых, приятельских отношений даже и между товарищами по выпуску. Нет, ныне, сколько я заметил, многие со-

воспитанники одного и того же заведения, часто совершенно не зная друг друга, как-то с особенной изысканностью говорят между собою на «вы», а в трудных обстоятельствах жизни они не только не помогают друг другу последней рубахой, но стараются даже с особой ловкостью подставить один другому ножку. Кто знает, может быть, это и хорошо, и современно, только по моему старому понятию, мне все кажется, что дело от этого нисколько не выгорает, а наше обширное отечество не крепнет, да и экономический его быт не процветает. Мне все еще сдается, что слово «ты», в известных условиях жизни, лучше скрепляло людские отношения и навевало неподдельное братство. Вот ныне и тому же первобытному мужичку говоришь «вы», а он, не понимая этого уважения, словно нарочно, тут же старается «оплести» тебя по последнему способу, хотя этого он прежде не делал и похристиански относился к своему слову и делу. А как взглянешь в коммерцию, так право волоса «пухнут», как говорят сибиряки. Бывало, купцы говорили между собою на «ты» и верили друг другу на десятки тысяч без всяких

расписок, на одно честное слово, а ныне они вежливо «повыкают», составят десятки документов и, глядишь, непременно друг друга надуют. Тот же прогресс, к сожалению, замечается теперь и между зверопромышленниками, а Кудрявцевы уже составляют тип вымирающий, который словно тает с лица земли русской...

Действительно, в описываемое мною время простота сибирских нравов и взаимного доверия доходила до какой-то уважаемой наивности, если можно так выразиться. Примеры подобных отношений я уже неоднократно описывал и теперь к случаю остановлюсь на том, что на Верхний промысел, обыкновенно к рождеству, выходили из тайги, иногда за сотни верст, местные аборигены этого северного полесья, носящие племенное название «орочон». В это время они, вынося все свои трофеи от звериного промысла, сдавали их старику Кудрявцеву, который держал с ними так называемый бальджор.

Эта простая штука заключалась в том, что Кудрявцев в известное время снабжал своих друзей — орочон — всевозможными припаса-

ми, необходимыми для их суровой жизни. Он отдавал им муку, сухари, соль, крупу, кирпичный чай, дабу или сарпинку (для рубах), медные котелки или чайники, свинец и порох. Ороконы же, получая припасы и вещи, обязывались, ничего не утаивая, доставлять ему всю пушнину, то есть все шкуры убитых зверей. Самое слово «бальджор» собственно означало эту мену и условие в назначении места, где свидеться договаривающимся.

Если, например, орокону неудобно выбраться на оленях из далекой тайги, то он назначал на какой-нибудь речке приметное место и обязательно выходил туда к определенному сроку, для чего, на всякий случай, полагалась при заключении договора отсрочка на несколько дней. Если бальджор назначался таким образом, то дающий припасы и вещи обязан был уже сам ехать на известное место и вновь везти все выговоренное туземцем на следующий бальджор. Если же в назначенный срок тот или другой не явился по каким-либо уважительным причинам, то первый, пришедший к пункту должен был его дожидаться. В случае болезни или смерти одно-

го из держащих бальджор обыкновенно выезжают их доверенные или родственники.

Так однажды было с Кудрявцевым: его бальджорного орочона задавил медведь, тогда на Кару выехал его зять, привез всю пушнину тестя и уже сам заключил новый договор с Кудрявцевым.

Конечно, никаких письменных документов при бальджорах никогда не существовало, верилось одному слову, и ошибки почти не выходило. Ороконы считали удобным получать припасы и вещи из ближайших мест оседлого населения, а заимодавцы находили выгоду в приобретаемой пушнине.

Вообще при бальджорах существовало такое правило, что все съедобное от убоины идет в пользу орочона, а из пушнины исключается ясак (подать мехами) и те шкуры, которые необходимы для его одежды, все же остальное должно составлять принадлежность заимодавца. Конечно, тут много значит счастье промысла, местность тайги, деятельность туземца, а главное — его добросовестность, чем ороконы и отличались в старое время. Если замечался обман, который рано

или поздно всегда обнаруживался, тогда такой негодяй становился известным по всей окрестной тайге на сотни верст и с ним уже никто не держал больше бальджора.

Это ли еще не простота и не взаимное доверие людей чуть не полудиких и почему подобных отношений нет и не может быть между цивилизованным людом?..

#### IV

Дружно и относительно довольно весело проводили мы пасхальные праздники 1857 года. По установившемуся местному обычаю, в первый день пасхи все съезжались на Средний промысел, являлись с поздравлением к начальству, а затем визитировали ко всем служащим, проживающим в этом уголке Кары. Вечером все снова собирались у управляющего округом и, по обыкновению, или картежничали, или проводили время на беседах. Второй день праздновали на Нижнем, третий на Верхнем и четвертый на Лунжанкинском промысле, который, находясь в семи верстах к востоку от Нижнего, состоял в ведении того же управляющего Карийским округом.

Забыв о существовании какого-то юса Крю-

кова, мы веселились по-своему как в комнатах у пасхальной закуски, за зеленым столом, любезничая с молодыми барынями и девицами, так и на улице, составляя хороводы, горелки и прочие игры, потому что погода стояла превосходная, а ранняя весна оживляла всех присутствующих. Знаменитый хор песенников, конечно с Шиловым во главе, заливался у дома управляющего, почему масса слушающей публики теснилась около его сада, одобряя песенников и смотря на играющих.

На третий день праздника вся честная компания, по обыкновению, заявила на Верхний и собралась к обеду ко мне, чтоб закусить «купоросными» щами и провести вечер... Все мои «апартаменты» были приведены в порядок, собрана от знакомых всевозможная мебель, посуда, сервировка, и большой стол с яствами стоял уже в зале, в моем, так сказать, тире, а приятно щекотавший запах кушаньев возбуждал аппетит. Все мы, собравшись группами, толковали о разных разностях и треволнениях жизни. Потом, выпив по рюмке, кому что любо, принялись за «пан-

тюшкину» похлебку.

Как вдруг в столовую, без всякого доклада, почти вбежал нарочный казак и, запыхавшись, объявил управляющему, г. Кок-рову, что сейчас на Средний приехал от генерал-губернатора ревизор и требует его к себе.

— Крюков!.. Крюков!! — почти закричали все присутствующие в один голос.

— Да... Крюков!.. Вероятно, он! — проговорил Иван Иванович, побледнел как полотно, и поставил тарелку со щами на окно, где лежали набросанные фуражки.

Одна эта неловкость уже ясно показывала всем, что наш ментор струсил и совершенно растерялся.

— Да кто такой ревизор-то? — спросил я нарочного. — Крюков, что ли?

— Точно так, ваше благородие! Должно быть, они-с.

— Ну не вовремя пожаловал, чтоб его язвило! — сорвалось у меня невольно.

— Тише вы! — шепнул мне Костылев и подтолкнул сзади.

Иван Иванович тотчас заторопился, едва нашел свою фуражку и стал собираться.

— Да плюньте вы на Крюкова, сначала пообедайте да тогда уж и поезжайте, — уговаривал я свое начальство.

— Н...нет... нет! Как это можно! — говорил Кок-аров и, пихнув мне руку, побежал к экипажу.

Я, отправившись его провожать, уже больше не уговаривал, потому что убедился в том, что если б в настоящую минуту насильно затолкать ему кусок в рот, то и тот был бы выброшен, если не им, то его возбужденной натурой. Лицо потрясенного Ивана Ивановича как-то съежилось, сморщилось, а его объемистая лысина покраснела, сделалась точно отполированной и особенно лоснилась. Вся его тощая фигурка как-то принужденно сгорбилась, а гладко выбритый подбородок точно посинел и отвис.

Проводив его, я вернулся к своей тарелке и заметил, что многих из моих гостей уже не было в столовой, а другие, побросав ложки, только что собирались откланяться.

— Ну, а вы, господа, куда же? Ведь вас не требуют, — говорил я, отбирая из рук шапки.

Но эта мера не помогла, потому что неко-

торые все-таки оставили обед и уехали, толкуя о том, что ревизор может потребовать их для каких-нибудь справок.

Дело кончилось тем, что мы пообедали только втроем: у меня остались мой предместник обер-штейгер Костылев да мой приятель Кобылин.

— Ловко же напужал всех г. К., — сказал посмеиваясь Яков Семенович, уписывая жирный кусок окорока.

— Ну пусть уехал Иван Иванович, — это еще понятно, а остальные-то почему разбежались? — толковал мой милейший Васька.

— А вот поживите подольше, так и не будете спрашивать, — заметил Костылев, хитро и лукаво посматривая из-под старых и нависших бровей.

— Верно, натура коротка, да душа шатовата, — сказал я как-то невольно.

— Аа! Вот вы верно раскусили! — снова заметил уважаемый старик и хитро подмигнул мне вполглаза.

Эта много говорящая мимика карийского старожилы объяснила мне многое, и я тут же принял ее к сведению, а впоследствии убе-

дился на деле, что Костылев был тысячу раз прав и мои сорвавшиеся слова вылетели даром...

Вечером снова прискакал тот же казак «нарочным» и передал, что меня немедленно требует к себе управляющий.

Я тотчас надел форменный с эполетами сюртук и вместе со своими гостями поехал на Средний. Явившись к Ивану Ивановичу, я спросил, зачем меня нужно.

— А вот постоит маленько, не торопитесь, дайте сначала поговорить, а потом и за дело.

— Ну что же, видели К.?

— Видел. Сначала он был у меня, а потом я заезжал к нему.

— Что же? Какова птичка?

— Большая! А в предписании ко мне сказано, что все требования К. исполнить немедленно и беспрекословно.

— Гм! Вот как?

— Да-а-с! Шутить с ним нельзя-с! А, говорит, знаете, так, — что твоя бритва.

— Ну-с, хорошо, а если К. будет требовать невозможного или противозаконного, тогда как?

— Этого, батенька, не может быть: Муравьев, не узнав человека, не беспокойтесь, не доверится зря, — говорил Иван Иванович, соскочив с места и размахивая руками. — Ну, да вы не смейтесь, я вам не шутя говорю, что птица большая.

— Ничего, будь она хоть того больше, а я незаконных требований исполнять не стану. Да и вам не советую...

Долго еще протолковал, отошедши (пришедши в себя после перепуга), Иван Иванович о силе и доблестях прогремевшего по всему Забайкалью К., а затем пристал как баный лист ко мне и просил, чтоб я сходил к ре-визору познакомиться.

— Это к чему же? — протестовал я положительно, наотрез отказываясь от такого удовольствия.

Иван Иванович сначала вскипятился, потом убеждал, что мне, как приставу Верхнего промысла, необходимо заявиться к К., тем более потому, что он спрашивал обо мне. Но, видя мою упорную настойчивость и не принимая во внимание все мои доводы, отворил письменный стол, достал запечатанный па-

кет по адресу к К. и уже официально потребовал, чтоб я самолично доставил этот конверт, а если ревизор что-нибудь спросит, то объяснил бы ему словесно. «И это касается вас», — добавил он, как бы по секрету.

Что за черт, подумал я, не понимая причины. Уж в самом деле нет ли чего-нибудь служебного, а потому волей-неволей, простившись с управляющим, пешком отправился к квартире грозного ревизора.

— Смотрите, зайдите от него ко мне, слышите, непременно зайдите! — кричал мне вслед Иван Иванович.

— Хорошо, зайду. А как его зовут? — сердито спросил я.

— Артемий Матвеевич. Забыли? — говорил он сквозь открытую дверь.

Когда я пришел к квартире К., то уже смеркалось и у него горели сальные свечи.

Как только стукнула входная дверь, К., тотчас появившись в прихожей, спросил: «Кто тут?»

Я, снимая форменное пальто, громко и отчетливо сказал:

— Пристав Верхнекарыйского промысла,

подпоручик Черкасов, пришел по приказанию управляющего передать вам пакет.

— А!.. Очень приятно, очень приятно! Милости просим, проходите, пожалуйста, не стесняйтесь, будьте как дома. Я ведь человек простой. Садитесь, пожалуйста.

Я передал пакет уже в комнате и стоял. В это время я заметил, что в соседней «горнице» кто-то ходил с ясными пуговицами и прятался за дверь, а потом на цыпочках вышел, и я слышал, как затворилась тихо припираемая дверь, выходящая в сени.

К. взял конверт, покосился в соседнюю комнату, как будто немного прислушался и, крепко пожав мне руку, почти силком посадил меня на стул к столу, на котором стоял самовар да только что начатый стакан чая. Прочитав содержимое, он как-то по-рысьи взглянул на меня, положил бумагу в боковой карман и пошел в переднюю, чтоб позвать человека.

Тут я выглядел эту «большую птицу». Она была лет пятидесяти пяти, довольно большого роста, хоть и тонкая, но плотная и бодрая. Вся бритая физиономия украшалась неприят-

но иезуитским ртом и простоквашно-беловатыми глазами, а выше больших круглых бровей клинообразный лоб соединялся с продолговатой лысиной, которую только с боков опушали русые жиденькие волосы и как бы охраняли, словно часовые в рыжеватых костюмах, большие, неприглядные уши. Серая, солдатского покроя и сукна, шинель покрывала ее тело и зловеще поглядывала старыми с гражданским гербом пуговицами.

Чем-то отталкивающим дышала вся эта «большая птица» и крайне несимпатично действовала на сердце и душу.

— Подай, братец, другой стакан, — сказал К. появившемуся человеку.

— Покорно вас благодарю, Артемий Матвеевич! Я уже пил, а мне надо торопиться домой, — сказал я, вставая.

— Нет, нет, выкушайте стаканчик и побеседуйте. А вы курите?

— Курю немного. Только вы напрасно беспокоитесь.

— Ну полноте, что за счеты, — сказал он, набил сам с черешневым чубуком трубку Жуковым табаком, подал мне и почти силой уса-

дил меня опять на стул.

— Скажите, пожалуйста, что у вас поделывается на Каре? Говорят, что здесь многие личности имеют состояние. Правда ли это? — проговорил он тихо и вкрадчиво, покуривая и не глядя на меня.

— Я ничего не знаю, Артемий Матвеевич, я здесь человек новый.

— Да, да! Я это слышал и знаю наверное, что и сам ваш управляющий не дает спуска.

— Не может быть, Артемий Матвеевич. Все, что он имеет, то получил за женой, а она урожденная богача Кандинского.

— Прибавьте — бывшего, — добавил он как бы мимоходом.

— Да, это верно, но ведь Иван Иванович тогда и женился, когда Кандинские гремели своими средствами и еще не были разорены Муравьевым, — заметил я, не подумав.

— Да-а?.. — протянул он сквозь зубы и тотчас продолжил: — А вот ваш предместник Костылев. У него, как слышно, тысяч двести лежит в сундуке и в банке.

— Всякому слуху верить нельзя, Артемий Матвеевич! Костылев человек крайне расчет-

ливый и много работал. У него и теперь несколько пар быков, которые, занимаясь постоянной перевозкой, доставляют всевозможные припасы для промыслов, а потому очень может быть, что он тысчонок десятков или полтора скопил для своей семьи. А вам, Артемий Матвеевич, с чего угодно будет начать ревизию? И потому, чтоб не задерживать, не прикажете ли приготовить необходимые сведения? — добавил я с умыслом, чтоб изменить неприятный разговор.

— Нет, я ведь не тороплюсь, успею. А скажите, пожалуйста, какое отношение вы имеете к управляющему, какой процент даете ему из прибылей по работам «загоняемыми» арестантами?

— Я вас не понимаю, Артемий Матвеевич! Арестанты, как мне хорошо известно, не отдадут даже обязательных уроков, а не только что отрабатывают излишки.

— Ну, полноте, это ведь такие невинные субсидии, что о них и говорить не стоит, да они и безгрешны.

— Уверяю вас, что ничего подобного и быть не может. Ведь вольных работ тут нет,

здесь каждый вершок на счету у рабочего — вот узнаете сами.

— Гм! Да-а!.. — пробурчал он.

— А вы, Артемий Матвеевич, когда и куда отсюда думаете отправиться? — сказал я и покраснел, сообразив, какой это глупый вопрос ревизору.

— А, право, не знаю, надоело мне под старость возиться с такими поручениями, да и это будет зависеть от вас, господа: чем откровеннее, тем скорее и лучше...

Поговорив в таком духе еще минут пять, я вдруг почувствовал, что у меня кружится голова и начинает мутить. Вероятно, причиной тому была духота в комнатке от самовара, слишком сладкий чай, выкуренная трубка Жукова табаку и внутреннее волнение. Я, видя, что дело плохо, в ту же минуту соскочил с места, сказал, что чувствую себя неловко, расстегнув сюртук, распахнул окно и меня стошнило на улицу.

— Что это с вами? Не хотите ли содовых порошков? — суетился К. и, видимо, недоумевал.

— Нет, благодарю вас, Артемий Матвеевич,

а я вот выйду на воздух, и все пройдет поменьше.

Тут я взяв шапку, торопливо простился и, выйдя на улицу и тотчас освежившись прохладным воздухом, почувствовал себя лучше, а потому зашел к управляющему, который нетерпеливо ждал меня ужинать. Но я сухо и коротенько рассказал ему весь свой неуместный визит, не мог ничего есть и уже поздно вечером отправился домой.

Меня ужасно бесил поступок Ивана Ивановича по насильной командировке к К., и мне было страшно досадно, что я не сумел отстоять себя, а послушавшись его, так глупо и бесцельно побывал у ревизора непрошеным гостем. «Что он про меня подумает? За кого принял?» — не выходило из моей отупевшей башки, и я почти всю ночь не мог уснуть.

Встав утром, словно разбитый, я принял рапорты от служащих, побывал по обыкновению в тюрьме, оделся по-праздничному и уехал с визитами на Лунжанкинский промысел.

К счастью моему, многие еще не знали о вчерашнем визите к К., а я молчал, но потом

положительно осведомился, что ревизор принял меня сначала за клеветника и наушника, а затем составил себе такое понятие, что я ничто больше, как смелый и дерзкий шпион, которого не только можно, но и должно прочесть хорошенько.

Признаться, я и теперь не понимаю той цели, с которой послал меня Кок-аров к К., в первый же день его приезда на Кару и в такое неудобное время — вечером! Бог ему судья за эту штуку, но кто знает — судьбы господы неисповедимы! Может быть, она-то и была завязкой той катастрофы, которая разыгралась впоследствии.

## V

Вот уже прошло около трех недель, как К., ревизуя Кару, громил бумагами управляющего, как бы от имени генерал-губернатора. Но все-таки в общем выходило по пословице «Не так страшен черт, как его малюют», и мы несколько присмотрелись к грозному ревизору, а он, проверяя на выдержку счета, суммы, работы и заглядывая всюду, куда только ткнуло сомнение, окружил себя всевозможными клеветками, которые, преимущественно ве-

черами, келейно посещали его особу и сообщали всякую всячину, какая только могла задевать их низкие душонки. Затем от К. вылетали строжайшие предложения управляющему, а он, что касалось нас, немедленно циркулярно или единично сообщал по местам. К., начиная с мелочей, доходил до абсурда. Так, например, он преподавал особый способ наложения восковых печатей, и беда, если находился слушник его воли, который по забывчивости или неимению времени прикладывал их не так, как требовал вышедший от него циркуляр. Тут непременно надо было особо продевать шнуручки, сначала их врозь откручивать, потом закручивать вместе, кончики складывать петельками и уже кругом их облекать прочерненным воском, а печатать предлагалось двумя печатями, снизу и сверху — своей именной и военного караула или того лица, которое какой частью заведовало. Эта пресловутая мера заставляла пристава быть вездесущим, накладывать в день 50–60 печатей и, значит, быть всюду самому и единственным за все и вся ответчиком.

Понятное дело, что требование это было не

только противозаконно, но и невыполнимо, потому что приставу не представлялось никакой физической возможности выполнить его в точности.

Вследствие такого распоряжения, я, тотчас написав рапорт в главную контору, донес, что если б у меня было четыре руки, а в сутках считалось 48 часов, то и тогда я бы не мог исполнить предложение ревизора, потому что на моей обязанности лежит не одно накладывание печатей, а есть прямая ответственность за всю техническую часть промысла, не говоря уже о наблюдении за тюрьмой, счетоводством, канцелярской перепиской, всем хозяйством и проч.

Управляющий, получив такое донесение, испугался, положил его «под сукно» и ничего не ответил, — дескать, как можно идти против распоряжений К. Узнав об этом, я посчитался с Иваном Ивановичем, а увидав премудрого ревизора, сказал и ему как о поданном мною рапорте, так и о том, что я буду накладывать таким способом печати только там, где и чем заведую сам и где сочту это нужным, если успею. К. освирепел, сказал

управляющему, что я «ослушник», «поджигатель» остальных служащих и что он будет иметь это в виду.

После этого свидания приехал ко мне Кобылин и застал меня собирающегося на охоту за рябчиками.

— Ты что это наделал? — говорил он, входя в комнату.

— А что такое случилось?

— Да то и случилось, что К. рвет и мечет и хочет о тебе донести Муравьеву.

— Ну и что ж такое, пусть доносит. Неужели Муравьев не увидит, что К. требует не только невозможного, но и противозаконного. А вот так как управляющий положил мое донесение под сукно, то я напишу рапорт начальнику. И я бы, Васька, на твоём месте написал подобный же рапорт в контору, — пусть там раскусывают.

— Ай в самом деле я напишу, а то за что отвечать за других.

— Да ты скажи мне по совести — ну разве ты везде успеваешь накладывать так печати и приглашать ассистентов?

— Какого черта везде — только и кладу на

золоте да на кассе.

— Ну вот то-то и есть, а если он увидит, то хуже достанется за слушание.

— Это верно, а ты куда это собираешься?

— Да хочу сходить на ближайшие горки поискать рябчиков, а теперь весна — они шибко идут на пикульку.

— А ты, Мамка, возьми с собой и меня.

— Пойдем! Снимай свою «амуницу», надевай вон мои сапоги, фланелевую блузу да бери «ричардсона» (двустволку), а патроны готовы. Только ты, Васька, не пикай, пожалуйста, в пикульку, потому что ты не умеешь и только напугаешь.

— Хорошо, хорошо, а ты не давай мне и пикульки. На вот, возьми ее из патронташа, я, брат, похожу втихомолку, может, и так подвернется по счастью.

Мы скоро собрались и отправились по ближайшей тропинке.

Отличный ясный день подходил уже к вечеру, так что пришлось поторапливаться, и мы весело шагали недалеко за Верхний промысел. Васька с непривычки ужасно пыхтел, ругался и смешил, обливаясь потом.

Перебравшись чрез небольшие горки, мы, немного разойдясь, забрались в густые заросли мелкого осинничка. Но вот скоро мой Танкред поднял две пары рябчиков и я убил двух, а затем, чрез недолгое время, подманив на пищик остальных, положил в сумку и этих. Тут я услышал, что где-то пониже меня выстрелил Васька, но потом, проходив около часа, я никого не видал и нигде не встретился с милейшим товарищем. Пришлось его отыскивать и кричать, но Васька словно провалился сквозь землю, не подавал голоса и пропал окончательно. Что за штука, подумал я, и тяжелые мысли завертелись в моей голове, так что, прошлявшись попусту, мне пришлось уже вечером, бросив поиски, отправляться домой. Всю дорогу я невольно думал о Ваське, перебирал в уме все обстоятельства его жизни и, стараясь отклонить что-либо дурное, сдавался к тому, что он заблудился по пересекающимся мелким ложочкам, а потому на ходу соображал, как учинить пообстоятельней поиски ночью.

Но вот, входя в свою спальню, я с радостью увидал моего приятеля, который в блузе и в

охотничьих сапогах, свернувшись калачиком, преспокойно почивал на моей кровати. В эту минуту, когда уже отлетели все черные думы, мне было и немного досадно и больше того смешно над назвавшимся охотником. Я тотчас тихонько обложил его по подушке убитыми рябчиками, вымазал ему осторожно перышком нос и лоб кровью, а затем нарочно закашлял.

Васька начал потягиваться, побряхтывать, а рябчики скатились чрез его физию и упали к нему на руки. Он проснулся, увидел меня и, как напроказивший кот, стал ухмыляться.

— Хорош охотник! — сказал я шутя.

— Да мне, брат, надоело — я и утянулся тихонько домой.

— Отлично, а я тебя, шлопутного, сколько искал по ложочкам и потому устал как собака.

— Ну, Мамка, прости! А это что такое? — говорил он, рассматривая спросонья рябчиков.

— Да видишь — и они над тобой смеются, сами прилетели к тебе на подушку да вымазали всю твою солдатскую образину.

— А! Где? Что ты мелешь?

— Ступай, посмотришь в зеркало.

Васька пошел в приемную, взглянул на свое подобие, расхохотался, ударил меня ладонью по турнюрке и побежал умываться.

— А ты, брат, кого это стрелял в первом ложочке?

— Молчи и лучше не спрашивай.

— Это почему?

— А потому, что ко мне вплоть выскочила лисица да и остановилась, проклятая, сажень в пяти, смотрит. Но мне показалось, что это волк, я оробел, а потом, опомнившись, хватил ее уже вдогонку ну и промазал, конечно.

— То-то ты с горя и утянулся на койку.

— Верно, и теперь, брат, досадно, как вспомню, — говорил он, сморкаясь и фыркая под краном с холодной водою.

Михайло принес самовар, закуску и сказал, что вскоре после нашего ухода приезжал К., спросил меня, но не обретя дома, обратился к нему так:

— А где же твой кипяток-барин?

Михайло, догадавшись, в чем дело, доло-

жил, что я с Кобылиным ушел еще с обеда на шурфовку.

— Гм! — ответил К. и уехал обратно.

Однажды рано утром, в очень суровую погоду, я был на верхней плотине, скараулил табунок уток и убил пару. Но дело в том, что вся плотина по закрайкам покрылась тонким льдом и только на одной ее середине была вода, так что убитых уток принесло ветерком ко льду, и они болтались на его окраине. Достать дичь мне не представлялось никакой возможности, а потому я попросил сторожа покараулить уток, чтоб их не утащил ястреб, сам же ушел кверху по речке, убил там еще парочку и стал возвращаться, как в это время привели за конвоем человек тридцать арестантов, чтоб забить глиной промоины да очистить прибитый водой к шлюзу сор.

Арестанты, увидав за льдом плавающую кверху ножками дичь, узнали от сторожа, что уток убил «сам пристав». Тогда один из ссыльнокаторжных, цыган по происхождению, тотчас стал раздеваться, чтоб достать трофей моей охоты. Конвой ему не препятствовал, ибо никак не додумался до того, что арестанту де-

лать этого не следует и что он обязан запретить ему такое путешествие. Ну а товарищи, конечно, нарочно еще подтрунивали да говорили, что цыгану не выдержать холода и уток не достать. Но закаленный дитя природы только молчал и делал свое дело. Наконец, он бросился на тонкую пленку льда и, разламывая ее руками и грудью, поплыл к уткам.

В это время я, вывернувшись из-за кустов, увидал эту историю, а потому побежал к людям, чтоб остановить попытку задубленного ревнителя, желавшего, конечно, угодить мне. Но было уже поздно, так как цыган ужасно скоро добился до цели, взял руками дичь, подхватил ее за шейки ртом и поплыл обратно по проломанной дорожке.

Все арестанты и конвоирующие казаки, хоть и хохотали над цыганом, отпуская на его счет всевозможные остроты, но вместе с тем они тут же удивлялись крепости его натуры.

Когда я уже молча добрался до этой компании, то все сняли заскорузлые шапчонки, а конвоирующие вытянулись по-солдатски и взяли ружья к ноге.

Поздоровавшись со всеми, я отозвал уряд-

ника в сторону и тихо сказал: «Что ты, братец, с ума сошел, что ли? Ну, как можно дозволить арестанту такое плавание!»

— Ничего, ваше благородие! Он ведь цыган, отдуется! — сказал урядник и улыбнулся.

— Ты, братец, дурень и службы не знаешь, — проговорил я, уже взбесясь на его последнюю выходку.

— Ладно, барин, не взыскивай, ведь и капрал хотел тебе подслужиться, — добавил один из арестантов.

— Ну, брат, и ты немного его поумнее. А если б он утонул? Что бы тогда случилось? — все еще волнуясь, говорил я.

— Зачем тонуть, мы бы не дали! — сказали уже многие.

— Эх вы, ребята, ребята! И спасибо вам, и плохо вы делаете, что себя не бережете, а караул подводите под ответственность.

В это время подплыл цыган, выбросил уток на берег и, дрожа всем телом, стал одеваться.

Я поблагодарил черномазого крепыша за усердие, дал ему рубль и тотчас велел поскорей отвести его одному из конвойных в тюрь-

му, чтоб он согрелся дорогой и не захворал от простуды.

Всю эту историю узнал как-то К., но в превратном смысле, и у меня с ним вышла целая история, о подробностях которой умалчиваю. Это было первым столкновением моим с знаменитым ревизором.

Надо заметить, что на Верхнем промысле начальником военного караула при постах и тюрьме был сотник Халевинский, поляк по происхождению, человек простой, пожалуй, добрый, но с характерной закваской. Со мной он жил дружно, за собой талантов никаких не имел и от скуки делал из корешков березы курительные трубки, раздаривая их своим знакомым. К стыду и сожалению, я должен сказать, что мне пришлось с ним довольно крупно поссориться.

Дело в том, что, по распоряжению управляющего, на Верхнем промысле было оставлено к зиме только две пары быков для подвозки воды и дров да четыре лошади для необходимых разездов, а при них два бычника и один конюх. На этих лошадях приходилось всюду ездить самому, давать из них некоторым слу-

жащим и г. Халевинскому для обзора постов. Но он от скуки стал ездить к своему приятелю на Нижний промысел, — это за девять верст, — просиживая там целые дни. Уедет, например, с утра, а явится только к вечеру или ночью. Во все это время и конюх, и лошади были на пище святого Антония, так что от первого поступали неоднократно жалобы, а вторые спали с тела и отказывались служить.

Сказав об этом Халевинскому, я просил его поберечь человека и лошадей, а если он желает оставаться в гостях, то чтоб отправлял их домой, потому что конюх и лошади необходимы на промысле. Кроме того, дал понять, что я уступаю ему экипаж, так как обязан давать его только для объезда постов на месте.

Халевинский не обратил никакого внимания на мои просьбы, продолжая свои поездки по-прежнему, а однажды прибил конюха, когда тот не хотел оставаться дожидать его до вечера.

Я еще раз напомнил воинственному Марсу о своем заявлении и снова просил, чтоб этого не делать, но он опять не обратил должного внимания. Тогда я приказал экипаж запрятать

гать не парой, а в одну лошадь и возить Халевинского только по постам своего промысла, но если он велит ехать на Нижний, то не трогаться с места и сказать, что возить не приказано, в случае же кулачных наставлений — тотчас же везти его ко мне, прямо на двор.

Такие распоряжения сибирский народ исполняет аккуратно, и вот я сам увидал в окно, как в одно воскресное утро конюх провез взбешенного Халевинского прямо на конюший двор и стал выпрягать лошадь. Я ожидал, что воинственный сотник заявится тотчас ко мне, но этого не последовало, и он, грозя кулаком конюху, ушел домой.

Я полагал, что тем дело и кончится, но вышло не совсем так. Увидав Ивана Ивановича, я на всякий случай доложил ему об этих неполадках и о том, какое распоряжение отдано мною. Он вполне согласился с последним, очень хорошо понимая, что лошади необходимы на промысле, а потому сам хотел объяснить Халевинскому, что если ему угодно ездить в гости на Нижний, то может нанимать частных лошадей, но он, должно быть, забыл сказать ему об этом, почему и вышла

история.

Надо заметить, что Халевинский после триумфального проезда па конюший двор, перестав бывать в моем доме, начал ругать меня среди моих подчиненных служак и подговаривать на разные пакости. Положим, что я не обращал на это внимания, тем не менее подобное поведение было, конечно, неприятно.

Однажды приехал на Верхний управляющий, осмотрел работы, побывал в тюрьме, позанимался в канцелярии, что как раз против квартиры командира, и, оставшись крайне довольным, зашел ко мне пить чай. Я, как-то выйдя из столовой, увидел, что в комнату, через черные сени вошел Халевинский, в полной казачьей форме. Я остановился, хотел принять его, как хозяин, но видя, что он, даже не поклонившись мне, прошел мимо, невольно начал наблюдать — что будет? Командир, заявившись к управляющему, стал жаловаться на меня, не стесняясь извращать факты. Иван Иванович как-то завертелся, ничего определенного не высказал и, между прочим, сказал, что он слышал об этой истории от ме-

ня, но совсем не так.

— Помилуйте, пане управляющий, да вы ему не верьте. И не слушайте — он вам все врет и «наглуует».

Иван Иванович, видя меня чрез двери, растерялся, сконфузился и торопливо сказал:

— Хорошо, хорошо, господин Халевинский, я все это разберу.

— Вы кончили? — спросил я, входя и волнуясь, Ивана Ивановича.

— Да! — отвечал он, вскипаясь в свою очередь и дрогнувши.

— Ну, так я не кончил. Позвольте, господин Халевинский! — сказал я, загораживая собой ему дорогу. — Мне желательно с вами объясниться!..

Он несколько опешил, немного отступил и, проговорив: «Пропусти, какое тебе еще объяснение!» — схватился за эфес шашки. Тогда я не вытерпел, в один миг повернул его за плечи к двери и выпихнул в шею, так что он турманом вылетел в переднюю, а там, что-то бормоча, стал торопливо и, не попадая в рукава, накидывать свое пальто. Я подскочил к нему, надернул на него ничем не повинное и чуть

не вывернутое пальто и, распахнув двери, закричал:

— Вон, невежа!..

Халевинский, сгорбившись, прошмыгнул мимо меня в сени, сказав, что он донесет об обиде рапортом.

Тут вышел из кухни Михайло. Я закричал гостю: «Можете!» — и захлопнул дверь.

— Ну и горячка же вы, Александр Александрович, как посмотрю я на вас, — сказал побледневший Кок-аров.

— Не вам об этом судить, Иван Иванович, как я убеждаюсь.

— Ну полноте, полноте! Вот выпейте холодной воды, и все пройдет.

— Благодарю вас за помощь, и я действительно послушаюсь вашего совета...

Кок-аров просидел у меня еще с полчаса, а затем с миром уехал.

Через неделю я получил конфиденциальное письмо от начальника всей местной команды полковника Цильякуса, на которое откровенно объяснил ему мой вызванный поступок с Халевинским и спросил его о том, что бы он сделал с подобными личностями,

будучи на моем месте? Тем дело и кончилось.

Потом, уже в бытность К., на Верхний промысел был прикомандирован субалтерн-офицером хорунжий Эр-бс. Кто он был по происхождению — не знаю, но, кажется, всего по-маленьку или, как говорят сибиряки, «всякой дряни по лопате».

Вероятно, по влиянию Халевинского, этот молодец визита мне не сделал, о чем я, конечно, нисколько не печалился, помня русскую пословицу «подальше от...». Но дело не в этом, а в том, что мы как раз получили строящийся циркуляр, по которому необходимо было немедленно составить самые подробные и точные сведения о всех посторонних лицах, проживающих на промысле. Мой официальный полицеймейстер (!), урядник Потемкин, ужасно стесняясь этим требованием, видимо, что-то скрывал, но наконец однажды доложил мне при общем утреннем рапорте, что у новоприезжего хорунжего скрывается неизвестная девушка, которая носит волосы в скобку, а одевается в форму забайкальского казака, и что он положительно осведомился, что она недавно родила, но куда девался мла-

денец — никому неизвестно.

Как мне ни неприятно было выслушать такой доклад, тем не менее оставить его без последствий не представлялось возможным. А потому я приказал Потемкину сходить к г-ну Эр-бсу и вежливо попросить его дать сведения или представить паспорт проживающей у него особы. Хорунжий, освирепев, выгнал из квартиры моего полицеймейстера, который впопыхах прибежал ко мне и доложил о случившемся, а вслед за ним заявился старший урядник из воинской команды и, келейно докладывая о проживающей под видом казака особе, просил меня, чтоб я обратил на это внимание, так как, по их понятиям, «паскудно», что баба носит их форму.

Я спросил урядника, почему же он не обратился с этой просьбой к своему ближайшему командиру, сотнику Халевинскому.

— Они, ваше благородие, велят об этом молчать и, кажется, сами побаиваются господина хорунжего, а у нас рота не принимает этого срама, в один голос говорят: сходи к господину приставу и объясни ему обо всем, — так вот и послала меня к вам.

— А ты, братец, на то и старший, чтоб уговорить роту, что ничего особого в том нет, что женщина носит мужскую одежду.

— Помилуйте, ваше благородие, что я объясню роте, когда и сам не могу стерпеть такой обиды.

— Да полно ты, голубчик, подумай, ну какая же в том обида для тебя и для роты?

— Ох нет, ваше благородие! Теперь ведь не святки, и завсе (постоянно) носить девке наш казацкий казакин непристойно, и закон не велит, а для нас это чистое оскорбление, позор целому войску, вон и то народ уже смеется, говорит, казацкие шаровары осрамила да опаскудила, — и тут «ундер» сплюнул в сторону.

— Ну, хорошо, любезный, успокойся. Я приimu меры, что от меня будет зависеть, а теперь ступай с богом.

Урядник приложил руку к виску, повернулся по форме налево-кругом и вышел.

Потемкину же я дал письмо к Халевинскому, в котором просил его, как ближайшего начальника, уговорить Эр-бса, чтоб он, не поднимая истории, выдал требуемые законом

сведения. Но и после этого настояния ничего не вышло, а Потемкин опять был изгнан младшим воинственным Марсом. Тогда я, снова написав вежливое письмо Халевинскому, сказал категорически, что если он не примет участия, то будет отвечать. А я, по своей обязанности пристава промысла, уже поведу дело официально, заявлюсь к Эр-бсу с понятиями сам и сделаю «выемку». Тут только опомнились отцы-командиры и дали такие официальные сведения, что действительно у такого-то Эр-бса проживает в услужении такая-то девица, которой паспорт послан в г. Москву для перемены, и что эта девушка прижила ребенка, но что он родился мертвым, о чем приложили свидетельство акушерки.

Слава богу, и это дело уладилось, но я нажил себе еще двух врагов, которые всеми силами старались очернить меня перед К.

Настало тяжелое для меня время, и я, только глубоко веруя в промысел божий да силою воли, перенес эту борьбу, получив на 24-м году две продольные морщины на своем молодом лбу. Они почти в том же виде остались доньне и частенько напоминают мне о том,

как тяжело возиться малому смертному с «сильными мира сего».

## VI

Пока строгий ревизор присматривался к Каре и ее деятелям, «предначертывал» план своих действий к подвигающейся промысловой операции золота, весна все более и более входила в свои права, так что солнечные увалы тайги начали уже зеленеть, а синенькие цветочки ургуя (прострел), эти первенцы забайкальской весенней флоры, стали уже отживать свой цветущий период жизни. Всякий истый охотник может себе представить, как тяжело это время было для меня, когда оживающая тайга манила в свои объятия, а подкапывающийся под меня Крюков ловил моменты, чтоб найти в моем управлении какие-нибудь промахи и поместить их в свои мемуары.

Однако ж, несмотря на все это, я все-таки, под различными предлогами служебной обязанности пристава, урывал время вечерами и ранними утрами, как какой-нибудь приказный писец, чтоб съездить с Кудрявцевым покарать или «поскрадывать» диких коз на

увалах. Когда мне приходилось убить козла, то я, кажется, забывал все на свете, а не только К., и вот почему я доныне убеждаюсь еще более в том, что охота — это сила, и сила такая, которую подчас ничем остановить невозможно. Мне кажется, что с ней сравнится, во многих проявлениях жизни человека, только одна чистая, искренняя и сердечная любовь... Едва ли они не тождественны между собою, потому что как той, так и другой нет обыденных рамок, нет житейских узаконений. Тут что-то стихийное, с которым воевать трудно и где нередко пасуют как выделяющийся разум, так и железная воля.

Никогда не забыть мне того, как однажды, в свободный вечер, я, убежав с Кудрявцевым верст за 12 на увал, пошел с ним так, что он тихо потянулся под солнпеком, а я забрался на верх горы. Не прошло и четверти часа, как я сверху увидел козулю, которая, жируя на увале, спускалась помаленьку книзу. Тотчас остановившись за деревом, мне было видно, что Кудрявцев уже заметил ее и стал скрадывать, таясь за прилежащими кустиками. Наблюдение это было крайне интересно, особен-

но для меня, потому что я тут же учился искусству скрадывать зверя, а вместе с тем наслаждался такой картиной, какую не изобразит никакая кисть талантливого художника. Старик то крался, как тать, то подбегал за кустами, то, наконец, останавливался в той позе, в какой захватывала его козуля, поднимая голову и недоверчиво прислушивался. На одном чистом месте Кудрявцев прополз, как собака, и осторожно поместился за одним камнем грандиозных размеров, вероятно оторвавшимся от нагорного утеса и скатившимся к подолу увала. Тут он, окончательно спрятавшись, поджидал козулю на меру винтовочного выстрела.

Но вот я, увидав вылетевший дымок из-за камня, схватил тот момент, когда роковая жертва вдруг сунулась на передние ноги, а потом упала на бок. Тогда только донесся до меня звук выстрела и гортанный хрип умирающего животного.

Старик тотчас полез на гору, но, добравшись до убитой козы, сняв шапку, вдруг начал креститься и повернулся к востоку. Затем, перекинув за ноги убоину, пнул ее ногой,

сплюнул на сторону и, что-то бормоча, сошел обратно вниз, к оставленной за камнем винтовке.

Я не понимал, в чем дело, и меня ужасно озадачили приемы Кудрявцева. Я тотчас вышел из своего тайника и закричал ему:

— Ты что же не потрошишь и бросил козулю?

Старик огляделся, увидел меня и махнул рукой на свой трофей, а потом, зарядив винтовку, поманил меня к себе.

Я тотчас спустился, дошел до бездыханной уже жертвы и увидел, что убита козлуха (матка) с одним небольшим рогом на макушке. Этот феномен игры природы до того заинтересовал меня, что я, присев на камни, стал подробно рассматривать оригинальную козулю. Старик в ту же минуту поднялся ко мне и, потянув меня за рукав, как-то таинственно сказал:

— Брось ее, барин, да пойдем.

— Что ты, дедушка! Да разве можно оставить такую диковину?

— А на что ее нам? Ты видишь, это притча какая-то!..

— Полно ты вздор городить, ну какая может быть притча в козуле?

— Нет, барин, поверь мне, старику, что это притча, а попала недаром, и мне от нее все одно шерстинки не надо, — уж она непременно к добру или к худу.

— Ну, а к добру, так, значит, и хорошо.

— Да, ну а как к худу, — тогда что?

— И то ничего, на все воля господня.

— Так-то так, конечно, без божьего веле-  
нья на свете ничего не делается, а все же мне  
ее не надо...

И как я ни убеждал старика, но он свою добычу не взял, так что я с великим трудом упросил его хоть распороть брюхо козули, чтоб посмотреть стельна она али нет.

— Такие, барин, суйгны не бывают. Хошь потроши, хошь нет. Они никогда не гонятся и, как старые мужиковатые с бородами девки, плоти в себе не держат. Козлы это знают, их обходят и с ними не роятся, отчего они всегда жирны и бывают. Вот посмотри, видишь, и эта вся как подушка...

Мы, распотрошив козулю, действительно увидали, что масса жира покрывала все ее

внутренности, а в маточнике не было никакого плода, несмотря на весеннее время.

Мне хотелось, по крайней мере, хоть отнять с черепом рог, но и тут Кудрявцев ни за что не согласился этого сделать, настаивая на том, что эта притча на его шею.

— Все воля божья, дедушка! А и умрешь, так невелика беда — детей у тебя нет.

— Нету, барин, нету. Не благословил господь этим счастьем, а все же умирать как-то еще не охота.

— Ты хошь бы пасынка какого-нибудь взял к себе в дети.

— Нету, барин, в них пути, нагледелся я на своем веку на этих приемышей. Пока еще мал, так туды-сюды, а как поднялся маленько да узнал, что он не твоей крови, — вот и только! Вот и начнет буровить не на живот, а на смерть.

— Ну так хоть бы опекунство взял на себя, ведь у тебя есть осиротевшие родственники?

— Есть. Так я им и так помогаю, без всякого пекунства. А то возьми на свою шею это пекунство, так оно и выйдет, что «за чужим скотом, да своим кнутом». Нет, бог с ним! Оно

лучше, когда живешь подальше от греха, а сделаешь доброе дело, так господь видит и без начальства... Пойдем, барин, лучше по-добру-поздорову.

Мы оттащили убитую козулю с увала в кусты, забросали ее прутьями и ушли дальше, так что я никак не мог упросить старика взять с собой его «притчу»...

Лишь только успел я вернуться домой, тотчас обошел все работы, побывал в тюрьме, в канцелярии, а вечером принялся за взвешивание «проб», полученных с шурфовки, как ко мне заявился К.

Больше сотни капсюльков с мельчайшими золотинками лежали на моем рабочем столе, а в то же время винтовка и другие принадлежности охоты, находясь тут же, в комнате, покоились по разным местам. От них, так сказать, пахло еще тайгой и говорило о том, что их хозяин недавно вернулся с охоты. К. до сего дня никогда еще не бывал в моей квартире, как гость или служака, кроме его первого визита к Михаиле, а потому я, конечно, не ожидал такого посещения и не приготовился.

— А, да вы дома! Здравствуйте! — говорил

он, входя.

— Здравствуйте, Артемий Матвеевич, милости просим. Покорнейше прошу садиться.

— Нет, благодарю вас, я ведь ненадолго, некогда.

— Это вечером-то?

— У меня работа и ночью. А вы что это делаете?

— Шурфовочную разведку заверяю да вот в журнал заношу.

— А вы всегда это делаете в одиночестве?

— Нет, не всегда, и если есть время уставщицу, то помогает и он, но сегодня ему дана другая работа.

— А знаете, было бы гораздо лучше, если бы помогала вам уставщица, не правда ли? — сказал он иронически и лукаво.

— Пожалуй, бабочка хорошенькая, — ответил я, не придавая значения его намеку.

— То-то!.. А все-таки, мне кажется, будет удобнее, если вы станете заверять шурфовку при подобающей обстановке.

— В этом случае никакого порядка законом не указано, Артемий Матвеевич. Меня контролируют в натуре, доверяют на сотни

тысяч рублей, и тут никаких сомнений быть не может и не должно, а делать эту работу днем мне редко удается.

— Да оно и понятно! Надо же ведь и на охоту поездить, — сказал он опять иронически, поглядывая на мои охотничьи принадлежности.

— Совершенно верно, Артемий Матвеевич, на все свое время. Вот вы работаете и ночью, а успеваете следить и за уставщицами.

— Да, да! Такова моя обязанность...

— Как? Неужели и это по программе генерал-губернатора? — спросил я серьезно.

К. как-то зло и строго взглянул на меня, хотел что-то сказать, но удержался и только пробунчал сквозь зубы:

— До свиданья!

— Будьте здоровы! — сказал я, провожая такого дорогого гостя в переднюю.

Только что уехал К., как ко мне заявился Кобылин.

— А знаешь, Мамка, кого я сейчас встретил? — говорил он, смеясь и фыркая.

— Кого?

— Карийскую кикимору.

— Она, брат, сейчас была у меня в гостях.

— Ну?

— Правда, вечерний визит отдавала.

— А я, знаешь, увидел, что она едет на встречу, взял в руки бумаги, да и еду, будто не вижу, дескать, по службе.

Тут я рассказал милейшему приятелю все до слова, что было и говорилось.

— Ах он, скотина! Знаем мы его ночную работу, как он с заднего крыльца принимает всякую сволочь да выслушивает их подлые сплетни. Ведь я и клеветов-то его знаю, есть, брат, и такие, на которых и не подумаешь. Да ну его, впрочем, к черту. А ты слышал, как Прасковья поет на завалинке?

— Нет, а вот ты помоги мне немного довести и пойдём слушать...

Мы тотчас уселись к столу и скоро закончили работу, а затем вышли на улицу, за ворота моей казенной квартиры.

Превосходный весенний вечер уже окутывал промысловскую нагорную окрестность и точно нежил свежим ароматическим воздухом, потому что с гор уже повсюду тянуло распускающимся хвойным лесом. Весь запад

горел еще розоватой зарей, и только кое-где одни большие звездочки, как яхонты, горели разноцветными переливами на потемневшей части неба, и особенно хорош был Арктур, отличаясь красноватым отливом.

Мы, усевшись на скамейку, как раз попали в тот момент, когда Прасковья после продолжительной паузы запела какую-то сердечную проголосную песню. Надо заметить, что Кобылин считался любителем и знатоком пения. В корпусе он в свое время был регентом кадетского хора, а потому до тонкости понимал дело.

Сильное грудное меццо-сопрано ясно доносилось до нашего слуха, и промысловская примадонна так душевно пела свою излюбленную песню, что мой приятель не мог хладнокровно слушать: он то и дело подталкивал меня локтем и, то поднимая, то опуская голову, вертелся на приворотной скамеечке.

— Слушай, слушай, Мамка! Вот смотри, как она сейчас зальется, проклятая! — говорил он и как бы подставлял ухо.

Действительно, Прасковья до того входила в свою роль простонародной русской певицы,

что решительно всех приковала на том месте, кого где захватил передаваемый ею мотив. В нем она вылила, кажется, все, что только могло таиться в ее наболевшей груди по милой родине. Тут выливалась тоска, целое море какого-то горя о чем-то пережитом, давно прошедшем, и слышались слезы, которые — увы! — не помогут страдальце и не возвратят ее красных дней, ее задушевной тайны. Тут дышало одной неподдельной грустью, одним подавленным чувством наболевшего сердца, и всякий слушающий хорошо понимал, что певица переживала в эти минуты на далекой каторге: всякий чувствовал, что она пела что-то былое, когда-то лелеющее ее поэтическую душу. В песне не было веселых переходов, нет, весь ее мотив — это глубокая тоска, прочувствованное горе... Словом, я не могу теперь выразить того, что я сам чувствовал и переживал в эти минуты, особенно при конце песни, когда певица, словно захлебываясь в мотиве, все тише и тише сводила его к финалу, а наконец, едва слышными, но четкими нотами, точно из-за могилы, передавала свои слезы, свои мольбы к кому-то уже не суще-

ствующему на сем свете...

После этого певица встала с завалинки, тихо отворила калитку и, как тень, скрылась в своем дворике.

Откуда-то в тишине вечера послышались горячие аплодисменты и раздалось восторженное «браво! браво!..»

Но мы с Кобылиным все еще сидели, как очарованные, на скамеечке и точно дожидали чего-то еще, как бы желаемого продолжения, несмотря на то, что мы ясно слышали, как брякнуло кольцо калитки, и видели своими глазами, как скрылась Прасковья.

Я молчал, и горячие слезы текли по моим щекам. То же было и с Васькой, но он старался незаметно вытирать их платком и наклонял голову.

— Ну и Пашка, чтобы черт ее побрал! Потешила душеньку, — сказал он, вставая.

Мы пошли ужинать. Кобылин остался у меня ночевать, и мы почти всю ночь проговорили о треволнениях жизни «в сем подлунном мире».

Прасковья обладала таким приятно-могучим голосом, что нисколько не уступала уже

описанному мною певцу Шилову, а многие любители женского тембра ставили ее даже выше.

Завалинка около ее мизерной избенки была излюбленным насиженным местом Прасковьи, где она, обыкновенно под вечер, пела свои задушевные песни и певала так, что многие простолюдины, заслыша ее голос, тотчас бросая работу, нередко по целым часам прослушивали ее на том месте, где захватила их песня. Это выходило, вероятно, отчасти и оттого, что промысловская примадонна не любила, если около нее собирался народ. Зато она всегда была рада, когда к ней подходили тоже голосистые ее подружки и сотоварки по заключению, чтоб помочь ей в песнях и вместе с нею излить и свое горе.

Часто видал я, как Прасковья, расчувствовавшись на заветной завалинке, смачивала свой передник слезами, и многие уверяли меня в том, что она почти никогда не певала в каторге веселых или плясовых песен.

Довольно красивая и моложавая Прасковья еще при мне вышла замуж и переселилась на Нижний промысел, так что я не один

раз жалел о ее отсутствии, а Верхний словно опустел без ее прочувствованных песен. Недавно Васька, приезжая вечерами ко мне, говорил так: «Да, Мамка, ее уж нет, а я страдаю!..» Конечно, я не мог не разделять этого мнения и хоть не говорил того же, то более чувствовал, потому что Прасковья нередко «отводила мне душу», и я, с увлечением слушая ее, уносился в мир фантазии, переносясь мыслями бог знает куда, идеализируя жизнь даже на каторге и забывая в это время не только трудовые заботы, но и все неприятные столкновения с Крюковым.

## VII

Но вот солнышко стало подниматься повыше, ранняя весна пролетела как-то незаметно в «горячих» приготовлениях промысловских работ, сибирская почва пооттаяла, и наступил май, а с его появлением загремели на «разрезах» (открытых разносных работах) золотопромышленные машины, и началась лихорадочная деятельность промывки золотосодержащих песков. Охота в это время волей-неволей осталась на заднем плане, и я, в первый же день промывки, снял семь

бадей черных шлихов, которые со всей подбающей обстановкой сдал в магазин под военный караул.

Чтоб промыть эти бадьи черного сконцентрированного шлиха в особой шлиховой промывальне да успеть вовремя осмотреть все работы, я на другой день нарочно встал в четыре часа утра, взял военный караул и отправился в шлиховую.

Часам к шести утра я, уже смыв две бадьи, получил шлиховое золото, как вдруг в шлиховую является Крюков, а с ним управляющий и служащий за батальонного командира на Карийских промыслах, только что прикомандированный и еще незнакомый со мной сотник Налетов.

Я встал, поклонился гостям и поздоровался с Иваном Ивановичем.

— В чем это вы полощетесь? — спросил не здороваясь Крюков, а Налетов только молча сделал честь по-военному, с шиком приложив к виску правую руку.

— Это идет отмывка золота из черных шлихов, — объяснил управляющий заискивающим тоном.

— А-а! Такая интересная и самая главная операция.

Гости сели на подоконники шлиховой, но я тотчас велел из своей квартиры, тут же неподалеку стоящей, принести стулья.

— Скажите, пожалуйста, — ни к кому не обращаясь лично, сказал К., — почему это на вашгерде (промывочный аппарат) верхняя часть полотна сделана из заболони, а нижняя из древесины?

Видя молчание управляющего, я, как пристав и заведующий работами, громко и четко сказал:

— Тут заболонь и древесина ни при чем, они нераздельны в досках, а верхний набор полотна, где приходится главная протирка шлихов, сделан нарочно из лиственницы, потому что она крепче и дольше служит, а нижняя часть из сосны, так как она чище и мягче.

Иван Иванович тотчас боязливо посмотрел на меня, Налетов повернулся на стуле, а К. передернуло, и он покраснел.

— По-моему, это все равно и не достигает своей цели, — сказал он.

Я смолчал, но и Иван Иванович ничего не

возразил.

— Мне кажется, что вся операция смывания ведется не так. Тут драгоценный металл, его надо беречь и отмывать помаленьку, по совочку, а не целой бадьей, как это бестолково делается, — продолжал К.

— Тогда «сносу» будет больше, ваше высокоблагородие, а мне мелкого золота не удержать, — сказал заслуженный и опытный промывальщик старик Сидилев.

— Врешь ты, болван! — закричал К. и приказал брать из бадьи по одному совку, чтоб промывать каждый отдельно.

— Сидилев говорит верно, Артемий Матвеевич, а чтоб убедиться в этом, можно замерить «хвосты» (то есть смытые уже шлихи), и вы увидите, что при меньшей обработке сносу мелкого золота будет больше, — сказал я.

— Не может этого быть, милостивый государь, и я Вашего совета не спрашиваю.

— Я, как ближайший ответчик за металл, считал обязанностью доложить вам об этом, — опять возразил я и тут же повелительно сказал промывальщику:

— Сидилев! Ты не смешивай эти хвосты с

нашей промывкой. Слышишь?

— Слушаю, ваше благородие!

К. промолчал, а Налетов и Иван Иванович как-то пугливо взглянули на меня.

Крюков, смывая из бадьи по одному совочку и всякий раз замывая свои хвосты, провозился с одной бадьей более четырех часов, но, несмотря на это, он также принялся и за вторую. Так что эту бадью мы промыли по его способу только к трем часам. Тут Сидилев, встав и едва разогнув спину, сказал, что он устал и хочет поесть. К., позволив ему отдохнуть, принялся рассматривать шлиховое золото. Я же, пользуясь этой паузой, позвал Михаила и велел ему принести в шлиховую обедать на четыре персоны. Но Крюков тотчас отказался, а Кок-аров и Налетов, когда принесли обед, немного закусили, как бы из вежливости, не мешая мне поесть поплотнее.

Далее К. продолжал свою работу до десяти часов вечера, закончив все-таки тем, что одну бадью не смыл совсем, почему ее и унесли за «конвоем» обратно в магазин.

Но я тут же настоял на том, чтоб ревизор при себе замыл мои хвосты от смытых шли-

хов до его приезда, и когда получились из них только мельчайшие знаки золота, то он повернулся, вышел из шлиховой и уехал с Налетовым. Обратившись к Ивану Ивановичу, я спросил его, как поступать приставу и когда следить за всеми работами по промыслу, если лично находиться с утра до вечера при смывке только одних черных шлихов? Но он махнул мне рукой, сказал, что об этом потолкует, и укатил вслед за К.

На следующий день я встал опять в четыре часа утра, чтоб успеть смыть вновь доставленных с машин семь бадей черного шлиха и одну оставленную К. Промывая по-своему, я уже очистил четыре бадьи, как в то же время, около шести часов утра, опять пожаловал К., но на этот раз с одним управляющим.

Увидав тот же вашгерд, он строго сказал Ивану Ивановичу:

— Помилуйте, господин управляющий, это что же такое? Кажется, я вчера при вас приказал господину приставу переменить набор на вашгерде, а он, как видите, и теперь тот же! Значит, ваши подчиненные не слушают ни вас, ни меня. А промывка шлихов, как види-

те, идет по-старому. Кажется так, господин пристав? — сказал многозначительно К., грозно посмотрев на меня.

— Точно так, господин ревизор, потому что наш способ гораздо практичнее и целесообразнее, а в сутках не 48 часов, но, к сожалению, только 24, а у пристава еще много хлопот и ответа по всему промыслу. Что же касается вашгерда, то никаких приказаний я не получал, а слышал только одни вопросы. Обо всем этом я имею честь сегодня же донести рапортом в главную контору.

К., ни слова не сказав на это объяснение, повернулся и вышел из шлиховой, а Иван Иванович, нагнувшись к моему уху, тихонько шепнул:

— Пожалуйста, ничего не доносите, а то худо будет нам с вами.

— Правды бояться нечего, Иван Иванович, а мне иначе поступить нельзя, тут ведь не игра в мышки и кошки, — сказал я громко.

К. оглянулся и злобно и иронически сказал:

— Смотрите, плохая игра мышам с большим котом.

— Не всегда: каковы ведь мыши, Артемий Матвеевич. А я так думаю, что недаром же на Руси существует картина, как «мыши кота хоронят».

— Да, она запрещена законом.

— Только не общим Российской империи, а полицейскими мироедами из своих видов и выгод.

— Ого!.. Слышите, господин управляющий! — сказал К., быстро повернулся и, пригласив с собой Ивана Ивановича, уехал на работы.

После такого курьезного свидания была довольно мирная пауза в несколько дней, так что я, воспользовавшись праздником, уехал с Кудрявцевым на охоту на целый день, чтоб отвести душу в тайге, промышляя козуль «на пик». День был великолепный, матки (козлухи) отлично шли на пикульку, вполне схожую, в умелых губах, с пиком их попрытаных козлят. Мне посчастливило: я убил двух козуль и уже вечером весело возвращался домой, как вдруг, совершенно неожиданно, встретил вывернувшегося из-за тюрьмы К. Козы были приторочены к седлу Кудрявцева,

а на моем лежали только походные «перекидные» сумки с необходимыми припасами.

— Где это вы путешествовали? — спросил меня К., не поздоровавшись.

— А вот ездил со стариком, чтоб осмотреть будущие покосы. Сказали, что на них пасут частных быков, — соврал я, не краснея и не останавливая коня.

— А вы всегда ездите с винтовкой на такие служебные экскурсии? — сказал он мне вслед.

— Я без нее никуда, Артемий Матвеевич.

— Гм! — пробурчал он, поехав в другую сторону. После я узнал, что К. написал в своих мемуарах так:

*«Встретил пристава г. Черкасова, который ездил на охоту под видом осматривания казенных сенокосных дач».*

Вскоре после этого «прибежал» ко мне Кобылин и сказал, что он в большом затруднении относительно того, какого коня выбрать К. для разъездов, потому что он всеми недоволен, сколько их ни давали, — то ленивый, то тряский, то приворачивает к питейным заве-

дениям, — и потому сердится.

— Эх ты, тюфяк! — сказал я приятелю. — Да дай ему старика Чубарку, разве ты не знаешь, как он ходит под верхом — прелесть! И нам всем будет полезно, — тогда можно за версту узнать, куда поехал К. или где он остановился.

— Верно ты говоришь, спасибо! А мне и в голову не приходила такая простая штука, — говорил обрадовавшийся Кобылин.

— Ну вот тот-то и есть, а то затруднился в какой пустяковине.

— Только разве не возьмет, — догадается.

— Попробуй. Ведь ты знаешь, что иногда «на всякого мудреца довольно простоты».

— Попробую, отлично ты выдумал, и я завтра же командирую к нему Чубарку...

Дело в том, что превосходный верховой конь Чубарко был такой масти, что его действительно можно было тотчас отличить на большом расстоянии: он весь с головы до ног был чубарым, то есть по ярко-белой «рубашке» или фону красовались без всякого порядка красно-бурые пятна, что придавало животному очень оригинальный вид, из-за которого

го многие его обходили, несмотря на достоинство лошади. Чубарка К. очень понравился, так что он проездил на нем во все свое остальное пребывание на Каре.

Бывало, только выедешь на какой-нибудь бугорок и смотришь Чубарку, а где он, там, значит, и К. И, правду надо сказать, от скольких неприятных сцен с ревизором спасал меня этот конь, а потом дошло до того, что я нарочно ехал туда, где только усматривал Чубарку.

А сцены наши доходили чуть не до ребячества. Так однажды ревизор присутствовал у меня на вечерней смывке серых шлихов на машине и приказывал делать эту операцию на большом «пирамидальном» вашгерде при малой воде — чего физически невозможно как по силам рабочих, так и самой технике производства. Тут я положительно протестовал и велел воды пустить столько, сколько следует, сказав К., чтоб он не мешался в распоряжения, а если ему угодно заверить мои действия, то пусть пригласит знающих экспертов, чтоб заверить «снос» золота в хвостах серых шлихов. Но надо заметить, что перед

этим я, где-то простудившись, схватил лихорадку. На мое счастье, к нам на машину приехали управляющий и помощник горного начальника подполковник Матвей Иванович Ко-ко, которого вытребовал из Нерчинского завода К.

Обрадовавшись такому случаю и чувствуя приближение пароксизма, я тотчас явился начальству, обсказал о своих действиях и просил уволить меня домой по случаю нездоровья.

Лишь только приехал я на квартиру, как любезная «кумушка» так начала меня всколачивать, что я поневоле тотчас улегся в постель.

Часов уже около одиннадцати вечера ко мне совершенно неожиданно пожаловал К., но, видя меня уже в жару, вдруг изменив строгое выражение физиономии, как бы соболезнуя, сказал:

— О! Да вы в постели?

— А вы, Артемий Матвеевич, вероятно, подумали, что я притворяюсь.

— Н-н-нет, как это можно! А я нарочно заехал навестить вас как больного.

— Благодарю вас за внимание.

— Ну а вы послали за доктором?

— Зачем мне доктора. Я только просил его послать мне хинных порошков штук шесть, по шести гран, — пройдет! — говорил я, утираясь от пота.

Крюков взял мою руку и, пощупав пульс, сказал, что жар очень велик и что им шутить нельзя, а затем, пожелав скорее поправиться, вышел из комнаты.

Съев несколько порошков хины, я почувствовал себя лучше, а потому на другой же день выехал на службу.

Через несколько дней ревизор приехал ко мне на разрез и, увидав под водой на сковородке пробы, взятые из забоев золотоносных песков, спросил:

— Это что за игрушки?

— Пробы с забоев, — отвечал я серьезно.

— Помилуйте! Какие же это пробы? Это игрушки, — и в это время он, пальцем разбив кучки полученного золота, сгреб их в одну общую грудку.

— Что вы делаете, Артемий Матвеевич? Ведь тут наш контроль по работам в забоях.

— Какой это контроль, я вам говорю, что это игрушки.

— Я нахожусь здесь на службе, Артемий Матвеич, и не думаю, чтоб вас послал сюда генерал-губернатор находить какие-то игрушки, да действительно, кажется, только играть своей властью, не принося никакой пользы делу, — сказал я, погорячившись, и тут же приказал промывальщику взять новые пробы со всех артелей рабочих.

— Послушайте, молодой человек, — начал было К., но я прервал его и сказал, повернувшись к нему:

— Я вам, Артемий Матвеевич, не «молодой человек», а зовут меня Александром Александровичем, и глумиться на службе я вам не позволю.

— Ого! Так вы действительно, верно, хотите надеть ту серую куртку, о которой вы поминали, — говорил он, трясаясь от волнения.

— Я ее не боюсь и надену, если присудит закон, но не по вашему усмотрению...

— Хорошо, это мы посмотрим! — перебил он меня. — А теперь позвольте мне взять все это золото, как вы говорите «пробное», с со-

бой.

— Сделайте одолжение. А ты, Федосеич, сними сейчас со сковороды золото, высуши, заверни в капсуль и отдай господину Крюкову. Впрочем, постой. Дай я сейчас передам его и запечатаю своей печатью, а ты позови «ундера» и скажи, чтоб он нарядил конвоира к господину ревизору.

— Это зачем? — сказал К., несколько осевши.

— Так велит закон, Артемий Матвеевич, охранять казенный интерес.

— Для меня такой охраны не надо.

— Это дело ваше, — но я распоряжение отдал и тут же послал к «ундеру».

К., получив от меня капсуль и прогнав часового, увез его домой, сосчитал по весу золота содержание песков и заключил так, что в этот день по общей промывке много недостает драгоценного металла. Но он, как не специалист, не сообразил, конечно, того, что с богатых забоев песков, составляющих вязкую глину, возьмут только пятую или десятую часть того, что доставят на машину с бедных разрушистых забоев.

Тем не менее ревизор сделал официальный запрос и требовал отчета в том смысле, куда же, мол, девалось недоказанное промывкой золото?

Когда я получил от него это предложение, то признаюсь — «возрадовался», потому что имел возможность поглумиться над ним официально, доказав фактами и цифрами, что беда «коль пироги начнет печи сапожник»... Кроме того, я тут же объяснил значение тех различных по количеству проб, которые Крюков, не понимая дела, назвал игрушками. Ответ этот я нарочно послал через главную контору.

Получив такой рапорт уже чрез управляющего, он замолк, старался не видеть меня, но караулил, как бы что-то подготавливая, и это «что-то» скоро явилось на сцену, а впоследствии открылось и всплыло на чистую воду, доказав многим, что значит доверяться подобным людям и как надо быть осторожным, уполномочивая их властью.

Однако же мое официальное объяснение имело свое действие, потому что К., быв в мое отсутствие на разрезе, взял от уставщика, как

моего помощника, такие же сковороды пробы и сделал расчет промывки песков уже как следует, почему убедился в истине и замолчал.

Но вот однажды он заявился ко мне опять в шлиховую и стал снова присутствовать при отмывке черных шлихов. Ни слова не говоря о том, что я смываю их не по его пресловутому способу, дождался окончания и, когда я запечатал в банку золото, он спросил, указывая на вашгерд:

— А что вы, Александр Александрович, вынимаете когда-нибудь шлюзовую доску? (То есть на ребре стоящую доску, чрез которую ровным каскадом переливается вода на полотно вашгерда.)

— Очень редко, Артемий Матвеевич, — ответил я, ничего не подозревая.

— А можно ее вынуть?

— Сделайте одолжение. Мидилев, вытащи, пожалуйста, эту доску, — обратился я к промывальщику.

Он тотчас осторожно выколотил ее из «головки» вашгерда, и все мы увидели такую штуку, что я и глазам своим худо верил.

Оказалось, что под доской, по всей ее длине, в том месте, где она стоит ребром на вашгерде, вырезан ножом на его полотне желобок, в котором мы нашли мелкое и довольно крупное шлиховое золото.

— Это что такое? — спросил Крюков, делая невинную физиономию.

— Не знаю и не понимаю, Артемий Матвеевич, — сказал я, теряясь в догадках.

— А-а! Да тут вот еще какие проделываются фокусы, господин пристав!..

— Да, действительно фокусы, только мне кажется, наемные, господин ревизор.

— Как наемные? Что это значит?

— А это означает то, что шлиховая постоянно запирается, золото смываю я всегда сам, а таких не совсем обдуманых ловушек не строю.

— Не понимаю! — сказал он, вопросительно глядя на меня.

— То и хорошо, что вы, Артемий Матвеевич, всего не понимаете, это наше спасение.

— Ну, это покажет нам дело.

— Тем лучше, потому что я докажу на бумаге и опытом, о чем сейчас имею честь вам

докладывать.

— Посмотрим! А теперь это золото потрудитесь снять отдельно.

— Слушаю, — сказал я, соображая гнусный подвох, и вместе с Сидилевым принялся за работу.

— Это, брат, что же за штука? — спросил я тут же промывальщика.

— Видите, барин, какое колено, по наущению, под вас подстроено, — отвечал старик, не смущаясь.

— Что-о? А ты в тюрьме еще не бывал? — грозно сказал Крюков.

— Сорок лет служу императору верой и правдой, ваше высокоблагородие, так думаю, что в тюрьму без вины не посадят, — сняв шапку, сказал Сидилев.

К. смолчал и только, стиснув губы, нервно повернулся на стуле.

Золото из подстроенной ловушки мы тотчас вымели щеткой, высушили и положили в особый капсюль, а придя с К. в канцелярию, взвесили, нашли его в количестве 69 долей и составили акт, под которым я обязан был подписаться. Но я сделал эту подпись с особой

оговоркой, которая не понравилась ревизору.

Ясно было для меня одно: что эта ловушка устроена каким-то моим врагом и сообщником К. или же произведена по его указанию одним из его доблестных клеветов. Тайна заключалась только в том, когда и как она сделана, потому что здание шлиховой всегда было под замком и за печатью уставщика, а все три окна запирались ставнями на болтах изнутри шлиховой. На улицу выходило единственное небольшое отверстие, в которое сбегала вода с вашгерда. Что эта штука была с умыслом «колена», как выразился Сидилев, доказывало уже то, что в ловушке нашлись довольно крупные золотинки, которые никак не могли попасть туда с вашгерда, если и предположить, что мелкое золото могло набиваться под ребро доски в то время, когда протирали и промывали шлихи на полотне вашгерда, допуская выгиб доски.

Это доказательное мнение и было изложено мною на акте, оно-то и не понравилось К.

Тем не менее уполномоченный ревизор, потребовав нарядить следствие, поручил его помощнику управляющего г-ну Мусорину.

Тотчас последовало распоряжение взять уставщика Дербина под караул, а мне полетели формальные вопросы с обыкновенным началом: «Как вас зовут?» и прочее. Но я, оставаясь свободным, исполнял обязанность пристава и волей-неволей имел чуть не ежедневные мелкие стычки с К.

Как они ни курьезны, но я описывать их не буду, чтоб не надоест читателю и не затянуть рассказа. Мне кажется, достаточно и того, что сказано, чтоб всякий уяснил тот смысл, что ревизор, не находя на Карийских промыслах ничего такого, которое бы подходило под рубрику грабительства или обыденной наживы служащих, но желая угодить Муравьеву и поддержать его мнение о горных, пустился на разные «подвохи», уже задавшись той идеей, что, дескать, воруетя золото.

Как ни низка подобная мысль, тем не менее она была ясна для нас, как день, потому что самое ведение следственного дела, под его непосредственным наблюдением, так и все последующие поступки клонились к этому.

Крайне грустно вспоминать, что почти все

мои знакомые и даже некоторые приятели, заметив воочию мою борьбу с таким сильным ревизором, тотчас уклонились от меня и дошли до того, что многие из них даже прятались или запирали окна, если только заметили, что я иду или еду верхом мимо их жилищ.

Понятное дело, что я, тотчас увидав такие отношения, не заявлялся к этим достойным людям не только в их квартиры, но с особой улыбкой проходил мимо, встречаясь на улице, как бы не обращая на них внимания... Честь им и слава!.. Они научили меня смолodu понимать людей дальше их наружного приличия и глубже уяснить тот великий смысл, который так ясно определился в словах нашего старого поэта, что

*...все други, все приятели  
До черного лишь дня...*

## VIII

Не упомяну, которого именно числа, но знаю только, что это было в конце июня, ко мне вечером приехал Кобылин и, ни слова не говоря, а лишь двусмысленно поглядывая, по-

дал мне запечатанный конверт, на котором красовалась крупно написанная и подчеркнутая надпись: «Экстренно, весьма нужное».

— Что это такое? — спросил я улыбающегося Ваську.

— Читай, сейчас только подписана.

— Что, брат. Верно, драть, что ли, нас с тобой станут?

— Ну, драть не драть, а приготовляйся. Прочитай, так увидишь...

Бумага от управляющего, с показанием числа и часа категорически гласила о том, чтоб я немедленно, в продолжение 24 часов, сдал Верхний промысел Кобылину, а от него в это же время принял Средний.

— Отлично! Теперь он попался! И спасибо, что глупее и вместе с тем умнее этого ничего не придумал, — сказал я и заходил по комнате.

— Не понимаю, как соединить то и другое вместе: ведь это абсурд!

— Какой тут абсурд, а просто для него, дурака, это яма, но для нас спасение.

— Ну так что будем делать? — спросил он озабоченно.

— А ничего особенного. Приезжай утром ко мне, я тебе сдам казну, золото и свое хозяйство. Потом поедем к тебе — я приму то же самое у тебя, и только! А затем тотчас напишем в главную контору рапорты, что мы, согласно распоряжению, по краткости назначенного времени, сдали друг другу только казну и металл. А что касается работ и промыслового хозяйства да хранящихся в магазинах припасов и матерьялов на сотни тысяч — того не сдали даже и по счетам, а потому за целость всего этого капитала не отвечаем и просим сложить с себя всякое нареkanie.

— Вот это верно, Мамка! — вскричал мой приятель и ударил меня по плечу.

— А то как же иначе? Подумай! У тебя одного более чем на четыреста тысяч считается по спискам, да у меня с лишком на триста — это ведь и волос не хватит.

— Верно, верно! Давай, брат, садись и пиши рапорт, а цифры потом вставим.

Я действительно ту же минуту пошел к столу и набросал черновую, которую Васька взял в карман, а затем, сев на коня, уехал уже поздно вечером, обещаясь приехать порань-

ше утром.

Я позвал Михайлу, сказал суть дела и велел, чтобы он разбудил меня в четыре часа, а завтра приготовил мне белье и платье в чемодан.

— Это, барин, что же за оказия? Только приехали, маленько послужили, да снова и гонят на другое место, — сказал осовевший Михайло.

— Видишь, значит, не ко двору пришелся «хозяину».

— Зачем же это господину К. дают такую волю: что вздумал, то и колобродит. Ну не диво ли!

— Значит, воля начальства, а мы должны исполнять приказание. На то, брат, и служба, а ты вот ступай да и делай, что сказано.

— Слушаю-с, а только все это как-то забавно — одна суматоха! — говорил он как бы про себя, неохотно удаляясь.

Часов около пяти утра я уже был на ногах. К семи смыл шлиховое золото и, напившись чаю, поджидал Кобылина. Он приехал около девяти, принял от меня денежную сумму, все хранящееся в кладовой золото, и мы вместе

уехали на Средний, где последовала таковая же приемка с моей стороны.

Вечером перетащился ко мне Михайло с неизменным Танкредом, привез с бельем и платьем чемодан, и мы поместились в квартире Кобылина, а он отправился со своим скарбом в мои Палестины, оставив мне все свое хозяйство.

В главной конторе, получив наши рапорты, призадумались не на шутку, не зная, что с нами делать.

Утром, тоже около четырех часов, я, пригласив военный караул, отправился в главную кладовую, чтоб взять оттуда бадьи с черными шлихами для отмывки золота. Но надо заметить, что этих бадей осталось от Кобылина одиннадцать штук, о чем он мне сказал при сдаче, а потому необходимо было поторопиться.

Лишь только открыл я кладовую, а рабочие вынесли из нее бадьи, как я заметил, что около палисада дома управляющего, в полном смысле слова, крадется согнувшись К. в своем несменяемом сером пальто. Я нарочно сделал вид будто не замечаю его шпионства и

велел ставить бадьи на носилки.

— Позвольте! — вдруг сказал появившийся ревизор и принялся осматривать подвешенные восковые печати на бадьях.

— Это что же за слушание! — проговорил он, волнуясь и поглядев строго на меня.

Я все время молчал и ожидал, что будет дальше. К., приняв это молчание за сознание проступка, тотчас велел позвать из конторы дежурного, принести бумагу, чернила, перья и потребовал военного офицера, заведующего местной командой. Не прошло и четверти часа, как все это явилось, точно по щучьему веленью, и приглашенные свидетели сгруппировались около кипятившегося К.

— Господа! — сказал он, обращаясь к ним. — Вероятно, и вы все слышали о сделанном распоряжении, как печатать казенный интерес. Так вот не угодно ли вам засвидетельствовать тот факт, что господин пристав не подчиняется этим требованиям и опечатывает бадьи с драгоценным металлом только одной своей печатью, но не по указанному мною способу.

Тут мне стало как-то жалко доверенное ли-

цо генерал-губернатора перед разнородной толпой, собравшейся на улице, а потому я тихо и спокойно сказал:

— Артемий Матвеевич! Да вам не угодно ли будет осмотреть хорошенько печати, чтоб удостовериться в том, что они не мои.

К. тотчас нагнулся к бадьям, внимательно оглядел подвешенные восковые печати и, убедившись, что на их отпечатках были буквы В и К, но не А и Ч, сначала сильно сконфузился, а потом, растерявшись, подошел к кладовой и, видя, что она запечатана уже моей печатью, по всем правилам указанного порядка, спросил:

— А можно отворить кладовую?

— С большим удовольствием, — сказал я, взял от караула ключи и отпер.

Ревизор вошел в первое отделение, посмотрел на печать управляющего, которой было запечатано второе помещение, и, возвращаясь, заметил железную банку, которую я на всякий случай припечатал одной своей печатью. Он полагал, конечно, что в ней хранится золото, а потому обрадовался находке и позвал приглашенных им свидетелей.

— Ну, если не там, господа, так вот тут те же непорядки, что и у господина Кобылина, — сказал он и потянулся за банкой, одиноко стоящей на полке.

Но лишь только К. взял ее в руки, как тотчас почувствовал, что она совершенно пустая, а потому моментально бросил ее на полку и, ни слова не говоря более, выбежал в двери, а затем, уткнув голову в воротник, скоро зашагал к своей квартире.

Все мы стояли в первом отделении кладовой и не знали, что нам делать, посматривая друг на друга. Многие рабочие, громко засмеявшись, хлопали руками по бедрам и острили по-своему.

— Вот так важно, ловко его ошабурило! — сказал один из этой компании и хлопнул в ладони.

— Перестань!.. — закричал я на него, запер кладовую и сказал присутствующим: — Господа! Вам, кажется, нечего здесь более делать, а потому можете удалиться, чтоб доканчивать свой сон.

— Да, это будет гораздо приятнее! — заключил офицер, сделал мне под козырек и пошел

восвояси.

К., ни разу не оглянувшись, поспешно шел к дому; рабочие подхватили бадьи на носилки, и мы отправились к шлиховой на Среднем промысле, помещенной неподалеку от золотопромывальной машины.

После К. уверял своих клеветников, что будто я нарочно проделал такую штуку с пустой банкой, желая его одурачить. Все это взятое вместе имело свои хорошие стороны. К. стал остерегаться и положительно избегал встречи со мной, так что, видя моего коня на работах, уже не заезжал к этому пункту, а старался объехать где-нибудь стороной и заявлялся туда только тогда, когда знал наверное, что меня тут нет. Но я, заметив такое поведение грозного ревизора, иногда нарочно обманывал его тем, что прятал коня или приходил пешком и неожиданно для него встречался с ним на работах. Тогда он по большей части, «не говоря дурного слова», удалялся на другие промысла.

Не знаю, чем объяснить, но у меня уже нередко являлась фантазия побесить этого человека, и вот почему я проделывал подобные

встречи, которые уже замечали все мои новые сослуживцы по промыслу, но молчали и, только хитро улыбаясь, как бы с умыслом подстраивали свидания, зная, что ревизор тотчас стушуетя и оставит их в покое.

Я уже умолчу о многих интригах, некрасивых поступках и разных кляузах господина Халевинского и хорунжего Эрб-са, потому что эти личности никакого вреда мне не принесли, но только еще более раздражали К.

На Среднем я пробыл около двух недель и редко встречался с ревизором, который, как я сказал, или не выносил моей персоны, или просто уж боялся, потому что многие напели ему в уши, что будто бы я нередко выхожу из себя и в этом состоянии могу искрошить его долговязую фигуру.

Нельзя забыть одного забавного казуса в бытность моего служения на Среднем промысле. Около вечера я пошел по работам, но, выйдя из кузницы, тут же стоящей в селении, у самой проезжей дороги, я заметил, что с Верхнего едет К., а потому мне не хотелось ретироваться и, чтоб не показать вида, что я его избегаю, нарочно пошел к нему навстречу. Но

он, завидя меня на дороге, тотчас свернув около первых избенок налево, хотел проехать той тропинкой, по которой ходят пешком только рабочие. Я, как бы предчувствуя катастрофу, остановившись, стал смотреть на него: мне хотелось понаблюдать, как он пройдет по тому месту, где только с трудом проходят по проложенным жердочкам. Но вот не прошло и минуты, как Чубарко оборвался с кладок, попал ногами в трясины, долго в ней бился, а наконец завяз окончательно, вымарав седока грязью и захлупав ему всю физиономию жидкой шмарой. К. до того растерялся, что у него не хватило простого соображения тут же свернуться с седла, чтоб встать на кладушки. Видя эту катастрофу, я тотчас крикнул кузнецов, чтоб они помогли ему выбраться на сухое место. Воображаю, как этот человек проклинал меня в душе за неуместную встречу!..

Очень может быть, что эта самая штука имела влияние на дальнейшую судьбу моего служения на Каре, потому что не прошло и двух дней после такого купанья в болотистой хляби, я совершенно неожиданно и без ка-

кой-либо причины получил опять новое распоряжение, состоящее в том, чтоб я также в 24 часа сдал Средний Промысел кондуктору Томилову, а сам отправлялся на Лунжанкинский и принял его от канцелярского служителя г. Колобова — того самого, который ранее служил на солеваренном заводе в Усолье, вынес разгром К. и, следовательно, был коротко знаком с этой курьезной личностью.

Пришлось снова складываться, чтоб переселиться на новое место, а все хозяйство Кобылина сдать хотя и сотоварищу по службе, но совершенно постороннему человеку. Конечно, я снова тотчас же написал рапорт в контору, что сдал на Среднем и приму на Лунжанкинском промыслах только одну денежную сумму и золото, а за остальное не отвечаю.

Такое перемещение, не сообразное ни с духом наших узаконений, ни с здравым смыслом, ясно доказывало только одно, что мое ближайшее начальство упало духом и как бы автоматически стало исполнять дикие требования ревизора, не думая не только о своих подчиненных, но и о своей как материаль-

ной, так и нравственной ответственности.

Да, но такое ненатуральное служебное положение меня ужасно расстраивало морально, потому что я нигде не встречал точки опоры, кроме собственных убеждений за правое дело, не видел симпатии с перепуга отвернувшихся сослуживцев и не находил поддержки в ближайшем начальстве. И все это ничего, все это я переносил силою воли, силою рас-судка — что нельзя же, мол, ревизору сделать белое черным. Но меня начинала пугать та неотвязная мысль, что «до бога высоко, до царя далеко».

Однако же я, не унывая, горячо молился создателю я, каждый раз после теплой молитвы ощущая благодатное утешение и душевное спокойствие, каждый день как бы укреплялся в своих силах и действиях и получал ту веру, которая говорила мне, что правда возьмет верх над сатанинскими ухищрениями и восторжествует над злом. А с этими убеждениями, как бы вдохновенными свыше, я, уже забывая о всех малодушных, трепещущих и унижающихся пред грубой силой самодурства, весело поехал на Лунжанкинский про-

мысел.

Выезжая в тележке со Среднего, я нечаянно встретил едущего верхом К. Увидав меня, он сначала растерялся и завертелся на седле, а потом, точно с участием, сказал:

— Куда это вас потянуло?

— Поехал в тартарары, Артемий Матвеевич, исполняя волю начальства.

— А-а!.. — протянул он многозначительно и, остановившись, иронически проговорил: — Что ж, не теряйтесь только сами.

— Об этом не беспокойтесь, за себя постою и надеюсь на господу. А если и упаду, так вас поднимать не попрошу, — ответил я твердо и велел ямщику трогаться.

— Смотрите, ведь не все храбрецы получают Георгия...

— Да, это верно! Их достояние — честный крест и славное имя в военных летописях, но не презрение и проклятие сотоварищей.

К. хотел на это что-то сказать, но я уже проехал и видел, как он, задержав коня, повертелся на месте, а затем отправился шагом к Среднему промыслу.

Проводив его глазами, я действительно

чувствовал только одно омерзение к этому зловредному человеку, совершенно забывая о том, что ревизор с таким полномочием в самом деле птица большая, а я червяк в сравнении с ним, в сравнении с ним, лицом таким!..

## IX

Лишь только приехал я в Лунжанки, как тотчас же, уже вечером, отправился на работы, где еще шла промывка золота. Предместника моего, г. Колобова, получившего такое же предписание, как и я, мне не пришлось застать дома — он еще с утра уехал на Нижний промысел, чтоб принять управление.

Заявившись на работу и взойдя на промывальную машину, я встретил тут всех служащих, которые уже знали о моем назначении, а потому караулили и приоделись по форме. Прежде всех меня лично встретил заслуженный старик, штейгер Чугуевский, с «большой золотой медалью» на шее. Он сейчас же отпартовал мне о состоянии работ и познакомил, или лучше сказать, представил подчиненных ему служащих лиц на разрезе и машине.

Ознакомившись с ними и осмотрев рабо-

ты, я невольно заметил, что все настоящие сослуживцы, с Чугуевским во главе, окружают меня и хотят о чем-то просить, как нередко это бывает при появлении нового начальства.

— Что вам, господа, угодно? — спросил я, обращаясь к Чугуевскому.

— Имеем до вас покорнейшую просьбу, — сказал он, волнуясь.

— Извольте, я к вашим услугам и слушаю.

— Помилуйте, ваше благородие! — начал он, переминаясь на месте. — Кому мы служим? Кажется, тому же государю императору, как и господин К. Я за сорок лет службы имею знак беспорочного отличия, а господин ревизор словно потешается над нами и позволяет себе не только непристойно браниться, а дратья, как последний рабочий у питейного заведения.

— Да в чем же дело? Расскажите, пожалуйста! —

— И смею вам доложить, господин поручик, что если он, к слову сказать, дерзнет коснуться до меня лично, то я за себя не отвечаю, а у меня семья, в каторгу идти неохота, нагладился я на нее за сорок-то лет... А вы, ваше

благородие, — наши начальники, защитите!

— Да в чем же дело, Чугуевский? Я пока ничего не понимаю.

— А извольте видеть, вчера господин К. приехали сюда на вечернюю смывку и велят смывать серые шлихи на пирамидальном вашгерде на малой воде. Я доложил, что этого невозможно, и снос (золота), значит, будет, и людям не под силу. Они изволили осердиться, обругали меня непристойными словами и велели запереть воду...

— А, понимаю. Этого К. требовал и на Верхнем, но Я не позволил...

— Точно так, ваше благородие, — перебил он меня. — Мы об этом слышали. Да и допустить никак нельзя, потому что шлихов не проворотишь, а золото все спустишь.

— Ну, хорошо, Чугуевский, а что же дальше?

— Ну, значит, когда сбавили воду, то промывальщики и стали в пень, руки и ноги у них задрожали, проворотить не могут, выбились из сил, говорят, не можем. «Врете, мол, подлецы, притворяетесь!» — закричал он да и давай их хлестать по морде. Тут, значит, за-

ступился за них унтер-штейгер Жилин и говорит: «Помилуйте, ваше высокоблагородие, я сам бывал промывальщиком, знаю: а ведь и конь не повезет против силы». Тогда господин К. так на него осерчали, что вышли из себя, затопали ногами, заплевались, а потом поймали (взяли) вот эту самую гальку и ударили Жилина в скулу, так что он упал и закричал лихоматом. А господин ревизор стали пинать его ногами. Мы испугались, не знаем, чего делать, глядим, а у Жилина кровь полила, как из барана, и два зуба выпали на пол...

— Что за варварство! — сказал я невольно.

— Точно так, ваше благородие. Вот извольте посмотреть на эту самую гальку — ведь она фунта четыре потянет. А вот и зубы, и кровь на помосте.

Тут Чугуевский показал мне окровавленную гальку, засохшую кровь на помосте машины и вывернул из красненького платочка два выломленных зуба.

— Неужели все это так было? — спросил я, как бы недоумевая и соображая, что мне делать и что сказать в утешение так дерзко обиженным сослуживцам.

Тут выступил с машины молодцеватый казачий урядник, приложил руку к виску и громко сказал:

— Точно так, ваше благородие! Все это случилось при мне; я тут, по своей обязанности, был на смывке золота и все это видел своими глазами, в чем могу засвидетельствовать хоть под присягой.

— Хорошо, любезный, спасибо! — сказал я и спросил Чугуевского: — А где же был в это время господин пристав?

— Тут же стояли-с, да, должно быть, оробели, а когда что-то тихонько сказали, то господин К. и им в лицо наплевать изволили.

— Может ли это быть?

— Точно так, господин поручик! Известное дело, они ведь человек забитый, — боятся. Значит, еще в солеваренном заводе крушение поимели.

— Ну все-таки, что же он сделал за такую дерзость?

— А ничего-с, только обтерлись да всплакнули потихоньку.

— А где же теперь Жилин?

— Его еще вчера в лазарет отправили.

— В какой?

— На Нижний промысел, господин поручик.

— Хорошо. Ну так вот что я скажу вам, господа, всем: согласны ли вы помочь мне в случае надобности?

— Согласны, согласны, ваше благородие! То есть в одно сердце не дадим в обиду, — вскричали все служаки и сияли шапки.

— Так слушайте же: даю вам честное слово русского дворянина, что если господин К. приедет еще сюда и позволит себе что-нибудь вроде того, что случилось, то я прикажу его связать и представлю за полицейским приглядом, при рапорте в контору, как сумасшедшего. Поняли?

— Благодарим покорно, ваше благородие! — вскричали все в один голос, надевая шапки.

— Вот так ловко! — сказал один промывальщик. — А мы его скрутим по-свойски, то есть во как!..

— Это, Сидорка, не твое дело, и ты молчи, мы и без тебя управимся! — заметил ему довольный Чугуевский...

Понятное дело, что всю эту историю К. узнал через несколько часов от своих клеветников и призадумался не на Шутку, потому что я его поступок занес в журнал и мне хотелось донести о саморучных варварствах ревизора в контору, но знал, что там положат такое донесение под сукно и что ему не дадут не только никакого хода, а еще, пожалуй, меня же сочтут за сумасшедшего, почему оставил все это на случай да поджидал К. к себе в гости. Я очень хорошо сознавал, что погорячился в данном ответе служакам, но «слово не воробей» — его не поймаете. И в это же время я все-таки чувствовал, что исполню его буквально при первом вызванном толчке, не помышляя о том, что из этого пива может выйти.

Однако же высказанная мною мера имела такое сильное влияние на «всемогущего» ревизора, что он с этого дня, что называется, ни ногой на Лунжанкинский промысел, тогда как ездил почти каждый день.

И с этой поры я уже не видал знаменитого К.

Он, как говорят, был того мнения, что я на-

рочно подстрою какую-нибудь штуку, чтоб только исполнить данное слово. И тем лучше, потому что я, оставшись в покое, уже не лице-зрел его особу. Но после этого случая мне пришлось убедиться в том, что производство следственного дела пошло ожесточеннее, с ясно предвзятою мыслью. Да кроме того было видно, что все вопросные пункты повелись не Мусориным, но самим К. Убедившись в этом по самому слогу речи, я тотчас поставил такое противозаконие на вид и донес, что при подобном случае ответов давать не стану, пока не назначат другого следователя. А когда меня наивно спросили, — что вовсе не подходило к делу, — почему я взвешивал «в одиночестве» пробные капсули с золотинками от шурфовки, то я, объяснив всю несообразность подобного вопроса, спросил сам: на каком основании г. К. был на Верхнем в такие-то числа, дозволил себе взять с разреза пробное шлиховое золото, примерно до 8 или 9 золотников, и куда он таковое представил? Кроме того, я доказательно выяснил, что найденное на вашгерде золото есть ничто больше, как с умыслом подстроенный курьез, потому что

довольно крупные золотины физически не могли попасть под шлюзовую доску естественным образом по ходу операции и что у меня есть факты для доказательства того, кого научил К. исполнить этот гнусный «подвох».

Так как капсуль с этим найденным золотом хранился за нашей общей печатью, то есть моей и К., и подменить золотины было уже нельзя, а небольшой документ с синим карандашом руки К. лежал у меня, то все дело могло принять очень серьезный и обратный характер.

После такого заявления следственное дело К. тотчас прекратил, а взятое на сковородке золото немедленно представил в главную контору.

К моему счастью, промывка песков на Лунжанках остановилась по маловодью речки, убогости золотосодержащих песков и неимению плотины, а потому я достал с Верхнего все свои ружья и начал охотиться в свободное от занятий время. Ко мне несколько раз приезжал Кудрявцев, так что я с ним наверстывал на охоте чуть не все, что потерял в борьбе

с пресловутым ревизором. Почувствовав эту свободу и независимость от злонамеренного Артемия Матвеевича, я скоро окреп нравственно и физически, так что готов был или простить, или на жизнь и смерть схватиться с К. за все его оскорбления.

Во все это время я совсем не ездил на Кару, да и во мне никто уже не заглядывал, потому что ревизор все еще гремел на остальных промыслах, а все мои сотоварищи ежедневно состояли под его опекой, что и продолжалось до первых чисел сентября.

Так как все арестанты Лунжанкинской тюрьмы были переведены для усиления работ на Кару, а вольная команда занималась только «надворными» работами и ставила для промысла сено, то для меня открылось свободное поле: я мог как бы официально пользоваться охотой хоть каждый день, что почти так и было на самом деле.

Да, слава богу! Тут я, отделавшись от влияния и созерцания К., мог бы, заканчивая эту главу, закричать в услышание всех моих терпеливых читателей громогласнее «ура», но я пока воздержусь от такого радостного возгла-

са, так как до настоящего финала еще далеко, а потому побеседую о том, как мне досталось поохотиться в это уже счастливое для меня время.

## Х

Подошел август, начали перепадать небольшие дождички, так называемые «ситнички» или «сеногной», и настал козий «куктэн» (то есть козья гоньба), а с ним козлухи, почувствовав общий закон природы, стали уже «гнаться». Веселое это время для сибирского промышленника! Тут он забывает все свои недосуги и, отдохнув от весенней охоты, нередко целые дни проводит в тайге, подкарауливая или гоняясь за рогатыми кавалерами. К чести зверовщиков надо сказать, что они бьют преимущественно козлов, конечно, если только есть выбор между брачующейся парой.

В это время я почти каждый день ездил на покосы, где, неоднократно ночуя, охотился по окрестным горам и падушкам за козулями, молодыми рябчиками, кополятами, а по озерам и речке за молодыми утками. Бывало, рабочие только и ждут моего приезда, зная, что

как появится «барин», то и их накормит свежинкой. Это заставляло некоторых тружеников подыскивать места, обильные дичью.

Не забуду я, как однажды, ночуя у них в балагане, рано утром услышал характерные звуки хрипа гурана (козла), который неистово гнал неподдающуюся его ласкам матку. Я тотчас босиком выскочил из балагана, увидел в кустах козла, бешено гонявшегося за козлухой, схватил тут же стоящую, на всякий случай, винтовку и убил матку. Лишь только она сунулась в траву, как обазартившийся гуран, вероятно в пылу страсти не слыша моего выстрела, ту же минуту подскочил к ней, начал ее бости (бодать) и, согнувшись, припадать к ее заду. Тут на звук выстрела выскочили из шалаша рабочие, но я их остановил, зарядил моментально винтовку скороспелкой (то есть прокатной пулей), подбежал несколько ближе и убил сладострастного кавалера.

Так как я был в совершенном «дезабиле», то, вымокнув от холодной росы, до того замерз, что едва заскочил в балаган и тотчас завернулся в полушубок.

Рабочие с триумфом притащили козуль,

развели огонь, наварили чаю, оснимали убоину, нажарили на прутках мяса, и мы отлично позавтракали. Ну как тут не забудешь все предыдущие тяжелые дни, а с ними и злорадствующего К., эту язву в человеческом образе...

Пользуясь свободой, я заказал на Верхний Кудрявцеву, чтоб он собрался на охоту и выехал ко мне в определенное число на лунжанкинские покосы. Взяв с собой Михайлу, который хотел пострелять уток, как дока и любитель этой охоты, я, отъехав в условленный день к знакомому балагану, встретил в нем старика, приехавшего туда еще накануне.

Надо заметить, что Кудрявцев давно уже собирался свозить меня к устью речки Джинды, говоря, что там много крупного зверя и пропасть козуль. Я напомнил ему об этом обещании, но Дмитрий стал говорить, что теперь ехать туда неудобно, далеко и топко, а обещал повозить меня несколько поближе и «посполитичнее», как он выражался.

Мы собрались, взяли с собой провизии дня на три и, напутствуемые добрым словом рабочих, весело отправились по таежной тро-

пинке. День стоял отличный, так что мы скоро добрались до какого-то узла гор, где множество небольших ложочков и мелких падушек, поросших кустарником и лесом, пересекали друг друга. Мы видели в них несколько гоняющихся козлов, но все как-то неудачно, так что уже к вечеру убили только одного гурана. Зато я настрелял много молодых рябчиков и нашел целый выводок уже поматеревших глухарят. С ними пришлось повозиться почти до самых потемок, так что нам довелось остановиться у какого-то ключика и ночевать под открытым небом.

Мы насобирали сушняку, развели огонь, наварили чаю, превосходной похлебки из рябчиков, хорошо закусили и улеглись спать. Но с полночи небо стало затягивать тучками, звездочки исчезли, а к утру начал накрапывать мелкий, но холодный ситничек. Надо заметить, что еще с вечера наши стреноженные кони худо ели, все озирались, прядали ушами и похрапывали, а дедушкин Серко был крайне беспокоен и ворчал. Все это заставило нас быть осторожными, так что Дмитрий, отвязав его с поводка, отпустил на волю.

Он несколько побегал по окрестности, но скоро вернулся и все-таки, постоянно озираясь, изредка ворчал потихоньку.

— Тут кто-то есть, дедушка! — сказал я, прислушиваясь.

— Да как нет, вишь, кони и кобель насторожке.

— Неужели медведь?

— Если медведь, так черт с ним — уйдет. А вот хуже, как варнаки караулят. Они, брат, пугивали меня пуще всякого зверя. Помнишь, я тебе сказывал?

— Помню, как мне не помнить. Да оно, брат, записано.

— Как записано?

— Да так, значит, и записано в тетрадку, чтоб после напечатать, коли доведется.

— В книгу?

— Что ты, барин, сдурел, что ли? Да кому это нужно?

— Как кому? Ведь это всякому охотнику интересно, какие случаи бывают в Сибири.

— Ну, брат, наплюют они на такие самые случаи. У них там, в Расее, поди-ка, не экия оказии встречаются.

— Э, нет, дедушка! Там и места не такие, и порядки не те; а тут — видишь, какая пустырь.

— Ну, да это верно, что пустырь, — одно слово тайга; иной раз едешь неделю, ай в глаза человека не свидишь — одни горы да небо. И умереть доведется, так и обмыть некому, не то что похоронить. Так и растеребят воронье, а либо звери.

— Ну вот то-то и есть, а мы теперь что будем делать?

— А что делать, — кобель-то на воле, он, брат, не пустит, и-и! Боже сохрани! Как увидит, так и за глотку. Спи с богом, — сказал он, завертываясь крестьянской шинелью.

Я перекрестился, приткнулся головой к седлу, но долго уснуть не мог. То я прислушивался к окружающей лесной тишине, то к хруму лошадиной поедки и их поскакиванию по траве, то посматривал на горевший огонек, и этот последний прием усыпил меня незаметно.

Под ненастью мы утром немного проспали, особенно я, так что ничего не слышал, как поднялся старик, как он подложил огонек и

сварил чай.

— Вставай, барин! Будет спать-то, — сказал он ласково, трогая меня за ногу.

Я соскочил, натянул сапоги и сходил к ключику, чтоб умыться да попить свежей холодной водички.

Дождик бусил и помаленьку смочил всю тайгу, так что всякая задетая веточка обдавала холодными брызгами, а собравшиеся на листочках капельки то блестели, то казались как бы жемчужинками.

— Это, дедушка, скверно, что так заненастило, — сказал я, возвращаясь и утираясь платком.

— Что поделаешь, на все воля господня! Ничем в небе проточины не заткнешь. А вот садись-ка лучше да испей чайку, а оно, может, и выяснит. Вишь, вон с того угла продирать будто стало, — говорил он, обуваясь и указывая на небо.

Я, помолившись к востоку, надел пальтишко и подсел к чайнику.

— Кто же это, дедушка, был около нас с вечера?

— Однако, барин, медведь. Я ведь потом

слышал, как вон там потрескивало.

— И я слышал, да думал, что так трещит в огоньке.

— Ну нет, в огне хоть и трещит, но не этак. Под зверем всегда как-то похрупывает, да тут же и заминает, словно в перине, а нет — так уж так щелкнет, что инда гул пойдет по тайге, особенно ночью, когда зверь идет без опаски.

Пока мы пили чай и укладывались в походные сумки, начал подувать ветерок, так что разорванные тучки бойко погнало по небу, дождик брызгал по временам, зато появилась капель с листвы, но все-таки нам казалось, что погода разгуляется к лучшему, а потому мы, заседлав лошадей, поехали дальше. Старик прикрепил Серка на поводок к седлу, и он всю дорогу потягивался, понюхивая в сторону, но шел бодро и тихо.

Я, закурив походную трубочку, лишь только сторожко поглядывал по кустарникам и молчал, обдумывая свои служебные неприятности. Но вот мы стали спускаться по тропке под горку, а разгулявшийся ветер так начал покачивать всю тайгу, что деревья то сильно

скрипели, то гулко пощелкивали, шумя и качаясь своими мохнатыми вершинами.

Вдруг мой милейший ментор, ехавший шагом впереди меня, моментально остановился, поспешно, но тихо свалился (слез) с коня и сдернул с плеча винтовку.

Увидав эту штуку, я тотчас машинально посмотрел под горку и тут же заметил, что впереди нас, по той же тропке, спускается медведь, не далее как в 20 или 25 саженях от старика.

Я ту же минуту также тихо свернулся с седла и заметил, что Кудрявцев порывисто манит меня к себе. Бросив поводья и запихнув чембур за пояс, я тотчас тихонько подскочил к нему, но он уже поставил винтовку на сошки и ждал только меня.

— Закрой, пожалуйста, хоть шапкой мне полку, чтоб ветром не сдунуло да капелью не вымочило, — сказал он чуть слышно и не глядя на меня, но, видимо, не спуская глаз с медведя.

Я моментально сдернул с себя шапку, накрыл ею курок «самодельной»[28] дедушкиной винтовки и утимился на зверя. Он, види-

мо, ничего не подозревая, все так же тихо шел под горку и как-то особенно неуклюже переваливался задом.

Но вот раздался резкий «с захлебом» выстрел винтовки, и медведь ту же минуту сунулся на морду, потом приподнялся, захарчал, но снова уткнулся носом в тропинку.

Лишь только Кудрявцев выстрелил, и я ту же секунду приготовился к выстрелу, но конь мой от сильного «голка» шарахнулся в сторону, выдернул у меня из-за пояса чембур и бросился с тропинки, а затем, отбежав несколько сажен, остановился, храпнул и тихо заржал. Дедушкин же Гнедко стоял как вкопанный в землю, — он только слегка ответил подавшему голос товарищу, как бы советуя ему не убежать и остановиться на месте. Зато Серко сильно рвался на поводке, оцетинился до самого хвоста и визжал, горя нетерпением сразиться с мохнатым зверем. Дмитрий, сдернув его с поводка, уськнул и, затопав ногами, закричал: «Возьми, возьми его, толстопятого!» Собака моментально подскочила к медведю, сначала понюхала, потом, вцепившись ему в ухо, замерла в злобной хватке. Поэтому надо

полагать, что, вероятно, в это время медведь был еще жив и, должно быть, шевелился в предсмертной агонии.

Кудрявцев, сняв шапку, набожно перекрестился, а потом, достав из-за пазухи пороховницу, начал «заправлять» свою «старуху».

— Что ж, нужно дострелить или нет? — спросил я Кудрявцева, уже весело посмеивающегося.

— Нет, барин — нашто. Видишь, что сразу потрафил.

— А как соскочит?

— Небось не соскочит теперь, упокоился сердешный.

— Ну, а если он притворяется?

— Досуг ему притворяться, как собака на шее. Вишь, как вцепилась, словно пропала (умерла).

Потихоньку поймав моего коня, мы привязали лошадей к деревьям и все-таки с ружьями пошли к медведю, Зверь уже лежал на левом боку, дыхания никакого, только последним импульсом жизни еще не остывшего трупа как-то перебирало всю его шкуру.

Убедившись, что зверь «уснул», мы стали

искать: пулю, но меня, как молодого охотника, занимало еще многое, так что я принялся подробно осматривать глаза, зубы, лапы и прочие части только что убитого медведя.

— Брось его, барин, оглядывать — нехорошо, — сказал тихо Кудрявцев и несколько отвернулся.

— Вот тебе раз! Это почему же нехорошо? — спросил я, заинтересованный.

— Да так, барин, не следует по нашим мужицким приметам.

— Да почему же, дедушка, не следует? Вот ты и объясни.

— А старые зверовщики не велят этого делать из опаски: вишь, он зверь самый ехидный — ну и того, значит, не надо, — чтоб напрок не поувечил, а поблагодари господа да и снимай шкуру, ничего не одумывая. Вот тогда и выглядишь все, уж попутно... А теперь вот давай-ко да помоги мне поворотить зверя.

— Та-а-ак, понимаю! — вырвалось у меня невольно, и я спросил: — А ты, дедушка, куда его метил?

— Да вот брал по хребту, в самый загривок, тут и надо смотреть, а оно на ходу, ну и

неловко.

— Ну хорошо, Дмитрий! Оглядывать зверя нельзя, а почему же рану, по-вашему, осмотреть можно?

— Тут, значит, смерть причинилась, это ничего; а зубы да лапы ведь целы — ну, оно и того, неудобно.

— Гм! Все у вас причуды какие-то, точно буряты.

— Да чем мы лучше их? Все едино промышленники! от них же, поди-ка, и заразились все наши праотцы, а за ними и мы, значит, суеверствуем, — вот что! И за это не обесудь: так мы родились, так и умрем, а там воля господня!

Пошарив руками по спине зверя, мы тотчас увидела отчасти запекшуюся кровь против лопаток, а долго провозившись над снятием шкуры, мы уже убедились, что пуля попала почти в самую середину позвоночного столба, преодолела его немного наискось позади лопаток, а выйдя в грудь, сплюснувшись и завернувшись баранком, задела верхнюю часть сердца. Около нее была масса запекшейся крови, так что мы едва отыскивали

маленькую виновницу, почти моментальной смерти от столь удачного выстрела.

Когда мы сняли шкуру, мне захотелось покурить, — не увы! — трубки моей нигде в карманах не оказалось. Припоминая всю эту историю, начиная с нечаянной встречи, я хорошо помнил только одно, что курил, а куда девал трубку в нужный момент — память мне решительно изменила. Мы уже вместе стали искать ее около лошадей, но все наши поиски были напрасны, а потом я как-то случайно увидел «оправу» серебряной крышечки под кустом, за дорожкой. Тогда только мне пришло на память, что в момент соскакивания с лошади я бросил ее наотмашь в сторону, побоявшись с огнем запихнуть за пазуху.

Расправленная шкура медведя оказалась мерою в одиннадцать четвертей от хвоста до носа. мех довольно густой и черный, но без серебристого «нацвета», который так часто бывает на осенних и зимних мехах.

Надо было видеть, с какой осторожностью и аккуратностью Кудрявцев вынимал медвежьей желчь, чтоб сохранить ее в целости и увезти домой. Как известно, она играет боль-

шую роль в сибирской народной медицине. Сала оказалось немного. Старик, собирая его в сухарный мешок, застуживал в холодном таежном ключике. Чтоб не подпарить свежую теплую шкуру, при доставке в тороках, Кудрявцев растянул ее на кусты, на ветер и ждал, пока она подбывает (то есть подсохнет, подберется), так что в это, свободное уже время мы развели огонек, сварили похлебку, «выпили» и, уже хорошо пообедав, отправились в обратный путь. Добравшись до сенокосных балаганов, Кудрявцев распротился со мною и свернул на дорожку к Верхнему промыслу, а я отправился в Лунжанки.

Я приехал домой уже к вечеру, и меня встретил улыбающийся Михайло и прыгающий от радости Танкред. Первый был доволен утиной охотой, а второй как по тому же случаю, так и по той причине, что вернулся его хозяин, от которого пахло смесью разной дичи. Он особенно прилежно обнюхивал мое пальто и панталоны, а от них несло козулятиной и медвежиной. Умная собака пристально смотрела мне в глаза и точно спрашивала: рябчиков, глухарей и козла я видела, а где же

тот, которым пахнет больше всех, но его тут нет? Танкред, все еще вопросительно поглядывая на меня, не удовлетворился моими ответами. Нет, он долго еще ходил по всем углам, отыскивая то, чем так сильно пахло от моей одежды. Он даже несколько раз отправлялся к лошади, чтоб обнюхать ее и седло. А дело в том, что я не взял от старика медвежину, и он увез ее на Верхний.

Долго-долго проговорили мы с Михайлой, передавая друг другу впечатления удачной охоты, а вместе с тем не один раз благодарили господу за то, что нам довелось пока отделаться от К. да отдохнуть и насладиться охотой.

Но вот после ужина Михайло рассказал мне довольно курьезную штуку, курьезную уже потому, что читатель, знакомый с этим человеком, знает по предыдущим моим воспоминаниям, что это личность неглупая, крайне смелая, не верящая ни в какую сверхъестественную силу, а тем более чертовщину. Между тем дело в том, что этот самый Михайло просил меня объяснить ему, что за причина, что сегодняшнюю ночь в нашем до-

ме произошла непонятная история. Когда он, закупорившись кругом на болты и засовы, улегся спать, то вдруг услышал, что в сени с чердака кто-то бросил полукирпичом и так сильно, что разбил на куски. Михайло встал, зажег фонарь, слазил на чердак, но не нашел никакой причины, могущей произвести этот курьез. Надо заметить, что лунжанкинский дом пристава был очень невелик и крайне простого расположения. Он состоял только из двух комнат, выходящих фасадом на улицу. В них вела одна входная дверь из обширных сеней с одним же выходом на дворик и соединяющихся с кухней, стоящей несколько выше по нагорной местности. Как комнаты, так сени и кухня были покрыты одной общей крышей по изобной архитектуре, так что ее лоб выходил обыкновенным простым, русского стиля, фронтоном на улицу, а другим концом во двор и огород. Во всей крыше и фронтонах не было ни одного слухового окна, потому что сени, между комнатами и кухней, потолка не имели, следовательно, в них надобности не было. В сенях, к задней стене, находились две небольших кладовушки и стояли две лесен-

ки. Одна из них вела на чердак, на комнаты, а другая — на кухню. По ним зимою залезали истопники, чтоб, кроме внутренних печных вьюшек, закрывать вьюшки в трубах, а всех печей во всем доме было только две — одна голландка в комнатах и одна русская, с камельком, в кухне. Вот и вся премудрость постройки лунжанкинского дома.

Из этого ясно видно, что во весь дом можно было попадать только через одни двери из дворика в сени, а они всегда запирались на ночь на ключ и затыкались изнутри крепкой запоркой. Все окна как в комнатах, так и в кухне на ночь постоянно закрывались ставнями, со сквозными болтами вовнутрь.

Значит, в закупоренный со всех концов дом никому и никак попасть было нельзя. Если бы захотела пробраться кошка, то и она бегала бы только кругом с улицы, но не попала вовнутрь.

Во всем доме мы жили только вдвоем — я да Михайле, а днем приходила старуха стряпка, которая готовила нам обед и ужин. Кругом дома и во дворе полагался сторож, но он, по обыкновению, спал, прикурнувшись где-ни-

будь на дворе или в конюшей особой избе. Я спал обыкновенно один в комнатах, а Михайло в кухне.

Выслушав рассказ своего денщика и того смертного, которого называют Фомой неверным, я, конечно, ничего не мог ему объяснить и, не думая о чертовщине, улегся спать, зацелкнув входную дверь из сеней в комнату на крючок. Когда же ушел Михайло, то я слышал, как он запирает дверь со двора в сени на замок и засунул запорку.

В доме воцарилась полнейшая тишина, но я вертелся на кровати и никак не мог заснуть — мне все представлялась картина нашей ночевки в лесу, дедушкины замечания и наконец, со всеми подробностями, встреча с медведем, убой зверя и вообще уже описанная выше история. Как я ни старался уснуть, но живость сильных впечатлений брала верх над организмом, так что я не один раз закуривал папиросы, ходил в адамовом костюме по комнате, принимал воздушные ванны, но все-таки, ложась, уснуть не мог. Далее я слышал, как ночной сторож, сидя на моей заваulinке у дома, высекал огонь для своей носо-

грейки да мурлыкал какой-то излюбленный им мотив. Но вот я слышу, что будто кто-то прошел по чердаку над моим потолком, а затем что-то грохнуло на пол в сени, разбилось и куски покатались в разные стороны. Я ту же минуту соскочил с кровати, надернул туфли, но в это же время услышал, что из кухни отворилась дверь, а сторож забил в трещотку и потом начал громко произносить: «О, господи, с нами крестная сила, во имя отца и сына и святого духа. Аминь!»

Танкред, спавший около моей кровати на ковре, тотчас поднялся, весь оцетинился и заворчал, а глаза его загорелись, как у волка. Я ту же минуту чиркнул спичку, зажег стеариновый огарок и вышел в сени. В них стоял уже Михайло в одной рубахе с фонарем в руках и рассматривал разломанные от кирпича части.

— Ну что, барин, слышали? — спросил он как-то озадаченно.

— Слышал. Что ж это за штука?

— А кто ее знает, вот и вчерашнюю ночь случилась такая же оказия.

— Ну-ка, Михайло, дай, пожалуйста, мне

хоть запорку, да полезем наверх, посмотрим, кто это потешается.

Он выдернул из дверей крепкий березовый засов, подал мне, и мы по лесенке забрались на чердак, обходили и обшарили все углы, но никого, кроме нескольких кирпичей около трубы, не нашли. Точно таким же манером, мы залезли на кухонный чердак и так же подробно осмотрели все его помещение, но и на нем я увидел только один скат неоконченных колес, худое корытце да десятка полтора подвешенных на жердочке веников.

Сойдя опять в сени, мы лишь посмотрели друг на друга да похлопали по бедрам руками. Но Михайло, отворив дверь из сеней, позвал к себе старика сторожа.

— Ты, дедушка, никого не видал? — спросил он его.

— Нет, родимый, никого не уприметил, а только, значит, и слышал, как будто кто прошел в сапогах по подволоке, да что-то полетело оттулево на пол, а потом точно кто соскочил с крыши, почитай, у самых моих ног. Я испужался, да вот и забил в трещотку.

— Ну ладно, дедушка, иди с богом, — ска-

зал я, велел Михаиле затворить дверь и ушел в комнату...

На другой день, призвав надзирателя, я попросил его немедленно послать человека, чтоб он все убрал с чердаков да очистил их под метлу. Все это исполнилось буквально в этот же день, и мы на следующую ночь совершенно спокойно отправились спать по своим местам. Но в этот день я нарочно перед сном выкупался, так что заснул очень скоро.

Как вдруг я почувствовал, что меня будто кто-то толкнул в плечо и сказал: «Вставай!» В это время Танкред, бросившись к другой комнате, громко залаял. А в ту же минуту я опять услышал, что кто-то точно пробежал по чердаку и затем, как вчера, полетел кирпич на пол в прилегающих сенях.

— Что за диво! — проговорил я, надернул халатишко, туфли и выскочил в сени, но в них было темно, так что пришлось воротиться, зажечь свечку и позвонить на кухню.

Вышел заспанный Михайло и, к удивлению моему, рассказал мне почти дословно то же, что сейчас сказал я. Его также будто кто-то будил да кричал: «Вставай!» Он впопыхах

соскочил с кровати, но потерял спички, проискал их до тех пор, пока я вышел с огнем. Увидав сквозь щели дверцы свет в сенях, он сильно испугался и подумал, что мы горим. Только выйдя из кухни, он несколько успокоился, убедившись в том, что сени осветил я.

— Ну, а ты слышал, как я тебя звонил и как полетел опять кирпич на пол?

— Нет, барин, звона я не почувял, но слышал спросонья один стук, так вот и теперь не могу разломаться...

Мы опять, вооружившись запоркой, полезли на чердаки. На них было уже выметено так чисто, что по земле не замечалось никаких следов, а обозначались повсюду только полосы от прутьев метлы. Но в старой трубе, над моими комнатами, с угла был свежо выломлен почти целый кирпич. Обшарив все углы и не найдя ничего более, мы спустились в сени и опять, подозвав сторожа, спросили, что он слышал?

— А ничего, барин-батюшка, не слышал я сегодня, но только угрог, как у тебя в горнице залаял Танкредко да как вы с огнем заходили по сеням.

Мы рассказали старику снова повторившуюся историю. Он тихо и глубокомысленно заявил нам, как бы по секрету, что «это» бывает в нашем доме всякий раз, как только живущий в нем человек «непрочен», то есть живет ненадолго и должен из него выбраться.

— Ну, а ты почему же об этом знаешь? — спросил я его.

— Да вот уже более десяти годов, ваше благородие, как я нахожусь в сторожах при этом самом доме, так попривык маленько, знаю.

— И долго так колобродит? — спросил старика уже Михайло, лукаво посмеиваясь.

— Нет, кормилец, недолго. Вот подичает раза два-три, да и будет, больше не станет.

— Неужели, дедушка, это правда? — сказал я, недоумевая.

— И все так живет. Да ты, батюшко-барин, спроси кого-нибудь поумней меня, так тебе тоже и скажут: здесь все об этом знают. Значит, как только «хозяину» жилец не в поглядку, вот он и буровит, вот и почнет выживать из дому. Ну, а если к житью, то ничего — не гонит с фатеры...

Положим, что я знал без всякого «хозяина»

или домовою кикиморы, что долго служить в Лунжанках не буду, тем не менее факт бросания кирпичей и прочего мы объяснить себе не могли ничем. И, как бы сдавшись на слова старика сторожа, успокоились. Спали мы также по-прежнему, всякий в своем углу, и ничего подобного уже не слышали.

Когда впоследствии мне довелось принимать у себя в доме, в Алгачинском руднике известного епископа Евсевия, то мне пришлось к слову рассказать ему этот курьез. Святой отец, выслушав меня до конца, только пожал плечами, посмотрел на образ и тихо, как-то пастырски сказал:

— А ведь вы, вероятно, слышали, что было сказано Горацию?

— Да, владыко, читал об этом не один раз.

— Ну вот вам и объяснение... Жаль, что мне нет свободного времени, а то я мог бы рассказать, что однажды случилось со мной, когда уже я епископствовал... Мне и теперь такая штука необъяснима... Разве когда умру, так узнаю...

Зная епископа Евсевия как светлую и образованную личность, в чем я имел удоволь-

ствие убедиться лично, принимая и чувствуя такого дорогого гостя в своей квартире в 1857 году, в Култуминской руднике, мне крайне хотелось слышать из его уст о случившейся с ним оказии, но владыке подали лошадей, он заторопился, подарил мне несколько экземпляров книг своего сочинения, благословил, как сына, и уехал далее по своей бесконечной епархии.

Не предугадывая финала так интересно начатого рассказа, сколько раз я потом ругал себя за то, что не смекнул и не задержал подачу лошадей, а это было возможно, потому что вполне зависело от меня, как пристава рудника: стоило только, под видом поторапливания запряжки, выскочить из комнаты и шепнуть кому следует, — значит, не судьба!

## XI

Все еще останавливаясь на жизни в Лунжанках, мне желательно познакомить читателя с одним довольно курьезным казусом, случившимся со мной на охоте. Хотя я и говорил о нем в своих «Записках охотника», но полагаю, что не все собраты по ружью с ними знакомы, а потому позволю себе повториться,

чтоб охарактеризовать те случайности, которые возможны в Сибири, а тем более в «ка-торге», где всегда необходимо держать ухо остро, чтоб быть готовым на всякую встречу.

Однажды ходил я рано утром по небольшой, но густо заросшей падушке и высматривал козуль, начавших гоньбу (течку). Утро было ясное, жаркое. Тут мне удалось увидеть одного гурана, который гнал матку и юркнул в кусты саженьях в семидесяти выше меня. Я поторопился и побежал к тому месту, как вдруг, не пробежав и 15 сажень, услышал шорох в кустах, и мне показалось, что там кто-то шевелится. Я остановился, быстро приготовился к выстрелу, но стал прислушиваться и вглядываться в то место, где мне что-то «помаячило», по выражению зверовщиков. Долго стоял я в таком положении, не мог узнать причины шороха и хотел уже идти далее, как шорох слышался снова, и я увидел в кусту, над самой землей, что-то зашевелившееся. Я приложился и хотел уже выстрелить, но остановился, чтоб, хорошенько высмотрев зверя, вернее посадить пулю. Призрак опять пошевелился, — и я снова приложился и опять не вы-

стрелил по той же причине.

Наконец, я увидел что-то белое у шевелящегося предмета, который был от меня не далее 20 сажен. Меня это поразило, я тотчас опомнился и стал обдумывать, какой бы это был зверь. Но, быстро передумав, сообразил, что летом ни у одного зверя нет ни одной части белого цвета. Я невольно содрогнулся, опустил винтовку и спросил:

— Кто тут?

Молчание. Я опять, громче:

— Кто тут?

Опять то же молчание, но, всматриваясь пристальнее, я успел разглядеть около белизны старый сапог.

«Что за штука, — думаю, — неужели это кто-нибудь подстерегает меня?» Кровь прилила мне в голову и так сильно, что у меня тотчас же заболела голова, невольная дрожь пробежала по всему телу, а сердце точно хотело выпрыгнуть. Но я скоро опомнился, снова приложился и закричал:

— Кто тут? Говори, а то убью сразу!..

Опять молчание. Я повторил тот же крик и уже добавил, что спрашиваю в последний

раз.

Тогда куст распахнулся, и из травы выскочил человек богатырского склада. Он в ту же минуту упал на колени, снял шапку и сказал дрожащим голосом:

— Батюшка, ваше благородие! Пощади, голубчик!

Я узнал этого несчастного. Это был ссыльнокаторжный Иван Гаврилов, который накануне бежал с Кары, но заблудился, ночевал в лесу, а утром, увидав меня, спрятался в куст.

Не будь у него на ногах белых холщовых порток, я бы убил его, как козленка. Выслушав это, он только покачал головой, вздохнул, у него навернулись слезы, и он смело сказал:

— Ну что ж, ваше благородие, туда бы и дорога. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Значит, не судьба моя. Так, верно, богу угодно! Еще не надоел я ему, грешник...

Спросив его, не хочет ли он воротиться в промысел, и получив отказ, я вынул рубль, положил его на пень и сказал:

— Смотри, мы с тобой не встречались.

— Слушаю, ваше благородие! — был ответ.

Он взял с пня рубль, поблагодарил, спросил дорогу и побежал, как козуля, между кустами...

Я воротился домой и целый день не мог есть: долго тряслись у меня руки и ноги, и до сих пор я не могу забыть этот случай, этого несчастного, его смелую физиономию, его наворачнувшиеся слезы...

Мне даже не спалось несколько дней и думалось о судьбе этого человека, о его прошлом: как он преодолел всю Сибирь по этапам и как переживал в смрадных тюрьмах, переноса ужасные плети, лязг кандалов, натирающих ноги, тяжелые работы?.. А справедливо ли его осудили? Заслужил ли он такое возмездие?

Все это приходило мне в голову, потому что я лично знал в каторге много лиц, безвинно пришедших в Даурию, в полном смысле слова хороших людей, добрых отцов, недюжинных натур и честных тружеников, быть может, во сто раз достойнейших граждан, чем их тайком запятнанные судьи. Что заставило его бежать? Тяжесть ли носимого им креста или всеильная любовь к родине, где он мог

быть достойным детищем великой отчизны, а теперь... теперь он должен или погибнуть с голода в беспредельной тайге, или вернуться с «бубновым тузом» на спине в ту же каторгу, в те же смердящие казематы!.. Да, а если он безвиновен, — тогда это ужасно!.. Ужасно не иметь никакой надежды еще в цветущую пору, быть человеком, трудиться — как хочется, любить — как просит сердце, молиться о том, что еще так тепло на душе и, потеряв все, — только проливать безутешные слезы!.. Тысячу раз прав великий Достоевский, который, испытав всю тяжесть жизни, видел ее на своих ближних и в «каторжанах» нашел великого бога!.. Вот думы, которые давили мое сердце после описанного случая.

Скажите, кто в мое время в Нерчинском крае, почти во всех семьях служащего люда, были самыми доверенными, самыми близкими личностями? Ну кто, как вы думаете? Ссылные, читатель, ссылные! Заклейменные, затавренные ссылнокаторжные люди!.. Все кучера, повара, няньки, кормилки — все это были ссылные!.. Они живали десятками лет на одних местах и кроме искренней бла-

годарности не заслуживали никакого нареkania. А бывали и такие случаи, что уцелевшие от клейм тихонько или, лучше сказать, келейно ездили со своими господами в пределы России, выдались с родными и были настолько благоразумны и мужественны, что безропотно возвращались в каторгу, чтоб в ней положить свои косточки. Что это доказывало, как не порядочность этих людей, как не беспредельное доверие тех же господ к этим добросовестным пасынкам судьбы и их беспорочную привязанность.

Вспомнив о лунжанкинской «кикиморе» в доме, мне желательно рассказать и о другом довольно замечательном курьезе.

Дело видите в том, что на Нижнекарыйском промысле жил в мое время уже свободный от работ ссыльный швед. Ни имени, ни фамилии его я не помню да, кажется, и не знал раньше, потому что все называли его просто шведом. Вот этот самый финн и прослыл по всей каторге за правдивого гадалея, а стоустая молва говорила о нем настоящие чудеса его предсказаний. Из этих последних я знаю один действительно, довольно замеча-

тельный случай. Сначала я расскажу его, а потом и свой.

Когда этот швед содержался еще в тюрьме, начальником Нерчинских заводов был знаменитый в своем роде инженер Иван Евграфович Разгильдеев. Личность эта крайне знаменательная в Нерчинском крае во многих отношениях. Чтоб не вдаваться в подробности, мне придется сказать здесь только о том, что при Разгильдееве была сложена ссыльным Мокеевым песня, которая начиналась так:

*Как в недавних годах,  
На Карийских промыслах,  
Царствовал Иван!  
Не Иван Васильевич Грозный —  
Разгильдеев сын!..*

Песня эта втихомолку распевалась каторжниками, а потом, усвоившись, перешла и в туземное население целого края.

Как бурят по происхождению, Разгильдеев был не чужд не только мистицизма, но, пожалуй, и всякой чертовщины. Вот однажды, быв на Каре, он горячо толковал о том, что будет или нет царствовать Наполеон III. Вопрос

этот интересовал тогда весь мир, а не только карийских сослуживцев, потому все с нетерпением ожидали развязки в расшумевшейся Франции и с лихорадочным любопытством следили за газетными известиями. Но так как мнения были разные, то Разгильдееву пришла фантазия вызвать из тюрьмы шведа и поворожить об этой замечательной личности, чтоб вместе с тем и попробовать силы гадалателя. Тотчас потребовали заключенного чаровника на квартиру начальника. Его привели за подобающим конвоем и представили пред ясные очи грозного Разгильдеева, жаждающего мистицизма. Так как всю собравшуюся компанию интересовали предсказания шведа, то все употребляли все возможное, чтоб он не пронюхал тайны: зачем его потребовал начальник? Вследствие этого заключенный явился каким-то растерянным, даже испуганным до того, что весь трясся, «как осинный лист», но его тотчас обласкали, успокоили и сказали, что просят его погадать об одной очень интересной личности. Тогда швед несколько ободрился, пришел в себя, попросил карты и спросил только о том, что муж-

чина или женщина эта личность?

Ему ответили, что мужчина, а начальник прибавил, что если он угадает, о чем ворожат, то он подарит ему пять рублей.

Швед сказал, что это не в его воле, но постарается истолковать то, о чем скажут ему карты.

Его посадили на стул к столу, и все присутствующие окружили интересного предсказателя.

Швед несколько раз раскладывал карты на разные манеры, шептал что-то непонятное для подслуживающих, пожимал плечами и наконец потел до того, что крупные капли пота капали на стол с его озабоченного лица. Наконец он бросил карты на стол, как бы остолбенел и находился в большом затруднении, что ему сказать ожидающей компании.

— Что, швед, пасуешь? Верно, брат, не под силу? — говорили многие и начали смеяться.

Но вот он пришел в себя, поглядел на присутствующих самоуверенным взглядом, обтер рукавом пот, отступил от стола и громко сказал.

— Ворожил не один раз, а все выпадает од-

но и то же. Вы, господа, гадаете о каком-то человеке, кто он — не знаю, но только не сегодня, так завтра непременно будет королем или императором или каким заправителем.

Тут Разгильдеев соскочил со стула, забежал по комнате с трубкою в зубах, хлопал руками и несколько раз повторил: «Ну, это черт знает что такое! Черт знает что такое!»

Многие говорили почти те же восклицания, изумленно смотрели друг на друга, на шведа и положительно осовели.

Разгильдеев приказал подать чародею стакан водки, вынул пять рублей, передал их ему и, сказав: «Ну, брат, молодец», — велел конвою отвести его обратно.

Тогда телеграфа по Сибири еще не существовало, и депеши особенной важности развозились курьерами, в свою очередь людьми замечательными по своей профессии. Так, например, печальная весть о смерти императора Николая была привезена из Петербурга в Иркутск в 15 дней. Почти с такою же поспешностью прилетело в Сибирь известие о воцарении Наполеона III, которое почти как раз совпало с гаданьем шведа, так что Разгильде-

ев и многие соучастники ворожбы удивились его прорицанию, а слава гадалателя еще более укрепилась за этим кудесником.

В мое время, как я сказал выше, швед был уже на свободе, занимался сапожным мастерством и гаданьем, чем безбедно пропитывался со всей семьей. Служа на Каре, мне несколько раз приходилось встречаться с этим чародеем, говорить о его профессии, и он неоднократно предлагал свои услуги, но я отделивался шуточками, не обращая на него внимания. Когда же меня перевели в Лунжанкинский промысел, то, переселяясь на новое место, я как нарочно встретил на Нижнем шведа, и мне пришла фантазия попросить его на сеанс гадания.

Узнав от меня, что я перевожусь, он посоветовал о моем гонении и тут же обещал прийти ко мне на Лунжанки, но просил сделать сеанс гадания в субботу, чтоб мне и ему побывать в бане. Я дал слово, но, приехав в Лунжанки, встретив вышеописанный курьер по деяниям К., да и вообще имея много хлопот и развлечений, совсем забыл о шведе. Как вдруг в субботу, вечером, я увидел его в своей

квартире. Поздоровавшись, он спросил меня, желаю ли я гадать и был ли в бане?

Я сказал, что поворожить хочу, но в бане не был, а только сейчас купался.

— Это все равно, значит, чистый, а мне больше ничего и не надо, — сказал он.

— Ну, а что тебе нужно для гаданья?

— Да не знаю, что есть у твоего благородия — карты, гуща, бобы?

— Ничего, брат, этого у меня нет, а карты, пожалуй, достану.

— Ну так, барин, нет ли хоть простого вина?

— Это есть.

— А есть, так больше ничего и не надо.

За картами сходил Михайло, достав их у кого-то из служащих, а затем он принес графин чисто очищенной водки. Швед попросил, нет ли еще совершенно гладкого стакана, который удобнее при гадании, а такой как раз находился в моем погребце, так что и это дело уладилось. Когда все было готово, швед пожелал запереть дверь в комнате, чтоб никто не помешал нашему сеансу. Я, вполне соглашаясь с его просьбой, запер входную из сеней

дверь на крючок. Надо заметить, что мой знаменитый кудесник был босиком, в одной белой рубаше и таких же холщовых «невыразимых». Его рубаша, спускавшаяся сверху панталон и подпоясанная тоненьким бумажным пояском, ясно говорила о том, что ее хозяин был в бане и только сегодня надел ее чистую. Типичная физиономия худощавого, среднего роста финна ничем особым не отличалась: довольно короткие русые волосы, подстриженные усы, гладко выбритый подбородок, небольшие около ушей рыжеватые баки и довольно умные серые глаза — вот и весь портрет моего приятеля.

— Ну, а о чем будем гадать, ваше благородие? — спросил оп, тасуя карты.

— А что выпадет — то и ладно. Говори, как покажет тебе ворожба, да, пожалуй, заметь, чем кончится моя война с К.?

— Хорошо, вот сперва и рискнем на К., потом поворожим вином, — на него лучше бывает, что оно всю твою судьбу покажет, как на ладони.

Тут он разложил несколько раз карты, как-то снимал их по парам из всей колоды, все

убавляя и убавляя их в числе. Наконец оставил почему-то только несколько штук на столе, весело улыбнулся и сказал:

— Ну, барин! К. ничего тебе не сделает, ты его не бойся, и наплюй мне в глаза, если я скажу тебе неправду; а вот посмотри, верх будет на твоей стороне, а он, как собака, погибнет.

— Не знаю, а что-то, брат, мне не верится в твою ворожбу. Он с большой силой, а я человек маленький...

— Что нужды, что он большой и сильный, а бог-то ведь выше его и неизмеримо сильней, — перебив меня, сказал он со шведским оттенком в речи и поднял руку кверху.

— Ну хорошо, брат, спасибо! Умные речи приятно и слышать, а только мне худо верится, чтоб К. не нагадил мне в жизни.

— Нет, барин, уверься в этом и не бойся, а бога не забывай, он тебе поможет во всем, веди только себя как начал. Карты мне не врут, и еще раз скажу тебе, что ты наплюй шведу в глаза, если он сказал тебе неправду.

— Ну, ладно, посмотрим, все это не за горами, а теперь ворожи — что будет дальше.

Кудесник осторожно налил полный с края

ми стакан вина, взял его тихонько, по-купечески, пальцами под дно, заложил левую руку за спину и, едва двигаясь, чтоб не пролить вина, пошел к выходной двери. Тут он поставил левую ногу на порог, нагнул голову и, держа стакан несколько в сторону, начал что-то шептать.

По некоторым доносящимся до меня словам, я понял, что швед читал псалмы и молитвы. Такая история продолжалась довольно долго, — вероятно, не менее десяти или двенадцати минут.

Но вот он, ясно сказавши «ае!», — тихо повернулся ко мне, подошел к столу, поставил осторожно стакан на стол и торопливо сказал:

— Гляди, барин, и считай поскорее.

Не будучи предупрежден и не понимая, в чем дело, я не знал, что нужно смотреть и что считать, но, глядя в стакан, заметил только, что с его дна поднималось несколько десятков каких-то блестящих шариков, в виде булабочных головок.

— Да что считать-то? — спросил я шведа.

— А вот и считай эти пузырьки поскорее.

Они означают, сколько тебе жить на свете.

Но время было уже упущено, и я этого исполнить не мог, а еще раз заметил, что пузырьки все еще быстро поднимались по два и по три сразу, наконец, остановились на середине стакана и вот только последний тихо поднялся выше других и лопнул в вине, исчез совершенно.

Я, как бы невольно поняв, что это означает, молчал и в душе помолился создателю, — так сильно повлияли на меня слова стоявшего около меня шведа.

Вообще я должен сознаться, что вся эта таинственная процедура гадания так сильно действовала на нервы, что у меня само собой явилось мистическое настроение, и я полагаю, что в этот момент ни одна бы живая душа не осталась совершенно спокойной и я бы никому не поверил, если б кто, следя за всем, стал уверять меня в том, что тут не дрогнули его нервы. Говоря про себя, я, поглядев на последний тихо поднявшийся и лопнувший пузырек, также невольно окинул глазами и все те, которые еще держались в вине, как бы означая прожитые и будущие годы. Присмат-

риваясь к ним, я замечал разницу в их величине, расположении и блеске. Они точно наглядно Показывали о том, что пережито жизнью и что еще осталось, и точно говорили: вот смотри — это радостные, счастливые твои годы, а это — немые скрижали твоих слез и скорбен! И если ты припомнишь все бывшее, то поверишь и в будущее. Но так как в это же время стоявшие в вине пузырьки, постоянно лопааясь, исчезали, то внимание притуплялось, глаза разбегались, и не было никакой возможности уследить за их количеством. Так что в ту же минуту являлось уже трепетное сознание того, что будто сама судьба, показывая этот как бы вертящийся калейдоскоп жизни, не позволяла проникать в ту тайну, которую ни один смертный не может и не должен понять по предопределению свыше... Вот что я чувствовал в душе и сознавал разумом в эту недолгую минуту, как бы забывая о том, где я нахожусь, и не понимая того, что я делаю на грешной земле, как ничтожная песчинка несется в мириадах ей подобных миров по безграничному пространству, освещенному лучом Всемогущего Света. Все это

как молния промелькнуло в горячем воображении, и только слова шведа вывели меня из мимолетного таинственного созерцания, который, в свою очередь, пристально смотря в стакан, сказал:

— О, барин, да у тебя отец и мать еще живы; братьев пять, а сестры только две.

Я молчал и подумал о том, что не мог ли швед знать мое родство от Михайлы, но, вспомнив, что я и ему никогда об этом не рассказывал, все-таки усомнился в источнике его повествования и ничего не сказал гадателю.

— А ты, барин, здесь в Сибири непрочен и помрешь не в каторге. Вот ты скоро женишься неожиданно, а на ком и сам того не чаешь.

— Ну, брат, нет! Моя невеста еще небольшая, — сказал я, улыбаясь, действительно имея в виду еще несовершеннолетнюю особу.

— Не знаю, а только ты женишься скоро, и у тебя будет много детей. Но первые все как бы не твои, — помрут, а из последних больше останется.

— А сколько же будет ребятишек от моей суженой? — спросил я и засмеялся.

— Вот тебе, барин, смешно становится, а я говорю тебе верно и сколько, сказать не со-  
врать, то пятнадцать или шестнадцать при-  
несет тебе хозяйка.

— Что ты, что ты, голубчик! Сдурел, что  
ли? Да куда я с ними денусь? — шутил я  
опять, сомневаясь в душе.

— Господь даст, господь и пособит! А вот  
ты скоро уедешь отсюда совсем, потом Тебе  
будет большая дорога, чрез которую ты полу-  
чишь себе счастье, но после уберешься из ка-  
торги вовсе, а куда — этого не знаю.

— Где же ты все это видишь? — спросил я,  
невольно заинтересовавшись.

— А вот, смотри в стакан сам, так увидишь  
и ты.

Я начал приглядываться и видел стоявшие  
в вине пузырьки различной величины и цве-  
та, но уже в гораздо меньшем количестве,  
чем поднялось со дна стакана, и заметил как  
бы две протянутые белые нитки. Одна, выхо-  
дившая со дна, упиралась по диагонали в бок  
стакана внутри, а другая тянулась оттуда же  
и выходила совсем из стакана, коснувшись  
его края.

— Вот видишь, эти большие пузырьки — твой отец и мать, эти вот сбоку — братья, эти два, с другой стороны, — сестры, а вон те, пониже, — твоя жена и дети.

— Ну, а где же дороги?

— А это что? Смотри, видишь, как протянулись. Вот эта покорооче — здешняя, на ней шарик — это и есть твое счастье, а вот эта, что подлиннее, видишь, ушла из стакана — значит, уедешь совсем...

Долго еще толковал я с кудесником и закончил тем, что швед попросил меня выпить вино из стакана.

— Ну уж нет, этого я, брат, не могу, — сказал я, вставая со стула!

— Да ты, барин, не бойся, — тут ведь ничего нет, оно чистое.

— Нет, нет, голубчик, пить я не стану.

— Гм! Ну отпей хоть маленько, так нужно, а потом я выпью все остальное за твое здоровье.

Отпив из стакана с полрюмки, я не заметил, кроме вина, никакого другого вкуса. Швед помолился по-своему на образ, выпил залпом почти целый стакан остального, по-

благодарил и, получив от меня «тройку», вышел из комнаты.

И странное дело, читатель! Много лет прошло после этого гаданья, а почти все то, что пророчествовал мне швед, — по крайней мере, до сего дня, — исполнилось едва ли не с буквальной точностью, даже в мелочах, о которых я уже тут и не упоминаю.

Как ни дико образованному современному человеку не только верить, но даже читать подобные вещи, но я, ведя свои воспоминания, считаю обязанностью сказать о всем выдающемся в моей жизни для своего потомства.

Я знаю, что на устах моих детей не мелькнет сомнительная улыбка, потому что они слишком хорошо понимают то, что им оставляется от отца на память. Ну а другие могут, конечно, не только улыбаться, но хоть хохотать, сколько им будет угодно...

По уходе шведа, я тотчас налил несколько стаканов вина и уже чего-чего только с ними не делал: и подсыпал, и подливал разные снадобья, наконец плевал — но все-таки ничего подобного в вине не образовалось. Потом я

спрашивал Михаилу, говорил он что-нибудь с кудесником или нет?

— Ничего не говорил, барин! Потому что когда пришел швед, то и спросил только: «Дома ли его благородие?» Я сказал: «Дома», он и пошел в комнаты. Да мне, признаться, и в ум не пало, зачем он явился.

## XII

После гаданья шведа ничего особенного со мной не случилось, кроме курьезной истории на охоте за молодыми глухарями; но я о ней как-то уже говорил в своих воспоминаниях, а потому повторяться не стану. Но вот передам довольно замечательный случай.

Однажды мне нужно было ехать на Нижний промысел. Не желая тащиться семь верст по гористой дороге в тарантасике, я велел оседлать лошадь, но меня задержали по службе, так что пришлось позамешкаться. Упустив время, я решил пробраться прямой тропкой, которая шла через очень крутые горки, зато сокращала путь чуть не вдвое. Тут я заметил, что на горы надвинулась громадная синяя туча, но, полагая, что я успею пробежать недалекий путь без особых неприятно-

стей, я надернул кожан, заскочил на коня и бойко покатыл из Лунжанкинского промысла.

Но лишь только проехал я половину, как начал накрапывать крупный дождь, который очень скоро превратился в страшный ливень, так что на дорожке в одну минуту побежали настоящие ручьи, а глинистый путь ослиз до такой степени, что конь раскатывался ногами, а потому, чтоб не сломать себе шею, пришлось ехать шагом.

Скоро мне довелось круто спускаться под последнюю, но большую гору, так что северная часть Нижнего промысла была уже на виду. Привычный мой Серко, тихо, но страшно скользя, вышагивал по дорожке и заложил уши от ужасного ливня. Мое кожаное пальто не достигало цели, так как при нем не было капюшона, и целые потоки холодной влаги попадали за его воротник и смачивали меня до нитки. Ехать под гору было крайне неудобно, пришлось сильно упираться ногами в стремяна да вертеться в седле, как на меленке. Я уже проклинал себя, что, не переждав погоды, попал под такой ужаснейший душ. От непроницаемой тучи сделалось так темно,

что день казался уже вечером. Затем подул сильный с порывами ветер и страшная буря разыгралась над моей головой. Но так как спрятаться было некуда, то пришлось волей-неволей продолжать путешествие.

Вдруг перед самыми моими глазами мелькнул красновато-малиновый огонек, а за ним моментально разразился такой страшный удар грома, что мой несчастный Серко в ту же секунду упал, как подкошенная былинка, на все четыре ноги, так что я полетел вместе с ним на бушующую водой дорожку, но в этот же миг я видел, как стоящая саженях в тридцати от меня громадная сосна вдруг разлетелась вдребезги, а некоторые ее мохнатые ветви, как бы впереверт, отлетели далеко в сторону, попадав на землю вниз комельками. Меня оглушило до того сильно, что я на одно ухо перестал слышать, а в другом сильно звенело и как-то неприятно шумело. В один миг соскочив с коня на тропинку, я тотчас снял шапку, перекрестился и тут же увидел, что лежавший Серко, опустив уши, как бы машинально, совершенно безжизненно поводит мутными глазами.

— Кончено, убило! — сказал я, испугавшись.

«Что тут делать?» — невольно мелькнуло у меня в голове, и я, автоматически держа повод, только стоял около коня да все еще думал: то ли бросить его на дорожке да скорее идти на промысел, то ли снимать с него сбрую и поукромней прятать в кусты?..

Но вот я, подхватив горстью воды из мутного потока с дорожки, брызнул ему в ноздри. Серко, немного фыркнув, начал тихонько пошевеливать ртом и чакать зубами по удилам. Видя эту штуку, я тотчас повторил тот же прием. Конь снова зафыркал и стал посматривать веселее, что подало надежду на его спасение, а потому я ту же минуту отпустил у седла подпруги, брызнул опять ему холодной водичкой в ноздри и, тихонько тыкая его ногой под бок, начал чмокать да поднимать на ноги. Бедное животное, встав с большим трудом на дорожку, качалось, как пьяное. Я попробовал вести его за повод, но Серко едва сдвинулся с места. Но вот он, плохо встряхнувшись, кой-как зашагал за мной и сильно тянулся к воде, чтоб напиться. Дав ему хва-

тить несколько глотков, я его повел уже бодрее, а подвигаясь к Нижнему, сел на него верхом. Тут ливень перешел в небольшой дождик, а затем выглянуло солнце. Вся окружающая природа, обмывшись таким потоком, смотрела как-то особенно весело, так что и я, почувствовав на себе эту живительную силу, уже бодро подъехал к дому Костылева. Яков Семенович, этот милейший и почтенный старик, сидел на своей небольшой терраске и пил чай.

— Ладно же вас отмочалило! — сказал он шутя.

— Да, батюшка, хорошо! Теперь хоть выжимать, так в пору.

— Ну так проводите скорее Серка во двор да лезьте в избенку, а я вот сейчас спрошу у хозяйки белье да снабжу вас халатом, а не поглянется, так хоть мой мундир надевайте.

— Спасибо, спасибо, Яков Семеныч! Теперь хоть капот вашей супруги, так и тот надену с большим удовольствием.

Забравшись к этому доброму старику, я скоро переоделся в его платье и уселся пить с ним чай.

— А вы слышали, что наш бедный ревизор уехал на Усть-Кару (особое поселье, при впадении реки Кары в Шилку) встречать Муравьева?

— Нет, не слышал.

— Ну вот то-то и есть: сегодня утром его понесла нечистая сила.

— Так, значит, Муравьев возвращается с Амура?

— Да, сегодня ночью прибежал его адъютант, потребовал К. и сказал, что генерал-губернатор на днях должен проехать.

— Ну, а если он потребовал к себе К., то, значит, к нам в гости не будет.

— На плюет он на нашу Кару, — да и когда ему заниматься какими-то промыслами. Теперь у него на уме другое, и вот посмотрите, что «графа» захватит.

— Это не мудрено, — только того и добивается. А вот что он сам воздаст К. за все его действия?

— Да, это вопрос.

— Вот если б Муравьев спросил меня, чем наградить К., так я бы предложил прежде всего надеть на него сумасшедший костюм да бе-

резовой каши в пересыпку через неделю.

— Да! Дождитесь! Нет, смотрите, чтоб эта каша не доехала до нас, на Кару. То будет потеха.

— Понятно, что К. доложит Муравьеву все в превратном виде. Только знаете что, Яков Семенович! Я непременно опишу все его действия, как они есть, и постараюсь, чтоб это послание попало к Муравьеву.

— Ого! До него, батенька, далеко! А К., конечно, опередит вас и выцветит так, что смотрите, как бы худо не вышло.

— Ничего, Яков Семеныч! Будь что будет, а правда дороже всего, и живой в руки не дамся.

— А что же, в самом деле, попробуйте!..

Так мы протолковали еще долго. Потом я сделал все, что было нужно по своим делам, и уже ночью уехал в Лунжанки.

К. прожил на Усть-Каре несколько дней, виделся с Муравьевым, долго докладывал ему о своих действиях или наших упущениях и получил особое поручение, а в чем оно состояло — никто из нас об этом не знал.

Но вот в последних числах августа разнес-

ся слух, что ревизор собирается и торопливо уезжает, а куда — неизвестно. Все карийские служаки заговорили и зашевелились повеселее, а некоторые ставили к образам свечи да служили молебны.

К. все это знал, понимал, почему идет такое ликование, и только злобно посмеивался.

Вскоре после этого прилетел ко мне в Лунжанки Васька, сияющий, в полном смысле этого слова, от радости, схватил меня за шею и начал целовать, весело говоря:

— Ну, Мамка, кричи скорей — слава богу!

— А что такое случилось?

— Сегодня К. отправился из Кары со всеми своими потрохами да целым чемоданом бумаг.

— Что же ты, голубчик, не распорядился, чтоб замести его след метлами?

— Прозевал маленько, а то, брат, и люди были подготовлены в желтых рубахах.

— Ну так почему прозевал?

— А видишь, мне сказали, что К. поедет с обеда, но он, проклятый, укатил утром.

— А! Это, брат, значит, предупредили его друзья. Ну, жаль, что не проводили с триум-

фом! А куда же он отправился?

— Да, кажется, на Бальджу (Золот. промысел. См. «Природа и охота», янв.— фев. 1885 г.), чтоб успеть и там произвести ревизию да пощупать Лебедкина.

— Вот, поди-ка, бедный Сереженька и не чаёт, сердечный, что такой приятель налетит к нему в гости.

— Ну да, господь с ним, мы тут ничем не пособим. А ты дай-ка мне поскорей закусить, да я побегу восвояси.

— Что так приспичило? А теперь, по нашему обычаю, вероятно, и коня твоего расседлали да запрятали под навес, а то жарко.

— Это, брат, напрасно!

— Ничего, успеешь, — ведь тебя на воде не несет. А вот пообедаем, потолкуем, тогда и ступай с богом.

Кобылин остался. Мы пообедали как следует, выпили при таком радостном случае, перебрали по ниточке все, что творилось К., и я прочитал приятелю черновое конфиденциальное письмо на имя горного начальника о действиях пресловутого ревизора.

— Ого-го! — сказал он, прослушав письмо.

— Ну что ты гогочешь? Чего испугался?

— Да ничего, только в некоторых местах очень сильно и резко уж сказано.

— Тем лучше, если оно попадет к Муравьеву.

— А разве ты этого хочешь?

— Иначе и писать не стоит.

— Ну, брат, смотри! Чтоб не погладили против шерсти.

— Не думаю, потому что Муравьев человек умный, он тотчас поймет и увидит истину, а фальши тут нет...

Долго еще проговорили мы на эту тему и как ни бранили К., как зловредного человека, но удивлялись его энергии. Действительно, в этом отношении личность эта крайне замечательна. Несмотря на раскинутость промыслов Карийской системы, К. успевал почти ежедневно побывать на каждом из них, не глядя ни на какую погоду, а на некоторых даже по два и по три раза. Он так вел свои действия, что ежеминутно, ни днем, ни ночью, нельзя было поручиться за то, что пред вами не предстанет грозный ревизор, хоть бы то было на квартире или на работах. Становится даже

непонятным, когда этот человек спал, когда ел и как переносил его организм такой физической труд?..

Даже Чубарка под конец начал сдавать, а К. все нипочем, он словно чугунный и родной брат Мефистофелю по своим действиям. Только иной раз подумаешь, а он, окаянный, как тут и был, точно на камешке родится... Тьфу!.. Настоящая нечистая сила!.. Недаром его и прозвали карийской кикиморой, а все время его лихорадочной деятельности характерно заклеямили крюковщиной.

### XIII

Так как промывки песков, содержащих в себе золото, все еще не производилось, а все арестанты из Лунжанкинского промысла были выведены на Кару, то мне ничего не оставалось более делать как благодумствовать да благодарить в душе К. за такой перевод. Скверно только одно, что в Лунжанках не было никакого общества, так что, сидя дома, приходилось скучать не на шутку, тем более еще и потому, что после крюковщины я решительно не мог приняться за перо, чтоб продолжать начатые записки. Оставалось одно:

или ухаживать, или заниматься охотой. Но так как ухаживать почти не представлялось возможности, впрочем, кроме одной очень хорошенькой и лакомой «штучки», то я просил Кудрявцева приезжать ко мне почаще, чтоб с ним отводить душу на охоте.

Но спасибо и моему Михаиле: он очень хорошо понимал «тощицу» «барина» и представлял ему возможность «шариться» за грибами и ягодами, где встречалась хоть изредка та самая «беляночка», за которой «груздочек» ходил по ельничку... И знаете ли что? Припоминая былое, и теперь дивисься тем тонким хитростям, которые появлялись в прелестной головке беляночки, чтоб на виду всех своих подружек моментально скрываться от их наблюдательности в тот самый ельничек, где на тот раз внезапно с земли поднимался груздочек... Да, господа, это такая мудреная штука, что мне кажется ни один Пифагор, а не только сибирский обабок, ее не придумает. В этом случае пальма первенства остается за беляночками, им честь и слава! А нам, «боровикам», остается только караулить да не забывать мудреной одиннадцатой заповеди «не

зевай!».

Так как старику Кудрявцеву были досконально известны окрестности Лунжанков, то он намечал чужие «солянки», и мы, с разрешения их хозяев, ездили на них караулить ночами козуль, которые, бросив гоньбу, шибко шли на эти привады (приманки), чтоб возбудить аппетит да поправить свои потраченные силы. Много козлов и козлушек перебили мы на этих засадках, благодаря любезности добрых охотников, уступавших нам свои приспособленные солянки, а еще более — уехавшего ревизора.

Все неудобство состояло только в том, что сентябрьские ночи были довольно темны и продолжительны, почему поневоле приходилось запасаться терпением, а в непроглядную тьму стрелять иногда мимо. Бывало, сколько досады, а иногда и смеху, как появившаяся, как тень, козуля незаметно исчезала с солянки, а мы, прозевав этот момент, палили в кусты или в обгорелые пни.

Но зато был и такой счастливый случай, что мы с Кудрявцевым оба не заметили того, как на солянку пришли два козла и я, скарау-

лив удачный момент, выстрелил из винтовки в одного, а убил двух. Оказалось, что первый ко мне гуран стоял боком, а другой, за ним, головой. Пуля пролетела ближнего по груди и как раз попала в голову второго, который, вероятно, в это время ел, нагнувшись к солончаку, и был роковой жертвой удачного выстрела.

Однажды к нам еще с вечера пришла «матка» лучше козули, в то самое время, когда мы сидели на самой дальней солянке от Лунжанков и в карауле Кудрявцева, а я лежал в «сидьбе», думая о «беляночке». Однако же, несмотря на эти сладкие мечты, до моего уха очень хорошо доносилось, что по солянке кто-то ходит, но я все-таки, под чарующими душу грезами, не обратил на это внимания, будучи вполне уверен, что пришла козулька, так как в таком районе тайги нельзя было и подумать на что-нибудь другое, а кроме того, я надеялся на бдительность старика Димитрия.

Но вот, заметив, что он особенно аккуратно скарауливает момент выстрела, я догадался, что на солянке кто-то лучше козули, а

потому тотчас тихонько взял винтовку и легонько подтолкнул пальцем Кудрявцева, но он только подавил меня ногой, не изменив своего положения, и тем ясно сказал, чтобы я не шевелился. Вдруг я услышал, что кремень его винтовки только «чакнул» по огниву, и ружье осеклось, а с солонца кто-то бросился в сторону. Я, моментально соскочив на коленки, увидал, что около куста стоит какой-то зверь больше козули. Ту же минуту я взвел курок, быстро приложился по навыку, не видя не только винтовочного «маяка», но даже «Черновы» ствола, и выстрелил. Зверь, как-то хыркнув, в один миг ускакал в кусты, а затем мы слышали, как он пробежал в горку.

— Кто это был? — спросил я, трясаясь от волнения.

— Это, барин, верно, не фарт наш сегодня, а была-то ведь изюбрица.

— Ну?

— Взаболь она. Да и как ловко стояла, когда я ее выцелил. Да, вишь, проклятая, обсеклась, чтоб ее язвило! — говорил он чуть не плача и побивая кулаком в казенную часть винтовки, чтоб, стряхнув с полки нагар, вы-

звать из ствола порошинки к затравке.

— Неужели, дедушка, я мимо ее стрелил? — спросил я, заряжая винтовку.

— Нет, барин, попал, а куда не знаю, но только по всем приметам, должно быть, по брюху. А если б ты выстрелил мимо, тогда бы она бросилась не так, а то слышал, как она хыркнула и взлягала тое же минуто.

— Ну хорошо, если попал — тем лучше. Так что же теперь будем делать?

— А что делать — бей меня, старого дурака, по лбу, чтоб хорошенько заправлял винтовку, а то, видишь, какая беда приключилась.

— Ну, что и поминать, брат, об этом. Ведь понятно, что не нарочно. Вон конь и о четырех копытах да спотыкается.

— То, барин, конь, а человеку бог и разум другой дал. Надо, вишь, быть осторожнее да доглядеть всякую штуку. А как не ровен час эдак-то случится с медведем — тогда что? Вот и гляди, что поправит затылок.

— Да разве здесь на солонцы ходят медведи?

— А кто им запретил? Ты думаешь, что они нашего дозволения спрашивать станут? Вон

третьего года к Нечунаеву пожаловал ночью, так хорошо, что он не оробел, а выждал его половчее, да так ловко турнул его по сердцу, что он, черная немочь, только и успел подползти к его сидьбе, а тот хватил его по голове обухом, вышиб, значит, из памяти да и добил до смерти. А то раз ко мне приходила медведица на солянку, еще засветло, так ту я не успел стрелить. Дело-то было, вишь, весной, когда ее ребятишки еще малы да глупы. Вот один из них, должно быть, полез куда-то да и оборвался на землю. А она, значит, учухавши это, бросилась к нему, как-то зафычкала потихоньку да и утянулась назад, на увальчик.

— Что ж ты, испугался?

— Ну да, барин, как и не испугаться, — ведь дело-то было к ночи, а заряд-то один, поневоле задумаешься. Я как заметил, что она подходит, стал творить молитву ангелю хранителю, перекрестился три раза, взвел курок да и ждал половчее, а то куда тут деваться, ведь не изба, в подполье не спрячешься.

— Что ж она так и не вернулась на солянку?

— Нет, а поднялась на горку да и ушла в «сивер»...

На свету мы отправились смотреть то место, где стояла изюбрица, но тут ничего не нашли, а через несколько шагов подальше заметили черную запекшуюся кровь.

Тотчас оседлав лошадей, мы поехали по тому направлению, куда убежала подраненная матка, но проехали почти до обеда и найти не могли, так что я уехал домой, а Кудрявцев отправился ночевать на Верхний и на другой день взял с собой Серка, который скоро отыскал еще по кровавому следу уже уснувшую изюбрицу. Она ушла от солянки более двух верст, дала несколько окровавленных лежбищ и только на пятом протянула ноги.

Моя пуля действительно попала ей по брюху, как раз позади ребер, прошла несколько наискось и порвала кишки.

Я же, приехав домой, получил точные сведения, что мое конфиденциальное письмо, подробно изложенное на двух почтовых листах, о всех действиях К. и адресованное на имя помощника горного начальника г. Ко-ко,

не произвело на него никакого серьезного впечатления, а потому преспокойно лежит у него под сукном.

Кроме того, я узнал, что в Нерчинский завод приехал нарочный с каким-то вопросом по сереброплавильному делу, по которому нашему бергмейстеру и милейшему сотоварищу, Юлию Ивановичу Эйхвальду, приходится отправляться в Иркутск для личного объяснения по возбужденному вопросу.

Зная, что наш горный начальник, уважаемый Оскар Александрович Дейхман, возвращается из Петербурга, куда он ездил с проектом новых штатов, я положительно был уверен, что он должен встретиться на дороге с Эйхвальдом. Это вероятное предположение дало мне новые надежды по задуманному плану доставки моего письма Муравьеву. Рассчитав время, мне нельзя было мешкать, а потому я тотчас отправился в Нерчинский завод, чтоб захватить там Эйхвальда и попросить его увезти мое письмо Дейхману.

Пробравшись туда, я ту же минуту заявился к г. Эйхвальду, и он с удовольствием взялся исполнить мою просьбу. Я захватил его толь-

ко за день до отъезда, а потому немедленно уселся за перо, чтоб снять копию с моего большого послания. Переписывая с черновика, я, грешный человек, во многих местах исправил изложение, сделал его посильнее и добавил, а те фразы, которые казались Кобылину резкими, не только не вычеркнул, но придал им большее значение и рельефность в речи.

На другой день бергмейстер, по курьерской подорожной, покатыл в Иркутск, любезно захватив и мое послание к Дейхману.

Расчет мой оказался верным, потому что на второй станции за г. Читой от Нерчинского завода Эйхвальд встретил горного начальника, но так как последний виделся в Иркутске с Муравьевым и уладил серебряный вопрос, то первому уже не было надобности лететь к генерал-губернатору. Вследствие этой встречи Эйхвальд, поворотив оглобли, покатыл вместе с Дейхманом обратно в Нерчинский завод.

Так как горный начальник знал о посылке К. в нерчинский горный мир, то, понятное дело, тотчас начал спрашивать о действиях ре-

визора. Что объяснял ему г. Эйхвальд, конечно, я доподлинно не знаю, но знаю то, что он, передав Дейхману мое письмо, сказал, что в нем подробно изложены все те безобразия, какие творил Крюков на Карийских промыслах.

Прочитав мое письмо и заручившись самыми подробными и вескими сведениями, многоуважаемый Оскар Александрович понял всю музыку и знал, что ему нужно сделать. Приехав в Читу, он тотчас заявился к атаману забайкальского казачества Михаилу Семеновичу Корсакову, тому самому генералу, который впоследствии принял генерал-губернаторство Восточной Сибири от Муравьева. Тут надо заметить, что Дейхман был в очень хороших отношениях с Корсаковым, а потому, выждав удобный момент, он превосходно сообразил мою цель и, тонко понимая Муравьева, выполнил свой план. Дело в том, что он, нарочно остановившись в Чите, конечно, был приглашен Корсаковым запросто пообедать.

— А что у вас гостенек поделывает? — спросил атаман, подтрунивая и лукаво по-

смотря на Дейхмана.

— А вот не угодно ли вашему превосходительству полюбопытствовать, что делает г. К. и кому доверяется генерал-губернатор, уполномочивая такого господина особой властью, — сказал Оскар Александрович, передавая мое письмо тут же за обедом.

Корсаков взял послание и, заинтересовавшись его содержанием с первых же строк, пожимая плечами, дочитал до конца.

— Вам оно, конечно, больше не нужно, Оскар Александрович! — сказал Корсаков.

— Нет.

— Так отдайте, пожалуйста, мне эту интересную грамотку.

— Сделайте одолжение, ваше превосходительство! Я уже все теперь знаю, что творит этот безобразник, — сказал Дейхман, очень хорошо понимая, куда попадет эта «грамотка».

Оскару Александровичу только этого и хотелось. Он, зная дружеские отношения Муравьева с Корсаковым и недовольство последнего на К., тоже по каким-то кляузам, был вполне уверен, что атаман передаст письмо гене-

рал-губернатору в подлиннике, а этим он достигал нашей обоюдной цели.

Корсаков тут же положил послание в боковой карман и, распрощавшись с Дейхманом, скоро сам уехал в Иркутск, чем опередил возвращение с Бальджи К. и передал письмо лично Муравьеву.

Конечно, ничего этого не зная, страшный ревизор, хотя и гремел на Бальджинском промысле, но вместе с тем торопился заставить Муравьева в Иркутске, чтоб лично представить весь отчет пресловутой ревизии и словесно доложить особые соображения его высокопревосходительству.

Я все это время оставался в Нерчинском заводе, чтоб дождаться приезда горного начальника. Кажется, около двадцатых чисел сентября прибыл он в наши потрясенные Палестины и, увидав меня, принял очень любезно, обещая сделать тотчас распоряжение, чтоб всех смещенных приставов немедленно командировать по своим прежним управлениям.

Считая неловким со своей стороны спросить Дейхмана лично, получил ли он мое

письмо, я обратился с этим вопросом к Эйхвальду. Он был, по обыкновению, так любезен, что коротенько рассказал мне всю вышеизложенную историю.

В конце сентября (кажется, так) Дейхман собрался встретить свою семью, которая осталась гостить в Петровском железоделательном заводе. Чтоб не скучать одному в тарантасе, он пригласил на эту поездку меня. Конечно, обрадовавшись такой любезности и милой компании, не говоря уже о веселой прогулке, я с удовольствием изъявил свою готовность. После обеда нам подали лошадей, и мы отправились к первой, Зерентуевской, станции.

Когда стало смеркаться, я заметил, почти в зените, чуть видную комету.

— Оскар Александрович! Вы ничего особого не видите на небе? — спросил я, пристально вглядываясь.

— Нет, вижу давно, да только как бы не верю своим глазам, а вот теперь, когда вы подсказали, убеждаюсь вполне, что это появилась комета...

Поговорив по этому поводу, мы незаметно

доехали до станции, где и встретили всю милую семью начальника.

Комета с каждым днем все более и более показывалась на небе, а в конце октября и ноября месяцев она была уже в апогее своего величия, поражая собою всякого смертного, который хоть сколько-нибудь думал о непонятных силах великой природы. Это была громадная комета 1858 года, о которой впоследствии исписали целые томы знаменитые астрономы всех наций. В широтах нерчинского меридиана она занимала своим неизмеримым хвостом почти треть видимого неба, а в безлунные ночи была величественна в полном смысле этого слова.

В начале октября я уехал опять в Кару, сдал Лунжанский промысел тому же Колобову, а сам поступил на свое прежнее место, на Верхний. Но... увы! К. до того был памятен, что золотое дело мне окончателью опротивело, а самые работы сделались для меня чем-то таким, чего человек не может переносить от одного взгляда, что бывает, как я слышал, с обжорами, которые, объевшись одного блюда, иной раз во всю уже жизнь не могут видеть

этого кушанья. Всякая безделица напоминала мне К., его противную физию, его злонамеренные действия, а его низких клеветов я не мог переваривать ни при каком случае и готов был ту же минуту отколотить без всякого сожаления. Даже неповинного Чубарку я не мог хладнокровно видеть. На меня напала какая-то безотчетная тоска, апатия не только к делу, но даже и к самой жизни. Словом, я не находил себе места на промысле и готов был бежать куда угодно.

#### XIV

Но вот на Карийские промыслы приехал новый управляющий — Павел Андреевич Иосса, очень милая и веселая личность, с которой я и прежде был в очень хороших отношениях. Эта перемена в управлении, после крюковского погрома, освежила многих сослуживцев, а меня в особенности, так что я, переставая хандрить, снова принялся за свои охотничьи записки, а с Кудрявцевым начал опять ездить по его ловушкам и на охоту.

К счастью, осень стояла превосходная, почему я, воспользовавшись погодой, успел исполнить свое давнишнее желание: побывать,

по приглашению Кудрявцева, в северо-восточной части карийской тайги, где, по словам старика, в одной из падушек находится на скале очень интересная надпись неизвестного народа, когда-то жившего и, следовательно, имевшего свою культуру.

Поездка эта тем более манила меня, что октябрь подходил только к половине, а в это время «гонится» сохатый. Значит, при удобном случае представлялась возможность поохотиться на крупного зверя.

Отпросившись у управляющего позверовать в тайгу, я тотчас послал за Кудрявцевым. Через несколько минут появился мой таежный ментор и весело спросил:

— Ну что, барин, зачем требовать изволил?

— А вот, дедушка, отпросился я на несколько дней в тайгу — хочется разогнать свою скуку, так поедем ли мы с тобою в Бичиг? А помнишь, как ты мне говорил, что там есть какая-то запись на камне? Ну вот, мне и пришла охота посмотреть на диковину.

— Есть, барин, есть. Куда она денется — и теперь там стоит, почитай, спокон века.

— Так ты, значит, согласен?

— Пошто не согласен, а мне что больше и делать, как не ездить. Теперь я вольный казак, на работу никто не погонит.

— А это, дедушка, далеко отсюда?

— Ну, да как тебе сказать, не соврать — верст сорок или тридцать пять будет.

— Хорошо, значит, не шибко далеко, этого бояться нечего. А охота там есть?

— Что ты, барин, еще выдумал спрашивать. Да там-то и есть самое сердце, всякого зверя достаточно, а теперь же сохатые (лоси) гонятся, так, может, господь и даст нам по фарту.

— А правду ли говорят, что будто сохатый гонится всегда с одной маткой? — спросил я нарочно.

— Какого черта с одной, не верь этому, кто тебе сказывал, — врут. А какую приищет, так и ладно, с той уж и ходит, ведь он зверь — законом не венчан. А коли мало — то и другую, и третью прихватит.

— Что ж он разве не брезгует, что та или другая любила другого?

— Гм! Ну и чудак же ты, барин, как погля-

жу я на тебя: и человек этого частенько не разбирает, а уж зверь и подавно.

— А все же, дедушка, лучше, как раньше другого не знала.

— Да оно как, барин, не лучше, коли не шевелена, а все же и то надо сказать — что «ведь от того море не погано, что собаки полакали».

— Ну, брат, я такую пословицу в первый раз слышу.

— А вот поживи подольше, так еще и не такие узнаешь.

— Эта, дедушка, и одна да хороша, а пуще того правдива.

— Так ведь не я ее выдумал, а они, брат, все мудрены да безоблыжны и слагались веками, значит, сам мир пришел к этому опыту.

— Верно! Справедливы твои речи, а ты все-таки собирайся, чтоб завтра пораньше отправиться.

— А мне чего собираться, я, почитай, хоть сейчас так готов ехать.

— А Серко твой дома?

— Дома, да я все-таки привяжу его к ночи.

— Ну, а Танкредушку взять?

— А на чего его, барин? Он ведь на сворке не ходит, к этому не приучен, так, пожалуй, пакостить еще станет?!

— Ходить-то он хоть и ходит, да плохо — уж шибко азартный.

— Ну вот то-то и есть. А не ровен час, зверя угонит — так после сам досадовать будешь.

— Верно, дедушка! Лучше оставим. А ты вот выпей теперь водочки да приезжай со всем пораньше утром, а я прикажу Михаиле все приготовить, чтоб нам не голодовать в случае неудачи.

— Ну да, вестимо, без этого нельзя... На бога надейся, а сам не плошай, — так и пословица говорит.

— Верно, дедушка, верно! А вот ты сегодня не ложись с хозяйкой, а то фарту не будет.

— Вишь, чего еще выдумал — не ложись с хозяйкой! Да я ведь уж старик, а вот ты не заглядывай в окна-то! — шутил старик, направляясь в сени.

— Никого за окнами, дедушка, нет, — значит, и заглядывать не на что. Это ведь не Култума.

— Как нет, слышишь, ведрами-то нарочно

побрякивают, ты думаешь — я глухой. Нет, брат, все твои замыслы вижу.

— Брякают, дедушка, оттого, что коромысла не смазаны.

— То-то не смазаны. Смотри, не тебя ли попросят, а то, вишь, «не смазаны»! — говорил он, отворяя дверь и передразнивая меня на слове.

— Ну да ладно тебе глаза-то морочить, а ты все-таки не ложись! — сказал я, провожая его.

— Тпфу! Тпфу ты, окаянный! — слышалось из-за двери...

Проводив старика, я тотчас приготовился к поездке, велел пораньше подать ужинать и улегся спать, чтоб не проспять зори.

Рано утром приехал ко мне Кудрявцев. Мы напились чаю, закусили, хоть и не хотелось есть так рано, собрались, и еще осеннее солнышко не вышло из-за окружающих гор, как мы отправились в путь. Танкред я, привязав на веревку в кухне, просил Михаилу не отпускать рано.

Довольно холодное утро давало себя знать на верховой поездке, но мы, весело подвигаюсь вперед, незаметно выехали за пределы

промысла.

Вдруг старик, оглянувшись назад, торопливо сказал!

— Барин, барин! А погляди-ка, как твой Танклетко полощет закрайком!

— А где ты его увидал? Он ведь привязан.

— Ну-ка посмотри хорошенько, коли не он, вишь, как отсаживает, и язык на боку!

В это время я увидел в лесу действительно несущегося Танкрета. Но он, каналья, знал свою вину — хитрил; а потому, таясь от меня, пробирался бочком. Объединный конец веревки болтался на его шее, выдавая проступок. Что тут было делать? Пришлось остановиться да подозвать виновника. Он, поджав хвост и ухмыляясь мордой, тихо, как невольник, чуть не ползком подобрался к моим ногам, вытянул по земле шею и едва-едва пошевеливал хвостом, дескать, виноват, делай что хочешь!..

Я, конечно, покричал на него от досады, легонько постегал его верховой плеткой. Он, очень хорошо понимая такое снисхождение, тотчас привстал на передние ноги, подтянул красивые мохнатые уши да так умильно гля-

дел мне в глаза, что я поневоле погладил его по голове. Тут умная собака начала подпрыгивать, вертеться на одном кругу и затем, высоко подскакнув, лизнула меня в губы, а потом, подбежав к Кудрявцеву, начала прыгать и к нему на седло.

— Вот и возьми его, подлеца! — проговорил старик.

— Ну да что тут поделаешь? Видишь, он и перед тобой извиняется, — сказал я, уже смеясь.

— Вижу, вижу! Все его плутовские замыслы вижу. Дескать, не тронь да не ворочай назад.

— А ты думаешь, что он этого не понимает?

— Как он, подлец, не понимает. Нет, барин, он наскрозь все видит, пожалуй, лучше другого человека, только не говорит, а сам все знает.

— Да, дедушка! И опять-таки скажу тебе, что, по-моему, всякое животное одарено своим разумом.

— Это верно, барин! Значит, господь, царь небесный, никого не избидел. Вон посмотри,

какая-нибудь букашка или, скажем, червяк, а и тот свой рассудок содержит...

— Что же мы будем с ним делать? — спросил я в недоумении, перебивая на слове.

— А ничего, пусть пока бежит на слободе, а вон как подъедем подальше, так и привяжем на сворку.

Отъехав верст пятнадцать, мы заметили в чаще двух козуль, но скрасть их никак не могли, так что, потеряв время, запоздали пообедать. Вследствие такой неудачи, мы только немного всухомятку закусили у горной речушки, запили таежной свежей водичкой и отправились далее.

Уже довольно поздненько добрались до Бичига, а когда старик остановился, то я тогда только заметил, что мы достигли желаемой цели: пред нами под крутой горой возвышался громадный утес, который маскировался небольшими площадками, покрытыми красиво сгруппированным лесом. Под самым утесом, при выходе горы на узкую лесную долину, я увидел громадную гранитную стену, которая состояла из целой массы сплошного камня и стояла не отвесно, а немного наклон-

но, низом под себя, а верхним концом к подолу. Кроме того, сверху этой стены спустились, как бы нарочно, весьма солидной величины плиты, которые, составляя естественный навес, закрывали стоячую массу камня и охраняли ее от атмосферных вод.

Вот тут, на этой природной скрижали, я увидел большую красную запись. Какого она типа — ничего сказать не умею. Помню только, что вид ее напоминал мне виденные мною на различных снимках древние, непонятные для нас, письмена. Сверху каменной стены было начертано как бы отдельное слово, а затем шла надпись, по крайней мере, на шести или восьми квадратных аршинах. Но так как западный угол сверху спускающейся скалы, как оказалось, уже на памяти Кудрявцева от времени обвалился, то дождевая вода, стекающая с горы, то ли смыла, то ли полудила черными ниспускающимися полосами часть надписи, так что ее целостность нарушилась и уже не представлялось никакой возможности скопировать это замечательное сказание древних аборигенов страны.

Угрюмая таежная местность настоящего

времени, отсутствие всякой оседлости, громадный, хотя и редкий лес, повилика и дикий хмель, обвивающийся тут по мелкой поросли, но уже поблекший по-осеннему, наконец седой каменный мох, сползающий по уступам, и торная, зверями пробитая тропа у самого подножия каменной стены — все это, взятое вместе, имело свой особый эффект дикой картины, говоря о глубокой древности происхождения непонятной записи.

Я крайне сожалел, что приехал сюда осенью, а потому не мог насладиться той прелестью красок природы, какая должна быть весной в этом прелестном, хотя и диком уголке дремучей тайги заклеяменной Даурии.

А кто тут жил в этих ужасных дебрях? Чья рука выводила эту крючковатую надпись? Чем она намалевана, что не поддается напору веков и так сохранилась до наших дней? Какая цель, какая мысль таится в этом письме седой старины?.. Вот думы, которые приходили мне в голову, пока я, как очарованный, стоял перед таким памятником какого-то заколдованного мира, так бесследно ускользнувшего от современной истории. Тут мне

пришли на память известные стихи нашего самородного поэта Никитина:

*Теперь все тихо... Нет следа  
Минувшей жизни. Небо ясно.  
Как и в протекшие года,  
Земля цветущая прекрасна...*

*А люди?.. Этот ветерок,  
Пустыни житель одинокий,  
Разносит, может быть, далеко  
С их прахом смешанный песок!..*

Все это невольно приходило на мысль уже потому, что по всей окрестной тайге не встречалось никаких других памятников жившего тут народа, что, напротив, замечается по всей степной окраине обширного Забайкалья в виде надмогильных курганов, выкопанных когда-то рвов, постройке каменных столбов и прочее. Такое совершенное отсутствие проявления какой бы то ни было культуры, сугубым гнетом ложилось мне на душу, точно тисками теснило отзывчивое сердце и не давало никакого отчета подавленной мысли. Поневоле приходила на память и существующая в Сибири легенда, что будто бы жившая в

Южном Забайкалье так называемая Чудь, видя неминуемую гибель, ушла в дебри на Север, выкопала громадную могилу, покрыла ее на подставках большими тяжестями, собралась в нее до последнего человека, обрушила на себя смертоносную крышу и бесследно погибла в такой подземной урне от насильственной смерти...

— Ну, дедушка! Большое тебе спасибо за то, что ты сводил меня к этому камню, — сказал я старику, сняв свою шапку.

— Давно ведь и я, барин, думал об этом, да, вишь, все как-то не удавалось. А тут этот К., как ворон смердящий, налетел на Кару, вот оно все и оставалось до время, пока ты сам не вздумал проехать, а я ведь уж было и забыл про это...

— Да, брат, спасибо! — перебил я его. — А ты скажи-ка мне вот что: многие ли знают про существование этой записи?

— Не знаю, барин! А только когда и приходилось к разговору между своим братом, так все меня же и спрашивают.

— Ну хорошо, а ты сам-то от кого же узнал, что есть такая надпись в труппе?

— А я, барин, еще молодым парнем промышлял тут зверя да и наткнулся врасплох. Смотрю да и глазам не верю, ну, мол, едят-те мухи, это что же такое? Диковал, диковал в одиночку, поколупал пальцем — не отдирается, словно приклеено. Вот я и заприметил это место да и сказал бывшему тогда приставу господину Резанову, а он все собирался, значит, со мной съездить посмотреть, да так и не собрался. Ну а потом и с Кары уехал совсем.

— А больше никому и не говорил после?

— Как не говорить, — многим чиновникам обсказывал. Так, вишь, они не охотники и любопытства того не имеют.

— Так никому, значит, и не показывал, кроме меня?

— А вот как-то приезжал сюда немец какой-то, бог его знает, чей он пишется (то есть по фамилии), — такой, значит, поджарый да несуразный, адоли чистая облежьяна, — так вот он ездил со мной сюда нарочно. Тут мы с ним и ночевали, тут я и замывал его в речке.

— Как замывал?

— А вишь, какая притча случилась. Смех! Ночью-то, знаешь, прибежал к нам гуран да

как рывкнул, проклятый, испужавшись огнища, а он, сердешный, подумал, что это медведь. Ну, значит, с перепугу-то и того — захворал. Так сколько греха-то тут вышло, — страсть! Мне смешно, а его, беднягу, до слез доняло: побледнел, как бересто, да и хватается за меня, — значит, прячется. Насилу, барин, я его уверил, что это взревел козел, — врешь, говорит, а сам так и трясется, как в лихоманке! Я не могу удержаться, помираю со смеху, а он за брюхо хватается да ногами сучит, словно ребенок. Ну, значит, и довелось тащить его к речке, так уходился, — оказия! После ему уж и глядеть-то на меня стыдно, да что тут поделаешь, коли так испужался. Вестимо, что не нарочно, я и сам это понимаю — человек небывалый. Ну а удержаться не могу — смеюсь, да и только! Потом уж и жалко мне стало, да не воротись. Тут я уговорил его выпить водки С нашатырем, — вот его и облегчило, уснул как убитый, а наутро подарил мне «трешку», чтоб никому об этом не сказывал.

— Вот чудак-то! Ну а что он сделал с надписью?

— А он, барин, днем-то срисовал всю эту гору и надпись счертил на бумагу.

— Хорошо, а не понял, что тут написано?

— Нет. Ничего, говорит, не понимаю, а только и разобрал, что вон сверху написано — это, говорит, Бичига.

— Так, мол, господин барин, и падь эта зовется по-нашему.

— Да, да, говорит, тут и написано это самое слово. Так мы, значит, сели на коней и уехали домой. После какой-то архирей, сказывали, узнал от кого-то, что есть эта надпись, так тот хотел побывать тут: я, говорит, разберу до единого слова, да так и не бывал, сердешный. А тогда, барин, вся эта надпись была ясно видна, не то что теперь. Тогда и крыша из камней была еще цела, — ну она, значит, и сохраняла все, что написано...

— А давно ты ездил сюда с немцем?

— Ну да как давно — лет более двадцати, поди-ка, уж будет. А с той поры я и сам бывал тут только однажды.

Полюбовавшись этим замечательным памятником и вдоволь наговорившись, мы отъехали версты две в горы, остановились у реч-

ки и расположились ночевать, чтоб утром поискать зверей, потому что по тропинке нам много попадало свежего следа.

Порядочно проголодавшись, мы развели огонек, наварили мясной похлебки, выпили и, досыта закусивши, улеглись на природную перину. Превосходный тихий осенний вечер, какой бывает только, кажется, в Забайкалье, как-то располагал к беседе, так что мы, лежа у огонька, много перетолковали о разных разностях, переходя от охоты к житейским тревоблениям. Тут нельзя было не удивляться здравому смыслу, замечательной наблюдательности, бывалости, необыкновенно практическому взгляду на жизнь и, наконец, поэтической душе старика Кудрявцева, так что мне нередко приходилось только покачивать головой и сознавать мысленно, что если б дать этому человеку смолоду хорошее образование, то из этого сибирского «самородка» могла бы выйти замечательная личность.

Полная луна светила нам с неба и еще более располагала и без того настроенную душу к поэтическому настроению. Озаряя всю окружающую тайгу, она чрезвычайно эффектно

освещала наш табор на небольшом пригорочке, под густой группой громадных лиственниц, как бы опущенных снизу чащевитой мелкой порослью. Небольшой ягодничек и мягкий мох служили нам удобной постелью, так что посланные потничные (войлочные) подседельники предохраняли наше логовище только от сырости.

От избранного нами пункта превосходно показывалась заречная часть противоположного побережья тайги и все завершающие ее поросшие лесом горы. Но зато за группой близстоящих лиственниц от нас скрывалась вся нагорная часть нашей стороны, так что мы лишь сквозь промежутки ветвей видели одни вершины окружающего нас хребта да тот утес, где находился описанный памятник седой старины. Яркая луна, крайне эффектно освещая его желтоватые уступы зеленоватым колоритом, давала неподражаемую картину дикой природы, — неподражаемую уже потому, что освещение постоянно менялось и картина нередко принимала обратный характер в своих отдельных частях, что особенно хорошо выходило в тех случаях, когда на луну на-

бегали то легкие, то густые облачка, задевая ее то краем, то целой массой, и бросаемые тени внезапно и различно изменяли весь пейзаж, а в особенности поднявшийся к небесам громадный утес. Этот великан тайги казался нам то каким-то знаком времен рыцарства, то чем-то сказочным, неподдающимся описанию. Даже старик Кудрявцев залюбовался на эту картину, делая характерные замечания.

— Гляди-ка, барин, на утесе-то словно кто сидит сторбившись в мохнатой шапке, смотри, смотри, как забавно выходит, — говорил старик, лежа на животе и подпершись рукою.

— Это, дедушка, сторож посажен над той надписью, что стоит под утесом.

— Ну да, сторож и есть, — он, брат, поди-ка, уж не одну сотню лет караулит эту диковину, которую и ученые люди в толк взять не могут.

— Да, эта запись так, конечно, и погибнет непроницаемой тайной.

— Так, значит, ей суждено богом остаться под спудом, только он, батюшка, и знает, кто тут жил да нарисовал ее на этом камне...

— Вот надо бы, дедушка, спросить ко-

гда-нибудь здешних ороchon об этой записи: нет ли у них каких-нибудь преданий?

— Нашел кого спрашивать, — да разве у них што есть? Посмотри на него, что он за человек — ни богу свечка ни черту кочерга! Да я, признаться, их и спрашивал, так они пуще меня глаза-то тороцат да дикуют у этого камня — ведь у них никакой грамоты между собой нет, все едино, что звери. Это вот теперь они што-нешто пообрусели, а то ведь такая была дичь, что упаси боже! Нет, барин, и спрашивать их не стоит.

— Значит, и мы с тобой только посмотрели.

— И то, барин, хорошо, что посмотрели, а вон другие и век тут живут, да что они видели? Ничего! Никакого любопытствия в них нет, только и мозолят одни карты... Тпфу!

Часа полтора прогугурили мы еще по этому поводу в долгий осенний вечер, так что наши лошади совершенно «выстоялись» и «подобрались» от длинного таежного путешествия. Кудрявцев спустился к речке, нарезал ножом несколько снопов лесного пырея, развел в котелке солоноватой воды, попрыскал

ею уже подсохшую траву и дал лошадям. Собак мы покормили остатками похлебки с сухарями и привязали врозь к деревьям, чтобы они на случай не испугали зверя да не подрались из-за косточек.

Повсюду настала невозмутимая тишина безлюдной тайги, которая точно погрузилась в непробудный сон, прикрывшись полусветом северной ночи, тая в своих вертепах не одну сотню различных животных... Но, несмотря на эту могильную тишину, душа охотника ясно сознавала, что вся окружающая тайга живет не только сама, но оберегает тысячи разнородных существ и как бы наблюдает за всеми проявлениями этой тающей жизни и молча следит за всем тем, что Дарвин называл «борьбой за существование».

До нашего слуха доносилось только похрумкивание зубов лошадиной поедки да тихое журчание нагорной речушки, напоминающее томное воркование горлинок и как бы говорящее о той жизни, о которой мы, простые смертные, забываем нередко, но каковая доступна лишь возвышенному настроению души поэта, и вот почему тут мне опять

невольюно хочется привести на память превосходные слова Никитина, который говорит:

*Присутствие непостижимой силы  
Таинственно скрывается во всем:  
Есть мысль и жизнь в безмолвии  
ночном,  
И в блеске дня, и в тишине могилы,  
В движении бесчисленных миров,  
В торжественном покое океана,  
И в сумраке задумчивых лесов,  
И в ужасе степного урагана,  
В дыхании прохладном ветерка,  
И в шелесте листов перед зарею,  
И в красоте пустынного цветка,  
И в ручейке, текущем под горою.*

Но вот где-то далеко-далеко послышался крик молодого (оленя) изюбра, который звонким, но как бы подавленным эхом, пролетев по горам, тихо замер в пучине леса на той высокой ноте, какой этот зверь заканчивает свою любовную песнь.

— Это что же такое? Неужели до сих пор гонится изюбр? — сказал я, прислушиваясь.

— А вишь, барин, погодье-то стоит теплое,

он и ярует до сей поры. Знать еще, подлец, не натешился, а либо не пришлось полакомиться с подружкой.

— Ему, брат, простительно — он молодой. А вот ты и старик, да все еще ухмыляешься, как завидишь «баскую» бабенку.

— Поди ты от меня, греховодник. Это у тебя-то на уме одни чернобровые мамзели, а я уж чего — натешился: замыкали бурку крутые горки.

— Ну ладно, дедушка, заговаривай зубы-то, вижу ведь и я сокола по полету.

— Какой, брат, сокол — хуже вороны. А вот давай-ка лучше ложиться да соснем помаленьку...

Тут старик встал, помолился на восток, поправил огонек, лег и завернулся азымом. Я, последовав его примеру, накрылся полушубком, но долго еще любовался чарующей картиной тайги при лунном освещении да прислушивался к речушке. В таких случаях я никогда не могу скоро уснуть, потому что появляющийся наплыв всевозможных Мыслей берет верх над Морфеем и мне частенько приходится только немного вздремнуть перед

утром, чтоб хоть сколько-нибудь подкрепить свои силы сном.

Долго ли я проспал на моховой перине — не знаю. Но вот услышал, что меня кто-то тихонько поталкивает в спину. Я тотчас повернулся к старику и увидел, что он, стоя на коленках, чутко прислушивается.

— Ты что это, дедушка? — спросил я спр-сонья.

— А вот постой-ка маленько, так и сам услышишь, что где-то неподалеку помыкивает сохатый.

— Ну?!

— Взаболь! Да только молчи, не говори громко.

Тут Кудрявцев тихо встал с логова, надергал моха, положил на тлеющий и догоревший за ночь огонек и полил его сверху оставшимся в чайнике чаем, а у лошадей взял последние объедки снопов пырея, чтоб они не хрумкали.

— Вот так-то лучше, а то зверь этот сторожкой, полохливый, как раз почует, что тут неприятель, — шепотком проговорил он, усевшись на логово.

Прошло минут десять томительной паузы. От напряжения слуха у меня как бы зазвенело в ушах. Полная луна, скатившись к востоку, как-то уже томно озаряла просыпающуюся тайгу, потому что с появлением утренней зори, кой-где начали чиликать мелкие пичужки, а она теряла силу волшебного фонаря. Взглянув на собак, я заметил, что они, поднявшись на передние лапы и насторожив уши, тоже чутко прислушиваясь, только нервно вздрагивали.

Но вот, не далее как в версте от нас, послышалось томное помывкивание сохатого.

— Слышишь? — тихо сказал старик и подавил меня пальцем.

— Слышу. А вот, дедушка, как бы собаки у нас не залаяли.

— Нет, барин, мой не гукнет, а вот разве Танклетко нас выдаст.

Я тут же тихо погрозил насторожившемуся Танкреду и велел ему лечь. Он повилял хвостом, лизнул мне руку и неохотно улегся, но глаза его горели, а чуткий нос двигался по воздуху.

— Ну, как быть? Что будем делать? — про-

шептал я.

— А вот погоди маленько, надо послушать, куда он направится.

Прошло еще минут десять, и вот до нас долетели те же звуки зверя, но уже гораздо ближе. Оставалось решить только вопрос, по какой стороне речки идет сохатый. Но, как мы ни прислушивались, а эта задача оставалась для нас не вырешенной. Потому, чтоб не упустить время, мы согласились промышлять таким образом, что старик отправится караулить за речку, а я пойду встречать по своей стороне.

Мы тотчас оделись, взяли винтовки и живо, но потихоньку разошлись по своим местам. Я видел, как старик разулся, чтоб перебрести речушку, а потом надел толстые волосяные чулки (прикопотки) и заткнул «чарки» (вроде кожаных поршней) за пояс. Увидав этот прием, я тоже сбросил сапоги, оставил их на тропинке и в одних шерстяных чулках пошел в ту сторону, откуда доносились звуки токующего зверя. Однако же холодный утренник давал себя знать настолько, что у меня скоро замерзли ноги, так что я, воротившись

к табору, натянул на ноги, насколько было возможно, дедушкины варежки.

Долго стоял я на дорожке, или, лучше сказать, торной звериной тропе, отойдя от табора сажен полтора, и до меня не долетело уже ни одного звука, который бы мог обнаружить хотя сколько-нибудь присутствие зверя. Я хотел воротиться, потому что ноги мои все-таки стыли и чувствовал озноб, как вдруг до меня донеслись тупые звуки тяжелой поступи по подмерзшей почве. Ту же минуту спрятавшись за дерево, я увидел саженях в семидесяти от себя двух тихо идущих маток, а сзади их громадного рогатого кавалера.

Полагая, что звери придут по тропинке вплоть к тому дереву, где я запрятался, я, ментально согнувшись, юркнул сажен на шесть в сторону и снова спрятался за громадную листовенницу. Но вот сохатые, не дойдя до меня сажен тридцать, вдруг остановившись за широким кустом, стали робко прислушиваться, понюхивать воздух. Я видел только одни рога самца и был в полной уверенности, что звери все-таки непременно вышагнут из-за куста и тогда выстрелю в перво-

го из них. Но вот я услышал, как все они как-то взбуркали горловыми тупыми звуками и бросились назад, так что защищающий их куст зашевелился вершинками и мне показалось, что сохатые пошли по чаще в гору.

Мной овладело какое-то отчаяние, неподдающаяся перу злоба охотничьей неудачи: я моментально побежал на пересек их пути, но — увы! — до меня только ясно доносилась скорая побегка испугавшихся зверей, потрескивание сучков, да я видел, как покачивались задетые ими ветки... Наконец все вокруг меня стихло, а кусты и ветви деревьев перестали качаться... Я чуть не плакал, под горло подступала только охотнику понятная досада или, скорее, тоска, которую, мне кажется, в этом случае можно сравнить с тем тяжелым чувством, когда смотрят за отправляющимся экипажем, уносящим от вас в далекий путь дорогого сердцу человека, и вы не знаете: свидитесь с ним на этом свете или нет? У вас остается в душе не надежда, нет, а какая-то мечта, говорящая вашему сердцу о том, что все в воле господней, и вы только грустно говорите: «Кто знает, а может и свидимся!..»

Как смотрят иногда на колею этого экипажа, так я, скрепя сердце, пошел на тот пункт, где пробежали сохатые, и глазам моим представились ясные знаки громадных копыт по застывшему моху. След был так еще свеж, что в его оттисках некоторые частицы моха и мелкого ягодничка, по силе растительной упругости, на моих глазах поднимались кверху и шевелились в протоптанных копытами лунках. Эта свежесть еще более усиливала грустное впечатление и снова напоминала ту вьющуюся пыль или пузырьки грязи, которые так тяжело знакомы вам по колее все того же, только что укатившегося, дорогого сердцу экипажа.

Кроме такого сопоставления, при таких случаях в душе страстного охотника невольно является иногда и такое забавное чувство. Смотришь, например, на какой-нибудь обгорелый пенёк и завидуешь его положению, думая: «Счастливец! ты был так близко к ходу зверей и видел их в нескольких аршинах, — ну зачем на этот раз не я стоял на твоём месте...» Говоря это, вот как тут не вспомнишь своей молодости, когда, бывало, с особенным

чувством певалось преглупейшее стихотворение, вероятно известное всякому уроженцу 30-х годов текущего столетия:

*...Вдруг я вижу: чья-то ножка  
Наступила на бревно!..*

Вспомните, господа ровесники, и скажите, положив руку на сердце, прав я на этом листке как страстный охотник или нет? Так или не так, а мне почему-то сдается, что если вы, читатель, истый охотник, то в подобных охотничьих неудачах непременно чувствовали, а может быть, и говорили то же самое, что и я. Неужели я ошибаюсь? Ну, не может этого быть: охотничья страсть везде одинакова: как за бархатным жилетом богатого магната, так и за холщовой подоплекой рубахи сибирского простолюдина!..

Однако же я, кажется, заболтался и должен сказать, что, возвратившись к табору, развел снова огонек, зачерпнул в чайник воды и, повесив его на таган, свистнул Кудрявцева. Он, тотчас поняв, в чем дело, скоро подошел ко мне. Тут мне пришлось рассказать старику всю свою неудачу да погоревать уже вместе.

Напившись чаю, мы решились сначала проехать верхом по следу и, если нигде не увидим зверей, тогда отпустить собак, полагая, что, может быть, они нагонят дорогую дичину и остановят где-нибудь на отстое, то есть прижмут ее к утесу, оврагу или какой-нибудь круче, куда неудобно или невозможно спастись хитрому зверю.

Следом мы проехали версты три или четыре, но когда ободняло и сделалось потеплее, так что подстывший мох получил свою природную мягкость и упругость — следы ступывались на его поверхности, а мы начали сбиваться, тем более потому, что звери, «перевалившись» чрез небольшой хребтик, ушли в чащевитую северную покатость. Тут мы остановились и отпустили собак: они, стремглав бросившись по свежему следу, скоро скрылись из глаз, так что нам пришлось продираться чащей наудачу. Долго спускались мы под гору. Наконец пересекли какую-то речушку и не знали, куда ехать, потому что след потеряли давно, а о собаках не было и слуху. Но вот старик направился вниз по речке, а затем, версты через полторы, перехватил свежую

сакму сохатых.

Тут возбудился очень интересный вопрос: пробежали собаки по следу или нет? А если прошли, то гнали зверей или только следили?

Долго мы ехали этой сакмой, но не могли найти никакого признака, который бы мог решить нашу задачу. Но вот мы увидели выбитое до земли местечко, где «греблась» козуля, а на нем ясно отпечатались две собачьих лапы разной величины. Эта, по-видимому пустая, штука очень определенно сказала нам, что собаки шли тут следом и бежали друг за другом, а если бы они гнали зверей, то были бы другие приметы уже не по самой сакме, а где-нибудь с боков хода животных.

Всю эту премудрость растолковал мне Кудрявцев, так что, заинтересовавшись его определением, я невольно спросил:

— Ну хорошо, дедушка! Теперь я убеждаюсь, что все это верно, но как же узнать, если б собаки, гнав зверей, бежали с боков?

— А тогда, барин, и самые звери пошли бы иначе. Тогда их сакма станет путаться в разные стороны, а собаки, забегая вперед, уж

непременно бы где-нибудь подсекли травинки, ягожник, пруточки, а либо сбили лапами лежащие по земле шишечки. Они бы, значит, показывались нам не сухими, а черными брюшками, понамокши от сырости...

— Верно, дедушка, верно! Теперь и я понимаю: тебе, брат, и книги в руки! — перебил я Кудрявцева.

— Да тут, барин, и книг никаких не требуется, а нужна только сметка да навык не глядеть по-пустому, а примечать, что богом человеку показано.

— Так-то оно так, да видишь, господь-то не всех наделил ровно...

— Вестимо, не всех, — перебил он меня, — вон другой весь век промышляет, а не знает пустяковины, ну а иной и молодой да ранний, того не собьешь и всемером не объедешь, нет! Он, брат, упредит, да и старому сопли-то вытрет...

— Понимаю!.. — вырвалось у меня невольно.

— Да тебе, барин, чего об этом рассказывать. Ты ведь и сам натуральный да меня, старика, только щупаешь, — снова перебил он ме-

ня.

— Нет, дедушка, я бы до таких тонкостей своим умом не дошел, а знаешь пословицу: «Век живи да век учись».

— Это вестимо, что ум хорошо, а коли два — так и того лучше.

— Ну вот то-то и есть.

— Такие поговорки, барин, ведь не нами придуманы, а всякий их знает. Ну вот другой смолоду лежит на полатях и того не понимает, что свинья поросится. Нет, брат, везде надо практика, вот она и доводит до толковитости...

Продолжая разговор в этом роде, мы еще версты две проехали шагом по звериной тропе, по которой шли звери, но нигде не заметили того, чтоб они остановились. Наконец след их снова пошел на север, в хребет, так что Кудрявцев слез с коня отдохнуть, потому собаки голоса не подавали, а это говорило о том, что сохатые ушли и за эту большую возвышенность, куда ехать на авось нам уже не хотелось, так как продираться чащей да подниматься снова на хребет было уже крайне затруднительно.

Мы решились остановиться, чтоб сожрать собак, а потому развели огонек и повесили на таган чайник.

— Ну, барин, не фарт наш сегодня. И с чего им так напужаться? Верно, духом хватило, что бегут, нигде не опнувшись?..

— А черт их знает, проклятых, с чего они одичали. Ну пусть бы меня увидали, а то я знаю, что этого не было.

— Значит, от табора навернуло, вишь, ветерком-то потягивает, а либо раньше уж пуганы. Это бывает, другой раз хоть и бросятся, да тут же где-нибудь и приткнутся в чащичку, а случается и так, что верст тридцать полощут напроход, не опнувшись, такой уж этот зверь и есть полохливый...

Пока мы пили чай, солнышко спустилось на вторую половину, так что мы не знали, что делать. То ли ехать обратно, то ли сожидать загулявших собак. Вследствие такого глупого состояния мы не расседывали лошадей, не ложились отдыхать, а только толковали о зверях да все-таки прислушивались — не остановят ли где-нибудь собаки сохатых и не подадут ли голоса.

В таком томительном ожидании мы провели, по крайней мере, еще часа полтора, но вот наконец старик увидел своего Серка, который легкой, но утомленной хлынью (трусцой) возвращался по следу, а за ним едва тянулся мой Танкред. Завидя нас, до крайности уставшие псы пробежали мимо, добрались до холодной речушки и в изнеможении упали в воду.

— Смотри-ка, дедушка, как они уходились сегодня.

— А это, барин, значит, что звери сразу ушли на проход, а собаки, если их и догнали, то остановить не могли. Вишь, кабы один, а то ведь три — если, скажем, одного постаноят, то два прорываются, вот оно и не под силу, ну а ловкого места, значит, «отстоя» по-нашему, верно, тут нету — так черт задержит...

Когда отдохнули собаки, мы их покормили, а потом сели на коней и отправились потихоньку обратно, но так как начинало уже вечереть, то пришлось остановиться на том же таборе.

Эту ночь, вероятно от неудачи, мы спали отлично и улеглись рано, так что проснулись

еще до зари и, напившись чаю, поехали прямо таежной тропкой. Тут старик, тоже неподалеку от табора, увидел в чаще небольшую матку. Он тотчас соскочил с коня, сбросил чирки и в одних чулках пошел скрадывать, а мне велел потихоньку ехать как бы помимо усмотренной дичи.

Отъехав сажен около двухсот, я услышал выстрел, который точно целебным бальзамом подействовал на весь мой организм и оживил упавшую душу. Ту же минуту я повернул назад, почти побежав рысью, но мне все казалось, что я почему-то опоздаю, а потому это, хоть и приятное, возвращение казалось для меня вечностью. Но вот из чащи вышагнул мой ментор, и я видел по его радостной физиономии, что он убил зверя.

— Ну что, дедушка? Как? — спросил я, подъезжая к нему.

— Да слава богу, барин! Подкрался близенько да так ловко стукнул ее по сердцу, что она, сердешная, тут же и растянулась, хоть бы дрыгнула.

— А я не мешал тебе, как поехал?

— Какое мешал, кабы ты не поехал, так,

пожалуй, мне бы и не скрасть, а то она как услышала, что тут кто-то есть, так затянулась в чащу еще больше да и вытянула шею, глядит, прислушивается, а потом, значит, и вышагнула в опушку, дескать, проехали, — я ту же минуту пришурупился к своей астролябии да благословясь и потянул ее за собачку... — радостно рассказывал Кудрявцев, заряжая винтовку.

— Да ты, брат, поди-ка, и не прицелился — сплохо попало! — шутил я, посмеиваясь от радости.

— А хоть бы и сплохо, так что за беда, ведь знаешь пословицу: «Чей бык ни ходит, а телята все наши!» — огрызнулся старик.

— Ну, дедушка, я ведь и этой поговорки ни разу не слыхивал, откуда ты их ковыряешь?

— Опять-таки, барин, ковыряю из жизни, вот поживешь в миру — не соскучишься, так тому ль понаучишься.

— Это правду ты говоришь: у нас другой свет и таких поговорок уж нет, — поторопился я ответить старику в рифму, чтоб не остаться в долгу, но он не задумался и ту же минуту сказал:

— Вестимо, что и быть не должно, ваша-то жисть из вольтоты выходит, а наша-то за нуждой по-за шее проходит.

Видя довольство старика, я тотчас соскочил с коня, сбросил с седла сумки, достал фляжку, налил стаканчик водки и, подавая ему, нарочно сказал: «Ну, брат, сердечно поздравляю и бить сохатых все желаю».

— Вот за это, барин, спасибо. А я вперед не зарекаюсь, стрелять их в сердце постараюсь, — ответил он ту же минуту, не моргнув глазом, и, выпив водку, от удовольствия сплюнул сквозь зубы...

«Ну, думаю, молодец же ты, дедушка! Тебя, верно, не загоняешь», — а потому как бы пристыженно замолчал, налил второй стаканчик и выпил сам.

Зверь оказался небольшой — прошлогодняя маточка. Освежевав ее, мы поехали к речке, наварили похлебки, закусили, а затем отправились к дому.

По дороге нам попались молодые глухари. Мы объехали их кругом, а потом начали скрадывать и на этот раз так удачно, что убили пять штук. Но такая счастливая случайность

задержала наш путь, пришлось ехать уж ночью и только перед утром добраться «до хаты».

## XV

С назначением П. А. Иосса управляющим Карийскими промыслами наша жизнь, как служебная, так и частная, во многом изменилась к лучшему. С его появлением любимцы и клеветы предместника совсем стусевались, подпольная система исчезла, а всевозможные абсурды по управлению канули в Лету забвения. Этот толчок новой жизни благотельно отразился на всех сослуживцах, так что мы зажили дружнее, проще и, что касается меня лично, то я почти перестал хандрить и не имел уже столкновений ни с Халевинский, ни с Эрб-сом, тем более потому, что их начальник Налетов оказался очень милым, общественным господином. Только один Эрб-с нет-нет да и удерет какое-нибудь колено; но он скоро убрался с Кары, оставив по себе крайне не рекомендующую его память.

Заговорив о новом толчке жизни на Каре, я не могу умолчать о том, что мы, нередко собираясь со всех концов в одно целое, проводи-

ли время просто и весело. В этот период за карты принимались довольно редко, пьянства в нашем кружке не существовало — оставались рассказы, беседы, чтение, игры. Понятное дело, что и при таком препровождении времени встречалось немало курьезов, которые, переходя потом в анекдоты, расходились чуть не по всему Забайкалью.

Так однажды собрались мы у доктора, очень веселого и милого сотоварища по службе и жизни. Генрих Людвигович Крживицкий был родом поляк, и, несмотря на то что он давненько жил между русскими, в его речи нередко встречались неправильности, к которым все мы привыкли и не обращали на них внимания.

Но вот, собравшись у сытной закуски, доктор, говоря о каком-то обжоре в его родине, сказал, что этот господин нередко поражал многих своим аппетитом.

А надо заметить, что г. Налетов, как человек довольно полный и очень рослый детина, любил тоже покушать немало; а потому рассказ Крживицкого заинтересовал его не на шутку, и вот он, убирая за обе щеки, спросил,

шутя, доктора:

— А что же, например, съел этот обжора?

— Помилуйте, батенька, да он однажды, на глазах всех присутствующих, за один раз съел две жирных гуси...

— Ха-ха-ха! — подхватил Налетов, а потом, обращаясь к нам и покатываясь со смеху, сказал: — Слышите, слышите, господа! Доктор говорит «две гуси!»...

— Хорошо, хорошо, ну так как же нужно сказать? Как же по-вашему? — кипятился Крживицкий, приставая к Налетову.

— Да как? Конечно, двое гусей, — проговорил он серьезно, — а то две гуси!.. Ха-ха-ха!..

— Как двое гусей! — хохотал уже Крживицкий и бегал с куском на вилке за покрасневшим Налетовым.

Тут мы уже все не могли безучастно перенести этого курьезного спора, а потому всем кагалом разразились гомерическим хохотом.

Это так энергично подействовало на распекушившихся противников, что они оба отскочили в разные углы с вилками в руках и, недоумевая, вопросительно смотрели на нас...

Когда им объяснили их обоюдные ошибки, то тот и другой, все еще стоя на тех же местах, неудержимо хохотали сами над собой, доказывая друг другу, кто из них ближе был к правильной речи. Наконец противники сошлись, взялись «под ручку» и отправились к столу выпить «совпадающий брудершафт», как они выразились.

После этого забавного случая мы нередко называли в шутку доктора — «две гуси», а Налетова — «двое гусей»...

Другой раз, тоже на каком-то сборище, же на подлекаря — мадам Станкурист, родом швейцарка, рассказывала о поразившем ее бедствии во время эпидемической заразы на рогатого скота. Конечно ее, как хорошую хозяйку, крайне возмущало такое народное несчастье, так что она со слезами на глазах передавала слушающим о своих потерях.

Тут кто-то из участвующих серьезно спросил ее о том — сколько же скотин вывезли у нее со двора?

— Ах что ви, что ви! Цели двор бил мой живот и всех умирал в одна день и в одна ночь; а тут оставался один коров, да и то

бик, — говорила она плача.

Как ни крепились ее собеседницы, но тут тоже не стерпели и покатались со смеху, а затем, повскакав с мест, невольно твердили ее последнее выражение. Ну, конечно, после этого и госпожу Станкуруист частенько называли за глаза не иначе как «один коров, да и то бик»...

Все это, однако, касалось только жизни нашего кружка, а если познакомить читателя с другим слоем карийского населения, то придется веселую улыбку замкнуть в сжатые уста и подивиться тем зверствам, какие изредка совершались клейменными затворниками при их побегах из каторги. Я уже говорил в статье «Шахтама», что эти отрезанные ломти от всего гражданского мира частенько поражали своими зверскими поступками не только всех имеющих чуткое сердце, но и всех загрузивших товарищей.

Конечно, читая описание последней турецкой войны, нервы наши как-то притупились от раздирающих душу картин, совершавшихся в Болгарии; но в то время, когда мы не имели почти никакого понятия о турецком воз-

мездии, нас поражали те страшные поступки, которые производились карийскими арестантами. В мирное время они казались нам не человеческими, а чем-то особым, чего долгое время не переносит душа и не может забыть до последних дней жизни.

Так однажды на Нижнекарыйском промысле молодой казачок повел двух арестантов, работавших на разрезе, в кузницу, чтоб отострить инструменты. Это было весной, когда «генерал Кукушкин», крича свою песню в бору, манил каторжан на свободу. Кузница стояла несколько вбок, на борту разреза, а шел небольшой дождик, так что многие надзирающие за работами не обратили внимания на «форменно» удалившихся арестантов. Между тем эти звери, воспользовавшись удобным случаем, совершили ужасную вещь. Забравшись в кузницу, они сказали кузнецу, чтоб он не беспокоился: дескать, такую пустяковину мы и сами сделать сумеем. Тот, конечно, как русская натура, обрадовался такому случаю, отдал им молотки, закурил трубочку и пошел к калашнице, чтоб взять себе мягкую закуску.

Юный казачок, тоже видя такую простоту в обращении, свернул себе из бумажки цидулочку, закурил, а ружье поставил к сторонке, дескать, на что оно мне, когда приведенные под конвоем арестантики такие добрые, услужливые люди.

Но варнаки не дремали, они тотчас поняли, с кем имеют дело, отвострили как следует «попрогонистее» тяжелый лом, а затем снова запихнули его в горн — пускай, мол, нагреется, так мы его закалим, вот и будет покрепче. Времени прошло немало, так что расчувствовавшийся казачок, прислонившись к стенке кузницы, задремал.

Тогда один здоровенный арестант вынул из горна добела накалившийся лом, подошел к неповинному юноше и так хватил его в грудь отвостренным ломом, что прошиб этого несчастного насквозь, пригвоздил к стене как какую-нибудь букашку, на простую булавку для коллекции насекомых.

Затем варнаки моментально собрали подготовленные пожитки, подхватили солдатское ружье, патронную сумку и, тотчас скрывшись за кузницу, ушли в лес.

Все это видел присутствующий тут молотобоец, который отдыхал за горном и был незамечен преступниками. Видя и самую картину смерти, он боялся пошевелиться и пришел в себя только тогда, когда убийцы давно уже убежали из кузницы, а несчастный солдатик испекся в кусок ростбифа на раскаленном леме...

Рассказ этого очевидца был ужасен, а потому я уже не стану подробно описывать такую мученическую смерть юного служаки, эту страшную картину его короткой агонии — довольно, кажется, и того, что сейчас невольно сорвалось с пера...

Молотобоец, как сумасшедший, захватил грудь руками, только тогда выбежал из кузницы и закричал «караул! ка-ара-ул!..», когда на убитом казачке загорелась солдатская шинель, стеганый нагрудник и холщовая рубашка.

Тотчас были откомандированы люди за удалившимися преступниками, но их отыскать по тайге уже не могли — они где-то ловко запрятались, унеся с собой такой ужасный поступок, который невыразим на бумаге и

нет ему достойного возмездия на нашей греховной планете.

В другой раз, все на том же Нижнем промысле, убежал арестант из тюрьмы или госпиталя, хорошенько не помню, и наткнулся в лесу на молодую девушку, которая, отбившись от подружек, вероятно увлекшись собиранием земляники, ушла в сторону. Злодей поймал эту несчастную, изнасиловал и произвел невероятное зверство.

Когда, уже вечером, домашние спохватились потерявшейся дочери, то тотчас спросили ходивших с нею подружек. Те объяснили, что она все время была с ними вместе, а потом они не заметили, как она отделилась от компании; что, возвращаясь домой, они кричали и аукали ей все, но она не подавала голоса; затем сказали, что когда они пришли домой, то все еще думая, что в известной и знакомой ей местности заблудиться нельзя, разошлись по домам.

Странно, в самом деле, только вот что: почему ни одной из них не пришло в голову забежать к родным потерявшейся и не обсказать о случившемся; а те в свою очередь, не

замечая возвращения сотоварок, не вздумали справиться раньше, дотянув время до вечера.

Тогда только с воплем и плачем, заявившись к подлежащей власти, просили они содействия. Ту же минуту были наряжены объездчики, которые проехали по известной местности до поздней ночи, но — увы! — потерявшаяся не только нигде не откликнулась, но как бы без вести совершенно исчезла.

Рано утром те же люди, с прибавлением уже многих «наряженных» полициею и просто желающих, отправились на новые поиски.

Долго ходила и ездила эта компания по всем направлениям нижнекарыйской окрестности — и все безуспешно. Но вот чья-то собачонка потянула к каменистой россыпи, за ней бросились более сметливые люди и тотчас заметили между кустами следы крови, а затем — о, ужас! — нашли и самый труп несчастной девушки.

Конечно, тотчас собрались многие к этой ужасной находке, но, увидав ее воочию, закричали, заахали, «завыли» и чуть не разбежались от страшного впечатления; а многие

женщины и этого не могли сделать, потому что тут же попадали в обморок... У несчастной была отнята голова, по локоть отрублены руки и по колено отсечены ноги. Одной отрезанной грудью был заткнут рот, а другой...

Тут, от одного уже воспоминания, перо отказывается передать те ужасные впечатления, которые отразились на всех присутствующих и выражались несчастными родными. Нет, читатель, не спрашивайте подробностей; а мы лучше вместе с вами опустим над всей этой страшной драмой непроницаемую завесу, чтоб не видеть тех людских страданий, какие присущи человеческой натуре, при тех невероятно зверских поступках, какие совершены — увы! — тем же человеком...

Невольно спрашивается, какая была причина, какая цель такого мясничества? И мудрено ли, что после подобного зверства народ известной местности огульно до того ожесточается, что чуть только злодей попадает в его руки — он делает из него котлетку; что и случилось нередко при невольном взрыве самоуправного возмездия или при наказывании преступника «шпицрутенами» чрез «зеленую

улицу». Да и можно ли сожалеть такого злодея? Нельзя? Согласен, но только в горячую минуту, тут же, так сказать, на месте преступления!.. А после? А после случается так, что те же родные усопшего, со слезами на глазах, подают посильную милостыню или просят исполнителей наказания, чтоб «несчастливого» били полегче.

Что ж это такое? Неужели абсурд человеческой жизни?.. Нет, это та искра души и сердца чуть ли не одного русского человека, который в известных случаях мягок, как воск, скоро забывает тяжкие оскорбления, много-терпеливо переносит страдания плоти и духа, а веруя в слова Св. Евангелия и веря в предопределение свыше — уже не бьет, но готов мазать «миром» всякого страждущего действительно... Это характерная черта русского простолюдина как по всей Руси православной, так и на ее каторге в далекой окраине.

К счастью, описанные зверства или подобные им преступления единичны и бывали очень редко. Процент их весьма невелик, и едва ли он был тогда больше, чем в последующие годы, после великой реформы императо-

ра Александра II. Он, мне кажется, доказывал только то, что в человечестве встречаются такие субъекты, которые или больны, или уже не могут и не должны быть членами общества — их место вне окружающего мира, где-нибудь подальше или повыше...

В проявлении таких единиц вряд ли представится возможность найти положительную причину. Но судя по тому наблюдению, из какой среды выходят эти звери, невольно останавливаешься на той мысли, что загрубелость среды, отсутствие воспитания, крайняя неразвитость, упадок веры едва ли не составляют искомой причины; потому что не было еще примера на моей памяти, при жизни на каторге (16½ лет), чтоб мало-мало развитой человек сделал какое-либо зверство. Правда, что и такими людьми совершались убийства, но только убийства, которые вытекали из более или менее естественных причин человеческой природы и мотивировались едва ли не простительными побуждениями; они были вызваны и составляли, так сказать, причину на причину.

Нельзя не заметить еще и того, что боль-

шая часть подобных зверств произведена не ссыльными татарами или черкесами, а чисто русскими личностями. Что это означает? Чему приписать такие ужасные проявления в русской натуре?..

В этом случае Кудрявцев говаривал так: «Кто зверем вырос, тот зверем и до могилы, хошь ты его забей, хошь ублажай, как дитю; а умному да богобоязненному везде хорошо, тот и в каторге найдет себе почеть и место...»

И едва ли это не так в действительности.

Бывало, придет на Кару новая партия арестантов — вот и идут к ней «на знакомство», кто по своей обязанности, а кто из простого любопытства — посмотреть, нет ли в ней «бар» или знакомых «оборотней». И, странное дело, эти последние всегда занимали нас больше, чем первые.

Например, увидишь знакомую «рожу» и спрашиваешь: «Чей ты пишешься?»

— Сидор Петров! — отвечает он смело.

— Как Сидор Петров? Да ты настоящий Иван Кузьмин, с Верхнего промысла.

— Никак нет, ваше благородие! Извольте посмотреть хошь «статейные списки», — го-

ворит он, не дрогнув ни одним мускулом.

— Хорошо, голубчик, как же в нем сказано, что Петров высокого роста и всего 30 лет, а ты невелик и уже старик?

— Эх, ваше благородие! Да путь-то ведь длинный, сколько годов его меришь — поневоле согнешься да стариком сделаешься.

И тут уж никакая сила не убедит Петрова, что он настоящий Кузьмин. «Знать не знаю, ведать не ведаю», — а свой брат его не выдаст ни под каким видом, особенно при официальном допросе. Но в сущности дело очень простое: бежавший уже с каторги Кузьмин был где-нибудь пойман, посажен в подорожный этап, там он встретился с таким товарищем, который только что идет в каторгу и назначен по расписанию, положим, в Шахтаму; вот он и снюхается с новичком, подпоит его темным путем водочкой, купит его имя — и делу конец. При переходе на следующий или второй этап, особенно по смене конвоира, при первой же «перекличке», Кузьмин выходит уже за Петрова, а тот за него — вот и вся штука, «и те очи, да не видны в ночи».

Частенько случается и так, что продав-

шийся Петров, приняв на себя в пьяном виде звание Кузьмина, придя на место, отдувается за его грехи своей собственной шкурой — и ничего! Отдуется, а тайны не выдаст; да и нельзя, потому что «в каторге» (у арестантов) свои собственные законы, свой гонор, свой девиз, и если изменил — все равно «свои же задавят» без знаков насилия и делу конец! А если спросишь варначков об этом келейно, так они и скажут откровенно: «Эх, барин, и был, вишь, бурка — да худа шкурка!»

Далее, при приеме партии, обыкновенно следуют вопросы о том, кто из арестантов имеет за собой какое-либо мастерство? Тут записываются по личным отзывам плотники, столяры, кузнецы, слесаря и т. д. Такие искусники, по принятому обычаю, отходят в сторону, становятся в отдельную шеренгу, и их заносят в особую книгу.

Вот однажды из таких кудесников вошел один молодец и заявил, что он по ремеслу винодел.

— Как? Винодел? — переспросил его пристав.

— Точно так, ваше благородие, — винодел.

— Где же ты был — в Крыму или на Кавказе?

— В Москве, ваше благородие!

— А! В Москве-е? — протянул невольно пристав. — Что же ты там делал?

— Я много лет служил у известного вино-торговца немца Н., знаю все рецепты приготовления мадеры, хереса, портвейна и все, чего угодно.

— Вот так молодец! Только, брат, мы этим здесь не занимаемся, да и таких препаратов у нас не имеется.

— Да тут, ваше благородие, немного и надо: простое вино есть, очистить я сумею; а что касается до различных принадлежностей — то это пустяки, достанем...

Тут все невольно захохотали, а пристав приказал виноделу выйти из шеренги мастеровых, чтоб стать опять в общую группу чернорабочих. Он сконфузился, пожал плечами и, неохотно переходя назад, удивленно сказал:

— Право, не понимаю! Выписывают вина из Москвы, берут у купцов, платят черт знает какие деньги, а пьют то же самое, что здесь

будет стоить копейки...

Новый взрыв хохота заглушил продолжение его наивного изречения, так что московский винодел, уже чуть не плача, примкнул к массе простых смертных, не обладающих никакими рецептами, составляющими перлы русской торговли.

Через несколько лет этот кудесник вышел на волю, пристроился к одному из местных купцов, который приобрел известной фирмы этикетки, клейменные пробки, скупил опро- станные бутылки и стал продавать по «надле- жащему усмотрению» «самодельные вина»...

И эти замечательные произведения «си- бирских виноградарей» очень выгодно спус- кались таежным «золотарям» (т. е. рабочим с золотых приисков), которые, выбравшись с промыслов, производили настоящие безобра- зия.

Трудно описать все, что только творится разгулявшимися рабочими, которые нередко, вынося с собой сотни рублей, забывая свои го- лодующие семьи, до последнего гроша пропи- вают заработки и частенько доходят до того, что остаются в рубищах и дожидаются, где-ни-

будь уже за кабаком, новой «наемки», чтоб получить «задатки».

Такие артисты, собираясь в Нерчинском заводе, где обыкновенно производилась наемка людей на казенные золотые промысла, частенько жили в заброшенном здании без печей и других приспособлений к жизни. Днем они побирались и прокармливались по знакомым, а ночью забивались в это здание, ложились в кучу в натасканную солому и согревались собственной животной теплотой. Здание это, в мое время, называлось почему-то «параходом», а все его обитатели — «параходскими». С каким нетерпением ждали эти холодные и голодные люди вожделенного дня «наемки»! А получив задатки и снова пропившись, они уже сами торопились поскорее попасть на промысел и, часто не видя своих семей или родственников, без оглядки удирали в тайгу, обматывая свое грешное тело сеном или ветошью (прошлогодней травой), а другие несли на себе увесистые чурки, чтоб не мерзнуть дорогой и не погибнуть в зимнюю стужу.

Эти «параходские» забулдыги обыкновен-

но так улепетывают по тайге, что их не всегда обгонишь и на лошадях. Однажды я спросил такого гуся.

— Ну, что, брат, как ты дошел?

— А ничего, ваше благородие! Шел тепло, у меня ведь одежда-то светом перестрочена, дырами оторочена, из нужды пошита, ветерком подбита — легко!

— Ах ты, окаянный! Ну, а что же ты ел?

— А ничего, барин, голода не видал, хошь три дни не едал: сутки не варишь, другие не варишь, на третьи погодишь, да снова не варишь — так всю дорогу и бежишь; а ничего, добрался, слава богу, благополучно! Только вот в зубах прошлогоднее мясо засело, так его и посасывал...

Покажется невероятным, каким образом простолудин в несколько недель или даже дней может прокрутить сотни рублей. А между тем, проследив за его самодурством, можно прийти к такому заключению, что некоторым личностям может не хватать даже и тысяч.

Представьте себе такую, например, штуку, что расходившийся саврас требует, чтобы его

везли по земле на санях. Тотчас являются исполнители такой воли, постилают в них какой-нибудь отрепанный тюменский ковер — и просят «пожаловать»!.. Раскосмаченный и с опухшей от вина рожей саврас торжественно садится в экипаж один или приглашает с собой не менее безобразную подругу и кричит: «Пошел!..» Тройка, звеня всевозможного сорта шаркунцами и колокольчиками, поднимая столб пыли, шурша да скрипякая полозьями по земле, летит через деревню к следующему кабаку, а «восчувствовавший» кутила ревет пропитым голосом какую-нибудь излюбленную песню!..

«Тпрр-уу!..» — останавливает бойкий, себе на уме, ямщик запыхавшихся коней, чтоб снова сказать пассажиру «пожалуйте!..».

Не менее того плутоватый целовальник выбегает на крыльцо, «принимает» подъехавшего «под ручку» и самодовольно ведет к своей стойке...

А сколько глазующих, сколько всякого возраста народа, иногда бегом провожая или встречая савраса, радостно приветствуют эту обезумевшую личность, зная, что и на их до-

лю, «за уважение», перепадет размочить только что подсохшие губы... А сколько острот, прибауток и бахвал сыплется на отуманенную голову сибирского «бурки», который, если еще в силах, то становится в позу и самодовольно кричит:

— Шапки долой!! Всех напою!.. Идите, сволочь, за мной!.. Эй, целовальник, давай сюда бочонок!..

— Пей, народ православный, а нраву моему не препятствуй!..

Ну, а если и этого мало или еще не натешилась душа забубённого «бурки», он отправляется в лавочку, набирает кумачу или ситцу, велит разостлать по дороге, и, когда услужливые прохвосты исполнят и эту безобразную волю, он покупает пряников, леденцов, орехов, стручков и, отправляясь пешком по «тропке», бросает горстями в народ лакомства; а если и этого недостаточно, — то сорит медными и даже бумажными деньгами, чтоб насладиться той вопиющей картиной, какая тотчас появится в народе, когда не только ребяташки, но мужики и женщины, бросившись в грязь, начнут друг у друга отнимать

деньги, нередко оканчивая эту потеху настоящей потасовкой и вымаравшись в грязи не хуже свиней. Зато как громко и самодовольно хохочет не только беснующийся бурка, но и безучастная в драке публика, начиная с целовальника и кончая головой или всевластным волостным писарем.

Часто случается и так, что бурка, испробовавший всевозможные деревенские пути сообщения между кабаками, все еще недоволен бахвальством — тогда он требует «живую подводу»; тотчас являются особые, пропившиеся, люди и предлагают свои личные услуги. Бурка садится болвану на спину или на плечи, а для пущего курьеза ставит его на четвереньки, надевает седло и, при общем гомерическом хохоте, едет уже к кабаку на человеке.

Вот и сообразите, господа не верящие, что могут стоять такие удовольствия? А сколько денег пьяный саврас потеряет, сколько попытачат у него из карманов, насколько обсчитают и сколько таких неуловимых причин или, как говорят, «прорух», где он платит чуть не вдесятеро, не соображая о подобных затратах...

Как все это недостойно существа, носящего человеческий образ, как все это грустно!.. И некому остановить вопиющего безобразия, так сильно отражающегося на нравственности молодого поколения и государственной экономии края; а несчастным голодающим семьям нет места, которое бы защитило их от произвола беснующихся отцов, мужей, братьев: куда ни обратиться, везде ответ один и тот же: «Это дело не наше, запретить не можем, свое пропивают!!»

Это ли еще не свобода русского простолюдина? Это ли еще не понимание подлежащих властей великой истины, сказанной в словах бессмертного монарха, что правда и милость да царствуют в судах. Ужасно грустно! И находя неуместным сказать что-либо о бывшем в то время самоуправлении народа и «всезнающих», но как бы ничего не видящих «привередниках», которых никто не «замай» и кои никому непонятной гуманностью только развращали народ и делали из него какую-то незаконную вольницу, не понимающую ни себя, ни окружающих ее отношений ко всему остальному миру... Поневоле тут ставить точ-

ку и, извиняясь перед собратом по оружию за отступление в рассказе, просишь его снисхождения, а затем сделать небольшую паузу, чтоб в это время хоть покурить или просто о чем-нибудь передумать, например, вспомнить посмертные записки Н. И. Пирогова о возмущающей душу катастрофе 1 марта 1881 года и тогда уже со свежими силами, если хватит терпения, почитать дальше, чтоб, оставив безобразие Руси, перейти к природе, — почему и я уже лучше поставлю тут точку и начну с новой главы.

## XVI

Когда пришла глубокая осень и потянулся бесконечный ноябрь, я, если не писал охотничьих записок, обыкновенно в сумерках отправлялся на Средний промысел, чтоб провести вечер у Иосса. Сюда частенько являлись Кобылий, Мусорин, доктор Крживицкий, и мы нередко в приятельской беседе просиживали до ночи.

Однажды, поужинав, я уже в часу в первом отправился восвояси на Верхний. Тихая, звездная, освещенная луной ночь имела свою прелесть, свое особое очарование, которые

невольюно западали в чуткую душу, располагая к мечтательности. Выехав за околицу Среднего промысла, я отпустил вожжи, так что мой рослый и здоровенный Карька пошел шагом. Упругий снег по уезженной дороге, играя мириадами блесков на ровных полянках, тихо поскрипывал под полозьями; а эти своеобразные звуки еще более задевали за русское сердце и наводили на крайне разнообразные мысли.

Длинные синеватые тени от близстоящих деревьев ложились на белое покрывало и нередко пересекали узкое полотно дороги, что имело свою особую прелесть для любителей природы и уже располагало к чему-то таинственному, идеальному и, пожалуй, возвышенному, т. е. такому состоянию души, которая ничего подобного не ощущает среди ликующего дня и в кругу людской хлопотливости, говорящей только об одном житейском расчете да сухом, грубом материализме...

К довершению красоты этого чудного зимнего вечера, громадная комета, достигнув апогея своего величия, неслась почти чрез зенит северного неба и, тушуя своим хвостом

тысячи небольших звездочек, не закрывала только звезд первой величины, которые все-таки проглядывали сквозь раскинутую дымку особого света и как бы тайком мелькали через этот эфир, захвативший собой почти треть видимого неба. Не знаю, как на других, но на меня эта небесная гостя производила впечатление. Глядя на нее, я забывал уже все житейское, и сколько необъяснимых дум невольно вертелось тогда в моей еще молодой голове; сколько желаний распознать небесную механику или, лучше сказать, тайну великой природы роилось в моем слабом мозгу, который под горячим напором воображения все-таки холодно говорил о той великой силе, какую не распознает ни один смертный!.. От такого настроения какая-то невольная дрожь пробегала как бы электрическим током по всему организму и еще сугубее удручала и вместе с тем возвышала дух моего ничтожного Я. Первое ясно напоминало о том, какое мизерное существо человек среди всей этой великой гармонии премудрого создания; а второе как-то горделиво щекотало душу, которая не могла не сознавать того, что она из

самых возвышенных над всеми живущими существами на земле, всех ближе стоящая к тому пониманию, какое хоть несколько приближает к познанию законов великой природы и дает надежду на что-то идеальное будущее, как бы подкрепляя веру в загробную жизнь и приближение к тому, кто создал и так мудро управляет хотя и видимым отчасти, но столь таинственным для нас миром...

Вот как тут снова не вспомнить стихи Никитина, который, как истинный любитель природы и поэт, говорит:

*Когда один, в минуты размышле-  
нья,  
С природой я беседую в тиши,  
Я верю: есть святое Провиденье  
И кроткий мир для сердца и души;  
И грусть свою тогда я забываю,  
С своей нуждой безропотно ми-  
рюсь,  
И небесам невидимо молюсь,  
И песнь пою, и слезы проливаю...  
И сладко мне! И жаль мне отда-  
вать  
На суд людской восторги вдохно-  
вений.*

Пробираясь в таком настроении, я, незаметно проехав версты две, стал подниматься на небольшой «копанец», т. е. скопанный около горы путь, который одной стороной упирался к самому подножию горы, а другой прилегал к крутому обрыву, образовавшемуся как первобытным продолжением горы, так и искусственной насыпью при проведении дороги.

Вдруг мой Карька остановился, зафыркал ноздрями, начал переминаясь то в одну, то в другую сторону, а потом стал пятиться, как бы желая заворотить пошевенки, чтоб, круто обернувшись, удрать обратно от какой-то неожиданной встречи.

Я тотчас встал в санишках на ноги, увидел через лошадь, что впереди ее, в каких-нибудь пяти или шести саженьях, стоят на дороге два волка, которые, опустив головы, несколько пригнулись на ногах и точно караулили момент, чтобы броситься на коня. Увидав эту историю, я заметил, как горели их страшные глаза, и почувствовал, что задки моих немудрых пошевенок упрутся в какой-то камешек, крепко лежащий на самом краю доволь-

но большого отвала. В эту минуту все мои иллюзии моментально исчезли, Никитин ступевался из памяти, а самая комета точно бесследно утонула в небесной выси, и, кажется, вся кровь вдруг прилила мне в голову, во рту как-то высохло, а под горло подступила давящая истома.

В один миг я выскочил из санишек на сторону обвала, чтоб удержать их от падения, и сначала растерялся, не зная, что делать. Вследствие того, что я натянул вожжи, Карька попятился еще более и, спихнув поддерживающий камешек, толкнул и меня под гору. Тут я сначала упал на левый бок, но тотчас, поправившись, упер плечом санки, отпустил вожжи, крепко ухватился рукой за какой-то попавшийся пенек и чмокнул на коня. Он бросился вперед, выдернул уже совсем нагнувшиеся пошевенки и хотел завернуть обратно к Среднему, но я машинально подернул его за левую вожжу, успел заскочить в экипаж, хлопнул крепко бичом по дороге и хрипло крикнул на лошадь.

Карька, поднявшись на дыбы, подогнул голову, храпнул из всех своих громадных лег-



«Капа»

ких, вдруг со всего маха рванулся на дорогу, да так хватил на скачки, что я, едва удержавшись в пошевенках, моментально пролетел между расступившимися зверями. В этот момент мне только мельком удалось увидеть, как один из них ускокнул под насыпной взлобчик, а другой как бы прижался к горе.

Выскочив наверх по дороге, мне хотелось сдержать испугавшегося коня, воображая, что беда миновалась; но он закусил удила и летел во весь мах, а я, оглянувшись, заметил, что оба куманька во всю волчью прыть несутся за мной. Видя снова беду, я тотчас встал на колени, уперся ими в края немудрого экипажа, крикнул снова на Карьку и вытянул его бичом; он растянулся как скаковая лошадь, заложил уши и так катал по дороге, что мне пришлось только крепко держаться за вожжи да балансировать на неровностях. Однако же, несмотря на эту страшную прыть, волки все-таки стали нагонять пошевенки и подскочили так близко, что я невольно начал отмахиваться назад бичом.

Что бы было, если б лопнул, например, гуж или меня вытряхнуло из пошевенок? Об этом

и теперь боюсь подумать!.. Благодарю господа, что вея эта история кончилась счастливо. Две версты я пролетел, как вихрь, а забравшись в улицу, уже перекрестился свободно и не знаю, где остановилось преследование. Тут уже я слышал только, как повсюду поднялся собачий лай, да видел мелькавшие избенки; но вот наконец точно проскользнула мимо меня контора, небольшая площадка перед домом пристава, и напугавшийся Карька, проскочив в ворота, чуть-чуть не забежал на терраску заднего хода в дом.

С тех пор мне пришлось дать себе слово никогда не ездить зимою на Средний или Нижний без револьвера; а более меня благоразумный Иосса советовал не рисковать и брать с собой конюха. Сначала я строго придерживался этого предложения, но «круты горки, да забывчивы», так и я, как бы придерживаясь этой пословицы, ездил опять в одиночку. Впрочем, тут причиной не одна русская натура, а тоже очень курьезный и поучительный случай.

Дело в том, что однажды в конце ноября, просидев вечер у Кобылина, уже в очень тем-

ную ночь, я велел конюху приготовиться; но тот, хватив немного «окаянного», позамялся, так что когда я вышел, он только возился еще у лошадей, обметая с них куржак «самодельной метелкой», т. е. простым голиком. Пришлось идти во двор, чтобы там сесть в сани, запряженные тройкой.

— Смотри, все ли ладно? — спросил я Петруху.

— Будьте благонадежны, — все как следует.

Я сел, закрылся одеялом; а он, заскочив на сидульку и не подобрав хорошенько вожжей, чмокнул на коней. Продрогнув на морозе, они круто взяли с места, выскочили в ворота, завернули налево и, подхватив сразу, налетели на кузничный лошадиный станок, и коренной так сильно ударился в столбы «запретом», что дуга выпрыгнула из гужей, а левая пристяжная проскочила в самый станок, обрвав постромки. Счастье наше, что провожавшие нас люди Кобылина, ту же минуту подбежав к лошадям, схватили их под уздцы.

Хоть и тут все кончилось благополучно, но оказалось, что какой-то негодяй, имея неудоб-

вольствие на моего возницу, как говорят «по насердке», вздумал подшутить над Петрухой: он, каналья, развожжав всю тройку, привязал концы вожжей к гужам.

Ну какому же седоку придет в голову освидетельствовать запряжку да вообразить такую безумную выходку простонародной «шутки»?..

Недаром я только кричал Петрухе:

— Держи, держи, братец, покрепче!..

А он, упираясь из всех сил, тянул вожжи, тпрукал и только приговаривал:

— Что за оказия! Что за диво! Да вожжи-то, барин, словно приклепаны!..

Да! Вот и была бы оказия, если б вся развожжанная тройка сразу направилась на дорогу да покатила всевозможными буераками на Верхний промысел!..

## XVII

Но вот подошел и март; дни стали подлиннее, а солнышко начало так пригревать закончившую даурскую природу, что появились лужицы и обрадовавшиеся воробьи, немилосердно чирикавая, собравшись в большую компанию, учинили в них купанье. Как они,

шельмецы, весело поскакивая по краям лужиц, прыгали в холодную снежную воду, приседали, били по ней крылышками; а вдоволь накупавшись, быстро поднимались на ближайшие кровли, чтоб отряхнуться, обсушиться на солнышке да носиком привести в порядок только что подмоченные перышки.

Долго стоял я на крылечке, любуясь проказами пакостливых пичужек; рядом со мной сидел мой Танкредушка, и мне ужасно смешно было смотреть за наблюдениями умной собаки, как она, приглядываясь к купающимся воробьям, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, следила за их проказами; а лишь только они улетали на крышу и чиликали на ее окраине, трепыхаясь крылышками, Танкред тотчас поднимал голову и наблюдал уже наверху.

Но вот вижу, что в воротах показалась широкая приземистая фигура старика Кудрявцева.

— А, дедушко! Здравствуй, брат! — сказал я, протягивая ему руку. — Зачем пожаловал?

— А вишь, барии, день-то какой! так вот и охота по козьим пастям съездить.

— Это, брат, хорошо ты придумал, а то я соскучился да вот и смотрю, как воробьишки купаются.

— Чего на них смотреть, от этого не прибудет; а вот велика лучше седлать коня да и поедем к ловушкам.

— Так что ж, поедем. Ну, а винтовку брать или нет?

— Да как не брать, что ты? Неужели дома оставить? А кто ее знает, может, где и козуля подвернется на пулю.

— Хорошо, ну а ты пообедал?

— Нет не едал, а на суседе видал, как он ложкой хлебал, только утром чайку и пошвыркал да вот все-то и фыркал. — шутил старик.

— Так давай пообедаем да и водки отведаем; а потом и поедем, хоть к пастям за медведем, — отшучивался я тем же.

Кудрявцев только покачал головой, улыбнулся и пошел за мной в сени.

Пока Михайло суетился около стола, я велел оседлать коня и приготовился к поездке, а после закуски старик, сходяв домой, встретил меня уже на дороге.

Забравшись в горы, мы осмотрели несколько «поедных пастей», но все они стояли настороженными и никого не изловили. Подъезжая уже к последней, Кудрявцев издали заметил, что она опустилась.

— А-а! Вон кого-то бог дал, вишь, опрокинулась, — сказал он, поторапливая коня.

— Может, и так упала, от ветра.

— Нет, барин, не так; ведь я вижу, что козульки ноги торчат за колодой.

Подъехав поближе, я действительно увидел попавшую в пасть козулю и не мог не удивиться дальнорзости своего ментора.

Соскочив с лошадей и вынув добычу общими силами, мы обрадовались тому, что она была «талая», а это доказывало, что коза попала только незадолго до нашего приезда. Отойдя немного в сторону, я разложил небольшой огонек, а старик принялся настораживать пасть.

Подкладывая сухие веточки, я не смотрел на его действия, как вдруг услышал какой-то тупой стук, а затем крик старика. Оглянувшись, мне прежде всего бросилось в глаза то, что моего ментора нет на том месте, где он во-

зился, — точно он провалился сквозь землю. В один миг бросился я туда, и мне представилась такая картина: Кудрявцев лежал под самой пастью ко мне ногами, а головой несколько под горку, и на нем лежала одна опадная колода. Я тотчас приподнял ее на «подсошек» и вытащил старика на снег; он кое-как сел на валежину, мутно глядел на меня да тихо потирал поясницу.

— Тебя это как угораздило? — спросил я сочувственно и не имея сил удержаться от смеха.

— Да я ее, проклятую, насторожил как следует, а тут мне и покажись, что какой-то прутьочек задел насторожку, вот я сдуру-то стал на коленки, уперся рукой на снег... да и полез отдевать... а он у меня, значит, подтаял... Ох, ох! — стонал он от боли.

— Ну так что ж дальше?

— Постой, барин... дай с духом собраться.

— Эк тебя понажало! Верно, порядочно стукнуло?

— Ни чего, брат, ладно притиснуло... Ох!.. Будь она, проклята!.. Вот она глупость-то наша мужицкая!.. Пусть бы мальчишко, а то,

слава богу, век доживаю, да не сообразил того, что день-то, мол, теплый... вот я со снегу-то, значит, как оборвался, так щукой и плюхнул прямо под колоду, сорвал головой «симу» (волосок, насторожка) да и угодил вместо козули... Ох!.. как муторно стало...

— Постой, дедушка, я тебе сейчас подам рюмочку водки — тогда и отойдет.

— А ты, барин, пошарься в моей сумочке, там есть в бумажке толченый нашатырь... Так вот с ним я и выпью...

— Ладно, ладно! А ты пока поешь снежку, распояшься да прираздешься маленько.

— Тпфу!.. Чтоб ее язвило!.. Как она меня изловила, проклятая! — причитал старик, потирая поясницу.

Отыскав в сумочке дедушкин «мидикамент», я тотчас налил в деревянную чайную чашку (китайскую, на манер блюдца) водки, насыпал в нее нашатырю, разболтал и подал больному. Он, набожно перекрестившись, выпил целебную влагу; а затем снял шубу, кое-как постлал ее на снег, улегся кверху спиной и просил, чтоб я растер ему водкой поясницу. Но я его не послушал, а сначала крепко про-

тер снегом и потом уже водкой. Кудрявцеву сделалось полегче; однако же он, все еще неудовлетворяясь моей помощью, упрашивал «потоптать» поясницу.

— Как это, дедушко, потоптать? Ногами, что ли? — спросил я, недоумевая.

— Ногами, барин, ногами; так, значит, встань мне на опояску, да и топчись сначала помаленьку.

— Что ты, сдурел? Ведь тебе не вытерпеть?

— Нет ничего — становись, тогда и отлегчит.

Я сбросил большие кунгурские сапоги, тихонько в одних чулках забрался на старика и начал перебирать ногами по пояснице.

— Ну, барин, хорошо!.. Теперь дави пошибчее... вот так!.. Важно!.. Дави хорошенько, не бойся!..

Дошло до того, что я уже чуть только не плясал на дедушкиной пояснице, а он все еще крепился да просил «пошибчее». Но вот наконец у меня под ногами что-то хрустнуло; я испугался и соскочил на снег. Вот, думаю, беда! Зарешил своего «дедушку»!..

— Ну что? — спросил я, нагнувшись и за-

глядывая на его физиономию.

— А вот теперь славно; слышал, как хрустнуло?

— Слышал, так что из этого вышло?

— А это, значит, — вся боль переломилась, вот и ныть перестало, — сказал он, приподнимаясь и отряхивая с бороды набившийся снег.

— Ну и слава богу! А теперь, дедушко, вот что: давай-ка я опять протру тебя снегом, а потом водкой, хорошо?

— Хорошо, барин, потрудись, пожалуйста.

Я тотчас, встав на колени, исполнил эту штуку со всеми онерами фельдшерского искусства, так что охлажденная и побелевшая поясница снова получила розовый цвет и настоящую теплоту кожи, а старик говорил: «Как теперь важно загорела, так и пощипывает!» — и, вставая, оделся, а потом выпил еще с нашатырем водки, потянулся, помахал руками, а затем, как здоровый, пошел к огоньку, чтоб освежевать добычу.

— Ну, дедушко, хорошо еще что ты был в шубе, да на пасти лежала только одна колодина, а то бы, пожалуй, и плохо случилось.

— Это значит, что господь еще грехам мо-

им терпит, а то бы кажут! Так бы прикурдючило, что тут бы и дух вон — вот только наложил бы другую колодину.

— А бывали когда-нибудь на твоей памяти такие несчастные случаи?

— Бывали, барин; вон однажды на Борях (деревня) задавило пастью промышленника, так она небось не спросила, как зовут да не посмотрела, молодой или старый, а так сердешного жулькнула, что тут же и душу богу отдал, — беда!..

— Надо, брат, везде осторожность, вот что!..

— Гм! Да где ее скажи-тка не надо? С ложки хлебаешь — и то бойся, как бы не подавиться, а не то что при эвтаком разе. А вот, барин, при постановке зверовых луков, так там еще страховитей, не то как раз насквозь стрелой пронесет, я их боюся до смерти, оттого и не ставлю.

— Это, брат, верно; их нельзя и не бояться, а то чуть прозевал да заехал не с той стороны, не «путиком», — вот и беда, как раз попадешь вместо зверя. С ними я познакомился, как был в Бальдже и частенько ездил с промыш-

ленниками. Однако же давай-ка, брат, собираться, а то запоздаем.

Мы тотчас привязали козулю в торока, насторожили пасть и уже в сумерках поехали к дому.

К концу марта и с появлением теплых весенних дней Кудрявцев неоднократно сманивал меня на глухариные тока, так что я совсем почти позабыл своего приятеля К., но, несмотря на такое отрадное состояние, мне все-таки каждая вещь на промысле напоминала об этом зловредном создании.

Не забуду, как однажды сидел я на току за деревом и караулил подлетающих глухарей. Отличное утро, только зарумянившись на востоке, обещало превосходную погоду. Кудрявцев, тоже притаившись неподалеку от меня, тихо поколачивал ножом в деревянные «ножны», отлично подражая «щелканию» сибирских глухарей.

Вдруг я услышал его сдержанное воззвание:  
— Барин! Гляди-тко, вон и к нам гости подходят.

— А! Где? Какие гости?

— Да, вишь, беглые пробираются и не ча-

ют, сердешные, что тут их начальство.

— Ну так спрячься, пожалуйста, посмотрим, что от них будет.

Мы затаились за деревья и только осторожно посматривали в ту сторону, где они шли без всякой опаски. Бежавшие пасынки судьбы с ненавистной им каторги бойко шагали с хотульками на плечах по оголившемуся ягоднику и только местами похрупывали по зачиравшему снегу. Не дойдя до меня сажен пятнадцать, передний беглец вдруг остановился и тихо сказал товарищу:

— Стой, брат! Смотри, тут кто-то есть, видишь, дымком попахивает, надо остерегаться. — И он, нагнувшись, тотчас выдернул из-за правого голенища довольно большой нож.

— Куда это вы, друзья, направились?! — спросил я громко, вышагнув из-за дерева.

Они ту же минуту узнали меня, вероятно, скорее, по голосу, побледнели, сдернули шапочки, «упали» на коленки, и ножик сам собой выпал из руки перепугавшегося бегльца от такой неожиданной встречи.

— Виноваты, ваше благородие! Только сегодня бежали, — сказал передний.

— Ну так вот что, ребяташки! Послушайтесь моего доброго совета — воротитесь да идите обратно на Верхний, а я постараюсь, чтоб с вас не взыскивали за побег, поняли?

Они молчали и, несколько оправившись, многозначительно переглянулись между собой. Тут подошел Кудрявцев с готовой винтовкой.

— Верно, братцы, барин вам сказывает, бегите скорее домой да и заявитесь к надзирателю...

— Встаньте, ребята, с коленей — я ведь не бог, — сказал я, перебив Кудрявцева, — да отправляйтесь подобру-поздорову; а то ведь я шутить с вами не стану и под пулей поведу вас обратно, а тогда, поверьте, ничего хорошего из такого пива не выйдет, ну а сделаете, братцы, по чести, так и господь вас простит.

— Благодарим покорно, ваше б-дие! — проговорили они оба, вставая.

— Ну так что же, идете? — спросил я внушительно и взялся за винтовку.

— Идем, идем! Только прости нашу глупость; а мы за тебя, ваше благородие, бога помолим.

— А даете ли слово, что вернетесь на промысел?

— Убей нас господь на сем месте, коли сделаем облыжно, — проговорил все тот же молодцеватый и пожилой детина.

— Ну так идите с богом, а нам не мешайте.

Они, тотчас повернувшись обратно и надернув шапки, скоро скрылись в лесу от нашего наблюдения, позабыв или постеснявшись подобрать оброненный ножик, который и поднял Кудрявцев, когда они ушли из вида.

— Вишь, барин, какая «заправа» за голенищем хранилась.

— Как не видать, видел, брат, с первого раза.

— А сметил, как он в лице изменился? Словно обухом пришибло, так и сделался как бересто.

— Ну да, видишь, — врасплох навернулся.

— Да, а вот попадись-ка такому один да прозевай, а либо усни без собаки, вот он, варначина, и посадит как козулю, на ножик.

— Кто его знает, дедушко! Ведь и он такой же человек, а у страха глаза велики, может, только и взял для защиты.

— Только все утро испортили, паршивые! А как было славно глухари полетели, — сказал недовольный Кудрявцев.

— А разве ты видел?

— Четыре штуки просвистали вон тем за крайком, пока они подходили.

— Эка досада!.. Ну да бог с ними, дедушко; вот как затихнет, так, может, и еще подлетят к нам «по фарту».

Мы опять разошлись по избранным пунктам, но сколько ни поджидали, а глухарей нет. Пришлось надеть «прикопотки» (толстые волосяные чулки), чтоб походить по лесу. Солнышко взошло уже довольно высоко, когда я увидел, саженьх в ста, одного токовика на громадной лиственнице. Подкравшись сажень на 60, я удачным выстрелом повалил его на землю; а дедушка проходил часа полтора, но подобраться не мог, хотя и видел двух.

Приехав домой, я тотчас послал за тюремным надзирателем. Заявившись ко мне, он доложил, что еще, должно быть, с вечера бежали из тюрьмы два арестанта, но к обеду явились и сказали, что видели в лесу меня. Надзиратель, не зная, что я уезжал на охоту,

сначала им не поверил, а потому засадил в каталажку.

— Как? Да разве они не объяснили, что я воротил их с побега?

— Нет, говорили, да я все-таки не поверил.

— Ну молодцы, спасибо, сдержали свое слово!.. Так вы, пожалуйста, освободите их сейчас же из-под ареста, не посылайте сегодня на работу да не заносите в штрафную книгу. Бог с ними, с кем греха не бывает, ведь и они такие же люди, — сказал я, отпуская надзирателя.

— Слушаю-с! — был ответ выходявшего приставника. Возвратившиеся арестанты после неудавшегося побега вели себя отлично, работали усердно и дотянули до срока, а потом, уже без меня, были выпущены в вольную команду. С открытием работ на Урюме, в 1865 году, один из них, нанявшись на этот промысел, был снова под моим управлением. Я, тотчас узнав его в команде, спросил о товарище по побегу. Он сказал, что тот, простудившись, схватил брюшной тиф и помер в лазарете на Нижнем.

— Ну что ж, Шаин, ты не раскаиваешься,

что я воротил тебя с побега?

— Помилуйте, ваше благородие, да я и теперь молю за вас господа, все же я сделался человеком, а то бы, пожалуй, пропал как собака...

Конечно, мне было приятно видеть того самого «несчастливого», который тогда в рубище шел на побег передовым, а теперь носил хорошую кумачовую блузу, плисовые шаровары, кунгурские сапоги и «пил чай с сахаром». Он оказался первосортным плотником, почему состоял на хорошем жалованье и зарабатывал, при казенном содержании, около 250 рублей в один промысловый сезон.

Впоследствии его выбрали на Урюме в старшины, что еще более щекотало его самолюбие, а мне доставляло немалое удовольствие уже потому, что он был примерным работником, умным правителем вверенной ему команды да отплачивал мне одной благодарностью. Года через полтора он был настолько еще бодр, что, подобрав себе хорошую женщину, женился и до самого моего отъезда из Урюма (1870 г.) безотлучно проживал на промысле.

## XVIII

Когда время снова приблизилось к великому празднику, пришлось волей-неволей охоту на время оставить на заднем плане да суетливо приготовляться как по промысловским работам, так и по дому. В первом случае надо было встретить весеннюю воду, которая в гористой местности обыкновенно является вдруг и с такой стремительной силой, что при малейшей оплошности может сорвать все гидравлические устройства — и тогда горе! — вода бросится в земляные работы, смое лишнее, замочит обработанное, и неполадкам не будет конца... А во втором случае, всякому из нас, как доброму хозяину, хотелось встретить пасху, по русскому обычаю, с куличом, окороком, яичками, сырником и т. д. Следовательно, приходилось хлопотать целые дни с утра и до позднего вечера.

Что касалось меня лично, то я преимущественно работал по службе, потому что дома хозяйничал Михайло да ссыльный повар Пантюшка, тогда еще молодой хохленок, но очень дельный по своей части и отличная личность, как человек. Я и теперь частенько

его вспоминаю, потому что этот небольшой человек, кроме доброй памяти да искренней благодарности, ничего дурного во мне не оставил. Я слышал недавно, что Пантелей жив и теперь проживает в Нерчинском заводе. Если это верно, то я печатно шлю ему сердечный привет и отсюда протягиваю дружески благодарную руку, от души желая ему здоровья и всякого благополучия.

Не могу не вспомнить, что он великолепно готовил так называемые купоросные щи, т. е. простые русские щи из серого или, пожалуй, зеленого крошева. Вследствие того, что эта похлебка отливала в миске зеленоватым оттенком школяр Иосса назвал такие щи купоросными. Однако же они по своему вкусу приобрели славу и популярность чуть ли не по всему Нерчинскому округу, так что многие езжали ко мне на Верхний, чтоб поесть до отвала этой знаменитой похлебки. Правду говаривал Иосса: «Ну, брат, какхватишь чашку этого Пантюшкиного купороса, так просто в глазах зелено станет!..» Ну, да оно и понятно, потому видите, что «русскому на здоровье, то немцу на смерть!..» Впрочем, ныне эта пого-

ворка уже потеряла свое значение. Не говоря уже о желудках и вкусе, и в печати совсем съели одни проклятые иностранные изречения. В самом деле, черт знает, что иной раз выходит, например, начнешь читать русскую книгу, да бывает, что ничего и не понимаешь, вот тут поневоле и лезешь в «Словарь 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык», чтоб уловить смысл автора. Ну думаешь: уж непременно такую штуку написал иностранец, а посмотришь на подпись и увидишь, что автор статьи не француз и не немец, а какой-нибудь наш настоящий русак-чужеумок. Вот поневоле плюнешь и еще с большим азартом, если искомого слова не обретишь и в довольно толстом словаре г. Михельсона.

Впрочем, этот пример ужасно заразителен: так вот иной раз и хочется завернуть какое-нибудь иностранное слово, ну и ляпнешь как раз невпопад. Тпфу!.. Поневоле потом делается стыдно и смешно самому на себя, ну, конечно, и начнешь утешаться такими примерами, как один мировой посредник, уговаривая собравшихся мужичков, долго толко-

вал с ними по-своему, уж чего-чего только он, «сердечный», ни пихал в свою речь — и либеральный, и популярный, и психический, и, наконец, кончив словом идиотизм, спросил осовевших мирян:

— Ну-с так что же, ребятушки, поняли?

— Не, ваше высокоблагородие! Что-то мы ничего в толк взять не можем; ты уж пошли к нам кого-нибудь потолковей, который бы баил по-нашему...

— Экие неотесанные болваны! — сказал «мировой», удаляясь с крылечка...

Однако ж я, кажется, приболтался маленько, а все это потому, что как придет что-нибудь на память или, так сказать, «к слову», вот и лепишь к факту какую-нибудь неподходящую мелочь, совсем забывая о том, что и воспоминания прошлого, как и всякая литература, «требуют соблюдения известных правил изложения, известной аккуратности в отделке». В этом случае прошу меня извинить — не даются мне эти правила, эти особенные отделки; пишешь урывками, нередко вырывая из недосуга часовые и получасовые паузы, в чем и прошу еще раз снисхождения,

а чтоб сгладить впечатление, сию минуту постараюсь поправиться.

Однажды с раннего утра хлопоча на водопроводной канаве, при постройке через нее «перемычки», я увидел здорового атлета, ссыльнокаторжного Денежкина, который работал тут как лучший плотник. Поздоровавшись со всеми, я подошел к этому геркулесу и, подтолкнув его в спину, тихо спросил:

— А что, Денежкин, правду ли говорят, что ты скоро бежишь с промысла?

Он, оглянувшись, нагнулся к моему уху и почти шепотом сказал:

— Бегу, только не теперь, а вот как ты, ваше благородие, сменишься с Верхнего.

— А вот увидишь, барин, что Денежкин говорит тебе правду.

— То-то бы твои умные речи да на мои плечи.

— Уверься, что так будет — мы уже знаем, а потому и жалеем.

— Когда же, по-твоему, это будет?

— Скоро, барин! И двух недель не пройдет, как ты переведешься на рудник, а я — фю-ю!.. К генералу Кукушкину! — и он махнул к лесу

рукою.

— Напрасно, брат! Дождись лучше срока.

— Нет, ваше благородие! Невмоготу стало, — погулять захотелось, только ты, барин, помалкивай...

— Хорошо, Денежкин; а мне все-таки жаль, мужик ты хороший, придешь оборотнем; тебя накажут и каторги за побег надбавят порядочно.

— Нет, барин, уж коли уйду, так сюда больше не приду, — это Денежкин по первому разу сплоховал маленько, а теперь — нет! Знаю, что делать.

— Ну, как знаешь, — дело твое, да будь счастлив! — сказал я тихонько и пошел далее по работам.

— Вот за это спасибо!.. — слышалось сзади...

Надо заметить, что этот Денежкин был почти 12 вершков ростом да не менее аршина в плечах и обладал такой силищей, что уносил с лесопильных козел трехсаженный сосновый «сутунок», вершков десяти в отрубе.

Добравшись домой уже к вечеру, меня ужасно интересовала та тайна, которую сооб-

щил мне Денежкин-ссылнокавторжный из тюрьмы. «Что за штука?» — думал я не один раз, но все-таки не мог прийти к какому-либо заключению, а не мог потому, что я один только знал о том, что келейно говорил еще осенью начальнику о своей апатии к золотому делу после опостылевшей мне крюковщины.

Но вот в первых числах апреля я совершенно неожиданно получил «указ» из Нерчинского горного правления, который говорил о том, чтоб я сдал по «сменным спискам» Верхний промысел оберштейгеру Костылеву, а потом, отправившись в Алгачинский серебряный рудник, принял таковой от капитана Комарова.

— Ну, прав Денежкин! — сказал я невольно... Спрашивается, откуда он мог знать об этом переводе ранее меня, сидя за тюремными палями? Но впоследствии я убедился, что в тюрьме всегда почти самые свежие новости по району управления... А почему это так — я и теперь объяснить себе не умею.

Пасху мы проводили хоть хлопотливо, относительно служебных занятий, но все-таки

дружно и весело. По нескольким часам перегащивались мы один у другого, и нам нередко вспоминался прошлогодний праздник, когда в Кару налетел К. и, как хищный коршун, разогнал нас, как цыплят, по своим углам. Да, не забуду я этого тяжелого времени!.. А потому поговорю лучше о других впечатлениях, чтоб хоть на этот раз оставить в забвении несчастные дни прославившейся крюковщины. Ну ее к богу!.. Постараюсь ее исход оставить к самому финалу статьи, чтоб ею и заключить воспоминания о Каре, этом втором злосчастном вертепе горя и слез на широкой каторге; где точно так же, как и в Шахтаме, брызгала кровь из-под трехлапчатой плети, повсюду слышался лязг кандалов, а страшные людские вопли оглашали окрестные горы неповинной тайги...

Помню я, как на третий день праздника, мы в компании приехали к Кобылину на Средний промысел, чтоб идти с ним к обедне. Но его осаждали рабочие, которые просили «под выписку» разные принадлежности — кто сапоги, кто рукавицы и т. д. Но вот один здоровенный, хотя и приземистый, ссыльный

хохол требовал себе мяса.

Тут надо заметить, что мой приятель Кобылин обладал великолепной памятью относительно рабочего люда; он знал не только каждого из них по фамилии, но не забывал их имен, всевозможных прозвищ и даже «отчества» многих более или менее выдающихся личностей были ему известны.

Завидя почтенную, хотя и неуклюжую фигуру ссыльного хохла, Васька сделал уморительную гримасу, комично подошел к нему и шутливо переспросил:

— Ну, а тебе, хохлацкое благоутробие, что нужно?

— Да как же, мясо б треба на варю.

— Что ты еще выдумал, хохлацкая галушка? Ведь ты третеводни получил от меня стегно в 22 фунта.

— Ну яка ж в том беда, что получил, — теперь праздник, уварил да и съил.

— Как съил?

— Да так, как же, взял да и съил.

— Что ты, окаянный! Ведь ты пропадешь, коли будешь так есть, — верно, пропил?

— Ни, ваше благородие! Ни пропив, а съил;

чи мни не веришь?

— Врешь!

— Ни, барынь, ни...

Василий Васильевич только пожал плечами, но многие рабочие тут же уверили Кобылина, в том, что хохол действительно все мясо съел в два дня, без всякой помощи со стороны прихлебателей.

— Ну хорошо, — сказал Васька, — теперь я в мундире и в казенный подвал не пойду, а вот посмотрю, нет ли у меня своего мяса на кухне; а если есть, то сварю тебе даром столько же да и посмотрю, как ты его съешь. Только не пеняй, потому что, коли ты не слопаешь, то я тебя отдеру, а коли поправишься — подам тебе водки, — согласен?

— Нехай буде так! — сказал серьезно хохол, переминаясь на месте, передернув плечами и затыкая большие пальцы за опояску, низко опустившуюся по брюху.

Оказалось, что у Кобылина нашлась на погребке одна часть мяса, которая потянула как раз двенадцать фунтов.

Васька велел принести на двор «азиатскую чашу», нарезать в нее все мясо, положить ка-

пусты, крупы, соли и развести между кирпичами огонь.

Все это приготовилось в несколько минут, словно по щучьему веленью; а когда начала закипать чаша, мы пошли в церковь, но захватили обедню только на половине. По окончании литургии нас позвал к себе Иосса, но мы отказались, обсказали ему курьезный анекдот с хохлом, и он пошел с нами. Когда мы пришли, чаша со щами много укипела, но мяса было так много, что трудно проворачивалось большим уполовником.

Хохол сидел на крылечке и в ожидании обеда похрустывал пальцами.

— Ну что? Готово? — спросил Кобылин своего повара.

— Поспело, ваше благородие, можно обедать.

Хохол встал, распоясался, положил рукавицы и шапку на крыльцо, а затем как-то помедвежьи подошел к Кобылину.

— Что, брат! Верно, струсил, хохлацкая морда?

— Ни, барын; а прикажи хлопцу подать мни горилки.

— Вишь, чего выдумал!.. Ну да ладно, ладно; эй, Макся! налей ему стакан водки.

Хохол выцедил через зубы большой стакан «горилки», перекрестился, положил два кирпичика, уселся на них поудобнее, поставил чашу на землю, дал несколько приостынуть щам и начал так убирать их прямо поварешкой из чаши, что мы только поглядывали да удивлялись такому волчьему аппетиту. Большие куски хлеба и мяса точно проваливались в какую-то машину, которая только здорово работала челюстями, изредка сморкалась и утирала рукавом зипуна засаленные губы.

Ровно через 28 минут кончилось тем, что хохол съел все мясо, щи, целую ковригу хлеба и выпил жбан квасу; а для пущего скандала он последней коркой обтер по дну чаши и съел этот кусок с особенным шмаком. Затем он встал, помолился, поклонился всем нам, высморкался через пальцы на сторону, обтер с лица пот и, обращаясь к Кобылину с сияющей рожей, весело сказал:

— Ну як жеш, барын! Теперь треба горилки...

Ему тотчас принесли снова полный стакан

очищенного; он выпил, крякнул, утер рукавом рот и, кланяясь, пошел, переваливаясь с боку на бок, прямо на улицу, где целая компания играла в лапту, разодевшись по-праздничному.

Во время этой трапезы у хохла спотела не только рубаха, но промокли плечи на зипуне, а из-за ворота валил под конец пар...

— Ну и дьявол! — сказал, пожимая плечами, Иосса.

— Верно вы его назвали, Павел Андреевич, — заметил Кобылин.

— А что?

— Да он, подлец, какую штуку удрал со мной нынче. Мне надо было перетащить мортирку на другое место, подальше от церкви, чтоб в то время, как запоют «Христос воскрес», пострелять большими зарядами, — а то ведь стекла повылетят, — я и послал за народом. Как на грех, в великую субботу никого поблизости не случилось, а тут и подъявился этот хохлина. Я, знаете, нарочно и говорю ему: «Ну, что ты, хохлацкая морда, пузо-то выпятил? Тащи вот мортирку».

— А куда, говорит, ее треба?

— Да вон на то место, подальше от церкви. — Он, проклятый, ни слова не говоря, подошел к ней, заглянул в дуло, чего-то почмокал губами, поворочал сначала на месте, а потом сбросил рукавицы, поставил mortarку на попа, подхватил под уши, приподнял на станок, а затем, как медведь, навалил на плечо и в один миг перенес на другое место.

— А много ли в ней весу? — спросил Иосса.

— Как раз восемнадцать пудов пятнадцать фунтов.

— Тпфу! Будь он проклят! Ну, батенька, недаром же он так и жрет, как скотина, — говорил Иосса, опять пожимая плечами...

Но на пятый день пасхи суждено было разыгаться уже не комедии, а настоящей раздирающей душу драме. Вечером этого дня мы собрались в доме управляющего, где, толкуя, просидели до ночи. Как вдруг отворилась парадная дверь, и в нее вбежал исполняющий должность полицеймейстера урядник Иванов.

— Что такое случилось? — спросил хладнокровно Иосса, вставая со стула.

— Сейчас ссыльнокаторжный Дубровин за-

резал женщину, ваше высокоблагородие!

— До смерти? Или еще жива?

— Жива была, как побежал к вам.

— А за доктором не послали?

— Нет, послал ту же минуту, — верхом ускакал конюх с конюшни.

— А где же Дубровин?

— Народом скрутили, а то не давался, теперь посажен отдельно.

— Что же он, пьяный?

— Выпивши, ваше высокоблагородие.

— Сейчас же прикажи заковать его в «ручные и ножные», да поскорее, а то, пожалуй, удует.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, сию минуту исполню.

— Экой зверь этот Дубровин! — сказал побледневший Иосса, взял фуражку и вышел на улицу.

Мы все ту же секунду, подхватив свои шапки, отправились вслед за управляющим. Что касается меня лично, то я чувствовал страшно тяжелую истому, которая точно свинцом давила всю грудь и как бы тисками захватила сердце. Меня бросало то в озноб, то

В жар, так что я никак не мог совладать с собой, чтоб идти на предстоящую сцену с более спокойной душой. Весть эта на всех нас произвела такое тяжелое, удручающее впечатление, что мы шли торопливо, но не проронив ни одного слова, что, вероятно, отчасти и было причиною такого нервного напряжения всего организма.

Темная весенняя ночь охватывала нас со всех сторон почти непроницаемым мраком, так что мы едва отличали крыши от домов да повороты переулков. Но вот мы услышали сдержанный «гам» и увидали мерцающие огоньки зажженных фонарей; а вдали, налево от нас, уже красным полымем раздувался дежурный кузнечный горн, подготовляющийся среди ночной тишины и мрака к заковке страшного преступника; только какие-то черные движущиеся тени виднелись нам издали в широко открытые двери кузницы и доносились столь знакомые звуки молотков — тик-так, что еще более удручало надорванную событием душу.

Когда мы подошли к толпе, народ, поснимав шапки, вежливо расступился, пропуская

нас в середину.

Несчастливая страдальца, еще довольно молодая женщина, в одном разорванном ситцевом платье, с обнаженной головой и большой разбитой русой косой, лежала на земле в улице и тихо, но тяжело стонала. Она была бледна как полотно, нервно дрожала, а полуоткрытые большие голубые глаза и тонкие матовые губы говорили о ее тяжких страданиях. На животе, с левого бока, зияла проткнутая ножом рана, а на плечах и руках в нескольких местах сочилась кровь, прикрывающая обнаженное мясо...

От несчастной, находившейся как бы в забытии, несло несколько запахом водки. Она на спрос управляющего болезненно посмотрела на него и смогла еще рассказать, как только позволяли ее силы, всю историю ужасной катастрофы. Дубровин из ревности хотел ее побить; а когда она, испугавшись такого зверя, выскочила из избы, он догнал несчастную на улице и нанес ей ножом несколько ран. На ее крик сбежавшийся народ скрутил злодея на месте преступления.

Вот главная суть этой страшной драмы.

При нас промысловский фельдшер перевязал холодными компрессами раны и больную осторожно положили на мягкую постилку сена в экипаж; а в это время подошел со св. дарами священник и, нагнувшись к страданице, стал ее исповедывать. Мы и весь народ тотчас сняли шапки и невольно отошли в сторону. В толпе слышались молитвы, всхлипывание женщин и разные «причитания», и при на-вертывающемся свете фонарей повсюду показывались крестные знамения народа. Минуты эти среди ночи и при такой обстановке были крайне торжественны и вместе с тем до того тяжело действовали на нервы, что все мы не могли переносить всей этой ужасней картины; а понимая ее значение и высокий смысл, невольно умилялись душою и сердцем, — и горячие жгучие слезы так и бежали по нашим щекам...

По окончании напутствия больную тихонько увезли в лазарет на Нижний промысел, но к утру организм ее не выдержал серьезных повреждений, и страданицы не стало на сем свете.

Отправив несчастную, все мы пошли в куз-

ницу, чтоб посмотреть на Дубровина. Это был ребенок атлетического сложения, высокого роста и довольно красивой наружности. Ничего зверского не казалось в его открытой, смелой и даже как будто доброй физиономии. Человек двенадцать казаков (забайкальцев), окружив преступника, держали ружья «наготове». При освещении кузнечного горна вся картина была крайне эффектна, как-то тяжело торжественно и потрясающе действовала на нервы, а вместе с тем, она говорила о недюжинном характере и могучей воле разбойника, который, затаив в груди все, что переносила его душа, тяжело и порывисто дыша, сам подавал кузнецам руки и ноги для надевания и заклепывания крепких кандалов, не проронив ни одной слезы, не выпустив из груди ни одного звука.

Хотя Дубровин и был несколько бледен, но глаза его горели каким-то лихорадочным блеском. Густые, русые и несколько кудреватые волосы красиво выбивались из-под мехового околыша зимней шапки; а небольшая окладистая темная бородка говорила о его молодости. Расстегнутый зипун и ворот кума-

човой рубахи открывали часть могучей волосяной груди, а несколько засканные рукава оголяли здоровенные жилистые руки, на которых во многих местах запеклась еще не смытая кровь несчастной жертвы.

Когда мы вошли в кузницу, Дубровин, неохотно оглянувшись, только нервно кашлянул, сдвинул губы и как бы подумал: «Ну, а вас зачем принесла сюда нелегкая?.. Чего не видали?»

— Ты что это наделал, Дубровин? — спросил его и строго, и не безучастно управляющий.

— Оставь меня, барин, в покое да больше, пожалуйста, и не спрашивай, мне и так тяжело!.. — ответил он сурово и вместе с тем дрогнув душой.

Мы невольно поняли в этом лаконическом ответе убийцы страшную борьбу в человеке, только что сделавшем преступление на жизнь себе подобного, а потому немедленно вышли из кузницы. И надо сознаться, что это краткое слово Дубровина сказало нам многое. Все мы, смекнув его значение, ту же минуту молча разошлись и разъехались по домам.

Мы внутренне сознавали, что сделанный вопрос Иоссой был не только неуместен, но и не вовремя, а лаконический ответ убийцы красноречиво говорил и о том, что преступник, в известный момент, остается тем же человеком...

Добравшись один в кабриолете на Верхний, я долго не мог уснуть после такой тяжелой драмы из жизни на каторге: мне все еще представлялась в воображении страшная картина смерти, столпившийся народ при освещении фонарей, напутствие страдальцы, освещенная горном кузница и в ней грандиозная фигура рослого Дубровина. А останавливаясь на нем, я не мог не думать о том, что господь создал человека по единому образу, дал ему, в общем, одинаковую плоть и кровь и, наделив душой и разумом, предоставил их свободной воле каждого субъекта. Я вдумывался в ответ Дубровина, и мне ясно казалось, что он в этом случае сделал преступление в порыве гнева, под влиянием ревности да паров многогрешного Бахуса, не думая о своем поступке в минуту раздражения и, конечно, не соображая о последствиях возмездия. Но

вот вопрос: действительно ли права другая половина его страсти? И нельзя ли допустить, что этот человек, быть может, от чистого сердца любил ту, чрез которую он должен принять тяжелое наказание еще на нашей, повсюду обрызганной кровью, планете?..

В заключение этой истории я должен сказать, что Дубровина крепко содержали под стражей, так что «бежать» не удалось, а через несколько месяцев ему вышла тяжелая конфирмация. Дубровина прогнали «сквозь строй», но он не выдержал наказания озлобившихся на него исполнителей: на его спине сделалась жестокая гангрена, которая и унесла его в мир теней в том же самом нижнекарийском лазарете, где отошла в вечность и его возлюбленная...

Но оставлю эти тяжелые воспоминания и расскажу о своих последних днях, проведенных на Каре.

Пользуясь свободой при сдаче промысла и не торопясь отъездом по случаю распутицы, я, на прощание с Кудрявцевым, уже довольно часто ездил с ним на охоту.

В это время мы много били рябчиков, глу-

харей, изредка косачей и уток. Но однажды нас не пустили к известному пункту разгулявшиеся речки, так что волей-неволей пришлось ночевать на берегу под громадным утесом, который, упираясь своим подножием в речку, тянулся на несколько десятков сажен.

Кудрявцев говорил мне, что по этому утесу есть по его карнизу опасная тропка, по которой в случае крайности ездят промышленники.

— А ты по ней ездил, дедушка? — спросил я и со страхом посматривал на то место, где как бы серым потоком показывалась извивающаяся тропинка, живо напомнив мне то путешествие, когда я проезжал верхом по такому же карнизу над ужасной высотой при разведках Бальджи.

— Нет, барин! Храни господи и помилуй от такого пути, а к тому же у меня голова слабая, как раз «окружит» или «обнесет», то и поминай как звали. Тут раз какая оказия вышла, скажу я тебе. Ехали, значит, два зверовщика, вот этак же в половодье, один с той, а другой с этой стороны. Вот они и встретились на дорожке — видят: дело плохо, заворотиться

нельзя; посудили, порядили, что тут делать? Как быть? Вот они кое-как слезли с коней и присудили так, чтобы сбросить по жребию одного коня под утес. Ну как это, значит, решили, то стали того коня пихать да стегать по морде: а он, барин, как ты думаешь, какое колено тут выкинул? — спросил он, пытливо поглядывая.

— Верно, сам соскочил в пропасть, — сказал я, подумав.

— То-то и есть, что нет, убиться-то, верно, и ему неохота; а он, брат, поступил поумней другого человека: взял, знаешь, встал на дыбки, поднялся кверху, да на задних-то ногах, как солдат, повернулся по тропке в обратную сторону, заржал да и побежал рысью, откуль вез на себе хозяина. Вот после этого и скажи, что в нем нету рассудка?..

— Это, дедушка, говорит только тот, кто ничего не наблюдает да сам понимает немного.

— Вестимо, что так. А вот одну осень горюдил я «ез», на речке тоже повыше утеса, и много наловил тогда рыбы; а по горе-то у меня были нарублены «пастушки» на кабаро-

жек. Вот сижу я один на бережочке да почи- ниваюсь, вдруг услышал, что камешек сорвал- ся с утеса и булькнул в воду; что, мол, за ди- во? С чего он сорвался? Я, значит, ту же мину- ту поднял голову кверху да и вижу, что на са- мом отвесе, на каком-то гуртике сошлись два «посика» (самцы кабарги), стали друг против дружки да и не знают, что им делать, а ни то- му ни другому повернуться нельзя. Вот я и стал смотреть, что от них будет, как, мол, они разойдутся?.. А тут и не вытерпел, взял да и хлопал в ладоши. Они, братец ты мой, как услышали меня, то и придумали какую штуку: один-то, значит, прилег на обрыве, а дру- гой-то, будь он благословенный, перескочил через него да и побежал, как таракан, по гур- точку.

— Ну вот видишь, дедушка, разве это не сметка? — перебил я рассказчика.

— Как, барин, не сметка!.. Пусть-ка другой кто-нибудь придумает такую опять штуку; а мне это так тогда показалось занятно, что я и умру, да не забуду такой диковины...

## XIX

Заканчивая пасхальные праздники, мы од-

нажды собрались на Нижний, побыли у пристава Томилова, а затем отправились к Костылеву, где встретили тоже порядочную компанию. В числе гостей хозяина был наш подлекарь Станкурист и жена казачьего офицера М. Ефимович. Надо заметить, что эта последняя была крайне полная и уже пожилая особа, но очень веселая и простая в обращении. Многие, по обыкновению, приставали к ней с тем: много ли она сегодня скушала? сколько прибыло в ней весу? и проч.

Тут Станкурист, как домашний ее врач, шутливо пожаловался на свою пациентку в том смысле, что м-м Ефимович нездоровится, а потому она потеряла аппетит и сегодня скушала за завтраком только одного поросенка.

— Врет, врёт он! Не верьте ему, господа, на этот раз — мне действительно нездоровится, — сказала она, вся колыхаясь от смеха.

— Ну хорошо, а сколько яичек вы скушали сегодня, признайтесь? — допрашивал ее Станкурист.

— А только, сударь, три, да и то своих, а не ваших, — ответила она торопливо...

Тут все захохотали, а Станкурист, расте-

рвавшись, не нашелся, чем отпарировать, потому что его супругу подозревали в скупости; он только хохотал вместе с другими, щурился да утирал глаза попавшейся под руку салфеткой.

— Эх вы!.. Ну куда вам со мной тягаться?.. А еще мужчина, тоже кавалер божьей милостью!.. Да я вас забью, как цыпленка!.. — шутила она.

— Кто это — вы? Вы забьете меня, как цыпленка? — говорил, потряхиваясь от смеха, массивный подлекарь.

— Да, да, я!.. А что, не верите?

— Ну нет, сударыня, драться мы не будем, а вот не хотите ли на пари: кто скорее добежит до креста?

— До какого это креста?

— А вот что на сопке стоит против дома Якова Семеныча.

— Давайте, давайте сейчас же, только скажите, какое пари?

— А на пуд конфет хотите?

— Хорошо, согласна! Выходите на улицу; а вы, господа, будьте свидетелями, — обратилась она к нам. — Он, как видите, хочет меня

запугать, да сам и попадется.

— Ничего, ничего — идемте; посмотрим, чья возьмет.

Все хохотали чуть не до слез, и всех интересовало такое забавное пари, а потому гости один за другим повыскакивали на улицу.

Тут надо заметить, что дом Костылева был как раз крайним в небольшой улочке; к нему с одного бока прилегала довольно высокая гора, на которой был водружен крест, куда в известный день стекался народ, поднимались местные образа и служился молебен.

Хохотавшие соперники стояли уже на горной покатости, взявшись за руки, и ждали команды.

Но вот послышалось — раз, два, три!.. Ту же секунду они бегом бросились на гору, но Станкурист, выскочив сначала вперед, скоро начал отставать, а взобравшись сажен на пятнадцать по крутому отклону, пошел уже шагом, наконец его захватила одышка — и он сунулся на коленки, а затем сел, чтоб хоть немного собраться с духом. Между тем м-м Ефимович, не остановившись ни одного раза и не обернувшись на своего противника, лов-

ко подобрал платье и несколько оказывая свои огромные икры, удирала наверх.

Ужасный шум и смех между зрителями заглушал возгласы спорщиков. Но вот громкое рукоплесканье, восторженное «браво! браво!» полетели из-под горы на гору, особенно в тот момент, когда м-м Ефимович, одержав блестящую победу, безостановочно поднялась на самый верх и, обмахиваясь платочком, уселась на скамеечку, а побежденный Станкурист, конфузясь вернуться вниз, все еще кое-как поднимался на сопку да той же салфеткой обтирал целые потоки струившегося с лица пота.

Действительно, это курьезное пари было настоящим феноменом, судя по комплекции этой женщины, весившей, как все полагали, не менее 8 или 9 пудов, и оно было финалом наших пасхальных увлечений на каторге.

Многие после этой штуки серьезно уверяли, что они готовы были держать какое угодно контрпари между собой, кладя сто руб. за десять, что м-м Ефимович не доберется даже до половины горы без отдыха и, конечно, всегда проиграет; но когда случилось наоборот,

то все только удивлялись да разводили руками.

После, бывало, как только затормошится Станкурист, его тотчас в шутку стращали «Ефимовичихой» — смотрите, мол, не кипятитесь, а то сейчас позовем барыню.

— Да, да! Это, знаете, удивительно, что она со мной сделала; как она, проклятая, меня сконфузила!.. Вот уж не думал, что такая туша и такая легкая на ногу, — ведь более 50 рублей стоит мне эта самая Ефимовичиха!..

Все, конечно, хохочут и еще более пристают к подлекарю.

А как-то при таком разе случилась м-м Станкурист, его «дрожащая» половина, так она очень просто и лаконически сказала супругу:

— Ты ведь только микаешь, как бик, а толк в тебе нет и копейка!..

К началу мая сдача промысла вдруг подвинулась к концу, так что тянувший приемку Костылев, зная, что у меня все в исправности, приехав однажды на Верхний, принял от меня одну «казну», как говорят сибиряки; а затем, потребовав «сменные списки» о капита-

ле на сумму более чем на четыреста тысяч рублей, подписал их в одну минуту. Так что на время я сделался «вольным казаком», а с этой свободой мне хотелось хоть еще один раз съездить с Кудрявцевым в тайгу, чтоб попробовать снова поохотиться на крупного зверя.

Собравшись дня на два или на три, мы в этот раз поехали втроем: Кудрявцев, Михайло и я. Весело добравшись почти до устья реки Джалинды, мы остановились на ее берегу, против целой группы солнопечных увалов, на которые, по словам старика, каждую весну, на первую зелень, выходят изюбры (благородные олени).

Превосходный майский день располагал нас к хорошему настроению; а веселое расположение местности, где мы раскинули табор и наскоро устроили из коры балаган, как-то оживляло душу и сердце, так что в это время невольно забывались все заботы, дрязги, треволения мирской суеты и неполадки подлунной жизни; тут все казалось, как невеста, в розовом свете, и не было конца нашим разговорам до урочного часа охоты.

Но вот солнышко стало спускаться к покою, мы тотчас еще сварили чаю, закусили и решили так, что я пойду промышлять на ближний, самый большой, противулежащий солнопек; Кудрявцев полезет на второй, раскинувшийся несколько подальше, а Михайло отправится на третий — тоже выходящий параллельно нашим, к речке Джалинде.

Помолившись, мы затушили огонь; попрощавшись, потрясли друг другу руки, надели винтовки, а затем потихоньку разошлись по своим намеченным пунктам охоты.

Перебравшись через Джалинду по перекинувшейся с берега на берег валежине, я скоро, перейдя лесистую «марю», стал тихонечко, шаг за шагом, подниматься на зеленеющий увал, таясь около «сиверной» опушки леса, который темной массой покрывал всю вершину солнопека, очень много сулил охотничьему сердцу.

Лишь только залез я на увал, как на нем повсюду показались свежие следы изюбров; а их тупые кругловатые отпечатки ясно говорили мне, что сюда выходят самцы, т. е. так называемые панты, рога которых и есть тот са-

мый идеал сибирского промышленника, за которым он гоняется всю свою жизнь. Панты, нередко стоящие сотни рублей, составляют для него капитал, и вот почему эти рога так преследуются сибирским зверовщиком. Панты — это его греза, его иллюзия, неоставляющая такого охотника до глубокой старости и наводящая на разговор до самого гроба... Продолговатых, «башмачком», следов маток попадалось мало; зато во многих местах валяющийся свежий и еще маслянистый помет, крупными «шевячками», доказывал мне, что тут звери были недавно и не далее как сегодняшним утром. Все это, конечно, еще более щекотало охотничью душу, заставляло быть крайне осторожным, внимательным да не шляться по увалу, чтоб не отоптать места, но поскорее, выбрав пункт, садиться, затаившись, на караул.

Сообразив местность и окинув весь солнцепек уже несколько привычным взглядом, я облюбовал удобный уголок в протянувшемся грядкой утесике, который, выходя на поверхность увала, пересекал его поперек и был так низок, что во многих местах через него пред-

ставлялась возможность видеть весь солно-пек в ту и другую сторону. Как тать, добравшись до избранного места, я, спрятавшись за утесиком, уселся под небольшую осинку на камень. «Дух» тянул с вершины увала, с прихода зверей, так что я не боялся в этом отношении испугать осторожную дичину.

Чудный вечер дышал своей весенней животельной свежестью; солнышко начинало уже прятаться за виднеющиеся, покрытые густым лесом горы, озаряя их вершины и часть леса моего увала последними косыми лучами, как бы брызгая золотом на выдающиеся точки. Весь увал в это время остался в тени, а его молодая зелень казалась бесконечным одноцветным бархатистым ковром, по которому лишь только кое-где проглядывали синенькие и лиловенькие цветочки ургуя (прострел) да желтенькие головки полевого салата.

«Фу, какая пропасть! — говорил я в душе, невольно любуясь этой очаровательной картиной дикой природы нагорного Забайкалья... — Вот куда надо было забираться нашим талантливым художникам, думалось

мне в эти отрадные минуты, чтоб не сочинять, а снимать на полотно с натуры, что дает проснувшаяся природа среди чарующего пейзажа нелюдимой тайги».

Вдруг я услышал тревожные крики гурана, которые выходили снизу, из громадной северной покатости противулежащих гор, прилегающей к самому подножию раскинувшегося увала. Звуки эти то затихали, то слышались громче, приближаясь все более и более ко мне.

«Что за штука? — подумал я. — Кто так сильно испугал животное, что оно кричит почти без умолка?»

Однако же я не решил такой задачи, и мне невольно пришлось приготовиться к выстрелу. Но вот я увидел, что гуран опроретью несетя из сивера на солнорек, направляясь вдоль протянувшегося утесика прямо на мою засаду. Не добежав до меня сажен двенадцати, он вдруг остановился и, не подозревая моего присутствия, начал оглядываться под увал. Выцелив его по лопаткам, я хотел уже спустить курок, но мне почему-то показалось неудобным в такую дорогую минуту «огол-

чить» выстрелом всю окрестность. Нет, это, мол, недостойно того охотника, который караулит изюбра. Дескать, козуль много по всему Забайкалью, так сказать, дома, а изюбр — дичь дорогая и очень редкая. Тихонько вынув ружье из плеча, я поднял под ногами небольшой камушек и бросил его в козла, попав ему в заднюю ногу. Боже мой, как испугалось животное от такой неожиданности. Гуран сначала заскакал на месте, не зная, куда броситься; а затем, заложив уши и пригнув к шее мохнатые рожки, стремглав бросившись по увалу вверх, в одну секунду скрылся из моих глаз. Но дело в том, что побежал он, каналья, не прямо наверх, а несколько вдоль солнопека и окричал ту сторону, откуда могли появиться изюбры.

Страшная досада волновала меня с головы до пят, так что я уже раскаивался, зачем не убил так удобно подвернувшегося козла. Мне уже думалось, что я сделал непростительную ошибку, неизмеримую глупость, потому что было еще рано, а голк и дым могли бы ступать в продолжение нескольких секунд.

Чуть только не оплакивая такой показав-

шийся мне промах, я вдруг услышал, что в том же самом месте, откуда выскочил козел, стало что-то потрескивать, сначала глухо, чуть слышно, а потом все сильнее и ближе... «А! Вот оно что значит!» — подумал я, понимая «эту музыку», — и мне сделалось так неловко, что я готов был убежать «до лясу» из своего тайника... Но куда? Как?.. И достойно ли охотника?.. «Нет! — сказал я себе твердо. — Вздор! У меня есть оружие, разум, сила воли, а у медведя одни когти, зубы, и только!.. Ну будь что будет!.. Стану сидеть и караулить, сам на него не полезу с одним зарядом в винтовке, а если придется — живой в лапы не дамся...» Сообразив всю эту историю, я подготовил «скороспелку» (прокатную пулю, готовый заряд пороха), вытащил нож и осмотрел местность, чтоб в случае крайности можно было бы ретироваться за камни или деревья.

Но вот немного погодя я увидел, что внизу между деревьями подвигается гураньим следом громаднейший Михайл Потапыч. Я, спрятавшись за камень, тихо сняв шапку, набожно перекрестился, а затем положил винтовку на выдающуюся ребром плиту утесика и стал

дождаться.

Медведь, начавший уже линять, был крайне непредставительной наружности, шерсть его, во многих местах скомкавшись с зимним «подпухом» в «потник» (войлок), висела темно-бурыми лохмами. Подойдя к подножию увала, он остановился, посмотрел громадной «головизной» наверх, понюхал воздух, а затем, повернувшись налево, тихо пошел под увалом.

Он, проклятый, был так близко от меня, что я отлично видел его карие глаза, которые мне показались не только не свирепыми, но даже прямо добрыми, а вся его мощная фигура как бы не страшной. И, странное дело, я под этим впечатлением не только не трусил этого свирепого царя лесов сибирской тайги, но мне вот так и хотелось сказать ему приветствие, как хорошей охотничьей собаке: ну, что ж, мол, иди сюда, познакомимся!..

Но вот он остановился ко мне боком, повернул валежину и, что-то полизав на том месте, где она лежала, отправился далее; а потом, наткнувшись на муравьиную кучу, разгреб ее донизу, сунул в нее лапу, полизал и

скрылся в лесу за кривляком увала от моих наблюдений.

Сколько раз я прицеливался в его громадную тушу, но благоразумие требовало исполнения своего девиза и ясно говорило: «Не тронь!.. Возьми палец со спуска!.. У тебя ведь только один заряд, и нет никакого товарища!..» Быть может, многие собраты по страсти скажут мне, читая эти строки: «Ну нет, я бы не вытерпел и непременно выстрелил!..» Совершенно веря в их мужество, пишу только то, что было со мной, все-таки оставаясь и теперь при том убеждении, что я поступил благоразумно, потому что зверь этот в Забайкалье наутек не пойдет и непременно полезет на выстрел, а случайностей так много, что нельзя поручиться за то, что не ты, а он заплатится своей шкурой... Бог с ним — «он мне не должен», как говорят сибиряки, а рисковать на авось нет основания...

Так как медведь ушел в ту сторону, откуда я пришел, то мне приходило в голову, что зверь непременно попадет на мой след и, пожалуй, заявится ко мне в гости уже с другой стороны, крайне невыгодной для меня, поэто-

му я, как-то невольно посматривая кверху, держал себя наготове...

В это время стало смеркаться, и мне показалось, что в вершине солнпека кто-то движется. Тотчас вооружившись биноклем, я уже ясно увидел двух изюбров, которые, помаленьку выходя на верхнюю часть увала, начинали жировать по молодой зелени. Долго я делал над ними свои наблюдения и, видя, что они не спускаются на самый увал, хотел уже тайком подниматься наверх, чтоб зайти сивером, но было уже настолько поздно, что скрадывать не представлялось возможным, особенно по совершенно незнакомой местности. Самое лучшее — надо было остаться на ночь в засадке, а как это сделать в одной легкой блузе и без огня?.. Да кроме того, потерявшие меня товарищи непременно пошли бы меня разыскивать; пожалуй, ночью стали бы кричать и, конечно, испортили бы всю охоту. И мне все еще казалось, что звери под вечер непременно спустятся на увал, а потому я досидел до самых потемок.

Но вот я услышал с табора доносящийся до меня невнятный разговор, постукивание то-

пора и наконец увидал замелькавший вдали огонек. Ясно было, что мои сотоварищи вернулись с охоты, а потому, нечего делать, пришлось и мне, скрепя сердце, накинуть винтовку на плечи да идти чуть не ощупь к табору, направляясь на огонек. Спустившись с увала, уже в конце его длины, я все боялся, как бы мне ночью не наткнуться на топтыгина, который ушел как раз в эту сторону; вследствие этой мысли я стал постукивать ножом по деревьям и ломать кусты по лесистой маре. Наконец благополучно добравшись до речки, я, кое-как переправившись по валежине, подошел к табору.

Котелок с похлебкой и чайник кипели уже на таганах, а Кудрявцев и Михайло лежали на подседельниках.

— Что так долго, барин, загулялся? — спросил меня Кудрявцев, встав с места и поправляя огонек.

— А потому, дедушко, и долго, что притча случилась, — сказал я, ставя винтовку к балагану.

— Ну, едят те мухи! Что опять встречалось? — говорил старик, выпрямляясь и поче-

сывая затылок.

Тут я, конечно, рассказал им всю историю своего путешествия и был ужасно доволен, когда старик не осудил, а одобрил мое поведение.

— И до меня, барин, доведись, так и я ни за что бы не стрелял при таком разе такого матерого зверя, да и куда он теперь годен?.. Ну, а храни господь, попадешь худо, тогда что?.. А ведь он, паршивый, не спросит, что ты ваше благородие, холостой или женатый, а так завернет, что и ноги протянешь.

— Ну хорошо, дедушко! Это все верно, да и я то же думал, а вот что ты скажешь, что я не убил гурана, который сам прибежал на пулю.

— А ведь и мы их не стреляем, коли в другом месте зверей караулим. Коза так коза и есть, она ведь попадетса, а изюбр — нет! Его, брат, только по фарту господь посылает... Ну, скажем, ты стрелишь, — убьешь; а зверь-то, может, тут и был где-нибудь недалечко да услышал голк — вот, глядишь, и напужался от разу да больше уж и не покажется... А он, брат, беда какой полохливый да осторожный...

— Ну, а вы что сделали? Кого видели? — спросил я, перебив Кудрявцева.

Тут они в свою очередь подробно рассказали о своих похождениях. Оказалось, что оба товарища на охоте никого не видали, а согласно моего разговора решили так, что перед светом надо идти на мой увал двоим, чтоб в разных местах покараулить изюбров.

Поужинав, мы тотчас улеглись спать, а часу во втором ночи меня разбудил Кудрявцев. Мы умылись, помолились и уже вдвоем пошли на увал, а Михайло отправился один на тот солнопек, где был вечером.

Разместившись еще до света по различным пунктам, мы провели на увале целое утро, но никого уже не видали, а слышали только отдаленный выстрел Михайлы. Часов около девяти, мы несолоно хлебавши пришли к табору, где нашли уже Михайлу, который, убив козу, пришел за конем, чтоб привезти добычу.

Желая воспользоваться свободным временем, мы хотели еще попробовать счастье, но — увы! — с обеда собрался дождик, так что вместо охоты пришлось поскорей собраться,

чтоб уехать верст за пятнадцать, где в другом «охотном» месте у старика был балаган. Переночевав в нем, мы поутру решились ехать домой, потому что дождь не переставал, а все небо затянуло мороком и не было надежды на исправление погоды...

Тем и кончились мои охотничьи похождения на Карийских промыслах впредь до 1862 года, когда я был командирован в урюмскую тайгу на розыски золота; а получив такое назначение уже женатым, мне пришлось квартирой остановиться на Нижнекарийском прииске, рядом с домом милейшего Костылева.

Теперь, заканчивая статью, мне желательно сказать о том, какой финал имела крюковщина и какая судьба постигла самого К.

Сдав Костылеву Верхний промысел, я отправился со всеми пожитками по нерчинскому тракту. Милейший мой товарищ Кобылин оплакивал меня как брата. Он хорошо понимал, какого соседа теряет он на служебном поприще, а потому грустил ужасно и отпросился проводить меня до Култумы. Добравшись до этой Аркадии, мы ночевали, а утром,

братски простившись, поплакали и покатали в разные стороны — он обратно на Кару, а я пока в Нерчинский завод, чтоб явиться к своему новому ближайшему начальнику, бергмайстеру рудников Юлию Ивановичу Эйхвальду.

Тут я с радостью узнал, что вся крюковская ревизия канула в Лету забвения; над ней поставили крест и похоронили в пыльном архиве.

Дело, видите, в том, что когда Муравьев прочитал мое письмо, переданное ему Корсаковым, то, убедившись в правдивости изложенных фактов, совершенно изменил свое понятие о Крюкове, а с тем вместе круто повернул и свои к нему отношения. Как умный и энергический человек, он, сознавая свою ошибку, поджидал только приезда горного начальника Дейхмана, который должен был приехать обратно из Нерчинского края до отъезда генерал-губернатора в Петербург. Но К., что-то почуяв, не дремал и торопился из Бальджи; а когда добрался до Иркутска, опередив Дейхмана, то немедленно заявился со своим докладом к Муравьеву... Но, увы, было

уже поздно!..

Когда доложили знаменитому владыке отдаленного края о явившемся к нему ревизоре, Муравьев вскипятился, соскочил со стула, забегал по комнате, наконец остановился и сказал поджидающему адъютанту:

— Скажите г. К., что сюда скоро будет горный начальник г. Дейхман, пусть он явится к нему и доложит о замеченных им беспорядках, а я увижу Оскара Александровича и переговорю, что сделать.

Ошеломленный К., конечно, не понимая, в чем дело, как обваренный кипятком, вылетел из дома генерал-губернатора и, уже несмотря ни на какие шпиргалки, не имея доступа к Муравьеву, прибег к всероссийскому утешению и начал кутить.

Еще ранее узнав о том, что мое послание попало в руки бедового Муравьева, я, признаться, уже сильно побаивался за некоторые резкие выражения и фразы, из которых в одной было сказано, например, так: «Кто доверяется таким сумасшедшим людям, как г. К., уполномочивая их такой властью, тот сам сумасшедший». Однако, к моему счастью, а мо-

жет и всех моих сослуживцев, фраза эта или не повлияла на эксцентричную личность Муравьева, или же, наоборот, имела свое действие, доказывая то, что таких высокопоставленных людей в России немного... Человек этот не оскорбился резким отзывом какого-то молокососа, которого он мог стереть в порошок, но понял суть в настоящем смысле и поправил свою ошибку. А много ли таких, которые так поступят?!

К сожалению, я не знаю разговора бывшего горного начальника Дейхмана с Муравьевым относительно ревизии К., но знаю, что пресловутый ревизор, упав с высоты своего ложного величия, немедленно подал в отставку, браня, где только было удобно, генерал-губернатора.

Интереснее всего был самый финал этой замечательной истории.

Муравьев перед отъездом в столицу делал обед своим сослуживцам и сподвижникам по Амурской экспедиции, а равно и обширному управлению краем. Но вот перед обедом кто-то из присутствующих вдруг увидал в окно, что подвыпивший К. подходит к берегу Анга-

ры, останавливается против дома генерал-губернатора и торжественно начинает приготавливаться, чтобы утопить свой мундир чиновника особых поручений в знаменитой сибирской реке.

Конечно, все тотчас собрались к окнам, чтоб полюбоваться курьезной проделкой столь ненавистного всем ревизора.

Увидав собравшихся зрителей и не понимая, в чем дело, подошел и сам Муравьев.

— Что это вы, господа, смотрите? — спросил он, недоумевая.

— А вот, ваше высокопревосходительство, не угодно ли посмотреть, как пьяный К. то ли сам хочет утопиться, то ли топить свой мундир в Ангаре?..

— Что за чепуха!.. Пошлите поскорее узнать, что он там сочиняет.

Ту же минуту на берег полетел адъютант и спросил К., от имени Муравьева, что он тут делает?..

— Скажите его высокопревосходительству, что недовольный и обиженный К. топит в Ангаре тот недостойный мундир, который он имел честь носить, состоя под начальством

генерал-губернатора Восточной Сибири.

Когда этот замысловатый ответ доложил возвратившийся адъютант Муравьеву, он сдвинул брови и нервно сказал:

— Сумасшедший человек этот К., — затем, быстро повернувшись, ушел от окна...

Значит, новая эксцентричная выходка не удалась, а видимо, что весь расчет был на нее.

Тем вся эта история и окончилась, а мы сердечно поблагодарили господ и в душе сказали спасибо Муравьеву...

# Е. А. Петряев

## «Жизнь среди природы...»

**А**лександр Александрович Черкасов родился 26 декабря 1834 года в Старой Руссе в семье горного офицера (тогда горные чины считались военными). Отец был родом из Пермской губернии, мать — тверская помещица. Жили скромно, только на жалованье отца, управляющего содовым заводом.

Старший сын Иван, а потом и младший Аполлинарий учились в горном кадетском корпусе, а сестра Елизавета — в Екатерининском институте в Петербурге. Отец, страстный охотник, ярко рассказывал о повадках зверей и привил детям любовь к природе. Во время одного из первых самостоятельных походов Александр провалился под лед и около полутора лет не вставал с кровати, потом долго ходил на костылях, но поправился.

Одиннадцатилетним его отдали в закрытое учебное заведение — горный кадетский корпус. Каждое лето во время каникул он ездил в Старую Руссу, а на практику — на Вол-

хов, в Финляндию и в Олонецкую губернию. Жизнь кадетов строго регламентировалась. Они имели черно-серую шинель солдатского покроя, подбитую зимой фланелью на вате. В теплую погоду шинель надевалась внакидку, а в холодную — обязательно в рукава сверх мундира. Каска с черным волосяным султаном. Она всегда носилась с застегнутыми «чешуйками» под подбородком. Полагался еще довольно увесистый тесак саперного образца с пилой на обухе. За малейшее нарушение формы строго взыскивали, так как брат царя — великий князь Михаил Павлович — придирчиво следил за каждым, кто попадал ему на глаза. На праздниках кадеты могли посещать знакомых. Александр бывал у дядей — генерала, моряка К. П. Черкасова (он упоминался в «Записках» декабриста А. П. Беляева), и генерал-инженера А. Я. Кашперова. Однажды Александр шел около Казанского собора, не застегнув «чешуйки» у каски, и неожиданно увидел в экипаже самого Михаила Павловича. Надо было как-то спастись. Тут помогла кадетская находчивость: изобразив умиление, Александр стал истово креститься на со-

бор. Грозу пронесло, но запомнилось это на всю жизнь.

Другой эпизод был серьезнее. Еще в первые годы учения в корпусе Александр был вхож, как дальний родственник, в дом бывшего почт-директора Ф. И. Прянишникова. Однажды за обедом, отвечая на расспросы, Черкасов простодушно рассказал о неблагоприятных поступках своего директора Волкова. Среди гостей нашлись осведомители. Волков возненавидел Черкасова и старался выжить его из корпуса, сдать в солдаты. «Человек этот, — вспоминал Черкасов, — давил меня и гнал с юных лет моего бытия до выпуска из корпуса. Только общая любовь всех остальных моих начальников и товарищей, хорошее поведение и прилежание, несмотря на его ужасные несправедливости, дали мне возможность окончить курс и выйти прапорщиком, тогда как большая часть, и даже недостойные любимцы директора, выходили поручиками и реже подпоручиками».

Перенеся тяжелую болезнь в детстве, Черкасов все же обладал хорошим развитием и большой физической силой, за что кадеты

звали его Самсоном.

По совету одного из воспитателей Черкасов решил поговорить с Волковым с глазу на глаз. Однажды вечером, когда в коридоре никого не было, Черкасов постучал в дверь директорского кабинета и на вопрос назвал свою фамилию. «Не приму!» — последовал ответ. Дверь была на крючке, но Черкасов так ее нажал, что она распахнулась и он влетел в кабинет. Произошел крупный разговор. Волков закричал: «Я тебя только серой скотиной выпущу из корпуса. Вон отсюда!» Тогда Черкасов подскочил к Волкову, схватил его обеими руками за воротник и сказал: «Лучше уйду на каторгу... но скотиной ты меня не выпустишь». Обезумевший от страха Волков свалился в кресло, а на другой день сказался больным и на экзаменах не присутствовал; вскоре его должность занял другой.

В 1855 году, успешно закончив восьмилетний курс наук, Черкасов получил офицерский чин и добровольно отправился на службу в Нерчинский горный округ.

В эти годы родители Черкасова жили в Соликамском уезде Пермской губернии. Отец

состоял управляющим Дедюхинского завода. Потом на Урале образовалось большое гнездо горных инженеров — родственников Черкасова.

В Нерчинском округе по обычаю того времени молодых специалистов «испытывали на практике» без постоянного места. Поэтому за сравнительно короткий срок Черкасов успел побывать в разных углах обширной нерчинской Даурии, познакомился с природой и местным бытом. На горных работах он часто встречал ссыльных.

Под угрозой плетей, карцеров и штрафов здесь работали не только каторжники, но и свободные горные служители.

«Под мое ведение, — вспоминал Черкасов, — были отобраны такие атлеты из ссыльных рабочих, что стоило только любоваться этими пасынками судьбы и удивляться их бычачьей силе или замечательной сметке русского простолюдина. Этими тружениками выворачивались и поднимались на борта разреза иногда такие громадные валуны, весившие несколько сот пудов, что трудно было поверить своим собственным глазам, видевшим

это в действительности. Стоило только по-человечески обходиться с этими пасынками, но в нужный момент помогать своими руками и плечами, — и тогда клейменные труженики становились настоящими братьями, на их закорюзлых лицах выражалась добродушная улыбка, в речах появлялся юмор, остроумие, и вы забывали, что имеете дело с теми людьми, которых таврили, как лошадей, и называли презренным именем варнака или челдона».

Лето в 1856 г. Черкасов провел в Александровском заводе, где жили в ссылке петрашевцы (Ф. Н. Львов, Н. А. Спешнев, Н. А. Момбелли и сам М. В. Буташевич-Петрашевский). «Люди эти, — писал Черкасов, — весьма оживляли наше общество, и с ними скучать было невозможно». Вскоре Черкасова отправили во главе разведывательной партии на поиски золота в Юго-Восточном Забайкалье по реке Бальдже. Здесь был «край света и самое убиенное место». Тяжелейшие условия работы скрасила ему охота. Среди подчиненных он нашел добрых товарищей и терпеливых учителей.

В большом очерке он называл Бальджу «альфой своих скитаний по тайге и первоначальной школой сибирской охоты».

После Бальджи Черкасов недолго управлял Култуминской дистанцией, около года — Алгачинским рудником. Здесь он женился на дочери забайкальского казака Евдокии Ивановой и совсем сроднился с Забайкальем. Привелось ему работать на серебряном руднике в Зерентуе, Шахтаме и на знаменитых Карийских золотых промыслах.

В 1862 году его командировали партионным офицером на поиски золота в долину Урюма, притока Шилки. Тогда район этот страшил всех отдаленностью, суровостью климата и безлюдьем. Тут рабочие не раз вспоминали забайкальскую пословицу: «Кто в тайге не бывал, тот богу не маливался».

Через год Черкасова ждала удача, нашли золотые россыпи. За это открытие ему в 1864 году была назначена пенсия — 1200 рублей в год.

Еще в Алгачах он начал записывать свои впечатления и рассказы многочисленных спутников по таежным скитаниям. Стремясь

вернее передать местные особенности языка и быта, он внимательно прислушивался к советам старожилов, старательно дополнял заметки разнообразными этнографическими, естественно-историческими и экономическими сведениями.

В 1864 году записки ходили по близким знакомым автора и считались своего рода литературной новинкой не только на Каре, но и в центре округа — в Нерчинском Заводе.

Первый отрывок напечатал «Современник» (1866, май) — лучший столичный журнал того времени. Отрывок был без подписи, так как иначе Черкасову пришлось бы просить особого дозволения на публикацию. В разрешении, конечно, отказали бы: этот журнал в глазах начальства был крамольным. В примечании говорилось: «Редакция «Современника» имеет в своем распоряжении довольно значительный запас весьма любопытных рассказов охотника Восточной Сибири. Отлагая полное издание рассказов для отдельной книги, мы нашли, что читатель наш, вероятно не без интереса, прочтет несколько отрывков из этих «Записок»; они обличают в

авторе близкое знакомство с делом и представляют оживленные картины из сибирских промыслов и очерки из жизни животных, достойные внимания натуралистов».

Но в апреле 1866 года по «высочайшему повелению» издание «Современника» было прекращено. Тираж майского номера журнала в свет не вышел, и этот номер сразу стал библиографической редкостью. Он сохранился теперь, кажется, только в библиотеке Пушкинского Дома. Однако о публикации знали лица, близкие к Черкасову, и его приятели.

В рукописном журнале И. В. Багашева «Нерчинскозаводский наблюдатель» (1867, № 19 от 19 июня) появилась заметка редактора: «Всегда с удовольствием и пользой прочтешь такое сочинение, как «Записки охотника Восточной Сибири». Автор их, Александр Александрович Черкасов, горный инженер, помощник управляющего Урюмским золотым промыслом. Приносим ему искреннюю благодарность за его хороший труд. Еще до появления «Записок» в печати многие имели случай читать их в оригинале и отзывались с полным одобрением. Нынче напечатан

отрывок из этих записок в № 4 журнала «Дело», и вскоре они выйдут в столице отдельным изданием».

Осенью 1867 года книга Черкасова появилась в продаже. Руководителем издания С. В. Звонарева был Н. А. Некрасов.

В посвящении Черкасов писал:

*Друзья, охотники. Прочтите, что пишет верно ваш собрат.  
Чего не знает — не взыщите, он все сказал, чем был богат.*

На выход книги отозвался журнал «Отечественные записки», Рецензент отметил колоритность описаний, которые «дышат всею откровенной простотою правды... Своеобразный и несколько грубоватый, как самая жизнь звериных промышленников (так в Восточной Сибири называют охотников), язык автора производит на читателя весьма приятное впечатление какой-то необычной свежести, напоминающей и степное раздолье, и влажную прохладу частого зеленого бора» (1868, т. 176, отд. II, с. 11).

В превосходных картинах жизни охотничьей артели на «белковье» и в других главах

показано высокое чувство товарищества среди забайкальских промысловиков. Это умные, изобретательные, выносливые люди, хорошо знающие свой край.

Главным этапам своей службы в Забайкалье Черкасов посвятил отдельные очерки. За эти 16 лет он немало потрудился как горный инженер. Не расставаясь с охотничьим ружьем, он с поисковыми партиями исходил край буквально вдоль и поперек. Пожалуй, ни один из писавших о Забайкалье не имел такого внушительного опыта путешествий по здешним окраинам. Почти в каждом очерке можно встретить разнообразные сведения о местных традициях, легенды, меткие характеристики бывалых людей, согретые душевным теплом и мягким юмором. С уважением, а порой и с восхищением рассказывал он об «инородцах» — тунгусах (эвенках) и орононах.

В конце 1871 года его перевели на Алтай управлять Суэунским заводом. Как прежде, он и здесь увлекался охотой, но не оставлял и писательство. Когда в 1876 году туда приехал натуралист и путешественник Альфред Брем,

автор всемирно известной «Жизни животных», Черкасов побывал с ним на охоте. Они подружились.

Черкасов подарил знаменитому гостю свои «Записки» с надписью:

*Брем! Муж познаний и наук!  
Когда заснуть не можешь ты, —  
Возьми, брат, книгу эту в руки,  
И сон прервет твои мечты!*

Брем высоко оценил «Записки» и способствовал переводу их на немецкий язык. К сожалению, это издание пока не найдено.

Выйдя в отставку, Черкасов переехал из Сузунского завода в Барнаул и занялся доработкой «Записок». Через год, в 1884 году, они вышли в издании А. С. Суворина тиражом 2 тыс. экземпляров. Книга была дополнена главой «Глухарь», некоторыми сведениями из новой литературы, в частности из сочинений Брема.

Журнал «Дело» (1883, № 9, с. 73–74) писал, что новое издание книги Черкасова «дает больше, чем обещает», несмотря на ненужные «отступления» и погрешности в стиле. Рецензент признал, что изложение «очень

толково, очень живо и отличается тем одушевлением, с каким обыкновенно говорят люди о предметах близких и дорогих для них», а Черкасов «отнюдь не простой, бывалый и опытный охотник только: он... человек образованный, знающий и наблюдательный».

В Барнауле А. Черкасов начал писать мемуарные заметки. Первые его рассказы о некоторых эпизодах кадетской жизни опубликовал мало известный и недолговечный московский журнал «Охотник» (1887, № 10–11; 1888, № 58–72).

В письме из Барнаула от 4 октября 1885 года своему крестнику Даниилу Михайловичу Кузнецову он сообщил о том, что подготовил новые рассказы, в одном из которых («Бальджа») идет речь о его покойном отце. Просил передать приветы И. В. Багашеву и другим знакомым.[29]

В Забайкалье Черкасов оставил о себе долгую и благодарную память. С друзьями-забайкальцами он долго поддерживал связь. Вспоминая об отъезде из Забайкалья, Черкасов писал: «Много лет утекло с тех пор, многое из-

менилось во многом, но я до сего дня не могу без слез вспоминать это братское прощание населения, эту неподдельную любовь и доверие народа...»

В Барнауле Черкасов был избран городским головой. Через четыре года он остался на новый срок, однако прослужил всего год. Из-за необходимости учить своих детей он переехал в Екатеринбург (ныне Свердловск). А детей было семеро. Черкасовы купили дом на Вознесенской улице. Усадьба примыкала к саду знаменитого Харитоновского дворца, известного по роману Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы». Возникло много новых знакомств, начались визиты инженеров, педагогов, сотрудников «Екатеринбургской недели». В этой газете вскоре появилась статья Черкасова «Меры к развитию платинопромышленности на Урале» (1891, № 13, с. 289–291). Среди новых знакомых был и Д. Н. Мамин-Сибиряк. Черкасов вплотную занялся литературной работой, собиранием библиотеки. Особенно его интересовали сочинения исторического и философского характера, книги об охоте и охотниках, такие, как «За-

писки сибирского немврода» И. Г. Шведова, «Охота и охотники» Псковича (П. П. Куликова).

Здесь, на Урале, он старался пополнять зоологическую коллекцию Уральского общества любителей естествознания, дарил библиотеке общества свои книги.

В начале 1893 года Черкасов предложил издателю «Исторического вестника» А. С. Суворину «статью» об Алтае (на 14–15 листов журнальной печати). «Это, — пояснял он, — собственно воспоминания из пережитого и перевиденного...» Суворин подтвердил редактору журнала С. Н. Шубинскому: «Черкасов очень талантливый человек. Я издал целую книгу его. Думаю, что он и теперь написал интересно. Напишите ему в Екатеринбург» [30].

Эта огромная «статья» не подошла к профилю «Исторического вестника», она появилась в журнале «Природа и охота», в котором за десять лет до этого Черкасов напечатал забайкальские очерки. Так образовались журнальные циклы: «В Забайкалье» и «На Алтае» (с подзаголовком «Из записок сибирского

охотника».)

Каждый очерк имел относительную сюжетную самостоятельность. В новых главах тема охоты постепенно отходила на второй план.

В марте 1894 года Черкасов снова писал Суворину (через Шубинского): «Почти все мои рассказы идут о Сибири и знакомят читателя с этой страной во многих отношениях, а охота часто служит только канвою... Мои статьи охотно читаются... даже прекрасным полом, а в Екатеринбурге «поиском ищут» этих рассказов. Многие знакомые и незнакомые прожужжали мне уши: почему я не издам все, помещенное в журналах, особой книгой.

...А хорошего издателя найти не могу. Не поможете ли мне в этом?.. Глубоко сожалею, что в статье «На Алтае» редакция и цензура сделали много выпусков, весьма интересных, и в общем изгадили весь труд, потерявший связь в рассказе»[31].

Сибирская жизнь приучила его к простоте в общении с людьми. Он уважал чужое мнение, иронически относился к спеси толстосумов и высокомерию дворян-чиновников (хотя

и сам «ходил в генералах» — был статским советником). Он отказался от выборов в городскую думу. Но вскоре его, против желания, все же выбрали, как домовладельца. Пришлось смириться. Но на этом дело не закончилось. На заседании думы 20 октября 1894 года зачитали бумагу о том, что Черкасов назначен городским головой. «Смею вас уверить, — сказал он членам думы, — что я не искал, не добивался этого; все это для меня было положительной неожиданностью. Конечно, я не могу не ценить ту честь, то доверие, какое выпало на мою долю от г. губернатора. Я долго боролся с собою, прежде чем решился принять это назначение. Я надеюсь, что вы не будете смотреть на меня неприязненно как на человека, не избранного, а назначенного правительственной властью, и братски примете меня в свою среду. Что касается меня, то со своей стороны я употреблю всю свою энергию на дело служения городским интересам. Думаю, что вы не откажетесь помочь мне». Так изложила речь «Екатеринбургская неделя».

Сразу оживились завистники и недобро-

желатели, которых подбивали местные толстосумы. Уже через два месяца Черкасов сказал, что намерен уходить. Пошатнулось и здоровье.

Утром 24 января 1895 г. он получил по почте анонимный пасквиль, который грязнил честь его и семьи. К письму добавлялась вырезка — оскорбительная карикатура из какого-то столичного издания. Такого жестокого удара Черкасов не перенес и умер от паралича сердца за своим письменным столом. Хоронил его весь Екатеринбург, до Тихвинского монастырского кладбища за гробом шла огромная толпа. Могила была недалеко от стен теперешнего областного краеведческого музея, но затерялась. Рассеялся личный архив, не сохранилась и библиотека, так как Евдокия Ивановна вскоре тоже умерла (в возрасте 54 лет).

Удалось разыскать лишь несколько фотографий. Один из племянников Черкасова рассказывал, что среди бумаг он видел тетради с мемуарными заметками и стихами. Упомянул о письмах Н. А. Некрасова...

В Екатеринбурге в 1906 году выходил сбор-

ник стихотворений А. Черкасова (том. I, тип. С. Словцова, 214 с, тираж 1200 экз.), но автором их был племянник Черкасова — филолог Андрей Аполлинарьевич.

Произведения Черкасова успешно выдержали проверку временем, сохранили и для нас художественный и познавательный интерес. Разумеется, нельзя не учитывать вековую давность событий, свидетелем и участником которых оказался Черкасов.

Хищнические, иногда просто истребительные приемы охоты и рыбной ловли тогда еще не осознавались как преступление перед потомками. В молодые годы и Черкасовым овладевал охотничий азарт, хотя он знал, что даже так называемые дикари не убивают больше, чем могут съесть. Сознание вины пришло спустя десятилетия...

В предисловии ко второму изданию «Записок» он писал: «И теперь уже далеко не то, что было: непролазная угрюмая тайга день ото дня делается все более доступной, а нескончаемые дебри редуют чуть ли не с каждым часом, и несчастные звери заметно убы-

вают в количества или кочуют в еще не тронутые тайники сибирских тундр».

«Личность А. А. Черкасова, — писал биолог-охотовед Ф. Р. Штильмарк, — вызывает самые глубокие симпатии... Перед нами предстает энергичный, деятельный и вместе с тем добросердечный, отзывчивый человек, отличавшийся для своего времени особой демократичностью, пользовавшийся большим уважением и любовью со стороны подчиненных, человек яркой и страстной натуры...» [32]

Но он не только охотник-натуралист, но и талантливый бытописатель. Недаром его называли «сибирским Аксаковым». Его «Записки» часто цитируют зоологи и охотоведы, внося необходимые уточнения и поправки. «Записки» включены в число основных источников академического словаря современного русского языка. «Помимо специального, этнографического и бытового материала, — писала филолог Н. В. Попова о книге Черкасова, — каждое местное или специальное слово автор объясняет, оценивает, сопровождает... великолепными иллюстрациями местной речи».

[33]

Как отмечает Н. В. Попова, читинские диалектологи, используя «Записки», подготовили основу для регионального словаря Забайкалья почти в тысячу слов. Дополнения найдутся и в этой книге.

По эмоциональности повествования очерки Черкасова не уступают его «Запискам», В 1892 году знаменитый сибирский деятель и публицист Н. М. Ядринцев писал: «Жизнь среди природы воспитывала решимость, отвагу сибирского охотника. Они признаны и засвидетельствованы известным знатоком охотничьих нравов — Черкасовым, сделавшим многочисленные наблюдения в сибирской тайге».

*Евг. Петряев*

# Примечания

Почти все забайкальские очерки Черкасова появились в журнале «Природа и охота» (ред. Л. П. Сабанеев) под общим заголовком «Из записок сибирского охотника». Но в 1886–1887 годах очерки «Зерентуй», «Шахтама» и «Кара» печатались под заголовком «Из воспоминаний прошлого». Очерки «В Кадаче» и «Разбойник» появились в журнале «Русский вестник». В 1887–1888 годах в журнале «Охотники» печатались фрагменты, относящиеся к юности Черкасова, хотя и под заглавием «Из записок сибирского охотника». Журнал прекратил существование и сибирские главы не успел опубликовать.

Приводимые в этой книге очерки известны только в журнальном варианте.

«Сломанная сошка». Очерк предварялся описанием двух эпизодов из жизни автора на Алтае и карийской тайге, имея общий заголовок «Из записок сибирского охотника». Текст подписан: 10 ноября 1882 года, Сузунский завод Томской губернии. Посвящен очерк А. М.

Галину — уральскому журналисту. Напечатан в февральской книге журнала «Природа и охота», 1883, с. 28–57.

«Култума». Текст подписан: 12–15 января 1883 г. Сузун. Напечатан в ноябрьской книге журнала «Природа и охота», 1883, с. 1—35.

При Черкасове в Култуме жил на поселении декабрист А. Н. Луцкий (1804–1882).

«Урюм» — в январской книге журнала, 1884, с. 1—76. Текст подписан: 23 марта 1883 г. Сузун Томской губ.

«Бальджа» — в январской книге журнала, 1885, с. 1—50. Текст подписан: 14 марта 1884 г. Барнаул.

«В Кадаче» и «Разбойник» — в январской книге «Русского вестника», 1886, с. 239–259. Текст подписан: 26 января 1885 г. Барнаул.

«Зерентуй» — в сентябрьской книге «Природы и охоты», 1886, ш. 56—112. Текст датирован: 8 февраля 1886. Барнаул.

«Шахтама» — в ноябрьской книге «Природы и охоты», 1886, С 1—53. Текст датирован 24 февраля 1886.

«Кара» — в сентябрьской (с. 1—71) и октябрьской (1—86) книгах «Природы и охоты»

1887 года. Текст датирован: 28 января— 2 марта 1887 г. Барнаул.



# Примечания

Олганьша (менерик, мерячение) — форма истерического расстройства психики. Причиной смерти Кудрявцева могла быть острая пневмония.

[^^^]

## 2

Весь Нерчинский край «простой народ», а в особенности ссыльные, зовут Челдонией, вследствие чего всех ссыльнокаторжных называют челдонами. Челдон — это ругательное слово, и можно за него поплатиться.

[^^^]

# 3

Бергбауэр — горнорабочий, рудокоп.

[^^^]

## 4

Шатун — медведь — это не легший в берлогу зверь, отчего он дичает окончательно и делается бешеным. Это ужаснейшая вещь! Смотри «Записки охотника Восточ. Сибири» А. Черкасова.

[^^^]

## 5

Щенка я назвал Танкред. Впоследствии это была большая, рослая, сильная и крайне умная собака из нечистой породы сеттеров. Скорее походила на польских собак.

[^^^]

Примеч. Елань — это отлогое безлесное предгорие, где лес или изредка разбросан, или растёт по опушке. Мари же — это такие же предгория, но сплошь поросшие лесом, иногда болотистой почвы.

[^^^]

Примеч. Эти выражения из суеверного обычая говорятся почти всеми промышленниками вслух или про себя при всяком убое дичи.

[^^^]

Примеч. Когда Мусорин докалывал ножом козла, то он так сильно бил задними ногами, что переламывал подставленные мною толстые сучки от лиственницы.

[^^^]

Слово *Морген* совпадает с словом *Мерген* в Ташкентском крае и имеет, кажется, то же значение. См. ст. Е. Т. Смирнова «Туркестанская глушь». — «Пр. и ох.» за февр. 1884 г.

[^^^]

# 10

Почухал — значит понюхал, послушал, поглядел — все вместе.

[^^^]

Подпрудил — спустил огниво на полку.

[^^^]

Каптурга — кожаный продолговатый мешочек из крепкой толстой кожи, в нем зверовщики держат пули и носят его за поясом, реже за пазухой.

[^^^]

За Байкалом козляки и овчинные шубы всегда дымят над аргалом (зажженные конские шевяки), отчего мездра пушнины получает красивый темно-желтый цвет и не боится мокра. Дымятся несшитые шкурки.

[^^^]

По полому месту — значит, позади ребер, по кишкам.

[^^^]

Собственно майной называют в Сибири большую прорубь, куда причаливают невод при подледном лове рыбы зимою.

[^^^]

Мэнду! — это сокращенное приветствие тунгусои — здравствуй и прощай! А полное, особенно здороваясь между собою, они говорят так: «Мэнду-у! та-мэнду! мал-мэнду! сала-мэнду! мэнду-моор!» — что означает: «Здравствуй, как ты здоров? здорова ли жена? дети? скот? здоровы ли лошади?»

[^^^]

Карымский чай не заваривают в чайниках, а «сливают» в муравленных чашках, чугунках, т. е. в кипяток бросают порцию чая и сливают поварешкой. Пьют его с солью, с молоком, со сметаной, с затураном — это поджаренная в масле мука. Словом, — кому как любо.

[^^^]

Т. е. с первыми медвежатами.

[^^^]

Почтенный дедушка охотничьей литературы Сергей Тимофеевич Аксаков в своих «Записках охотника» смешивает крохалья с гагарой, тогда как в Сибири крохаль сам по себе, а гагара сама по себе. Крохаль больше дворовой утки; его красные ноги у него не совсем в зад, как у гагары; нос красный с черным, тонкий, с зазубринами и на конце загнут крючком. Летаёт довольно бойко и живёт преимущественно на проточной воде, по речкам и большим озерам; тогда как гагара, наоборот, живёт только на озерках, прудах и больших водянистых болотах. В Сибири и гагар различают две породы, большие и маленькие. Из первых промышленники делают себе шапки. Крохалей сибиряки едят, а гагар нет. Весной крохали очень жирны, а сваренные в котле на воздухе (не в печке) не пахнут рыбой. Покойный Брем говорит: «Мы можем смотреть на крохалей как на переходную степень от нырков к гагарам, хотя они и подходят гораздо ближе к первым, чем к последним».

[^^^]

Вероятно, все знают, что такое сибирские пельмени. Это ушки из теста, начиненные мясом. Зимой сибиряки имеют их в запасе и держат на морозе, а когда нужно, тотчас опускают в кипяток, и кушанье через какие-нибудь полчаса готово.

[^^^]

Потом, в другой раз.

[^^^]

Мести.

[^^^]

Сядут скоро, торопливо.

[^^^]

Тогда был еще обязательный труд. Забайкальского казачества не существовало, а все «приписные» к Нерчинским заводам крестьяне находились под управлением горного ведомства.

[^^^]

Люфтлог — небольшая вертикальная шахта — колодезь, который с поверхности пробивается на горизонтальный коридор (штольну), чтоб освежить длинную проработку воздухом и облегчить подъем руды или горной породы.

[^^^]

Штривель — инструмент, который вставляется в шпур, забивается сухой глиной, потом выдергивается и в оставшийся от него канал ставится затравка. Проходить — значит подновлять засорившийся канал, если была осечка.

[^^^]

В Вост<очной> Сиб<ири> канонами зовутся местные праздники во имя какого-либо святого или двенадесятих праздников и свято чтутся окрестными жителями. Если, напр<имер>, какое-нибудь селение празднует канон Николая Чудотв<орца>, то все соседние деревни собираются на этот праздник: кто идет к родственникам, кто к знакомым, и бражничают. Хозяева готовятся и припасают для гостей вино и разные яства; а где есть церкви, так совершаются крестные ходы. Такое перегащивание производится взаимно между поселками по мере сил каждого. Быть в гостях и не принять — считается обидой.

[^^^]

Дедушкина «турка», или «своеделка», как он говорил, была из очень хороших старинных винтовок, как называли их за Байкалом, албазинских. Весила она с сошками 18 фунтов; ствол длиною около  $6\frac{1}{4}$  четвертей, калибр до 5 линий, несла в цель, до 80 сажен (в пятно) и была крайне поронно, так что «зверовым» зарядом большого глухаря разрывала на части, а от рябчика сходились одни перышки, почему для стрельбы по птице Кудрявцев клал самый маленький заряд пороха.

[^^^]

Кяхтинский музей. Бумаги И. В. Багашева, п.  
№ 26.

[^^^]

ГПБ, отд. рукописен, ф. 874 С. Н. Шубинского,  
т. 56, л. 245.

[^^^]

ГПБ, ф. 874 С. Н. Шубинского, т. 59, л. 217–218.

[^^^]

Охотничьи просторы, 1984, № 41, с. 118.

[^^^]

Попова Н. В. О диалектизмах и иных стилистически окрашенных словах в «Записках охотника Восточной Сибири» А. А. Черкасова и их отражения в толковых словарях русского литературного языка. — В кн.: Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Л.: Наука, 1972, с. 52.

[^^^]